



Журнал

Редактор Евгений Беркович

**СЕМЬ
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

12/2014

Журнал

**«Семь искусств»
№ 12 (58) 2014**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал «Семь искусств» № 12 (58)/2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 467 с., 31,4 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2014

Оглавление

<i>Максимиллиан Каммерер</i> Чёрная дыра как способ существования. Это родина, сынок...	5
<i>Владимир Кирсанов</i> Уничтоженные книги: эхо сталинского террора в советской истории науки	15
<i>Екатерина Сидорова</i> Мой Вовка	32
<i>Ольга Фёдорова</i> Искусство быть собой	35
<i>Надежда Винокур</i> Эта загадочная, загадочная "Пиковая дама"	40
<i>Мина Полянская</i> Неотвратимость коктейбельской встречи: Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Коктейбельский текст	47
<i>Александр Кунин</i> Обманчивая ткань реальности. Владимир Набоков и наука	60
<i>Николай Овсянников</i> Козырев и Лежнев	67
<i>Элиэзер М. Рабинович</i> "Гамлеты в хаки стреляют без колебаний"	75
<i>Марк Беленький</i> Записки искажителя	91
<i>Бенгт Лильегрен</i> «Во главе Королевства Свеев». Перевод <i>Георгия Фомина</i>	102
<i>Эдуард Элькинд</i> Петр Меренблом — скрипач, дирижер, педагог. Страница из истории русской музыкальной эмиграции 1-й половины XX века	121
<i>Галина Подольская</i> Земля обещанная и обретенная	133
<i>Юлия Драбкина</i> Город без подлокотников. Стихоживопись	151
<i>Юлиан Фрумкин-Рыбаков</i> Запой дождя	154
<i>Егор Фетисов</i> В сорок первый день. Предисловие <i>Галины Гампер</i>	160
<i>Александр Генис</i> Тяжба. Глава из книги "Уроки чтения. Камасутра книжника"	167
<i>Виктория Орти</i> Веничка-Фенечка сел на скамеечку	171

<i>Анна Агнич</i> Дровяная печь. Рассказы	181
<i>Моше Гончарок</i> Серпантин. Рассказы	189
<i>Ирина Чайковская</i> Московская баллада. Повесть	217
<i>Ян Пробштейн</i> Испытание знака. Переводы из Чарльза Бернстина	264
<i>Франсуаза Саган</i> Рыбалка ближе к полудню. Два рассказа. Перевод Эдуарда Шехтмана	288
<i>Лев Харитон</i> Шахматные зарисовки	295
<i>Владимир Фрумкин, Тамара Львова</i> Через океан. Повесть-перекличка	310
<i>Дмитрий Бобьшев</i> Человекотекст. Трилогия. Книга первая. "Я здесь"	376
<i>Валерий Хаит</i> О Жванецком	411
<i>Михаил Юдсон, Ирина Маулер</i> Окрестности Гениса	428
<i>Илья Корман</i> Наречение живущих. Проза Фолкнера: имена и судьбы	432
<i>Елена Брызгалова</i> Многоголосие и многомерность в освещении событий в исторической прозе Е. Курганова	442
<i>Борис Гасс</i> Крестовый монастырь	448

Максимиллиан Каммерер

ЧЁРНАЯ ДЫРА КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Это родина, сынок...

Как-то я писал небольшую научно-популярную статью для монреальской газеты — о черных дырах и том, что наша Вселенная также может и даже должна быть ею. Увы, для газеты статья оказалась слишком объемной и не слишком популярной, так что пришлось отложить ее в сторону. Однако в этом году — благодаря публикациям таких космологических зубров как Стивен Хокинг, Ларра Мерсини-Хоутон и других крупных специалистов — интерес к теме вспыхнул с новой силой. Так что, возможно, и мои популяризаторские размышления не покажутся лишними. Тем более что касаются они несколько неожиданного аспекта вопроса.

Вверх по лестнице масс

Но прежде чем перейти к изложению моих тезисов, коснемся сути астропроблемы. Так, пару лет назад в Вашингтоне проходила конференция Quark Matter 2012. Как раз стало известно, что на коллайдере релятивистских ионов RHIC Брукхейвенской лаборатории, возможно, наблюдали границу (ей соответствует энергия около 20 ГэВ) между обычной материей и первичной плазмой из кварков и глюонов, из которой состояла Вселенная вскоре после Биг Бэнга. Там получили вещество, нагретое до температуры 4 триллиона градусов!

Однако рекорд продержался недолго. Вскоре физики CERN на Большом адронном коллайдере добились температуры 5,5 триллионов, что в сто тысяч раз выше, чем в центре Солнца! Плотность при этом была больше, чем в нейтронных звездах, компактных останках коллапсировавших светил. На чем стоит остановиться подробнее. Поскольку следующий шаг ведет то ли в никуда, то ли к основам мироздания.

Дело в том, что ядра атомов, с которыми можно сравнить внутреннее содержимое нейтронных звезд, и кварк-глюонная плазма — это качественно разные фазы материи. Они существуют при разных температурах и давлениях подобно тому, как вода при разных условиях бывает жидкой, твердой (вплоть до экзотического горячего льда) и паробразной. И вполне понятно, что плотность КГП в гипотетических кварковых звездах должна быть еще выше, чем плотность «жидкости» в нейтронных.

Ну и что, скажете вы? Ну, превратится эта нейтронная жидкость в подобие металла, как водород в недрах Юпитера, — и что? А то, что не превратится, ибо далее следует ошеломляющий фазовый переход — после КГП остается лишь один шаг до особой формы бытия, которое сродни небытию! До сингулярности.

Речь вот о чем. Маркиз де ла Плас, автор знаменитой книги «*Mécanique céleste*», законами небесной механики изящно поименовал раздел астрономии, применяющий законы Ньютона к движению небесных тел. Они прекрасно работают в этом случае! Эти базисные законы играют важную роль также в формировании небесных тел (звезд, планет, комет и пр.) и их агломераций — галактик, галактических скоплений и т.д., а также некоторых их свойств. Одно из коих поистине удивительно! А именно: в первом издании своей книги Лаплас мимоходом затронул один вполне частный, чисто теоретический и даже фантастический случай. Речь шла о таких невероятных объектах, которые способны своей гравитацией удерживать свет. После чего на тему впервые обратили хоть какое-то внимание, хотя британский священник Митчелл еще в 1783 г. представил в журнал «Философские труды Лондонского Королевского общества» свою статью, в которой писал, что достаточно массивная и компактная звезда будет иметь столь сильное гравитационное поле, что свет не сможет ее покинуть. Митчелл считал, что таких объектов в космосе может быть очень много, но статья прошла практически незамеченной.

Сейчас такие объекты называют **черными дырами**. Впервые этот термин был использован Джоном Уилером в популярной лекции *Our Universe: the Known and Unknown* 29 декабря 1967 года.

Черная дыра — это область, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже кванты света. Граница области называется горизонтом событий, а её характерный размер — гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры без вращения и без электрического заряда он следует из некоторых точных решений уравнений Эйнштейна, первое из которых было получено в 1916 году Карлом Шварцшильдом, и потому называется радиусом его имени. Что любопытно, выражение для него совпадает с выражением, полученным Лапласом...

Сейчас наличие черных дыр не вызывает сомнений у подавляющего большинства астрофизиков и директор ГАИШ, академик РАН Анатолий Черепашук сказал еще в 2009 году:

«Я жду, что в ближайшее десятилетие будет получена Нобелевская премия за открытие черных дыр. Мы к этому подходим все ближе и ближе. Во-первых, этих черных дыр уже как собак нерезаных. Для звездных черных дыр — 23 штуки (*ныне их уже несколько десятков*, — М.К.) — для них измерены массы, даны ограничения на размеры. А сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик уже многие тысячи».

И все же, прежде чем перейти к вселенским обобщениям, давайте пройдемся по лестнице масс и размеров черных дыр. Какими они могут быть? И какие есть в природе? Если есть.

Так, для Земли гравитационный радиус менее сантиметра и в нынешних условиях рождение столь мелких ЧД невероятно. Для Солнца он 3 км, но оно невелико и черная дыра ему не светит, его финал после выгорания — белый карлик. Звезды побольше, от 1.4 М (предел Чандрасекара, М — масса Солнца) до 2,5-3 М (предел Оппенгеймера-Волкова) в конце своего пути взрываются, сбрасывая внешние слои, а остатки сжимаются в нейтронную звезду (НЗ), объект весьма компактный, но все же далеко не сингулярность. И лишь еще более крупные светила ждут полный гравитационный коллапс. Различные модели дают оценку массы чёрной дыры, образующейся в результате гравитационного коллапса, в пределах от 2,5 до 5,6 М.

Сравним же ЧД звездной массы с НЗ, которая при радиусе 10-12 км сохраняет массу от 1 до 2 М и похожа на орех с тонкой металлической скорлупой. Он

заполнен мало сжимаемой фермионной нейтронной жидкостью. Средняя плотность НЗ от 3.7 до $5.9 \cdot 10^{17}$ кг/м³, что превышает плотность атомных ядер, а в центре она достигает $8 \cdot 10^{17}$ кг/м³. По-видимому, под действием невероятного давления нейтроны там тают, образуя кварк-глюонную плазму. НЗ является последним шагом на пути к ЧД (гипотетически кварковые звезды пока не обнаружены, да и отличить ту же НЗ от ЧД весьма непросто). Остается сделать этот шаг.

Что ж, еще в 2008 году НАСА сообщило о нахождении в двойной системе ХТЕ J1650-500 черной дыры рекордно малой массы $3,8 M$. Радиус ее при этом около 12 км, а средняя плотность $5 \cdot 10^{17}$ кг/м³ — все, как и у НЗ. Единственное отличие — скорость убегания (скорость, необходимая для преодоления притяжения) равна скорости света!

То есть, если внешне такая ЧД напоминает НЗ, — компактный, сферический массивный объект с четко выраженной границей, то во внутренней структуре произойдет самый поразительный из всех качественных скачков: от нечто к почти ничто! Вся масса коллапсирует в сингулярность, в точку, которая имеет бесконечно большую плотность и бесконечно малый размер, если применить к этому случаю теорию Эйнштейна. Но в природе бесконечностей обычно не существует. Значит, теория Эйнштейна тут вряд ли верна.

В таком случае доктор Никодим Поплавский из университета Нью-Хейвена, апологет идеи о том, что Вселенная произошла из черной дыры, имеет право полагать, что материя внутри черной дыры доходит до такого состояния, когда больше ее сдвинуть невозможно, она спрессовывается в нечто вроде керна, невообразимо малую, но реальную крупницу вещества. Далее процесс сжатия останавливается, потому что черные дыры вращаются и очень быстро, возможно, достигая скорости света.

Поплавский считает, что эта крупница может снова взорваться и создать новую вселенную, но термину «большой взрыв» предпочитает «большой отскок». Нас однако интересует не космогония, а космология. Что будет в остальном пространстве между этой сердцевинной практически нулевой размерности и границей ЧД, горизонтом событий? Трудно сказать. Мне вот кажется, что ничего не будет, кроме отличного вакуума!

Но для чистоты эксперимента и очистки совести шагнем на следующую ступень лестницы и перейдем к СМЧД, супермассивным черным дырам. Похоже на то, что они имеются в ядре каждой галактики и играют важную роль в их формировании. Возможно, ключевую. Похоже на то, что именно такие ЧД были первыми крупными, четко локализованными и ограниченными объектами Вселенной, что именно они стали центрами образования галактик — и зажгли тем самым первые звезды!

Свет из полной темноты — это ли не здорово? Да, сие прекрасно. Нас, однако, интересует иное — падение плотности этих гигантов с ростом массы. Возьмем СМЧД Стрелец А в ядре нашей галактики. Она сравнительно невелика, ее гравитационный радиус всего лишь около 12 млн. км и есть множество звезд, куда больших по размеру. Но ее масса более четырех миллионов масс Солнца! Да и средняя плотность этой СМЧД около 10^6 кг/м³ — почти как в центре Солнца, что однако не впечатляет после фантастических значений в ЧД звездных масс.

Если же взять СМЧД в квазаре ОJ 287, самую сверхмассивную из обнаруженных на сегодняшний день, с массой 18 миллиардов M , то ее R_g составит 350 а.е. Довольно велика толстуха, не правда ли? Для справки: «Вояджер-1» — самый

дальний от Земли объект, созданный человеком, на 17 сентября 2014 г. находился на расстоянии всего 129,036 а. е., у границ солнечной системы.

Так вот, средняя плотность этой СМЧД, этого всепожирающего сингулярного монстра крайне мала: 0.08 кг/м^3 или $0.08 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^3$. Что в пятнадцать раз меньше плотности воздуха...

Подчеркну — средняя. Какова же плотность внешних слоев? Забегая вперед, подчеркнем: мы не так уж плохо живем в той черной дыре, которую гордо называем Вселенной. Она вообще практически состоит из пустоты! Что такое средняя плотность 10^{-26} кг/м^3 , вокруг которой столько копеек сломано? Это шесть нулюнов на кубометр. Прекрасный вакуум!

К тому же приливные силы, которыми любят пугать нас специалисты по черным дырам (быстрая и полная, вплоть до разрушения атомов деструкция астронавтов, имевших неосторожность пересечь горизонт событий подобного чудовища), на ее границе будут столь малы, что гипотетический наблюдатель даже не заметит пересечения горизонта событий. Однако если вас это радует, как и то, что центральная сингулярность расположена очень далеко от нее и астронавт будет чувствовать себя вполне комфортно, пока не погрузится очень глубоко, то вынужден разочаровать.

Деструкция все равно неминуема! Ваш корабль погибнет еще на подлете, в аккреционном диске, окружающем каждую СМЧД. Вещество, поглощаемое дырой, кружится в таком диске по спирали с огромной скоростью, оно ускоряется и так сильно нагревается от трения слоев, что излучает в рентгене. По этому излучению их и обнаруживают.

Так, 18 апреля 2000 г. сразу четыре космических лаборатории выясняли, что с таким диском происходит. Телескопы «Хаббл» и Extreme Ultraviolet Explorer наблюдали ультрафиолетовое излучение от черной дыры ХТЕ J1118+480 массой семь солнечных, входящей в двойную систему с солнцеподобной звездой. Орбитальный телескоп Rossi X-ray Timing Explorer ловил жесткое рентгеновское излучение, а обсерватория Chandra следила в диапазоне между рентгеном и ультрафиолетом. Оказалось, что диск простирается к горизонту событий ЧД не ближе 600 миль, вместо ожидавшихся двадцати пяти. Там он исчезает, как исчезнет и ваш корабль, добавив немного сияния в рентгеновскую корону ЧД.

Это грустно. Поскольку исключает путешествия в иные вселенные. Но пора уже задать главный вопрос.

А не живем ли мы в черной дыре?

Именно так (Are We Living in a Black Hole?) называется статья в февральском, 2014 года, номере National Geographic, посвященная упомянутому выше доктору Никодиму Поплавскому. Поскольку же имеются веские основания полагать, что так оно и есть, то внесем и мы свой вклад в попытки ответить на этот вопрос, для чего взгромоздимся на плечи титанов.

Лаплас ведь также был смел не потому, что был маркизом, а оттого, что пользовался универсальным законом тяготения Ньютона. Но лишь через век с лишним (не так уж быстро развивается наша наука...) Хаббл сформулировал не менее общий закон разбегания, после чего и мы можем кое о чем судить. Например, о

мире, в котором живем. А живем мы, кажется, в дыре и пусть нас не обманывает великолепие мироздания!

Тот же американский физик Дж. Уилер, который ввел в обиход сам термин черная дыра, одним из первых пришел и к идее вселенских ЧД. Сообщая об этом, Ли Смолин пишет в работе 1994 года: «Можно предположить, что каждая черная дыра в нашей Вселенной приводит к созданию новой вселенной и, соответственно, большой взрыв в нашем прошлом есть результат формирования черной дыры в иной вселенной».

То есть, вполне возможно, что наш мир — это обратная сторона иновселенской черной дыры. Там материя коллапсировала, здесь — вырвалась на волю и энергично расширяется! Беспредельно расширяется? До бесконечности? Не думаю. Боюсь, что глобальные расталкивающие свойства экзотической темной энергии, ведущие в итоге к Big Rip, Большому Разрыву, несколько преувеличены. И хотелось бы, чтобы эту поистине темную силу постигла судьба эйнштейновского лямбда-члена. Все же очень странной была бы сравнительно скоростистая (в течение ближайших 22 млрд. лет, согласно некоторым подсчетам) смерть мира в результате распада всех связей и самой материи. Нет, не верю, как говорил Станиславский, в такую физику! Эти качели будут качаться вечно...

И потому у нас еще есть время заняться делом. Поставим же, переходя от СМЧД к масштабам космологическим, вопрос поистине гамлетовский, судьбоносный и вместе с тем прозаический, поскольку легко просчитываемый: не окажется ли масса нашего мира достаточной для того, чтобы свет не мог покинуть его? Не оттого, что жаль фотонам покидать сии сияющие чертоги и устремляться во мрак неведомого. А потому что гравитация не пускает. Интуитивно нетрудно предсказать, что иного варианта нет. Либо вы полагаете свой мир большим, а законы Ньютона-Эйнштейна верными — и тогда нетрудно подсчитать примерный радиус нашей черной дыры. Либо предложите свое объяснение тому, что эти законы в космологических масштабах не работают.

В принципе, рассуждения весьма просты. Если Вселенная шар, что весьма вероятно в случае ее происхождения в результате Биг Бэнга, то достаточно знать массу (или среднюю плотность) и радиус мира — и закон Ньютона даст силу его пригравитации. После чего можно судить, способен ли свет покинуть наш универсум и достичь иных миров поливерсума (надеюсь, вы не сомневаетесь в поливерсальности мироздания?) — и/или наоборот.

Увы, с этим, с массой и радиусом, до сих пор, несмотря на блестящее развитие астрофизики, имеются некоторые проблемы. Вплоть до когнитивных. До меры разума. Так, многие почему-то всерьез считают, что радиус Вселенной около 14 млрд. световых лет. Мол, за время ее существования, которое как будто установлено достаточно надежно, свет не мог пройти большего расстояния, а поскольку его скорость это максимальная скорость передачи взаимодействий, то и мир не может быть большим.

Однако стандартная космологическая модель постулирует, что мир намного больше наблюдаемой области! Так, родоначальник инфляционной теории Алан Гут утверждает (1998, *The inflationary universe: the quest for a new theory of cosmic origins*), что в настоящее время Вселенная в 1023 раз больше наблюдаемой ее части! На практике это означает бесконечность...

Вам уютнее жить в тесном мирке радиусом 14 миллиардов световых лет? Как угодно, однако подобные ограничения на размеры справедливы лишь в том

смысле, что отсутствует причинно-следственная связь с остальными частями универсума. Во-первых, раз свет от дальних областей еще не дошел до нас, то и никакой детерминированной, связанной, общей с ними истории быть не может. Во-вторых, поскольку хаббловское расширение пространства разносит нас со скоростью большей скорости света, то лежат они за горизонтом событий. Но с методологической точки зрения нет никаких доказательств в пользу предположения, будто границы наблюдаемой области являются также границами Вселенной в целом!

Мало того, о каких расстояниях речь? Раз Вселенная расширяется, то разумно мерять дистанции в сопутствующей системе координат, расширяющейся вместе с пространством. Тогда расстояние до самого удалённого наблюдаемого объекта — поверхности последнего рассеяния реликтового излучения — составит около 46 миллиардов световых лет, если верить Википедии. Можно оценить размер мира и по спектру наполняющего Вселенную реликтового излучения. Его максимум приходится на частоту 160,4 ГГц, что соответствует длине волны 1,9 мм. То бишь, учитывая, что середина оптического диапазона приходится примерно на 500 нм, можно заключить, что во время суперинфляции пространство расширялось примерно в 25000 раз быстрее скорости света и потому вселенная намного больше наблюдаемой ее части. Алан Гут прав!

Или вот недавно была в моде красивая топологическая модель мира в виде многократно связанного додекаэдра Пуанкаре — ее диаметр должен быть не менее 60 млрд. светолет. А Нил Корниш, астрофизик из Университета Монтаны, полагает, что Вселенная еще больше — диаметром 156 миллиардов!

Кажется, последнее значение наиболее вероятно. Так ли уж сие важно? Ну, 13,8 млрд., ну на порядок больше — и что? А то, что от размеров мира будет зависеть его масса. Увы, при таком разбросе данных трудно сказать что-либо конкретное о ней и апеллировать к Ньютону. Но нельзя ли подойти к проблеме с другого конца? Если размеры мира не установлены, то хотя бы о его плотности можно что-то сказать? Можно.

Верю, ибо истинно

Сей тезис является антитезой, контрверзой известного кредо веры: верую, ибо абсурдно. Но что есть истина? — вопрошал когда-то один немолодой прокуратор одного молодого галилеянина.

Чтобы ответить на вопрос, снова обратимся к титанам. После Ньютона и Лапласа мало кто интересовался космологией во вселенских масштабах, пока Эйнштейн не попытался сбалансировать мир с помощью космологической постоянной (ему казалось естественным считать его стационарным). Увы, Фридман тут же показал, что Вселенная, исходя из эйнштейновской же теории, нестационарна, а Хаббл занялся определением скорости ее расширения. С тех пор покой нам только снится, зато появилась возможность установить критическую плотность, от которой зависит эволюция мира и его геометрические свойства.

Она пропорциональна квадрату постоянной Хаббла (выводимой из наблюдений), наиболее надёжная оценка которой на 2013 год составляет $67,80 \pm 0,77$ (км/с)/Мпк. В таком случае критическая плотность равна примерно $10\text{-}26$ кг/м³. В однородных изотропных моделях с равной нулю космологической постоянной она отделяет модель замкнутой Вселенной от модели открытой. Трёхмерное пространство при плотности

больше критической имеет положительную кривизну, замкнуто и объём его конечен. Тяготение материи при этом достаточно велико, должно сильно замедлять расширение Вселенной, и в будущем её расширение должно смениться сжатием. Если же плотность нашего мира меньше критической, то Вселенная неограниченно расширяется в будущем. Трёхмерное пространство будет тогда иметь отрицательную кривизну, а объём его будет бесконечен.

Поскольку видимая, барионная материя дает намного, чуть ли не на два порядка меньшую плотность, то и волнующий нас вопрос долгое время не возникал. Но в конце 90-х обнаружилось, что Вселенная расширяется ускоренно и для объяснения этого явления пришлось ввести понятие темной энергии. Это некая материя с отрицательным давлением, с антигравитацией, расталкивающая пространство. Ее природа совершенно неясна и в принципе темную энергию можно трактовать как эйнштейновскую космологическую константу λ (он, кстати, считал ее самой большой ошибкой своей жизни), которая противодействует силам тяготения, но начинает играть значительную роль лишь на больших масштабах.

Но этим дело не ограничилось. Для объяснения плоской ротационной кривой галактик и высокой скорости их движения в галактических скоплениях пришлось ввести не менее таинственную темную материю. В результате суммарная плотность Вселенной многократно возросла и стала приблизительно равна критической.

Кажется, однако, что лечение оказалось опаснее болезни. Из данного значения плотности, в частности, следует, во-первых, что никакими искривлениями наш мир не страдает, что он плоский в евклидовом смысле, что как бы и неплохо. Приятно жить в простом и понятном мире. Плоском, стоящем на трех китах...

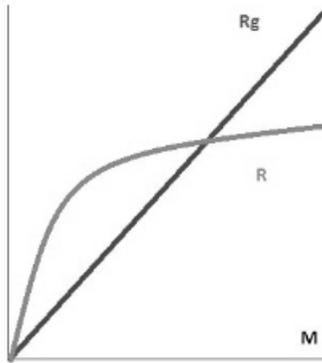
Но, во-вторых, не совсем приятно то, что лечить дефекты теории приходится чрезмерно сильными средствами, объясняя ускоряющееся расширение мира ростом его массы. Что довольно странно: ведь критическая плотность потому и критическая, что грозит последующим сжатием. Так что она оказалась вдвойне критической!

Но, господь с ними, с теориями, перейдем к практике: главное, мы получили, наконец, некую тегга $f_{\text{тгга}}$ и можем перейти к расчетам. Определим размер области, имеющей массу достаточную, чтобы удерживать фотоны. Воспользуемся известным выражением для гравитационного радиуса (См. Шварцшильда и Лапласа):

$$R_g = 2GM/c^2,$$

где G — гравитационная постоянная. Затем выразим массу через объем шара этого радиуса $(4/3)\pi R_g^3$ и критическую плотность. В итоге для R_g получим чуть менее 14 млрд. световых лет. Что явно меньше размеров Вселенной и подозрительно совпадает с радиусом видимой ее части. Настолько подозрительно, что заставляет задуматься о его не случайности. И о пределах наших знаний...

Ибо уже той массы, что мы наблюдаем и предполагаем, вводя ноумены темной энергии и материи, вполне достаточно, чтобы видимая нами область была невидимой для иных областей, но не по причине конечности скорости света (миры Хаббла), а потому что фотоны не могут ее покинуть. И уже тем более Вселенная в целом должна быть черной дырой!



Как видно из графика, радиус Шварцшильда пропорционален массе объекта, тогда как радиус самого объекта пропорционален корню кубическому из массы. С ростом последней линии на графике неизбежно пересекутся и объект превратится в черную дыру. Иными словами, ее можно получить не только локальным сжатием достаточно большого количества вещества (например, в результате гравитационного коллапса звезд), но и экстенсивным путём, накоплением материала.

Что, однако, если этого материала всегда хватало? То, что он сейчас разлетается во все стороны вместе с самим пространством, еще ничего не значит: куда он денется из объятий материнской черной дыры? Как видите, исходя из наших вычислений, вопрос этот совсем не риторический. Судя по всему, мы живем именно в ЧД и «снаружи» о нас можно судить лишь по рентгеновскому излучению аккреционного диска.

Где снаружи? Ведь, как писал замечательный популяризатор науки И. Новиков («Эволюция Вселенной», М, 1990), вне Вселенной ничего нет, ни пространства, ни времени! Но это странная идея. Столь же странная, как идея геоцентризма. Или антропоцентризма. Или уникальной Вселенной. Вспомните приткзку угольщика Франтишека Шквора из «Похождений бравого солдата Швейка»: «Никогда так не было, чтобы никак не было».

Что-то да было раньше — и до Творения, и до Биг Бэнга. Черт его знает что, в какой форме, как долго, но было. И всегда будет. И «снаружи» всегда есть. Иначе не было бы понятия «внутри». Написал ведь тот же И. Новиков в книге «Как взорвалась Вселенная» (1988) из легендарной библиотечки «Квант» 30-й раздел, называющийся «Вечно юная Вселенная»: о бесконечном и вечном мире многих миров, о Multiverse! Правда, рецензентом тогда у него был доктор физ.-мат. наук А. Линде, автор теории суперинфляции...

Мне могут возразить, что по мере приближения извне к черной дыре кривизна пространства сильно возрастает, и внутри черной дыры должно быть сильно искривленное пространство-время. Тогда как в нашем мире кривизна пространства практически отсутствует, оно по существу евклидово, в нем с достаточной точностью выполняется специальная теория относительности и эффекты общей теории относительности малы. Что было бы не так, если бы мы оказались внутри черной дыры.

Гм. Что тут скажешь? Во-первых, я бы не взял на себя смелость утверждать, что можно, так сказать, интраполировать (подчеркивая направленность внутрь, в

противоположность экстраполяции) теорию Эйнштейна, заведомо непригодную для этого (недаром она порождает сингулярности в таких случаях), на объекты — будем называть их так — по масштабам астрофизические. Физика Эйнштейна заканчивается за горизонтом событий! Никто не знает, что там происходит, внутри СМЧД. Более того, некоторые астрофизики упорно отрицают наличие сингулярности в их центре. И уж тем более не стоит этого делать с объектами космологических масштабов. Размером со Вселенную. Иначе не появились бы такие экзотические способы объяснить некоторые ее свойства, как темная энергия.

Во-вторых, если уж приводить возражения, то куда более убедительным будет иное. Из приведенных выше выкладок получается, что любая произвольно выбранная область Вселенной с радиусом около 14 млрд. световых лет будет невидима для соседних областей. Подчеркиваю: произвольно выбранная! Это странно. Но и наводит на ингерсные размышления.

В-третьих, теория черных дыр еще настолько не разработана, что даже сам Стивен Хокинг, ведущий специалист в этой области, 22 января этого года выложил на ресурсе Корнелльского университета arXiv.org **препринт** своей статьи, в которой предложил объяснение парадокса файервола (firewall), «стены огня». Как известно, Хокинг в 1974 году показал, что квантовые эффекты вблизи горизонта событий приводят к тому, что черная дыра должна излучать. Причем спектр излучения аналогичен спектру излучения абсолютно черного тела, что означает уничтожение информации о том, что дыра поглотила. Это противоречит постулату о сохранении информации и получило название информационного парадокса черных дыр.

Развивая идеи Хокинга и пытаясь разрешить парадокс, физик Джо Полчински с коллегами в 2012 году описали эффект так называемой «стены огня». Суть его состоит в том, что, вместо горизонта событий образуется так называемая «стена огня», регион с частицами колоссальных энергий. Этот результат, в свою очередь, оказывается в противоречии с теорией относительности, согласно которой горизонт событий ничем не отличается от остальных регионов пространства с точки зрения физических законов.

Так вот, из объяснений Хокинга следует, что черных дыр в классическом понимании этого слова не существует! Он пишет, что из-за вызванных квантовым эффектом возмущений определить точную границу черной дыры невозможно в принципе и предлагает заменить горизонт событий так называемым «видимым горизонтом событий». Этот горизонт способен задерживать материю и энергию только на время, а не навсегда. «Отсутствие горизонта событий означает, что не существует и черных дыр. По крайней мере, в смысле регионов пространства, которые свет не в состоянии покинуть», — делает вывод Хокинг.

Он сообщает, что подвести математическую основу под свое предположение пока не может, но эту работу недавно сделала известный космолог Лаура Мерсини-Хоутон, профессор физики из Университета Северной Каролины. 5 сентября она поместила на том же ресурсе свою работу, в которой **заявила**, что математически **доказала** невозможность существования черных дыр (Back-reaction of the Hawking radiation flux on a gravitationally collapsing star II: Fireworks instead of firewalls. Laura Mersini-Houghton, Harald P. Pfeiffer).

Ее расчеты показали, что излучение Хокинга возникает уже при коллапсе звезды, и она теряет массу столь стремительно, что плотность внутренних областей перестает расти и образование черной дыры останавливается.

«Я сама не могу оправиться от шока. Мы изучали эту проблему более 50 лет, и это решение заставляет нас о многом задуматься», — сказала исследовательница.

Что на самом деле остается на месте массивных звезд, могут дать дальнейшие наблюдения. Взрывы массивных звезд уже наблюдались в новейшую историю, так, в 1987 году астрономы наблюдали ярчайшую вспышку сверхновой SN 1987A. Однако ни черной дыры, ни нейтронной звезды на ее месте пока не обнаружено. Что странно и заставляет еще раз вспомнить о Никодиме Поплавски.

Весной 2011 г. появилась его статья *On the mass of the Universe born in a black hole* | ResearchGate (О массе Вселенной, возникшей в черной дыре). Поплавски пишет во вступлении:

«Показано, используя теорию гравитации Einstein-Cartan-Sciama-Kibble, что гравитационный коллапс спиновой жидкости из фермионной материи с жестко заданным уравнением состояния в черной дыре, обладающей массой M , порождает новую Вселенную с массой (формула)... Полагая массу равной массе нашей Вселенной (которая равна примерно 1026 солнечных масс), находим $M \sim 103M$. Таким образом, наша вселенная могла возникнуть из черной дыры с промежуточной величиной массы».

Иными словами, вполне возможно, что черные дыры (если они существуют) играют ключевую роль не только в эволюции нашей Вселенной, но и в генезисе Multiverse! И являются дополнительным аргументом в пользу его существования. С чем вас и поздравляю.



Владимир Кирсанов

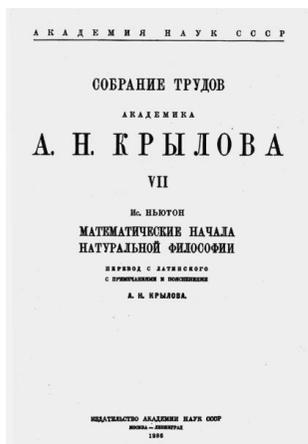
УНИЧТОЖЕННЫЕ КНИГИ: ЭХО СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ НАУКИ^[1]

В Советском Союзе 1930-е гг. были периодом все возрастающего интереса к истории науки: эти годы отмечены созданием Института истории науки и техники, а также публикацией большого числа книг в этой области, причем особое значение среди таких публикаций имели переводы классиков науки. Советские издательства в течение ряда лет практиковали даже специальную серию «Классики естествознания», в рамках которой печатались эти переводы.

Однако особую трудность в этом предприятии представляли книги создателей классической науки — Галилея, Ньютона и Лейбница, поскольку они были написаны в основном по-латыни и в них использовались методы, не знакомые современному читателю (сошлось, например, на синтетико-геометрический метод Ньютона). В течение многих лет русские и советские историки науки мечтали об этих переводах, и наконец в 1937 г. эта задача была выполнена — осуществлены переводы «Математических начал натуральной философии» И. Ньютона и «Динамики» Г.В. Лейбница.



Алексей Николаевич Крылов



Титульный лист «Начал»
в переводе А.Н. Крылова

Справедливости ради следует отметить, что к тому времени уже существовал перевод «Начал»^[2], сделанный замечательным русским математиком и механиком А.Н. Крыловым в 1914 г. К этому времени в его бурной научной и административной деятельности (напомним, что он был генерал-лейтенантом флота, глав-

ным инспектором кораблестроения и председателем Морского технического комитета) наметился перерыв, и он решил обратиться к истории науки. Вот как он сам впоследствии говорил об этом:

В 1913 г. и в первые месяцы 1914 г. я продолжал чтение лекций в Морской академии, изредка получал поручения от морского министра, консультировал на заводах, по субботам утром заседал в правлении РОПиТ^[3] и, кроме того, составлял и проверял спецификацию и проект заказа новых для него теплоходов; остающееся время посвящал научной работе, главным образом изучению «Начал» Ньютона, которые я намеревался перевести с латинского на русский язык^[4].

Крыловский перевод «Начал» был событием в русской науке не только потому, что отечественному читателю впервые была дана возможность ознакомиться с главной книгой современного естествознания, но и потому, что Крылов снабдил свой перевод подробными математическими комментариями, объясняющими наиболее трудные места и переводящими доказательства Ньютона, изложенные на языке синтетической геометрии, на язык современного математического анализа. Однако в своем стремлении объяснить Ньютона, Крылов часто увлекался и таким образом модернизировал текст, чтобы тот наилучшим образом соответствовал современному читателю, в ущерб точности перевода.

Примеры стремления Крылова к модернизации текста Ньютона встречаются на каждом шагу, например, в доказательстве Следствия 2 (предложение VI, теорема V) в переводе Крылова говорится:

Центростремительная сила обратно пропорциональна пределу количества $SY^2 \cdot PQ^2 / QR$ [...], ибо произведения

$$SY \cdot QP = SP \cdot QT^{[5]}$$

В то время как у Ньютона просто говорится, что сила обратно пропорциональна количеству $SY^2 \cdot PQ^2 / QR$ (а не пределу), ибо «прямоугольники $SY \cdot QP$ и $SP \cdot QT$ равновелики»^[6].

В доказательстве следующего следствия у Крылова сказано, что центростремительная сила будет пропорциональна некоторой величине вследствие того, что « $PV = QR^2 / QR$ по свойству круга кривизны»^[7]. В оригинале слова «по свойству круга кривизны» отсутствуют.

Следующий пример еще более показателен: доказательство знаменитого предложения XI, задачи VI (о законе центростремительной силы, направленной к фокусу эллипса) Крылов дает^[8] в форме современной математической статьи:

На SP опустим перпендикуляр QT и обозначим параметр эллипса через L , так что $L = 2BC^2 / AC$, имеем

$$L \cdot QR : LPv = QR : Pv \quad (1)$$

но $QR = Px$, из подобия же треугольников Pxv и PCE следует

$$Px : Pv = PE : PC,$$

значит,

$$QR : Pv = AC : PC,$$

но

$$LPv : Gv \cdot Pv = L : Gv \quad (2)$$

и

$$Gv \cdot Pv : Qv^2 = PC^2 : CD^2 \quad (3)$$

При совмещении точек P и Q будет (лемма VII, след. 2)

$$Qx = Qv$$

и следовательно в пределе будет

$$Qx^2 : QT^2 = Qv^2 : QT^2 = EP^2 : PF^2 = AC^2 : PF^2 = CD^2 : CB^2 \quad (\text{лемма XII}).$$

Итак,

$$Qv^2 : QT^2 = AC^2 : PF^2 = CD^2 : CB^2 \quad (4)$$

Между тем в оригинале нет ни нумерации уравнений, ни ссылок на подобие треугольников, ни упоминания о пределах:

Ad SP demittatur perpendicularis QT, et ellipseos latere recto principali (seu 2BCquad./AC) dicto L, erit L×QR ad L×Pv ut QR ad Pv, id est, ut PE seu AC ad PC; L×Pv ad GvP ut L ad Gv, et GvP ad Qv quad. ut PC quad. ad CD quad. et (per corol. 2. lem VII) Qv quad. ad Qx quad. punctis Q et P coeuntibus est ratio aequitatis; et Qx quad. seu Qv quad. est ad QT quad ut EP quad. ad PF quad. id est ut CA quad. ad PF quad sive (per lem. XII) ut CD quad. ad CB quad. Et conjunctis his omnibus rationibus, L×QR fit ad QT quad. ut AC×L×PCq, seu 2CBq×PCq×CDq ad PC×GvCDq×CBq, sive ut 2PC ad Gv. Sed punctis coeuntibus aequantur 2PC et Gv^[9].

Новый перевод в точности соответствует латинскому оригиналу:

Опуская из SP перпендикуляр QT и обозначая через L параметр эллипса, т.е. $2BC^2/AC$, находим, что L·QR относится к L·Pv как QR относится к Pv, т.е. PE или как AC к PC, а L·Pv относится к GvP как L к Gv, и GvP относится к Qv² как PC² к CD². Но при совпадении точек Q и P будет Qv² равно Qx² (по следствию леммы VII); наконец, Qx² или Qv относится к QT² как EP² к PF², т.е. как CA² к PF² или (по лемме XII) как CD² к CB². По перемножении всех этих пропорций получим L·QR относится к QT² как AC·L·PC²·CD² (или $2CB^2 \cdot PC^2 \cdot CD^2$) к PC·Gv·CD²·CB², или как 2PC к Gv^[10].

Наконец, укажем, что иногда Крылов в своем стремлении к модернизации не просто дополняет текст Ньютона или подвергает его модификации, а даже заменяет одно понятие другим, если ему это кажется справедливым. Так второй закон Ньютона в его переводе гласит:

Изменение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует^[11].

В то время как у Ньютона речь идет не о «количестве движения», а о «движении» вообще:

Mutationem motus proportionalem esse vi motrice impressae et fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitu^[12].

Что в точности соответствует новому переводу:

Изменение движения пропорционально приложенной силе и происходит по той прямой линии, по которой действует эта сила^[13].

Конечно, Ньютон знал разницу между понятием «движения» (motus) и «количества движения» (momentum), и если он в данном случае употребил слово «движение», у него, очевидно, были для этого веские основания.

Когда уже при советской власти в 30-е гг. XX в. в СССР стала бурно развиваться история науки, стала отчетливо ощущаться необходимость нового, более адекватного оригиналу, перевода «Начал». Это ощущение отчетливо прозвучало в статье Т.П. Кравца «Ньютон и изучение его трудов в России», опубликованной в юбилейном сборнике, посвященном 300-летию со дня рождения Ньютона в 1943 г. (в разгар войны с гитлеровской Германией):

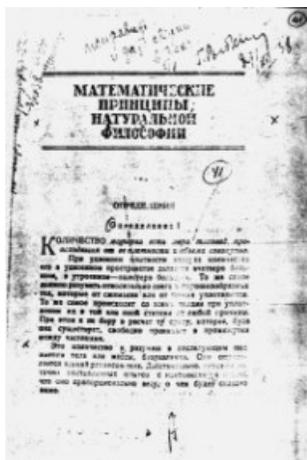
...Накануне войны 1914–1918 гг. известное одесское издательство «Матезис» намеревалось выпустить перевод «Начал», сделанный Чакаловым. По обстоятельствам войны и последовавшей разрухи издание не могло состояться. Но верстка перевода сохранилась: по отзыву видевших ее он обладает большими достоинствами. Нам кажется, что мы могли бы позвонить себе роскошь двух переводов «Начал» [14].

Не подлежит сомнению, что подобную точку зрения разделяли многие ведущие советские физики и историки науки. Более того, это место из статьи Кравца 1943 г., сопоставленное с фактом готовящейся в 1938 г. публикации (пусть несостоявшейся), вызывает недоумение: невозможно себе представить, чтобы Кравец, крупный советский историк науки, член-корреспондент АН СССР, человек близкий к Вавилову и Крылову, не знал об этой публикации. Более того, в 1934 г. по инициативе Вавилова и Крылова было задумано издание семитомного собрания сочинений Ньютона (об этом говорят архивные материалы, хранящиеся в фондах Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, ПФА [15]). Учитывая все эти обстоятельства, совершенно не понятно, как мимо Вавилова и Кравца могла пройти незамеченной подготовка в ГОНТИ [16] издания нового перевода «Начал».

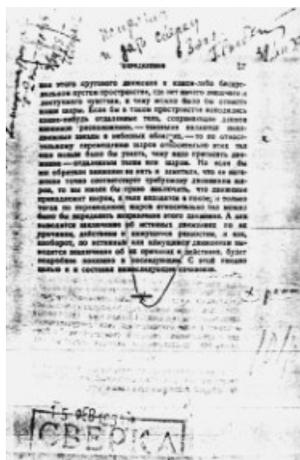
Почему Кравец помнил о том, что было полвека назад и не помнил о том, что было совсем недавно? Кроме того, неясно, кто такой Чакалов: ведь на самом деле новый перевод «Начал» мог быть сделан лишь специалистом, свободно владеющим нелегким аппаратом синтетической геометрии, который используется в книге, а также — экспертом в латыни. Таких людей в России и в СССР было немного, и их имена известны. Имени Чакалова среди них нет. Может быть, говоря о гранках, Кравец на самом деле имел в виду тот же самый перевод и ту же самую книгу, о которой говорю я? Кроме всего прочего, невозможно представить, чтобы издательство «Матезис», просуществовавшее по крайней мере до 1925 г., внезапно рассыпало набор, уже имея гранки нового перевода «Начал», а в обстоятельствах 1938 г. подобное легко объяснимо. Будущие поиски должны пролить свет на этот непростой вопрос.

Этой истории, правда, можно предложить и другое объяснение: дело в том, что с «Матезисом» еще до революции тесно сотрудничал Вениамин Федорович Каган, выдающийся геометр и историк математики, который уже советское время стал своим человеком в ГОНТИ. Представляется вполне правдоподобным, что если в действительности гранки нового перевода были сделаны в «Матезисе», а книгу издать так и не удалось, то Каган несомненно должен был обратить на это внимание и оказался тем самым каналом, по которому перевод «Начал» переключался из Одессы в Москву. Поскольку С.Е. Аршон, главный редактор ГОНТИ, был арестован в 1938 г. (об этом ниже), то можно вполне представить себе, что Кравец в 1942 г. никоим образом не хотел намекнуть на связь нового перевода «Начал» с «врагом народа».

Страницы обнаруженного экземпляра гранок нового перевода «Начал»



Внизу страницы виден инициал А., по-видимому, виза Аршона



Штамп типографии и визы редакторов

Экземпляр нового перевода «Начал» попал ко мне из личного архива Ивана Васильевича Кузнецова, который в середине 50-х гг. был директором Института истории естествознания и техники АН СССР, а до этого (с 1937 г. и до начала войны) работал в издательстве ГОНТИ старшим редактором отдела физики. Конечно, Иван Васильевич хорошо понимал ценность этого экземпляра, и благодаря его стараниям он смог сохраниться. Однако сохранился он в далеко не идеальном виде: в нем отсутствуют первые и последние страницы, содержавшие выходные данные, фамилии переводчика и редактора, более того, из некоторых страниц аккуратно вырезаны прямоугольные фрагменты полей, имевшие, очевидно, какие-то пометки. Короче, все было сделано для того, чтобы книга не вызывала никаких нежелательных ассоциаций. Для человека, знакомого с практикой советской цензуры, все это выглядело вполне закономерно и обыденно. Эта практика заключалась в том, что книги, написанные автором, подвергнутом репрессиям, уничтожались, или, по крайней мере, в них уничтожалось любое упоминание о нем.

Хранить дома или на работе книгу репрессированного автора, т.е. врага народа, считалось преступлением, и человек, заподозренный в этом, сам мог оказаться в тюрьме. Дело доходило до анекдота: когда после смерти Сталина был арестован и расстрелян Лаврентий Берия, всемогущий шеф тайной полиции, в это самое время выходило в свет второе издание «Большой Советской Энциклопедии», и том на букву «Б» к тому времени уже вышел; так вот вскоре после этого все подписчики энциклопедии получили по почте пакет с рекомендацией аккуратно вырезать из соответствующего тома статью о Берии, а на ее место также аккуратно вклеить вложенные в пакет страницы с вполне безобидным текстом^[17]. Практически все подписчики последовали этому совету, во всяком случае том со статьей о Берии является сегодня библиографической редкостью. Вопрос, кто в нашем случае был тем лицом, упоминания о котором необходимо было избежать любой ценой, мы коснемся позже. Сейчас я хотел бы остановиться на том, что собственно представляет собой сохранившийся перевод.

Несмотря на то что ряд страниц утерян, можно достаточно полно восстановить содержание экземпляра. При внимательном рассмотрении книги становится ясно, что издатели стремились, во-первых, как можно более точно придерживаться текста оригинала, а во-вторых, облегчить усвоение книги для массового (хотя и высокообразованного) читателя. Поэтому из издания были исключены части, относящиеся к чисто математическим проблемам (в Книге I таковы, например, Отдел I, «О методе первых и последних отношений», т.е., выражаясь современным языком, о методе перехода к пределу, Отделы IV «Об определении эллиптических, параболических и гиперболических орбит при заданном фокусе» и V «О нахождении орбит, когда ни одного фокуса не задано», говоря о которых, Крылов подчеркивал, что они « чисто геометрические и заключают в себе решение задач об определении конических сечений по данным их точкам или касательным»^[18]). Кроме того, в издании отсутствует вся целиком Книга II, посвященная, как мы знаем, движению тел в сопротивляющейся среде и почти целиком ошибочная. По-видимому, издатели стремились не столько к академической полноте, сколько к тому, чтобы в лучшем виде представить созданный Ньютоном фундамент небесной механики (во всяком случае, лишь то, что прошло проверку временем и не вызывает никаких возражений).

Текст перевода занимает в книге 257 страниц, т.е. предполагавшийся перевод обнимал приблизительно половину текста оригинала. Помимо этого, в книге существовали предисловие редактора (вещь обязательная в подобных изданиях) и обширные примечания, объясняющие наиболее трудные места в тексте (распределенные по 88 сноскам). Текст, относящийся к примечаниям, к сожалению, не сохранился, однако по месту сносок можно сделать некоторые предположения относительно их характера. Ряд сносок призваны восполнить отсутствие в книге Отдела I, другие, по-видимому, совпадают с примечаниями А.Н. Крылова, наконец, третьи с ними не совпадают и, вероятно, должны давать объяснение трудных мест, которые Крылов пропустил или не счел нужным объяснять. Книга, по-видимому, должна была иметь формат 82×1101/32, аналогичный «Геометрии» Декарта, также опубликованной в ОНТИ в 1938 г. У книги Декарта был тот же редактор, что и у книги Ньютона — Г.Ф. Рыбкин. Кстати, последняя в новом переводе называлась не «Начала», а «Принципы» — «Математические принципы натуральной философии», что мне представляется более удачным.

Неопровержимым доказательством того, что книга должна была выйти в ОНТИ, являются многочисленные записи работников типографии и издательства на страницах книги: на каждой тетрадке гранок стоит типографский штамп «15 ФЕВ 1938», виза технического редактора Е.Г. Шпака, указание редактора издательства: «Исправить и дать сверку в 3-х экз. Г. Рыбкин. 29/ХІІ 38», визы сверщиков и, наконец, типографский штамп «Сверка». Из этого можно сделать вывод, что набор прошел весь цикл типографской проверки, книгу можно было выпускать в свет. Тем не менее этого не произошло. В поисках объяснения этого факта стоит обратить внимание, что на каждой странице есть еще одна виза — а именно, инициал «А». Я полагаю, что он обозначал визу главного редактора издательства С.Е. Аршона, который вскорости был арестован и погиб в тюрьме или в лагере.

Соломон Ефимович Аршон, талантливый советский математик, сменил на посту главного редактора ГРТТЛОНТИ другого известного математика и историка науки М.Я. Выгодского, после того как тот был вынужден уйти после скандала, связанного с присуждением премии Папской академии его книге о процессе над Галилеем. Биография С.Е. Аршона осталась неизвестной, несмотря на ту весьма

важную роль, которую он играл в советском научном сообществе в 30-е гг. Со слов Полака [19] и Виленкина [20], мы знаем только лишь то, что он был арестован в конце 30-х гг. и с той поры его имя уже больше никогда не упоминалось. Тот факт, что новый перевод «Начал» Ньютона, а затем и «Динамика» Лейбница так и не увидели свет, говорит, во-первых, о том, что он имел к этим двум книгам близкое касательство (может быть, даже именно он написал предисловие), а во-вторых, что ему было предъявлено очень серьезное по тем временам обвинение — по слухам, его обвинили в шпионаже, поскольку он переписывался с отцом, «оказавшимся после гражданской войны за рубежом, причем письма зачастую были криптограммами (оба любили головоломки)» [21].

Мы не знаем точной даты его ареста, но если учесть, что «Геометрия» Декарта, подписанная к печати 29 ноября 1938 г., была благополучно опубликована, а «Начала»/«Принципы» Ньютона, в декабре того же года проходившие сверку, были уничтожены, представляется весьма вероятным, что Аршон был арестован в самом конце 1938 г. или же — в самом начале 1939 г. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что Аршон был уволен с работы в издательстве в июне 1938 г. [22] Затем в издательство пришел новый директор, работа возобновилась, но замечательные издания Ньютона и Лейбница оказались потерянными безвозвратно.

* * *

Чудом уцелевшие гранки второй книги «Сочинений по динамике» Г.В. Лейбница дошли до нас в значительно лучшем виде: в экземпляре присутствуют все страницы за исключением самой последней, где обычно печатались выходные данные: формат бумаги, количество авторских листов, тираж, фамилии научного и технического редакторов издательства. Но и без этой страницы можно найти все, что нам требуется знать об этой книге. Экземпляр попал в мои руки при разборе архива А.П. Юшкевича — его тесть, Владимир Соломонович Гохман, был одним из переводчиков этой книги.



Владимир Соломонович
Гохман



Титульный лист сочинений по
динамике Г.В. Лейбница

Книга состояла из двух разделов. Первый раздел «Мелкие статьи» включал:

I. Краткое указание ошибки достопочтенного Декарта и других относительно естественного закона, согласно которому по божьей воле всегда сохраняется якобы одно и то же количество движения и которым неправильно пользуются, между прочим, в механической практике;

II. Дальнейшее пояснение по поводу возражения против декартовского «закона природы» и по поводу выдвигаемого взамен его закона;

III. Некоторый общий принцип, полезный не только в математике, но и в физике, с помощью которого путем рассмотрения божественной мудрости исследуются законы природы, в связи с чем излагается разногласие, возникшее с Мальбраншем, и отмечаются некоторые ошибки картезианцев;

IV. О законах природы и правильном измерении движущих сил — возражение картезианцам и ответ Папену по поводу его соображений, изложенных им в «Acta eruditorum» (1691 г. январь);

V. Динамический этюд о законах движения, где показано, что сохраняется не количество движения, а абсолютная сила, или величина движущего действия;

VI. Динамический этюд о вновь открытых и достойных удивления законах природы в связи с силами и взаимными действиями тел — и о законах, приведенных к их причинам.

Одно из главных сочинений Лейбница по физике «Динамика. О потенции и законах телесной природы» (*Dynamica de potentia et legibus naturae corporae*) составляло целиком содержание второго раздела. Объем книги включал 462 страницы, из которых 335 страниц приходилось на «Динамику», а оставшуюся часть занимали «Статьи», небольшое предисловие и примечания. Взглянув на титульный лист книги, можно подумать, что переводчиком книги был В.И. Егоршин, но это не так: в написанном им же предисловии мы читаем, что переводчиком большинства статей и разделов «Динамики» был В.С. Гохман, а первоначальный текст перевода остальных частей настоящего издания был дан С.П. Кондратьевым»^[23], роль же Егоршина, как я понимаю, свелась к редактированию этого перевода.

По сравнению с философскими сочинениями Лейбница его трудам по теологии и логике, его естественно-научным сочинениям в России не повезло: за исключением «Краткого указания» и некоторых отрывков из математических сочинений — на русский язык не переведено ни одного произведения Лейбница из области физико-математических наук. Поэтому планируемое издание представляло для русского читателя особую ценность — в книге достаточно полно представлена эволюция идей Лейбница, приведших его к созданию новой науки о силе и действии, которую он назвал динамикой. Конечно, вклад Лейбница в физику не ограничивался указанными сочинениями, для полноты картины следовало бы подумать об издании его «Форономии» (*Phoronomus*), «Новой физической гипотезы» (*Hypotesis physica nova*), состоящей из «Теории абстрактного движения» (*Theoria motus abstracti*) и «Теории конкретного движения» (*Theoria motus concreti*), а также «Попытки выяснить причину небесных движений» (*Tentamen de motuum coelestium causis*), но в предполагаемом издании содержатся и главные идеи, приведшие его к формулировке законов сохранения.

Хотя многие из этих идей сегодня можно считать устаревшими (например, введение и использование понятия конатуса), тем не менее для истории науки со-

чинения Лейбница по динамике представляются важнейшей вехой в эволюции представлений классической физики, и предполагаемое издание «Сочинений по динамике» на русском языке предназначено было заполнить брешь в исследованиях отечественных ученых, которая продолжает зиять и до сей поры: в то время как в мировой истории науки за время начиная с 30-х гг. прошлого века, появился ряд солидных работ, посвященных физике Лейбница (отметим, к примеру, исследования П. Костабеля^[24] и Э. Эйтона^[25]), в русской истории науки эта важнейшая глава так и остается ненаписанной.

Теперь следует сказать несколько слов о редакторе и переводчиках книги. Ее редактор Василий Петрович Егоршин (1898–?) в 30-е гг. был одним из авторитетных специалистов по истории и философии науки, пользовавшихся благосклонным вниманием со стороны советской власти. Так, в 1930 г. он выпустил книгу «Естествознание, философия и марксизм»^[26] (единственная из всех тогдашних книг по философии и истории науки) она заслужила одобрительную оценку Э. Кольмана, надзиравшего за наукой от имени ЦК ВКП(б), который ругая ругает таких выдающихся ученых, как Егоров, Буняковский, Лосев, Флоренский, Бугаев, Некрасов: «Весь этот букет математиков-идеалистов, защитников самодержавия, религии». И далее сетует, что этому засилью «мракобесов» до сих пор не дан отпор, лишь «в вышедшей только книжке т. Егоршина [...] дан краткий обзор «заслуг» русских математиков на идеалистическом фронте»^[27].

И действительно, достаточно прочитав оглавление книги Егоршина, чтобы понять ее направленность: «Связь естествознания с реакционной философией», «Отражение реакционной философии в «Курсе физики» О.Д. Хвольсона», «Сотрудничество русских естествоиспытателей с философскими черносотенцами» и т.п. Одновременно с отстаиванием большевистских позиций в естествознании Егоршин определенно имел склонность к истории науки, и в этой области ему принадлежат немалые заслуги. В 1934 г. он пишет статью «Из истории механики эпохи Возрождения» и публикует ее в одном из советских официозов того времени — журнале «Под знаменем марксизма»^[28] (1934, № 5, с. 86–113), а в следующем году подготавливает диссертацию «Галилей в истории механики»^[29]. В 1937 г. Егоршин редактирует перевод «Избранных сочинений по механике» Иоганна Бернулли^[30], сделанный В.С. Гохманом и Д.Г. Беспрозванным, а 1938 г. под его редакцией выходит перевод «Основ динамики точки» Леонарда Эйлера^[31], причем предисловие и примечания принадлежат также Егоршину.

Перевод осуществлен другими двумя специалистами В.С. Гохманом и С.П. Кондратьевым, они же переводчики и книги Лейбница по динамике. Наконец, уже после войны Егоршин опубликовал свой собственный перевод «Динамики» Даламбера, снабдив его подробными примечаниями^[32].

О Д.Г. Беспрозванном и С.П. Кондратьеве узнать ничего не удалось, известно только, что, помимо Эйлера и Лейбница, Кондратьев также переводил с латыни «Описание морского берега Испании» Р.Ф. Авиена^[33].

Что же касается В.С. Гохмана, то о нем удалось узнать побольше. Владимир Соломонович Гохман (1880–1956) был чрезвычайно талантливым и прекрасно образованным человеком; он родился в Мариуполе в семье крестьянина — еврея-колонииста, который к моменту рождения сына уже служил счетоводом у богатого торговца. В 1899 г. он закончил гимназию с золотой медалью и поступил Петербургский университет, избрав своей специальностью физику. После окончания университета он собирался продолжать занятия наукой, но обстоятельства выну-

дили его кардинально изменить профессию (по слухам, он участвовал в студенческих беспорядках, и из-за этого его не оставили в университете; существует, однако, и другое объяснение этого факта: для него было невозможно стать приват-доцентом, так как для этого необходимо было перейти в православие). Вместо приват-доцента Владимир Соломонович стал сотрудником страхового общества «Россия», но не простым, а выдающимся. Годы революции и Гражданской войны он провел в Нью-Йорке, наездами бывая в России, то в Москве, то в Мариуполе.

В 1922 г. Гохман окончательно переселился в Москву, где занял должность управляющего научно-техническим отделом Госстраха. Это были годы нэпа, и он, вероятно, неплохо зарабатывал, потому что смог — на фоне общей разрухи и нехватки жилья — выстроить себе трехкомнатную кооперативную квартиру в начале теперешнего Кутузовского проспекта. Впоследствии квартира стала государственной, но всем жильцам выдали компенсацию. В 1929 г. дочь Гохмана, Елена Владимировна, вышла замуж за Адольфа Павловича Юшкевича, будущего выдающегося историка математики, который еще на моей памяти жил в этой квартире. В 30-е гг. Гохман уже оставил свою службу в Госстрахе и стал доцентом кафедры физики Московского института связи, по-видимому, именно в это время он обратился к переводческой деятельности и не оставлял ее уже до конца жизни.

В 1934 г. Гохман переводит для сборника «Второе начало термодинамики», статьи Уильяма Томсона (лорда Кельвина) (с английского) и Мариана Смолуховского (с немецкого) [34]. В 1934–1936 гг. он отредактировал и отчасти исправил перевод (с немецкого) трехтомной «Истории физики» Фердинанда Розенбергера [35], к тому времени, безусловно, лучшей книгой в этой области (ее первое издание было подготовлено Сеченовым, знаменитым русским физиологом). Затем, как мы уже теперь знаем, он взялся за перевод (с латыни) трудов Эйлера и Лейбница. В 1937 г. он перевел (с латыни, при участии Д.Г. Беспрозванного) «Избранные сочинения по механике» И. Бернулли (см. выше) и (с разных языков) сборник работ различных авторов (Д. Бернулли, М. Ломоносов, Д. Джоуль, Р. Клаузиус, Дж. Максвелл), вышедший под заглавием «Основатели кинетической теории материи» [36]. В 1938 г. он переводит «Аналитическую механику» Лагранжа (с французского) [37]. Наконец, уже после войны, незадолго до смерти, им подготовлены «Гидродинамика» Даниила Бернулли (перевод с латыни) [38] и третий том «Экспериментальных исследований по электричеству» Майкла Фарадея (перевод с английского, совместно с Е.Н. Кладом) [39].

Становится ясно, что среди переводчиков серии «Классики естествознания» В.С. Гохман был, конечно, выдающейся фигурой как по количеству выполненной им работы, так и по тематическому диапазону. Вместе с тем даже из этого небольшого анализа видно, как мало было людей, способных выполнять нелегкую работу переводчика латинских научных текстов. В те довоенные годы такими людьми были В.С. Гохман, С.П. Кондратьев, Д.Г. Беспрозванный и упомянутый Т.П. Кравцом Чакалов. К этому списку можно добавить А.Н. Крылова, Д.Д. Мордухай-Болтовского, и Г.Н. Свешникова (переводчика «Стереометрии винных бочек» И. Кеплера). Возвращаясь к вопросу о том, кто мог быть автором нового перевода «Начал» Ньютона, мы, по-видимому, должны ограничиться этими семью кандидатурами; Крылова, Мордухай-Болтовского и Свешникова можно исключить, — первого — по очевидной причине, остальных же — потому, что оба были математиками, и вряд ли взялись бы за перевод книги по физике. Тогда остается всего четверо. Среди них скорее всего и находится наш неизвестный автор.

* * *



Борис Михайлович Гессен

Нам остается рассмотреть последнюю из невышедших книг — хрестоматию по истории физики XVII века, составленную Б.М. Гессеном.

Ее гранки попали ко мне, как и предыдущая книга, в результате разбора архива А.П. Юшкевича и предположительно экземпляр принадлежал тому же В.С. Гохману. Этот экземпляр, как и первый из мною рассматриваемых, подвергся цензуре: тигульный лист и все страницы с выходными данными отсутствуют, в добавок утеряны заключительные тетради. Тем не менее многое удалось установить. Во-первых, полностью сохранилось предисловие, подписанное Гессеном (по-видимому, владелец гранок ограничился тем, что уничтожил первые и последние страницы, не обратив внимания на то, что нежелательная информация может сохраниться внутри основного текста), а во-вторых, название книги напечатано на полях внизу каждой брошюровочной тетради. Книга должна была называться «Материалы и документы по истории физики» и подразделялась на три больших части или «темы». Содержание этих тем таково:

Часть I. Социально-экономические предпосылки классической физики (с. 9–115).

1. Ф. Энгельс. Старое введение к «Диалектике природы».
2. К. Маркс и Ф. Энгельс. Отрывки из «Немецкой идеологии».
3. Торговля пути и средства сообщения в XVI–XVII вв.
4. Военное дело и военная промышленность в XVI–XVII вв.
5. Развитие черной и металлургической промышленности в XVI–XVII вв.
6. Инженеры и инженерное дело в XVI–XVII вв.
7. Хронологическая справка по Фельдхаузу.

Часть II. Зарождение и развитие основных принципов классической механики и борьба вокруг них в XVII в. (с. 117–574).

1. А. Э. Гаас. Английская механика.
2. Ж. Л. Лагранж. Об основных принципах статики и механики.
3. А. Г. Столетов. Механика Леонардо да Винчи (текст раздела отсутствует).
4. Г. Галилей. Исследования по механике.
5. Х. Гюйгенс. Исследования по механике.
6. Р. Декарт. Об общих принципах механики.
7. Г. В. Лейбниц. Исследования по механике.
8. Джон Смитон. О двух мерах движения.
9. И. Ньютон. О законах движения.
10. Ф. Энгельс. Об основах механики.
11. Иоганн Бернулли. Новые размышления о системе Декарта.

12. Ж. Л. Даламбер. Об основах динамики.
13. А. Эйнштейн. О механике Ньютона и ее развитии.
14. Р. Глейзбрук. Основные этапы развития оптики.

Часть III. Проблема движения в физике Ньютона. Борьба материализма и идеализма вокруг этой темы. (с. 575–784; далее страницы отсутствуют).

Характеристика основных направлений XVII–XVIII вв.

1. А. И. Герцен. Письма об изучении природы.
2. К. Маркс. Святое семейство.
3. Ф. Энгельс. Отрывки из «Диалектики природы» и «Антидюринга».
4. Г. Ф. Г. Гегель. Об эмпиризме.

Борьба за новое естествознание.

1. Общий прогресс науки в XVII в.
2. Старые университеты и их борьба против новой науки.
3. Научные общества.
4. Научные журналы в XVII в.

Концепция материи и движения у Ньютона. Теологические мотивы его мировоззрения.

1. И. Ньютон. «Оптика». Вопросы.
2. И. Ньютон. «Начала». Книга III.
3. Бойлевские лекции Бенгли и его переписка с Ньютоном.
4. Полемика Кларка с Лейбницем.

Материалистическая критика ньютоновской концепции материи и движения в XVII в. (Текст этого раздела утерян.)

1. Джон Толанд. Письма к Серене.
2. П. С. Лаплас. Изложение системы Мира. Седьмое примечание.
3. И. Кант. Общая история и теория неба.

В предисловии к книге Б.М. Гессен пишет:

Настоящий сборник документов и материалов ставит себе задачу познакомить читателя с историей физики по первоисточникам. От подобных сборников, существующих в западноевропейской литературе и представляющих собрание небольших отрывков из классиков, расположенных в хронологическом порядке, настоящее собрание документов отличается прежде всего подбором и оформлением материала. Отсюда — больший по сравнению с обычными историями физики экономической и технической материал^[40].

Действительно, книга, сделанная Гессеном, по тем временам была абсолютно новаторской, это была история науки, написанная, как мы сказали бы сегодня, в общем историко-культурном контексте. Современному читателю, возможно, покажется излишним обилие текстов, принадлежащих классикам марксизма, но в то время это была обычная дань традиции, а с другой стороны, искренняя убежденность автора (с юности увлеченного социал-демократическими идеями, восторженно встретившего революцию, члена большевистской партии с 1919 г.) в том, что марксистская доктрина и есть наилучший путь объяснения всего, что происходит в обществе и науке. Нелишне напомнить, что убежденность разделялась в то

время многими выдающимися учеными, примером может служить фантастический успех доклада Гессена «Социально-экономические корни механики Ньютона» на II Международном конгрессе в Лондоне в 1931 г.

Поскольку расширенный вариант этого доклада был опубликован ^[41], не представляет труда сравнить его с новой книгой Гессена, и это сравнение показывает, что книга являет собой еще более расширенный и улучшенный вариант доклада: те вопросы, которым в докладе посвящен абзац или страница, в новой книге занимают отдельную главу. Так обстоит дело, например, с лекциями Бенгли или же с «Письмами» Дж. Толанда. Практически все главные пункты гессеновского доклада получают в книге развернутое освещение, и часто главы книги соответствуют параграфам доклада. Например, в той части доклада, где разбираются социально-экономические предпосылки ньютоновой физики эти параграфы таковы: *Пути соощения, Промышленность, Война и военная промышленность*, что полностью соответствует первой части новой книги, и то, что в докладе занимало восемь страниц теперь составляет шестьдесят. Мелкие детали, которые в докладе лишь вскользь упоминаются и даны в приложении, в книге разбираются подробно (например сатира Буало на университетские порядки).

Специального рассмотрения заслуживает вторая часть: «Зарождение и развитие основных принципов классической механики...», которая является хрестоматией по истории физики XVII в. Большинство материалов, опубликованных в этом разделе, впервые появляются в отечественной литературе, а многие из них до настоящего времени остаются практически неизвестными русскому читателю (таковы, например: статья Гааса «Античная механика», статья И. Бернулли о динамике Ньютона и Декарта, трактат Р. Бошковича о центрах сил).

В предисловии к книге Гессен говорит, что так как «переводная русская литература по классикам естествознания весьма бедна, поэтому большая часть материала появляется в русском переводе впервые» (гранки, с. 8). Действительно, хотя впоследствии (особенно во второй половине 1930-х гг. — к несчастью, Гессен не дожил до этого времени) в нашей литературе появилась богатая коллекция переводов в серии «Классики естествознания», те переводы, о которых говорит Гессен, были в самом деле первые: сравнение соответствующих текстов с позднейшими переводами Лагранжа, Гюйгенса, Лейбница, Декарта и Даламбера убеждает нас в том, что они являются совершенно оригинальными. Более того, некоторые из переведенных в книге текстов до сих пор остаются неизвестными русскому читателю (к примеру, только что упомянутые мною работы Бошковича, Иоганна Бернулли и Лейбница), а некоторые были переведены значительно позже (например, лишь недавно лекции Бенгли были переведены покойным Ю.А. Даниловым ^[42]).

Естественно, встает вопрос, кто был переводчиком всех этих работ. Я не исключаю, что какая-то часть могла быть переведена самим Гессеном (особенно это касается переводов с английского, который он знал в совершенстве) — в своей автобиографии 1924 г., хранящейся в архиве МГУ, Гессен говорит, что кроме английского владеет также немецким, французским и латынью, но скорее всего, переводы (с латинского) работ Гюйгенса, Бошковича и Лейбница были сделаны кем-то другим. Гессен привел имена переводчиков в предисловии, и они, видимо, были бы указаны в оглавлении. Однако страница с оглавлением, как мы знаем, отсутствует, поэтому, как и в случае с переводом «Начал», остается только строить догадки. Вполне вероятно, что как-то с этими переводами был связан Гохман, так как книга найдена вместе с другими принадлежавшими ему материалами. С другой сто-

роны, часть переводов Лейбница дублирует переводы в книге Лейбница «Сочинения по динамике», которые сделаны при участии Гохмана, и тексты этих переводов существенно отличаются друг от друга. Скорее всего, если он и принимал участие в работе над книгой, то как редактор или же переводчик иных латинских текстов.

Помимо переводов классиков науки в книгу включены обширные исторические обзоры, принадлежащие самому Гессену. Каждую часть предваряет краткий обзор содержащегося в ней материала, а затем уже каждый раздел содержит соответствующий исторический очерк, причем автор одинаково свободно ориентируется как в истории науки, так и в социальной истории. Так, в первой части «Социально-экономические предпосылки классической физики» он дает развернутую картину состояния торговли, транспорта, промышленности и военного дела. Выдержки из классиков марксизма выполняют здесь не столько идеологическую функцию, сколько фактологическую: Гессен выбирает из сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса отрывки, которые служат (в большинстве случаев) вполне уместной и любопытной иллюстрацией, дополняющей общую картину.

Поэтому, например, выдержки «Из истории купеческого капитала» К. Маркса и из письма Ф. Энгельса Конраду Шмидту удачно соседствуют с описаниями английской торговли Льюиса Робертса^[43] или же текстом «Навигационного акта» Кромвеля. В целом же исторические обзоры Гессена обладают большой познавательной ценностью и не перестали быть интересными и для современного читателя. Менее информативными являются его историко-научные комментарии во второй и третьей частях, но здесь сам за себя говорит выбор классических текстов, он сделан совершенно нетрадиционно и не допускает подробных комментариев в выбранном формате книги.

Сегодня нам известно, что 21 августа 1936 г. Гессен был арестован по ложному обвинению в причастности к убийству С.М. Кирова, а 20 декабря 1936 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда. С другой стороны, в тексте книги Гессена есть ссылки на работы, опубликованные в 1934 г., поэтому, принимая во внимание, что для советского издательства обычным сроком (от момента сдачи рукописи в производство до момента выхода гранок) являлся по меньшей мере год, по-видимому, гранки книги появились не ранее 1936 г., ибо если бы они появились в 1935 г., то к следующему году ее тираж уже должен был поступить в продажу.

В 1934 г. для Гессена ничего не предвещало надвигающейся трагедии. Важно отметить, кроме того, что в том году Институт истории науки в Ленинграде начал подготовку издания семитомного собрания сочинений И. Ньютона. Согласно плану этого издания, хранящемуся в Санкт-Петербургском филиале Архива Академии наук^[44], Гессен значится как редактор пятого и шестого томов, содержащих «Начала натуральной философии», а каждый том согласно имеющейся в деле «Инструкции по составлению собрания сочинений Ньютона»^[45] помимо основного текста должен был содержать вступительную статью, «аннотированный и снабженный выдержками список текстов или частей текстов, не включенных в собрание», комментарии и указатели. В сентябре 1934 г. академик С.И. Вавилов как главный редактор «Собрания» направил в Государственное технико-теоретическое издательство письмо (т.е. ГТТИ, то самое, где главным редактором был С.Е. Аршон) о подписании договоров с переводчиками и редакторами^[46], а в октябре издательство известило Вавилова, что план одобрен и договоры будут заключены в ближайшее время^[47]. Эти события позволяют нам по-новому взглянуть на обстоятельства начала 1938 г., когда в ГТТИ появляются гранки нового перевода «Начал».

Между 1936 г. и 1938 г. в Издательстве технико-теоретической литературы должны были выйти в свет три замечательные книги, отсутствие которых до сих пор болезненно ощущается: новый перевод «Математических начал натуральной философии» И. Ньютона, «Сочинения по динамике» Г.В. Лейбница и «Материалы и документы к истории физики», составленные Б.М. Гессеном. И в это же самое время в том же издательстве должно было появиться семитомное собрание сочинений И. Ньютона, включающее публикацию «Начал» под редакцией Гессена. Не вызывает сомнения, что Гессен был в курсе всех этих начинаний и поддерживал тесный контакт со всем вовлеченными в них лицами. Невозможно сомневаться и в том, что С.Е. Аршон как руководитель издательства также теснейшим образом был причастен к этим событиям. Сегодня мы знаем, что издание собрания сочинений И. Ньютона не продвинулось дальше одобрения со стороны АН СССР и издательства, но другие три книги были набраны, но так и не были опубликованы. Наиболее правдоподобным объяснением такого хода событий является обычная для советских организаций практика уничтожения книг репрессированных авторов, а так как и С.Е. Аршон и Б.М. Гессен были осуждены и убиты как раз в это время, книги, к которым они имели столь близкое отношение, должны были разделить их судьбу, — т.е. быть уничтоженными. Но как мы имели неоднократную возможность убедиться, — *habent sua fata libelli*.

* * *

Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность всем лицам, помогавшим ему в работе над настоящей статьей: Н.И. Кузнецовой (ИИЕТ РАН) — с экземпляра гранок «Начал», обнаруженных в архиве ее отца, эта работа, по существу, началась; А.А. Юшкевичу, профессору математики университета Северной Каролины (США), сообщившему мне биографические сведения о своем деде — В.С. Гохмане; Б.Б. Лебедеву, сотруднику Российского государственного архива экономики — за помощь в розысках материалов Государственного издательства технико-теоретической литературы; Т.А. Токаревой (ИИЕТ РАН) — за помощь и советы в процессе написания статьи; С.С. Демидову (ИИЕТ РАН) и Н.Е. Ермолаевой (Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет), с которыми я обсуждал первую версию статьи, — за ряд ценных замечаний и советов; а также С.Р. и М.С. Филоновичам (Государственный ун-т Высшей школы экономики) — за помощь в создании электронных версий рассматриваемых здесь книг.

Примечания

- [1] Впервые опубликовано в: Вопросы истории естествознания и техники. 2005. № 4. С. 105-124.
- [2] *Ньютон И.* Математические начала натуральной философии. Изд. Николаевской морской академии. СПб., 1914. Далее ссылки даны по изданию 1989 г.
- [3] Российское общество предпринимателей и торговцев. — В. К.
- [4] *Крылов А.Н.* Мои воспоминания. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 203.
- [5] *Ньютон.* Математические начала... 1989. С. 82.
- [6] *Ньютон И.* Математические принципы натуральной философии. М.; Л.: ГОНТИ НКТП, Главная редакция технико-теоретической литературы, 1938 (гранки). С. 91.

- [7] *Ньютон*. Математические начала... 1989. С. 83.
- [8] Там же. С. 91-92.
- [9] *Newton, I.* Philosophiae naturalis principia mathematica. Cambridge, 1972. P. 119.
- [10] *Ньютон*. Математические принципы... 1938. С. 102.
- [11] *Ньютон*. Математические начала... 1989. С. 40.
- [12] *Newton.* Philosophiae naturalis... 1972. P. 58.
- [13] *Ньютон*. Математические принципы... 1938. С. 58.
- [14] *Кравец Т.П.* Ньютон и изучение его трудов в России // Исаак Ньютон / Под ред. С.И. Вавилова. 1643–1727. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1943. С. 328.
- [15] ПФА АН СССР. Ф 154. Оп. 1. № 109. Л. 1–30.
- [16] ГОНТИ НКТП — Государственное объединенное научно-техническое издательство Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР. До 1934 г. существовало множество отраслевых издательств — медицинское (Медгиз), химическое (Химиздат) и др., в их числе и издательство технико-теоретической литературы (ГТТИ или Гостехиздат). Затем большинство этих издательств были включены в состав Объединения научно-технических издательств НКТП (ОНТИ НКТП), которое в том же 1934 г. превратилось в Объединенное научно-техническое издательство (с той же аббревиатурой — ОНТИ), причем бывшие независимые издательства стали в нем «главными редакциями», сохранившими, впрочем, некоторую автономию. Так в рамках ОНТИ НКТП возникла Главная редакция технико-теоретической литературы (ГРТТЛ), она и занималась выпуском книг серии «Классики естествознания». Главный редактор ГРТТЛ (в то время — С.Е. Аршон) был, по существу, директором издательства. В 1938 г. ОНТИ преобразовано в ГОНТИ (Государственное объединенное научно-техническое издательство), а в 1939 г. ГОНТИ НКТП было ликвидировано, а вместо него создан целый ряд различных издательств, уже не подчиненных Наркомтяжпрому. В их числе вновь было создано Государственное издательство технико-теоретической литературы, где продолжалось издание книг серии «Классики естествознания».
- [17] БСЭ. 2-ое изд. Т. 5. С. 18–22. Статья «Берия Л.П.» была заменена на статью «Берингов пролив», которую вопреки энциклопедическим стандартам пришлось растянуть на несколько страниц.
- [18] *Ньютон*. Математические начала... 1989. С. 106.
- [19] *Кирсанов В.С.* Возвратиться к истокам? (Заметки об Институте истории науки и техники АН СССР) // Вопросы истории естествознания и техники. 1994. № 1. С. 14.
- [20] *Виленкин Н.Я.* Формулы на фанере // Природа. 1991. № 6. С. 101.
- [21] Там же.
- [22] Приказ № 1636/к от 17 июня 1938 г. НКТП СССР // Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 7297. Оп. 1.
- [23] *Лейбниц Г.В.* Сочинения по динамике. М.; Л.: ГОНТИРРТЛ НКТП, 1938 (гранки). С. 21-22.
- [24] *Costabel, P.* Leibniz et la dynamique, Paris, 1960.
- [25] См. ссылки на его работы *Aiton, E. J.* Leibniz. A biography. Bristol; Boston, 1985.
- [26] *Егоршин В.П.* Естествознание, философия и марксизм. М.: Госиздат РСФСР, 1930.
- [27] *Кольман Э.* Политика, экономика и... математика // За марксистско-ленинское естествознание. 1931. № 1. С. 30.
- [28] *Егоршин В.П.* Из истории механики эпохи Возрождения // Под знаменем марксизма. 1934. № 5. С. 86–113.

- [29] Во всяком случае ее автореферат напечатан в журнале «Вестник Коммунистической академии» (1935) № 1–2, с. 55–58.
- [30] *Бернулли И.* Избранные сочинения по механике. М.; Л.: ГРТТЛ, 1937.
- [31] *Эйлер Л.* Основы механики точки. М.; Л.: ОНТИ, 1938.
- [32] *Даламбер Ж.* Динамика. М.; Л.: Гостехиздат, 1950.
- [33] Вестник древней истории. 1939. № 2(7). С. 227–237.
- [34] Второе начало термодинамики. М.; Л.: ГТТИ, 1934.
- [35] *Розенбергер Ф.* История физики. В 3 т. М.; Л.: ОНТИ, 1934–1936.
- [36] Основатели кинетической теории материи. М.; Л.: ОНТИ, 1937.
- [37] *Лагранж Ж.* Аналитическая механика. Т. 1. М.; Л.: ОНТИ ГРТТЛ, 1938.
- [38] *Бернулли.* Гидродинамика...
- [39] *Фарадей.* Экспериментальные исследования по электричеству...
- [40] *Гессен Б.М.* Материалы и документы по истории физики (гранки).
- [41] *Гессен Б.М.* Социально-исторические корни механики Ньютона. М.; Л.: ОНИГТТИ, 1934.
- [42] *Данилов Ю.А.* Ньютон и Бентли // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 1. С. 30–45.
- [43] *Roberts, L.* Merchant's Map of Commerce. London, 1638.
- [44] ПФА АН СССР. Ф. 154. Оп. 1. № 109.
- [45] Там же. Л. 11–12.
- [46] Там же. Л. 14.
- [47] Там же. Л. 23.



Екатерина Сидорова

МОЙ ВОВКА

*Но если можно с кем-то жизнь делить,
То кто же с нами нашу смерть разделит.*
И. Бродский

Невозможно писать о Вове в прошедшем времени. Он моложе меня, и я всю жизнь звала его Вовкой, за что меня один раз сурово отчитала его жена Оля, не узнав по телефону мой голос и обидевшись за непочтительное обращение. (Потом она страшно расстраивалась и просила никому, особенно Вовке, об этом не говорить.)

Мы познакомились в конце 60-х в гостях на дне рождения одного из наших общих друзей. Вовка сразу мне понравился абсолютной естественностью и полной непринужденностью поведения. Насколько я помню, наши разговоры тогда часто крутились вокруг литературы, и когда я заикнулась о какой-то недавно прочитанной книге, Вовка тут же объяснил мне, какая я балда, и что в литературе я ничего не понимаю. Позднее мы пришли «к консенсусу», но Вовка в нашем кругу всегда считался человеком с абсолютным вкусом. Мы оба любили одни и те же стихи, которые Вова читал совершенно удивительным образом. В его чтении даже вещи, которые мне не слишком нравились, например, стихи его отца поэта Кирсанова, звучали так, что ты невольно начинал их понимать, не благодаря словам, а благодаря музыке стиха, которую каким-то непостижимым образом доносил Вовка. Естественно, наши вкусы и пристрастия не всегда совпадали. Так, не знаю почему, Вовка не очень любил стихи Бродского и практически не читал их на наших посиделках. (Хотя один из первых сборников стихов Бродского подарил нам именно Вовка). Вообще стихов он знал невероятное количество и, если был не очень замотан жизнью, с удовольствием их читал.

Однажды мы большой компанией отправились кататься на лыжах в Бакуриани. Тогда это было по силам даже младшим научным сотрудникам. Жили мы в каком-то спортивном лагере, каждый день покупали все возрастающее количество сухого грузинского вина (доведя ежедневную норму до восьми бутылок на восемь человек) и наслаждались снегом и солнцем. Становилось все теплее, снег начинал подтаивать и в предпоследний день нашего отдыха я, мой муж, наша приятельница и Вовка поленились идти кататься и вместо этого уехали на самодельном фуникулере наверх на вершину горы. Там мы уселись загорать и Вовка два или три часа читал стихи, все подряд, какие ему хотелось. Кроме нас вокруг никого не было, снег был абсолютно белый и искрился на солнце... Это было какое-то чудо, уходить и спускаться вниз не хотелось, хотелось слушать Вовку еще и еще. Конечно, спуститься все-таки пришлось, но мы все помним этот день, как один из самых чудесных и светлых дней нашей жизни.

Я не собиралась писать воспоминаний о Вове. Слишком больно переживать потерю снова и снова. Он был мужественным человеком и уходил достойно. Но, господи боже, почему наша медицина настолько жестока и заставляет человека не только переживать ужас смерти и расставания с жизнью и близкими, но и так мучаться от боли! Видишь эти страдания и ничем не можешь помочь... Вовка еще

находил в себе силы шутить. В один из дней, когда еще была какая-то минимальная надежда, я позвонила Оле и спросила, не приготовить ли Вовке немножко индейки, которую он очень любил. Вовка взял трубку и сказал: «Нет уж, ты ее обязательно испортишь, привози сырую, я сам приготовлю».

Вообще он был очень тонким и ранимым человеком. Жизнь складывалась не очень счастливо. Мама умерла рано, отец был поглощен собственными делами. Нежности и любви в детстве Вовке почти не досталось. Во взрослой жизни это компенсировала любовь к Вове всех, кто его знал, но, наверное, этого недостаточно для счастья. Вовку, действительно, любили как дети, так и взрослые.

Моя дочь Нина, достаточно привередливая и скуповатая на уважение и любовь к старшим, с пятилетнего возраста Вову просто обожала. Если у нас дома готовился какой-нибудь праздник, первый вопрос был — «А дядя Вова будет?». Елена Иосифовна, мама моего мужа Юры, готова была кормить и угощать Вовку в любое время суток. В молодости, когда он работал в Институте источников тока, он часто заезжал с работы или вечером к нам домой, и это всегда было радостью для всех нас. Вовка вел себя в любом месте и любом доме, как «человек всего мира». Он мог пойти на кухню и заявить, что сейчас он что-нибудь приготовит, мог схватить мою любимую посеребренную чашку, обругать меня за то, что серебро почернело и тут же, несмотря на все мои вопли, начать ее чистить, пока я с боем ее не отнимала (мне как раз нравилось, что она потемнела). Ругался Вовка хотя и с большим азартом и некоторыми ненормативными словами, но абсолютно не обидно. Сердиться на него было невозможно. На домашних сборищах, когда ему надоело наше общество или он просто был усталым, он спокойно уходил в соседнюю комнату, рылся в книжных шкафах или ложился на диван и засыпал. Вернувшись в столовую, Вовка мог объявить Оле, что он немедленно уходит домой, но милостиво соглашался взять ее с собой. А иногда он «выуживал» в шкафу какую-нибудь книгу или стихи и начинал их нам читать. Было очень здорово.

Вовка был очень добрым человеком. Он всегда был готов помочь, причем в самых разных делах, например, отвезти на дачу или в дом отдыха, встретить в аэропорту, свозить заболевшего пса в ветлечебницу, приехать погулять с ним в отсутствие хозяев. Вовка любил собак, и они отвечали ему тем же. Наш эрдель Санчо, по-моему, больше радовался Вовкиному приходу, чем моему. Понятно, меня он видел значительно чаще и мы с ним иногда ссорились, а Вовка был этаким «праздничным» хозяином, и пес его с удовольствием слушался. У него самого в последние годы тоже были собаки, которых он нежно любил.

Мы называли Вовку «человеком возрождения». Он был талантлив во всем, рисовал, писал стихи, чинил мебель, электроприборы, будильники, чистил ковры, мог сшить брюки, любил и знал толк в вещах... Он любил красиво одеться и слегка красовался костюмами и шляпами в последние годы, когда, наконец, получил возможность все это приобретать. Вова находил общий язык с самыми разными людьми, начиная от так называемых «работяг» до академиков. Он никогда не «подлаживался» под собеседника, и это увеличивало доверие к тому, что он говорил...

Институт источников тока, в котором Вовка начинал свою рабочую деятельность, на самом деле, был совершенно ему чужд. Вовка трудился вполне успешно в нем, но мечтал о гуманитарной деятельности, поэтому он ушел в Институт истории науки (Институт истории и естествознания и техники АН СССР), где смог сочетать свои знания математики, истории и литературы и всерьез заняться историей науки. Вовка окончил инженерный поток мехмата МГУ и в Институте

истории науки занимался историей физики и математики, переводил труды Ньютона и Лейбница... Он много и с удовольствием писал, участвовал в международных научных конференциях, активно занимался научно-организационной деятельностью. Вообще, работа в Институте истории науки была «его» работой. Я, конечно, не читала Вовкиных научных статей и переводов трудов великих математиков (я биолог и ничего в них не поняла бы), но я верю его коллегам, которые говорят, что сочетание профессионального математического образования с врожденным замечательным чувством слова позволило Володе создать работы, которые останутся в науке. Недаром в 1997 г. Вовка стал вице-президентом Международного союза по истории и философии науки, а в 2006 был избран Действительным членом Международной академии истории науки. Он легко вписался в зарубежное научное сообщество и заслужил там любовь и уважение коллег.

Я очень рада, что жизнь позволила Вовке поехать по разным странам. Он так хотел этого! Он хорошо знал историю и культуру Европы, любил живопись, особенно экспрессионистов, городскую архитектуру и вообще жизнь. А время, в котором мы жили, было таким, что для большинства из нас Парижа не было, Лондона не было, Рима не было, Швейцарии и Альп не существовало, об Америке уж и не говорю. Работа в Институте истории науки позволила ему увидеть не только Европу, но и Китай. Он хотел побывать в Америке, и моя дочь Нина, которая уже давно живет и работает в Вашингтоне, когда была в Москве, уговаривала его приехать к ней в гости и почти уговорила. А оказалось, что это уже невозможно...



Ольга Фёдорова

ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ

С Владимиром Семёновичем мы познакомились в 1998 году.

Я хорошо помню этот весенний день: тёплый, ясный и немного ветренный. Конечно, я видела Владимира Семёновича в коридорах Института и раньше, но тогда мы вполне официально были представлены друг другу остановившим меня на бегу Дмитрием Баюком. Помню даже направление наших движений: я — стремительно к метро «Площадь Революции» (выход на Никольскую улицу), они — мне навстречу.

Когда он обратился ко мне и стал что-то говорить, мне показалось, что мы давно хорошо знакомы. Мне понравились облик тщательно одетого аккуратного господина и уверенно спокойная и доброжелательная манера его общения. Этот первоначальный образ на светлом солнечном фоне остался равен самому себе на протяжении всех девяти лет нашего сотрудничества. Тогда он предложил мне перестать трагат Ньютона «О форме Земли». Кирсанов взялся за него сам, но времени было мало, а латынь он знал не в достаточном объеме.

В следующем 1999 году он пригласил меня принять участие в международном проекте по электронному изданию неопубликованных рукописей Лейбница, организованном Берлинской академией наук. Наша московская группа, Кирсанов и я, совместно с берлинской занималась рукописями по механике; Санкт-Петербургская, Алена Кузнецова и Нина Невская (затем её сменила Катя Басаргина, также, как и я, по образованию филолог-классик) — по астрономии и оптике; Парижская — по медицине. Грант на проект был получен во многом благодаря тому, что организация работы через Интернет была гораздо экономичнее традиционной. Предполагалось, что работать в группе будут два человека, занимающиеся историей соответствующей дисциплины, знающие латынь.

Но иностранные организаторы не учли, что наши исследователи знают на нужном уровне только свою дисциплину, а латынь осваивать им пришлось самостоятельно, в отличие, например, от нашего берлинского шефа Кноблоха, который прошел университетские курсы физики и латыни. Кирсанов был настоящий полиглот и, наверное, поэтому сразу понял, что быстро сладить с окончаниями, склонениями, спряжениями и конъюнктивами ему не удастся. Он проявил изобретательность и предложил работу уже проверенному им человеку, который мог ему помочь как раз в том, в чём он чувствовал неуверенность.

Я разбиралась в грамматике, он в содержании, и надо сказать, мы сразу же и темпом и качеством работы опередили петербуржцев, чья самостоятельная латынь постоянно натывалась на коварные подводные камни. Потом мы выработали и удобную форму сотрудничества: я набирала первую черновую расшифровку, давая буквальный перевод непонятных мест, затем всё прочитывал и правил Кирсанов, снова я или мы вместе. Кроме того, Кирсанов разбирался с рисунками и формулами, осваивал за нас двоих часто меняющиеся правила набора текста и вёл переписку с немецкой стороной. Надо сказать, Кирсанов меня просто втянул в эту работу, которая сначала меня ничуть не привлекала: содержание текстов было для

меня тёмным, оплата мизерной, а времени на первых порах я тратила довольно много. Но зато сотрудничество и общение с Владимиром Семёновичем дало мне многое как в профессиональном, так и в чисто человеческом плане.

Если попытаться подобрать слово для самой важной черты его личности, её можно было бы назвать «однородность». Владимир Семёнович был характерен и постоянен во всех своих проявлениях. Всё новое, порой неожиданное, что постепенно проявлялось в нём во время нашего общения, было совершенно естественно и логично.

В тот день, когда я узнала о его смерти, я открыла страничку Интернета с его именем, и нашла статью о Берлине*. Я была там с ним дважды, жила на этом самом Музейном Острове в довольно скромной, но уютной университетской гостинице по адресу Цигельштрассе, 13, и он умудрился мне показать или рассказать, причём совсем не специально, а как бы между прочим, почти обо всём, что было упомянуто в этой статье. Я вижу этот город его глазами. Он бывал здесь один или два раза в год, но до нашего совместного приезда на Лейбницевскую конференцию в 2001 году только дважды.

Меня поразило, что он держался с самого первого момента нашего приезда так уверенно, как будто это его родной город, хотя и признался, что отвык от немецкого, но дня через два начнёт говорить лучше. Ориентировался он в Берлине так же, как у себя на Остоженке, с тем только отличием, что историческая память тут была покороче, хотя он и помнил ещё что-то из своих детских послевоенных впечатлений от Берлина, куда его брал с собой отец. Он знал не только, где находится и куда надо сходить, но и где, например, купить продукты вечером или по выходным дням, когда все магазины закрыты, или где те же вещи продаются гораздо дешевле, чем на сплошь заставленной магазинами и близкой к нашему месту обитания туристической Фридрихштрассе. Было видно, что ему доставляет радость и удовольствие и сам этот город, с которым у него особые отношения, и возможность поделиться ими с другим человеком.

Именно Берлин дал мне ключ к пониманию этой чудесной и непостижимой на первый взгляд способности обитать в мире уютно и заинтересованно, излучая на других отсвет благ, полученных от правильных и приятных отношений с чужими городами, музеями, живописью, книгами, языками и людьми. Однажды он сказал мне: «В Берлине я всегда останавливаюсь в одном месте, хожу одним и тем же путём и даже ем в одном кафе, и постепенно изучаю всё вокруг, так что окрестности знаю очень хорошо. В новое место я еду, когда мне нужно или если оно чем-то для меня интересно».

Выходит, Кирсанов не поддавался суетливой спешке, заставляющей многих людей, в том числе и меня, бесцельно блуждать по чужому незнакомому месту в жажде успеть как можно больше, раздражаясь от того, что проходишь всё время по одним и тем же улицам словно в лабиринте, когда времени уже катастрофически ни на что не хватает. Эту каверзную игру случая он превратил в свой сознательно выбранный жизненный метод: сначала повторением и медленным усвоением утоптать плацдарм, а затем постепенно его расширять, делая осмысленные вылазки на короткие и дальние расстояния, зная, что за его спиной обжитая ойкумена. Эта его основательность вела за собой другие добродетели: решительность в выборе или суждениях, надёжность и ответственность в деловых и личных отношениях.

* Кирсанов В.С. Бранденбургский ренессанс...

Я не думаю, что в наше время найдётся много людей, которые смогли бы отказаться от предложения работать в Кембридже ради своей семьи. Но для Владимира Семёновича это было вполне естественно, потому что интересы и благополучие членов его семьи было для него важнее, чем престиж, карьера или деньги. Однажды, рассказывая о своих многочисленных поездках за границу, он сказал: «Но больше чем на две-три недели я не мог уехать и отказывался от длительных контрактов, потому что у меня всегда была собака, а она очень тоскует без хозяина».

Его последнего боксёра Сенди я застала уже стариком, и то нежное терпение, с каким Кирсанов относился к постоянно болеющему, одряхлевшему псу, с одышкой и недержанием мочи, произвело на меня неизгладимое впечатление.

Владимир Семёнович любил и довольно хорошо знал немецкую и русскую абстрактную живопись, совершенно для меня непонятную. Он примерно так разъяснял свое увлечение: «Когда я первый раз приехал в Мадрид, мне очень хотелось пойти в Прадо. И я был очень разочарован, потому что вся эта классическая сюжетная живопись оставила меня совершенно равнодушным. Картина нужна для эстетического впечатления, которое живопись передает двумя способами: цветом и линией. Сам предмет изображения или сюжет тут ни при чём. А в абстракции это как раз на первом плане». Мне так и не удалось понять, чем художник Кандинский, которого Владимир Семёнович называл гениальным, принципиально отличается от других абстракционистов, хотя благодаря Кирсанову могу отличить его от других. Мне кажется, что абстрактная живопись гораздо более трудна для восприятия, чем предметная, потому что требует от меня длительного и терпеливого вникания — ведь в ней нет путеводной нити, какую даёт изображённый предмет или сюжет подразумеваемого повествования. Очевидно, что тут нужно «короткое замыкание», непосредственно возникающее чувство, которое приходит через сердце, а не через голову. Другое дело — это доверие и следование своему чувству, своей жизни, своему выбору, которое наделяет человека внутренней свободой быть самим собой.

Владимир Семёнович любил большие города, а не загородную дачную природу, Берлин и немцев, а не Париж и французов, с которыми почему-то не сложились, раз и навсегда, личные отношения. То есть во всяком вопросе оставался вполне и сознательно определённым и последовательным человеком, неизменно верным своему выбору.

Мне кажется, что он не потерял ни одного человека в своей жизни, с которым у него были дружеские или деловые отношения. Он помнил имена и образы своих школьных учителей и преподавателей мехмата, запечатлённые в рассказываемых им по случаю, иногда неоднократно, историях, до конца жизни встречался с одноклассниками. И в Берлине, и в Мадриде у него были, кроме коллег, ещё и друзья и знакомые. У него сохранялись приятельские отношения с продавцами компьютеров, врачами, турагентами, агентами по недвижимости, полезным знакомством с которыми он охотно делился. Все кирсановские протеже словно прошли профессиональный кастинг: это были своеобразно симпатичные, доброжелательные, надёжные люди. Советую обратиться к какому-то специалисту (он всегда был готов откликнуться на любую проблему), он обязательно прибавлял какую-то личную характеристику: «У меня есть знакомый агент по недвижимости. Замечательный парень». Или: «Она очень хороший врач, и вообще очень симпатичная». Или: «Зайдём в фирму, где я купил свой «Макинтош». Там сидят отличные ребята, особенно Имярек». Но, конечно, он не всех любил, причём своё отношение не скрывал и мог

совершенно спокойно сказать в глаза довольно резкие вещи, над некоторыми подтрунивал, иногда ругал самого себя и тоже вслух.

С разными людьми отношения складываются совершенно по-разному: с одними полное непонимание, так что и разговаривать бесполезно, с другими непонимание частичное, которое тщетно пытаешься преодолеть в объяснениях, но Владимир Семёнович был тем редким человеком, с кем у меня сложилось совершенно безукоризненное сотрудничество с полным отсутствием ненужных слов. Удивительно, что, общаясь с «правильным» человеком, и в себе обнаруживаешь ранее неизвестные достоинства. Я человек неусидчивый и неупорядоченный. Но когда срочно нужно было сделать работу, я садилась и делала её, не отрываясь, день, два, три... Вначале чтение рукописей Лейбница было вообще невероятно сложным — ведь мы расшифровывали и небрежно написанные черновики, переправленные по несколько раз, причём необходимо было восстановить и зачёркнутый текст.

Несмотря на то что мы считывали расшифрованную рукопись по несколько раз, перепроверя друг друга, на первых порах пропускали много ошибок и получали недовольные письма от Кноблоха, который с немецкой педантичностью пытался регламентировать нашу работу по страницам в месяц. Иногда рукопись в несколько страниц печатного текста была уже набрана и расшифрована, но оставались два или три заколдованных, неподдающихся места, и всё вставало. Мы оба испытывали какой-то азарт в их разгадывании: сначала это лучше удавалось мне, но в конце он всё чаще разгадывал первым или исправлял мою версию. Звонил мне просто в восторге, даже когда был вполне уверен, просто чтобы поделиться успехом. Что меня ещё в нём поражало, это сохранившаяся в зрелом возрасте способность учиться: его латынь явно улучшалась, к концу нашего сотрудничества, я думаю, он спокойно мог бы обходиться и без меня. Довольно примитивную научную латынь семнадцатого века он выучил; более того, поскольку он хорошо разобрался в содержании рукописей и знал научные термины, то понимал наши тексты намного лучше, чем я. Иногда мы обменивались уроками: я объясняла латинскую грамматику, он мне механику, утверждая, что это очень простая наука, и я не могу её не понять. Я действительно всё понимала, когда он объяснял, но забывала быстро и не смогла бы ничего пересказать. Иногда он, читая учебник по-латыни, выписывал вопросы для меня. Однажды, когда мы читали рукописи уже без труда, я пришла к нему, чтобы вместе считать очередной текст, и увидела на столе латинские стихи: он переводил Катутла.

Когда перед поездкой в Китай Владимир Семёнович накупил себе учебников по китайскому языку, я отнеслась к этому уже с долей профессионального скепсиса: «Неужели вы думаете можно выучить язык за две недели?» Он ответил: «Ну, во-первых, у меня месяц, а, во-вторых, что-нибудь из выученного обязательно пригодится». На самом деле, я думаю, ему было просто интересно прикоснуться к новому языку. После приезда я поинтересовалась, пригодились ли ему его штудии. Он ответил: «Конечно, я не понимаю ничего из того, что они говорят, тем более они не понимали, что говорю я, но я выучил несколько полезных иероглифов, писал их и они всегда меня выручали. А ещё я там купил курс на кассетах».

Действительно, трудно представить себе Кирсанова говорящим на китайском, а вот выписывать иероглифы ему очень даже шло. Он обладал замечательной аккуратностью, которая проявлялась во всём: в том, как он тщательно одевался, даже дома, ремонтировал и украшал свою квартиру, варил кофе, готовил гуся, сервировал стол, хранил весь обширный архив (один наш лейбницевский проект чего

стоил!), как в хорошей библиотеке, разложенным в пронумерованные папки, в его каллиграфическом почерке. Небрежные и запутанные рисунки Лейбница он превращал в образцовые чертежи, которые потом показывал мне с гордостью. Однажды, иллюстрируя описанный в рукописи эксперимент, он даже мастерски нарисовал упомянутых там лошадей.

Может быть, мне повезло, но я никогда не видела Владимира Семёновича раздражённым, сетующим и жалующимся на жизнь. Он всегда очень терпеливо ждал, когда я задерживала работу, ни разу даже не упрекнув, только однажды, когда я в спешке выслала ему небрежный вариант, он сказал: «Оля, ну, то что вы мне прислали, это просто какой-то ататуй». И я, полная раскаяния, отложив все свои дела, тут же села править, стараясь сделать всё с предельной тщательностью.

Берлинская группа, с которой мы работали, была очень малобюджетной. Мы были козырями этого проекта, так как за одну ту же работу нам можно было за платить в три раза меньше, чем всем остальным. Интересно, как решал эту проблему Владимир Семёнович. Он был уверен, что мы получим грант в отечественных фондах, потому что у нас «реальная конкретная работа». Но об отказе он просто-напросто забыл мне сообщить, я сама заметила среди бумаг на столе открытку с отказом. Говорить на эту тему он не стал, только махнул рукой без тени какого-то разочарования или огорчения.

Он делал и делал свою работу, получая удовлетворение от приобретаемого мастерства и растущего среди коллег авторитета: теперь уже Кирсанов мог исправлять ошибки, сделанные Кноблехом. Мою оплату повышать никто не собирался, но зато Владимир Семёнович продолжал вставлять моё имя в контракт, когда моя помощь по сути уже стала не такой уж и необходимой, отвоёвав для меня право не посылать отдельных отчетов. В марте 2007 он ездил в Берлин и заключил очередной годовой контракт. Затем долго мне не звонил. Я думала, что он с женой уехал в Испанию к своему другу (они туда собирались). Позвонила сама в апреле, его мобильник не отвечал. Дня два спустя он перезвонил и сказал своим привычным спокойным голосом: «Я заболел. У меня рак, диагноз точно ещё не поставили». Я подумала, что, может быть, всё ещё обойдётся, раз ещё только начало болезни: «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно, когда будет лучше, я сам позвоню». Это был наш последний разговор, 12 мая он скончался.

Я помню летний день, в его комнате рядом с компьютером окно настежь. Летит тополиный пух, жарко. Мы сидим за столом и ломаем голову над очередным нескладываемым предложением. Тут он ударяет себя ладонью по лбу, подпрыгивает на стуле и восклицает: «Я понял, до меня дошло». И мне досадно, что я не поняла, просмотрела, что он догадался первым. В этом зримом воспоминании о Владимире Семёновиче есть что-то кинематографическое, идеальное, такое же, как воспоминание о детстве, когда мир был новым и ярким. Но разве он не становится таким всегда, когда судьба даёт нам сопричастность светлому и гармоничному человеку, которому мы благодарны просто за то, что он был такой, какой был.



Надежда Винокур

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ, ЗАГАДОЧНАЯ "ПИКОВАЯ ДАМА"

Повесть Пушкина "Пиковая дама" увидела свет в 1834 году. Она была напечатана в петербургском журнале «Библиотека для чтения» (т. 2, № 3) и подписана латинским инициалом Р. Под ним скрывался А.С. Пушкин, написавший "Пиковую Даму" в течение второй Болдинской осени — октябрь-ноябрь 1833 года. Иногда, правда, эту дату подвергают сомнению потому, что не сохранилось окончательного рукописного текста повести. Уцелело только три маленьких наброска, опубликованных В.Е. Якушкиным, внуком декабриста И.Д. Якушкина, имя которого нам известно по отрывку из сожженной X главы "Евгения Онегина" ("меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал царевбийственный кинжал..."), а позже пушкинистом М.О. Гершензоном.

Вот этот текст, в котором ряд слов был взят в скобки или зачеркнут: "...мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие (фешенебельный французский ресторан, который с 1829 стал принадлежать Дюме) без аппетита, пили без веселости... День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга (и до зари) (всю ночь проводили за картами)". Второй набросок — "Теперь позвольте мне покороче (ближе) познакомить вас с героиней моей повести" — с Шарлоттой, той, что появляется в начале повести, где мы узнаем о ее знакомстве и романе с соседом по дому Германном. Третий — всего несколько строчек с сокращенными словами: "Чекал. глазами отыскал Нарумова — как зовут вашего приятеля спрос. Чек у Нар."

Есть еще одно свидетельство в пользу 1833 года — мы находим его в письме лицейского друга Пушкина В.Д. Кововского от 10 декабря 1833 года: "Пушкин вернулся из Болдина и привез с собою по слухам три новых поэмы... Он же написал какую-то повесть в прозе: или "Медный всадник", или "Холостой выстрел" (так Пушкин хотел первоначально назвать повесть, — *Н.В.*), не помню хорошенько! Одна из этих пьес прозой, другая в стихах". В том же, 1834 году "Пиковая дама" была напечатана с мелкими незначительными поправками в сборнике "Повести, изданные Александром Пушкиным", Спб. Так же, как и в "Библиотеке для чтения", с подписью Р.

Мнения читающей публики по поводу "Пиковой дамы", опубликованной анонимно, разделились. Среди тех, кто высоко оценил повесть, были друзья Пушкина по перу, журналисты, считавшие, что "Пиковая дама" украсила журнал "Библиотека для чтения". Редактор журнала О.И. Сенковский (известный под псевдонимом Барон Брамбеус) написал, что повесть знаменует "начало новой эпохи в литературе", "начало новой прозы", наличие хорошего вкуса и художественного стиля. Первый биограф Пушкина Анненков (П.В. Анненков. Материалы для биографии А.С. Пушкина, СПб, 1855), упомянувший, что повесть произвела при появлении своем "всеобщий говор", увидел в ней и другую важную черту: "верный очерк современных нравов". Но такого мнения придерживались не все, более позд-

няя группа критиков и публицистов (В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский), соглашаясь в том, что повесть написана прекрасным слогом, но не углубившись в чтение между строк, просто сочла ее всего лишь пустячком и не разглядела в ней сущность и важность ее художественного замысла и психологического подхода к характерам героев. Массовый читатель, охотник до произведений с интригой и фантастическими сюжетами, что было в то время в моде, принял повесть восторженно.

В годы ссылки Пушкин вел обширную переписку с друзьями, охотно и подробно делился творческими замыслами с Нащокиным, Вяземским, Плетневым (своим издателем), братом Львом. Не имея возможности видаться, поговорить, обсудить написанное, он хотел услышать их мнение, выговориться, рассказать о будущих планах. Ему необходим был собеседник. "... Я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница..." (Вяземскому, из Одессы ноябрь 1823 г.); в 1824 году, поручив Вяземскому издать "Бахчисарайский фонтан", в переписке с другом Пушкин достаточно много пишет о своей поэме, которую, кстати, сам оценил не очень высоко; кроме того, называет и остальные романтические поэмы, написанные в период южной ссылки.

Нечего говорить и о письме Вяземскому из Михайловского (1825): "Поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов!" И по-ребячески похвастался: "Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын... Жуковский говорит, что царь меня простит за Трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!". И далее — признание Плетневу в последующих творческих удачах: "Скажу тебе (за тайну) что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда...: 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю; повесть, писанную октавами..., которую выдадим Анопуге " (мы знаем, что речь идет о "Домике в Коломне", — *Н.В.*), а дальше — "Маленькие трагедии" и прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется — и которые напечатает также Анопуге. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает". К этой реплике мы еще вернемся.

Подошло время второй болдинской осени — октябрь-ноябрь 1833 года, появляются — одно за другим — новые произведения: "Медный всадник", "История Пугачева", "Пиковая дама". В середине декабря Пушкин дважды пишет Нащокину, а затем Н.П. Погодину, что "петербургская повесть (Медный всадник)" не пропущена цензурой вследствие критических замечаний Николая I, жалуется на "убытки и неприятности".

Правда, Пушкину удастся вскоре, заменив цензурные купоры точками, опубликовать вступление к "Медному всаднику" в декабрьской книжке "Библиотеки для чтения". С "Историей Пугачева" дело обошлось благополучнее. В марте 1834 года читаем в письме Нащокину: "Пугачев пропущен, и я печатаю его на счет государя"; в дневнике же Пушкин сделал следующую запись: «Государь позволил мне печатать Пугачева: мне возвращена моя рукопись с его замечаниями (очень дельными) и повелением переименовать повесть в "Историю пугачевского бунта"». В предисловии к "Истории Пугачева" Пушкин кратко выразил свое отношение к собственной работе: "Мой усердный (слово "усердный" зачеркнуто) труд, конечно, несовершенный, но добросовестный".

А что же "Пиковая дама"? Пушкин бегло упоминает о ней дважды: в первых числах апреля в письме цензору А.В. Никитенко: "Милостивый Государь Александр Иванович, могу ли я надеяться на Вашу благосклонность? (*Пушкин допустил*

ошибку в отчестве цензора Никитенко, назвав его Александром Ивановичем, вместо Александра Васильевича — Н.В.). Я издаю Повести Белкина вторым тиснением, присовокупя к ним Пиковую даму и несколько других уже напечатанных писес. Нельзя ли Вам все это пропустить? Крайне меня обяжете". А уже 9 апреля Никитенко отвечает: "Милостивый Государь Александр Сергеевич! С душевным удовольствием готов исполнить Ваше желание теперь и всегда... Я "Пиковой Дамы" не подписал, потому что считаю ее "только частью собрания, к которому уже заодно приписано будет: печатать позволяется".

Цензурное разрешение подписано 19 июля 1834 года. И чуть ироническая краткая запись в дневнике от 7 апреля 1834 года: "Моя "Пиковая дама" в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной Голицыной и, кажется, не сердятся". Известно еще, что Пушкин читал "Пиковую даму" Нащокину, у которого всегда останавливался, приезжая в Москву. Судя по книге П.И. Бартенева "О Пушкине", это могло произойти в ноябре 1833 года, когда поэт возвращался из поездки по местам Пугачевского восстания. Но ни Пушкин, ни Нащокин не написали ничего об этой важной встрече. Почему? Почему Пушкин обошел эту гениальную повесть вниманием? В чем была причина умолчания, и была ли? К сожалению, никто из исследователей не задался вопросом: почему Пушкин никогда и никому не говорил и даже не намекнул о существовании уже опубликованной повести. Вопрос "Почему?" не раз задавал себе и замечательный историк и исследователь творчества Пушкина Н.Я. Эйдельман.

В статье "Творческая история Пиковой дамы" он пишет: "Известна мистика "Пиковой дамы", которая, в частности, и в полном отсутствии автографов. Как будто Пушкин специально позаботился об этом (запомним слово "специально"). Для большинства произведений автографы есть, здесь же — только отдельные фрагменты, которые делают повесть еще загадочнее". В другом отрывке статьи он замечает: "А где же "Пиковая дама", которая была создана тогда же, когда он работал над "Медным всадником"? Где хотя бы небольшое упоминание о ходе работы над повестью? А сам замысел? Как, когда возникает он — вот что не дает покоя пушкинистам!"

Чтобы попытаться ответить на это всеобщее недоумение, вспомним, каковы обстоятельства написания повести, — знакомую всем историю ее создания, из которой вытекает ее замысел. Вспомним эпиграф к "Пиковой даме", перекликающийся с текстом черногового наброска: "А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от пятидесяти на сто, и выигрывали, и отписывали мелом, так в ненастные дни занимались они делом". Сам Пушкин был азартным, но не слишком удачливым игроком. "Страсть к банку! ни дары свободы, ни Феб, ни слава, ни пиры не отвлекли б в минувши годы меня от карточной игры", — пишет он в варианте одной из строф 2 главы "Онегина".

Забегая вперед, приведем цитату из донесения московского обер-полицмейстера, который, раскрыв только что полученный "Список картежных игроков и шулеров на 1827 год", отметил в нем за № 99 Пушкина Александра Сергеевича — сильного игрока в штос. И банкомета. Кстати, в библиотеке Пушкина находились книги, тематически связанные с карточной игрой, например, "Наказная книга играющим в вист" (СПб, 1832) и старинное издание 1778 года "Описание картежных игр с показанием правил, с помощью которых всякой сам с собою и без учителя в России употребляемая картежные игры может научиться играть правильно и искусно".

Среди друзей Пушкина по карточной игре был Сергей Григорьевич Голицын по прозвищу Длинный Фирс, человек огромного роста, а Фирсом его называли почему-то дети его друзей, точнее — *Thyrsis*, что по-русски Фирс. Сергей Григорьевич был внуком известной всему Петербургу княгини Натальи Петровны Голицыной, императорской фрейлины, с которой Пушкин был знаком. Именно она, а не Наталья Кирилловна Загряжская (как сплетничали в обществе), тетка Натальи Николаевны Пушкиной, стала прототипом графини в "Пиковой даме".

Однажды Голицын сильно проигрался в карты и пришел к бабушке с просьбой одолжить ему денег. Она денег ему не дала, но якобы раскрыла ему секрет трех карт, которые должны были погасить долг. Так и произошло. А откуда она узнала об этих счастливых картах? В молодости, живя в Париже, Московская Венера, так ее там называли (а в старости, — Усатая графиня — *princesse Moustache*), занимала исключительно важное положение в высшем свете, как и позже в Петербурге, дожив до глубокой старости. Известно было ее пристрастие к карточной игре, она играла часто и по-крупному. Однажды, солидно проигравшись, она попросила взаймы большую сумму у своего приятеля и поклонника Сен-Жермена, "человека очень замечательного", философа, как отмечает Пушкин, вместе с тем имевшего репутацию авантюриста и даже шарлатана.

Не желая обременять молодую красивую женщину большим долгом, Сен-Жермен предложил ей другое средство, назвав три карты, благодаря которым она полностью отыгралась. Свою многочисленную родню графиня в тайну трех карт не посвятила. Она открыла секрет магических карт лишь внуку С.Г. Голицыну и позже, некоему Чаплишкому, пожалев проигравшегося молодого человека, чем спасла его от бесчестия.

Эта история, рассказанная другим внуком графини Томским на вечере у Нарумова, в ходе "мазурочной болтовни", поразила общество. Посыпались реплики и предположения: случай? сказка? порошок (крапленые) карты? Такова завязка повести, правдивая история, над которой собравшиеся игроки подивились, но за азартной игрой быстро забыли. Все дальнейшее содержание повести — художественный вымысел Пушкина.

О повести Пушкина с момента ее создания написано и сказано многое. Она привлекала и продолжает привлекать внимание самых видных русских и советских ученых-пушкинистов разного времени. Что есть реальность, а что фантастика, как они сплетены в повести, что представляет собой Германи, герой нового времени, отличавшийся от посетителей гостиной Нарумова не только происхождением, но и принадлежностью к другому слою общества, а также и другому историческому отрезку времени, началу буржуазных отношений в России. Пушкин был не чужд фантастическим (или, как говорили, запредельным) сюжетам; недаром его так заинтересовал гоголевский "Нос" ("в этой штуке ...так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального"), который он поместил в 1836 г. в 3-м номере своего "Современника".

Достоевский называл произведения Пушкина "верхом искусства фантастического". Что роднит "Пиковую даму" с другими пушкинскими произведениями, рисующими власть темных потусторонних сил, имеющими налет мистики или таинственности? Ожившие камни, олицетворяющие функцию мести: статуя Петра — Кумир на бронзовом коне, — всю ночь преследующая бедного Евгения, осмелившегося подняться на заранее обреченный бунт; Дон Гуан, дерзко пригласивший на ужин покойного Командора в его собственный дом и погибший от пожатия его ка-

менной десницы; в повести "Гробовщик" Пушкин обращается к фантастике страшных снов: гости-мертвецы, захороненные гробовщиком Адрианом Прохоровым, являются к нему по его приглашению, сделанному спьяну (одна из немногих историй у Пушкина со счастливым концом). Пушкинские страницы порой населены призраками, ужасными уродливыми существами, которые появляются в жутком сне Татьяны; в темном подземелье, куда стремглав летит во сне героиня "Метели" Маша, видя перед собой окровавленного, умирающего Владимира; в сумбурный сон Германна — кипы ассигнаций и груды золотых червонцев на столе, которые он лихорадочно запикивает в карман. О противодействии героям каких-то нехороших, недобрых сил писал в своих "Петербургских повестях" В.Ф. Ходасевич. Где-то — к сожалению, не помню, в каком источнике, — я прочла отклик Анны Ахматовой, сказавшей, что в "Пиковой даме" "все — ужас".

И вот — Германн, заболевший манией обогащения, решивший добиться этого любым путем. Если до рассказа Томского Германн мечтал лишь о богатстве, обеспечившем его существование, то услышав историю о таинственных трех картах, он стал одержим страстным желанием, безумной идеей завладеть тайной. О герое Пушкина бесконечно спорили и исследователи, и просто читатели, выдвигая разные предположения и гипотезы, пытаясь понять: что за человек Германн, обладающий "сильными страстями и огненным воображением"; когда настигло его безумие, когда его страсть превратилась в пагубную? При ночном появлении мертвой графини, пришедшей к Германну и открывшей ему те никому не ведомые карты: тройка, семерка, туз? Или же, три дня ранее, на отпевании покойницы, когда ему показалось, что она из гроба насмешливо посмотрела на него, прищуривая одним глазом? А скорее всего, когда он "обдернулся", увидев на зеленом сукне символ "тайной недоброжелательности" — пиковую даму, вместо туза ("холостой выстрел!"), и снова она прищурилась и усмехнулась.

Где ответы на эти вопросы? Где реальность, а где фантастика? На самом деле, здесь есть и то, и другое. Описание привидения в виде графини, призрака в белом одеянии, сначала заглянувшего в окно, а потом вошедшего в комнату Германна — это, разумеется, фантастический образ. В то же самое время это есть ни что иное, как реальность — беспокойный сон человека, галлюцинация, большое воспаленное воображение вместе с алкоголем, подействовавшим на никогда ранее не пьющего Германна.

Графиня мертва, и тайна трех карт умерла вместе с ней. Почему Германн приходит на отпевание графини? Его мучает раскаяние, желание повиниться перед усопшей? Но он ведь — только косвенная причина ее смерти, его пистолет не был заряжен. Он гораздо больше виноват перед Лизой, которую жестоко обманул и, воспользовавшись ее доверием и любовью, сделал ее слепым орудием в своих руках. И на какой-то момент, видя горько плачущую девушку, он ощутил — нет, не раскаяние, — просто мимолетное сердечное терзание.

Хоть чувства вины перед содеянным он лишен, пишет Пушкин, голос совести в нем живет, — и не только это, его терзает суеверный страх за влияние покойницы на его будущее. Он решает испросить прощения. Думаю, психологически возможно еще одно объяснение: преступника, отягощенного расстроеным рассудком, тянет увидеть свою жертву. Природа безумия — одна из тех тем, которые часто встречаются в русской классической литературе. Вспомним Достоевского, Чехова, их героев, пораженных психическим расстройством. Безусловно, тема безумия, помешательства была важна для Пушкина, и вряд ли это случайное совпадение, когда

в один и тот же год появляется "Медный всадник", герой которого сходит с ума, преследуемый статуей; сходит с ума Германн, и тогда же Пушкин пишет одно из самых гениальных своих стихотворений "Не дай мне Бог сойти с ума..." Все сошлось в этой странной совокупности загадочных явлений.

Вернемся к основной загадке, интересующей нас в связи с "Пиковой дамой", о существовании которой мы узнаем лишь в 1834 году, когда она была напечатана в "Библиотеке для чтения". Впервые Пушкин обратился к прозе в Повестях Белкина, опубликованных анонимно (впрочем, это случалось и с поэтическими произведениями. В начале ноября 1830 года Пушкин пишет Н.П. Погодину с просьбой опубликовать его стихотворение, впоследствии названное "Герой", в любом альманахе, но при одном условии: "никому не объявлять моего имени"). Шутливое замечание — "ибо Булгарин заругает", — на самом деле не таит в себе шутку, т.к. Булгарин, считавший себя ведущим прозаиком, вечный оппонент Пушкина, ревниво относился к тому, что пишет Пушкин (известен отзыв Булгарина об Онегине: "...неудачное подражание Чайлд-Гарольду и Дон-Жуану").

Пиковая дама — новая творческая манера, новое рождение Пушкина-прозаика, у которого были свои представления, как писать прозу: "Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них блестящие выражения ни к чему не служат". Замечательно сказал Лев Толстой об одном из незавершенных отрывков Пушкина: "Гости съезжались на дачу". Вот как надо начинать, — ... так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего... Пушкин наш учитель. Это сразу вводит читателя в интерес самого действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу..."

"Пиковая дама" начинается с простой короткой строчки: "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова". Это краткое стремительное начало сразу привлекает внимание к сюжету, который звучит многообещающе. У Пушкина нет пустых описательных фраз. Стилистика его прозы отличается от произведений, написанных в Болдине в 1830 году; в "Пиковой даме" она предельно кратка, сдержанна, динамична, точна и действенна, его изобразительные средства скупы; соблюдены три единства — места, времени, действия: в доме у Нарумова, под утро Томский рассказывает анекдот о трех картах. Все слушают его с нарастающим интересом и изумлением. Возникает реакция, вспомним снова: случай? сказка? порошковые карты? Но вот — ... уже утро. И так же точно и кратко следует текст Пушкина: "В самом деле, уж рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разошлись".

Толстовская оценка не оставляет сомнений. Но Пушкин, очевидно, был более строгим критиком по отношению к своей прозе (кстати, и романтическим поэмам 1822-1824 года). Вспомним его эпитет "несовершенный" труд, имея в виду "Историю Пугачева". В начале 30-х годов в светских салонах стали слышны разговоры о том, что Пушкин исписался, что лучшее в его творчестве — позади, что Пушкин умер уже давно для поэзии, а проза его просто слаба. Оппонентом этим слухам выступил Александр Карамзин, сын Н.М. Карамзина, написавший брату Андрею в Париж, что в последних пушкинских произведениях поражает "могучая зрелость таланта и бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души", с чем нельзя не согласиться.

Возможно, что эти досужие разговоры, доходившие, конечно, до слуха Пушкина, и неуверенность в качествах своих прозаических произведений заставляла Пушкина прятаться то за Ивана Петровича Белкина, то за лицо, обозначенное латинской буквой Р.

Гению часто сопутствует скромность. С моей точки зрения, это одна из причин нежелания Пушкина говорить о себе как авторе "Пиковой дамы".

Есть и другая, не менее существенная причина. Я склонна думать, что дело заключается в тех событиях, которые отражены в повести с точки зрения их важности.

Сюжет "Медного всадника" — исторически правдивый рассказ о наводнении 1824 года в Петербурге, национальной беде, о которой много написано в исторических хрониках с обвинениями в адрес Петра, построившего город на болотах. Личность Петра, и человеческая, и государственная, конфликт личности и власти постоянно интересовали Пушкина, обладавшего, несомненно, умом полигика. "В Пушкине было верное понимание истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, пронизательность и трезвость...", — писал Вяземский. С таким же уважением отзывался о Пушкине как великом и глубоком историке французский литератор Лева-Веймар, с которым Пушкин встретился в Петербурге в 1836 году.

Мы можем предположить, что содержание "Пиковой дамы" — тема камерная (анекдот, забавный случай), касающаяся лишь нескольких лиц, поневоле оказавшихся роковым образом связанными, — для Пушкина представилось любопытным, но частным и не таким значительным событием.

Мне было семь лет, когда я в первый раз прочла "Пиковую Даму" и, конечно, поняла лишь то, что лежало на поверхности. Потом я читала ее много раз, и вплоть до сегодняшнего дня у меня одно и то же ощущение, что за кажущейся простотой и содержания, и языка я что-то упускаю, не придаю значения какой-то случайной фразе, брошенной автором. Скорее всего, так и есть. Когда Германном овладевает страстное желание выиграть, он в смятении чувств готов на любой поступок, даже стать любовником отвратительной старухи. "Ангел смерти обрел ее бодрствующей в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного", — говорит архиерей в своей надгробной речи, — и вот она приходит к жениху в полночь в белом платье невесты и совершает благое дело — открывает ему секрет трех карт. "Я пришла к тебе против своей воли, — говорит она, — но мне велено исполнить твою просьбу". Велено — кем? Это, да и другие символы и загадки удивительной повести, в частности, связь с евангельской притчей о девах мудрых и неразумных, создают простор для самых глубоких раздумий.



Мина Полянская

НЕОТВРАТИМОСТЬ

КОКТЕБЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ:

Марина Цветаева и Сергей Эфрон ^[1]

Коктебельский текст

*Ибо чара — старше опыта,
Ибо сказка — старше были.*

Марина Цветаева. Пушкин и Пугачёв.

*Эта печать коктебельского полдневого
солнца — на лбу каждого, кто когда-ни-
будь подставил ему лоб.*

Марина Цветаева. Живое о живом.

Максимилиан Александрович Волошин в 1903 году купил участок земли у коктебельского залива, на изгибе морского берега, который был тогда незаселённым, пустынным, без зелени — кроме редких кустов терновника, чертополоха и полыни, ничего здесь не росло. Он по своим чертежам построил «Дом поэта» (строил долго, десять лет) с монолитной под добротной черепичной крышей башней, выдвинутой к морю. Вокруг башенного полукруга расположились четыре узких, длинных полуциркульных окна с нарисованными Волошиным в верхних «полукругах» солнечными символами-кругами со стрелами-лучами, глядевшими внимательно и неподвижно в беспредельную синеву моря.

Дом Волошина и поныне стоит у изгиба-лукоморья, и, когда солнце врывается в башенные окна, то из стёкол как будто бы высекаются искры, и пылинки кружатся-плутают вокруг волошинских солнечных символов.

Поэт-странник-художник-философ уверовал в то, что его быт и бытие предопределены в Киммерии, как он называл этот уголок восточного берега Крыма, где повсюду в стёртых камнях и размытых дождями холмах бродят тени Одиссея, Орфея и Гермеса. «Одиссей возвратился, пространством и временем полный» ^[2], — так мог бы сказать Мандельштам и о Волошине тоже. «Истинной родиной духа для меня был Коктебель и Киммерия — земля, насыщенная эллинизмом и развалинами Генуэзских и Венецианских башен, ^[3] — записал Волошин в одной из своих многочисленных автобиографий.

Чтобы соответствовать созданному его воображением античному образу, Волошин шагал по голой, потрескавшейся от сухости земле, прогретой, по слову Цветаевой, НАСКВОЗЬ, с посохом, босой, в венке из полыни и полотняном балахоне.

Казалось, что природа создала из камня в коктебельском уголке Крыма собственное изваяние Волошина. В очерке-портрете «Живое о живом», написанном в Париже в память об умершем в 1932 году друге в возрасте пятидесяти пяти лет,

Марина Цветаева отточенной каждой фразой представила необычный уголок Крыма, считавшийся современниками магическим, иницированным даже: «Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, — каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль. Так его и звали. Чужие дачники, впрочем, попробовали было приписать этот профиль Пушкину, но ничего не вышло, из-за явного наличия широченной бороды, которой профиль и уходил в море. Кроме того, у Пушкина головка была маленькая, эта же голова явно принадлежала огромному телу, скрытому под всем Чёрным морем. Голова спящего великана или божества. Вечного купальщика, как залезшего, так и не вылезшего, а вылезшего бы — пустившего бы волну, смывшую бы всё побережье. Пусть лучше такой лежит. Так профиль за Максом и остался»^[4].

Поэт подтвердил факт невероятного собственного сходства с каменным изваянием:

*«И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.»*^[5]

Волошин умер летом, в середине дня, а точнее, в двенадцать часов дня, что, по мнению Цветаевой, придаёт его судьбе трагическую завершённость, так как ушёл он из этой жизни в свой «полуденный» час, когда солнце в зените, в свой час Коктебеля, ибо земля Коктебеля — полдневная земля. Согласно завещанию, поэт похоронен на вершине приморского холма Кучук-Яньшар, ограничивающей Коктебельский залив слева — напротив «своего» каменного изваяния, завершив, замкнув Коктебель самим собой. Цветаева в 1934 году написала:

*Ветхозаветная тишина.
Сирой польни крестик.
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.»*^[6]

Могила Волошина сохранилась — низкая, плоская, «плоче, чем на столе» прямоугольной формы плита без креста, без знаков и символов, без цветов, без зелени, «без единой травки». Впрочем, в стихотворении «Над вороньим утёсом» Цветаева описала не памятник на могиле, а само неприязнительное, суровое даже — место захоронения Волошина и сокрушалась, что не может быть похоронена рядом:

*Пусть ни единой травки, —
Площе, чем на столе, —
Макс, мне будет так мягко
Спать на твоей скале.»*^[7]

Волошин, по точному определению Эриха Фёдоровича Голлербаха, был «человеком большого стиля». Он обладал неповторимым даром — такова была его культурная миссия — «сводить людей и судьбы» (Цветаева) и превратил свой дом в духовный центр творческого содружества. Всё реже наезжал поэт в Москву и Париж, всё чаще и дольше — иногда по восемь месяцев в году — оставался в Коктебеле, и круг друзей становился теснее, так что казалось: литературный Олимп — не в столицах, а здесь, на выжженной солнцем земле.

Иной раз до сотни человек съезжалось. Цветаева, Гумилёв, Мандельштам, Ходасевич, Брюсов, Горький, Толстой, Чуковский, Эренбург — одним словом, весь

«Серебряный век» наезжал. А, кроме того, приезжали теософы, антропософы, философы, интеллектуалы и любители всякой таинственности.

Как свидетельствовала Цветаева, у Волошина была собственная тайна: «У него была тайна, о которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто. <...>. Объяснять эту тайну принадлежностью к антропософии или занятиями магией — не глубоко. Я много штейнерианцев и несколько магов знала, и всегда впечатление: человек — и то, что он знает; здесь же было единство. Макс сам был эта тайна, как сам Рудольф Штейнер — своя собственная тайна (тайна собственной силы), не оставшаяся у Штейнера ни в писаниях, ни в учениках, у М.В. — ни в стихах, ни в друзьях, — самотайна, унесённая каждым в землю»^[8].

Цветаева подозревала, что Волошин был «посвящённым» некоего тайного братства:

«Это был скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного учения о тайном. Мистик — мало скрытый — зарытый. <...>. Из этого заключаю, что он был посвящённый. *Эта* сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь на коктебельской горе, где он лежит, ещё окажется — неизвестно кем положенная мангия розенкрейцера»^[9].

Я в который раз всматриваюсь в цветаевский текст о Волошине, и мне кажется, что я читаю текст о мистическом МЕСТЕ — а текст даже и усыпан мистическими словами-кристаллами-минералами коктебельского побережья, излучающими первобытный свет. Вот далеко неполный перечень «многозначных» слов и словосочетаний из текста Марины: магический, мифический, мистический, магомифо-мистический, Час Великого Пана, *Demon de Midi*. И далее — снова — магия, а затем: «мифика и мистика самой земли, самого земного состава» и т.д. Марина хотела создать свой миф о коктебельской земной поверхности, самого *земного состава* — и создала его!

Цветаева впервые приехала к Волошину летом 1911 года в Коктебель из Гурзуфа на телеге с шестигонником Калиостро и многотомным романом «Консуэло», главный герой которого - член древнего тайного общества, подвергался реинкарнации. Она тогда читала Якова Бёме, романы «Огненный ангел» Брюсова, «Записки врача (Жозеф Бальзамо)» Дюма о великих алхимиках и гипнотизерах.

Марина Цветаева не нашла своего «Калиостро» — в отличие от её сестры Анастасии Цветаевой, которая в 1920 — 30-е годы состояла членом общества розенкрейцеров, в тридцать седьмом была арестована по делу розенкрейцеров-орионийцев и провела в заключении десять лет.^[10] Марина *никогда никому* не принадлежала — ни политическим организациям, ни литературным, ни мистическим, ни философским течениям, но всё же впитала в себя мистически-окультурный дух своего окружения. Она в любых обстоятельствах носила серебряные кольца, а у неё их было девять и десятое обручальное, с культовыми знаками. И ещё: офицерские часы-браслет, кованая цепь с лорнетом, старинная брошь со львами и два браслета. Перечень впечатляющий, в особенности, если учесть, что Марина могла всем этим украсить себя одновременно.

«И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, — вспоминал Андрей Белый, — чтению эзотерической литературы, мечтам об «ордене».^[11] Он страстно искал розенкрейцеров, но, не сумев их обнаружить, нашёл альтернативу — немецкого антропософа Рудольфа Штейнера (Штейнера Цветаева постоянно упоминает, он безусловная принадлежность времени, с ним знакомы её коктебельские друзья) с его Антропософским обществом в швейцарской деревне Дорнах, что

недалеко от Базеля. Создано было и русское Антропософское общество в Москве в 1913 году, в день положения в Дорнахе краеугольного камня будущего храма, названного в честь Гёте Гётеанумом. Среди основателей русского общества были художницы Маргарита Сабашникова-Волошина (первая жена Волошина) и Ася Тургенева (первая жена Андрея Белого). А также — Андрей Белый, Борис Леман, Михаил Чехов, Борис Грегоров, Алексей Петровский — между домом Волошина и Гётеанумом есть некий мостик — одни и те же имена то и дело мелькают то в Дорнахе, то в Коктебеле предвоенных десятилетий, а поиски параллельных (других) миров — знак беспокойного времени.

Вспомним предреволюционную Францию восемнадцатого века, века просвещения, уважения к человеческой личности и его разума, читающего Вольтера и Руссо, века, чуждого, казалось бы, метафизики. Но именно тогда граф Сен-Жермен под покровом необычности и тайны в присутствии восхищенной публики вызывал с помощью катопрических эффектов тени из загробного мира.

В 1914 году, в самом начале войны Волошин успел приехать в Дорнах. "Я приехал буквально с последним поездом: всю дорогу вслед за мной прекращались сообщения, точно двери за спиной запирались" ^[12] — эта запись Волошина в дневнике — яркая деталь начала войны. Он и стихи посвятил страшному путешествию по Европе:

*И кто-то для моих шагов
Провёл невидимые тропы
По стогнам буйных городов
Объятый пламенем Европы.
Уже в петлях скрипела дверь
И в стены бил прибой с разбега,
И я, как запоздалый зверь,
Вошёл последним внутрь Ковчега.* ^[13]

Волошин вместе с Андреем Белым строил Гётеанум, когда в Дорнахе собралась огромная толпа людей, лихорадочно жаждущих вырезать, тесать, стучать молотком, но вскоре отправился во Францию, Испанию и в 1916 году через Англию и Скандинавию (по другому не вернуться было в Россию) приехал в Коктебель.

Первая жена Максимилиана Волошина Маргарита Сабашникова-Волошина тоже строила Гётеанум, а затем тоже вернулась в Россию через Англию и Скандинавию, а в 1922 году не смогла вернуться в Дорнах с советским паспортом: Швейцария прервала дипломатические отношения с Россией. И осталась Маргарита Васильевна служить учению Штейнера в Штутгарте, где написала страстную, живописную книгу «Зелёная змея» с воспоминаниями и о коктейльских поэтах-изгнанниках (удивившую немецкое общество настолько, что книгу в Германии переиздавали несколько раз), там и умерла в 1973 году в девяностолетнем возрасте в доме престарелых. Первая жена Андрея Белого Ася Тургенева надежно спряталась в Дорнахе, удачно названном Волошиным Ноевым ковчегом, умерла в 1966 году, пережив на тридцать два года Белого, смертельно заболевшего уже после смерти Волошина именно в Коктебеле. Марина Цветаева в Париже посвятила памяти Максимилиана Волошина и Андрея Белого замечательные эссе-воспоминания — «Живое о живом» и «Пленный дух».

Перед самым первым приездом в Коктебель (перед роковой встречей с Сергеем Эфроном) Цветаева рассталась со своим первым возлюбленным. То был известный мистик Эллис, Лев Львович Кобылинский, выпускник Московского университета, филолог, переводчик «Гимнов Орфея», один из основателей издательства «Мусaget» (вошел в «триумvirат консулов» вместе с Андреем Белым и Эмилем Метнером). «Мусaget» в десятых годах стал средоточием кружков и тайных обществ, в которых Цветаева принимала, по её словам, пассивное участие. Издательством был выпущено несколько книг мистического характера, с изображением Орфея на обложке. Эллис оставил настолько глубокий след в душе Марины, что спустя три года после расставания с ним, она написала о нём поэму, назвав её характерно и знаково — «Чародей».

В контексте коктейльской атмосферы имя «Эфрон» могло показаться Цветаевой судьбоносным из-за созвучия со словом «Орфей».

Екатерина Дайс в статье «Марина и Орфей»^[14] утверждает, что чуть ли не главной причиной рокового знакомства, являлось его имя. Цветаева как будто бы ассоциировала (по созвучию) имя — Сергей Эфрон с Орфеем, имя которого возможно читать справа налево, то есть наоборот, поскольку Орфей, согласно мифу, роковым образом оглянулся на Эвридику, вопреки уговору, когда выводил её из царства мрачного Аида, тем самым окончательно погубив её.

Орфеус — почти зеркальное отражение С. Эфрон: *С — ефро — Орфе — у — с*. К тому же, имя первого возлюбленного матери Марины — Сергей Э. Гипотеза эта (которая подана автором как неоспоримый факт) показалось мне интересной и вполне заслуживающей право на существование, хотя подтверждения её я не нашла у исследователей творчества Цветаевой. Не обнаружила я ни одного прямого или косвенного высказывания самой Цветаевой, фиксирующего такой немаловажный факт начала знакомства, при том, что она любила говорить и писать в прозе и стихах о неотвратимости первой встречи. Что же касается сходства инициалов Эфрона (С.Э.) с именем возлюбленного матери, то этот факт Цветаева неоднократно подчеркивала. Между тем, одно косвенное доказательство этой интересной, эксцентричной идеи находится в Национальной галерее Рима: мраморная стена с изображением Гермеса, Эвридики и Орфея с высеченными наверху их именами, а имя шествующего впереди обернувшегося Орфея в самом деле записано слева направо: *Suefro*. То есть вполне созвучно: *S Efro (n)* — разумеется, в цветаевском знаковом, символическом мире, где для поэта «всё — символы, *не*-символов — нет».

Встрече Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном предшествовали сказочные события, ибо драма Орфея и Эвридики «состоялась» на территории нынешнего Коктебеля и, по странному совпадению, летом 1911 года Волошин показал Цветаевой «реальный» вход в царство Аида: «На вёслах турки-контрабандисты. Лодка острая и быстрая: рыба-пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа (Максино определение, — счастлива, что сохранила) реймские и шартрские соборы скал, чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря, то есть опрокинуть лодку — что бы и случилось, если бы не противовес Макса: он на носу, я на корме. Десятисаженный грот: в глубокую грудь скалы.

— А это, Марина, вход в Аид. Сюда Орфей входил за Эвридикой. — Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, забрасываемой нашими вёслами на наседающие, наседающие и всё-таки расступающиеся — как расступились и тогда — базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть

выхода входу, не помню; прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озере свою рыбу-пилу, вернулись по своим, уже сглаженным следам, — не знаю. Исчезло. Помню только: *вход в Аид*». [15]

«Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея — сама не знаю. Но Макса, введшего меня в Аид на деле, введшего с собой и без меня — мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на «Орфее» Глюка, или просто слово «Орфей» — десятисаженная шель в скале, серебро морской воды на скалах...» [16]

Между тем, первому, реально существовавшему поэту (ставшему затем мифическим героем) Орфею поклонялись любимые Цветаевой немецкие романтики. Согласно мифу, золотая кифара Орфея была помещена богами на небо — в созвездие Лиры. «Притчу» об Орфее, легендарном фракийском певце, Цветаева использовала в стихах, прозе и письмах, с ним сопоставляла любимых поэтов: Гельдерлина называла «германским Орфеем», Рильке, пославшему ей экземпляр «Сонетов Орфею», она также считала бессмертным Орфеем. Орфею, спасшему своей лирой аргонавтов от сирен, Цветаева посвятила в 1921 году стихотворение «Орфей»:

*Так плыли: голова и лира,
Вниз, в отступающую даль.
И лира уверяла: — мира!
А губы повторяли: — жаль!* [17]

Со временем, по мере крушения иллюзий, спасительные (спасательные) «орфейские» взгляды Цветаевой менялись (не отменялись!), превращаясь в другие мифы-миры. В марте 1923 года Цветаева посвятила Пастернаку (с которым роковым образом не сумела встретиться в Берлине, разминулись по моим расчётам на десять дней), стихотворение «Эвридика — Орфею», где пришла к неутешительному выводу о превышении полномочий Орфея, преступившего черту дозволенного, отправившись в царство мёртвых.

*Для тех, отженивших последние ключья
Покрова (ни уст, ни ланит!...),
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид.* [18]

Летом 1911 года в Коктебеле (после того, как Волошин показал Цветаевой вход в царство Аида) Марина познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. В романтически-таинственной атмосфере Коктебеля, где сама природа создавала в угоду литературным вкусам времени профили поэтов, Сергей Эфрон, представленный Цветаевой как молодой литератор, тёмноволосый юноша с большими зеленовато-серыми глазами совершенно соответствовал её творческому воображению. Когда Марина впервые увидела Сергея в белой рубашке на скамейке у моря, он был, по её признанию, так неправдоподобно красив, что, казалось, ей стыдно ходить по земле.

А история семьи Эфрона была эффектной подсветкой того образа, который Марина себе создала. Еврейское происхождение его отца вписывалось в образ экзотического «чужестранца». Мать Сергея красавица Елизавета Дурново, принадле-

жавшая к старинному дворянскому роду, была членом подпольной организации «Земля и воля», её неоднократно арестовывали, и многие годы семья Эфронов находилась в изгнании. Трое детей Елизаветы и Якова умерли в детстве, младший сын Константин застрелился, и в тот же день мать, не в силах перенести горе, ушла вслед за ним. За два года до знакомства Марины и Сергея умер его отец Яков Эфрон.

В Коктебеле Сергей подарил Марине сердоликовую генуэзскую бусину (сердолик её любимый камень) — она поместила её в серебряное кольцо (серебро — любимый металл, оно серебрится, подобно пене морской, и сама Марина — «бренная пена морская»). Сергей — воплощение мечты её покойной матери — сын «красавицы и героини» и воплощение её собственного идеала. Воображение, которое Марина называла своей второй памятью, возможно, тогда вызвало образы молодых героев Отечественной войны, и в 1913 году она посвятила Сергею стихотворение «Генералам двенадцатого года»:

*Ах, на гравюре полустёртой,
В один великолепный миг,
Я видела, Тучков-четвёртый,
Ваш нежный лик.*

*И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...*

*О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.*

*В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.^[19]*

Поцелуй гравюры в стихотворении, посвящённом мужу, становится символом брака Цветаевой и Эфрона — художественного вымысла, воплощённого в реальность. Казалось, Цветаева заранее сочинила эффектный сценарий, в котором оказалась главным действующим лицом — «зрительно — биографической эмблемой» (Пастернак) романтической легенды, став, таким образом, жертвой самообмана, поскольку неизбежно исчезал «зазор» между идеальным и реальным, трагически нарушались границы между жизнью и искусством.

Таков удел многих романтиков, а показательным в этом смысле является «случай» Генриха фон Клейста, превратившего «финал» своей жизни в заключительный акт драмы, постановка которой возможна лишь один раз. Кажется, что романтик избрал место своей гибели, строго следуя канону исповедуемого им художественного принципа — это был один из самых живописных уголков в окрестности Берлина, казалось бы, повторяющий знаменитые пейзажи Клода Лорена. В уединении меланхолического парка с великолепным видом на озеро Ванзее поэт в возрасте тридцати четырёх лет по соглашению с любимой женщиной застрелил её, а затем — себя. На месте самоубийства у озера оба и похоронены.

Характерная деталь: Цветаева и Эфрон до последних дней своей совместной супружеской жизни, как правило, говорили друг к другу «вья». Впоследствии в одном из писем Цветаева признавалась, что Сергея оставить невозможно, причём, трагически невозможно. Это признание — свидетельство нерушимости коктейльской встречи-легенды. Ибо легенда (а также сказка и миф) создаёт почву мировосприятия Марины, ибо легенда неразрушима.

В «Пушкине и Пугачеве», написанном в 1937 году, Цветаева вывела «формулу» вечности легенды:

*Ибо чара — старше опыта,
Ибо сказка — старше были.* [20]

Предварительное знание об этом сохранило их союз. Впоследствии Цветаева придёт к печальному выводу, что встреча с прекраснейшим человеком Сергеем Эфроном должна была перерасти в дружбу, а привела к раннему браку. «А ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь» [21], писала она А. Тесковой. Но подобные признания придут потом.

С самого начала коктейльского знакомства Цветаева верила, что Эфрон будет соответствовать требованиям её воображения, — он будет одновременно ранимым и бесстрашным, нежным и решительным, беспомощным и заботливым. Однако судьба семьи складывалась так, что Марине приходилось самой воспитывать детей. На протяжении всей жизни у Эфрона волею судьбы не окажется свободного времени для семьи, в том числе и для её материального обеспечения. Когда началась гражданская война, Эфрон, закончив Первую Петергофскую школу прапорщиков, стал офицером Добровольческой белой армии и — пропал без вести. Цветаева осталась в Москве одна с пятилетней Алей и шестимесячной Ириной.

В разгар московского свирепого голода Марина узнала, что как будто бы в Кунцево открылся приют, который снабжает продовольствием американская благотворительная организация. Доверчивая Марина отдала (14 ноября 1919 года она сделала этот непоправимый шаг) в приют обеих своих девочек — старшую семилетнюю Алю (Ариадну) и младшую Ирину, которой было два с половиной года. На самом деле в жутком этом приюте дети, как правило, умирали именно от голода (и от болезни, само собой). Марина в паническом состоянии сумела буквально вытащить из приюта заболевшую малярией и воспалением лёгких старшую дочь, а младшую не успела. Ирма Кудрова в книге «Путь комёт» [22] сообщила, что девочку должна была забрать сестра Сергея Эфрона Вера Эфрон, но опоздала, и девочка умерла.

«Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина — 3-го февраля [23], четыре дня назад, и в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия, — возвращающиеся приступы) — и так боялась ехать в приют (боялась того, что случится), что понадеялась на судьбу... И теперь это совершилось, и ничего не исправить». [24]

Марина осталась с дочерью Алей. Дочь Марины, Ариадна Сергеевна Эфрон — автор замечательных воспоминаний о ней [25], писательница и переводчица французской поэзии XIX и XX веков. Лучший портрет Марины Цветаевой был создан ею самой и посвящён дочери в голодные московские годы. Марина в стихотворении предположила, что станет для дочери «воспомянем, затерянным так далеко-далеко»:

*Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем,*

*Там в памяти твоей голубоокой,
Затерянным — так далеко-далёко.*

*Забудешь ты мой профиль горбоносый
И лоб в апофеозе папирасы,*

*И вечный смех мой, коим всем морочу,
И сотню — на руке моей рабочей —*

*Серебряных перстней, — чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...*

*Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты — маленькой была, я — молодою. [26]*

Но забвения не произошло, наоборот — мать станет для дочери воспоминаньем настойчивым и неотступным. Возвращение поэзии Марины делается её высоким долгом, и после шестнадцати лет тюрем и поселений, остальную свою жизнь Ариадна посвятит изучению и публикации божественной смуты Марининых бумаг.

Об отчаянии Марины Цветаевой, потерявшей Сергея Эфрона, свидетельствует стихотворение, посвящённое ему в 1920 году:

С.Э.

*Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стёклах, —*

*И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась радугой небесной.*

*Как я хотела, чтобы каждый цвёл
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала — имя...*

*Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! внутри кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях. [27]*

В июне 1921 года Цветаева узнала от Ильи Эренбурга, что Эфрон жив и находится в Чехии. Первого июля вечером Марина получила от Сергея письмо, при виде которого она «закаменела». Сергей жив! Он писал ей: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы.

Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...»^[28]. Сергею удалось в Крыму сесть на корабль и добраться до галлиполийского лагеря под Константинополем, где нашли приют многие русские беженцы.

Кажется, появлялась возможность после четырёх лет разлуки встретиться с мужем в Берлине и соединиться с ним, жить единой семьёй. Отъезд приближался. Всего за неделю (в связи с началом НЭПа процедура выезда из России упростилась) Цветаева оформила для себя и дочери разрешение на выезд за границу. Багаж состоял из сундучка с рукописями, одного чемодана и портплекда, последнего подарка отца Марины. Одежды и обуви у них почти не осталось — всё было сношено.

В одной из марининых тетрадей сохранился список вещей, которые необходимо было забрать с собой в Берлин, завораживающий список, начиная от карандашницы из папье-маше с портретом Тучкова IV в мундире и плаще на алой подкладке, купленном в Москве на толкучке (Марина никогда с ней не расставалась) и кончая валенками (валенки тоже привезли в Берлин!). Впрочем, вот список:

«Список (драгоценностей за границу):

Карандашница с портретом Тучкова IV
Чабровская чернильница с барабанщиком
Тарелка со львом
Серёжин подстаканник
Алин портрет
Швейная коробка
Янтарное ожерелье

(Алиной рукой):

Мои валенки
Маринины сапоги
Красный кофейник
Синюю кружку новую
Примус, иголки для примуса
Бархатного льва».^[29]

В этом списке казалось бы бесполезных, а на самом деле необходимых по высокому счёту памяти (и памяти исторической тоже) драгоценностей — бархатный лев, тарелка со львом («этот лев — Макс, весь Макс, более Макс, чем Макс»), Серёжин подстаканник (!) — вся Марина. («Всё это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души»^[30]). Корни этого сказочного списка — не только в аристократическом воспитании Марины в атмосфере семьи и жизни на высокий лад («Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад»^[31]), о чём, разумеется, следует говорить в исследованиях о формировании поэтической личности Цветаевой.

Однако — генуэзская сердоликовая бусинка, подаренная Марине Серёжей, вход в царство Аида — десятисаженная шель в скале, куда Орфей входил за Эвридикой, серебро морской воды на скалах, напоминающих готические соборы - «реймские и шартрские соборы скал» - неотвратимо ведут к волшебному списку драгоценностей «сирот и поэтов».

Век-волкодав, век-убийца безжалостно разметал по свету современников гостеприимного Волошина, страстных любителей Коктебеля, осиротевших без-

домных поэтов. Цветаева двумя строками с точностью запредельной передала своего ощущение вокзальной временности и транзитности:

Пришла и знала одно: вокзал.// Раскладываться не стоит. [32]

В цветаевском «Пленном духе» Андрей Белый говорит Цветаевой: «Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Средо». Но затем он поднимает тему — до сиротства, и далее — выше и выше — к сиротству поэта, потерявшего отчий дом, призванного оплакать его: «Но оставим профессорских детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе): — все равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? Сироты и поэты. Вот!» [33]

В последний раз Цветаева посетила волошинский дом после октябрьского переворота в ноябре семнадцатого года. Посёлок был занесён снегом, и сквозь снежную метель она увидела непривычно серое, хмурое море и силуэты гор, казавшиеся призрачными, словно это были тени Аида, а впоследствии в эмигрантских странствиях — везде и повсюду - искала знакомые черты, или хотя бы отдалённое сходство с Коктебелем. А между тем Коктебель в Гражданскую превратится в арену войны большевиков и белогвардейцев, и Волошину суждено будет пережить голод и террор.

*В тех и в других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула.* [34]

Волошин, превыше всего ценивший человеческую жизнь (таково было его кредо), укрывал в своём доме раненых обеих сторон, независимо от того, к какому лагерю они принадлежали. После революции Волошин остался в Коктебеле, жил бедно, насколько мне известно (в основном из текстов Цветаевой), очень бедно, вынужден был отдать свой дом под бесплатный дом отдыха для писателей и тем самым сохранил его.

В тридцать девятом Цветаева из Парижа с сыном Георгием — Муром (он погибнет на фронте в сорок четвёртом), вернулась в Москву вслед за Сергеем. Сергей Эфрон, ангажированный в 1932 году сталинским Иностранным отделом НКВД, по возвращении в Россию был арестован в тридцать девятом (расстрелян в сорок первом).

В Москве, в сороковом предвоенном году, Марина всё ещё продолжала мечтать о Коктебеле, как о последнем приюте-пристанище, и эту тоску зафиксировала автор одной из лучших книг о Цветаевой Мария Иосифовна Белкина: «Она говорила, что единственное место её - был Коктебель, дом Макса, там она была своя, а потом везде и всюду, всегда — не своя! И в той страшной Москве двадцатых годов, из которой она уехала — не своя, и в эмиграции — не своя, и здесь теперь — не своя... Если бы попасть в Коктебель хотя бы ненадолго, на день, на час... но Макса нет — значит, и Коктебеля нет!» [35]

Однако дом Макса есть. Он по-прежнему стоит у залива, или разлива, как говорила Цветаева, по-прежнему притягивает к себе всех мыслящих — верующих и неверующих, агностиков и оккультных, и тайну этой тяги нам не разгадать, как не дано нам разгадать тайну бытия, но связь между людьми в одной общей истории дает нам шанс понять смысл нашей жизни, и хочется верить Чаадаеву, полагавшему, что родственные души находят друг друга — независимо от времени и пространства.

Коктебельский ступок мощной творческой энергии — это и есть заявленная Цветаевой в самом начале очерка-портрета о Волошине — *печать коктейльского полднегого солнца на лбу каждого, кто когда-нибудь подставил ему лоб*, тот самый Genius loci, о котором любил говорить Фёдор Тютчев, полагавший, что любой человек, которому и не дано Слово, но восхитившийся местом — гений, пусть даже на мгновенье.

Что же касается крымских изгнанников, домочадцев русской литературы, желанных гостей Волошина, то они, так же, как и Марина Ивановна Цветаева, не смогут больше увидеть Коктебель, лишь избранные счастливицы, правда, не через два десятилетия, как Одиссей (так долго он возвращался домой), а лет через сорок-пятьдесят придут в Коктебель, и, может быть, в полуденный, волошинский, коктейльский час — *в полдень ваш священный вхожус с поникшей головой* — подойдут к дому Волошина с тем, чтобы постоять возле него — долго и раздумчиво.

Примечания

- [1] Очерк создан в частности и по материалам, собранным автором для книги: Мина Полянская. Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922. Берлин: Геликон; М.: Голос-пресс, 2009.
- [2] О. Мандельштам. Золотистого мёда струя из бутылки стекла // О. Мандельштам. Шум времени. (сост. В.А. Чалмаев). М.: Олма-Пресс, 2003, С. 243.
- [3] М. Волошин. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 2008, Т.: 7, С.223.
- [4] М. Цветаева. Живое о живом // Цветаева М. Собр. Соч. в 7-ми т. М., 1994. Т. 4. С. 194.
- [5] М. Волошин. Коктебель // М. Волошин. Избранные стихотворения. М.: Сов. Россия, 1988, С. 180.
- [6] М. Цветаева. Ветхозаветная тишина (из цикла ICI NAUT) // М. Цветаева. Стихотворения и поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 403.
- [7] М. Цветаева. Над вороньим утёсом // М. Цветаева. Осыпались листья над вашей могилой... Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 405.
- [8] М. Цветаева. Живое о живом // М. Цветаева. Указ соч. Т. 4. С. 191.
- [9] М. Цветаева. Живое о живом // М. Цветаева. Указ соч. Т. 4. С. 191.
- [10] В архиве А.Л. Никитина, автора книги «Мистики, розенкрейцеры, тамплиеры в Советской России», хранится запись его беседы с Анастасией Цветаевой (12.2.93), в которой она восторженно рассказывала о тайном обществе и в особенности о его руководителе — широко одарённом человеке, оказавшем влияние на современников, Б.М. Зубакине. Зубакина расстреляли в 1938 году после третьего ареста. Ему (и А. Цветаевой, его секретарю) вменялось участие в контрреволюционной, антисоветской, фашистской деятельности.
- [11] Андрей Белый. Почему я стал символистом. // Андрей Белый. Символизм как понимание. М.: 1994).
- [12] М. Волошин. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 2008. Т.: 7, С. 165.
- [13] М. Волошин. Под знаком льва // М. Волошин. Избранные стихотворения. М.: Сов. Россия, 1988, С.132.
- [14] Екатерина Дайс. Марина и Орфей. Нева», 2006, №8.
- [15] М. Цветаева. Живое о живом. // М. Цветаева. Указ. соч. Т. 4. С.195-196.
- [16] М. Цветаева. Живое о живом. // М. Цветаева. Указ. Соч. Т. 4 С. 196.

- [17] М. Цветаева. Орфей//М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С.227.
- [18] М. Цветаева. Эвридика Орфею//М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 298.
- [19] М. Цветаева. Генералам двенадцатого года. // М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 29, 30.
- [20] М. Цветаева. Пушкин и Пугачев. // Цветаева М. Поэзия. Проза. Драматургия. М.: Слово/Slovo, 2008. С. 384.
- [21] М. Цветаева. Письма к Тесковой. Прага: Академия, 1969, С. 112.
- [22] И. Кудрова. Путь Комёт: Жизнь Марины Цветаевой. СПб. : Вита Нова, 2002.
- [23] Марина Цветаева указывает дату по старому стилю.
- [24] Цит. по изданию : А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910 - 1922). М.: Сов. пис., 1986, С. 218-219.
- [25] Впервые воспоминания А. Эфрон о матери при активном содействии исследовательницы творчества Цветаевой И. Кудровой были опубликованы в 1973 г.: А. Эфрон. Страницы воспоминаний // Звезда. 1973. № 3. С. 154-180.
- [26] М. Цветаева. Когда-нибудь, прелестное создание...// М. Цветаева. Соч. в 2 т. М.: Худ. лит., 1984, С. 126.
- [27] М. Цветаева. Писала я на аспидной доске// М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Казанское книжное издательство, 1990, С. 166.
- [28] Цит. по изданию: А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910-1922). М. : Сов. пис., 1986, С.302.
- [29] А. Эфрон. Страницы воспоминаний. // Воспоминания о Марине Цветаевой (сост. Л.А. Мнухин, Л.М. Турчинский). М.: Сов. пис. 1992. С. 190.
- [30] М. Цветаева. Собр. соч. в 7-ми т. М. 1994, Т. 5. С. 229.
- [31] М. Цветаева. Собр. соч. в 7-ми т. М.: Эллис Лак, 1994., Т. 4, С. 622.
- [32] М. Цветаева. Поезд. М. Цветаева// М. Цветаева. Стихотворения, поэмы. Казань: Татарское книжное издательство, 1990, С. 333.
- [33] Цит. по изд.: Мина Полянская. Фохтот белого рыцаря. Андрей Белый в Берлине. СПб: Деметра, 2009, С. 160.
- [34] М. Волошин. Гражданская война// М. Волошин. Избранные стихотворения. М. : Сов. Россия, С. 213.
- [35] Мария Белкина. Скрещение судеб. М.: Эллис Лак, 2008, С. 337.



Александр Кунин
ОБМАНЧИВАЯ ТКАНЬ
РЕАЛЬНОСТИ
Владимир Набоков и наука

Разделить неделимое. По некоторым причинам, биографическим не в последнюю очередь, время сделалось подлинным наваждением Набокова. Никогда не утрачиваясь, оно сплетало из разрозненных событий причудливую ткань жизни. Ту самую, о которой Набоков писал в Парижской поэме:

*«...я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришлось узор настоящего
на былое, на прежний узор...»^[1]*

Время-память, время-воспоминание — бесценная кладовая сознания, и оно же — "жидкая среда, в которой произрастает культура метафор" ^[2]. Но и само это определение — метафора, смысл которой, быть может, в том, что именно время — царство поэзии, стихия литературного творчества. Есть тут, возможно, намек на переключку событий, когда настоящее иносказательно повторяет прошлое. Таких возвратов через многие годы немало в набоковских текстах. Но не только эта — человеческая и поэтическая форма времени занимала Набокова. Он собирался исследовать все его таинственные глубины. Эту нелегкую задачу должен был решать его любимый персонаж — «очаровательный негодяй» ^[3] Ван Вин из «Ады», бурная жизнь которого не мешала, однако, написанию научного труда «Ткань Времени». Вин объявил свои намерения достаточно четко: «Я хочу прояснить сущность Времени, не его течение, ибо не верю, что сущность его можно свести к течению. Я хочу приглубить Время» ^[4]. Но эта уклончивая сущность плохо поддавалась определению, скрываясь в глубине ритмов, пульсаций, возвратов: «Я сознаю, что всякий, кто пытался попасть в зачарованный замок, сгинул без вести или завяз в болотах Пространства» (там же).

Четвертая часть романа содержит многообразные усилия избавиться от проклятого *пространства*, которое впутывается во всякое рассуждение о *времени*. «...При виде встающих звезд и, разумеется, общепринятых способов измерения, ползущей теневой нити гномона, струйки песочных часов, рысистой трусы секундной стрелки — вот мы и вернулись в Пространство» (там же).

Вин отказывается соединить банальное пространство с живым и плодотворным временем: "Быть может, это хорошая физика, но логика никудышная" (там же). В этом он, пожалуй, согласен с Анри Бергсоном, для которого время физиков — всего лишь форма пространства, действительное же время — это непрерывность человеческой памяти, неотделимость прошлого, которое всегда присутствует в настоящем. Он разделяет с французским философом и пренебрежительное отношение к пространству, где действует интеллект с его математическими правилами, тогда как для истинного понимания необходима интуиция, а это уже вотчина *времени* ^[5].

Бой часов, удары метронома, сердечный ритм — это лишь отдаленные намеки на чистое время, на время, свободное от содержания, которое укрывается между биениями, в паузах и провалах. И приблизиться к нему можно лишь очистив его от пространства. Но Вин, желающий быть «любителем Времени, эпикурейцем длительности», готов понять и влюбленных в Пространство, среди наслаждений которого «совершенство скорости, ее сабельный свист; орлиный восторг управления ею; радостный визг поворота» [6]. Однако же всякая интимная связь пространства и времени кажется Вину противоестественной и он пытается разорвать её снова и снова, благо Набоков дает ему достаточно места для этих усилий и снабжает если не решающими аргументами, то литературным мастерством: «Пространство-Время» — это гиблый гибрид, в котором дефис, и тот смотрит мошенником. Можно ненавидеть Пространство и нежно любить Время» (там же). Но действительно ли сам Владимир Набоков придерживался столь странных мнений? Не причуды ли это Ван Вина, персонажа неординарных психических свойств, среди которых и «расщепление» — недуг его старости. Да и сам писатель, как кажется, намекает, что не стоит относиться с излишней серьезностью к изысканиям Вина, среди которых числится, к примеру, психологический тест по установлению женской невинности без физического обследования. В беседе с Джеймсом Моссменом [7] Набоков замечает, что не решил еще, согласен ли он со своим героем в рассуждениях о пространстве и времени. Однако, другие его интервью не оставляют сомнений: согласен если не абсолютное, то вполне очевидное. «...Я заключил, что Время не имеет ничего общего с Пространством..., измеряем мы не само Время или расстояние между двумя осязательными точками Времени (подобно тому как мы измеряем Пространство), но отрезок нашего собственного существования между двумя воспоминаниями, в среде, которую наш разум не в силах постичь».

Говорит это Набоков, и не устами Ван Вина, а «напрямую», в интервью Мати Лаансу [8]. Задолго до нечестивца Ван Вина загадку *времени* пытался разрешить Блаженный Августин (4 век н.э.), и настолько отчаялся, что молил Всевышнего о помощи. Странный парадокс относился к измерению времени. Если оно естественным образом разделяется на настоящее, прошедшее и будущее, то что же мы измеряем? Нельзя измерить будущее, которого еще нет, прошедшее, которого уже нет и даже настоящее, которое всего лишь мгновение между ними [9]. И тут Набоков вполне согласен с Августином Аврелием, который после изнурительных усилий заключил: "В тебе, душа моя, измеряю я время". Воображение и память — вот что сохраняет ход событий и позволяет оценивать их длительность [10].

Если Ван Вин представлял исследовательскую, то другой персонаж Набокова — страдательную и даже патологическую сторону пространственно-временного кошмара.

В романе "Смотри на арлекинов!" герой повторяет мучительные попытки вообразить пройденный по улице путь в обратном порядке, совершить «поворот пространства», когда правое становится левым, запад - востоком. Его усилия разрешаются «дурной, головокружением, кегельбаном мигрени» [11]. Болезнь, которая вполне укладывается в клинические рамки *навязчивых состояний*, осложняется, по воле Набокова, сновидным нарушением сознания — развитие оправданное логикой сюжета, но не характером болезни. Любимая женщина объясняет герою истинную суть страдания: «...болезненная ошибка на самом деле сводится к сущему пустяку. Он спутал дальность и длительность. Говоря о пространстве, он разумеет время... Что же, спрашивается, странного в его неспособности вообразить

поворот вспять? Никому не дано представить в телесных образах обращение времени. Время необратимо» (там же, гл. 7).

Все эти головоломки времени и пространства безразличны и для профессора новейшей истории из романа Набокова «Под знаком незаконнорожденных». Он рассуждает о будущем, главным свойством которого является «полное несуществование», настолько абсолютное, что нет никакой возможности сказать что-либо о нашем «завтра» на основании нашего «вчера» [12].

Удалось ли Ван Вину и другим героям Набокова выполнить его поручение — определить сущность *времени*, а заодно и *пространства* — его антипода? Задача оказалась слишком трудной, несмотря на прямую помощь самого писателя. В телеинтервью Курту Хоффману Набоков говорил: «Величайшее открытие Вана в том, что он воспринимает Время как впадину, темнеющую между двумя ритмическими ударами, узкую и бездонную тишину именно между ударами, а не как сами удары, которые только сковывают Время. В этом смысле человеческая жизнь не пульсирующее сердце, а упущенный им удар». Время не равно ритму, поскольку ритм — движение, Время же — недвижимо [13]. Хотя Владимир Набоков и его литературные персонажи не стремились, разумеется, изложить свои концепции систематически, отыскать их связи с некоторыми философскими подходами вполне возможно. Скажем, если «настоящее только пик прошлого, а будущего нет» [14], то это вполне соответствует концепции *нарастающего-прошлого* (growing-past), которой придерживался, среди прочих, ценный Набоковым William James [15].

Утверждение о недвижности времени — главный пункт т.н. *статической теории* (static theory or B-theory), по которой течение времени — иллюзия, продукт ложной метафоры. События либо совпадают, либо следуют друг за другом, тогда как «течение» — образное выражение человеческого восприятия происходящего (там же).

То, что справедливо для времени, справедливо, по Набокову, и для *пространства*: *измерение* никоим образом не является *сущностью*. «Мы можем измерить глобулы вещества и расстояния между ними, однако само Пространство неисчислимо» [16]. Но быть такого рода сущностями, ускользающими от измерений, эти понятия могут лишь метафизически. Однако, и потусторонняя сущность должна каким-то образом «являться», чтобы заслужить эмоциональную привязанность Набокова и его героев. Это может быть, к примеру, метафорический «бульонвремени», который требуется для развития «мысли, даже самой крохотной», причем эта мысль, как и сам бульон, вполне обходится без пространства [17]. Набоковское время похоже, скорее всего, на «реальное время» Анри Бергсона — человеческое переживание длительности [18]. Французский философ, однако, мало что сообщает о деталях такого переживания. Иное дело Владимир Набоков, для которого сущность неотделима от «способности чувственно восхищаться тканью Времени «в его плоти и в его протяженности, в его устремлении и в его складках, в самой неосязаемости его дымчатой кисеи, в прохладе его непрерывности» [19]. Эта волшебнo-поэтическая сущность сильно отличается от абстрактных сущностей философов. Впрочем, Набокова и его героев больше увлекло выяснение отношений с физиками, чем с философами.

Высокомерие точных наук. Если физики и были в почете у образованной публики 20 века, то это никак не относится к проф. Ван Вину из «Ады», проф. Кругу из «Под знаком незаконнорожденных» и их создателю Владимиру Набокову. «Не буду особо просвещенным по части физики, я не принимаю хитроумные формулы Эйнштейна, но ведь для того чтобы быть атеистом, не обязательно знать теологию», говорил Набоков [20]. Ван Вин решительно защищал традиционное понятие

времени от посягательства современной физики: «Я знаю, релятивисты, обремененные их «световыми сигналами» и «путешествующими часами», пытаются истребить идею одновременности на космической шкале». Но «особенно фарсовое следствие» из теории относительности «сводится к тому, что галактонавт и его домашняя живность, шустро проехавшись по скоростным курортам Пространства, возвратятся к себе, став намного моложе, чем если бы они просидели все это время дома»^[21]. Для полноты картины стоит привести мнение еще одного набоковского профессора — философа Круга из «Под знаком незаконнорожденных», отбросившего всякие академические условности: «Подите вы прочь, с вашими линейками и весами! Ибо без ваших правил, в назначенном состязании, вне бумажной гонки науки босоногая Материя *перегоняет Свет*»^[22].

Серьезность нападков на научные теории притушевуется в свойственной писателю манере сопровождающими их пародиями и розыгрышами. Но вот мнение самого Набокова о новых физических открытиях: «...люди неумные, с большими способностями к математике, лихо добиваются до тайных сил природы, которые кроют, в ореоле седин, и тоже не очень далекие физики предсказали (к тайному своему удивлению)»^[23].

Нападки Владимира Набокова на дарвиновскую теорию естественного отбора, при всей эксцентричности их формы, не лишены серьезных биологических оснований, среди которых и его собственные наблюдения мимикрии у бабочек. Точно так же и тотальная война с фрейдизмом вовсе не была беспочвенной и опиралась на достаточное знакомство с первоисточниками. Можно ли утверждать то же самое и в отношении физики, против современных теорий которой писатель выступил во всем блеске своей литературной магии? Исследованиями в этой области Набоков, насколько известно, не занимался, и необходимые сведения черпались, скорее всего, из научно-популярных изданий. Новые физические теории 20 века с самого момента их появления привлекали внимание прессы, особенно необычные, сенсационные следствия этих теорий. К примеру, статья в журнале Тайм: «Революция в науке. Новая теория Вселенной. Ньютонская физика опровергнута»^[24]. Роман "Ада", главный герой которого Ван Вин сражался с релятивистами, создавался в 1959-1969 гг. Именно в это время известный физик Herbert Dingle, возбудил дискуссию о "парадоксе близнецов", доказывая, что последний ставит под сомнение теорию относительности^[25]. Дискуссия вызвала интерес публики и обсуждалась в общей печати.

Многочисленные замечания, рассыпанные в набоковских текстах, часто иронические, создают, тем не менее, впечатление хорошего знакомства с материалом. «Тело изумленного человека, движущегося в Пространстве, сжимается в направлении движения и катастрофически усыхает по мере приближения скорости к пределу, за которым, по уверениям увертливой формулы, и вовсе нет никаких скоростей. Такова его злая судьба — его, но не моя, поскольку я отвергаю все эти рассказы о замедляющих ход часов...»^[26]. Набоков, похоже, внимательно следил за научными открытиями и немедленно передавал их своим героям. Ван Вин, рассуждая о развитии хронометрии «от солнечных часов к атомным», упоминает о «портативных пульсарах» (?) (там же). Сообщение об открытии пульсаров впервые появилось во время написания романа.

Неизбежный вопрос, на который нет легкого ответа: что побудило прославленного писателя объявить войну физическим теориям? Следует ли искать здесь мировоззренческие или даже личные мотивы? Попробуем разобраться с первыми, оставив вторые для заключительной части работы.

Набоков довольно последователен в своем пренебрежительном, если не презрительном отношении к научному поиску путем «редукции», вычисления, разделения и экспериментального изучения деталей природных процессов. Физика, к примеру, страдает от преосудительной связи с математикой. «То, что многие космогонисты склонны принимать за объективную истину, на деле представляет собой гордо изображающий истину врожденный порок математики»^[27]. Порок, надо полагать, состоит в том, что математика давно уже не связана ни с какой реальностью, она «...лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении»^[28]. Эти мнения Набокова устояли перед впечатляющими открытиями и достижениями, свидетелем которых ему довелось быть. Одновременно с выходом английского издания «Ады», в том же 1969 г., космический корабль Аполлон-11 доставил человека на Луну и благополучно возвратил обратно. Похоже, расчеты совсем неплохо отражали реальность.

В греховной склонности к измерениям и вычислениям повинны, по Набокову, и биология, и психология, где подвизаются «бездарности, которые делают «научную карьеру» в биометрии или при помощи лабиринтов с тренированными крысами»^[29]. Последнее относится, конечно, к бихевиористам, которые изучали поведение в экспериментальных условиях, фиксируя с максимальной точностью стимулы и реакции (Д.Б. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, И.П. Павлов и др.) Презрительное отношение к биометрии любопытно, поскольку сам Набоков, в ипостаси ученого, не считал зазорным подсчитывать чешуйки на крыльях бабочек-голубянок.

Никакого почтения не заслуживают, по Набокову, психологические эксперименты, наукообразность которых способна вызвать лишь насмешку. В дополнение к «кляксам Роршаха» профессор Аура из романа «Пнин» изобретает Пальцемакательный опыт, в котором соотношение «длины пальца к его намоченной части» позволяет строить интересные диаграммы^[30].

В свойственной Набокову манере серьезные и глубокие мнения выступают в обрамлении пародийных ходов и «ловушек» для доверчивых читателей. «Пусть практические умы умиляются мышами на побегушках у профессора Павлова и колесящими крысами д-ра Гриффита и пусть самодельная амeba Рамблера окажется чудной зверушкой. Но нельзя забывать: одно дело — нашаривать звенья и ступени жизни, и совсем другое — понимать, что такое в действительности жизнь...»^[31]

Павлов, как известно, экспериментировал на собаках. Был, однако, период, и тут Набоков прав, когда исследовательская задача потребовала других животных. «Мыши на побегушках» участвовали в опытах по передаче условных рефлексов по наследству (и не подтвердили её). Но английский микробиолог Фредерик Гриффит (если о нем идет речь) работал не с крысами, а с мышами, и они у него не «колесили» (как у бихевиористов), поскольку изучал он возбудителей пневмонии (и сделал в этой области важное открытие). Знал ли Набоков, что Гриффит погиб во время работы в своей лаборатории от взрыва немецкой бомбы в 1941 году?^[32]

Несуществующая «амeba Рамблера» рождена, скорее всего, желанием позабавить читателя. Он мог бы, скажем, развлечься, решая — похож ли на амебу автомобиль марки «рамблер», или, быть может, мотоцикл того же имени?

Такова, по Набокову, судьба науки: она доставляет исследователю ни с чем не сравнимое наслаждение, но бессильна перед барьерами, которые Природа установила для сохранения своих тайн. Если физика ограничивается «измерением измеримого», она остается по внешнюю сторону барьера и проявляет разумную скромность, но математические фантазии могут увести ее в «ззеркалье», в область нелепостей и искаже-

ний. Большой и загадочный мир лежит за пределами физики. И сколько бы не взгляды-валась в него наука, все, что она способна увидеть, это лишь калейдоскоп, меняющий свой узор при каждом встряхивании (при каждой новой теории? — А.К.). Так думает проф. Круг из «Под знаком незаконнорожденных»^[33] и он же представляет, как ученые «... в 3000 году нашей эры, презрительно усмехаясь нашим наивным нелепицам, замечают их нелепицей собственной выделки» (там же, гл. 12).

Набоковские взгляды на возможности познания, если искать их философские соответствия, могут быть отнесены, скорее всего, к *скептицизму*. Этот достойный гносеологический подход сопровождает науку со времени её зарождения, но может быть прослежен до Сократа и Протагора. Если бы Набоков решил подкрепить свои нападки авторитетным мнением выдающегося ученого, он мог бы сослаться, скажем, на Анри Пуанкаре, который полагал, что «... наука не может открыть нам природу вещей... Поэтому когда научная теория обнаруживает притязание научить нас тому, что такое теплота, или что такое электричество, или что такое жизнь, она наперед осуждена; все, что она может нам дать, есть не более как грубое подобие. Поэтому она является временной и шаткой»^[34]. Но на этом согласие между математиком и писателем заканчивается, ибо Пуанкаре полагал, что теория, которая не ищет сущностей, а устанавливает истинные отношения вещей, а только они и являются объективной реальностью, такая теория сохраняет важнейшие положения при всех новых подходах и исследованиях. (Там же, часть II, гл. X, § 6. Объективность науки).

Проблема со всеми этими *сущностями*, и Анри Пуанкаре видел её, в том, что мы плохо понимаем сам вопрос. Что считать сущностью (жизни, времени, пространства и т.д.)? Что, собственно, следует искать?

По Набокову, слово "реальность" нужно заключать в кавычки, поскольку строится она творческим, даже "воспаленным" человеческим воображением^[35]. Но Природа, которую точные науки пытаются измерить с помощью "линеек и весов", вовсе не пассивна. Она обманчива и игрива. Тому, кто способен разгадывать ее "очаровательные обманы", доступен смысл, скрытый за видимостью. Но всегда остается тайна, доверенная лишь редким счастливым. Разглашать ее, уверял Набоков, он не вправе. Но об этом — в последней части работы.

Примечания

[1] Набоков Владимир. Стихи. <http://www.e-reading.biz/book.php?book=40695>

[2] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин) <http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>

[3] Набоков о Набокове и прочем. Интервью Джеймсу Моссмену <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>

[4] Владимир Набоков. Ада, или Радости страсти. Семейная хроника, ч.4 <http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>

[5] Анри Бергсон. Избранное: сознание и жизнь. М., Российская политическая энциклопедия, 2010, с.99-106).

Б. Рассел. История западной философии. Ростов на Дону, «Феникс», 2002, с. 878-900

[6] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин) <http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>

[7] Набоков о Набокове и прочем. Интервью <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>

[8] Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>

- [9] Блаженный Аврелий Августин. “Исповедь.” Кн. 11, гл.16, пар. 21
http://azbyka.ru/otechnik/?Avrelij_Avgustin/ispoved
- [10] Блаженный Аврелий Августин. “Исповедь.” Кн. 11, гл. 27, пар. 36.
http://azbyka.ru/otechnik/?Avrelij_Avgustin/ispoved
- [11] Владимир Набоков. Смотри на арлекинов! Часть 4 пар 4 Пер. С.Б. Ильин.
<http://proxy.flibusta.net/b/159063/read>
- [12] Набоков Владимир. Под знаком незаконнорождённых (Bend Sinisters), гл. 4. пер. С.Б. Ильин.
<http://proxy.flibusta.net/b/194595>
- [13] Набоков о Набокове и прочем. Интервью. <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>
- [14] Интервью Полю Суфрэнэу Сентябрь 1971 Перевод А.Г. Николаевской. Набоков о Набокове и прочем. Интервью <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>
- [15] Time. Internet Encyclopedia of Philosophy <http://www.iep.utm.edu/time/>
- [16] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин)
<http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>
- [17] Интервью Мати Лаансу. Набоков о Набокове и прочем. <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>
- [18] Анри Бергсон. Длительность и одновременность. (По поводу теории Эйнштейна) Пер. с фр. А.А. Франковского. АСАДЕМІА. Петербург, 1923, с. 84
- [19] Телентервью Курту Хоффману. Набоков о Набокове и прочем.
<http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>
- [20] Набоков о Набокове и прочем. <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>
- [21] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин)
<http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>
- [22] Владимир Набоков. Под знаком незаконнорожденных, пер. С.Б. Ильин. гл. 14
<http://proxy.flibusta.net/b/194595/read>
- [23] Владимир Набоков. Другие берега. Гл. 14 пар. 1 <http://proxy.flibusta.net/b/298461/read>
- [24] Revolution in Science. New Theory of the Universe. Newtonian Ideas Overthrown,” The Times , 7 Nov. 1919, 12.
- [25] Time Supplement. <http://www.iep.utm.edu/time-sup/#N18>
- [26] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин)
<http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>
- [27] Владимир Набоков. Ада, или радости страсти. Семейная хроника, ч. 4 (Пер. С.Б. Ильин)
<http://proxy.flibusta.net/b/145327/read>
- [28] Владимир Набоков. Solus Rex, гл. 1. Ultima Thule <http://proxy.flibusta.net/b/157056/read>
- [29] Владимир Набоков. Память, говори, гл. 15 пар. 1, пер. С.Б. Ильин
<http://proxy.flibusta.net/b/112104/read>
- [30] Владимир Набоков. Пнин. Гл. 6 (1). Пер. Вера Набокова, Г.Б. Барабтарло
<http://proxy.flibusta.net/b/158636/read>
- [31] Владимир Набоков. Искусство литературы и здравый смысл.
http://www.e-reading.biz/chapter.php/115221/105/Nabokov_-Lekcii_po_zarubezhnoi_literature.html
- [32] Frederick Griffith, NNDB, <http://www.nndb.com/people/495/000270682/>
- [33] Владимир Набоков. Под знаком незаконнорожденных, пер. С.Б. Ильин. гл. 14
<http://proxy.flibusta.net/b/194595/read>
- [34] Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр. под ред. Л. С. Понтрягина. — 2-е изд., стер. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 часть II, гл. X, § 6.
- [35] Набоков о Набокове и прочем. Интервью Филипу Оуксу. <http://proxy.flibusta.net/b/162221/read>



Николай Овсянников

КОЗЫРЕВ и ЛЕЖНЕВ

Инициатором знакомства одного из самых смелых сатириков 20-х гг. Михаила Яковлевича Козырева (1892-1942) и, пожалуй, самого смелого литературного редактора эпохи нэпа Исая Григорьевича Лежнева (Альтшулера, годы жизни: 1891-1955) был, как мне представляется, Лежнев.

В вышедших в первой половине 1925 г. 4-м и 5-м номерах редактируемого им общественно-политического и литературно-художественного журнала «Россия» было размещено объявление о предстоящем участии в качестве авторов художественных произведений ряда известных писателей и поэтов. Среди них стояло имя Козырева, что, как минимум, свидетельствует о состоявшейся между ним и Лежневым договоренности. Рекомендовал Козырева, скорее всего, находившийся с ним в доверительных отношениях Михаил Булгаков, на тот момент самый известный и ценный Лежневым автор «России».

Как раз в указанных номерах была напечатана основная часть текста его знаменитого романа «Белая гвардия» (1924). Отношения между Булгаковым и Лежневым были в это время почти безоблачными: решившись на публикацию крайне важного для автора произведения, Лежнев оказался даже смелее старого большевика Николая Ангарского (Клестова), который от «Белой гвардии» отказался. Ангарский был издателем популярного альманаха «Недра», в 1923 г., вопреки воле Л.Б. Камнева, напечатавшего остро обличительный роман В. Вересаева «В тупике». В 1925-м Ангарский взялся напечатать еще более острый роман М. Козырева «Девушка из усадьбы» (1924), однако намеченная публикация была сорвана по не зависящим от редакции причинам. Не исключено, что в этой до конца не ясной истории действовали те же силы, которые примерно в это самое время воспрепятствовали публикации в «России» окончания булгаковской «Белой гвардии», а впоследствии, в альманахе «Недра», его же повести «Собачье сердце» (1925).

Дело в том, что 6-й номер лежневской «России», в котором все ждали окончания романа Булгакова, так и не вышел. В архиве сохранилась лишь корректура текста (14-19 главы). Журнал был закрыт, причем это было уже второе прекращение издания. Первое произошло 11 мая 1922 г. по решению Петроградского губкома РКП (б); правда, тогда журнал назывался «Новая Россия» и выходил в северной столице. Благодаря вмешательству Ленина 26 июня 1922 г. это решение было отменено постановлением Политбюро, и в августе 1922 г. Лежнев возобновил свое детище в Москве под названием «Россия».



И. Лежнев

Примерно до середины 1924 г. финансовое положение журнала было не хуже других частных и кооперативных изданий подобного рода. Дело в том, что в качестве издателя «России» Лежневу, не имевшему личных средств для организации подобного предприятия, еще в 1922-м удалось заполучить одного из самых успешных книгоиздателей первой половины 20-х гг. Л.Д. Френкеля (1858-19...?). Лев Давидович был человек состоятельный, при этом видный врач-гомеопат, автор популярнейшего «Гомеопатического лечебника» (Петроград, 1915) и др. пособий медицинского характера. Однако в 1924 г. у него, как и у многих частных предпринимателей первых лет нэпа, возникли обычные для того времени трудности, что в итоге привело к прекращению работы издательства. Не исключено, что невыход 6-го номера «России» был связан не столько с борьбой околовластных структур против Лежнева как редактора и Булгакова как наиболее успешного автора, сколько с острыми финансовыми проблемами. На это, в частности, указывает «гонимая» история, в сатирической манере изложенная Булгаковым в его в значительной мере автобиографическом «Театральном романе»:

“Дело в том, что у Рудольфи (литературный двойник И.Г. Лежнева. Н. О.) было все: и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция, у него только одного не было — денег. А между тем азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю.

В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала, что здесь — «Бюро фотографических принадлежностей». <...>

Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал или, вернее, расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале <...>

— Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре? — спросил я.

Рвацкий превратился весь в улыбку сладости, вежливости <...>”.

После диалога, напоминающего изощренную схватку двух дельцов за означенную в договоре сумму, герой-повествователь заключает:

“Говоря коротко, Рвацкий выдал мне тут сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя”.

Действительно, к тому моменту, когда в феврале 1926 г. Лежнев в третий раз возобновил издание журнала, вернув ему первоначальное название «Новая Россия», вместо Л.Д. Френкеля у него уже был новый издатель — Захар Леонтьевич (Зусель Липманович) Каганский (1884 — после 1944). Договоренность о сотрудничестве была достигнута, скорее всего, еще в 1924 г., когда Френкель предложил Лежневу подыскать другого издателя, а возможно, и сам порекомендовал Каганского.

Так, 25 июля Булгаков писал в дневнике: «...днем позвонил Лежневу по телефону, узнал, что с Каганским пока можно и не вести переговоров относительно выпуска „Белой гвардии“ отдельной книгой, так как у того денег пока нет». Это обстоятельство, очевидно, вынудило Булгакова заключить договор об издании романа с книгоиздателем Сабашниковым. Однако 29 декабря в его дневнике появляется такая запись: «Лежнев ведет переговоры... чтобы роман „Белая гвардия“ взять у Сабашникова и передать ему... Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым расторгать договор неудобно и неприятно». Но уже 2 января

1925 г. Булгаков пишет: «...вечером... я с женой сидел, выработывая текст договора на продолжение „Белой гвардии“ в „России“... Лежнев обхаживает меня... Завтра неизвестный мне еще еврей Каганский должен будет уплатить мне 300 рублей и векселя. Векселями этими можно подтереться. Впрочем, черт его знает! Интересно, привезут ли завтра деньги. Не отдам рукопись». Но уже 3 января вопрос решен: «Сегодня у Лежнева получил 300 рублей в счет романа „Белая гвардия“, который пойдет в „России“. Обещали на остальную сумму векселя...»

Где и как происходила передача денег и векселей, присутствовал ли при этом Каганский, какие права как издатель он получил, точно неизвестно. Известно лишь, что Булгаков в это время остро нуждался в деньгах и теплом пальто. Но скорее всего, Булгаков все же встретился с этим человеком, получил (возможно, при участии Лежнева) оговоренный гонорар и на долгие годы сделал ненавистного ему Каганского² правообладателем зарубежных изданий «Белой гвардии», поскольку в 1926-м году этот гражданин Литвы навсегда покинул пределы СССР, увезя с собой в Каунас машинопись булгаковского романа. Но как бы то ни было, на тот момент Каганский Булгакова не обманул. Поэтому, как мы полагаем, Михаил Александрович все же рекомендовал Козырева Лежневу в конце 1924 г., т. е. уже при нехорошем «еврее Каганском».

Как раз в это время Козырев как автор остался без «толстого» журнала (альманаха): история с «Девушкой из усадьбы», когда Ангарский не смог отстоять этот роман от нападков цензуры, положила конец его отношениям с «Недрами», а на подходе уже была повесть «Ленинград», которую рано или поздно предстояло куда-то пристраивать. Наверняка он обратился за советом к Булгакову: как-никак в первой половине 1924-го они входили в довольно тесный неформальный кружок «писателей-фантазеров» (выражение секретаря редакции «Недр» П.Н. Зайцева — его организатора). Так, в результате стечения вышеназванных обстоятельств Михаил Козырев оказался среди авторов новой «Новой России» И.Г. Лежнева.

Сотрудничество с этим изданием дало ему возможность обнародовать сатирический рассказ «Долго ли нам терпеть» и трагическую «Повесть о собаке» - на мой взгляд, самое убийственное литературное обличение матеряющего советского бюрократизма.

Обращение к этой теме было связано с непростой судьбой старого большевика, создателя сатирического журнала «Крокодил» и редактора популярнейшей «Рабочей газеты» Константина Еремеева (1874-1931). Этому человеку Козырев доверял настолько, что переслал в Ленинград (куда в конце 1923 г. Еремеев усилиями Л.Б. Каменева был сослан в качестве политкомиссара обескровленного Балтфлота) для прочтения и отзыва машинопись своей знаменитой антиутопии с одноименным названием. К сожалению, нам ничего неизвестно о произведенном ею на Еремеева впечатлении. Но нельзя исключить, что приятель Козырева литератор Илья Кремлев-Свэн, через которого осуществлялась пересылка, побоялся передать это, по позднему заключению НКВД, *антисоветское* произведение их общему другу-большевику.

Зато известно, что в тот же период положение Еремеева значительно осложнилось. Его сдержанное выступление в отношении участников т. н. «новой оппозиции» на XIV съезде ВКП(б) в 1925 г. вызвало недовольство Сталина. Еремеев был снят с должности начальника политуправления Балтфлота, выведен из Реввоенсовета и в возрасте 52 лет превратился в безработного. Он не отличался крепким здоровьем, так как сильно подорвал его в первые послереволюционные

годы и, кроме того, много курил. Знаменитая трубка крокодила на обложке одноименного журнала — это трубка Еремеева, с которой он практически не расставался. Жить Еремееву оставалось меньше 5 лет. Любимое дело, журналистика, стало для него невозможным, родных и близких, которые могли бы поддержать в трудной ситуации, рядом не было.

В 1926 г. Козырев навестил в Ленинграде опального товарища. Тяжелое впечатление от этого визита подтолкнуло его к написанию небольшой повести, в самом названии которой («Повесть о собаке») заключалась горькая ирония очевидца произошедшего на его глазах полного общественного перерождения.

Еремеев выведен в ней под видом больного, состарившегося писателя, который, несмотря на свое состояние, не может не писать и сочиняет повесть о состарившейся, как и он, собаке по кличке Трезор. Безрадостная участь этого некогда веселого и сильного существа с первых же строк произведения начинает казаться страшным предчувствием самого героя. Когда работа не ладится, он вспоминает свое нелегкое детство, бурную революционную юность, ссылку, первые литературные шаги. Он смотрит на портрет Николая Михайловского, висящий на стене комнаты, и переносится в то нелегкое, но полное надежд и светлых стремлений время, когда этот выдающийся человек приветствовал его «молодое дарование».

Приветствие было связано с выходом в свет лучшей книги Худосеева — сборника очерков «На севере». Прототип героя в 1900-01 гг. опубликовал в «Олонекских губернских ведомостях» 50 очерков и фельетонов об этом крае, а в газете «Пермский край» — экономические, этнографические и исторические очерки о Карелии. Из привычной колени его выбивает анонимный пасквиль на очередное переиздание его очерковой книги, который он случайно обнаруживает в газете. Возмущенный, он спешит в редакцию, но добиться там правды невозможно: пасквиль и начальство заодно. В издательстве, куда накануне он передал новую повесть, ее автора ждет очередной «сюрприз»: возвращая рукопись для внесения абсурдных с точки зрения Худосеева исправлений, издатель так «утешает» старого писателя: «Ерунда! Вы не обижайтесь, Семен Игнатьевич — о вас писали сегодня — и отчасти правильно... События как будто прошли мимо вас».

Дома — новая неприятность: необходимо собирать справки, дабы избежать уплотнения — подселения в комнату «постороннего человека». Его повесть о собаке, между тем, близится к завершению. Трезор окончательно состарился, и «петух собирает кур на отнятую у старого пса корку хлеба». В какой-то момент писатель пытается перешагнуть через себя и начать исправлять возвращенную издателем рукопись. Кружится голова, он засыпает. Пришедший навестить Худосеева старый приятель Горелов предлагает выпить, и они оказываются в пивной. Невеселый разговор сопровождается обильным употреблением теплого, противного пива. На следующий день Худосеев, с тяжелой головой, отправляется в «учреждение» за «бумажкой», иначе вселят постороннего.

Процесс ее получения напоминает садистическую оргию: «Сколько лет? Кто ваши родители? Имели ли они какой-либо заработок, кроме означенного в пункте тридцать втором? <...> «Социальное происхождение...» Он задумался, словно вспоминая что-то, и нервным дрожащим почерком вывел: «Сукин сын».

Дома Худосеев пытается завершить повесть о Трезоре. «Он пишет о том, как тащат по земле бессильное тело собаки. Она еле слышно ворчит и чуть подвывает, когда попавшийся на пути острый камень сдирает с ее кожи последнюю еще не вылинявшую шерсть...» Вскоре у писателя начинаются галлюцинации: «Да, да,

кандалы... Да вы не волнуйтесь, Семен Игнатьевич — вам вредно... Неудобно? Что ж из того! Только первое время... А потом привыкните и хоть бы что... Тяжело? Верно, верно — ну что же... Надо учитывать момент...» Пришедший Горелов видит, что дело плохо, берет извозчика и везет товарища в больницу. Но оказывается, паспорт Худосеева просрочен, и доктор даже не собирается осмотреть больного. В другой больнице требуют страховой билет члена профсоюза. Его у Худосеева нет. «Везите в частную больницу... — Да у меня денег нет... — Это меня не касается...» Немало времени занимает поездка в «союз» (очевидно, писательский) за справкой о членстве. Только решимость Горелова помогает преодолеть сопротивление заматеревших совбарышень. «Бумажка» наконец получена, но поздно — «Худосеев неподвижно лежал в своей шубе, вытянув ноги и раскинув руки. Его неподвижно посиневшее лицо заносило снегом». Похороны писателя прошли по-советски пышно и сопровождались длинными прочувствованными речами; повесть же о собаке «так и осталась незавершенной».

Страшная картина истребляющего все живое бюрократизма, нарисованная Козыревым, наверно, могла бы стать последней каплей, переполнившей чашу терпения цензурных органов. Но решение об окончательном закрытии лежневского журнала было связано с более серьезными прегрешениями редактора.

5 мая 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило закрыть его журнал и запретить деятельность "сменовеховцев", к каковым, по мнению главного партийного ареопага, принадлежал И. Г. Лежнев и его ближайшее окружение. ОГПУ было поручено произвести обыски, начать аресты и высылку. 11 мая 1926 года Лежнев был арестован по обвинению в создании «антисоветской группировки в журнале „Новая Россия“». В письме в ОГПУ, не признавая вины, он просил его высылку за рубеж ограничить определенным сроком, чтобы иметь право вернуться в СССР. К этой просьбе Лежнев приложил свой послужной (вполне советский) список с 1918 по 1926 гг. Перечисленные в нем заслуги перед советской властью определенным образом повлияли на решение, принимавшееся в Кремле. Правда, оформлено оно было как постановление Особого совещания при Коллегии ОГПУ.

10 мая 1927 г. Лежнев был приговорен к высылке из пределов СССР сроком на 3 года за «участие в контрреволюционном заговоре» и 29 мая того же года выслан за границу. При этом ему было сохранено советское гражданство и предоставлена должность в Берлинском торгпредстве. Есть некоторые основания считать, что за проявленную в отношении него мягкость он обязался тайно сотрудничать с ОГПУ. Так, по свидетельству Т. Солоневич («Три года в Берлинском торгпредстве», София, 1938), проживая в Берлине, Лежнев выполнял различные поручения советской политической полиции. В 1933-м он получил разрешение вернуться в СССР, и 22 декабря того же года был принят в ВКП (б) по личной рекомендации Сталина. В 1934-1939 гг. работал корреспондентом, заместителем заведующего отделом критики и библиографии, а также отделом литературы и искусства главной партийной газеты страны.

К моменту возвращения Лежнева в СССР Козырев в течение 2-х с половиной лет не мог напечатать ни одного произведения. Кто и когда принимал в отношении него как писателя запретительное решение, остается неизвестным. Но причиной необъявленного запрета на профессию была, безусловно, организованная в конце 20-х гг. Комакадемией и РАППом кампания травли неугодного писателя. Возвратившийся из заграницы и почти сразу получивший поддержку Сталина Лежнев, возможно, мог бы поддержать Козырева, согласись тот, подобно многим быв-

шим «попутчикам» и «буржуазным писателям» поступиться принципами и начать писать в духе утвердившегося к тому времени социалистического реализма. Однако Козырев был не из их числа: он написал нечто другое — одну из самых смелых антиутопий XX века «Пятое путешествие Лемюзля Гулливера».

Между тем, «собачья» история отозвалась следующими строками в статье о нем, помещенной в 4-м томе Литературной энциклопедии (М., 1934) и подписанной инициалами «М.Ш.» (очевидно, Мариэтта Шагинян, отработывавшая былую провинность — участие в той же «Новой России»): *«Сплошной "идиотизм" деревни, сплошной бюрократизм в городе, управляемом чиновниками типа щедринских персонажей, издевательский показ явлений новой советской общественности, таков общий фон сатиры Козырева. Не случайно участие Козырева в необуржуазном журнале "Новая Россия" (1926)»*. Наверно, это был окончательный «литературный» приговор писателю Михаилу Козыреву.

Между тем, его недолгое участие в лежневском журнале явилось скорее случайностью, чем результатом сознательного выбора. Идеи сменовеховства и национал-большевизма, в той или иной мере разделяемые «старыми» (т. е. сотрудничавшими с Лежневым начиная с 1922-го) авторами, были Козыреву так же далеки, как утопические мечтания левых футуристов 10-х годов. Предреволюционный мистицизм левой интеллигенции, богостроительство, толстовский анархизм, христианский социализм, радикальный нигилизм, коммунизм как религия — все эти течения, в той или иной мере вдохновлявшие и формировавшие будущих сменовеховцев и национал-большевиков, были несовместимы со здравым реализмом и экономическим скептицизмом Козырева, органически не приемлющего любые виды социальных утопий.

Видный исследователь сменовеховства и национал-большевизма Михаил Агурский, характеризуя взгляды И. Лежнева «образца 1922 г.» (время создания «Новой России»), пишет, что в национал-большевизме тот оказался «на левом фланге, представляя в нем самое радикальное нигилистическое крыло, отвергавшее идеологию, право, традиционные ценности, признавая высшим мериллом — «народный дух»». По мнению Агурского, глубокое влияние на Лежнева оказал в свое время «Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова. «Как известно, — пишет автор «Идеологии национал-большевизма», — Шестов провозглашал право человека не придерживаться постоянных идеологий и убеждений. Непостоянство по Шестову — одна из высших добродетелей. «Нам, людям, издавна воюющим со всякого рода постоянством, — говорит он, — отрадно видеть легкомыслие молодых. Они будут до тех пор странствовать по материализму, позитивизму, кантианству, мистицизму, спиритуализму и т. п., пока не увидят, что все теории и идеи так же мало нужны, как фикмы и кринолины... И тогда начнут жить без идей, без заранее поставленных целей, без предвидений, всецело полагаясь на случай и собственную находчивость»».

Следуя этим наставлениям, Лежнев, по свидетельству Агурского, отступление от всяких принципов "...возводит в важнейший принцип жизни. «Чем последовательней и прямолинейней в принципах, тем круче обрыв в действительности», — предупреждает он. Вера в то, что $A=A$ — наивна».

Невольно вспомнишь Оруэлла с его бессмертными лозунгами пресловутых пятиминуток ненависти: "правда — это ложь", "мир — это война", "любовь — это ненависть".

“В таком апофеозе беспочвенности, — продолжает Агурский о Лежневе, — содержались все потенции. Ни одна заведомо не исключалась, и поэтому Лежнев, нисколько не противореча себе, мог приветствовать и большевистское правление, как правление «народного духа». Впоследствии, в 1934 г., когда Лежнев сокрушил кумиров своей молодости и стал страшным орудием в руках Сталина, он писал о своем учителе, не называя его имени: «Пора бросить набившие оскомину пустые разговоры о добре и зле по Толстому и Достоевскому, Канта и Ницше (темы книг Шестова). Разговоры эти служат лишь обманной ширмой для самого худшего вида безнравственности, какой знала человеческая история — для капиталистической эксплуатации и империалистических войн». Но разве мог бы Шестов бросить за это камень в Лежнева, столь радикально осуществившего «легкомыслие молодых»?»

Честно говоря, нарисованный Агурским портрет этого человека не внес в мое отношение к редактору «Новой России» того негативного заряда, который наполняет посвященные ему страницы цитируемого исследования. Скажу больше: свободная от корысти и карьеристских устремлений последовательность Исая Григорьевича в его, как ни странно это звучит, искренней беспринципности представляется мне почти невинным проявлением “народного духа” — особенно в сравнении с бесноватым фанатизмом Владимира Ильича и Феликса Эдмундовича, твердокаменной “принципиальностью” Вячеслава Михайловича и даже “непоколебимой преданностью идеям коммунизма” Юрия Владимировича.

В отличие от названных (и легиона подобных им) персонажей, Лежнев на протяжении нескольких лет делал пусть одно, но глубоко полезное дело. С его “азартной любовью” к созданию и редактированию «толстых» журналов, профессиональной хваткой и чутьем на таланты, он в далеко не простое для русской литературы время сумел не только сделать доступными для современного читателя ряд замечательных художественных произведений, но и фактически сохранил их для потомства. При этом, открыто называя себя сторонником большевиков, он очевидным образом проявлял ту самую “беспринципность”, которой, по мнению Агурского, научился у Л. Шестова.

Но вот, для сравнения, образчик коммунистической “принципиальности”, проявленной в отношении самого Лежнева: “...в России (по крайней мере, в столицах) открыто на наших глазах организуется Россия № 3, Россия внутренней эмиграции, ее различных партий ... Нашлись простачки, которых одернули в Питере, но на место которых тотчас же нашлись другие в Москве... Читая «Россию», откровенно наглые контрреволюционные писания гг. Тана, Лежнева и др., не можешь не согласиться с ними в одном, что все уцелевшее желто-белое дранье в России сейчас «протискивается через тесные рогатки»” (А. Григорян. «Россия» № 3)// Литературная неделя. Приложение к «Петроградской правде», органу Петроградского комитета партии большевиков).

Знаете, беспринципный Лежнев мне почему-то ближе и понятнее глубоко принципиального Григоряна.

* Ненависть Булгакова, на мой взгляд, далека от объективности. Во-первых, даже по его собственному признанию Каганский выплатил ему указанный в договоре гонорар. Во-вторых, ни от кого из других авторов, публиковавшихся при Каганском в «России» и «Новой России», сведений о зажиме авторских гонораров или каких-либо мошенничествах со стороны издателя не зафиксировано. В-третьих, благодаря Каганскому, полный

(ныне считающийся каноническим) текст «Белой гвардии» был сохранен и напечатан в Париже в 1927-29 гг. Правда, гонораров за это издание Булгаков не получил. Но вот что написал Каганский в ответ на предъявленные ему в 1928 г. обвинения Булгакова: «Я как владелец издательства „Россия“ приобрел от г. М. Булгакова не только право на печатание „Белой гвардии“ в журнале „Россия“, но право издания и отдельной книгой. Договор не просрочен и не аннулирован, деньги г. М. Булгаков получил от меня полностью. То, что журнал „Россия“ был закрыт в 1926 году, не является основанием для нарушения договора г. М. Булгаковым <...>. Я не отказываюсь от суда коронного или третейского, куда доставлю все документы по этому делу». (Б. Равдин. Рижский след в истории изданий и постановок М. Булгакова (1927). «Звезда», 2013, № 5).



Элиэзер М. Рабинович

“ГАМЛЕТЫ В ХАКИ СТРЕЛЯЮТ БЕЗ КОЛЕБАНИЙ” *

Вступление

Так случилось, что толстый иллюстрированный том Шекспира издательства “Academia” оказался единственной книгой, взятой нами в эвакуацию в Пермь. Детских книг не было, и читать мама и сестра научили меня в 5 лет по «Гамлету». Писать я еще не умел, но было куда легче научиться стучать на маминной пишущей машинке. На ней я и «написал» свое первое произведение — короткую пьесу в духе «Гамлета», где участвовали *Кароль*, *Каролева*, принц Балк и собака Авва, которая в конце съела всех героев. Как-то я почувствовал уже тогда, что Гамлет и жизнь мало совместимы.

Во взрослой жизни «Гамлет» — не для однократного чтения. Вот и недавно вновь возникла потребность его перечитать, особенно после того, как я открыл для себя доступность пьесы по-английски. Тем не менее, конечно, без помощи переводов не обойтись, и они необходимы для цитирования в статье по-русски. Переводов очень много (более 30), но наиболее популярными в 20-м веке были переводы Михаила Лозинского (в дальнейшем цитаты обозначены буквой Л.) и Бориса Пастернака (в дальнейшем — П.)^[1]. Лозинский наиболее точен, но у него — и это я видел, читая также Данте в его переводе — вдруг выскакивают орехи в русском. Что касается Пастернака, то он переводил согласно принципам, изложенным им в статье «Замечания к переводам из Шекспира». Там он пишет:

«Потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах велика и никогда не прекращается. Каждый переводивший льстит себя надеждой, что именно он больше других пошел этой потребности навстречу.

Я не избегаю общей участи... Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости».

Так странно из уст Пастернака слышать о его готовности пожертвовать точностью в пользу легкой доступности для публики! Автор недавнего перевода поэт Алексей Цветков пишет:

«Перевод Пастернака я бы, выразившись с предельной осторожностью, назвал недобросовестным. ...Очень важный для меня упрек: отсутствия в его переводе того, что я бы назвал “священным ужасом”, — ощущения разницы в масштабах между собой и объектом перевода. Гордыня в подобных случаях создает непреодолимое препятствие».

Почти построчное сравнение оригинала с двумя главными переводами убедило меня в превосходстве перевода Лозинского — как по точности, так, нередко,

и по поэтической силе. Все же я буду пользоваться обоими переводами, в зависимости от того, какая версия мне кажется более точной для каждого случая.

Есть еще одна работа высокого класса — опубликованное в 1899 г. трехтомное исследование и перевод великого князя Константина Константиновича Романова, писавшего под псевдонимом К.Р. Понятно, что в советское время его никто не знал, но сейчас перевод доступен на Интернете. Я буду иногда его цитировать. В редких случаях я, для максимальной близости к оригиналу, позволял себе комбинировать разные переводы, всегда это указывая.

Английский текст я цитирую по тому же из 40-томного британского издания Шекспира (1934-49), который следует в основном Второму Quarto 1604 г. с поправками из Первого Folio 1623 г. Обозначения строк таковы: например, «II-3-10» означает 2-й акт, 3-я сцена, цитата начинается со строки 10. Русские переводы обычно строки не нумеруют.

Это эссе — не систематическое изложение содержания пьесы, а рассказ о моих мыслях, оформившихся при последнем чтении, и оно предполагает хорошее знакомство читателя с текстом по-русски.

Перечитывая «Гамлета»

*Торжественно-тупое нагромождение убийств.
Девять жизней заплачено за одну — за жизнь его отца...
Гамлеты в хаки стреляют без колебаний...
Кровавая бойня пятого акта — предвидение концлагеря...
Джеймс Джойс, «Улисс»*

*«А бояться-то надо только того,
Кто скажет: "Я знаю, как надо!"
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он не знает — как надо!
Александр Галич*

Пьесу можно заключить в такие рамки. Одна из первых сцен — прием у нового короля Клавдия еще до того, как Гамлет узнаёт, что король убил брата. Король ведет себя благожелательно со всеми, и особенно с Гамлетом, которого он просит не уезжать обратно в университет; но Гамлет уже враждебен. Король отправляет послов в соседнюю Норвегию, где молодой Фортинбрас собирает войско, чтобы — нет, не завоевать Данию, Б-же упаси, а только отвоевать земли, потерянные его отцом в пользу Дании. Это представляется Клавдию недопустимым, и он с легкостью отбивается от претензий соседа.

Чем кончается пьеса? Горой из восьми трупов, не считая отца Гамлета, в порядке очередности: Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн, королева, король, Лаэрт, сам Гамлет. (Джойс почему-то включает и девятое тело — сына Шекспира Гамнета, умершего в возрасте 11 лет в 1596 г., еще до написания пьесы.) Все трупы — результат деятельности Гамлета. Дания — без правительства и элиты, и вся страна автоматически падает в руки проходящему мимо Фортинбрасу. При этом за него как за правителя подает свой голос и умирающий Гамлет, тем самым полностью предавая отца, который вышел на смертельный бой с отцом Фортинбраса.

Если бы это было все, то пьеса не отличалась бы существенно от, скажем, кровавого «Гита Андроника» и, во всяком случае, не была бы центром и шедевром мировой литературы. Но от начального события к конечному нас ведет мощный, яркий, противоречивый характер Гамлета, в котором в большей или меньшей степени отражаемся все мы. Иван Тургенев, в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), обратив внимание на то, что оба произведения были опубликованы в один год, полагает, *«что в этих двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы, ... что все люди принадлежат более или менее к одному из этих двух типов...»*

Уже лет пятнадцать я удивляю друзей утверждением, что Гамлет — фашист, считающий, что только он знает, «как надо», и совершенно равнодушный к чужой жизни. В середине этого пятнадцатилетия я натолкнулся на поддержку Джойса, цитата из которого приведена выше. У Джойса, как и у меня, возник портрет человека, скорого на расправу, — главным образом, я имел в виду убийства Полония, Розенкранца и Гильденстерна. Идея о связи Гамлета с концлагерями нетривиальна и не совсем понятна. Но Джойс объясняет: «Кровавая бойня пятого акта — предвидение концлагеря, воспетого Суинберном». Здесь имеется в виду стихотворение Суинберна «На смерть полковника Бенсона» (1901), где восхвалялось поведение англичан в войне с бурами. Двустипшие Суинберна:

*Врагов заклятых матери и дети,
Которых кроме нас никто б не пощадил...*

было воспринято как апология концлагерей, устроенных англичанами для гражданского населения. Я же вижу в словах Джойса, что и ему в Гамлете привиделся фашист, хотя это слово тогда еще не существовало.

Сейчас, после нового чтения, я отказываюсь от определения Гамлета как фашиста, хотя моя нынешняя оценка вряд ли окажется более благожелательной. Гамлет — не фашист, хотя бы потому, что, несмотря на все смерти, он не человек действия, а человек интроспективы. Возьмите диктаторов 20-го века — Ленина, Сталина, Гитлера, Муссолини. Думали ли вы когда-нибудь об их внутренней жизни, их колебаниях и сомнениях? Скорее всего, таковых просто не было; они не были людьми тонкой душевной организации, а были людьми довольно простых идей, но решительных действий.

Когда Гамлет убегает за Призраком, Марцелл бросает фразу, ставшую поговоркой: *«Какая-то в державе датской гниль»* (П.). Вернувшись, Гамлет как бы отвечает на эту фразу (Л., I-5-187):

*Век расшатался — и скверней всего,
Что я рожден восстановить его!*

То есть, казалось бы, мы слышим речь не мальчика, но мужа. Заметим, что есть определенное противоречие между задачей мести и выполнением долга в восстановлении порядка и уничтожения «гнили», и может показаться странным, что Шекспир поместил эти слова именно в сцену с Призраком. Но именно это противоречие и символизирует то, чему вся пьеса посвящена: показу несостоятельности Гамлета ни в чем — ни в мести, ни в любви, ни в государственности, ни, наконец, просто в сохранении жизни — полный провал, в силу нецельности его природы. Иннокентий Анненский так охарактеризовал трагедию и ее героя:

«Я не знаю, была ли когда-нибудь трагедия столь близкая человеку, как Гамлет — Шекспиру, только близкая не в самооценке и автобиографическом... нет, а как-то

совсем по-другому близкая...» «Слова Гамлета глубоки и яркие, но действия его то опрометчивы, то ничтожны и чаще всего лунатичны». «Лица, его окружающие, несоизмеримы с ним...» Люди «должны соответствовать его идеалу, его замыслам и ожиданиям, а иначе черт с ними, пусть их не будет вовсе...» «Гамлет завистлив и обидчив...» «Признаюсь, что меня лично Гамлет больше всего интригует. Думаю также, что и все мы не столько сострадаем Гамлету, сколько ему завидуем». (Последние слова поэта мне непонятны: зависти к Гамлету я не чувствую. Кстати, американский поэт Уистен Оден заметил: “Странно, что все стремятся отождествить себя с Гамлетом, даже актрисы, — Сара Бернар умудрилась сыграть Гамлета, и я рад сообщить, что во время спектакля она сломала ногу”.)

Нет ни одного близкого к Гамлету человека, включая отца и исключая Горацию, которого он бы не предал, и нет ни одного (опять, кроме Горацию), кто пережил бы контакт с ним. Иван Тургенев пишет, что Гамлет «*весь живет от самого себя, он эгоист... Но это Я, в которое он не верит, дорого Гамлету..., он... не находит ничего в целом мире, к чему бы он мог прилепиться душою...*»

Почему Гамлет априорно враждебен к Клавдию, еще не зная о его преступлении? Мы не можем не согласиться с королем и матерью, что тридцатилетний мужчина и влиятельный придворный не может через месяц-полтора после кончины отца оставаться столь недееспособным из-за скорби. Мы сразу увидим, что только он относится с полным неприятием быстрого брака его матери с дядей, хотя все остальные смотрят на это как на естественную государственную необходимость. Зигмунд Фрейд полагал, что основой действий Гамлета является введенное Фрейдом понятие «Эдипова комплекса» — сексуальной фантазии мужчины (осуществленной или нет) об интимных отношениях с матерью. Его ученик Эрнст Джоунз написал большое эссе под названием «Эдипов комплекс как объяснение загадки Гамлета — изучение мотива». Я бы хотел быть предельно осторожным, рассуждая о фрейдизме, в котором смыслю очень мало. Но мне представляется, что как раз Эдип этим комплексом не обладал, несмотря на брак с матерью: ему убийство отца и брак с матерью были предсказаны Роком, он от него бежал, делал все, чтобы он не осуществился, но от Рока не убежишь. Тем не менее, к нему применимы слова Тютчева:

*Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Но Гамлет — совсем иное дело, и неприятие брака матери для него даже важнее мести. Только он и Призрак употребляют такие слова:

*Кровосмеситель и прелюбодей,
Он чарами ума, коварством дарований —
О, гнусный ум и дарованья, что властны
Так оболыцать! — снискал постыдной страстью склонность
Моей притворно-верной королевы.*

(Первая строка П., остальное — К.Р., I-5-42)

Нет оснований полагать, что интимные отношения между Гертрудой и Клавдием были еще до смерти старого Гамлета, а только в этом случае можно было бы говорить о прелюбодействе; также и кровосмешение здесь ни при чем ввиду отсутствия общей крови между новыми супругами. Говорить о «похоти» (“lust”, по

словам Призрака), как о факторе в действиях Клавдия, смешно: Гертруде как минимум пятьдесят, и это не такой возраст, при котором страсть к ней могла толкнуть Клавдия на убийство брата и захват власти. И где он был раньше — его брат был женат на Гертруде более 30 лет?! Заметим, что никому другому этот брак не кажется необычным, и все, что сделал Клавдий, было одобрено советниками (П., I-2-9):

*С тем и решили мы в супруги взять
Сестру и ныне королеву нашу,
Наследницу военных рубежей,
Со смешанными чувствами печали
И радости, с улыбкой и в слезах...
При этом шаге мы не погнушались
Содействием советников, во всем
Нам давших одобренье. Всем спасибо.*

Мы не чувствуем, что одобрение было дано в результате страха. Никто не выражает удивления. Даже Горацио, когда он говорит, что прибыл на похороны короля, а Гамлет ему возражает: «*Хотите, свадьбу матери, сказать?*», неохотно признает: «*Да, правда, это следовало быстро*», т.е. без замечания Гамлета и ему бы не пришла в голову ненормальность ситуации.

Так почему все-таки старый Гамлет был убит? Шекспир не дает намека, но давайте взглянем на это с неожиданной стороны: а не было ли политических причин, хотя бы косвенно оправдывающих Клавдия? Отец правил более 30 лет, и именно он привел датскую державу к состоянию «гнили», расшатавшегося века, восстановить который Гамлет чувствует себя призванным. Клавдий был избран легко — значит, старый Гамлет порядком надоел. Клавдий показывает себя умелым правителем, который ладит с подданными, и он быстро становится популярен. Не можем ли мы заключить, что явление старого Гамлета в виде Призрака было его последним вкладом в «гниль» датской державы путем побуждения его впечатлительного сына к раздору?

Подобных событий в жизни царственных династий было полным-полно. Англия за 120-150 лет до написания трагедии прошла через Войну Роз, в которой цареубийство было скорее нормой, чем исключением. Мы знаем два аналога в истории дома Романовых: свержение и убийство Петра III Екатериной II в 1762 г., когда их сыну Павлу было около 8 лет, и свержение-убийство этого Павла его сыном Александром в 1801 г. (А уж то количество мужчин, через которое прошла жизнь Екатерины, наверняка можно было бы охарактеризовать словом «похоть».) Тем не менее, и историческая наука, и народная память не очень осуждают и Екатерину, и Александра за эти два переворота-убийства. Представьте себе, что лет через десять после убийства Петра III его дух явился бы к 18-летнему Павлу, настроил бы его на месть, тот сверг бы Екатерину и воцарился бы сам. Не было бы блестящего екатерининского века, а все отрицательные проблемы правления Павла проявились бы на 24 года раньше.

Естественно задать вопрос: а почему Гамлет не наследовал отцу и не стал королем? В шекспировской Англии уже твердо был установлен принцип наследования от отца к детям, даже к женщине — «Гамлет» был написан при Елизавете I. Но Шекспир полагал, что в Скандинавии гамлетовского времени выборы и наследование братом было обычным делом. Мы видим, что в соседней Норвегии мучается от безделья Фортинбрас, отцу которого наследовал его дядя. Правда, во время

смерти отца Фортинбрас был младенцем, но когда он вырос, он мог бы получить престол, однако и ему его никто не предлагал.

Гамлету тридцать лет, но, похоже, что он отроду не сталкивался ни с одной реальной проблемой. Вообще, было два Гамлета: второй — это тот, которого мы видим, а с первым, совершенно иным, мы знакомы только по характеристике Офелии (Л., III-1-152) [2]:

*О, что за гордый ум сражен! Вельмож,
Бойца, ученого — взор, меч, язык;
Цвет и надежда радостной державы,
Чекан изящества, зеркало вкуса,
Пример примерных — пал, пал до конца!
А я, всех женщин жалче и злосчастней,
Вкусившая от меда лирных клятв,
Смотрю, как этот мощный ум скрежещет,
Подобно треснувшим колоколам,
Как этот облик юности цветущей
Растерзан бредом; о, как сердцу снести:
Видав бывшее, видеть то, что есть!*

(Интересно, что режиссер советского фильма Козинцев выбросил этот монолог в соответствии с его представлением, реализованным Анастасией Вергинской, что Офелия — просто дурочка. Как она в таком случае могла привлечь Гамлета?)

Из этой характеристики мы видим, что Гамлет блистал при дворе, что он был всё — советчик, даже солдат, законодатель вкусов и мод — яркая и любимая другими фигура. В условиях отсутствия жизненных проблем и испытаний.

Вам случалось видеть блестящих отличников в школе, из которых не вышло ничего примечательного в жизни, и такого «троечника», как Черчилль, который стал всем, что обещал обществу молодой Гамлет? Но вот Гамлет сталкивается с первой проблемой его жизни - и решает он ее топорно и, в общем, бесцельно.

Гете писал о Гамлете, что «прекрасное, чистое, благородное, высококрасивенное существо, лишённое силы чувства, делающей героя, гибнет под бременем, которого он не мог ни снести, ни сбросить. Всякий долг для него священен, а этот непомерно тяжёл». Возможно, и советники государства видели, что Гамлет слаб и неопытен, потому и предпочли предоставить ему срок ученичества при короле? Гамлет же чувствует эту неполноценность, и она ему обидна. Для исправления государства ему нужно влияние на политику — то, что сразу Клавдий предложил Гамлету как своему советнику и наследнику (К.Р., I-2-115):

*Тебя мы просим: здесь остаться согласишься
На утешение и радость нашим взорам,
Как первый из вельмож, племянник наш и сын.*

Каково подлинное отношение Клавдия к Гамлету? У нас нет оснований сомневаться в начальной благожелательности. Гамлет — сын его жены, детей у них с Гертрудой уже не будет, и Клавдий не может предполагать другого наследника. Но Гамлет отвечает холодно, а затем он встречается с Призраком отца, и сотрудничество с Клавдием для него исключается.

Между первым и вторым актом проходит два месяца, и король и королева не понимают продолжающейся враждебности Гамлета. К тому же он изображает помешательство. Правители вызывают на помощь школьных друзей

Гамлета, Розенкранца и Гильденстерна, и просят о помощи в посредничестве. Королева (П., II-2-19):

*Он часто вспоминал вас, господа.
Я больше никого не знаю в мире,
Кому б он был так предан.*

Розенкранц и Гильденстерн являются к принцу, он вначале принимает их с восторгом и быстро добивается признания, что они не заехали случайно, а за ними было послано. Однако им не удается узнать ничего, что они могли бы рассказать королю. Но у Полония появляется идея, что Гамлет сошел с ума из-за любви к Офелии. Он заставляет дочь попасться Гамлету на глаза, пока он и король подслушивают. У Офелии нет выбора, кроме как исполнить приказ отца.

Перед этой встречей наш герой произносит монолог «Быть или не быть». Уже в первом акте и до встречи с Призраком он говорит о самоубийстве, в совершении которого ему мешает запрет церкви, и сейчас он повторяет ту же мысль. Не вчитавшись, я одно время думал, что речь идет о том, быть или не быть человеком, достойной личностью. А это всего лишь рассуждение о том, нужно ли кончать счеты с жизнью, так ничего в ней не совершив и даже не отомстив за отца, или все же пожить еще (П., III-1-56):

*Быть или не быть, вот в чем вопрос.
Достойно ль смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.*

То есть Гамлет не мыслит себе иного «достойного» сопротивления судьбе, кроме ухода из жизни? А разве он не обещал нам взять судьбу в свои руки и восстановить «расшатавшийся» век?

*Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
Мы продолжаем жить только из-за страха смерти? Дальше:
А то кто снёс бы униженья века,
Неправду угнетателя, вельмож
Заносчивость, отвернутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!*

Здесь Гамлет переключается с героем 66-го сонета, что неудивительно, ибо у обоих один автор:

*Устал я жить и умереть хочу,
Достоинство в отрепье видя рваном,
Ничтожество — одетое в парчу,
И Веру, оскорбленную обманом,
И Девственность, поруганную зло,
И почестей неправых омерзенье,
И Силу, что Коварство оплело,
И Совершенство в горьком униженье,
И Прямоту, что глупой прослыла,
И Глупость, проверяющую Знатье,
И робкое Добро в оковах Зла,
Искусство, присужденное к молчанью.*

*Устал я жить и смерть зову скорбя.
Но на кого оставляю я тебя?!*

(Перевод А.М. Финкеля)

Один автор, но не один герой. Герой сонета остается жить, чтобы не покинуть близкого друга, а у Гамлета таких соображений нет, хотя рядом Офелия ждет его внимания. Гамлет же просто боится неизвестности после смерти:

*Так всех нас в трусов превращает мысль
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодьеумственного тупика.
Так погибают замыслы с размахом,
Вначале обещавшие успех,
От долгих отлагательств.*

Еще одна, но фундаментальная разница: герой сонета — мещанин, может быть аристократ, но явно без власти изменить мир, а Гамлет — принц Датский, которого Клавдий приглашал почти в соправители и который обещал избавить датскую державу от «гнили». В конечном же счете он «избавляет» державу от всей элиты, включая себя.

Появляется Офелия. Гамлет, возможно, подозревает подслушивание, о котором Офелия не осмеливается ему сообщить, и в любом случае он не может ожидать, что дочь не расскажет отцу о разговоре. Ведет он себя как мелкий садист и крупный подлец. Где-то до начала пьесы он активно ухаживал и дарил подарки, и до нас дошло послание (Л., II-2-116):

*Не верь, что солнце ясно,
Что звезды — рой огней,
Что правда лгать не властна,
Но верь любви моей.*

Теперь он холодно сообщает ей, что никогда ее не любил, и советует идти в монастырь. Назавтра, на представлении, в ответ на приглашение матери сесть рядом с ней бросает: «Нет, матушка. Здесь есть магнит попритягательней», унижает Офелию, ложится у ее ног, говорит, как это хорошо — лежать *между*(!) ногой девушки. Я не знаю, существовал ли в шекспировское время институт поще-

чины, но Офелия же не может отпустить ее принцу, ведь он Принц Датский! Однако ее недовольство очевидно. А когда Офелия замечает, что пролог был коротковат, Гамлет отпускает: *«Как женская любовь»* (Л., III-2-152) — это после вчерашнего-то объяснения! Он хамит в ответ на любую ее реплику.

Были ли их брак возможен? И Полоний, и Лаэрт подчеркивают, что Офелия по своему рождению не может быть женой принца и будущего короля. Сами король и королева не высказывают своего отношения к возможности такого брака до смерти Офелии, когда, посыпая ее могилу цветами, королева говорит, что мечтала посыпать цветами их брачную с Гамлетом постель.

В том же подслушанном разговоре Гамлет бросает Офелии (Л., III-1-122): *«Я очень горд, мстителен, честолюбив; к моим услугам столько преступлений, что мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения, чтобы придать им облик, и времени, чтобы их совершить»*.

Король, единственный в пьесе персонаж, кто не уступает Гамлету по интеллекту, все это слышит и совсем не верит ни в сумасшествие, ни в идею Полония о несчастной любви. А верит он тому, что Гамлет хочет трон. Тут уже ни о каком сотрудничестве речи быть не может, и Клавдий говорит Полонию, что пошлет Гамлета в Англию для сбора дани, ибо *«безумье сильных требует надзора»* (Л., III-1-190). Пока еще он не предполагает, что Гамлет поедет не один, и у нас нет оснований думать, что уже в это время Клавдий думает об убийстве Гамлета.

Теперь главная цель Гамлета — убийство Клавдия, но убийство короля без доказательства его вины будет встречено протестом и возмущением и не доставит Гамлету корону. У Гамлета нет твердой уверенности в словах Призрака. В то время верили, что дух мог принять форму любого человека, в том числе и отца Гамлета. Тут удачно подворачиваются актеры, и Гамлет решает проверить слова Призрака театральной провокацией (П., II-2-590):

*Я где-то слышал,
Что люди с темным прошлым, находясь
На представленье, сходном по завязке,
Ошеломлялись живостью игры
И сами сознавались в злодеянье.
Убийство выдает себя без слов,
Хоть и молчит. Я поручу актерам
Сыграть пред дядей вещь по образцу
Отцовской смерти. Послежу за дядей —
Возьмет ли за живое. Если да,
Я знаю, как мне быть. Но может случиться,
Тот дух был дьявол. Дьявол мог принять
Любимый образ. Может быть, лукавый
Расчел, как я устал и удручен,
И пользуется этим мне на гибель.
Нужны улики поверней моих.
Я это представленье и задумал,
Чтоб совесть короля на нем суметь
Намеками, как на крючок, поддеть.*

Так. Но Гамлету нужен свидетель, который знал бы о смерти его отца то, что знает он сам, а потом мог бы подтвердить. Конечно, это Горацио. Гамлет предупреждает его и просит внимательно проследить за реакцией короля.

Провокация, казалось бы, блестяще удалась. В момент, когда после театрального «убийства» сообщается о предстоящей женитьбе «убийцы» на «вдове», взбешенный Клавдий покидает театр, и спектакль прекращается. Наблюдения Горацио сходятся с тем, что ожидал Гамлет. Айзек Азимов пишет, что *«весь двор видел поступок короля, и когда им всё объяснят, ни у кого не останется сомнения в вине короля. Теперь Гамлет может его убить в любой момент»*.

Совершенно не так.

Правду знает только сам Клавдий, который, конечно, потрясен тем, откуда она стала известна Гамлету. А двор видел лишь тяжелое оскорбление короля Гамлетом, обвинившим его необоснованно в убийстве брата в отместку за лишение его трона и женитьбу на матери. Все — Полоний, мать, Офелия, Розенкранц и Гильденстерн — видели только это, и у них нет к королю ничего, кроме сочувствия, поскольку он — очевидная жертва беспричинной злобы Гамлета.

Розенкранц и Гильденстерн приходят к Гамлету с поручением от матери — она зовёт к себе сына. Они все ещё хороши с принцем, и именно здесь Розенкранц, клянясь в дружбе, умоляет принца сообщить ему о причинах своего расстройства (П., III-2-332): *«Добрейший принц! В чем причина вашего нездоровья? Вы сами отрываете путь к спасению, пряча свое горе от друга»*.

Казалось бы, вопрос не вполне уместен, и для Гамлета самое время его отшить, но тот вдруг с полной откровенностью отвечает, называя отказ от короны главной причиной недовольства:

Гамлет:

Я нуждаюсь в служебном повышении.

Розенкранц:

Как это возможно, когда сам король назначил вас наследником датского престола?

Гамлет:

Да, сэр, но "пока трава вырастет..." — старовата поговорка.

(Имеется в виду поговорка: *"Пока трава вырастет, лошадь с голоду умрет"*.) Гамлету 30. Сколько лет ему останется для правления, когда король умрет?

Гильденстерн тоже пытается уверить Гамлета в дружбе, но тот берет флейгу у музыкантов и публично унижает друга: дескать, и не думайте играть на мне, коль уж на флейте не умеете, хотя именно он, принц, безжалостно манипулирует всеми, но ему-то можно, ведь он — Принц Датский! Затем Розенкранц и Гильденстерн встречаются с королем, который открыт в своей ненависти к племяннику, и мы впервые слышим от двух друзей сочувствие ему. Но даже сейчас они остаются лояльными к Гамлету и, Б-же упаси! — не выдают притязания Гамлета на корону. Однако у Клавдия не может быть сомнения — Гамлет ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. Розенкранц и Гильденстерн принимают задание сопровождать Гамлета в Англию, но им не может быть известно, что в запечатанном письме они повезут смертный приговор Гамлету.

Любопытно, а что было бы, если бы Гамлет до спектакля откликнулся на их настойчивые просьбы и рассказал им то, что знает Горацио? Возможно, их поведе-

ние было бы иным, а предположение Азимова оправданным. Но Гамлет упустил такую возможность.

Гамлет идет к матери. По дороге он проходит мимо молящегося беззащитного короля и беспричинно отказывается от убийства, потому что, дескать, тот молится и, стало быть, пойдет на небо, если умрет в этот момент. Такую причину называет зрителю Гамлет, который до сих пор не проявлял особой религиозности. Теперь же ему мало убийства, он хочет, чтобы Клавдий попал в Ад! Интересно, а если бы на месте Гамлета были Лаэрт или Фортинбрас, со знанием и правами Гамлета, — как вы думаете, сколько бы им понадобилось времени для утверждения своих прав, мести и захвата престола? Несколько дней, вряд ли больше. Но Гамлет — человек предельной нерешительности и импульсивности: всего минут через десять он, не задумываясь и не проверяя, убьет Полония, приняв его за короля.

Мы приходим, возможно, к самой сильной сцене (III-4) — у матери, и здесь Эдипов комплекс Гамлета расцветает, а библейских заповедей «*Почитай отца твоего и мать твою*» и «*Не убивай*» нет и в помине.

Гамлет входит и сразу агрессивно нападает. В один из первых моментов королева пугается, зовет на помощь, ей откликается спрятавшийся Полоний, и в мгновение ока он убит шпагой Гамлета. Казалось бы, на этом преступлении разговор должен быть прерван, и мать должна криком звать на помощь. Этого не происходит, и разговор, если можно так назвать происходящее, продолжается.

Гамлет сравнивает портреты двух братьев и говорит о неизмеримом превосходстве отца — с его точки зрения; истины мы не знаем. Вообще — где вы слышали о сыне, обсуждающем сальным языком постельную жизнь матери, да еще ей в лицо (Л., III-4-92):

*Нет, жить
В гнилом поту засаленной постели,
Варясь в разврате, нежась и любясь
На куче грязи...*

А мать просто не может понять, в чем она виновата. Но как же, она же вышла замуж за **убийцу** мужа! А вот этого-то ей Гамлет и не говорит.

Нет, говорит, и даже дважды, только это нельзя принять всерьез. Первый раз - в момент после убийства Полония (П., III-4-26):

Королева:
Как ты жесток! Какое злодеянье!

Гамлет:
*Не больше, чем убийство короля
И обрученье с братом мужа, леди.*

Королева:
Убийство короля?

Гамлет:
*Да, леди, да.
(Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)
Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!
Тебя я спутал с кем-то поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру.*

Он сказал «убийство короля», но тут же отвлекся на Полония, и надолго. Так о серьезном убийстве не говорят. Это что-то вроде угрозы при домашнем скандале: «Я убью тебя!» Или: «Он убил ее своими упреками!»

И второй раз — не лучше (III-4-96):

*A murderer and a villain ...,
A cutpurse of the empire and the rule
That from a shelf the precious diadem stole
And put it in his pocket!*

Почему я здесь даю английский текст? Чтобы привести пример того, насколько важна каждая деталь. Лозинский упустил едва заметную, но очень важную тонкость:

*Убийца и холоп, ...
Вор, своровавший власть и государство,
Стянувший драгоценную корону
И сунувший ее в карман!*

Зато ее подметил Пастернак:

*С убийцей и скотом, ...
С карманником на царстве. Он завидел
Венец на полке, взял исподтишка
И вынес под полою.*

Мы видим, что Клавдий не **стянул** корону с головы прежнего короля и не надел ее на себя сразу (в фигуральном смысле, конечно), а сначала корону, т.е. власть, **положили на полку**. Это означает, что новый король должен был пройти через выборы, во время которых корона находилась на хранении. Украсть ее в таком положении невозможно, ибо речь идет не о физической вещи, а о легитимации власти. То, что она досталась Клавдию, а не Гамлету, принц злобно и необоснованно называет **карманным** воровством.

В этой дикой смеси необоснованных обвинений человеком, действующим в состоянии амока, еще одно обвинение — в убийстве — пропадает так же, как оно пропало в первый раз. А ведь Призрак специально просил Гамлета щадить мать!

И тут появляется Призрак.

Появляется ли? Мне кажется, что никто из критиков не заметил существенной разницы между его появлением в первом акте и сейчас. Тогда он был «реален»: приходил несколько раз, его видели все, кому случилось оказаться в том месте в то время. Сейчас его видит только Гамлет, и разговор Гамлета с кем-то, кого мать не видит, служит для нее, а наверно и для нас, подтверждением ненормальности ее сына. Это просто воображение Гамлета. Тем не менее, «Воображение» останавливает дику атаку на мать и напоминает Гамлету о мести королю. Королева сообщает мужу о полном безумии сына. Оден так характеризует ситуацию:

«В пьесах елизаветинцев, если человеку причинили зло, но пострадавший заходит в мести слишком далеко, то Немезида поворачивается к нему спиной — примером чего может служить Шейлок. То, что воспринималось как долг, становится вопросом страсти и ненависти. Отвращение, омерзение, которое Гамлет испытывает к матери, представляется совершенно несообразным ее фактическому поведению».

Во время разговора с королевой Гамлет проявляет минутную видимость раскаяния по поводу Полония («А о нем, о человеке этом, сожалею»), но тут же опять оскорбляет погибшего, прячет тело и издевается над королем (II, IV-3-17):

«Король:
Гамлет, где Полоний?

Гамлет:
На ужине... Не там, где ест он, а где едят его самого.

Король:
Где Полоний?

Гамлет:
На небе. Пошлите посмотреть... Если он не същется раньше месяца, вы носом почувете его у входа на галерею».

По дворцу бродит неуправляемый, вооруженный, чрезвычайно опасный и, наверно, психически больной человек. В древнем мире гражданина могли казнить за убийство раба, а здесь король и королева вынуждены покрыть убийство принцем премьер-министра. Так можем ли мы упрекнуть Клавдия, который не видит более срочной задачи, чем избавление от этой угрозы?

В отличие от Розенкранца и Гильденстерна, Гамлет догадывается о содержании письма в Англию, крадет его, вскрывает и убеждается, что это приказ о его казни. Он заменяет его приказом о казни Розенкранца и Гильденстерна, без покаяния — как ему важно отправить своих противников в Ад после смерти! Рассказывает он об этом Горацио, почти шутя, с невыносимым высокомерием (II, V-2-57):

*Что ж, им была по сердцу эта должность;
Они мне совесть не гнетут; их гибель
Их собственным вторженьем рождена.
Ничтожному опасно попадаться
Меж выпадов и пламенных клинков
Могучих недругов.*

Они, видите ли, люди of «baser nature» — «ничтожные». Они, что, сами лезли в эту ситуацию? Не рассказали ли они сразу Гамлету, что их вызвал король? Они, подданные короля, были им вызваны, чтобы помочь ему разобраться с Гамлетом, и делали все возможное, чтобы не потонуть в манипулировании между двумя сторонами. Нигде по-крупному они Гамлета не предают. За что им смертная казнь? Вот отношение Гамлета даже к образованным людям его круга, которые классом пониже! Но он хорош с людьми, которые много ниже его на социальной лестнице: с солдатами, могильщиками.

Тургенев писал, что «Гамлет много выигрывает в наших глазах от привязанности к нему Горацио». Так-то оно, может, и так, но Горацио — последователь и ученик, ни разу не осмелившийся возразить учителю. Кино- и театральные режиссеры волен использовать паузы как ему угодно, и в одном фильме я видел, как Горацио скривил рот в явном отвращении и осуждении. Но у Шекспира этого нет, и единственное, что интересует Горацио, это как Гамлет сумел запечатать письмо. И тут мы узнаем, что у «мальчика» в руках есть государственная печать, оставшаяся от отца!

Откуда она у него? Гамлет говорит (II, V-2-49):

*Со мной была отцовская, с которой
Теперешняя датская снята.*

Это невероятно, чтобы отец, который не собирался умирать, позаботился об изготовлении копии и дал её сыну с собой в Германию. Значит, когда для Клавдия делали нынешнюю печать, никто не подумал об уничтожении старой, и Гамлет взял её. Как сувенир и память об отце? Отнюдь. Чтобы при нужде использовать её, действуя в качестве правителя. Так кто же «взял исподтишка и вынес под полюю» власть? Кто здесь «карманник»?

Из этого следует, что Гамлет внутренне никогда не признавал избрания Клавдия королем, о чем он и говорит Горацио (Л., V-2-64):

*Не долги мой — тому, кто погубил
Честь матери моей и жизнь отца,
Стал меж избраньем и моей надеждой,
С таким коварством удочку закинул
Мне самому, — не правое ли дело
Воздать ему вот этою рукой?*

Теперь, по крайней мере, у Гамлета есть письменное свидетельство намерения Клавдия его убить, которое он мог бы использовать, требуя трон для себя.

Сцена у могилы. Хочется задушить Гамлета собственными руками. Он, видите ли, любил Офелию больше, чем «сорок тысяч братьев»! Он презирает горе Лаэрта, он даже вызывает его на дуэль! В этот момент он или действительно сумасшедший, или негодай, на котором пробу ставить негде. Потом извиняется, объясняя свою грубость сумасшествием, о котором он знает, что он его симулировал (кроме как в сцене у матери).

Я пропущу поединки и интригу с отравленным клинком и ядом в вине. Но довольно нелепым выглядит внезапное предсмертное раскаяние Лаэрта (П., V-2-308):

*Я гибну сам за подлость и не встану.
Нет королевы. Большие не могу...
Всеми король, король всеми виновник!*

Король? Это король, легко и почти шутя, убил Полония, а затем надругался над его телом?! Король довел Офелию до самоубийства?! Почему вдруг Лаэрт как бы прощает Гамлету смерть отца и сестры?

Гамлет умирает, подавая голос за Фортинбраса, и его последние слова: «Дальше — тишина». Горацио говорит (П., V-2-349): «Разбилось сердце редкостное», а Фортинбрас приказывает (П., V-2-385):

*Пусть Гамлета к помосту отнесут,
Как воина, четыре капитана.*

Редкостное сердце? Кого это сердце грело? Воин? В каких боях? Разве что в том смысле, что «Гамлеты в хаки стреляют без колебаний»?

Гете, по словам А. Аникста, свою характеристику Гамлета завершил поэтическим сравнением: это все равно, писал он, как если бы дуб посадили в фарфоровую вазу, корни дуба разрослись, и ваза разбилась. Но не нам, людям, пережившим 20-й век, симпатизировать оранжерейной жизни в фарфоровой вазе. Мне скорее приходит на ум подобная метафора из «Исповеди» Руссо: «Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь». Свободный человек не должен жить в вазе или

форме, а потому природа ее и разбивает, чтобы он мог сам найти свои пределы. Как, например, Фауст.

Вернемся к Эдипу. Уже старый и слепой изгнанник, все еще гонимый, он понимает, что был слишком строг к себе:

*Ответствуй мне: когда отцу вещанье
Лихую смерть от сына предрекло —
Заслуживаю я ли в том упрека?
Ни от отца тогда еще не принял
Зародыша грядущей жизни я,
Ни от нее, от матери моей.
Затем, родившись, бедственный подвижник,
Отца я встретил — и убил, не зная,
Ни что творю я, ни над кем творю;
И ты меня коришь невольным делом!..
Затем, тот брак... и ты не устыдился
Сестры родной несчастье разглашать.*

*Не потерплю я, чтоб и в их глазах
Меня порочил ты упреком вечным,
Что мать свою познала в брачном ложе
И пролил кровь священную отца.
Скажи мне, праведник: когда б тебя —
Вот здесь, вот ныне, враг убить задумал, —
Выпытывать ты стал бы, кто такой он,
И не отец ли он тебе — иль быстро
Мечом удар предупредил меча?*

(«Эдип в Колоне», пер. Ф.Ф. Зелинского, 969-995.)

Фаддей Зелинский, известный эллинист и переводчик начала 20-го века, задает вопрос: за что страдает Эдип? Он находит ответ только в плане эстетическом: «Горе Эдипу, павшему жертвой рока; но благо человечеству, сумевшему создать величественные образы его жизни, борьбы и гибели».

И я скажу: Гамлет страдал, он прошел по жизни без тепла и радости, никого не осчастливив, никого не согрел, ничего не создав, и горе ему! Но мы, читатели, имели бы право на безграничное осуждение, если бы на тургеневской шкале Дон Кихот — Гамлет стояли бы ближе к Дон Кихоту. А мы не стоим. Мы могли бы бросить камень, если бы были безгрешны сами. Но мы не безгрешны. И потому, перефразируя Зелинского, я скажу: «Горе павшему Гамлету, но благо Шекспиру, сумевшему создать величественные образы его жизни, борьбы и гибели».

* Первоначальный вариант статьи был опубликован в альманахе «Страницы Миллбурнского клуба, 4», редактор Слава Бродский, Manhattan Academia, 2014; ISBN: 978-1-936581-13-9.

Примечания

[1] В процессе работы я с удивлением узнал, что есть существенные разночтения в разных изданиях перевода Пастернака, и я использовал том «Вильям Шекспир. Трагедии, Сонеты» из *Библ. Всемирной литературы*. Изд. «Худ. лит.», М., 1968. Перевод Лозинского я цитирую по тексту: «Уильям Шекспир. Полное собр. соч. в 8-ми томах», т.6. Изд. «Искусство», М., 1960.

[2] Этот монолог Офелии в переводе Лозинского, по моему мнению, превосходит перевод Пастернака в поэтическом отношении. Например, последняя строка — у Шекспира: “*To have seen what I have seen, see what I see!*”; у Лозинского: «*Видав былое, видеть то, что есть!*»; переводчик сохранил не только точность оригинала, но также и его мощь — по сравнению с довольно банальной концовкой у Пастернака: «*Куда все скрылось? Что передо мной?*»



Марк Беленький

ЗАПИСКИ ИСКАЗИТЕЛЯ

В послесталинской Москве поэт Михаил Светлов по достоинству слыл острословом. Сам Светлов морщился — мол, ему приписывают то, что он не мог сказать ни под каким видом. Но фразу, которую вы прочтете, я сам слышал от автора. В студенческие годы я близко дружил с сыном Михаила Аркадьевича, часто бывал у них дома. В один из вечеров, вернувшись подшофе с мероприятия с участием эстрадных поэтов, Светлов горестно махнул рукой и произнес: «Всю жизнь мечтал испить из чистого родника поэзии. Но там всегда успевал выкупаться редактор».

Эту формулу можно считать универсальной. В СССР «чуткая цензура» (Пушкин) оставляла свой сапожный след на всем — от газет и кинематографа до ресторанного пения и торговых ярлыков. Напомним: Декрет о печати, закрывший все негодные большевикам издания, был объявлен через сутки после захвата власти. Новые хозяева боялись, что их утопия не выдержит разоблачений (хотя нынешние времена показывают полную бесосновательность подобных страхов). Поэтому следующие 70 лет ВСЯ интеллектуальная продукция перед выпуском в свет должна была быть *залитована*, т.е. подписана уполномоченным Главлита — Главного управления по делам литературы и издательств, охране государственных тайн и т.д. (название учреждения много раз менялось, но суть оставалась прежней).

Одновременно с введением цензуры Ленин распорядился приобщить население «ко всем богатствам мировой культуры», разъяснив, что речь идет, в первую очередь, о произведениях «полезных с точки зрения политической и административной» (отзыв о стихах Маяковского). Ученики Ильича понимали задачу правильно: вредоносные произведения до публикации не допускать, а остальные коректировать в зависимости от указаний *инстанций*.

В совлитературе данный механизм именовался социалистическим реализмом. (Лучшее, на мой взгляд, определение этого жанра приписывают А. Синявскому: «Изображение подвигов начальства доступными для него средствами»).

Начальствос гордостью именовало СССР «самой читающей страной мира». Действительно, как было не умилиться картине: по эскалаторам в метро стекает людской поток, и у каждого в руках раскрытая книга или журнал. Чаще всего совграждане читали одни и те же тексты из опасений прослыть некультурными. В особом фаворе были произведения иностранных авторов, выгодно отличавшиеся от сочинений членов Союза писателей, и зарубежные фильмы, показывавшие реальность, на которую можно было только облизываться. По сути, это было единственное окно в мир *за бугром*.

Знали бы эти люди, как их надувают, думал я, глядя на усердно читающую публику и терпеливые очереди у кинотеатров. Они не догадываются, насколько оригинал отличается от версии, которую им скармливают.

Я знаю об этом не понаслышке. Через мою трофейную машинку Torpedo прошли килограммы текстов иностранных авторов, которых мне поручали *приводить в соответствие*.

Приступил я к этому занятию полвека назад, учась на переводческом факультете московского Иняза и, по наводке знакомых, подрабатывая переводами для газет и журналов. Основным моим кормильцем стал только что запущенный еженедельник «За рубежом». Считалось, что там публикуются статьи из зарубежной печати. Читатели из среды интеллигенции (а других и не было) млели от оборотов типа "В Кремле, надо полагать, считают..." Они звучали почти как зарубежные *голоса*, считавшиеся истиной в последней инстанции. Логика рассуждений интеллигентов сводилась к следующему: «Наши врут, им за это платят. А иностранцам зачем врать?» На этом строился расчет властей — выдать искомую пропаганду за импортный продукт. В инстанциях подобный прием именовался *работой под чужим флагом*.

Кухня этого дела выглядела так. Нештатные переводчики получали в редакции «За рубежом» тщательно расчеркнутые страницы оригинальных статей. Все, что могло представить малейшую критику советских порядков, действий правительства и т.п., было из текста убрано. Задача заключалась в переводе оставшихся кусков так, чтобы получилось цельное блюдо средней съедобности. Как поучал главный редактор «За рубежом» Д. Краминов, «перевод может сделать любой дурак. А нам нужны *марксистские* переводы».

Термин использовался в узких кругах, но практика была всеохватной. Моим отхожим промыслом был синхронный перевод на устраиваемых в СССР конференциях, симпозиумах и прочих коллоквиумах. Перед началом мероприятия переводчиков часто собирали на инструктаж, на котором представитель *режима* призывал соблюдать бдительность и не переводить речей, отклонявшихся от темы дискуссии. Синхронисты, чуя свою неуязвимость (найти квалифицированных специалистов в нужном числе было непросто), требовали конкретных указаний. Режимники отвечали расплывчато, типа: «Ну, вы люди грамотные. Главное — не допустить провокаций». Моя коллега по французской кабине Алла Ятлова (царствие ей небесное) не упускала случая подразнить цензоров: «Не могли бы вы привести фразы, которые мы не должны переводить?» Ответом были злобные взгляды...

Перелицовка иностранных текстов включала *огласовку*. Что это такое, ясно на примере. Как-то получил я на перевод очерк из парижского журнала *Libération* о международной торговле наркотиками. Пассажи о причастности к этому бизнесу советской агентуры, понятное дело, вымарали. Но редактор «За рубежом» велел изменить фамилию главного торговца — ливанского армянина. «В республиках такие вещи воспринимают болезненно, — пояснил он. — Начнут звонить — что, кроме армянина у вас преступников нет? В огласовке переставь пару букв». Что я и сделал.

Курьеза ради расскажу, как я сам стал жертвой огласовки. На II Московском международном кинофестивале (1961) меня приставили переводчиком к министру культуры Мали. Я сидел с ним в ложе гостей. Неожиданно в кинотеатр приехал Никита Сергеевич Хрущев. Публика зарукоплескала, Хрущев, довольный, улыбался. Объявили перерыв, и африканский гость вдруг заявил: «Хочу пожать руку великому человеку». Встал и пошел к месту, где сидел Хрущев. Я побрел за министром. Перед нами выросли охранники, но Хрущев дал отмашку — пропустить! — и мы подошли к вождю.

Тут-то игодились мне навыки марксистского перевода. Министр промычал что-то невразумительное. Я отрапортовал: «Товарищ премьер! Мы приехали в Москву не для того, чтобы соперничать с ведущими кинематографическими

державами, а для того, чтобы познакомить советских людей с нашей страной». Хрущев ответил: «Молодцы!» Я перевел: «Дорогой друг! Мы высоко ценим ваши слова и желаем вам всего наилучшего. Передайте горячий привет своему руководству». После чего государственные деятели обменялись рукопожатием, а сбежавшиеся журналисты ослепили нас блицами.

Знакомый фотокорреспондент шепнул мне: «Ну, старик, поздравляю. Завтра снимок будет в «Известиях», ты его сможешь показывать вместо паспорта». Приятель имел в виду портивший мой паспорт пятый пункт.

На следующий день я с трепетом вытащил из почтового ящика газету — и обомлел. Хрущев есть, министр есть, а меня нет. Хотя ведь я стоял между ними! Та же картина была и в других газетах, как я убедился у ближайшего киоска Союзпечати.

Звоню приятелю-корреспонденту, и тот сообщает: «Старик, в огласовке велено было тебя убрать. Пришлось сделать из тебя люстру».

Поскольку дело происходило задолго до фотошопа, техника удаления со снимков нежелательных персон сводилась к ретуши. Мою фигуру в темном костюме зачернили, а лицо, наоборот, осветлили, смазав все черты — и на снимке получилась как бы люстра бледного свечения. Много лет спустя, в Америке, я с удовольствием разглядывал аналогичные метаморфозы в альбоме Дэвида Кинга «Пропавший комиссар: фальсификация фотографий и художественных изображений в сталинской России».

Но вернемся в СССР. Мои встречи с цензурой продолжились в журнале «Вокруг света», куда меня приняли по окончании института на должность *литсотрудника с языком*. «Вокруг света», старейший русский журнал, выходил с 1861 года и рассказывал о путешествиях и приключениях, экзотических животных и прочих вещах, не имевших касательства к построению коммунизма. Я приступил к работе в период, когда СССР не состоял в международной Конвенции по авторским правам, так что мы, не заботясь о копирайте, переводили и печатали Тура Хейердала, Джеральда Даррелла и прочих аленов бомбаров. Работа была мне по душе. Читателям журнал тоже нравился — его тираж переваливал за 2 миллиона экземпляров, а приложение «Искатель» зачитывалось до дыр.

Среди читателей оказался лично Леонид Ильич Брежнев. Узнали мы об этом на редакционной планерке. В дверь вошел (без стука) человек в военной форме, прошагал к столу главного редактора Виктора Степановича Сапарина, попросил предъявить удостоверение, внимательно его прочел, открыл атташе-кейс, прицеленный наручником к запястью, достал большой конверт, выложил его на стол и, печатая шаг, удалился.

— Фельдъегерь, — пояснил, глядя на наши изумленные лица, Сапарин. Он достал из конверта лист бумаги и удовлетворенно кивнул. — Поздравляю. Нам разрешили подписку.

Мы знали, что какое-то время назад Сапарин отправил в инстанции прошение о дозволении нам закупать иностранные журналы «соответствующего профиля», поскольку у нас нет зарубежных корреспондентов. И вот разрешение было доставлено. И не просто разрешение: на бланке с жирными буквами «ЦК КПСС» красовалась подпись Брежнева. Она явно была факсимильной, но, как отметил Сапарин, проштамповать ее могли только с разрешения Самого.

Это событие вызвало бурную ажитацию в издательстве «Молодая гвардия», где, кроме нас, печатались еще полтора десятка журналов. Говорили, что первое

лицо, прочтя прошение, одобрительно отозвалось о «Вокруг света»: «Полезный журнал. Про индейцев пишет». Видимо, слухи были оправданными, поскольку вскоре Сапарину дали орден «Знак почета», в народе именовавшемся «Веселые ребята», — на нем были выбиты фигурки рабочего и колхозницы.

А теперь — самое примечательное. На приобретение заграничных журналов редакции «Вокруг света» щедротами ЦК КПСС отпускалось 129 инвалютных рублей, что составляло по тогдашнему официальному курсу меньше 150 долларов США. И решать вопрос о такой сумме должен был Сам. Более важных дел в государстве не нашлось.

Впрочем, идеологические бдения в советское время никогда не обделялись высочайшим вниманием. В докладной записке Сулову (1948) об издаваемой в СССР иностранной научно-технической литературе книги «Что такое математика» Куранга и Робинса и «Введение в метеорологию» Петтерсена агитпроп заклеймил как «низкопробные и фальшивые произведения, в которых замалчивается приоритет русских ученых в решении ряда важнейших научных проблем».

А незадолго до перестройки (1982) председатель КГБ В. Федорчук направил секретарю КПСС Ю. Андропову спецсообщение №14790-Ф. Звучало оно грозно: «О негативных проявлениях в поведении отдельных категорий зрителей в ходе выступлений зарубежных артистов и просмотров произведений западного киноискусства».

В секретной реляции глава всесоюзного тайного надзора извещал второго человека в партийной иерархии о настроениях публики на конкурсе Чайковского: «В процессе награждения победителей со стороны большинства зрителей открыто проявилась демонстративная тенденция к явно завышенной оценке некоторых зарубежных исполнителей и прежде всего представителей США и Великобритании, встреча которых сопровождалась продолжительными аплодисментами, доходившими порой до вызывающей нарочитости». Как тут сидеть сложа руки — враги захватили Большой зал консерватории!

В «Вокруг света» мне было поручено оформление подписки и хранение иностранных журналов, в связи с чем состоялось знакомство с цензором издательства. Этот персонаж можно считать знаковым. Разумеется, все редакторы знали о наличии в издательстве представителя Главлита, которому доставлялись на утверждение подготовленные к печати материалы. Но упоминать цензора всуе, особенно в беседах с авторами, категорически запрещалось. Цензор таким образом превращался в мифическую фигуру, которая одновременно есть и которой нет (подпоручик Киче!).

Человек, к которому я был направлен на инструктаж, полностью соответствовал имиджу бойца невидимого фронта — от перекошенного костюма фабрики «Большевичка» до тихого и от этого еще более внушительного голоса: «Получишь сейф и ключи от *спецхрана*. Каждый журнал будешь регистрировать. Антисоветчина просочится — спрос с тебя».

В переводе на внятную речь это означало следующее. Спецхраны — отделы специального хранения или отделы специальных фондов — были во многих крупных научных и публичных библиотеках. Но официально — как и цензоры — они не существовали. Допускались в спецхран только лица, получившие разрешение на работу с запрещенной литературой строго по профилю своей деятельности. Каталоги спецхрана в советское время постоянно тасовались. Изымались неудобные публикации — например, все номера «Нового мира» с рассказами А. Солжени-

цына, впавшего в немилость. Добавлялись реабилитированные произведения — например, книги Б. Пильняка. Работы невпроворот: в отчете Главлита за 1949 г. указывается, что из библиотек изъято 1 100 000 экземпляров «политически вредных книг и внесены исправления в 40 000 экземпляров книг».

Что касается зарубежных изданий, то они подпадали под особый учет. На обложках журналов западного происхождения ставилась *шайба* — шестигранная печать с таинственным номером, означавшим *ограниченный доступ внутри спецхрана*. На особо зловредных публикациях красовались аж две шайбы. Это была та самая антисоветчина, над которой мне надлежало бдеть.

Все эти правила были введены для рядового состава советских граждан. Начальство не затрудняло себя ограничениями. Для доступа к закрытой информации ему не нужны были особые разрешения. О текущих делах оно читало в выпусках *белого ТАССа*. Так именовались бюллетени для служебного пользования, составляемые по материалам зарубежных агентств и не приправленные идеологическим соусом. Гостелерадио выпускало свои еженедельные бюллетени под названием *Радиоперехват*, взятом прямо из шпионских романов.

Но это не все. Однажды мы попали на день рождения к своей однокашнице по Инязу. Оказалось, ее отец, академик от марксизма-ленинизма, был консультантом ЦК, и в этом качестве получателем *номерных изданий*. В их квартире у Моссовета на полках запросо стояли книги, к которым боязно было пригнуться, — «По ком звонит колокол» и «1984», «Пир победителей» Солженицына и «Хрущевская шарманка» Шиклинга... Пещера Али-Бабы! На каждой обложке портяночного цвета стоял номер. Переводчики не указывались. В выходных данных значилось: «Спецредакция Издательства иностранной литературы».

Один из моих коллег, привлеченный к работе в этом заведении, рассказывал, что у Спецредакции своя типография и свой склад, охраняемый почти как Кремль. «Но ночной дежурный за бутылку вынесет тебе что хочешь», — добавил он.

Спецхран «Вокруг света» помещался в закутке, куда был втиснут сейф высотой в человеческий рост и стол со стулом. Закуток оказался весьма растяжимым. Поскольку он запирался на ключ изнутри — в отличие от остальных редакторских комнат, где сидело по 5 человек, — секретное помещение журналисты быстро приспособили для распития алкогольных изделий в рабочее время. Ну, а после стакана горячительного коллеги приступали к разглядыванию журналов *Paris Match*, *Newsweek*, *National Geographic* и т.д. Особым вниманием пользовался шведский *FIV Aktuell* с обнаженным натурами, вызывавшими страстные дискуссии в мужской части редакции. (Как и зачем мы на него подписались, сейчас уж не упомяну).

Вскоре к нашему сейфу зачастил и цензор. Поначалу он делал вид, что инспектирует порядок хранения антисоветчины, но потом перестал прикидываться и просил перевести ему, что «они» пишут «про нас». Я охотно шел навстречу и, пользуясь сложившимися доверительными отношениями, выпрашивал у Кузьмы Архипыча, что допускается в открытой печати, а что нет. Эту информацию со временем пополнили сведения из других источников. Приведу примеры.

Не дозволялась к печати никакая статистика — не только отечественная, но и заграничная. Разрешены были лишь качественные сравнения — больше, меньше. Если статистика фигурировала в тексте диссертации, то такая работа *закрывалась*, т.е. переводилась в категорию секретных. Со многими кандидатами и докторами наук, авторами закрытых диссертаций, я сошелся в дальнейшем в годы отказа. Научным сотрудникам отказывали в выездной визе на постоянное жительство в

Израиле по причине доступа к закрытым материалам, хотя сплошь и рядом речь шла о сведениях 15-20-летней давности и с тех пор не раз опубликованных. Но логику искать было без толку. Мою семью 9 лет не выпускали из СССР, как тогда грустно шутили, по *музыкальной* причине: «Ввиду отсутствия мотивов воссоединения семей». А могло быть хуже — если бы меня в ранней молодости привлекли к своеобразной издательской деятельности.

Во времена моей учебы в Инязе на переводческий факультет принимали только лиц мужского пола, поскольку из нас готовили военных переводчиков. Легендарный Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), закрытый Сталиным за ненужностью, в конце 50-х годов с большим скрипом восстанавливался. А пока военное ведомство зачисляло на службу выпускников Инязы. Вместе с дипломом я получил военный билет, в котором выделялись три графы — «Национальность», «Родной язык» и «Иностранный язык». Графы были тесные, поэтому на итоговой линии значилось (внешне в одно слово) «ЕврейРусскийФранцузский».

Лет через пять после окончания Инязы меня дернули на военные сборы в учреждение под названием Военный институт. Нам было велено принести характеристику с работы. В моей бумаге значилось: «Редактор. Ответственный за спецхран».

— Вот здорово! — обрадовался офицер, распределявший «гражданских специалистов» по группам. — Я тебя забираю.

— Но он не член партии, — отметил другой офицер.

— Жаль, — вздохнул первый. — А мне как раз нужны такие люди. Будем делать газету для оккупированной Франции.

Впоследствии я узнал, что один из моих однокашников (в год факультет выпускал 7 французских переводчиков) был включен в упомянутую газетную группу. Деталей он не рассказывал, не положено, но посоветовал на то, что ему присвоили высокую степень секретности, с которой не разрешают ездить во Францию. Меня судьба уберегла. Я прошел тогда в Военном институте курс перевода по теме «Допрос пленного», но секретности на меня не навесили.

Продолжим рассказ о цензуре. Запрет был наложен на публикацию любых сведений о стихийных бедствиях, авариях, несчастных случаях и вспышках заразных болезней на территории СССР. Так, землетрясение, стершее в 1948 году Ашхабад с лица земли, долгое время не упоминалось вообще, а затем описывалось иносказательно. Точные данные о нем не приведены до сих пор. Чернобыль, судя по первой реакции властей, ждала та же участь, если бы радиоактивное облако не понесло на сопредельные страны, которые забились тревогой.

В отношении эпидемий официальное умолчание достигло апогея в 1959 году, когда в Москву вернулся из туристской поездки в Индию художник Кокорекин, скончавшийся неделю спустя от черной оспы. Зараженными оказались 50 человек, пятеро из которых умерли. Кремль перепугался. На установление контактов Кокорекина были брошены все силы — медицинские, милицейские, гебешные и пр. В ходе профилактических мероприятий в Москве и других городах были вакцинированы 5 с половиной миллионов человек. Скрыть акцию такого масштаба было невозможно, поэтому после препирательств с цензурой в газетах появилось краткое сообщение. Оно начиналось так: «Художник К. во время пребывания в одной из стран Азии...» Остряки тут же отредактировали информацию по цензурному канону: «Художник К. поехал в страну И., заразился там черной о. и у.»

Цензурные запреты делились на безусловные и условные. Безусловные запрещались автоматически, а по условным следовало получить разрешение соответ-

ствующего ведомства. Помню, что переводы зарубежных детективов мы отправляли в отдел печати МВД, откуда, как правило, приходил ответ «Возражений нет», и в Иностранный отдел Союза писателей, откуда часто сообщали: «Дополнительных сведений об авторе нет», либо извещали по телефону: «Автор пользуется сомнительной репутацией». Самыми надежными считались покойники — они уже ничего не скажут из того, что не хотели бы слышать в Москве. А с живыми иностранцами приходилось держать ухо востро. На моей памяти Жан-Поль Сартр, Артур Миллер и Генрих Бёль несколько раз переходили из печатаемых в непечатаемые — и обратно.

С конца 60-х годов развернулась цензурная борьба с аллюзиями. Цензурировалось фактически не то, что было написано, сказано и показано, а то, что могли об этом подумать читатели, слушатели и зрители. Формулировка запрета гласила — *неконтролируемый подтекст*.

Но эти заботы блекли в сравнении с головной болью, которую доставляли цензорам оперативные медийные средства — радио и телевидение. Печатную продукцию в конечном итоге можно задержать, изъять или сделать вид, что ее не было. Но слово, вылетевшее в эфир, не поймаешь. Все тематические программы, конечно, заранее записывались и проверялись, однако выпуски последних известий приходилось читать живьем. Как быть? На радиостанциях ввели должность контролера. Он сидел в кабине рядом со звукооператором, отделенный от студии толстым стеклом. Задачей контролера было пресечение «некорректного поведения диктора» методом отключения эфира. Подобные эпизоды, по всей видимости, имели место, но громкого резонанса они не получили. Зато всемирное паблсити получил эпизод, случившийся в отделе вещания на границу Московского радио.

Эта служба транслировала передачи на 70 языках. Где было найти контролеров, понимающих эти самые языки? Вышли из положения, как водится при социализме, — «числом поболее, ценою подешевле». Наняли внештатников, в большинстве студентов, изучавших эти самые языки. Им вручали завизированный цензурой русский текст последних известий. Контролеры должны были слушать дикторов, читавших этот текст в переводе на иностранный язык, и сверять услышанное с написанным.

Так выглядела чиновная задумка — без учета человеческого фактора. Слушать лапшу, которую Москва вешала на уши зарубежным жителям, студентам было скучно. К тому же дикторы на радио пользовались безусловным пиететом — для многих язык вещания был родным, и им безоговорочно доверяли. Поэтому когда диктор английской редакции Владимир Данчев в разгар Афганской войны стал отходить от написанного, контролеры не дернулись. Они в буквальном смысле пропустили текст мимо ушей.

А Данчев меж тем называл вещи своими именами: вместо «ограниченный контингент» он говорил «советские оккупанты», вместо «братская помощь» — «грабеж», вместо «гуманитарные инициативы» — «истребление населения» и т.д. Все это аккуратно записывала британская Служба коммуникаций, которая следила за советским вещанием. Аналитики в Лондоне не могла взять в толк — что это такое? Все органы прессы СССР говорят одно, а английский диктор московского радио — совершенно иное. Может, таким образом Кремль посылает сигнал Западу? Или в Кремле сводят счета соперничающие кланы?

Англичане решили придать дело огласке. История Данчева вышла на первые полосы газет многих стран. Би-би-си посвятила ей целую программу. В Москве

рвали и металы. Диктора-диссидента хотели улечь в Гулаг, но потом вышло распоряжение объявить его сумасшедшим и отправить в психушку в Ташкент. Владимира Данчева ждала горькая участь...

Другая история с проколом цензуры породила фарс. Передачи на Америку с учетом разницы во времени транслировались из Москвы ночью. В один из дней дежурный оператор приготовил записи программ, которые должны были идти в эфир. В сетке вещания в 2 часа ночи значился балалаечный концерт. Оператор достал соответствующую кассету, пустил пленку и пошел в коридор покурить. Контролер присоединился к нему — какой крамолы можно ожидать от балалайки?

Оказалось, можно. Последний раз это музыкальное произведение крутили полгода назад, и на пленке почему-то осталась нестертая запись последних известий, прозвучавших перед концертом за 6 месяцев до злополучной ночи. В Москве записывали каждое слово, прозвучавшее в эфире, для архива. Новостной блок полагалось хранить на отдельной кассете. Но в таком беспокойном хозяйстве разве уследишь за всем?

Итак, в эфире на хорошем английском бодро зазвучало: «Президент СССР Леонид Ильич Брежнев во главе правительственной делегации прибыл в Финляндию. Его встречали...» И так далее. Дежурная смена не ведала о случившемся и не стала приносить извинения слушателям за техническую ошибку. А в мире между тем поднялся переполох. Из Вашингтона в посольство США в Москве полетели запросы — что там с Финляндией? Почему Брежнев среди ночи отправился в Хельсинки? В европейских столицах пряли ушами.

К утру московское начальство успокоило дипломатов, развесило выговора и велело провести на Радио производственные собрания по укреплению бдительности.

История с приездом в Москву партийно-правительственной делегации Вьетнама стала основанием для разработки новых правил показа репортажей по ТВ. До конца 70-х подобные репортажи, включая проезд кавалькады черных ЗИЛов по улицам, заполненным ликующими горожанами, показывались в прямом эфире. Казалось бы — чего опасаться? Но с неорганизованным народом надо держать ухо востро. Вьетнамская делегация мчалась по проспекту, как вдруг один из ликующих москвичей, согнанных с соседних предприятий, увидел зорким глазом, как на другой стороне улицы его коллеги согреваются портвейном. Влекомый чувством солидарности, он ринулся через проспект. Кавалькада, во главе которой мчалась мотоциклы эскорта, начала со скрежетом тормозить, а люди в штатском из оцепления кинулись ловить, тузить и тащить нарушителя прочь с дороги. Все это показывалось в прямом эфире... Правда, только один раз.

Далее вышло распоряжение: весь «прямой эфир» записывать на пленку и показывать с 5-минутным запозданием, чтобы цензоры телевидения имели возможность вырезать все неподобающее.

Примером может служить грандиозный скандал, случившийся у журнала «Техника — молодежи». Главным редактором его много лет состоял В. Захарченко. Обласканный властями, он часто ездил за границу, которую потом честил на все корки. Особенно Захарченко гордился знакомством с писателем-фантастом Артуром Кларком, считавшимся «прогрессивным». Это, правда, не помешало обрезать последние главы в первом русском издании его книги «2001: Космическая одиссея».

В 1984 году «Техника — молодежи» объявила сенсацию: журнал будет печатать в нескольких номерах роман Кларка «2010: Одиссея-Два». Автор посвятил

его космонавту А. Леонову и А.Д. Сахарову. Посвящение академику, находившемуся тогда в ссылке, понятное дело, сняли. Но ни Захарченко, ни цензор не разглядели, что все русские персонажи романа носили фамилии тогдашних диссидентов и евреев-отказников — Виктора Браиловского, Глеба Якунина, Сергея Ковалева и Юрия Орлова. Эти имена чуть ли не ежедневно склонялись *голосами*, но благонамеренный Захарченко и уж тем более цензор вражеское радио не слушали. Результат? Печатание Кларка после второго номера прекратили, редакторам раздали взыскания, а Захарченко уволили (спроводили на пенсию). После этого он охотно изображал из себя жертву коммунистического режима.

Внезапное прекращение публикации по цензурным соображениям в советское время было в порядке вещей. Знаменитый триллер Ф. Форсайта «День шакала» начал печататься в алма-атинском журнале «Простор», но после второго номера был снят — вместе с главным редактором. Претензии к тексту были не политического свойства. Руководство КГБ сочло, что детальное описание покушения на главу государства может представлять опасность.

Аналогичными соображениями руководствовались и военные цензоры, не допустившие выход итальянского фильма «Битва за Алжир». Картина, повествующая о перипетиях борьбы за независимость Алжира, идеально подходила под тезисы агитпропа. К тому же она была талантливо снята режиссером Джило Понтекорво. Лента была удостоена высшей награды Венецианского кинофестиваля, а в США в разные годы получила номинацию на «Оскара» в трех категориях (уникальный случай для иностранного фильма). В Москве картину демонстрировали на кинофестивале, купили, дублировали — и положили на полку. Военные цензоры сочли, что подробный показ терактов алжирских борцов за национальное самоопределение может стать заразительным примером. Кстати, подобные мысли посещали не только московских цензоров. В 2003 году, перед началом военной операции в Ираке «Битву за Алжир» показали в Пентагоне командному составу армии США для ознакомления с приемами партизанской войны в условиях арабского мегаполиса.

В целом же кино в советское время представляло благодатное поле для редакторского произвола. Чиновники, приставленные беречь белизну отечественного экрана, обожали цитировать ленинские слова о важности кинематографа. При этом цензоры сокращали фразу, сказанную Лениным в 1923 году наркому просвещения Луначарскому. Полная цитата звучит так: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшим для нас является кино».

Пожалуй, можно пересчитать на пальцах западные иностранные фильмы, показанные советскому зрителю в первоизданном виде. Исключениями были разве что «трофейные ленты» из немецкого киноархива, которые крутили после войны, — серии Тарзана, «Королевские пираты», картины с Диной Дурбин. Титры в них были обрезаны, так что узнать имена авторов зрители не могли. Это, кстати, позволило показать под «трофейной» маркой фильм «Гибралтар» (1938), снятый во Франции русским невозвращенцем Федором Оцепом и выпущенный в советский прокат под названием «Сети шпионажа». Позднее такое было бы невозможно.

Моя роль искажителя французских кинолент ограничивалась начальной стадией процесса. Меня приглашали перевести с экрана диалоги купленной картины для сотрудников дубляжного цеха «Мосфильма» или студии им. Горького, а затем перевести в полном виде текст диалогов. После этого начиналась творческая работа.

Она включала множество аспектов и прежде всего ответ на вопрос — какой будет русская киноверсия, что в ней останется, а что будет вырезано. Напрасно ду-

мать, что редакторы лишь изгоняли крамолу в виде куска голого тела (порнография!) или политической некорректности. Поправки диктовались самыми немыслимыми причудами — тут я привожу примеры картин, чья судьба хорошо известна в профессиональной среде.

Почему надо было название классики мирового кино — фильма Феллини «Дорога», «La Strada» — поменять в советском прокате на пошлое «Они бродили по дорогам»? И, наоборот, почему классику французского кино — фильм Трюффо «Les 400 coups», что переводится как «33 несчастья», — выпустили под бессмысленной шапкой «400 ударов»? Знаменитые ленты «Под стук трамвайных колес» Куросавы и «Конформист» Бертолуччи вышли на советский экран обесцвеченными, в черно-белом варианте, поскольку кончился лимит цветной пленки. Этим невзгоды «Конформиста» в СССР не ограничились — фильм сократили почти на треть, в результате чего зрители расходились в полном недоумении по части сюжета. Как-то на «Мосфильме» мне попалась на глаза инструкция к дубляжу одной из комедий с де Фюнесом. Там, среди прочего, значилось: «Изменить причину драки», «Убрать все упоминания о де Голле», «Снять панораму стола в ресторане» (видимо, чтобы не дразнить зрителей в стране дефицита). А картину Вендерса «Париж, Техас» урезали на 17 минут, чтобы сделать ее «поживей».

Последнее указание пришло из самой авторитетной инстанции — *дачи*. Просмотр заграничного кино наряду с продуктовыми распределителями, спецсекциями ГУМа и прочим входил в набор довольствий номенклатуры. Фильмы, еще не прошедшие дубляж, а то и просто не предназначенные для проката, везли на госдачи, где их смотрели семьи членов и кандидатов в члены Политбюро. Оттуда обратным ходом доносились *мнения*. Кто их выражал — сами члены, их жены или свояченицы, было неведомо. Но спорить никто не пытался. «На даче были очень довольны», «На даче плевались» — такие оценки фильмов я слышал не раз.

Еще один курьез из моей практики кинопереводчика. Начало 80-х годов. Мы отправили в МВД жалобу на отказ в выезде в Израиль «ввиду отсутствия мотивов». Отказник — фигура одиозная. Но меня по старой памяти продолжают звать на перевод французских фильмов в творческих союзах и других местах.

Однажды раздается звонок: «С вами говорит полковник Такой-то из министерства внутренних дел». У меня обрывается душа — неужто разрешение?! Оказалось, звонил порученец всемогущего министра Щелокова с приглашением прибыть на улицу Огарева в 7 вечера для перевода фильма. Мы с женой явились к незаметному министерскому подъезду, прошли через две проходные с проверкой паспортов и оказались у вешалки с тремя генеральскими шинелями. При них стояла гардеробщица. Бабуля показала, куда нам повесить пальто, и распорядилась: «А шапки с собой возьмите... Мало ли что бывает». Мы переглянулись — услышать такое в офисе главного милицейского начальника никак не ожидалось.

На этом сюрпризы не кончились. Мы сели в совершенно пустом темном зале, я — за пульт, жена — рядом. Экран осветился, начался фильм. «Переводите», — прошипел полковник. «Так никого же нет», — удивился я. «Переводите», — повторил с металлом порученец.

Я начал читать титры и тут увидел, как из боковой двери в зал вплыли три тени. Они просидели весь сеанс и перед финальными титрами ушли. Кто уж это был, сказать не могу... Потом я узнал, что Щелоков любил детективы, и по его заказу в Алжире делали пиратские копии шедших там фильмов. В результате меня пару раз в месяц вызывали в МВД. Шапки мы брали с собой.

Щелокову довелось недолго наслаждаться похождениями зарубежных сыщиков. Через пару лет его отсекли от кормушки, и он застрелился. А еще через пару-тройку лет покончил с собой СССР.

В феврале 1986 г. в интервью газете французских коммунистов "Юманите" М.С. Горбачев впервые признал наличие в Советском Союзе цензуры. Что ж, уже можно было подводить итоги ее неуспешных трудов. А они воистину грандиозны: благодаря цензуре в коллективной памяти нескольких поколений жителей целой страны отложилось искаженное представление о мировой культуре. Как с этим быть? Заново перечитывать, пересматривать и прослушивать *все* произведения иностранных авторов? Только сначала надо убедиться, что речь идет о доцензурном продукте — будь-то даже сказка. Знаете ли вы, что в «Снежной королеве» сердце Кая оттаивает не от горячих слез Герды (это выдумка редакторов Детгиза), а оттого, что она поет их любимый библейский псалом? По подсчету журнала «Индекс» советский Андерсен по сравнению с дореволюционным облегчен на треть.



Бенгт Лильегрен

«ВО ГЛАВЕ КОРОЛЕВСТВА СВЕЕВ»*

Перевод Георгия Фомина

(окончание. Начало в №10/2014)

53

Королева Кристина,

правление 1632 — 1654 (регентство 1632 — 1644)

Ореол таинственности продолжает сиять вокруг образа королевы Кристины, до сих пор наиболее знаменитой шведской женщины после провидицы Святой Бригитты.



Королева Швеции Кристина в юности. Шведский придворный художник Якоб Генрих Эльбфас (1600-1664). Национальный музей в Стокгольме.

Кристине было только пять лет, когда её отец Король Густав II Адольф (Густавус Адольфус) погиб в битве под Лютценом, и правление взял на себя регентский совет во главе с канцлером Акселем Оксеншёрна.

В соответствии с желаниями отца девочка получила мужское воспитание, где углублённому изучению литературы сопутствовали охота и умение стрелять.

По достижении принцессой совершеннолетия, т.е. восемнадцатилетнего возраста, было провозглашено начало узаконенного самостоятельного правления.

Королева проявляла интеллектуальную одарённость, знала множество языков и прославилась по всей Европе как покровительница науки и искусства.

* Издательство «Historiska Media». Лунд, Швеция, 2004. ISBN 91-85057-63-0.

В возрасте 27 лет Кристина внезапно сложила с себя королевские полномочия и переместилась в Рим. На трон взошёл её кузен Карл X Густав *Пфальцский*.

Поступок королевы явился непостижимым для многих умов, но истинный шок все испытали годом позднее, когда она публично обратилась в католическую веру.

Этим отступничеством был нанесён ущерб престижу Швеции — выдающемуся протестантскому государству.

Ведь её отец, король Густав II Адольф, был первейшим защитником лютеранства — основы протестантизма!

Проживая в Риме в своей резиденции, палатце Риарио, Кристина намеревалась приступить к осуществлению своих грандиозных и столь же нереалистичных планов — возглавить христианский мир в борьбе против турок.

Внешность Кристины была малопривлекательной: толстая и низкорослая, с лицом, поросшим волосами.

Некоторые исследователи убеждены в её лесбийских приверженностях, однако сохранившаяся многолетняя, полная нежности, переписка с кардиналом Де-сио Аззолино, может уверить нас в противоположном.

Бывшая королева Швеции Кристина скончалась в 1689 году, дожив до 62-х лет, и удостоилась чести быть похороненной в соборе Святого Петра в Ватикане.

54

Король Карл X Густав Пфальцский, правление 1654 — 1660

Никто не высказывал даже малейших предположений, что сын эльзасского пфальц-графа когда-либо станет королём Швеции, а менее всех — он сам, Карл Густав.



Король Швеции Карл X Густав. Нидерландский художник Абрахам Вухерс (1612-1682). Национальный музей в Стокгольме.

Но королева Кристина — его кузина, а совсем недавно — его же невеста, открыла ему дорогу, объявив Карла наследным принцем; и вслед за отречением Кристины в 1654 году на трон взошёл Король Карл X Густав.

Первый из трёх последовательных Королей-воителей, носивших имя Карл, запомнился авантюриными идеями, однако, в то же время, он проявил таланты стратега.

Правление Карла получилось воинственным и кратким. Он немедленно отправился к местам сражений, но увяз в польских болотах и не добыл политических выгод, несмотря на некоторые успехи его армии в Польше.

Объявление Данией войны в 1657 году явилось весьма кстати: *Вот оно, желанное облегчение! Скорей-скорей, в поход форсированным маршем — против Дании!*

Дородный король, возглавляя воинов и вдохновляя их своей внушительной фигурой, зимой 1658 года смелым броском преодолел потрескивавший под ним лёд замерзших проливов Малый и Большой Белты, вплотную подошёл к Копенгагену и опасно угрожал датской столице.

Этот переход стоил Дании потери одной трети страны.

Мирный договор был подписан в Роскилле, и Швеция приобрела большую территорию, какой не обладала никогда: остров Борнхолм, провинции Сконе, Халланд, Блекинге, Богуслен, и норвежское графство Тронхейм.

Однако королевство Дания продолжало существовать, и Карл X Густав продолжал искать удовлетворения.

Штурм Копенгагена в 1659 году закончился неудачей.

Подписанное на этот раз в Копенгагене новое мирное соглашение вернуло Дании Борнхольм и Тронхейм.

Вскоре, в 1660 году, король Швеции Карл X Густав умер от пневмонии в Гётеборге в возрасте 38 лет.

55

Король Карл XI, правление 1660 — 1697 (регентство 1660 — 1672)



Король Швеции Карл XI. Гамбургский художник Давид К. Эрэнштраль (1628-1698). Национальный музей в Стокгольме.

Несмотря на отсутствие достаточного образования и наличие дислексии [психические трудности при чтении и письме], оставшийся без отца пятилетний Карл XI довольно быстро уяснил требования к роли Короля.

Стремясь сохранить состояние мира, король Карл XI успешно провёл реорганизацию вооружённых сил, и армия стала намного сильнее, чем когда-либо ранее.

Победа над Данией в кровопролитной битве при Лунде в 1676 году послужила более, чем убедительным подтверждением способностям Карла быть королём.

Система выплаты жалования солдатам была обновлена и поддерживалась стабильностью армейских финансов, пополнявшихся штрафами, предъявленными к выплате привлечённым к суду бывшим королевским регентам.

Хотя Карл XI считал себя в ответе только перед Богом, но и к советам верных друзей также прислушивался.

Вероятность новых войн отвергалась любыми путями.

Усердное управление страной король осуществлял любимым способом — инспекционными поездками.

В 1680 году Карл XI провозгласил себя абсолютным монархом и приобрёл неограниченные возможности для проведения как новых реформ, так и прежних.

Например, применялась начатая ещё Карлом X т.н. «*четвертная редукция*», позволявшая вернуть в казну около половины незаконных землевладений знати.

Не обладая привлекательной внешностью, Карл XI ненавидел торжественные церемонии и не тяготел к культурным развлечениям, в отличие от выездов на охоту, которой он отдавался с неизменной страстью.

Заклѳченный по расчѳту брак с датской принцессой Ульрикой Элеонорой превратился в брак по любви.

У супругов было семеро детей, из которых трое достигли совершеннолетия, а четыре сына умерли младенцами. Король Швеции Карл XI скончался от рака желудка в 1697 году в возрасте сорока одного года.

56

Король Карл XII, правление 1697 — 1718



Король Швеции Карл XII. Шведский художник-портретист Йохан Дэвид Шварц (1678-1729). Из частного собрания.

Современники властолюбивого, молчаливого, упрямого Карла XII затруднялись в понимании его поведения.

Мнение о нём, как о загадочной личности, сохранилось и в последующих поколениях вплоть до наших дней.

Нынешние медики считают, что король страдал одной из разновидностей аутизма — *синдромом Аспергера*.

Привыкший властвовать и беспрекословно повелевать, значительную часть взрослой жизни шведский король провёл в военных походах и на полях сражений.

Война с тройственным союзом Дания-Саксония-Россия поначалу сопровождалась успехами для Швеции, но затем ситуация изменилась на противоположную, главным образом, благодаря строгой приверженности Карла XII к радикальным и грандиозным решениям.

Русская кампания завершилась в 1709 году разгромом шведской армии в битвах на территории Украины под Полтавой и у Переволочны на берегах Днепра, после чего Карлу пришлось спасаться бегством в Турцию.

Пять лет, проведённых королём в Турции, — сначала гостем, а затем даже пленником, — не способствовали исправлению военной ситуации в пользу Швеции.

Вернувшись домой в своё королевство в 1715 году, Карл XII обнаружил, что Бранденбург и Ганновер также присоединились к вражеской коалиции.

Считая необходимым сохранять наступательную инициативу, Король решил в 1718 году атаковать Норвегию, находившуюся тогда под властью Дании.

Тридцатого ноября в траншее под стенами крепости Фредерикстен 36-летний Король Швеции Карл XII был сражён попавшей в голову пулей и сошёл в могилу, а вместе с ним — период великой военной славы Швеции. Его далеко нацеленные планы были остановлены.

57

Королева Ульрика Элеонора, правление 1719 — 1720



Королева Швеции Ульрика Элеонора. Шведский художник Георг Дес-Марес (1697-1776). Национальный музей в Стокгольме.

Детство Ульрики Элеоноры было отмечено утратами.

Она была лишь пяти лет от роду, когда скончалась её мать, Королева Ульрика Элеонора Датская, и только девяти, когда умер от болезни её отец Король Карл XI.

В возрасте двенадцати лет Ульрика была вынуждена разлучиться со старшим братом, королём-воителем Карлом XII, выбравшим свой путь по полям сражений.

Девочка рано повзрослела, замкнулась и с большим усердием посвятила свою жизнь благотворительности, что объяснялось её глубоко религиозным воспитанием.

Несмотря на имевшийся у неё недостаток красоты, Ульрика не испытывала недостатка в поклонниках.

В конце концов, благосклонность принцессы завоевал германский ландграф Фридрих Гессен-Кассельский.

Фридрих не имел прав на шведский трон и являлся на момент гибели короля Карла XII главнокомандующим вооружёнными силами королевства, однако, благодаря умелому дворцовому маневрированию супруги, он стал монархом Фредриком I с соблюдением неременного условия — немедленной отмены самодержавной власти.

Так началась «*Эра Свободы*», при которой королевская власть была ограничена, и управление империей взяла в свои руки Канцелярия (игравшая роль Парламента), тут же вступившая в конфликт с королевской четой.

Королева Ульрика Элеонора остро воспринимала своё дискомфортное положение на троне, поскольку, хотя и была формально правителем, фактически находилась в положении подчинённой у своего супруга и тщетно старалась наладить совместное с ним правление.

Это вынуждало её постоянно и жёстко выражать своё несогласие при обсуждении официальных назначений. В итоге, обстоятельства заставили Ульрику отречься в пользу Фредрика I через 13 месяцев после её коронации.

В последующие годы распущенное поведение мужа, разрушившего понятие святости брака, сделало жизнь бывшей Королевы Швеции сплошным унижением.

Ульрика Элеонора умерла в 1741 году в Стокгольме в возрасте 63-х лет, то ли от оспы, то ли от ветрянки.

58

Король Фредрик I, правление 1720 — 1751

Гибель абсолютного монарха Карла XII, происшедшая в Норвегии, вызвала замешательство в шведской Канцелярии в связи с выбором претендента в Короли.

С незаурядной энергией, подобную которой он более не проявил в своей дальнейшей жизни, и с помощью своей жены, королевы Швеции Ульрики Элеоноры, германский ландграф Фридрих Гессен-Кассельский добился в Парламенте в декабре 1718 года избрания себя регентом с титулом *Его Королевское Высочество*.

Через год королева Ульрика отреклась от престола, который перешёл к её мужу, достигшему своей цели.

Однако, к тому времени королевская власть уже была существенно ограничена, и вскоре Король Фредрик I потерял всякий интерес к управлению государством.

Наиболее памятной политической активностью короля Фредрика I явилось его подстрекательство к реваншу, вызвавшее войну Швеции с Россией с 1741 по 1743 годы с катастрофическими последствиями для шведов.

В исторических хрониках Король упоминается не иначе как праздный и циничный искатель удовольствий.

За тридцать лет, проведённых правителем на троне, он никогда даже не пытался выучить шведский язык.

В числе его любимых занятий были охота на животных и безудержное преследование молодых женщин.



Король Швеции Фредрик I. Шведский художник Лоренц Паш Старший (1702-766), по рисунку Яна Мейтенса Младшего (1695-1770). Национальный музей в Стокгольме.

Дети-то у него были, да только не от супруги Ульрики.

В 54 года Фредрик влюбился в 16-летнюю придворную даму Хедвигу Таубе, сделал её своей любовницей, и она родила ему двух сыновей и двух дочерей.

В пожилые годы Король перенёс несколько инсультов.

Это вызвало необходимость применять на документах печать-штамп вместо его собственноручной подписи. В 1751 году Король Швеции Фредрик I умер в возрасте семидесяти четырёх лет от гангрены.

59

Король Адольф Фредрик, правление 1751 — 1771

После крайне неудачной для шведов реваншистской войны против России в 1741-1743 годах, победители использовали своё право диктовать условия Або-ского мирного Договора и, естественно, пожелали посадить на шведский трон про-российскую марионетку.

При несогласии Швеция теряла владение Финляндией.

Предыдущий король Фредрик I, умерший в 1751 году, не оставил законно-рожденных детей — претендентов на роль преемника, — и Парламент вынужденно *принял в Короли* Адольфа Фредрика Гольштейн-Готторпского, родственника российской императрицы Елизаветы.

Уже этот путь к трону ясно показывал — кто пришёл.

Адольф Фредрик был королём без достаточных знаний, без собственных мнений, без чётких перспектив, но при этом он был сговорчивым и благожелательным.

Это прекрасно устраивало и Канцелярию, и Парламент.

Ведь они являлись реальной государственной властью в *Эру Свободы*, и в тех случаях, когда Его Величество отказывался собственноручно начертать резолюцию, пользовались печатью с королевской подписью.

Адольф Фредрик замечательно чувствовал себя вдали от политических интриг Стокгольма в Королевском дворце в Дротнингхольме, покуривая трубку в уютном Китайском Павильоне, вытачивая пустички на станке.



Кроль Швеции Адольф Фредрик. Шведский художник Йонас Форслунд (1754-1809). Национальный музей в Стокгольме.

Король был счастлив, оставаясь в неведении о планах его властолюбивой жены Луизы Ульрики Прусской, которая «водила его за нос», готова монархический заговор с целью упрочения собственного положения.

Но эти её намерения не осуществились — попытка переворота в 1756 году провалилась, а полномочия регента были в дальнейшем существенно уменьшены.

Любимые яства составили предсмертную королевскую трапезу в 1771 году — копчёная сельдь, русская икра, квашенная капуста, омары, отварное мясо в луковом соусе и десерт — кремовая булочка с тёплым молоком.

Острый приступ болезни завершил жизнь объевшегося Короля Швеции Адольфа Фредрика в возрасте 60 лет.

60

Король Густав III, правление 1771 — 1792

Сын Короля Адольфа Фредрика Густав оставил по себе запутанное мнение, поскольку уже в юном возрасте он выучился лицемерить и утаивать проявление чувств.

Судьба сыграла с ним злую шутку: его монархическое правление началось и закончилось в оперном театре.

Известие о внезапной кончине короля-отца в феврале 1771 года застало принца Густава в Парижской Опере.

А спустя 21 год выстрел в спину, сделанный Якобом Юханом Анкарстрёмом на балу в Королевском Оперном театре Стокгольма, настиг короля-«тирана» Густава III и стал причиной его смерти через тринадцать дней.

Будучи от природы человеком умным, энергичным и одарённым богатым воображением, властитель Густав оставался безответственным и излишне самолюбивым.

В этом причины неустойчивых суждений историков о Короле, вызывающих у последующих поколений как восхищение, так и откровенную ненависть к Густаву.

В 1772 г. Густав III совершил бескровный переворот, издав *Акт о Союзе и Безопасности*, благодаря которому стал абсолютным монархом и завершил *Эру Свободы*.



Король Швеции Густав III. Шведский художник Александр Рослин (1718 — 1793). Национальный музей в Стокгольме.

Густав III запомнился как великодушный правитель. При нём было запрещено применение пыток; он дал разрешение евреям на поселение в пределах страны.

Король оказался ревностным покровителем культуры.

Нельзя игнорировать тёмные стороны его королевской деятельности: регулярные нарушения в распределении государственной казны; необоснованное нападение на Россию и бесполезная война с нею (1788-1790).

Крестьянство ненавидело его из-за введённого запрета на частное винокурение; офицерские слои переживали из-за неудачной войны с Россией; значительная часть дворянства страдала от снижения своих привилегий.

Возникший заговор принял решение: «Убить Тирана!».

Роковой выстрел прозвучал 16 марта 1792 года.

Король Густав III скончался сорока шести лет от роду.

61

Король Густав IV Адольф, правление 1792 — 1809 (регентство 1792 — 1796)

Начиная прямо со дня рождения Густава Адольфа, над его головой собрались мрачные тучи, которые привели к значительным осложнениям уже во взрослой жизни.

Во дворце крутились раздражающие слухи, что отцом принца был вовсе не Король Густав III, а его конюший и фаворит, граф Адольф Фредрик Мунк.

Отсутствие сверстников усугубляло детские несчастья.

К моменту убийства Короля Густава III его сыну ещё не исполнилось четырнадцати лет, поэтому правление королевством осуществлял регент до 1796 года, когда Густав IV Адольф получил неограниченную власть.

За исключением всеобъемлющей земельной реформы — *эншифта* — введённой в Сконе в 1803 году, правление Густава IV Адольфа нельзя было признать удачным.



Король Швеции Густав IV Адольф. Шведский художник Пер Крафт Старший (1724-1793). Национальный музей в Стокгольме.

Он отказался взять на себя тяжёлую обязанность руководить военными действиями, когда в 1808 году российские войска вошли в Финляндию, и тем самым усилил оппозиционные настроения среди офицеров, аристократии и в гражданских массах.

Опрометчивая иностранная политика, выразившаяся в его категорическом неприятии итогов Французской революции и личном враждебном отношении к самому Наполеону Бонапарту, явилась главной причиной, приведшей к передаче Финляндии под власть России.

13 марта 1809 года Король Швеции Густав IV Адольф был арестован, низложен и заключён в тюрьму.

Позднее в том же году Густава Адольфа — теперь уже бывшего Короля — вместе с семьёй изгнали из страны, и он много лет, скрываясь под именем полковника Густавссона, вынужденно скитался по всей Европе.

В 1837 году в гостинице *Белая Лошадь* швейцарского городка Санкт-Галлен «полковник Густавссон» умер.

62

Король Карл XIII, правление 1809 — 1818

Герцог Карл Сёдерманландский, второй сын Короля Адольфа Фредрика, на протяжении всей молодости и большей части взрослой жизни находился «в тени» более талантливого старшего брата Короля Густава III.

Имея звание адмирала, Карл командовал шведским флотом и считал наивысшим достижением в своей военной карьере участие в проигранном шведами

морском сражении при острове Гогланд во время неудачной войны с Россией с 1788 по 1790 годы.

Убийство Густава в 1792 г. привело Карла к должности регента при малолетнем наследнике Густаве Адольфе.

Годы регентства Карла остались памятли для страны введением цензуры и созданием секретной полиции.

Став преемником Густава III на шведском троне, Карл с готовностью уступил бразды управления страной амбициозному масону Густаву Адольфу Ройтерхольму.

После свержения в 1809 г. Короля Густава IV Адольфа, 60-летний герцог вторично появился на вершине власти, когда его провозгласили Королём Карлом XIII.



Король Швеции Карл XIII. Шведский художник Пер Крафт Младший (1777-1863). Национальный музей в Стокгольме.

Высшее положение в стране Карл занимал формально.

В действительности, правил его приёмный сын, Жан-Батист Бернадот, прибывший в 1810 году из Франции в Швецию и избранный там наследным принцем.

Немного отыщется в шведских исторических хрониках более зависимых, праздных и более индифферентных к королевским обязанностям королей, чем Карл XIII.

Гораздо ближе к его сердцу лежали многочисленные внебрачные приключения, увлечения оккультизмом, безрассудная тяга к тайным сообществам.

Король Швеции Карл XIII пережил ряд инсультов, от которых он всё более и более дряхлел, пока, в конце концов, не сошёл в могилу в 1818 году.

63

Король Карл XIV Юхан, правление 1818 — 1844

Жан-Батист Бернадот, сын адвоката из небольшого городка По на юге Франции, сделал исключительную карьеру к 1810 году, когда ему в возрасте 47 лет был предложен титул шведского крон-принца.

В годы Великой Французской революции Жан-Батист достиг звания Маршала в армии Наполеона Бонапарта, совершив необычно быстрое служебное продвижение.

Именно выдающиеся военные способности и авторитет привлекли к нему внимание шведского правительства:

«— *Маршал Наполеона на шведском троне позволяет надеяться отбросить назад Финляндию у России!*»

Бездетный король Карл XIII усыновил Бернадота, и тот перенял у него корону, а с нею — имя: Карл XIV Юхан.



Король Швеции Карл XIV Бернадот. Шведский художник Фредрик Вестин (1782-1862). Национальный музей в Стокгольме.

Но надежды правительства не оправдались — Карл XIV ясно понимал, что дни империи Наполеона сочтены, и взамен новой войны подписал союз Швеции с Россией.

За это шведы получили свободу действий в Норвегии, которая была аннексирована у Дании в 1814 году.

Несмотря на своё революционное прошлое, Король проявил себя строгим консерваторм, ликвидировав абсолютную монархию и одновременно прилагая все возможные меры по ограничению влияния Парламента.

Однако, его усиленные попытки заставить замолчать либеральную прессу не увенчались успехом.

Нередко король проводил большую часть рабочего дня в своей спальне, куда ему доставляли все сообщения, изложенные по-французски, поскольку он за все годы так и не удосужился изучить скандинавские языки.

Этот стиль руководства получил в истории название *управление из опочивальни*.

Супруге Карла Дезидерии (урождённой Дезире Клари) было слишком неуютно в холодной Швеции, и вскоре она возвратилась в Париж, воссоединившись с мужем и сыном Оскаром в Стокгольме только через 12 лет.

Король Карл XIV умер в преклонном возрасте — 81 год.

Король Оскар I Бернадот, правление 1844 — 1859

В Швецию Жозеф-Оскар Бернадот прибыл из Франции вместе с отцом, будущим Королём Карлом XIV Юханом.

11-летний Оскар заговорил по-шведски и, в отличие от родителей, в новом отечестве почувствовал себя дома.

В противоположность своему реакционному папаше, крон-принц поддался либеральным течениям тех лет.

Охваченный бушевавшими социальными страстями, он увлёкся решением проблем всеобщего начального образования и выступал в дискуссиях по разработке более гуманного уголовного законодательства.



Король Швеции Оскар I. Шведский художник Фредрик Вестин (1782-1862). Национальный музей в Стокгольме.

В возрасте 45 лет Оскар вослед отцу вступил на трон.

Как король, он принялся проводить политику реформ: взломал доминирующие позиции купеческих гильдий законами 1846 года, введя свободную торговлю.

Тогда же были объявлены равные права для сыновей и дочерей при наследовании родительского имущества.

Однако, вскоре либералы, надеявшиеся добиться ещё больших свобод, разочаровались в новом короле.

Испугавшись многочисленных революций в Европе в 1848 г., Оскар I превратился в осторожного монарха, не желавшего, и потому неподготовленного к передаче Правительству или Парламенту какой-либо власти.

В браке со своей женой Жозефиной у Оскара родились пятеро детей; двоим из них довелось стать королями.

Кроме них, у Оскара было трое внебрачных детей, которых иронически называли *Принцами Лапландии*, причём матерью двоих была актриса Эмилия Хёгквист.

Король Швеции Оскар I скончался в 1859 г. в возрасте 60 лет из-за проявившейся опухоли головного мозга.

По той же причине он не мог в последние годы жизни выполнять свои обязанности и передал их сыну Карлу.

65

Король Карл XV, правление 1859 — 1872



Король Швеции Карл XV. Шведский художник Якоб Фредрик Хакерт (1826-1866). Национальный музей в Стокгольме.

Не было среди шведских монархов более популярного короля, чем Карл XV, прозванный в народе *Коронованным Лбом (Kron-Kalle)*, прославившийся своей прямой, сердечной открытостью и, особенно, женолюбием, ещё при жизни сделавшийся героем адюльтерных легенд.

Однако его деятельность как реального правителя королевства такой же популярностью не обладала.

Карлу XV не хватало настойчивости, и порой он обещал больше, чем мог сделать в действительности.

Неосуществлённые намерения Карла XV ослабили личную власть короля, и лидерство перехватили стоявшие у него на пути Правительство и Парламент, регулярно срывая выполнение данных им обещаний.

Так, не осуществилось предоставление расширенной самостоятельности Норвегии в её союзе со Швецией.

Аналогично, не сделали чести Карлу XV заверения в адрес датского короля о военном сотрудничестве в случае возникновения у него конфликта с Пруссией.

Шведская поддержка никак не проявилась в 1864 году при вторжении германских вооружённых сил в Данию.

Начатое при правлении строгого короля-консерватора внедрение важной либеральной реформы — создание в 1866 году двухпалатной парламентской системы — не принесло ему заслуженной благодарности.

При своей энергичной, эффектной внешности король Карл XV обладал тонкой артистической натурой.

Заикание и хроническое нездоровье с детских лет доставляли ему чувствительные страдания.

В 1872 году Король Швеции Карл XV умер в возрасте сорока шести лет после продолжительной болезни.

66

Король Оскар II, правление 1872 — 1907

Младшему из трёх сыновей короля Оскара I, молодому и самоуверенному принцу Оскару пришлось смириться с фактом, что королевство после отца унаследовал менее талантливый старший брат Карл (с номером XV).

Собственный путь к трону для Оскара выглядел безнадежно непроходимым, но после ряда смертей: в 1852 году — средний брат Густав, в 1854 году — двухлетний сын Карла XV, и, наконец, в 1872 году — сам Карл XV, — долгожданная коронация 43-летнего короля Швеции и Норвегии Оскара II совершилась.



Король Швеции Оскар II. Шведский художник Оскар Густав Бьёрк (1860-1929). Национальный музей в Стокгольме.

Монарх из Оскара II получился слабовольный, безвластный, но он в этом не признавался даже сам себе.

Какого-либо реального влияния в международной либо во внутренней политике у него не было никогда.

Безуспешными оставались все попытки властителя противостоять неугодным парламентским течениям.

Обсуждая всеобщее избирательное право, Оскар II неизменно придерживался консервативных взглядов.

Давний болезненный вопрос скандинавского союза в 1905 году наконец-то разрешился провозглашением Норвегией независимости от Швеции; однако, Оскар воспринял событие как величайшую личную неудачу.

Оскар II был излишне высокомерен и весьма озабочен своей королевской внешностью, что являло резкий контраст добросердечному предшественнику Карлу XV.

За этим ханжеским фасадом Оскар старательно прятал общеизвестную неверность жене Софии Нассауской, которая, тем не менее, родила ему четырёх сыновей.

Королевские подданные толпами собирались при его летних визитах на остров Марстренд близ Гётеборга, чтобы выразить Королю свою любовь и преданность.

Таким образом достигалось *сближение с народом*.

Король Швеции Оскар II умер в 1907 году, когда ему исполнилось почти семьдесят девять лет.

Король Густав V, правление 1907 — 1950



Король Швеции Густав V. Шведский художник Бернгард Эстерман (1870-1938). Национальный музей в Стокгольме.

Король Швеции ещё сохранял некоторое монаршее влияние на Правительство своей страны во времена, когда к Густаву перешёл трон после отца, Оскара II.

К моменту же смерти короля Густава V в 1950 году, в его обязанности входили лишь церемониальные акты без какого-то официального политического значения.

В начале своего правления король проявил активность в политике, произнеся в феврале 1914 года во дворе Королевского дворца знаменитую речь *Borggardstalet* по вопросам оборонительного бюджета с пылкими призывами — значительно усилить вооружённые силы, что привело страну к правительственному кризису и ко всеобщим требованиям установления республики.

После Первой Мировой войны Густав V существенно ослабил монархические претензии на личную власть.

На смену королевским традициям пришла демократия.

Однако, при смещении социальных пластов, монархия выжила, и Король Густав V приспособился к новому порядку без значительных потерь для его достоинства.

В последний раз свою заметную политическую роль он сыграл в период летнего кризиса военного 1941 года.

Престарелый король пригрозил Правительству страны своим отречением в случае, если не будет дано разрешение на проход через территорию Швеции (из Норвегии в Финляндию) для 163-й пехотной дивизии вермахта под командованием генерала Эрвина Энгельбрехта.

Помимо большого интереса к охоте, Густав приобрёл известность как страстный, даже выдающийся, игрок в теннис, скрывавшийся под псевдонимом Мистер Джи.

Семейные отношения Густава с королевой Викторией Баденской были прохладные, и многие факты говорят о наличии внебрачных, в том числе — гомосексуальных, связей Короля.

В современную эпоху Густав V до сих пор остаётся королём, дольше всех занимавшим шведский трон, достигнув при этом наибольшего возраста — 92 года.

68

Король Густав VI Адольф, правление 1950 — 1973

Густаву VI Адольфу было 67 лет, когда он наследовал отцу Густаву V, долгожителю среди шведских королей.



Король Швеции Густав VI Адольф. Шведский художник Рейнгольд Лундгрин (1920-2006). Национальный музей в Стокгольме.

В противоположность своим прогерманским родителям, Густав Адольф всегда был откровенным англофилом.

Первая его супруга Маргарита Коннаутская, внучка королевы Англии Виктории умерла от заражения крови в 1920 году в возрасте 38 лет, оставив потрясённого крон-принца Густава Адольфа и пятерых детей.

Его единственным утешением стала любимая дочь, 10-летняя Ингрид, впоследствии — королева Дании.

Через три года он женился опять, на этот раз на Леди Луизе Маунтбеттен — родной племяннице последней российской императрицы Александры Фёдоровны.

Второе супружество детей в семью не прибавило.

Густав VI Адольф целиком и полностью признавал парламентскую систему правления и не делал никаких попыток участвовать в деятельности Правительства.

Он не распространялся о своих политических взглядах даже в тех случаях, когда они не были секретом, как, например, то, что он имел либеральную точку зрения.

Наиболее яростные республиканцы не могли бы пожаловаться на исполнение им обязанностей главы демократического государства *Королевство Швеция*.

Король никому не навязывал свой авторитет, был привлекателен как личность, жадно тянулся к знаниям.

С детских лет он проявлял повышенный интерес к археологии, в частности, к этрусской культуре.

Объектом пристального внимания для Густава Адольфа служили великолепные сады в замке Софиеро, где он собрал широко известную коллекцию рододендронов.

Кроме того, Густав Адольф стал общепризнанным специалистом в древнем китайском искусстве.

Король Швеции Густав VI Адольф прожил более 90 лет.

69

Король Карл XVI Густав, правление с 1973

В 1947 году Карлу Густаву было только девять месяцев от роду, когда он лишился отца: крон-принц Густав Адольф погиб в авиакатастрофе вблизи Копенгагена.

Единственный сын, самый младший в семье из пяти детей, Карл рос в замке Хага недалёко от Стокгольма.



Король Швеции Карл XVI Густав в кругу семьи.

Шведский художник Юхан Е. Франзен (1942 —). Национальный музей в Стокгольме.

В 1973 году, в возрасте 27 лет, Карл Густав принёс королевскую присягу и взошёл на трон вслед за своим скончавшимся дедом, королём Густавом VI Адольфом.

Но принятая уже в следующем году конституционная реформа ликвидировала все виды власти у короля. С тех пор в числе королевских обязанностей остались формальные действия, но здравствующий по сей день король Карл XVI Густав занимает и пост Председателя Консультативного Комитета по иностранным делам.

В 1972 году, находясь в Мюнхене во время XX Летней Олимпиады, крон-принц Карл Густав встретил Сильвию Зоммерлат, переводчицу для сотрудников Оргкомитета Олимпийских Игр, дочь немца и бразилиянки.

Обстоятельства совпали — они поженились в 1976 году, и сейчас в их семье трое детей: наследная принцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен.

Карл XVI Густав — наиболее полномочный, но при этом — наиболее путешествуящий король Швеции.

Многочисленные государственные визиты, нанесённые им, и произнесённые при этом речи привлекают повышенное внимание к Швеции повсюду в мире.

Забота о природе и проблемы охраны окружающей среды представляют для него личный интерес наряду с охотой на диких зверей, правда, исключая охоту на тюленей, что сильно огорчает многих норвежцев.

Высоко ценимый и непринуждённый Король Карл XVI Густав — вполне современный представитель Швеции; современный настолько, насколько ему это позволяет такой архаичный институт, как монархия.



Эдуард Элькинд
ПЕТР МЕРЕНБЛЮМ —
СКРИПАЧ, ДИРИЖЕР, ПЕДАГОГ
Страница из истории
русской музыкальной эмиграции
1-й половины XX века

На основе архивных материалов впервые приводятся сведения о жизни и музыкальной деятельности в России и Америке выпускника Петербургской консерватории Петра Меренблюма (1890-1966), создавшего в Калифорнии знаменитый Молодежный симфонический оркестр, ставший как бы кузницей музыкантов для многих оркестров США и поныне носящий его имя, а также о музыкальной судьбе его сестры Валерии Меренблюм-Элькинд (1889-1969), много лет руководившей скрипичным классом в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории и воспитавшей плеяду высококлассных музыкантов мировой известности.

Ключевые слова: Петр Меренблюм, Петербургская консерватория, Калифорнийский Молодежный симфонический оркестр Петра Меренблюма, Валерия Меренблюм-Элькинд, Центральная музыкальная школа, Московская консерватория.

Петр Иванович Меренблюм (1890 — 1966) родился в небольшом городке Артвин близ Батума в семье военного капельмейстера Ивана (Иогана) Меренблюма, волей судьбы и начальства оказавшегося в Грузии. В семье было девять детей: четыре мальчика и пять девочек.



Фотография семьи Меренблюмов, Тифлис, 1905 г. В центре сидят: Иоанн Меренблюм и его жена Вера Михайловна, стоят (слева — направо): Петр, Любовь, Анна, Валерия, справа от матери стоит Александр.

Многие из них получили музыкальное образование: Валерия, Петр, Александр и Борис стали скрипачами. Получив начальное музыкальное образование в семье, Петр окончил 2-й Тифлисский музыкальный техникум. В 1907 году он поступает в Санкт-Петербургскую Императорскую консерваторию, в скрипичный класс знаменитого профессора Леопольда Ауэра. Однокурсниками Петра были Ефрем Цимбалист, Миша Эльман, Николай Мясковский, Абрам Ямпольский [1,2].



Петр Меренблом со скрипкой (в молодости)

После окончания консерватории с большой серебряной медалью Петр Меренблом был приглашен работать концертмейстером Рижского симфонического оркестра, позже в той же роли он играл в оркестрах Ялты и Ростова-на-Дону. В 1918 г. Петром организуется Петроградский струнный квартет (П. Меренблом, И. Бельский, Г. Столяров, Д. Зиссерман), с которым в течение двух лет успешно гастролирует в России и Европе (Рига, Либав, Данциг, Берлин). В 1924 году П. Меренблом переезжает в США, в Нью-Йорк и после небольшого концертного турне получает работу в качестве ассистента концертмейстера Вагнеровской оперы. Вскоре он становится руководителем скрипичного отделения Cornish School of Music в Сигле, Вашингтон, а также работает дирижером Cornish оркестра.

В архиве семьи Меренбломов сохранилась вырезка из Тифлисской газеты (середина 1920-х гг.), в которой сообщается:

«Окончивший в Тифлисе музыкальное училище, Петр Меренблом, находясь ныне в Нью-Йорке, дал там ряд концертов, вызвавших похвальные рецензии: «Хейфец, Эльман, Цимбалист, братья Пиастро и Петр Меренблом выросли и превратились в чародеев музыки и королей звуков. Один лучше другого, они все на такой высоте, что только тонкие знатоки и очень придирчивые критики могут отличить по качеству: который лучше? Петр Меренблом один из лучших, тончайший музыкант, неподражаемый виртуоз, замечательный солист и удивительный преподаватель. На концерте 4 декабря Петр Меренблом играл «Крейцерову сонату». Какая уверенность, какая спокойная классичность трактовки! В «Крейцеровой сонате» счастливо сочетается духовная глубина и мастерство техники — вещь как раз для Меренблома. В «Пчелке» Меренблом щегольнул своей совершенной техникой, а в мелодии Глюка — лиризмом и спокойной величавостью игры». Такие отзывы помещены почти во всех нью-йоркских газетах».

В Лос-Анджелесе Петр открывает скрипичную студию, на основе которой в 1936 году на собственные средства основывает Молодежный Калифорнийский симфонический оркестр, состоявший из 110 музыкантов в возрасте от 14 до 18 лет.

Создавая свой Молодежный оркестр, Петр Меренблом исходил из двух основополагающих соображений: первое — дать возможность своим талантливым ученикам исполнять их сочинения и другую музыку в сопровождении большого полномасштабного оркестра. Второе — в знак глубокой благодарности к принявшей его стране — Соединенным Штатам Америки — воспитывать талантливую музыкальную молодежь в духе традиций европейских и американских консерваторий, подобно тем, в которых он был воспитан на своей родине — в России. Он также решил, что не должно быть никакой дискриминации по расе, вере или цвету кожи, что все талантливые молодые люди должны получить доступ к такому воспитанию. Высокий стандарт созданного Молодежного симфонического оркестра сразу же вызвал восхищение и дружбу многих признанных во всем мире артистов и музыкантов. Под руководством П. Меренблома этот оркестр стал как бы кузницей кадров профессиональных музыкантов, как солистов, так и оркестрантов для многих американских симфонических оркестров в Нью-Йорке, Чикаго, Кливленде, Миннеаполисе, Далласе, Буффало, Сиэтле и др.

Молодежный оркестр Петра Меренблома выступал в концертах с выдающимися исполнителями (скрипачи — Натан Мильтштейн, Яша Хейфец, Исаак Стерн; пианисты — Артур Рубинштейн, Владимир Горовец, Андре Превен, Эммануил Бэй; виолончелист — Мстислав Ростропович; дирижеры — Юджин Орманди, Зубин Мета, Леопольд Стоковский, Артуро Tosканини, Бруно Вальтер, Джон Барбиrollи, Артур Родзинский, Константин Бакалейников, Дмитрий Митропулос, Сергей Кусевицкий).

В репертуаре концертов оркестра Петра Меренблома большое место занимали сочинения русских и советских композиторов: Чайковского, Калининкова, Лядова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Шостаковича, Кабалевского, Кара-Караева, Хренникова.

В буклете, посвященном музыкальной деятельности и достижениям Молодежного оркестра Петра Меренблома [3], приводятся следующие отзывы современников о П. Меренбломе и его оркестре.

Олин Даунес, известный музыкальный критик газеты «Нью-Йорк Таймс», посетив репетицию оркестра Петра Меренблома (Лос-Анджелес, 1930-е гг.), написал в своей колонке:

«...он (оркестр) играл отрывок из «Мейстерзингеров»... мощь и звучание оркестра, сила и накал скрывающихся за ним оттенков и чувств, вели к тому, что невозможно было, чтобы не сжимало горло, а лицо оставалось спокойным».

«Они играли финал дворжаковской симфонии «Из Нового Света», которая звучала так, будто это действительно был новый мир отваги и романтики, и каждый думал, что это нечто, что способно победить и преодолеть тот ужас, который победоносно шествует сегодня за рубежом...» «Меренблум вел их туда, куда он — и они — хотели идти. И они делали жизнь лучше своей игрой».

Джон Энсон Форд, администратор из Лос-Анджелеса:

«...ответ на этот неповторимый феномен музыкального мира лежит во вдохновенной личности Питера Меренблома, дирижера, который не требует вознаграждения и изливает свою душу... нечто незримое, о чем молит каждый педагог, но которым обладают очень немногие, ...оно ис-

ходит от его одушевленных рук, света на его лице и сияния его глаз, когда он ведет молодежь к вершинам невероятного совершенства».

Эдвин Шеллерт из газеты «Лос-Анджелес Таймс»:

«Появление молодежного оркестра Питера Меренблома, в фильмах, которое было слишком редким, показало удивительный талант этой уникальной группы, который мог быть только результатом их великолепной подготовки. Например, мы запомнили фильм «They shall have music», где они соединяли свои усилия с ослепительной виртуозностью Яши Хейфеца, как знаменательное и восхитительное музыкальное событие своего времени».

Этватер Кент, известный американский филантроп, один из спонсоров оркестра:

«Даже если бы я не был любителем прекрасной музыки, я бы оценил Молодежный оркестр Питера Меренблома как весьма ценное гражданское начинание. Развитие выдающихся юных музыкантов является важным вкладом в комьюнити. Это столь же важно, как заинтересовать молодежь серьезными и полезными вещами. Услышать выступление оркестра Меренблома — это огромное музыкальное познание и наслаждение».

В течение ряда лет Петр Меренблом выступал в качестве дирижера симфонического оркестра Санта Моника и благодаря своим выдающимся способностям, огромному энтузиазму и личному обаянию снискал любовь как музыкантов, так и публики, посещавшей его концерты.

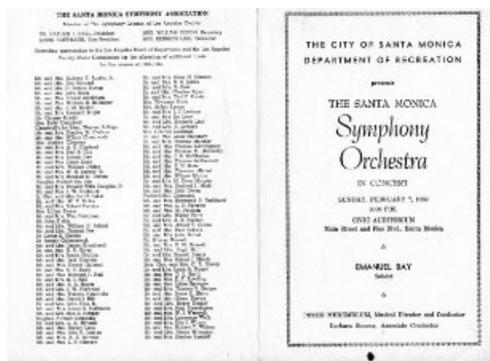
Кроме Молодежного оркестра П. Меренблом организовал также Пионерский оркестр, в котором играли дети в возрасте от 10 до 14 лет. Пионерский оркестр, насчитывающий до 90 участников, был питательной средой, готовившей музыкантов для Молодежного оркестра.

П. Меренблом и его оркестр участвовали в съемках художественных фильмов: «Им нужна музыка» (1939 г., с участием Яши Хейфеца), «Песня о России» (1944 г., с участием актера Михаила Чехова), «Мехикана» (1945 г.). Для киносъемок Петра Меренблома и его оркестр приглашали такие кинофирмы как XX Century Fox, Paramount, Warner Brothers, United Artists.



Оркестр, которым П. Меренблом руководил более 30 лет, и поныне носит его имя (Peter Meremblum California Junior Symphony Orchestra). В архиве семьи Меренбловых сохранились фотографии Петра, несколько его писем, программы, афиши и буклеты выступлений П. Меренблома и его оркестра.

Афиша одного из концертов Петра Меренблома после приезда в США (середина 1920-х гг.)



Программы концертов Santa Monica Symphony Orchestra под управлением Петра Меренблума

В своем письме от 8 января 1962 года из Санта-Моники, Калифорния, США, Петр пишет сестре Валерии: «...Мне очень хотелось бы познакомиться с твоим учеником Игорем Ойстрахом. Узнай у него, когда он приедет сюда и где остановится. Дай ему на всякий случай мой телефон — OL 14223».

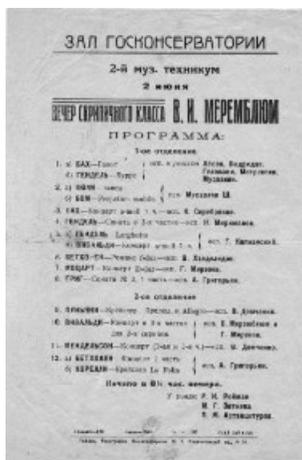
В интервью Артуру Штильману в журнале «Семь искусств» [4] в связи со своим 80-летием И.Д. Ойстрах так описывает встречу с П. Меренбломом: «...В 1962 году в Лос-Анджелесе, где я давал концерт, в артистическую вошел незнакомый мне человек и, представившись, сказал: «Браво! Вы чудесно играли. Мы с Яшей [Хейфецом] сидим рядом и ему все очень понравилось!». Это был Петр Иванович Меренблом, известный скрипач и дирижер, родной брат моего педагога по ЦМШ Валерии Ивановны Меренблом!..»

*

Здесь нельзя не рассказать о музыкальной судьбе родной сестры Петра — Валерии Меренблом (1899 — 1969) и ее учеников. Получив начальное музыкальное образование в семье, Валерия Ивановна окончила 2-й Тифлисский музтехникум, где в дальнейшем вела собственный скрипичный класс.



Фотография преподавателей 2-го Тифлисского музтехникума, В.И. Меренблом в центре (середина 1920-х гг.)



*Программа концерта учеников скрипичного класса
В.И. Меренблом в Тифлисе, 2 июня 1929 г.*

В начале 1930-х гг. В.И. Меренблом переезжает в Москву и становится руководителем скрипичного класса в Центральной музыкальной школе при Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского.

Москва, 6 ноября 1937 года... На концерте в Большом театре, посвященном XX-летию Октябрьской революции, с успехом выступили два маленьких скрипача — Рая Бесидская (9 лет) и Боря Фридмо (10 лет), исполнивших двойной концерт Вивальди. Оба они — ученики скрипичного класса Валерии Ивановны Меренблом-Элькинд. (В архиве Валерии Ивановны сохранился артистический пропуск № 1289 в Большой театр, выданный на этот концерт на ее имя).



*Фотография В.И. Меренблом с учениками (слева – направо):
С. Венгрин, В. Бронин, Р. Бесидская, Б. Фридмо,
Л. Гозман, Р. Попандопуло, середина 1930-х гг.*

Генеральной репетицией этого выступления было участие Р. Бесидской и Б. Фридмо в концерте в Большом зале Консерватории 21 апреля 1937 года, организованном Всесоюзным Комитетом по делам искусств. Этот концерт нашел отраже-

ние в музыкальной прессе. Так, в статье профессора А.Б. Гольденвейзера «Юные музыканты» в журнале «Советская музыка» [5] отмечается высокое профессиональное мастерство выступавших, приводится фотография юных скрипачей на сцене Большого зала Консерватории.

За многие годы работы в ЦМШ Валерия Ивановна воспитала плеяду высококлассных скрипачей мировой известности, ставших впоследствии концертирующими скрипачами — солистами (И. Ойстрах, А. Корсаков, В. Легошин), артистами столичных симфонических оркестров (С. Венбрин, И. Котова, М. Кушнирская, Р. Попандопуло, С. Рахлина), организаторами, руководителями и участниками струнных ансамблей (А. Корсаков, М. Кушнирская, Л. Гозман, Э. Бодер), музыкантами-педагогами (А. Григорян, В. Бронин, И. Ойстрах, Ю. Брейтбург, В. Легошин), дирижерами (Л. Гозман, К. Кольчинская).



Асатур Григорян (1930 г.)

Одними из первых по времени учеников Валерии Ивановны в ее скрипичном классе во 2-м Тифлисском музтехникуме были Асатур Григорян и Борис Меренблом (родной брат Валерии Ивановны). О дальнейшей судьбе Б. Меренблума, а также Александра сведений не сохранилось. Известно лишь, что Александр Меренблом окончил Петербургскую Консерваторию по классу скрипки с золотой медалью [6]. А.Г. Григорян окончил Московскую консерваторию, стал профессором, заведующим кафедрой струнного ансамбля.

Игорь Давидович Ойстрах (р. 1931) — лауреат Международных конкурсов скрипачей в Будапеште (1949 г., первая премия) и имени Г. Венявского в Познани (1952 г., первая премия), народный артист СССР. Он концертировал во многих странах мира, играл с выдающимися музыкантами современности. Являлся профессором Московской Консерватории (1958-1975 гг.), с 1990-х гг. — профессор Брюссельской Консерватории. Среди его учеников — Захар Брон.



Гарик Ойстрах (1953 г.)

Андрей Борисович Корсаков (1946-1991) — лауреат Международных конкурсов скрипачей им. Паганини (1965 г., третья премия), им. Чайковского (1970 г., четвертая премия), Народный артист России. Преподавал в Московской Консерватории, а также в Академии музыкального искусства во Франции. Награжден медалью Брюссельского фонда им. Изаи. А.Б. Корсаков был основателем и первым руководителем ансамбля солистов «КОНЦЕРТИНО» Московской филармонии. В 1991 г. возглавлял Государственный камерный оркестр России.

А.Б. Корсаков, безвременно ушедший из жизни, выступал с крупнейшими оркестрами и выдающимися дирижерами современности. По заказу Берлинского радио осуществил запись скрипичных сочинений И.С. Баха.

Вот выдержки из зарубежных газет с оценкой исполнительского мастерства Андрея Борисовича: «по технике исполнения Корсакова можно сравнить с Хейфецем: он может все, но еще более поразительно, что это сочетается с удивительным хладнокровием и отсутствием всякой позы ...» («Телеграф», Голландия); «Андрей Корсаков предложил свое прочтение концерта Чайковского, которое захватило от первой до последней ноты!» («Газетт», Канада); «Андрей Корсаков превратил свой венский дебют в настоящий праздник» («Курьер», Австрия); «Андрей Корсаков — настоящий музыкант: совершенная уверенность, прекрасный стиль, поразительная глубина чувств!» («Дерньер Эр», Бельгия).



Андрей Корсаков



Марта Кушницкая (1952 г.)

Одна из талантливейших учениц В.И. Меренблом Марта Кушницкая с отличием закончила Ленинградскую Консерваторию (1958 г.) и аспирантуру (1962 г.), став единственной студенткой курса, получившей «сталинскую стипендию».

На протяжении всей учебы Марта выступала в концертных залах Ленинграда, как с сольными концертами, так и в составе ансамблей. В 1963 году М. Кушницкая была зачислена в состав оркестра Большого театра СССР. Более 30 лет Марта была одной из ведущих скрипачек оркестра, исполнительницей сольных партий при таких дирижерах, как Е. Светланов, Б. Хайкин, Г. Рождественский, А. Мелик-Пашаев. В этот же период она получает приглашение на работу в Ансамбль скрипачей Большого театра под руководством Народного артиста РСФСР Юрия Реентовича. С 1995 года М. Кушницкая — доцент классической

Академии музыки им. Маймонида, с 1998 года — основательница и художественный руководитель молодежного Ансамбля скрипачек «МЕЛОДИЯ».

Воспитанник класса В.И. Меренблом замечательный музыкант, дирижер Лазарь Гозман (р.1926 г.) после окончания в 1949 г. Московской консерватории работал концертмейстером в Ленинградском филармоническом оркестре, Ленинградской консерватории.

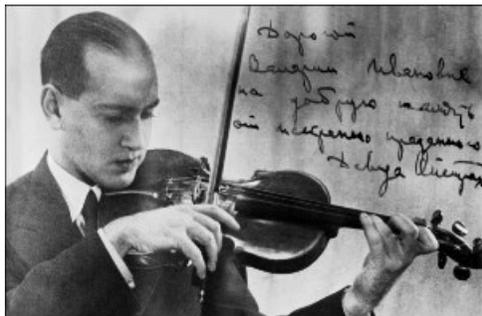


Лазарь Гозман

В начале 1970-х гг. он стал организатором и одним из первых художественных руководителей Ленинградского камерного оркестра. Под руководством Л. Гозмана оркестром были исполнены более 200 произведений камерной музыки, записаны компакт-диски музыки немецких композиторов эпохи барокко, симфонии Гайдна и другие произведения. С оркестром выступали такие выдающиеся солисты, как Э. Гилельс, Г. Кремер. В составе этого оркестра играл и другой ученик Валерии Ивановны Эммануил Бодер. По отзывам прессы записи Ленинградского камерного оркестра под руководством Лазаря Гозмана «отличаются уникальным проникновением в образный строй и стилистику музыки, безукоризненным мастерством».

Эммануил Бодер (1928-2009) после окончания консерватории в течение более 20 лет играл в Ленинградском филармоническом оркестре, принимал участие в Ленинградском камерном оркестре Л. Гозмана. После переезда в США работал в Бостонском симфоническом оркестре, был концертмейстером Нью-Йоркского симфонического ансамбля.

Ученик В.И. Меренблом Володарь Петрович Бронин (1927-1973) занимался преподавательской деятельностью в Московской консерватории, был ассистентом в классе Д.Ф. Ойстраха, имел своих учеников.



Фотография Д.Ф. Ойстраха с дарственной надписью В.И. Меренблом

В обращении к оркестру незадолго до кончины Петр Меренблом, напутствуя своих учеников-оркестрантов, рассказал им о своей жизни и музыкальной деятельности в России и Америке ([7], Приложение).

Жизнь и творческая деятельность Петра Меренблома являются яркой страницей в истории русской музыкальной эмиграции первой половины XX века. Вдова Петра Зинаида Меренблом в одном из писем к Валерии Ивановне писала: «Он посвятил свою жизнь друзьям, музыке, культуре и образованию».

Несмотря на то что брат и сестра Меренблумы жили и работали в разных странах, их объединяла общая творческая цель — воспитание высококлассных профессиональных музыкантов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст прощального обращения Петра Меренблома к своему оркестру *перевод с английского*

Мой Оркестр, теперь, когда я, направляясь к неизвестным берегам вечности, покидаю вас, я хотел бы оставить каждому моему музыканту несколько слов. Я радовался быть с вами (или с вашими отцами и матерями, если они пришли в Оркестр до вас) и обучать вас самой лучшей музыке, которую только можно познать каждому из нас и особенно вам.

Как вы знаете, у меня не было собственных детей, но всю мою жизнь я любил вас, потому что я вырос в семье, в которой было девять детей, папа, мама, несколько двоюродных братьев и сестер, дядей и теток и других родственников.

Я считаю себя очень счастливым от того, что я получил первоклассное музыкальное образование сначала в Тифлисе, в городе, который в России считался столицей Кавказа, и потом закончил блестящую Санкт-Петербургскую консерваторию. Мне посчастливилось тесно общаться с самыми выдающимися музыкантами того времени: моим первым преподавателем был Леопольд Ауэр, директором консерватории был Александр Глазунов, а преподавателем композиции и контрапункта — Римский-Корсаков. В штате консерватории были знаменитые пианисты, и мы, студенты, играли вместе с Прокофьевым, Черепниным и со многими другими выдающимися исполнителями. В то время Россия была на вершине развития искусства, музыки, театра, балета и оперы.

Среди моих друзей были многие артисты московского Большого театра и Художественного театра, которым руководили Станиславский и Немирович-Данченко. Поэты, балерины, актеры и музыканты были моим кругом общения. После окончания консерватории я был приглашен работать концертмейстером Рижского симфонического оркестра, позже играл в симфонических оркестрах Ялты и Ростова-на-Дону. Мне повезло играть с первоклассными дирижерами и, иногда, более, чем с первоклассными. Среди них были Никищ, Сафонов и Кусевичский, а в Соединенных Штатах я играл в оркестре, которым руководил Стоковский. Я организовал мой собственный прекрасный Петроградский струнный квартет, который был потрясающе известным в России и в котором начинал Иосиф Ройзман. Позже я играл первую скрипку в Будапештском квартете. В разгар революции я помогал

Натану Мильштейну в его первом концерте в России. Сверх того на концертной сцене у меня были сольные выступления и участие в трио. Я сыграл в историческом порядке цикл всех скрипичных сонат.

Я рассказываю вам все это не из хвастовства, а чтобы показать, какую на мою долю выпало огромное богатство музыкального образования, культуры и замечательного знакомства с выдающимися людьми XX века.

Я люблю мою родину — Россию и все еще восхищаюсь ее искусством и культурой. Но мне не нравился ее всеобъемлющий жестокий Красный коммунистический режим. Поэтому я считаю, что никогда не покидал мою Старую Родину, я просто удрал от нетерпимой так называемой «диктатуры пролетариата». Когда после двух лет пребывания в Европе мне посчастливилось приехать в Соединенные Штаты, я привез мою скрипку, два носовых платка, 10 долларов в кармане и чудовищно примитивное знание английского языка и деловой жизни в Америке. Я направился прямо в Нью-Йоркский Союз музыкантов и через два дня получил работу помощника концертмейстера Вагнеровской Оперы».

В Нью-Йорке ко мне стали приходиться многие молодые американцы, (которые услышали обо мне от их интересующихся музыкой родителей или родственников), чтобы брать уроки и узнать что-нибудь о знаменитой скрипичной школе Леопольда Ауэра. Я был потрясен, поняв как много было среди них потенциальных талантов с очень бедным пониманием музыки, несовершенной пальцевой и смычковой техникой, бедным репертуаром и очень плохим музыкальным вкусом. Прямо тогда и там я дал клятву отблагодарить мою новую Родину, которая дала мне убежище и нормальную человеческую жизнь, хотя я не мог согласиться с ее многими очевидными недостатками. Я захотел дать каждому американскому мальчику и девочке, которые интересуются музыкой, максимум того, что я мог и что хранил в глубине своего существа.

Помните ли вы историю о старом миллионере Джоне Д. Рокфеллере, который любил носить в кармане несколько центов, чтобы облегчить тяжелую жизнь окружающих его бедных парней. Мое богатство и моя судьба — это музыка, мои знания, опыт и эрудиция, которые я мог передать каждому, кто в них нуждался. Некоторые просили денег, но у меня их не было. Для меня достаточно прожить всю долгую жизнь с моей женой и соратником, которая постоянно помогала мне и вдохновляла меня.

Я бы пожелал вам относиться к ней с полным почетом и уважением. Она никогда ни в чем не оставляла меня, хотя много раз со мной не соглашалась. Она скромная, интеллигентная и очень доброжелательная. Она разделяет мои убеждения, идеалы и вкусы и я всегда просил ее быть продолжателем дел с моим Оркестром так, как это было все эти 30 лет. Я всегда гордился моим Оркестром и теми сотнями девочек и мальчиков, которые играли в нем до и после того, как становились его исполнителями. У меня никогда не было больших доходов, славы и успехов. Мой Оркестр был нужен мне не для того. Он был моей душой, моей любовью, идеалом, и вспомните клятву, которую я дал сразу же после того, как прибыл сюда. Мое здоровье было единственной причиной отхода от дел. Я с большими колебаниями оставил Симфонический оркестр Санта-Моники, где, как вы знаете, играет более двадцати пяти моих прежних и настоящих учеников.

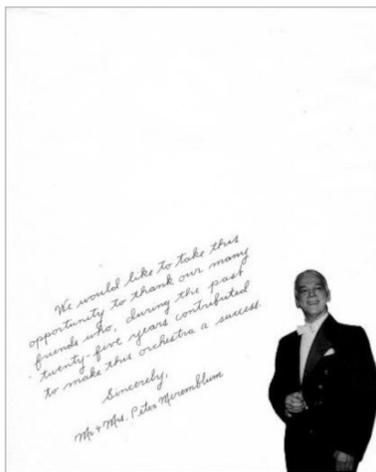
Я также оставил Симфонический оркестр докторов, несмотря на их просьбы поработать с ними еще один год. Но мой собственный Оркестр, который, как вы знаете, я действительно создал моими собственными руками, без какой-нибудь по-

мощи извне, финансируя его в первые два с половиной года из собственного кармана, я не мог оставить до самых последних трудных дней.

Зина обещала приложить все усилия и продолжать работу, как будто я все еще с вами. И возможно, так оно и будет. Никакие великие философы, мудрецы и мыслители не открыли еще тайны жизни и смерти. И я знаю, это — не только «химия»...

Я желаю всем и каждому из вас самых больших успехов в музыке и большого личного счастья. И попытайтесь быть как можно лучшими мальчиками и девочками. Я посылаю вам мои благословения и любовь. Да пребудете вы в мире.

Ваш музыкальный Отец, учитель и дирижер Петр Меренблом.



Литература

1. Очерк пятидесятилетия деятельности С.-Петербургской Консерватории, составители профессора А.И.Пузыревский и Л.А. Саккетти, Петроград, Русско-Французская типография, 1914, с. 191.
2. Отчет С.-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества и консерватории за 1909 — 1910 г., С.-Петербургская типография С.Л.Кинда, 1912, с. 170.
3. California Junior Symphony Association, Statistics and Achievements of the Peter Meremblum Junior Symphony Orchestra of California, 1937 — 1953.
4. Артур Шпильман. Игорь Ойстрах рассказывает. Моменты жизни в фотографиях, журнал «Семь искусств» №7 (20), 2011, с.57 — 79.
5. А. Б. Гольденвейзер «Юные музыканты», журнал «Советская музыка», № 10-11, 1937 с. 18-21.
6. Журнал «Солнце России», №118-19, 1912, с. 16.
7. Прощальное обращение Петра Меренблома к своему оркестру (на английском языке).



Галина Подольская

ЗЕМЛЯ ОБЕЩАННАЯ И ОБРЕТЕННАЯ

Репатриация без иммунитета

В «Песни моря», спетой евреям на Обетованном берегу, сказано: «И дыханьем гнева твоего взгромозились воды, и встали они, как стена жидкости, и застыли бездны в сердце моря!».

Что это? Гипербола? Нет! Так Всевышний вмешивается в нашу жизнь, творя чудесное. Всю ночь сильный восточный ветер передвигал воду. Вот и образовалась посреди моря суша, а волны разбились надвое. Таково Чудо — событие, происходящее именно тогда, когда это нужно.

Ощущение такого Чуда и запечатлел Виктор Бриндач на полотне «Выход из Египта». Подобно голливудскому спецэффекту, вспенилась в одночасье бескрайняя стихия и застыла гигантскими водяными стенами, меж которых Моисей вывел свою многочисленную семью из Египта. Художник представил выходящих не мучениками, изможденными бременем пути, а людьми с просветленными лицами, воодушевленными ниспосланным Чудом, в белых праздничных облачениях — под стать белопенным гребням расступившихся волн.

Однако такое художественное ощущение иудаизма пришло к Бриндачу совсем не сразу. Нужно было обустроиться и прорасти творчески в новом пространстве, почувствовав, что ты сам *лично* вышел из Египта...

«Я всегда был настолько погружен в сюжеты и образы того, что я делаю, что никогда не оставалось времени для того, чтобы взять и погрузиться в иудаизм, — вспоминает Виктор Бриндач. — Если евреи и появлялись в моих работах, то они всегда носили “оперный” характер — как образы художественного произведения. Я не думал о евреях в жизни — как они живут здесь, в нынешнем еврейском».

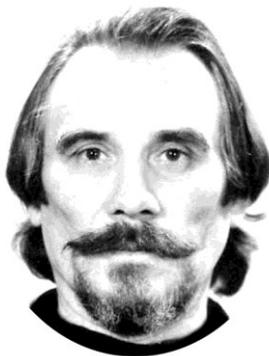
Произошло то, что обычно и происходит с художниками такого склада, как Виктор, у которых объекты художественного творчества нередко вытесняют из сознания бытовые реалии. Еврей, но ассимилированный в СССР, воспитанный на русской культуре, он не мог понять, как ему работать в Израиле. А работа для него — жизнь. Он сознательно исключает русские темы, но оказывается, что это всё равно как уйти от самого себя... Художественный иудаизм и плавильный тигель репатриации — совсем не одно и то же.

Работы, передающие отношение Бриндача к репатриации, тематически противоречивы. Приобщение к реальной стране Сиона началось с печали, замешанной на недооценке проблем еврейского государства, растерянности перед новым, не всегда понимаемым им миром. В них — смятение человека, не имеющего пока «иммунитета» к израильской действительности.

Этот гордиев узел собственных противоречий — прежде всего в работе Бриндача «Репатриация». «В ней на фоне тель-авивских небоскребов стоит огромная, ровень с ними, лукавая еврейская Маргарита с метлой, предназначенной то

ли для подметания квартир и улиц, а то ли для куда более чудесных вещей. А в небе, над головами не желающих ничего замечать тельавивцев, летят и летят, держа в руках чемоданы, “русские” евреи — вечные перелетные птицы, вернувшиеся наконец на родину.

Еще одной картиной того периода стали “Впечатления на углу улиц Нахалат-Биньямина и Рамбам” — удивительно праздничное смешение красок. В тесные рамки холста художнику, кажется, удалось вместиť не только этот хорошо знакомый каждому жителю Тель-Авива перекресток, но и весь Израиль — уличных музыкантов, торговцев, религиозного солдата, спешащего куда-то со своей девушкой, “русских”... А в центре этой композиции находится старый раввин, неспешно, не обращая внимания на окружающую суету, о чем-то беседующий с внуком. И вновь невольно возникает литературная реминисценция с финальной сценой бабелевского “Заката”, в которой, презрев скрывающее семейную трагедию фальшивое благополучие, Арье-Лейб продолжает с мальчиком урок Торы: “На ложе моем искала и не нашла... Что искала, спрашивает нас Раши? И Раши учит нас: Израиль ищет Тору...”» [1].



В. Бриндач. Израиль. 1993 г.

Более точно выразить впечатления от картин Бриндача, как сделал это журналист Петр Люкимсон, — трудно.

Начатая тема конкретизируется художником в работах — аллюзиях на политические события. «На приход к власти Ариэля Шарона Бриндач, никогда не скрывавший своих правых политических взглядов, неожиданно ответил картиной “Разрушение Ямита Шароном”. Нет, самого Ариэля Шарона на картине нет, но есть сцепившиеся в схватке с поселенцами полицейские, избиваемый ими еврейский интеллигент в очках, юноша, судорожно сжимающий израильский флаг, засевшие на крышах студенты. И над всем — летящая в воздухе клетка с жителями Ямита, которых именно таким образом в свое время эвакуировали из этого цветущего города в Синайской пустыне. Многие тогда недоумевали, почему Бриндач с таким недоверием отнесся к победе Шарона, почему он вдруг решил припомнить ему разрушение Ямита. И лишь в 2005 году стало ясно, что эта картина оказалась поистине пророческой» [2].

Полотна «Амалеки» и «Леваки» воссоздают политический сюр современной истории. Толпы народа. Жесткость, агрессивность, беспощадность друг к

другу. Ситуация, обнажающая трагедию мировоззренческой беспомощности — на грани неприятия евреев евреями...

Виктор вспоминает: «Когда я жил в России, привык понимать, что делаю, потому что видел своего зрителя в лицо. Вот, например, когда работал в Новороссийском театре помощником художника — вообще знал точно... Приходит человек на спектакль, на “Оптимистическую трагедию”, скажем, — всё рассматривает. Наблюдаешь за ним и видишь, что ему интересно. Всегда хотел делать для тех, кто меня поддерживает. Когда работаешь, это очень помогает».

А здесь? Жизнь не всегда ответ. Чаще — вопрос. Можно ли принять такой новый мир? Нужно ли раствориться в нем? Кто в этом мире зритель? Этот ли зритель твой? Нужен ли ты ему такой, какой ты есть? К счастью, период «изобразительной беллетристики» в жизни Виктора Бриндача оказался временным. Сказалось созидательное начало в натуре художника, жаждущего здорового познания нового бытия.

Место, побеждающее недуг

В первой трети XX века Николай Рерих говорил: «Труд работника Культуры подобен работе врача». В широком понимании это утверждение справедливо и поныне, особенно когда речь идет о лечении *души* — положительными эмоциями.

...В Иерусалиме сложилась давняя традиция, следуя которой ведущие художники современности поддерживают своим талантом открытие новых медицинских учреждений, выражая тем самым собственное отношение к сохранению мира здоровья и возвращению его миру людей. Бесценен дар Марка Шагала медицинскому центру «Хадасса» (1962 г.). Двенадцать арочных витражей «Двенадцать колен Израилевых» для больничной синагоги — это художническое размышление о рассеянии и единении еврейского народа и одновременно вклад Мастера в процесс усиления общественной роли изобразительного искусства в период утверждения молодого государства Израиль. В 1980 году по эскизам Мордехая Ардона были изготовлены десять шпалер на тему «Сотворение» (каббалистическое толкование истории создания алфавита) и переданы для нового больничного корпуса медицинского центра «Шаарей Цедек».

В 2014 году Виктор Бриндач после участие в выставке израильских художников в Иерусалимском центре психического здоровья «Эйтаним — Кфар-Шауль», приуроченной к открытию нового больничного корпуса, передал в дар клинике свою картину «Иерусалимский синдром».

Всегда тяготивший к этико-эстетическому синтезу в искусстве, Бриндач создает эпическое полотно, в котором «Кфар-Шауль» становится объектом единого образного ряда и из категории *историко-географической* переходит в категорию *эстетическую*. Работа поражает оптимизмом и красотой. Вид на архитектурный ансамбль лечебницы дан в неожиданном для Виктора ракурсе — сверху: мир в обители выздоровления охраняем Всевышним. Художник любит каждую деталью ориентального стиля стросней бывшей арабской деревни Дир-Ясин. Иерусалимский камень, арочные окна, решетки с причудливым орнаментом, экзотические растения с буйным фиолетовым цветом — всё это на полотне Бриндача неожиданно соединяется в образ места, дарующего человеку душевное равновесие и помогающего вернуться к себе обновленному.

«Иерусалимский синдром» изобразительно воспринимается как момент Чуда в прекрасном величественном сказании: миротворно струится небесный свет над «Кфар-Шаулем», как местом, побеждающим недуг. Это и есть эстетическое оздоровление мира, в котором художник и впрямь что врач. Важна убежденность в созидании мира и мира в себе.

Время «Амалеков» и «Леваков» кануло в Лету, уступив место Храму в душе, который в действительности был заложен в художнике как генетический код. И к нему отныне устремились пути творчества.

Генетический код жизни

Обращаясь к генеалогии Виктора Бриндача, можно отчасти проследить географию еврейского местечка, узнать, как жила восточноевропейская диаспора задолго до образования государства Израиль.

Виктор родился в 1941 году в Харькове. Но еще до Харькова в истории семьи были другие города и другие времена, на протяжении которых предки Бриндача свято соблюдали уклад и традиции вероисповедания иудеев.

Мама — Софья Григорьевна и ее сестра — Феня Григорьевна Уманские, бабушка по материнской линии — Вера Моисеевна Уманская — все они были из семьи ультрарелигиозных евреев. Примечательно, что в самой их фамилии запечатлелась принадлежность к месту рождения — город Умань.

Дед по матери, муж бабушки Веры, — Григорий Давидович Могилевский — родом из Любавичей Могилевской губернии — места более чем известного евреям всего мира: здесь родился Йосеф Ицхок Шнеерсон — шестой Любавический реббе.

До замужества мама вместе с сестрой и бабушкой Верой жили неподалеку от Одессы, в городке Малая Виска, где семье принадлежало два двухэтажных дома, реквизированных впоследствии советской властью. Так Уманские оказались в Харькове.

Отец Виктора — Франтишек Йозефович Бриндач, из чешских евреев, родился в барочном Кладно, неподалеку от Праги. Жизнь забросила его в Харьков. И вот здесь, на Украине, Софья и Франтишек познакомились, вступили в брак, родили сына — 10 мая, словно в честь Победы, как будут говорить потом. Но тогда... Через месяц с небольшим после рождения Виктора-победителя (дословный перевод с латыни) началась Великая Отечественная война.

Расширившая «географию» сотен тысяч евреев, война изменила и место проживания и выживания молодых Бриндачей, сменивших Харьков на Уфу. Семья ассимилировалась, подобно другим эвакуированным еврейским семьям, вычеркнувшим из жизни своих детей традиционное воспитание. Так случилось и с мальчиком по имени Витя.

Но главным тогда было то, что после Победы они получили шанс — жить...

Судьба семьи

Вторая мировая безжалостно раскидала людей по свету, многие не по своей воле оказались в разных уголках земли. Едва оправившись от разрухи, люди мечтали найти своих близких. В 1957 году границы между Россией и странами социалистического лагеря открылись для воссоединения семей. Отыскались четыре стар-

шие сестры отца — в Барнауле, Макеевке (рядом с Донецком), Черняховке (Уфимская область), а самая старшая — в Кладно.



Слева-направо: Г.Могилевский, Софья Григорьевна, Вера Моисеевна и Феодосия Григорьевна Уманские



Довоенное фото молодых супругов Бриндачей

К тому времени Бриндачи снова жили в Харькове. После возвращения из заключения Франгишека семья еще несколько лет оставалась в Уфе, а затем с сыном-старшеклассником вернулась на родину.

Старшая сестра отца предложила соединиться всем в Чехословакии и расширить начатое ею еще до войны гонимое дело и производство очень модной в тогдашней Европе керамики. Сестры из СССР тут же переселились в Кладно, где

поддержали семейное ремесло. Уехал повидаться с ними и отец. Встретились четыре сестры и брат — оправданный по закону, но более десяти лет считавшийся врагом народа. Казалось бы, он и должен был первым покинуть страну, безвинно наказавшую его. Но не озлобился Франтишек, вернулся в Харьков таким, каким его помнили и ждали — жена, сын, завод, небо над головой, жизнь впереди. А то, что пришлось пережить... Об этом он никогда не вспоминал. Да и можно ли было винить мир вокруг, если после такого всемирного горя все родные остались живы!

И тем не менее встреча с воссоединившейся в Чехии семьей запала в сердце. Начинается интенсивная переписка с сестрами. Родственники настойчиво зовут отца к себе...

В 1958 году Виктор заканчивает в Харькове десятый класс. Впереди армия. Самостоятельный — что за родительские помочи держаться? Да и на кой ляд сдалась эта Чехословакия? К Харькову и то толком не успел привыкнуть. Все друзья в Уфе, а больше других — кореш Алек. И жить есть где — у тети Зины, маминной подруги. Каждый год только и ждал лета, чтобы поскорее встретиться с одноклассниками или отправиться на пейзажи по Уралу с московскими ребятами-художниками.

Итак, в 1958 году родители Виктора, оставив Харьков, переезжают в Кладно. Отец, как и в России, сразу устраивается на завод, к горячим печам. На этом же заводе работает и мама.

А Виктор отправляется в Уфу, где ожидает призыва в армию.

«Хорошая девочка Лида»



Лида и Виктор Бриндачи. 1965 г.

...Во многих уфимских семьях кто-либо из родственников, как и Бриндач-старший, тоже не один год был «на ответственном задании». Сын репрессированного отца, Виктор в школьные годы «удостоился чести» быть только октябренок, но не был юным пионером, соответственно не был и комсомольцем, не мог бывать

в столице. Была проблема с проживанием в определенных городах, поступление в высшие учебные заведения и прочее, прочее...

Собранным в военкомате призывникам из числа «несоюзной молодежи» объявили, что служить в рядах Советской Армии достойны только комсомольцы. Но поскольку высшее руководство уверено, что достойны все, поэтому всех их и примут в члены ВЛКСМ. Чудо из чудес — по тем-то временам! По крайней мере так это восприняло большинство, в том числе и Виктор. Не означало ли это, что прошлое отступило, что многие формальные преграды на твоём жизненном пути теперь исчезли сами собой? Так или иначе, но всех одним махом зачислили в комсомольцы.

В оставшееся до отправки в армию время гуляли и веселились напропалую, совершая не самые разумные с практической точки зрения поступки. Короче, некоторые из новоиспеченных комсомольцев расписались не только в получении членских удостоверений, но и в другом смысле — в районном загсе. Благо, в те времена месяца на размышление для создания семьи не требовалось.

«Расписался» и Виктор. Женой его стала девушка с золотыми волосами, стянутыми в косы, будто в жгуты, в синем ситцевом платье с мелькающими по подолу полевыми цветами — образ, словно слетевший из стихотворения Ярослава Смелякова... Реальная девушка Лида была родом из Волжска, работала в Уфе по распределению.

Так началась самостоятельная жизнь Виктора Бриндача. Родители в Чехии, сам в армии, молодая жена прямым поездом Уфа–Куйбышев приезжает на свидания к мужу-срочнику. А потом уже и он сам — этим же поездом — в отпуск к своей Лиде в Уфу. В 1962 году родилась дочка Викторгия, которую жена назвала в честь Виктора. Ближе к родам молодые перебрались в Волжск, к родителям Лиды — с малышкой на руках там было надежнее.

Но Виктор понимал, что добиться чего-либо в искусстве можно только работая в Москве. Теперь все ограничения на место проживания были сняты, и он мог ехать в столицу.

Союз огня и глины

Примечательно, что всё, чем бы ни заниматься Виктор, он начинал изучать с практики. Прибыв в Москву, будущий художник сразу же устраивается в мастерские Росмонументгискусства (располагавшиеся в то время на Рязанском проспекте), где на деле приобретает навыки декоратора-прикладника, в частности, осваивает мозаику, получает опыт работы по реставрации храмов.

С 1964 года и до событий Пражской весны в 1969 году Виктор ежегодно на длительные периоды ездит к родителям и родственникам в Чехословакию, пытается освоить в их гончарной мастерской основы семейного ремесла.

«Керамика — творение рук и сердца. Теории приходят после, когда работа сделана. Они приходят от работы, но ее источник не в них... — писал Марк Шагал в статье «О керамике» (1952 г.). — Искусство керамики не более чем союз огня и глины. Если ваше подношение хорошо, огонь даст вам что-то взамен, если оно плохо, всё обратится в прах, и ничего уже не поделаешь. Проверка огнем беспощадна».

Наверное, нечто похожее испытал тогда и молодой художник, ощущая в руках новый для себя материал — материал семейного дела. Начав с росписи посуды

на темы чешского фольклора, Виктор очень быстро увлекся востребованной в то время керамической скульптурой, и именно керамика становится для Бриндача толчком к последующему постижению самых разнообразных форм пластики.



"Профессор Ярослав Слипка"

Работа в мастерских Росмонументискусства, общение с московскими монументалистами и скульпторами дали практические навыки, позволившие выполнять заказы в Чехословакии (Кладно, Пльзень, Градец-Кралове, Прага...). Среди «чешских» работ этого периода наиболее значительны скульптурные портреты врачей — Ярослава Слипки и Власты Калаловой.

...Кстати, в семье Калаловых прочно царил культ Толстого. Все хорошо знали русский язык и были не только почитателями творчества выдающегося писателя, но и сторонниками его образа жизни — придерживались вегетарианства. Связано это было с тем, что представитель старшего поколения семьи — Карл Калалов дружил в свое время с Душаном Петровичем Маковецким, личным врачом, секретарем и доверенным лицом Льва Толстого.

Пребывание в Чехии наглядно расширило культурный кругозор Виктора Бриндача, предоставляя самые разнообразные точки соприкосновения с миром искусства. Во время многочисленных поездок по стране он как губка впитывал всё новое для себя, впервые ходил по улицам, густо насыщенным архитектурой, которая поражала то стрельчатой легкостью готики, то витиеватым барокко, а каждый переулочек хранил свою историю и свою тайну.

Бриндач посещает еврейские кварталы, знакомится с бытом иудеев, мысленно изображая их на полотне. Изображает не как ветхозаветных героев, а так, словно они — по эстетическому ощущению мира — из Северного Ренессанса. Но это пока всё в мечтах, к воплощению которых его приближают приобретаемые навыки и знания, страстность в ощущении предмета искусства и попытки понять его через соответствия в природе, вера в себя, бесстрашие в эксперименте, неутомимость в труде.

Предвосхищение темы

История искусства знает немало примеров того, насколько важно было для больших художников — при позиционировании себя в творчестве — ощущение крови, текущей в собственных жилах. Вот и в художественном сознании Виктора Бриндача настает поворотный момент, когда он открывает для себя, что объектом воплощения для сюжетного художника — наряду с античностью и библейскими мотивами, к воссозданию которых был устремлен дух больших мастеров, — может стать и история европейского еврейства.

Так в Чехии к художнику неожиданно приходит тема, генетически восходящая к его родословной. Она родилась как художественный образ в ауре европейской культуры, в атмосфере готики и барокко. Еврейская по зову крови, но без тоски по сметенному с лица земли штетлу, на месте которого вырос, к примеру, современный Витебск... Еврейская по духу, но выросшая не из знакомых с детства обрядов и обычаев, не из штудий Танаха... Грады, замки и дворцы Чехии, галереи и художественные музеи с редкостными коллекциями западноевропейского искусства — это то, что влекло к ренессансной высоте, чистоте и непорочности образов, стилистике старых мастеров, но в изображении жизни и быта евреев XVII — первой трети XX века.



Чехия. Кладно. Набросок фломастером

Однако эмпирический порыв к изображению иудаизма пришлось на время заглушить — он приоткрылся в сердце, пока кисти не доставало мастерства... Да и практическое воплощение *темы* априори был невозможно для художника, проживавшего в СССР. Никому и дела не было до восстановления синагог — и когда латали разрушенное войной, и когда строили развитой социализм. О каком штетле могла идти речь среди госзаказов того времени?

Видимо, судьбе и впрямь было угодно отодвинуть эту главную тему в творчестве Бриндача до лучшего будущего. А пока он принимает участие в оформлении филиалов медицинского факультета Карлова (Пражского) университета, старейшего из университетов Центральной Европы и мира (основан в 1348 году). Медицинский фа-

культет — самый молодой в Карловом университете, но все-таки что ни говори конец XIX века. Так начинаются на практике подступы к европейской классике.

О Бриндаче-скульпторе уже писали чешские газеты (а заказы продолжались потом вплоть до 1990-х годов), однако по российским меркам он был по сути самоучкой. Но даже не это было главным. Во время работы в Пражском университете Виктор вдруг понял, что Чехия, нарядная, как рождественская открытка, в тот период была ему словно мала. Почему? Потому, наверное, что он всегда жил с убежденностью, что художник его времени должен быть больше, чем просто художник, а человек в труде больше, чем *просто* человек. Так и он сам, как художник, рожден для утверждения в искусстве тем во имя вечности, в которой — прекрасное будущее страны, где довелось родиться.

В те годы в искусстве СССР было приоритетным воспевание подвига советского народа над фашистской Германией, героического мирного труда, научных достижений, покорения космоса. Виктора тянуло к этим масштабным проектам, которые мыслились ему в монументалистике, сочетающей умение живописца и мышечную силу. Его внутренняя потребность совпадала с установками времени, и он правильно выбрал место, где можно было практически осуществить задуманное. В 1969 году он поступает в Государственный заочный народный университет искусств на факультет изобразительного искусства и продолжает работать в Росмонументальном искусстве.

Считается, что система любого государства не может сама по себе дать творческому человеку ощущения того, что он состоялся. Но если в какой-то момент ты нужен этой системе и твоё профессиональное счастье реально достижимо, благодаря этому совпадению ты можешь достичь чуть больше, чем другие.

Бриндач получил такую возможность в России. Важно и то, что без этой профессиональной ступени творчество его в Израиле не обрело бы той качественной высоты, которую художник достиг в воплощении главной своей темы, связанной с историей европейского еврейства.

То, что в другие времена мешало другим, не мешало ему — просто слились еврейские корни, опыт работы в Чехии, образование и работа в СССР, социалистическая закалка в достижении цели и, конечно же, природная одаренность — та, что от Бога.

«Пльзеньская синагога»

Итак, тема иудаизма — самая яркая в творчестве Бриндача — ждала своего часа и воплотилась в Израиле так, как изначально замысливалась в Праге и Пльзене — в жанровых сценах, воссоздающих быт европейских евреев XVII — первой трети XX века, выполненных в технике старых мастеров.

Одно из первых и самых замечательных полотен художника, открывающих страницы истории чешских евреев, — «Пльзеньская синагога» — словно соткано из впечатлений от конкретного места и картинных кустодиевских зим. Работа, подкупающая живым характером, человечностью, душевным теплом и ощущением... славы — от него не уйти, как от русской зимы, если знал ее не только по картинам...

Саму жанровую сценку, наверное, точнее было бы обозначить как *После посещения синагоги*, поскольку основной аналитико-психологическим прием художника заключается в том, чтобы передать состояние человека не внутри храма, а в тот момент, когда он выходит из него.

Звездочки-снежинки дрожат на меховой шапке религиозного еврея. Он идет очищенный от суеты, просветленный. В нем сияет божественный кипенно-белый свет, что белее пушистого снега на обширной площади перед синагогой. Сама Пльзеньская синагога — величавая, краснокирпичная — на заднем плане. Она возвышается на заснеженном пригорке среди запорошенных деревьев. Фасад здания кажется бело-розовым — от сияющего снега. Вся картина словно излучает положительную энергетику. Этот день и впрямь лучший: лучится солнце, светится небо, сверкает белый с голубым отливом снег. И радуется душа идущего из синагоги. И смеются дети, играющие в снежки, которые похожи на комья сахарной ваты. Так Всевышний охраняет земное счастье.



Хасидский танец

С Чехией связана и работа Бриндача «Бар-мишва», в которой художник с площади перед Пльзеньской синагогой словно *осмеливается* войти в дом собрания и эстетически передать, что это и есть *его* Храм.

Картина поразительно красива в гиперреалистической прописанности каждой детали праздничного убранства синагоги, лиц персонажей полотна. Здесь есть всё то, что связано с реальной жизнью еврейской общины, таинствами иудейской обрядовости в «малом святилище». Молитва в память о разрушенном Храме и другие моления, обращенные евреями к Богу, — всё это живет здесь как в Скинии и не выносятся наружу.

Художник сосредотачивает внимание зрителя на волнении тринадцатилетнего подростка. Бар-мишва — день, знаменующий его религиозное и правовое совершеннолетие. С этого дня он считается взрослым — как *сын заповеди*. В присутствии своего отца и членов общины мальчик торжественно читает главу из Торы... Последние минуты, и раввин произнесет свою проповедь и объявит при всех, что он вырос. И будет гордиться отец тем, что растил сына...

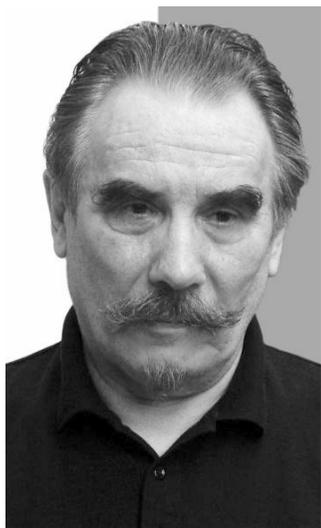
...Вспоминая о своем детстве и об отце, Виктор рассказывал: «Он пришел, а я и не заметил! Потому что, когда он вернулся домой, я спал... Его освободили

по амнистии через десять лет. Я открыл глаза. Мама сказала: “Отец вернулся. Не мешай ему, он лег отдыхать”. Мне было тогда 12 лет... Я ничего не мог с собой поделаться, я только сидел и смотрел, как он спит. Потом он проснулся, глянул на меня, и я чуть не задохнулся от чувств. Он встал. Я смотрел на него... Он был такой высокий и такой красивый, какого не было ни у кого. А потом мы пошли фотографироваться: мама, папа и я. Эта фотография долгое время хранилась в семейном архиве. Но перед репатриацией, по просьбе Александра Фильцера, была передана в Московский музей истории евреев»^[3].

Вот такая была жизнь, от тяжести которой память всегда стремилась освободиться. Этим освобождением стали израильские работы Бриндача, воскрешающие художественное «прадество». С картины «Бар-мишва» льется теплый, спокойный, ясный и трепетный свет — тот, которого так недоставало в послевоенной Уфе. Там был только смастеренный своими руками «домашний театр» — обычный ящик прямоугольной формы со всякими там приспособлениями — этакий Ковчег с заповедями спасительного Искусства, где хранились свитки души — как достояние синагоги его сердца... Ассимилированный еврейский ребенок, он и понятия не имел, что такое синагога и как в ней всё устроено, но смастерил что-то похожее на спасительный Храм, куда отец тайком приходил с «ответственного задания», а мама была воплощенной Верой в то, что задание это непременно закончится...

И только мороз — вопреки ужасающей нищете бытия — расписывал серебром стекла. За окошком валил сверкающий снег. И царственным горностаем лежала зима.

История европейского еврейства: историзм без поучений



Еврейская тема в творчестве Виктора Бриндача — это благословенный союз Истории и Живописи как эпической поэзии. Историческое прошлое, обычаи и традиции еврейского народа — всё это стало исключительно важной темой в жизни «самого еврейского художника Израиля», как его в шутку называют коллеги-живописцы^[4]. Открылась и уникальная грань Бриндача-живописца — умение рассказывать *без поучительно-сти*, доставляя зрителю эстетическое удовольствие.

Трудно себе представить, но после поездки в Чехию впервые о реальном присутствии евреев в истории России Бриндач задумался, как вспоминал впоследствии, только побывав в Саратовском краеведческом музее, когда среди экспонатов увидел изваяние магендoviда — Звезды (щита) Давида — в белом камне. Это были 1970-е годы. А уже в 1980-е он словно заболел еврейской темой — «причем “заболел” в тот самый период, когда к нему наконец пришла долгожданная известность, его персональные выставки стали с успехом проходить в Москве и в Ленинграде, а ведущих журналах

России по искусствоведению стали то и дело появляться комплиментарные статьи, посвященные его творчеству — как живописца, так и скульптора. По словам самого Бриндача, всё началось с того, что он, немало путешествуя с этюдником по России, стал то и дело подмечать в ее городах и весях следы и отголоски еврейского бытия и еврейской культуры, которые тщательно замалчивались или даже вполне намеренно уничтожались, и всё это не могло не вызвать у него внутреннего протеста. А этот протест, в свою очередь, рано или поздно должен был выплеснуться на полотна» [5].

И такие картины появились — полные красоты и любви к традициям, очищенным от суеты и быта, которого у художника никогда не было в детстве, совпавшем с войной и послевоенной разрухой. В них всё реалистично, но до нереальности красиво. Это штетл или любой город, но всегда как сказочный. Здесь отсутствует понятие нищеты. Здесь все живут в достатке. Всё ухожено, вычищенные улицы, удивительные интерьеры в домах. Люди нарядно одеты. Здесь нет голода. Здесь все сыты.

Вот в таком облики родились на свет работы Бриндача, воссоздающие религиозную основу жизни иудеев. В первую очередь это полотна, запечатлевшие семейный уклад. И это понятно. Семья для евреев — величайшая ценность, которую только может создать человек с благословения Всевышнего. Семья — это любовь, ответственность друг перед другом. Семья — это воспитание детей. В семье ребенок впервые узнает о правилах поведения и законах жизни, о традициях своего народа, любовно несущего устойчивую верность царице Субботе.

Одна из лучших работ художника — «Шаббат». Внизу у подписи каллиграфически выведено трогательное посвящение: «Вере Моисеевне Уманской от внука. Виктор Бриндач». Художник передал картину в дар Уманскому художественному музею-галереи. Умань — место паломничества, куда хасиды со всего мира приезжают на могилу цадика Нахмана из Брацлава. Каждый хасид обязан побывать в Умани хотя бы раз в жизни и встретить здесь Рош а-Шана (Новый год), для того чтобы следующий был счастливым! На картине, посвященной художником своей бабушке, — праздничный стол, за которым вся семья в сборе. Не в канун ли Рош а-Шана?

По картинам Бриндача можно узнать и о том, как проходит семейный вечер перед Песахом. В работе «Афикоман» участники пасхального ритуала внемяют словам Агады из уст старейшего. Все чинно сидят за столом с церемониальной трапезой — седер^[6] есть седер, и всё на месте: маца, марор, четыре бокала вина, чаша Элиягу, афикоман...

В еврейском укладе заложены основы поведения человека начиная с детства. Зрелость рассматривается как знание Завета и способность нести ответственность за свои поступки. Не случайно само понятие «бар-мицва» дословно переводится как «сын Заповедей». В фигуративной композиции Бриндача «Бар-мицва» запечатлен этот час становления будущего мужа. «Сын Заповедей» читает в синагоге недельную главу Шаббата. Повсемевидно, что мальчик волнуется. Наверняка в течение многих недель он вызубривал текст, который в этот миг стал для него эманацией духа.

...Однажды любознательный мальчик был в *гостях у Реббе* (так называется одна из лучших работ Бриндача, ныне находящаяся в Николаевском областном художественном музее имени В. В. Верещагина). С вниманием слушал Реббе его взволнованный лепет, а потом сказал свое Слово. И открылись ребенку врата заветной книги. И перед глазами — *Земля, текущая молоком и медом* — живая, яркая, красочная, сам образ которой — праздник. Медовые финики на изумрудных

пальмах. Утомленные солнцем, они роняют капли янтарного меда в молочные ручки. Под деревом ходят белые шелкорунные козы, и здесь же ребятишки с веселыми пейсиками в белоснежных рубашках и черных жилетках — словно соревнуются друг с другом, кто первым подхватит летящую чудо-капель сладкого меда. (Работа находится в Музее истории евреев Одессы «Мигдаль Шорашим».)

В европейском стиле светских семейных портретов выполнена работа Бриндача «Еврейская музыкальная семья». Говорят, наставь свое дитя в начале пути его, и тогда будет у него, чем заработать на жизнь. Дать в руки ремесло — в традициях каждого еврейского дома. Пусть вырастет твой сын мастером своего дела — скажем, пекарем... Такова работа Бриндача «Маца», по которой можно судить, как секрет выпечки передается на опыте из поколения в поколение. Пылает огонь в печи. На столе — стопка готовых поджаристых лепешек, а рядом — раскатынные опресноки ждут своего часа. Дед, отец, подрастающие сыновья — все при «цеховом» деле. И вот торжественный момент: взгляды всех устремлены на то, как отец — с благословения деда — достает готовую мацу из печи.

Виктор Бриндач старается изучить любую тему, за которую берется, — например, тему национальной пищи в системе религиозных обычаев евреев. Маца — как память об Исходе и напоминание о нем в Пасхальный Седер — лишь малая толика в ряду иудейских кушаний, которые запечатлел в своих работах художник. Так, в 2008 году в Тель-Авиве вышла книга известного израильского журналиста и писателя Петра Люкимсона «На кухне моей бабушки», проиллюстрированная Виктором Бриндачем.

«Портрет часовщика» — жемчужина коллекции Одесского Дома-музея имени Н.К. Рериха. По технике исполнения работа сродни шедеврам голландской живописи и поражает теплотой цветовой гаммы — всех оттенков коричневого. Перед нами старый еврей в ермолке из гильдии часовщиков. Очки приподняты до самого лба и отсвечивают, как два часовых стеклышка. Выразительны большие руки мастера — каждая прожилка на них подобна механизму уникальных часов, выставленных, как в музее, на деревянных полках за спиной старика. Работа излучает симпатию к людям, владеющим тайной ремесла как искусства — художник обожает своих «мастеровых» персонажей.

Одна из самых значительных работ Бриндача, созданных в Израиле, — «Европейские евреи на рынке». На протяжении десяти лет — с 1996 по 2006 год — художник возвращался к этому монументальному многофигурному полотну.

Перед нами европейский рынок конца XIX — первой трети XX века. На картине около сотни персонажей, объединенных одним предпраздничным днем. На переднем плане еще идет торговля, на заднем — евреи в праздничных талитах следуют в синагогу.

Полотно нестатичное, живое, написанное так, словно художник идет «по свету», что, как известно, очень сложно для работы с таким количеством фигур.

В центре толпы — седобородый еврей, с взглядом которого невозможно не встретиться, с какой бы точки ни смотрел на картину. Большая курчавая борода старика такого же цвета, как талит стоящего за его спиной еврея — словно духовного двойника мудрого старца. С этой опорной фигуры Бриндач выстраивает верхнюю часть пространства картины, которая напоминает парящий журавлиный клин — это десятки иудеев в бело-голубых талитах идут на молитву.

Возвышенное и земное. Духовное и насущное. Бриндач строит композицию как систему жанровых сцен. Слева на переднем плане — группа мальчишек, среди

которых безусловный лидер — бойкий продавец газет. Рынок — это всегда и последние новости! Справа — колоритная группа, изобразительно организованная вокруг громадного ящика с тыквами, похожими на разноцветные турецкие чалмы — красноватые, оранжевые, желтые, янтарные, в красно-салатную полосочку. Призывно улыбается продавец тыкв, и коробейники с лотками на шею уже тут как тут: яблочный штрудель — пожалте вам! румяные ватрушки — искушайте! конфетки-бараночки — завсегда...

В центре работы, почти рядом с бородатым мудрецом, — щеголеватый еврей в шляпе и длинном коричневом пальто покупает сигареты у паренька-лоточника.

Рынок... Ни с чем не сравнимый вкус жизни, азарт, движение! Громадные корзины с фруктами выставлены на бульжной мостовой, в ящиках на столах — гранаты, яблоки, груши. Люди спуют туда и сюда. Продавцы гортанными выкриками зазывают покупателей. И идет слава за еврейским рынком, что якобы есть здесь всё — от пирожков с горохом до Золотой Звезды Героя, а потому... Потому и впрямь не женское это дело — рынок...

Но вот что необычно. Несмотря на живость жанровых сцен, наполняющих полотно внутренним движением, при внимательном рассмотрении картина оставляет ощущение какой-то отстраненности. Почему? Все герои реального рынка смотрят на тебя отрешенно, как будто сквозь стекло... Я спросила Виктора, откуда такое художественное решение. Он ответил: «Хотя это диалог глаза в глаза, никого из этих евреев уже нет в живых. Они из времени до войны. Я писал портреты этих людей по старым фотографиям. Да и рынков таких уже нет. Мои внуки с трудом представляют, что так было».

Страницам истории европейского еврейства посвящены также картины «Урок Торы», «Композиция в синагоге», «Воспоминание», «Молящиеся женщины» и другие многофигурные полотна, на которых пристальное внимание художника обращено не только на персонажи, но и на ритуальные предметы — и те и другие прописаны с редким артистизмом. Работы Бриндача, в целом описательного характера, дают многостороннее представление о религии и национальных традициях ашкеназских евреев. Художник словно следует наказу Николая Рериха о том, что «живописец должен быть всеобъемлющ». Задача не из легко выполнимых, сильная лишь тем, кто взял высшую планку.

Особняком стоит полотно Бриндача «Гашлиах над Тель-Авивом» (2007 г.), в котором заключен изобразительно иной элемент — сюрреалистически условный.

Когда всплывает ночью облако белой шалью, авгур предсказывает победу, погоду, болезнь, стихийное бедствие... В танахической традиции светлое небо означает присутствие Бога. Облака — как воздух для страждущего. Парение белых облаков ассоциируется с духовным совершенством. Они неожиданно выступают в сюрреалистическом единстве с деталями реального мира, порождая чувство того, что ты находишься в ином измерении — особом времени и пространстве.

*Мир земной... Его стены узки.
Но небес не сомкнуть в тиски.
И в шумящей волне-вышине
Дед и внук идут, как во сне,
На холсте, в этой странной стране,
Только с небом наедине.
Йерушалаим небесный...*

И кажется, что ты уже всё знаешь в этом Йерушалаиме небесном — том, что над облаками, по которым иудеи Бриндача ступают как по снежному полю и не проваливаются. Но, чтобы идти по ним и не рухнуть в преисподнюю, читается молитва на земле, над которой сгрудились кровавые тучи...

Часть работ, созданных Бриндачем в 1990-2000-е годы, посвящена этим опаленным пламенем тучам: Холокост, шестиконечная звезда, шесть миллионов евреев, уничтоженных нацистами...

Отработать на земле дар небес

Рассматривая работы художника рубежа XX-XXI веков, знаток еврейской истории Петр Люкимсон пишет: «Конец 90-х — начало 2000-х годов были отмечены для Виктора Бриндача необычайным всплеском творческой активности. В эти годы он пишет целую серию полотен, запечатлевающих неотъемлемые, существующие как бы вне времени и пространства, черты еврейского бытия (“Урок Торы”, “Седер”, “Встреча субботы” и т.д.), создает цикл картин “История европейского еврейства”, где сквозь предельно реалистичные картины жизни сгоревшего в пламени Катастрофы еврейского местечка проступает высокая символика Танаха и истине Вселенская печаль. Одновременно Бриндач доказывает, что он остается тонким психологическим портретистом, создавая целый ряд интересных работ в этом жанре. <...> Мне трудно определить, в каком именно ключе работает Виктор Бриндач. У него есть немало картин, написанных в строгой реалистической манере, но немало и тех, в которых он отдает дань современному художественным течениям, работая на стыке сразу нескольких из них. <...> картины “Ицхак и Ривка”, “Лестница Яакова” и другие произведения на библейские темы напоминают захватывающие, яркие иллюстрации к какому-то древнему манускрипту.

Сам художник в беседе со мной откровенно признался, что не приемлет абстрактного искусства и придерживается старомодных взглядов, согласно которым живопись должна воспитывать, пробуждать в людях интерес к тайнам человеческой души, напоминать им об их корнях и национальной истории» [7].

«Для меня урок истории состоит в том, — говорит Виктор Бриндач, — что мы не извлекаем из него истории. Сегодня мне легче переживать, и даже приятнее переживать, “дела давно минувших дней”, жить историей того времени, мыслить ее героями и переводить их жизнь в художественные образы».

«История того времени» — в понимании художника — и есть то всеобъемлющее понятие, которое включает в себя все аспекты иудаизма — от истоков этногенеза до проблем национальной самоидентификации, и нет области, которая бы не стала объектом творчества художника.

В каком-то смысле картины Бриндача сродни добротной историко-художественной киноленте — с воспроизведением костюмов, наличием гигантского числа атрибутов, воссоздающих аромат культуры иудеев. Трудно сказать, сколько балетристки, исторической, искусствоведческой и театроведческой литературы перелопачивает художник, прежде чем берется за создание своей живописной хроники. Но такова его тяга к познанию, привитая еще в детстве матерью, привычка к самосовершенствованию на практике — от семьи в Чехии, способность во всем быть художником-исследователем — качество, воспитанное годами общения со скульп-

пторами-историками П.И. Гусевым и И.М. Рукавишниковым. Ты познаешь тему, исследуешь ее, живаешься, а потом воспринятый информационный пласт и изобразительность начинают жить и бороться в тебе, потому что во всем этом ты ищешь свою меру. Настоящая историческая живопись рождается только тогда, когда соль текста или документа остается следами пота на твоей рубашке, а кисть уже свободна от них. А еще... если ко всему этому добавляется генетическое ощущение собственной причастности к тому, что ты пишешь.

«Утром сей семья твое и вечером не дай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то ли другое будет удачнее или то и другое равно хорошо будет». Это напутствие из «Экклезиаста» тем, кто получил божественные зерна таланта и не имеет права развеять их по ветру, воспринято Виктором Бриндачем смолоду. «Художник должен работать всегда, чтобы образ не ушел из рук, — говорит он. — Художник — чернорабочий. Мастерство — это всегда труд — труд, через который обживает замысел».

Эта жизненная позиция объясняет, почему на полотнах Бриндача всё так графически отточено, живописно, поражает доверительностью. Изобразительный ряд его картин поддерживается не только зримостью жеста, но словно иллюзией живого голоса — как непосредственного присутствия автора в мире.

Он пришел в этот мир уже мастером и воспринял его как художественное бытие. И стала Земля обещанная Землей обретенной...

...Каждый день жизни — лучший.

Это читается в глазах героев таких шедевров психологической живописи Виктора Бриндача, как «Портрет раввина с Торой» (собрание Одесского художественного музея) и «Портрет седого раввина» (коллекция Одесского Дома-музея имени Н.К. Рериха). Созданные им образы очищены от бытописания, но в них достигнут уровень такой психологической глубины, внутренней гармонии, духовности, что они словно возвышаются над историческими подробностями, изумляя художественной достоверностью.

В ряду этих картин особое место занимает «Автопортрет», в котором Бриндач неожиданно для всех в его окружении, но логично для себя самого предстает в облачении мудрого раввина — в субботнем халате, в меховой шапке-пштраймл... Просветленный, праздничный. В его глазах свет ясного неба — свет Иерусалима небесного...

Примечания

[1] Люкимсон П. Еврейский мир Виктора Бриндача // Новости недели. [Иерусалим] 2007. 2 окт.

[2] Там же.

[3] Музей, основанный подпольно в Москве в 1977 г. Александром Михайловичем Фильцером, назывался Музей современного еврейского искусства. В архиве художника сохранился автограф А. Фильцера со словами благодарности за подаренные музею работы, а также документ такого содержания: «Скульптор Виктор Бриндач в марте 1993 г. передал в дар Музею современного еврейского искусства в Москве 11 своих работ, в т. ч. скульптуры: “Танец”, “Сказка”, “Утро”, “Ожидание”, “Фронтальная молодость”, “Воин-победитель”, “Военный корреспондент”, “Малыш”, “Милосердие”, керамику “Клоун”, медаль “Тулуз-Лотрек”. Работы выполнены между 1972–1883 годами. Работы Бриндача демонстрируются вместе с работами

50 других еврейских художников и вызывают неизменный интерес зрителей. Руководитель музея: А. Фильцер. 21.11.93 г. Россия, Москва, Первомайская, 26, 23».

[4] Люкимсон П. Еврейский мир Виктора Бриндатча // Новости недели. [Иерусалим] 2007. 2 окт.

[5] Там же.

[6] Порядок (*иврит*). Здесь — *Седер* Песах, ритуальная семейная трапеза в праздник Песах, во время которой читается Агада Пасхальная.

[7] Люкимсон П. Еврейский мир Виктора Бриндатча // Новости недели. [Иерусалим] 2007. 2 окт.



Юлия Драбкина

ГОРОД БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ

СТИХОЖИВОПИСЬ

В 2014 году вышла книга моя в соавторстве с художником Изей Шлоссбергом. Идея такого совместного издания подарочного формата (72 страницы) принадлежит художнику. Каждый текст сопровождается картиной (ну, или наоборот), так или иначе имеющей с текстом что-то общее, по мнению художника и автора текстов. Книга продается только онлайн.



Не смотри мне в глаза, там горят по ночам фонари,
до утра освещая промозглую пропасть внутри,
населенную лишь рассыпным одиночеством ада,
там короткое время подвздошно — точней и острее —
вырубает проход скоростной безо всяких дверей,
и зашедших в иную реальность ведет анфилада.

Погоди, говорю, полубог. А в ответ: «Полубес».
Но и тот, покрутившись, рукою махнул и исчез,

не найдя подходящего места во мне для постоя.
Только тусклое эхо и дикие тени вокруг,
да задумчиво боль — мой единственный верный супруг —
в двух шагах за спиной незаметно играет с фатою.

Нас венчали не в церкви и не было нам синагов,
на пустырь к алтарю пробирался цветистый Ван Гог,
вместо брачных колец поднося на тарелочке пламя.
Осветил на мгновение смешные земные дела,
в окровавленный рот мне заправил любви удила,
чтоб удобнее было улыбку держать удилами.

Не пугайся, пройдет, это всё до утра, до утра,
я такая всегда выхожу из ночного костра:
одичавшая будто, косматая, злая, нагая.
Уходи, уходи, над землей расстилается дым,
не смотри мне в глаза, если хочешь остаться живым.
Но стоишь и молчишь, не уходишь, глядишь не мигая...

Двери в небо тоской заколочены,
пахнет пылью пустых закровов,
полдень ставнями лупит пощёчины
по зареванным лицам домов.
Ребра выгнулись мятою клеткою —
трудно сердце держать взаперти,
только крутится русской рулеткою
как молитва «С ума б не сойти...»
Время щупает пальцами чуткими
неживые от страха дворы,
Тель-Авив прорывает маршрутками
переспелую мякоть жары.
Светофоровы очи печальные —
так не хочется им угасать.
Крошит ветер молекулы чайные,
а не буквы в пустую тетрадь,
будто высохли разом все перья и
Бог печатает сразу в гранит.
Он приходит из Черной Империи
и с собой не ведет Эвменид.
Глас бездушного чревовещателя
из динамика бурым течет.
Где нажать на курок выключателя,
выключая обратный отсчет?
Гарь победные флаги развесила,
слепок смерти — на каждом углу.
Так легко, сумасшедше и весело,
как идти босиком по стеклу...

Избавляясь от лишнего сора, старый Бог в облаках взперти
семенами из яблок раздора посыпает людские пути,
наливные ковры пустоцветов расстилат, заботлив, как мать:
рассыпает любовь и поэтов — на фонемы любовь разнимать.

Тихо плачет суббота немая, на голгофу июнь повели,
вечер ложечкой ветра снимает пенку с моря на блюде земли.
Липкий воздух предчувствием вспорот, чуть играет судьбы клавишин,
обоженный, сутулитися город, "мене, текел" шепча, "упарсин".

Плотной копотью полнится небо, горьким дымом горячей травы,
как последнюю корочку хлеба на завалинке делят волхвы.
И, все больше теряясь из вида, ты внезапно почувствуешь сам,
как, не дрогнув рукою, Далида проведет по твоим волосам.

Будешь медленно спать, как ребенок, по челу растечется звезда,
новый месяц падет из пеленок, вместе с ним унесешься туда,
где уже ничего не пророчат молчаливой твоей правоте,
где Самсон дожидается ночи, так созвучной его слепоте.

Редакция сердечно поздравляет Юлию Драбкину, ставшую лауреатом поэтического конкурса «Критерии свободы», учрежденного в 2014 году Фондом музея Иосифа Бродского.



Юлиан Фрумкин-Рыбаков

ЗАПОЙ ДОЖДЯ

*

Запой дождя. Пин-код событий.
Небесной сотни марш-бросок.
В грибнице жизни, в невозможном быте
Стучится пульс в простреленный песок.

Запой при мне, что широка страна родная,
Что много в ней: лесов, полей и рек,
Что вся она, от края и до края,
Нужна кремлю, как прошлогодний снег.

Запой, запой, как много в этом звуке
Для сердца русского сбылось,
Похмельные и родовые муки,
Вся жизнь моя, по правде, вкривь и вкось...

Среднерусская полоса

... идёшь с корзиной по грибы,
правей, в брусничнике, брусника.
жизнь, без обмана, жизнь без крика —
всё в строку: папоротник, лыко.
язычник ты, твоё языко-
знание: жизнь сУчья, префиксы судьбы
и тишина в штрихкоде веток.
в коленках белый гриб не слаб.

и безразлично жизни, где ты
здесь или нет. ну, нет, так нету.

посмотришь вверх, сквозь крону лета,
там облака сквозят, в просветах,
как белые платочки баб...

*

Эдемский сад наш в Лющике,
Где мы с тобой щека к щеке
Срываем яблоко раздора
Ещё не ведая о том,

Что нас настигнет снежный ком,
Обид и всяческого вздора.

А где-то рядом, за бугром,
Гуляет гром с пустым ведром,
Кукушка ссорится с кукушкой,
И лето красное стоит,
Как одноногий инвалид
Стоит в тени с пивною кружкой.

И хочется сказать: «Привет!»
Всем тем, кого сегодня нет,
Кто на ходу подсел и вышел.
И мы, и мы за ними вслед,
Поскольку нам шесть тысяч лет,
И рай нас больше не колышет...

*

И там, и сям чертополох,
И жизнь сплошное: «ах!» и «ох!»,
И некому не то что руку,
Но милостыни не подать.
Пскову, во сне, рисует зять
И шлёт картинки по фейсбуку.

Там, за Псковой, стоит июль.
На занавесках белый тюль,
Там тополь, пыльный, лету машет,
А воробей стучит в стекло,
Что, дескать, время протекло
На синь небесных промокашек.

Там ни кола, и ни двора.
Вот и черника отошла,
А яблоко глазное зреет.
И где-то там, на самом дне
Слепой Гомер стоит в окне
И видит снег в Гиперборее.

Выходит август на порог
У трёх просёлочных дорог,
Где пыль, из-под ребячьих ног
Взлетает к небу невесомо.
Кузнечик прыгает в траву,
И не во сне, а наяву
Урчит вдали утроба грома...

КБиКА

Кенжеев Саша и Бахыт Кабанов...

А.К.

когда Кабанов Александр
морзянкой шпарит спозаранок
в кругу скучающих кассандр
стихи на рёбрышках цыганок,

Бахыт, гранённый что стакан,
играет скулами таланта...

когда Кабанов Александр
сдувает кружева Брабанта,
с четвёртой кружки пива и,
(а лучше ни хрена не стало),
Бахыт стада стихов свои
ведёт на гребень перевала.
там три семёрки на скале,
(портвейн),
там Боинг, 777 (три семёрки), в небе.

там ангелы, навеселе,
впрок жизнь сквозь сито строчек цедят,

чуть позже, на горе Машук,
всех Демон с Лермонтовым встретит,
всех, всех, отбившихся от рук
на этом чёрно-белом свете.

крошится белый свет, как мел
на аспидной доске терпенья.

но... наш «пострел» везде поспел,
в дверях, впадая в ад творенья,
где Лермонтов с Бахытом пел:
«По небу полуночи Боинг летел...»

За дымовой завесой Слова

За дымовой завесой Слова,
Часть речи вышла на рубеж,
Где мир, с цепи сорвавшись, снова
Творит творительный падеж.

Где главным членам предложенья
Вольно ходить за языком.

Безличные местоименя
Склоняя окриком с пинком.

Где поминают мать в предложном.
В винительном же падеже,
Послать за пивом ваньку можно.
Он в дательном придёт уже
Не принеся ни банки с пивом,
С прохладной пеной по краям,
Ни воблы первого созыва
На жирных бланках телеграмм.

Жуёт священная корова
Соль камению людских грехов.
Без именительного слова
Закат империи свинцов.

Клонируют овечку Долли.

На вавилонских сквозняках
Горчит на совести пуд соли,
И язвы сохнут на губах.
И этнос наш белоголовый
Вращает с катарактой зрак...

За дымовой завесой Слова
Сплошное блядство и бардак...

Приняв Дар Речи за игрушку,
За Кубик Рубика Богов,
Мир, поцелованный в макушку,
Слетел с катушек и с понтов...

осень

впадающая в спячку муха,
вода, подёрнутая «салом»...

уже не достигает слуха
гладь, над пустующим каналом
Бумажным из Екатерингофки
до Таракановки. при этом
взгляд погибается за бровку,
за парашют весны и лета,
за Болдинскую, скажем, озимь
и, бобылём, уходит в зиму.

мы наше «всё» с собою носим.

когда же вывернем корзины,
желаний, плача, смеха, боли –
не соберём и половины,
но лишь диезы и бемоли,
железных пятилетних планов,
и шлак, и накипь переделов...

девятый вал телеэкранов
всех накрывает то и дело,

а борщевик стоит вдоль трассы,
раскрыв летучие соцветья...

и пепел слов стучится в классы,
где подрастают наши дети...

*

дожди дождят снега снегут
курлы курлычат всякий раз
когда летят напропалую
сквозь тьмы и тьмы пернатых фраз
природит мудрая природа
и человечит человек
один без племени и рода
внезапный будто первый снег
как снег на голову, так время
внезапно падает на нас
и норовит то в глаз, то в темя,
то в глаз, то в темя всякий раз
все птицы в поднебесье пичут
все рыбы рыбят, что хотят
и в рот воды набрав мурлычут
и что-то влажное молчат

Переводы

Милика Павлович

ТУРНИР

Девы, плетущие пряжу из нитей,
Те, что не вяжут авоськи событий,
Лучше молчите.

Вас не допустят к участию в турнире,
Где зашлепаются мержи судьбы.

Пошлину платит чиновник в мундире.
Пошлину платит чернец из избы...

Прежние боги — работники были,
Дрались, ковали, породу штробили,
И на Олимпе, отнюдь, не святые
Жили — бессмертные и молодые...

ИКОНОПИСЦЫ

срослось,
сбылось,
пришли лишённые коррупции
менеджеры неба.

не казнят Боги тех
и этих,
кто передаёт лик цветом,
помещая его
в плоскость иконостаса.

Иконописцы срабатывают портреты
и, как апостолы, развёртывают
их фронт перед мольбертами.

есть согласие Господа, по умолчанию,
на то, что делают иконописцы
с мастерком в руках,

вольные каменщики небесной ложи.

Перевод с сербскохорватского Юлиана Фрумкина-Рыбакова



Егор Фетисов

В СОРОК ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Вместо предисловия

В начале своего творческого пути Егор Фетисов (как это нередко случается с поэтами) словно предсказал свою судьбу в стихотворении «Дания»: с недавних пор он живет и работает между двух морей на острове Зеландия, конечно, при этом в душе оставаясь петербуржцем.

Закон поэзии таков: чем субъективнее автор, тем глубже он черпает из колодца жизни. Стихи Егора Фетисова отличаются особой глубиной захвата. Голос размышляющего о жизни человека в разных его ипостасях и состояниях, переходящих в многоголосье, вшлетается в тексты автора. Его словами: «И смерть, и скорбь, и жар, и боль — всё тут». В изгибах памяти, в деталях непривычного быта, в отзвуках расставаний. Становящийся и еще не ставший своим мир.

*«Загружается день, как на торренте, медленно —
Жду, когда он скачается — нежный, дождливый, ясный.
Он и мой и не мой, и немой, ведь шуметь не велено,
Он как шар — голубой, белый ландыш, но ты любишь красное.»*

Да, публика любит красное... Пусть не красное, но все-таки яркое, броское, с блестками, в бубенчиках и... ну хотя бы что-нибудь необычное. Поэт не спорит и, как фокусник, достает из рукава то «Вазу Пандорры», то стаю птеродактилей, а тем временем...

*«На хвостах приносят сороки
Звуки с большой дороги,
Разноразмерные строки,
Сутр»*

Сколь бы ни были необычны его стихи, не могу не отметить совершенно фантастичное стихотворение «Птеродактили», в котором говорится, что

*«Когда умрет последний человек,
Они расправят кожистые крылья,
И содрогнется мир от торжества
И древнего подспудного веселья.
Все будет прежним: легкий первый снег,
Тяжелая осенняя листва.»*

Здесь автор удачно противопоставляет легкость и тяжесть. Создается ощущение, что все это очень серьезно, что найдены те единственные слова, которые и должны быть найдены...

К сожалению, привести краткое содержание даже небольшой поэтической подборки так же невозможно, как и пересказать стихотворение своими словами. Может быть, потому в наши дни и читатели, и издатели, и особенно продавцы книг

предпочитают прозу? Но именно ритмизованная речь имеет свойство запоминаться и повторяться, порою бессознательно, наподобие мантры или молитвы. Именно поэтическое высказывание формирует не только литературный, но и разговорный язык, и не столько благодаря своей концентрированности, сколько способности выражать чувства, эмоции, вытесняя события их породившие из области текста в космос контекста. «И душа вдруг заносит, прозревает, и затихнет, забыв».

Галина Гампер

Ящерицы

Психология ящериц, отбрасывающих хвост, —
Мы отбросили память, беспмятно неуязвимы.
Её место заняли ссылки, массовый перепост.
Я вырос в Крыму — и вдруг раз, и не помню Крыма.
Вырастет новый хвостик в кустарниковой тени,
Только и он бутафорский, поди ухвати попробуй,
Когда вместо памяти — колокольчик, звени, звени...
Белоснежная тройка, искрящиеся сугробы.
Ничего не помню, в голове какая-то хохлома,
Костромская вязь, кокошники, красноармейцы.
Уже столько лет нескончаемая зима.
А когда началась? Почему? Безмятежно сердце.
Ничего не подскажет, может годами не биться:
Ящерица в принципе не думает о протесте.
Потом оживет непременно, забьется, засуетится —
В другое время. В другом, позабытом месте.

Я в шерстяных носках: не топят.
Октябрь давно уж тут как тут.
Теперь он золотишко копит —
Пока что в листьях, старый плут.
А там, глядишь, и наши души
Осядут где-то в сундуках,
Пока зима идёт коклюшем
С больным ребенком на руках.

Иона

Беззвучьем проглочен,
Как в чреве кита
Замурован, и лес заболочен,
И в центре листа —
Прозрачная капля.
Две серые цапли
По краю болота — этрусские
Строгие вазы,
Их горлышки узкие —
Спрятаны фразы.
И сыростью тянет
От чёрноольховой коры.
Кто это помянет,
Тому оно явится вдруг,
А так до поры —
Безжизненно, тихо вокруг...
Ольшаная небывль
Вздохнула полётом желны,
По низкому небу
Громадные ходят слоны,
И белая рыба — за крону
Ольхи уплывает.
Так тихо нигде не бывает...
Уставший Иона —
На мокром упавшем стволе.
Ни звука, ни стога,
Пророчества нет на Земле.
Три дня и три ночи —
Кологится в мозг пустота,
И лес заболочен,
Лишь в центре листа —
Прозрачная капля...

Сороки

На хвостах приносят сороки
Звуки с большой дороги,
Разноразмерные строки
Сутр.

На хвостах приносят сороки
Радости и тревоги,
Новенькие брелоки
Утр.

На хвостах приносят сороки
Нам отведенные сроки
И отведенные сроки
Не нам.

На хвостах уносят сороки
Чаяния и зароки,
Не выученные уроки –
Хлам...

Солнце садится. Дочка твердит, что ей скучно.
Скучно в пять лет, в начале шестого — года.
Иди в детский сад, говорю, поиграй, там куча всего:
Карусели, качели, воспитатели и воспитательницы,
Да, еще там масса детей, чудесные датские дети.

Это не датские дети, это детские даты,
Они говорят на другом языке и им хочется знать мое имя.
Меня зовут «лотос на берегу печальной реки»,
Перевод тут бессилён: все знают про канат и верблюда.
я сижу и рисую одна: это лотос,
Вот канат и верблюд. Но мне скучно, и солнце садится.

Я чувствую — море дышит мне в шею,
Ветер, подкравшись сзади, играет со мной в «угадай — кто?»
«Слава?» — Нет. «Карьера?» — молчит и дышит
В затылок, в висок: любая игра — рулетка.
«Жизнь?» Открываю глаза, но ее уже нет,
Только песчаный берег поспешно
Прячет ее следы...

Так тихо вдруг, когда уснули дети,
Лишь кашляет во сне один, другой.
И ты почти один на этом свете,
На целый вечер ты теперь — изгой.
Тебя не взяли в сны о белых птицах,
Где ищет брата смелая сестра.
Ты вышвырнут, захлопнуты ресницы,

Задвинуты засовы до утра.
Ты вышвырнут... но никакой обиды,
Бокал вина покоится в руке,
И после дня убийственной корриды
Так тихо вдруг. Пятно на потолке
Метнулось от проехавшей машины,
Из тишины изгнали и её.
Спокойно так и грустно без причины.
Всё просто. Детство больше не твоё.
В какой-то миг произошла подмена:
Ты стал чужим, ты вытолкнут за край.
Ты выброшен, и твой скрывают рай
Взросления бессмысленные стены.

Опять цепляет взгляд поверхность дней —
Узоры ветра на неровной глади.
Нет смысла это всё писать в тетради,
Но — где ж тогда писать, когда не в ней?

На бересте? пергаменте? песке? —
Когда волна так неизбежно близко
И день весь за щекой — как барбариска...
Зачем вообще писать на языке?

Когда нет слов, нет звуков, нет судьбы —
Чтоб передать, как свет в конце аллеи
Небыстро, но безропотно взрослеет —
Далекий от словесной ворожбы.

Птеродактили

Когда умрет последний человек,
Они расправят кожистые крылья,
И содрогнется мир от торжества
И древнего подспудного веселья.
Всё будет прежним: лёгкий первый снег,
Тяжёлая осенняя листва.

Земля вберёт остатки наших дел,
А море переплавит наши мысли
Навеки в килобайты янгаря.
Всё будет так, как ты тогда исчислил.
Нет... Не исчислил — так, как ты хотел.
Как ты задумал, этот мир творя.

В Копенгагене тихих кварталов хватает на всех.
Затянуло февральским туманом и мой Эстербро.
Я на улицу выйду — надеть в тумане прорех,
Тишину раздербанить, пиная пустое ведро.

Пусть в прорехи ворвутся извне миллионы причин,
По которым мы живы, хотя и не помним мотив.
Но безмолствует город, лишь где-то ведро забренчит,
И душа вдруг заносит, прозрев, и затихнет, забыв.

Великий Пост. Я пью лучи —
Как божоле из ранних соков.
В храм не хожу, не помню сроков,
Один из стаи саранчи,
Накрывшей все окрест поля.
Всё сбудется поверх глаголов,
И мы, наследники монголов,
Всё до последнего рубля
Потратим, и в остатке ноль
Нам будет поздним урожаем.
И всё же мир неподражаем:
И смерть, и скорбь, и жар, и боль —
Всё тут, и каждая ступень
Ведёт куда-то вне причастий —
К весеннему шальному счастью
И дальше, в сорок первый день.

Загружается день, как на торренте, медленно —
жду, когда он скачается, — снежный, дождливый, ясный.
Он и мой, и не мой, и немой — ведь шуметь не велено,
Он как шар — голубой, белый ландыш, но ты любишь красное.
Белый рислинг в бокале, — никак не пойму, к рыбе, к мясу ли.
Или к осени? Нет, недостаточно терпкости вкуса.
Белый рислинг в бокале, но ты любишь красное:
Вина красные, красные платья, браслеты и бусы.
Ты, как я, не играешь в нём роль, ты стоишь на обочине —
Наблюдаешь: качается день. Ты такая же праздная.
И деревьев изгибы, казалось, навек обесточены.
Осень чёрным по синему пишет. Но ты любишь красное.
Я бы тоже любил эту терпкость, как ты, темпранильо бордовый,

Но цвета ведь заложены в генах навечным рефреном.
Загружается день. Он роскошный, раскосый, ордовый.
Я скачаю его, не прожив, и повешу на стену.

Ваза Пандорры

Орнамент чарует, но прикасаться не смей:
Эта ваза — вместителище всевозможного зла.
Эссенция из мышинных хвостов и ядовитых змей,
Волос из конской гривы и бороды козла.
Ты купила её на развале, хаос — её среда,
Кто из вас кого выбрал — теперь уже не поймёшь.
Мыши, смертельные яды, козлиная борода —
Это я для остратки. Там лезть, себялюбие, ложь.
Ты спросишь, откуда я знаю. Вот уже и спросила — я знал!
Видишь: клейкие швы, как трещины старины.
Я её разбивал, любимая, не единожды разбивал.
Но склеил её, любимая, когда были мы влюблены
В осень, ещё не дождливую, временный наш приют.
Долго так не протянется: мир чересчур хорош.
Древняя амфора, дивно вылепленный сосуд —
В нём теперь гладиолусы, жадность, гордость и ложь.
Будем считать, что они запечатаны в глине:
Так проще жить, проще отсчитывать дни.
Только тебе явно скучно в этой уютной пустыне
Без ядовитых гадов. Ладно уж, загляни...



Александр Генис

ТЯЖБА

Глава из книги

“Уроки чтения. Камасутра книжника”

Библию трудно читать, потому что она вся состоит из эпиграфов. Репутация этой книги так велика, что любая выданная из нее фраза наделяется магической многозначительностью. На Библии клянутся, по ней гадают, с ней — и за нее — умирают. Читать, однако, другое дело. Я пробовал.

С раннего детства я мечтал узнать, что написано в книге, о которой я мог судить лишь по рисункам Жана Эффеля. Но достать Библию мне никак не удавалось, я даже ни разу не встречал верующего. Одна моя бабушка знала, когда Пасха, другая — когда Пейсах. На этом кончались их отношения с религией. Уже женатым, но еще студентом, я отправился за помощью в церковь Александра Невского, располагавшуюся, как все важное, на улице Ленина, но у священника не нашлось на меня времени. Выручил черный рынок. Там, в неприметной березовой роще, я, наконец, купил заветную книгу с рук за 25 рублей. Немалая сумма составляла чуть больше половины стипендии отличника, и чуть меньше моей же зарплаты пожарного. Ввиду траты и от нетерпения я принялся читать с середины и зверски заскучал. С начала было не лучше, с конца — непонятней. Я так ее и не дочитал, но за 40 лет, как евреи в пустыне, все время учился. Прежде всего — поэзии.

Библия написана первыми в мире стихами. Напрасно мы от них ждем ясности эпоса. Сродни Луне, а не Солнцу, библейская поэзия все делает зыбким, таинственным, пугающим. Гомер описывал, она выражала. Греки декламировали, она закланала, они пели, она вводила в транс. Элиот говорил, что смысл — только приманка, усыпляющая разум, чтобы отдать его во власть звука. Повторяясь, стихи заводят, поднимают и ввергают в экстаз. Я видел такое у Стены Плача, где люди молятся крича и скача, как *«Давид перед господом»*. Библия, словно песенник, требует не чтения, а соучастия. Поэтому и читать ее надо не про себя, а всем телом, жестикулируя и раскачиваясь.

Я догадался об этом, слушая Бродского. Его монотонный распев не помогал, но завораживал, умудряясь почти контрабандой донести лучшее поверх сознания. С тех пор я бормочу библейские стихи, завывая, дирижируя и при опгывая. И помогает! Завладев телом, ритм вколачивает смысл в душу, но для этого стиху все приходится повторять дважды. Не зря в русской Библии главный знак препинания — точка с запятой. Он делит стих на две равные части говорящие почти то же по-разному. Поднимая и опуская, эта риторическая волна держит нас на месте, накаля обстановку и возгоняя чувства, описывая, например, путь человека от рождения к смерти:

*Как цветок, он выходит, и опадает;
Убегает, как тень, и не останавливается.*

Чтобы никто в упоении не проглотил метафоры, Библия огорашивает ими слушателей. Каждая сразу темна и наглядна. Так, Иову говорят: *«Уверенность*

грешника — “дом паука”). Если сказать «паутина», пропадет важный для кочевника оттенок. Уверенно раскидывая свой искусный шатер, паук живет, где работает, но только мухам дом его кажется прочным.

Как песню, библейские стихи сперва учишь, а потом, уже полюбив, понимаешь. И это, конечно, самое важное, потому что красота тут — побочный продукт производства. Библия — живая машина нравственности. Она о том, что всегда. Каждый из нас — Адам, многие — Евы, и все — Каин и Авель. Библия — личное дело. И если античности нужны комментарии, то Библии — трактовки, причем — твои. Иначе неинтересно, да и не вырасти. Ведь вся эта книга состоит из жгучих вопросов и сокровенных ответов. Задаваясь первыми и толкуя вторые, ты обретаешь точку зрения — ее и свою. Посредников слишком много, и они приходят позже. Библия ведь и сама — внезапная книга, она сразу переходит к сути дела, оставляя подробности на потом. Все важное понято без посторонней помощи. Ну кто, кроме американцев, изучающих Библию с детского сада до Белого дома, помнит, кто такие великаны-рефаимы? И не надо. Не до подробностей. С Библией говорят о главном, как с Богом — на ты.

Этому тоже надо учиться, потому что по сравнению с Библией все наши книги несерьезные. Даже Толстой с Достоевским чуть подмигивают, ибо сам дух романа требовал от повествователя отчуждения и иронии. Я не про капитана Лебядкина. Насмешлив авторский голос всякого романа: «Салон был пущен». Мы просто не умеем ни писать, ни читать без ухмылки, которую Библия еще не изобрела. Ее жанр — трагедия. Но если у греков она учила людей на чужих ошибках, то в Библии трагедия — сама жизнь, что хуже — вся и наша.

Про Новый завет я говорить не готов, но и Ветхий — не памятник древней словесности. Центральная в нем, решусь сказать, — книга Иова, ибо она должна оправдать Бога в глазах человека. Если у Него это не получится, то все остальное — насмарку. Теодицея — критерий религии. Говорят, что только переселение душ объясняет наши страдания: расплата за грехи в прошлом рождении. Я понимаю, что такое карма, но отвечать за предков как-то уж совсем по-сталински. К тому же, метемпсихоз требует не меньше веры, чем загробное воздаяние. Зато «Иов» не нуждается в предпосылках и условиях. Эта книга задает единственный вопрос, которого не избежать никому. Более того, Библия на него отвечает.

Страдалец Иов — даже не еврей. Он — абстрактный праведник из какой-то земли Ют, ставший в одночасье несчастным изгоем. Иов — жертва несправедливости, ставка в пари, заключенном Сатаной с Богом. Их, впрочем, тоже можно понять.

Бог Ветхого Завета — разочарованный бог. Он сделал все, как лучше, но не спас людей от первородного греха. Дальше все покатило вниз вплоть до потопа. И первое, что сделал уцелевший Ной, причалив к суше, это напился до бесчувствия. Изменив тотальную тактику на штучную, Бог избрал себе из толпы элиту. Иов — продукт нравственной селекции, плод трудов Господних и высшее среди людей достижение: он безгрешен. Но «разве даром богобоязнен Иов», шепчет умный Сатана, который служит Богу внутренним голосом. Не убедившись в Иове, Бог не может продолжать начатое. А впереди — Исход, Земля обетованная, Иерусалим, храм, мессия. Залогом великого будущего служит бескорыстная праведность Иова.

Поэтому Бог разрешил Сатане обобрать Иова, который героически справился с утратами. Лишенный детей, скота и богатства, он, не сказав «ничего неразумного о Боге», с каменным достоинством стойка заключает: «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращаюсь». Но смерти, которой он бы «обрадовался

до восторга», ему тоже не дают. Продолжая экзамен, Сатана требует и получает «кожу» Иова. Из всех напастей выбрана проказа. Мучительная, но не смертельная, она делает недуг очевидным, а значит, позорным. Это — клеймо грешника, и на него Иов не согласен. Он молча страдал, *«ворочаясь досыта до самого рассвета»*, он примирился с тем, что превратился в отвратительные мощи и *«остался только с кожей около зубов»*. Не может Иов вынести лишь смеха: *«Он поставил меня притчею для народа и посмешищем для него»*. Став, говоря по-нашему, басней, даже анекдотом, Иов не мученик, а грешник, наказанный позорной казнью. И это нечестно, ибо тема книги Иова — справедливость.

Бог договорился с человеком, заключив Завет: Он дал нам все, потребовав взамен только одного — праведности. И ее Иов не отдал даже Богу: *«доколе не умру, не уступлю непорочности моей»*. Однако, именно этого требуют от него трое друзей, считавших, как Вышинский, признание — царией доказательств. Советчики не могут вынести присутствие наказанного без вины. Этот казус взрывает моральную вселенную, покушаясь и на их личную безопасность. Иов, как Бухарин, обязан признаться в несодееянном, чтобы другим не было так страшно. Подлое и не оставшееся без осуждения Бога поведение друзей Иова лишает его последнего терпения и включает самую проникновенную, после псалмов, библейскую поэзию. Диалог путается, горячится, становится сбивчивым. Обе стороны хвалят Бога и бранят грешников, но Иов, как списанный с него Иван Карамазов, не соглашается принять мир таким, каким Он его устроил. Его, как и Ивана, бесит даже не то, что праведность не вознаграждается, а то, что грешники не наказаны: *«они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их»*. Ветхий завет не знал спасения, поэтому вся «полнота правосудия» должна быть явлена здесь и сейчас. Атеизм — тоже не выход, ибо в книге Иова есть те, кто не признают Божьего закона, но нет тех, кто сомневался бы в Его существовании. Это значит, что автор загнал себя в тупик: он должен ответить Иову. И так, чтобы его слова были достойны Бога.

Иногда я представляю себе этого самого автора — с закинутой головой, выпученными глазами, потной шеей, с пеной в уголках рта. Он занес ногу над вырытой им самой пропастью и шагнул в нее. Кто решится говорить за Бога? И что тут можно сказать? В эту грозную паузу, если уж мы взялись читать Библию, каждый должен поставить себя на место Бога — кто-то же это сделал.

Для Бога Иов, как собака Павлова, которой академик поставил памятник за причиненные им муки. Иов необходим для величественного эксперимента, который ставит Бог над людьми. Но к концу книги он уже перестает быть лабораторным животным, нейтральным материалом для опыта. Мы знаем о нем много личного и даже неприятного. Меня, например, слегка коробит хвастовство Иова, подробно вспоминаящего свои добрые дела. «Милосердие, выписал я еще в школе из Джека Лондона, кусок, брошенный псу, когда ты голоден не меньше его». А тут одних верблюдов *«три тысячи»*. И чувствуется, что Иов никогда не забывал, какой он важный: *«После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них»*. Авторитет. Но это еще не повод для той расправы, которую учинил над ним Бог, пусть даже он, как наука, поступил так в наших интересах.

Поразительно, что и Бог признал хотя бы частичную правоту Иова, иначе бы Он ему не ответил. Уже это — грандиозный, неопиcуемый, сенсационный дар. Бог заговорил с человеком, чтобы тот (мы) Его больше не спрашивал.

И с чего же Он начал этот исторический монолог? С сарказма. Как Иов, я не могу пережить это место без восторга. Кем надо быть, чтобы отбросить повест-

вовательную логику и ответить вопросом на вопрос: где был ты, говорит Бог, когда я создал бегемота? То есть, не только его — Бог устраивает целый парад творения с *«хранилищами снега и сокровищницами града»*, но я больше всего люблю этого бегемота. Он так огромен, подглядим у Аверинцева, что в иврите у него нет единственного числа: *«Ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья; это — верх путей Божиих: только сотворивший его сможет приблизить к нему меч Свой»*.

Гордясь, как хозяин зверинца, напоминаящим динозавра бегемотом, Бог делает Иова свидетелем «страшного великолепия» природы. Мир так велик, что человек не может судить даже о своем месте в нем. Но мало того, что мир несравненно больше нас, он еще и прекрасен. И Бог гордо любит свою работу, вспоминая *«общее ликование утренних звезд»* при закладке краеугольного камня вселенной.

Мир, говорит книга Иова, хорош — с нами или без нас. Человек страдает, но в роскошном чертоге. Его (наше) дело восхититься праздником мироздания, или, как тот же Иван у Достоевского, вернуть билет, зажмурившись от невыносимой боли.

Сжалившись над Иовом, Бог раскрыл ему глаза. Раньше, признается Иов, *«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя»*. Как истинный поэт в боговдохновенном приступе восторга, Иов смог отвлечься от своих ран, чтобы прозреть — признать окружающее таким, какое оно есть само по себе, без нас. Иов убедился воочию, что мир безгранично прекрасен. От этого ничего не изменилось для Иова. Он по-прежнему нищ, гол и болен. Но признав красоту мира выше своего горя, Иов поднялся над ним и заслужил снисхождение Бога.

К такому апофеозу ничего не прибавляет счастливая, как в Голливуде, развязка. Бог дал Иову новых верблюдов, новых ослов и новых детей — других, но числом тем же: семь сыновей и трех дочерей.



Виктория Орти

ВЕНИЧКА-ФЕНЕЧКА СЕЛ НА СКАМЕЕЧКУ

Тася плакала. Стояла, прислонившись к Веничкину бронзовому боку. А плакала — о своём ли, о чужом? Не знала, не до того было, не до самокопаний.

В этом скверике сидели посторонние люди, напротив твердокаменно высилось элитное правительственное здание.

Пустые и глупые окна пялились на зеленеющую проплешину в асфальте, выискивая чёрного человека, уткнувшегося отчаянным лбом в ось мироздания.

Сквер пропах мхом, дождём и запахом вокзального перрона. А человек не пропах ничем. Он был давно и безнадежно отлит в бронзе, а бронза не пахнет ничем, кроме бронзы.

Веничка склонился в мучительном похмелье над Тасенькиным каре и дул ветерком на мокрое лицо. Девушка с косой до попы стояла напротив, тоже бронзовая, тоже задумчивая, но трезвая и безразличная.

Мир города стал ясен Тасеньке — ясен до оторопи, до желания согнуть и исчезнуть — словно стала она усталой балериной, отработавшей репертуар и узнавшей, что впереди работа репетитором молодой поросли в хореографическом училище. А смысла в повторе одних и тех же фраз, движений, хлопков в ладоши, отчётов, поглядываний и покашливаний не выщёт даже заядлый оптимист — нет в этом смысла, хоть плачь.

Назавтра она улетела из этого огромного города, схожего с пазлом на тему картины сумасшедшего художника. Цвета, стили, эпохи были притянуты в него неведомым замыслом и небрежно брошены на огромный поднос *а ля рюсс*: разбирайтесь сами, решайте, — какой уголок города любить, какой ненавидеть, где целоваться, где гулять, а где кутить на всю округу.

Веничка помахал ей вослед бронзовой рукой.

Но этого не заметили ни она, ни пара любовников, обнявшихся на скамейке в пропахшем дождём и мхом сквере.

1.

Плакали ли вы когда-нибудь на подлёте к мегаполису при виде обыкновенного шпия телебашни? Полагаю, что нет, мизерные полпроцента способны заплакать и от такого.

Оторопевшие соседи оглядели Тасеньку и не смогли не спросить речетативно:

— Девушка, что случилось? Нужна помощь?

— Вам не понять, ох, не понять, да ведь как понять — вам, не уезжавшим на тринадцать лет в Израиль и не видевшим тринадцать лет этого самого шпия, ох.

— Да поймёте ли вы, каково это — быть увезённой с родной земли в страну, о которой и слыхом не слыхивали, ох.

Так и не дождавшиеся ответа соседи недоумённо замолчали, предложили Тасеньке воды из израильской бутылочки, но она отказалась, не сумев оторвать взгляда от иллюминатора, в который, упрямо надвигаясь, заглядывали низкое небо, да крыши домов, укрывшие москвичей и от неба, и от пристально-нежного тасенькиного взгляда.

А ей хотелось отдохнуть от новостей, сирен, бумов сбитых ракет над головой, ежеминутного страха за маму, ребёнка, от ожидания повестки мужу. Москва сулила отдохновение, мотивчик которого уже звенел в ушах гостьи, блаженно и слёзно улыбавшейся в иллюминатор самолёта.

Аэропорт встретил запахом чужого дома. Тасенька пыталась уловить родной дух, но пахло рутиной, долгом, паспортным контролем. Она не заполнила какие-то бумажки. Проверяющая нудно и строго объясняла, что да как она не выполнила, задержав выход на бесконечные минуты, заполненные мучительным желанием прорвать все барьеры и рвануть — туда, наружу, на родину...

Пришлось заполнить бумажку, дожидаться равнодушного взгляда девицы, сверяющей фотографию с лицом.

Паспортный контроль — на то он и контроль: умеет отметить ненужное.

Встречал Мишка.

— Лица на тебе нет, Таська. Ты с курорта к нам? На каторге отработывала срок или на рудниках имени идей сионизма?

— Ай, оставь, поехали домой скорее, успеется про наши рудники.

— Да ладно-ладно, родная, знаю про вас от и до, задавите уже этих сволочей, сил нет на такие мучения смотреть. Но пасаран мы, в конце-концов, или где? Смотри, не победите гадов, приеду воевать сам, а тебе этого Ирка не простит в жизнь.

— Мишка, до чего же я соскучилась, Миишка. Сами разберёмся, а ты вези меня скорее, вези.

И обняла его так, как обнимают любимого брата после долгой разлуки.

Люди казались живыми. Тасенька верила в то, что она, вернувшись в прошлое, сможет глотнуть воздух московских улиц, пройтись по Большой Никитской, улыбнуться знакомым местам, но — самое главное! — посиделки на московских кухнях... как она ждала и предвкушала каждый миг такой встречи. Кухни, правда, стали другими, совмещёнными с большими и не очень комнатами, смысл-то посиделок не менялся.

Мишка был другом. Но в его масенькой квартирке было не до трёпа и вольного жития, его Ирка и младенец Тошка обитали не только в квартире, но и в Мишкином сердце, и всё его жизненное пространство было занято только ими. Тасеньке стало неловко стеснять, напрягать, сковывать... вот и решила податься к подруге детства, мало того, дочери пап-маминых друзей. Двойная теплота ожила в ней, и сразу припомнились вечера, щебет птиц на даче, голоса взрослых, карамельки даже смородиновый куст, дарящий ягоды стеклянной банке с нежнейшим вареньем.

Родители приучили её к умению тактично и улыбочиво объясняться, поэтому она сумела необидно сказать друзьям о желании переехать.

Мишка и Ирка попытались возразить, но Тасенька нежно обняла обоих разом и проговорила:

— Милые мои, как же я рада за вас. И не думайте, без Иркиных пирожков мне не прожить, я буду гостьей у вас каждый вечер. Пицца московских богов, а не пирожки.

И побежала к телефону.

— Машунь, я в Москве.

— Таська! Срочно приезжай, жду!

— Срочно приезжаю, жди!

И — к станции метро. Там, обдавшись смурным белым искусственным светом, протопав по переходам и потоптав ступени эскалаторов (давно не виделись, привет вам всем, привет!), вдохнув духоту и подпав под ритм спешащей толпы, Тасенька подготовила себя к встрече с подругой. Она проговорила несколько раз: — "Не реветь!" — и настроилась на лучезарное настроение, приправленное щедрым соусом воспоминаний.

Но...

Голос из-за кулисы:

— Но не все так просто, милая Тасенька. Мы становимся взрослыми и покрываемся коростю забот, надёжно защищающей бывшую нежной кожу.

Ты забыла, что поступь большого города — это не танго страстей, не вальс нежности, не румба-шумба, а ритм усталых ног, опущенных плеч и озабоченных лиц. Выживание — вот мелодия, стучащая в сердца, да-да, это вовсе не та музыка из любимых кинофильмов, о которой ты вспоминаешь по вечерам.

И — вот ещё.

Таксисты в Иерусалиме говорят и войне и любви.

Московские таксисты — о войне и врагах.

Это моя первая ремарка на правах резонёра.

2.

Машуня встречала у входа в метро.

Она не просто стала взрослой женщиной. Налет чего-то, пока непонятого, лежал на губах, веках, плечах. Тасенька задумалась на секунду, попытавшись считать код этого налета, но тут же решила расслабиться и не думать лишнее.

Расцеловались, Тасенька расплакалась на радостях, так вот и встретились.

Машуня жила с северным добытчиком алмазов, промышленником из бывших кооператоров, солидным и молчаливым мужчиной. Он был молчалив до такой степени, что первый разговор состоялся только назавтра.

— Ну и как вы там у себя терпите Америку? Не надоело?

Вопрос был настолько внезапным и не к месту, что Тасенька поперхнулась кофе, закашлялась и молча пожала плечами.

— Нет, ты скажи мне, Анастасия, неужели нельзя всех послать на? Вы же, евреи, всё можете, вон как мир скрутили под себя, а дома молчок, под Америкой ходите!

— Понимаете, Николай, я не думаю, что мы весь мир — под себя, а сами — под Америку. Впрочем... я далека от политики, мне бы в своей жизни как-нибудь...

Николай, утратив интерес, больше с ней не заговаривал.

Машуня работала младшим научным сотрудником в крупном институте, изучающем культуру во всех ее проявлениях.

И Тасеньке, поклоннице подобного, повезло попасть на вечер раздачи всяких грамот и почётных знаков. О, она представила себе лица труженников на этой ниве... и стало ей теплым-тепло в том уголке души, который отвечает за еврейскую любовь к русской культуре.

Огромный актовый зал. Колонны. Скучный микрофонный речитатив. Аплодисменты.

Незнакомое ощущение ненужности себя в этом пространстве кольнуло Тасеньку и тут же улетучилось: на сцену вышла Машуня — её Машуня! — и стала читать доклад на тему фольклора в современной литературе.

И надо же! — Веничка, тот самый бронзовый Веничка зазвучал со сцены актового зала. Он обернулся птицею Гамаюн, весело подмигнул Тасеньке и проговорил:

— *Ангелы, Тасенька, любят пьяных дураков. До смерти любят. И мы-то, Тасенька, им цену знаем, вот и пьём, пока девушка с косой до попы в старуху с косой не обернётся, нельзя иначе, Тасенька, наши ангелы только так работают.*

Машуня рассказывала про веничкину семантику смерти и возрождения, Веничка улыбался, ангелы молчали, Тасенька всхлипывала в одноразовый платочек.

Докладчищу проводили аплодисментами.

Веничка вздрогнул, помрачнел и исчез.

Ангелы вытянулись во фрунт, зазвучала громкая мелодия, публика поднялась и молча выслушала её до конца. А Тасенька встать-то встала, но растерянно пыталась найти хотя бы дымку от Венички, хотя бы парок, хотя бы намёк на парок или облачко. Тщетно...

Деканша, высокая полноватая дама в строгом костюме, пригласила Машуню и двух молодых аспиранток к себе в кабинет на беседу. В ответ на заискивающую просьбу взять с собой подругу, прилетевшую из Израиля, дама на миг задумалась небрежно кивнула в ответ, даже не глянув в сторону протеже на час.

В кабинете пахло пыльными шторами и деревом. Деканша налила подчиненным чай, будто не заметив залётную гостью, пытавшуюся минимизировать своё присутствие в дальнем углу в пыльном кресле.

— Девочки, вы ведь понимаете, что ситуация на факультете непростая. Понимаете, да? Нужно показывать работу, доказывать свою нужность. Я прошу подготовить к новому семестру новые работы, времени мало, но вы, конечно, справитесь. Мария, ваша тема будет курироваться мною, поэтому попрошу вас...

Машуня и аспирантки слушали ее, согревая белые, тщательно наманикюрные пальцы о бока стаканов с бордовым чаем. Чай не помогал, их знобило.

Громкий голос начальницы звенел под высоким потолком:

— Мы обязаны. Вы должны. Планы горят. Новые достижения.

...А Тасенька вжималась все глубже в потёртое кожанное кресло, забытое в углу с семидесятых.

Голос из-за кулисы:

— *Казённый дом, Тасенька, повсюду он этот казённый дом. Ты помнишь ли про М.Ц.? Она отказалась от должности переводчика с немецкого в НКВД. Ну, а согласишься... — полезла бы в петлю? Жила бы с петлей, медленно затягивающейся с каждым шагком в сторону. Это мучительней одного-единственного шага вниз. Потому-то и не согласилась: уж лучше сразу.*

— *Сколько их, пристроенных, удачных, живых и кажущихся уверенными в себе, ежедневно шагают на работу и обратно, ощущая петлю, медленно и верно охватывающую шею? Посмотри на лица пассажиров метро, это лица повешенных — головы наклонены, глаза полуприкрыты, мертвенный свет охватывает их тела, растворяя в себе остатки жизненных соков.*

Это я снова на правах резонёра, прости уж, Тасенька. Не удержалась.

3.

— Давай не будем обсуждать мою работу, Анастасия.

Машуня посмотрела на подругу так, как не смотрела никогда раньше. Холдный взгляд будущей деканши сменился привычной улыбкой.

Тася постаралась не разреветься.

Дома ждала гостя. К Николаю приехала загадочная Катюха, подруга и по кооперативным тёмным девяностым, и по устойчивому бизнесу нововремени.

Катюха была ммм... ммм... женщиной странного вида и поведения. Для Тасеньки, не для Машуни — та не просто радовалась приезду загадочной Коляна (так его называла сама Катюха, получая в ответ моментальную улыбку Николая), но принимала загадочную всей душой — во всех смыслах.

Блондинка с грудью из силикона, наращенными багряными ногтями, накладными ресницами, втиснутая в тугие лосины так, что грудь — перебродившим, но упругим силиконовым тестом — выпирала из неммыслимого декольте встала перед ошалевшей Тасенькой и сказала, разлепив налитые ботоком губы:

— Чмоки, детка. Екатерина, можно просто Катюха.

— Здравствуйте. Анастасия, можно просто Тася.

— Ты мне не выкай, Тасюня, обижусь.

И повернулась лицом к своему дружбану или (как там правильно?) корешу.

Да и Бог бы с ними, чёрт бы с ними, леший бы с ними!.. — да вот Машуня... она смотрела влюблённо на обоих и с неловким сожалением на Тасю. Ногти у Таси были короткие и местами даже с заусенцами, про ботокс она знала мало, а про силиконовую грудь и вовсе ничего.

Взрыв случился назавтра. Пили кофе. Катюха рассказывала о вчерашнем походе по модным московским бутикам, смешно растягивая звук а — старалась говорить на местный манер. И, перечисляя покупки, затормозилась взглядом на Тасиной рубашке и джинсах, заледенела вся и произнесла наигранно-тёплым голосом:

— Тасюня, а ты мужик, шго ль, давно не трахал?

— Про-сти... - те, Катя, что?

— Не что, а как. И кто. Ты что, детка, совсем никак и ни с кем, кроме мужа?

— Катя, я не понимаю.

— А что тут понимать, детка, ты почему за собой не смотришь? Ногти бы, кремчик, пушпачик, наши бабские дела, то-сё. Ну и хахаля заведи, чтобы кровь взболтал, а то бледная ты, даром что южная. Как там мужики ваши? Евреи, говорят, не дураки в этих делах, а?

Тасенька смотрела на плотно сбигую женщину, затянутую в лосины. Грудь Екатерины угрожающе вздымалась над столом, губы блестели, ресницы были похожи на мохнатых насекомых, нацелившихся на тасино мироздание.

И тут услышала Тася свой собственный ор, но разобрала и поняла только последнее:

— И не смейте мне тыкать, не смейте.

Убежала и разревелась, выдавливая из себя весь ужас перед катюхами и колянками, накопившийся за эти дни.

"— Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи..."

— Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет..."

Прочла Тасенька в электронной книжке и сразу же уснула.

Голос из-за кулисы:

Ой-вей, Тасенька, не пугайся, эти люди непривычны для тебя, не дано тебе понять и оценить багровый лак с картинкой на длиннющих ногтях, прелесть силикона и ботокса, понты и крутизну мерса на приколе. Ну не дано. Зачем ты плачешь, убежав в свою комнатку?

Да-да, именно они и есть хозяйева жизни. Всегда — испокон веков. Хозяйева жизни, хозяйева бытовухи. Нормалёк, Тасенька, нормалёк, всё путём.

А хозяйева духа сидели на кухоньках, гуляли у Патриариших, трепались до полуночи, бегали на концерты и покупали колбаску да дублёнки у тех самых хозяев быта, несколько даже заискивая при этом.

Такое вот мироустройство в этих краях, из века в век. Купцы, кстати, изрядно подсобили творческому люду, было дело.

Это я, ты помнишь? — на правах резонёра.

Душа твоя взбунтовалась вовсе не из-за силиконовой груди, не из-за понтов, Тасенька. Не выдержала она удара по тому, что заложено в основу твоего народа. "Шир ха-Ширим", "Песнь песней" впечатала в гены его нечто такое, что не в силах мотивчик бластной песенки.

Любовная маета — и тут, и там, но у тебя она одна-единственная.

Ты спи, Тасенька, спи. Получила порцию яда, а теперь поспи. Подарю тебе противоядие — история из другой эпохи приснится тебе в этот час забытья. История из другой эпохи приснится тебе в этот час забытья, она и вылечит.

Яков и Лея

Котя вошёл в свою коммунальную комнатку, сел за стол, налил стакан крепчайшего чая.

Он знал заранее, что сейчас нужно положить на блюдце кусок селёдки, залить уксусом, намочить в нём подгорелую горбушку чёрного хлеба и, насаживая на алюминиевую вилку то хлеб, то селёдку, разжёвывать эту снедь. Жевать хлеб с селёдкой, запивая несладким чаем — и думать про то, что и жизнь стала такого же вкуса.

Прочерк, поставленный между датами рождения и смерти, был ровным, спокойным, чётким.

Котя ничем не запомнился, не вошёл в историю искусства, не открыл новую формулу, даже дом — и тот не построил.

Детей не родил, не передал семя будущим поколениям, чтобы плодились и размножались, а просто поставил точку в конце собственного бытия.

Слишком много несбыточных "не" было в Котиной жизни, поэтому он спокойно смог сказать "да" ангелу смерти, приоткрывшему дверь коммунального приюта.

Мрачное февральское утро и не заметило всполох Котиной смертной радости. А он уходил — не оглядываясь... — туда, где был хотя бы призрачный шанс встретить её, чьё имя пронёс он неизменно в присутствии других людей.

В призрачную щёлочку между "временно" и "вечно" выдохнул имя женщины, шагнувшей — о, он был в этом уверен! — в газовую камеру многолетие тому назад. И — точно так же — проговорившей ответно Котино имя...

"Лея, — проговорил он, — Лея, я иду".

"Я жду, Яаков" — ответила звенящая тишина.

...Началось всё в окопе первой войны двадцатого века.

Котя прыгнул в него, готовясь заколоть щуплого немца. Но щуплый сморщился, прикрыл глаза и проговорил *Шма Израэль*, увидев Котин штык. Ну и всё на этом. Убить не смог, попал в плен.

А что в плену? Да то самое — работа на немецкую семью. То, что было до этого...

Котя мало рассказывал, редко. Разве что — во время чаепитий с единственным приятелем — инвалидом второй войны Мордухом Сиповецким, известным в округе как "дядя Миша пять копеек".

— Самая лучшая ночь была у меня у конюшни. Шестеро в одном стойле, счастье, а не ночь. Не под дождём, не в глине.

— Били за всё, Мордух. Пойло давали мыльное, кипятку не видели, не нюхали.

— Я мертвецов и не замечал уже, проходил мимо.

— Знал бы я тогда, что Лею встречу, бежал бы в эту Германию, как за манной небесной.

— Так-так, — кивал Мордух, тщательно пережёвывая Котино угощение, подгоревшую чёрную горбушку, вымоченную в селедочно-уксусном месиве.

— Определяли нас на разные работы. Иногда попадал я в одну еврейскую семью. Кормили-поили они неплохо, лежанку мягкую выделили, одежду давали кое-какую.

— Так-так, — кивал Мордух, — так-так, — и отхлёбывал из алюминиевой кружки остывший чай.

— Я голос её слышал. Поднял голову — маленькая, складная, глаза... наши глаза, еврейские. Я-то — раб, а она — хозяйская дочка... не пара, думаю, куда там!

— А любить хотелось. Проснулось что-то во мне, заворочалось в сердце. Косички, башмачки, фартучки, всё вызывало оторопь. На войну взяли, а полюбить не успел, смерть в невесты готовили, а я с Леей встретился. — Так-так, — соглашался Миша-полстакана, почёсывая несуществующую ногу существующей рукой, — так-так.

— И она тоже. Пришла ко мне в поле... Да.

Замолкал, уходил в прошлое взглядом, будто выпадал из жизни.

— Не могу я, Мордух, — тяжело вздыхал Котя, — не могу... Глаза её вспоминаю, и нету во мне сил жить дальше. Коса до попы, веришь ли. Лодыжки тоненькие.

— А дальше что? Дальше гурништ, ничего дальше. Обмен.

— Письма писали, пока не началась Гражданская. Но прекратились письма, я думал — замуж вышла. Пил. Не смог жениться, очень уж болело во мне. Ребёнка родила Лея моя. Написала сразу же, что будет ребёнок. А мне не выбраться к ней, хоть плачь, хоть вой. Всё тянул, думал, успокаивал её, потом революция, опять воевал, за власть эту воевал, а за Леюшку не мог, не отвоевал. Ничего не смог, так и... Но надеялся, да-да, надеялся, что она вышла замуж, пусть и с ребёнком, такая красавица-то не могла остаться одна. Они, евреи эти, были современные, культурные, хотя и овощами зарабатывали. Нашли, думал, жениха. Постарше или победнее, но наши.

— *Lieb' Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein!* Спокоен будь, любимый край, твой верный страж следит за Рейном, Мордух, а за моей Леей никто не уследил.

— Сгинула она в концлагере. Знаю я, знаю. Не верю, что смогла не сгинуть. Ты, Мордух, когда рассказал мне про печи в Треблинке, я понял сразу, что и моя Лея сгорела в такой же. И сын сгорел. Не могли все гореть, а Лея спастись, я в ней беззащитность эту сразу понял, она была не из выживающих.

— Пей, Мордух, пей, помянем народ наш, ушедший в небо.

— Лехаим, Мордух, Лехаим.

И опрокидывал стакан в глотку, горящую ненавистью и болью.

...Мордух вернулся в Ленинград, оттуда был направлен в дом инвалидов на Валаам, там и умер. Последнее письмо, полученное Котей, было заполнено ровным убористым текстом и заканчивалось словами:

"Дорогой Яша, спасибо за наши вечера. Я верю, что твой сын выжил и смог уехать в Израиль. И кто знает, быть может, и Лея с ним. А я болею и хочу попроситься. Твой Мордух, Миша пять копеек".

Голос из-за кулисы:

А Лея-то, как оказалось, выжила. Мало того, даже не соприкоснулась с той войной. В начале тридцатых вся её семья собрала пожитки и сумела перебраться в Палестину; в тридцатых перевезли всё семейство, включая Лею и внука — умнейшего молодого человека, гордость деда.

Немецкая алия была нацеленной на выживание, организованной и сплочённой. Парень вышел в люди, фамилия Ортхаймеров стала известна повсюду в Израиле, промышленник и меценат дожил до начала 21 века, Котя ошибся в его судьбе.

А Лея... Да, Лея тихо умерла за год до Коти, рак.

Она ждала всю жизнь неведомо кого.

Или неведомо чего? Чуда?

Но чудеса не всегда могут пробить железный занавес, увы.

Они, конечно, и представить себе не могли, что в недалёком будущем можно будет купить билет и — просто проскочив паспортный контроль — обнять друг-друга. Перед этим списавшись в фейсбуке — всех делов-то, Господи.

Сколько судеб сгинуло, сколько детей не родилось только из-за того, что в вечных войнах убивали тех, кто хотел — да не смог тащить колченогую колымагу человечества.

Хотя... Написав мысленно продолжение истории Леи и Якова в лучших традициях советского хэппиэнда, мы бы увидели на картинке двух счастливых спортивных и розовощёких людей, а на деле... Оба пожилы на этой земле только благодаря тому, что железный занавес был прочен, а стражи знали своё дело.

Резонёр не может промолчать, не в праве.

4.

Она проснулась от прикосновения горячей Машуниной ладони к щеке.

Машуня, глядя куда-то в сторону, проговорила:

— Понимаешь, Тасенька, в этом мире есть вещи... Ну вот такая она, Катюха. Хорошая баба, крепкая, цельная, за Николая всегда глотки рвала, вытаскивала из всякого. Они же друзья ещё со школы, вместе дело на ноги ставили, он без неё не вытянул бы. А ты, Тасенька, чужая тут, тебе нас не понять.

— Это я-то чужая? Я? Да я самая своя, а ты вот стала чужой, Машунь. Что с тобой, ну как же таааак?

Она ревела во весь голос, не стесняясь ни Машуни, ни редких ночных прохожих, ни Венички, вдруг появившегося за окном и улыбнувшегося чисто по-чешки перед тем, как исчезнуть.

Назавтра — в знак примирения — подруги поехали на ВДНХ.

Катюха буркнула им в спину — *давай, до свиданья*, — но Тасенька даже не оглянулась.

На Выставке Достижений их встретила экспозиция живых скульптур. Бывает и такое — люди (а ведь актёры — тоже люди, хотя и причудливые) решают превратиться в статуи, остолбенеть. Ну, да, для заработка. Но превращаются-то всерьёз. Для этого нужно нацепить кучу неудобных одежек и покрыться плотным слоем краски. О, первым-то был сын пекаря, покрытый золотым слоем самим Леонардо! Бедный мальчик погиб, но дело его оказалось живучим и перенеслось в 21 век на крыльях человеческой любви к зрелищам.

Статуи оживали, фотографировались с детьми и мамами, натружено растягивали губы в улыбке. А над живой человеческой толпой вздымалась арка с колхозницей и трактористом.

Стояли крепко, уверенно стояли - тандемом, взметнувшим к небу сноп потенциальных булочек и пирожных, пока ещё не прошедший через молотильню.

И вот тут-то Тасенька зависла. Да, глянув на тот самый сноп, воздетый крепкими людьми из камня.

Она смутно понимала, что в этом символе есть нечто, о чём нужно думать сейчас и немедленно, иначе ускользнёт.

— Машунечка, — проговорила она медленно, чуть ли не заикаясь, — А ведь вас всех тут... собирают в сноп и перемальвают. Ты, Машунечка, понимаешь ли?

— Н-нет, н-не понимаю. Ты, Анастасия, придумываешь тут всякое. Писатель Венедикт Ерофеев, дорогая моя, наговорил много лишнего, но Россия — это не поток пьяного сознания, а уникальная и мало кем понятая со стороны...

Тасенька слушала подругу и понимала — что-то не так, что-то не так, что-то не так.

Писатель Венедикт Ерофеев встал рядышком. Он был трезв и мрачен. Нашлёпка на горле блестела под тусклым московским солнцем, но писатель молчал. Внезапно появилась огромная железная дверь с надписью **ВХОД VIP**, писатель Ерофеев — так и не улыбнувшись — исчез за ней, будто и не было.

Погуляли, поели мороженое, покормили голубей и воробьёв — молча.

Не о чем было говорить, да и не хотелось.

Голос из-за кулисы:

...Молотьба это, Тасенька, вечная молотьба. Ты правильно ухватила колосок понимания, выдернула его из вознесённого снопа и попыталась разглядеть. Но как понять таким вот тасенькам из-за бугра, что собрать страну в сноп и воздеть — силища-то какая нужна да мощь. А то, что колоски потом пойдут на молотильню... ну, так пойдут, это их выбор, не твой. Ты вот рефлексируешь да ревьешь, Веничка пил и мучительно умирал от рака, а Машуня станет деканшей это я тебе обещаю — на правах резонёра.

5.

Она сбежала от Машуни. Переметнулась — испуганной ланью — к Мишке, тот вовсе не возражал, свой в доску парень, а Ирка у него ... правильная Ирка — с короткими ногтями и размахайками-рубашками, ничто в ней не коробило Тасенькиного взгляда.

С ними припомнилось счастливое детство, прогулки в парках, сидение около пруда, друзья родителей — московская интеллигенция, спокойная и умная,

любящая хороший кофе, долгие стояния в очередях за подписными изданиями и билетами и походы на выставки и в театры.

Тасенька побродила по Арбату, посмотрела пару прогремевших спектаклей и почти забыла, что в этой самой Москве живёт Колян, аннексировавший её Машуно, что именно здесь обитает силиконовая Катюха, ставшая лучшей Машуниной подругой, что деканша есть и будет есть и властвовать над Машуниной вселенной — до тех пор, пока сама Машуня не станет деканшей.

Она даже про сноп на ВДНХ забыла. Почти забыла. Постаралась забыть — это точно. А вспомнила в тот миг, когда пришла попрощаться с Веничкой. Злые ангелы этого места нашептали ей — шёпотом ветра, шелестом старого клёна, шорохом травы — страшные слова о том, что прошлое следует оставлять в прошлом.

— И не оборачивайся на Содом. А уж коли не сумеешь не обернуться, то застынешь вмиг. Вот Веничка обернулся — и нате! — стоит в бронзе, не пошевелиться ему, не выдохнуть. Но Веничке-то на роду написано было стоять в этом сквере, а тебе нужно прочь, прочь, прочь, к другому племени приписана, а это клеймо непростое, про него не забыть.

Веничка-фенечка сел на скамеечку, а люди сказали — пошел-ка, Веничка-фенечка, где твоя феечка? Феечка бродит с кошёлкой.

Тасенька бормотала себе под нос новую считалочку, зная наперёд, что водить всё одно — ей. Она молча попрощалась с забронзовевшим Веничкой, отвернулась и пошла собирать вещи, готовиться к перелёту. Впервые за свою — пусть и юную — жизнь, она знала точно, что летит домой.

Голос из-за кулисы:

Фенечка — дело тонкое, не каждому подойдёт. Украшения разные бывают, кому изумрудинку нужно в перстенёк, кому бриллиант на ухо, кому платину на палец. А фенечка мало кому подходит, пусть и самая отменная.

Ты придумала чудесную считалочку. И ты непременно выиграешь игру в прятки с самой собой, выбежишь на залитую светом поляну и трижды ударишь ладошкой по сказочному Дереву.

Это я тебе обещаю по правурезонёра, обещаю в последний раз. И медленно опускаю занавес.



Анна Агнич

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ

Рассказы

Девочка в окне

В Праге мы не ходили в музеи, а бродили по городу, заходили в пивнушки, сидели в скверах, будто мы не туристы, а жители, пусть всего на неделю. У мужа спрашивали дорогу, и я дразнилась, что он похож на местных любителей пива. У него всегда дорогу спрашивают, вид у него такой — всюду местный.

Жили мы на Вацлавской площади. В первый день видели демонстрацию — небольшую толпу людей, они что-то скандировали, не разобрать что. Присмотрелись к плакатам: против войны в Сирии — ну, это ладно, это ничего. На другой день снова митинг — в защиту Тибета. У статуи Вацлава часто митингуют.

На стене видели граффити — советские танки. В гостинице я включила компьютер и стала искать улицы, где танки шли в шестьдесят восьмом. Это было прямо здесь, под нашими окнами. Здесь они шли.

— А ты не знала? — спросил муж. — Я думал, ты нарочно выбрала эту гостиницу.

Тогда, в шестьдесят восьмом, из этого окна было видно, как чехи пытаются остановить танки руками, и сидячая демонстрация у статуи Вацлава, и плакат по-русски: «У нас есть убитые. Что ты скажешь своей маме?» Только тогда был август, деревья в листве. Я взялась за бронзовую ручку окна, и ладонь собственной своей памятью вспомнила другую ручку, так же лежавшую в ладони, и окно в другом городе, в другой стране.

Не помню, как назывался тот украинский город, кажется, Винница — или Умань? Гостиница старинной постройки: толстые стены, темные рамы, бронзовые завитушки дверных и оконных ручек. Я днями сидела на широком подоконнике, ждала маму, читала книги и жевала конфеты — в то время сахар считался полезным для сердца. Утром летнее солнце падало в мое окно, и штукатурка дома на другой стороне улицы нежно светила изнутри, как шелковый абажур или яйцо на просвет.

Мама в том городе, Виннице — или Умани, вела журналистское расследование. На заводе случилась авария, директор пытался свалить вину на инженера, хотя тот как раз предупреждал, что цех надо закрыть, в нем работать опасно. Теперь инженеру грозила тюрьма, он пожаловался в газету, и мама приехала его защищать. Точнее, не защищать, а разбираться.

К обеду мама возвращалась в гостиницу, мы шли в гастроном, покупали чего-нибудь: колбасы, молока, хлеба. Ели в номере или на лавочке в парке, играли в слова, болтали ногами, угощали голубей.

Как-то ночью меня разбудил необычный шум. Воздух дрожал и гудел, причем не снаружи, а внутри, в грудной клетке. Дверца шкафа открылась и качалась туда-сюда, мелькая в темноте зеркалом. Дребезжали оконные стекла, вибрировал пол. Я открыла окно, и грохот оглушил меня. Проснулась мама, подошла, обняла

сзади, положила подбородок мне на макушку. Мы стояли и ждали, не зная чего. На улице было почти светло: то ли от фонарей, то ли от луны, не помню. Грохот и язг стали ближе, справа показалось что-то темное и большое, во всю ширину улицы. Оно двигалось к нам.

— Танки, — сказала мама. — Просто много танков.

Широкие, намного шире обычных машин, они шли близко друг за другом, почему-то задом наперед. От них поднимался дым, едкий выхлоп, светло-серый в свете то ли фонарей, то ли луны. Я закашлялась, мама закрыла окно. Мы сидели на вибрирующем подоконнике, закутавшись в одеяло, долго сидели, пока не прошли танки.

Утром мы вышли купить чего-нибудь на завтрак. В гастроном было не пробраться, очередь стояла вдоль всего квартала и заворачивала за угол. Угрюмая, молчаливая очередь.

— Знаешь, за чем они стоят? — рассмеялась мама. — За солью, хлебом и спичками!

По тому, как она это сказала, было ясно: они глупые паникеры, а мы — молодцы. Мама нашла офицерскую столовую, показала удостоверение журналиста, наспустили. До сих пор помню котлеты с картошкой, сероватые тарелки с синим ободом, доски пола, выкрашенные желтой краской, и мужчин в форме — совсем других, чем в обычных столовых. Было тихо, офицеры разговаривали вполголоса.

Я не знаю, чем кончилось мамино расследование, за кого заступилась ее статья: за инженера или директора. Мне хотелось, чтобы за инженера.

Через много лет я сопоставила даты: это было летом шестьдесят восьмого года. Мы видели танки, идущие в Чехословакию. Недавно один знакомый сказал мне, что их не могли пустить по городским улицам, гусеницы разворотили бы асфальт. Но я-то помню. Я и в кино с тех пор вижу танки иначе — они больше и куда страшней, чем кажутся на экране.

Под окном гостиницы шумела Вацлавская площадь. Солнце отражалось от стены нашего дома — и штукатурка дома напротив отсвечивала теплым, шелковым сиянием. Я снова села к компьютеру, отыскала в давней кинохронике нашу гостиницу, в то время жилой дом. В кадре мелькнуло окно, в нем женщина, похожая на меня. Нет, не на меня, эта женщина была в точности моя мама. Та же прическа, такая же тонкая рука на темной раме. А возле нее, чуть впереди...

— Смотри, видишь, девочка! Ну вот же, волосы хвостиками. Ну вот же, видишь?

Я крутила видео снова и снова, муж всматривался в экран, качал головой:

— Это так падает тень. Останови кадр.

В неподвижном кадре девочки не было, она появлялась только в движении.

Муж подал салфетку, и я поняла, что плачу. Даже не плачу, просто слезы текут по щекам. Мне было нужно, почему-то очень нужно, чтобы в августе шестьдесят восьмого похожая на меня девочка стояла с мамой в Праге у окна, как я тогда в украинском городе — Виннице или Умани, не помню. Будто это я стояла здесь, смотрела вниз на Вацлавскую площадь. Я же помню, как отзывался под ребрами гул, дрожал подоконник. Я даже знаю, как пахло здесь — едким машинным выхлопом.

Муж подал мне еще салфетку, наклонился к экрану и сказал:

— Да, похоже на девочку, пожалуй...

Теперь, когда он перестал спорить, я увидела, что никакой девочки нет, — просто так падает тень.

У подъезда

Ох, какой ветер! Возле дома тихо, а свернешь за угол — налетает, дергает полы пальто, разматывает шарф. Ветер срывает с маминой головы берет, я бегу за ним, он катится, виляя, как кривое колесо. Догоняю, промахиваюсь, ловлю, возвращаюсь к маме. Она сидит, как я ее посадила, на бетонной тумбе. Молодец.

— Давай не пойдем на набережную, мам? Посидим у дома? А то нас обеих сдует в океан.

— Мне все равно где, лишь бы с тобой, — отвечает она и смотрит снизу вверх огромными сквозь сильные линзы глазами.

Я прилаживаю на мамины волосы берет. Они не меняются, эти береты: та же плотная шерстяная фактура, спиральная мелкая вязка и бодрый хвостик на макушке — что в России, что во Франции, что в Америке. Что сейчас — что в моем детстве лет сорок назад.

На нашей улице почти безветренно. Соседки подвигаются на лавочке, дают нам с мамой место. Они удивительно музыкальны, эти женщины у подъезда, чувство ритма у них, как у актеров немого кино. Но нет, пожалуй это не фильм — это опера в концертном исполнении. Невидимый дирижер взмахивает рукой, стихает увертюра брайтгонского сабвея, и вступает первая женщина — та, что помоложе. На ней кремовая шуба, безумная алая шляпа и шарфик в тон.

— Вот туфли, — выводит она медовым контральто, — сто пятьдесят долларов, а уже разваливаются! — она поднимает ногу с подножки кресла-каталки, чтобы все могли видеть маленькую туфлю с огромной, как из комедии Мольера, пряжкой. Женщина сидит в своей каталке криво, ей явно неудобно.

— А мои, — подхватывает слабым сопрано рыжая бабулька, — стоили восемьдесят, а второй год ношу!

— А мои тридцать, — отрывисто бухает крупная старуха с волосами фиолетового цвета и топает большими ступнями: сперва одной, потом другой.

Слушатели ждут продолжения, но фиолетовая уже все сказала и сидит, свесив голову, уперев локти в толстые колени. В советские времена такого оттенка волос добивались, добавляя в воду школьные чернила. Интересно, где их находят здесь, в Нью-Йорке?

Рыжее сопрано:

— Почему Дора не вышла, кто знает? Надо ей позвонить, а вдруг заболела? А Софу-то, Софу, знаете, уже привезли из больницы.

— Как! Когда? Что случилось? — хор вразнобой, как в современной опере.

— Чаем обварила, вот тут и тут, — гордится осведомленностью рыжая.

— Не показывай на себе! — бьет ее по руке фиолетовая. — Ты лучше скажи, как твой артрит?

— Да когда как, а когда никак. Пусть бы дальше так, пусть бы и дальше, лишь бы не хуже.

— Я мазью мажусь и пластырь клею, — снова бухает фиолетовая, расстегивает куртку и обнажает плечо. Все смотрят на вздутое тело, сероватую ткань пластыря. Я невольно воображаю фиолетовую голой: огромные ляжки, вислый живот закрывает седые волосы паха. Куда смещается пуп, когда живот обвисает так, что даже сквозь куртку видно? Кожа растягивается, а пуп куда?

— Не могу я себя мазать, ничего на себя мазать не могу! — подбирается к верхнему «си» рыжая, передергиваясь, как от прикосновения медузы, и добавляет октавой ниже. — А у моего Фимочки сегодня день рождения.

Хор нерадостно поздравляет — у рыжей сын лежит второй год после аварии.

— Пусть бы и дальше так, лишь бы не хуже, пусть бы и дальше так... — бесмысленно звенит рыжая. Нет, это не сопрано, это бубенцы или вовсе треугольник.

Пауза.

— О! О! О! — выдает полновесным контральто кремовая шуба, с каждым «О!» повышая тон. — Куклу везут!

Все оборачиваются. Тошенькая узбечка толкает кресло на колесах. В нем полулежит закутанная женщина, колышется копной сена. Лицо опухшее, совсем не старое — или это гладко натянута отёчная кожа?

— Во, — басит кукла из-под шарфа, — такой ветер у океана, такой ветрюган! Во — сломал мне зонт.

— Да выбрось ты его! Выбрось этот зонт! — энергично вступает хор.

— Не-а... мы дома глянем, мож зашьем. Гля, как спицы острые! — басит кукла и перебирает пальцами-сосисками тонкие ребра зонта.

— Выбрось-выбрось-выбрось! — ишь как грянули дружно, прямо «Многая лета!»

Мимо лавочки, не здороваясь, проносится девушка, черные волосы по плечам. Как ласточка влетела в подъезд.

Пауза.

— Она думает, мы никогда такими не были, — тоненько звякает рыжая.

Фраза повисает без отклика — никто на лавочке у подъезда не причисляет себя к этому «мы». Ни кремовая шуба, ни моя мама, ни тем более я. Неужели сцена закончится на слабой ноте? Но нет, дирижер на месте, он тянет, тянет паузу — и взмахивает рукой. Фиолетовая завершает сцену грохотом литавр:

— Держи карман шире! Она про нас вообще не думает.

Снова пауза.

Фиолетовая, дробно:

— Этот, Алкин муж-то, Киркоров! Его все обирают, да. А Галкина поди обдери! Он хитрый. А Баскову квартиру кто-то дал. В десять миллионов евро.

Мама тянет меня за рукав и тихо спрашивает:

— Кто такой Басков?

— Да ну, — звенит рыжая, — уж прям десять миллионов? Уж прям евро?

Кремовая шуба молчит, улыбается высокомерно: она здесь только потому, что у океана ветер. В инвалидном кресле она сидит по-прежнему косо. Ее темнокожая помощница, не говорящая по-русски, прислонилась к стене и смотрит в небо. Я поднимаю глаза: облака поперек узкой улицы летят удивительно быстро.

Мама помалкивает, бережет свою репутацию умной дамы. Правильно, пусть соседки помнят ее прежней.

Фиолетовая поворачивается к нам:

— Олечка, вы газету прочитали, что я вчера принесла?

Мама пыгается понять, о чем ее спрашивают.

— Что, не прочитали?

Мама выпрямляет спину:

— Прочла, а как же. От корки до корки!

Вот молодец, незачем им знать, что бывают дни, когда она не может читать, буквы не складываются в слова. Поначалу она переживала, плакала, а теперь не жалуется, смирилась. А может, забыла. Никогда не знаешь, о чем она забыла, а о чем не хочет говорить.

Выходит еще соседка:

— Олечка, ну как? Отметили? В ресторане или дома? Гостей много было?

— Гости вечером придут, — отвечаю я за маму.

Хор вразнойбой:

— Олечка! Что, как, день рожденья? Разве у вас не летом?

Соседка объясняет:

— Они придумали ей каждый месяц день рожденья отмечать. Вот молодцы!

Затя с днем рождения и впрямь была удачной, мама обожает торжества. Она возглавляет застолье, говорит тосты, иногда забывает слова, но достойно выходит из затруднения.

Мама встает, опираясь на мою руку, — знает, в какой момент уйти, у нее всегда было развито актерское чутье. Прислушивается к репликам соседок за спиной:

— Такие дети! Золотые дети... А муж какой был — брильянт! Вы помните? Красавец! Какая была пара...

Я поживаюсь. Были бы хорошими детьми, жили бы в одном городе. А так... обстоятельства, мол, обстоятельства. Бедная, бедная мама. И бедные, бедные мы.

Мама поднимается по ступенькам, держась двумя руками за перила, как за канат. Я не помогаю, только подстраховываю: она хочет все делать сама. На верхние этажи идет лифт прямо из вестибюля, а на первый этаж — лестница, семь ступенек. Когда мама снимала эту квартиру девятнадцать лет назад, что ей были какие-то ступеньки? Она и не думала стареть: был новый молодой муж, праздники, поездки, спектакли, розыгрыши. Она хотела жить у океана в хорошем доме с низкой квартплатой, и дала порядочную взятку, чтобы снять эту квартиру. Я возмущалась:

— Мам! Разве мы для того летели в Америку, чтобы здесь взятки давать?

— Не волнуйся, доченька, Брайтон не Америка. В остальной Америке все, как ты хочешь, — сказала тогда мама и поступила, конечно же, по-своему.

Я накрываю на стол. Дневную помощницу мы отослали домой: пусть отдохнет, у нее тяжелая работа, нервная. Не все выдерживают маму, она у нас сильная личность. Если ей хочется в три часа ночи пройтись по зимней улице в пижаме, она будет бить кулаками в дверь и кричать:

— Почему я, взрослый человек, не могу пойти, куда хочу?

Сиделки звонят мне, я включаю компьютер, чтобы мы с мамой друг друга видели, и приглашаю ее поболтать. Мама успокаивается, наутро я повышаю сиделке зарплату. Ночных нянь мы нанимаем сами, а дневных оплачивает штат — этих я стараюсь отпускать домой, когда приезжаю в Нью-Йорк. Все равно мне никуда не уйти, мама скажет: «Иди, доченька, конечно, повидай друзей», — и сядет плакать.

Спасибо, мой муж соглашается проводить здесь часть отпуска. За неделю мы маме надоедем, и она отпускает меня с облегчением. Кто знает, сколько их осталось, этих недель.

Лавочка у подъезда пустеет.

Рыжая старуха идет к сыну Фиме. Свой день рождения он праздновать не хочет, лежит, устал в телевизоре. Врачи говорят, депрессия. Еще бы не депрессия: молодой пятидесятилетний мужчина второй год лежит парализованный. Новая жена ушла — а не надо было старую бросать, на фифочке жениться. Хорошо, помощница есть от государства, а то бы вообще... В квартире два телевизора — сын терпеть не может программы, которые смотрит мать. Сегодня про женихов и невест — эту передачу рыжая не пропускает, волнуется, кто кого выберет.

Женщина с фиолетовыми волосами идет домой, сдирает лидокаиновый пластырь и стоит в наполненной паром ванне под горячим душем, греет плечо до малинового цвета. Вены на ухабистых ляжках — как реки на контурной карте. Левая еще ничего, а на правой вздуваются и болят. Фиолетовая надевает мужской халат и торопится к телевизору смотреть про женихов и невест. Ей-то самой передача не нравится, ей бы про спорт, но завтра станут обсуждать на лавочке, надо быть в курсе.

Кресло-каталку с распухшей женщиной по прозвищу «кукла» тощенькая помощница заталкивает в лифт — наискосок, иначе не поместится. Куклина нога больно упирается в стенку. Дома ее перекалдывают на кровать при помощи специального подъемника с цепями. Кровать тоже специальная, с мотором — дорогушная, государство платит. Кукла смотрит передачу про женихов и невест, по вздутым щекам текут слезы. Она не пытается их вытирать, ей больно сгибать в локтях руки.

Женщину в кремовой шубе тоже везут домой в кресле. После ужина она отпускает помощницу, включает компьютер и проверяет почту.

В маминной квартире уже накрыт стол, скоро появятся гости — мои двоюродные братья с женами. В девять придет ночная помощница, у нее дежурство будет беспокойное: завтра я уезжаю, мама в такие ночи не спит, проверяет, здесь ли еще мое пальто. Ляжет и снова вскакивает, боится, что уеду не попрощавшись, хоть я так никогда не делала. Правда, в обычные ночи она тоже мало спит, бродит, ищет сама не знает что, иногда просит, чтобы ее отвели домой. Где этот дом, не знает никто, и меньше всех она сама.

Приходят наши гости. Белая скатерть, мельхиор, цветы — все, как мама любит. Именинница говорит тост. Сначала бодро, потом устает, путается:

— Дорогие мои, спасибо вам! Не за то, что вы для меня делаете, а за то, что вы делаете это с улыбкой. Люди все нужны и интересны, но не все добры, талантливы и красивы. Я пью за добрых, талантливых и красивых... пусть будет хорошо! И пусть всегда памятиново...фимолал... — она удивленно прислушивается к тому, что выговаривает язык. Берет себя в руки, поднимает трясущийся бокал, и, сияя улыбкой, заключает: — Пусть всегда — и очень — и всегда!

Мы чокаемся и выпиваем за ее здоровье. Пусть всегда — и очень — и всегда!

К десяти вечера наши гости расходятся. В доме один за другим выключают телевизоры. Соседи укладываются спать, и только хозяйка кремовой шубы сидит у компьютера всю ночь, печатает скрюченными пальцами. Она популярна в интернете, ведет с полдюжины пылких романов, поклонники настаивают на свидании, она обещает встретиться, но всегда ускользает в последний момент. Для них она — молодая аргентинка по имени Исабель, изучающая русский язык танцовщица фламенко. Сегодня Исабель пишет о кастаньетах — не пора ли ей от них отказаться? Кастаньеты мешают грациозности движения флорео, когда кисть поворачивается и раскрывается, распускается постепенно как цветок. У Исабель выразительные руки с тонкими пальцами.

Она печатает русскими буквами завораживающие испанские слова и напевает ритмично и живо: «Сагадеадо, пигос, пальмас! Сагадеадо, пигос, пальмас...». Научиться языку этого танца хозяйке кремовой шубы было легко: до инвалидности она, в самом деле, была танцовщицей. Правда, не фламенко — но какая кому теперь уже разница.

Аргентинка Исабель уходит спать в шестом часу утра. Над Брайгоном грохочет, взвизгивает и затихает сабвей. Мама тихонечко, с остановками, идет по коридору взглянуть на мое пальто. Я вижу во сне, будто я большой барабан, и сам дирижер пробирается между полиграмми, чтоб вопросительно тронуть мембрану фетровой колотушкой.

Дровяная печь

Роман Ефимович, гвардии подполковник в отставке, вытащил из кустов стремянку, приставил к окну второго этажа, огляделся — не смотрит ли кто, и полез наверх. На все про все у него минут сорок: пока жена котлеты жарит, она из кухни не выйдет.

Закончил с одним окном, переставил лестницу к другому. Все, пора сворачиваться. Глянул на часы — чувство времени не подвело: тридцать девять минут, ноль-восемь секунд. Отнес стремянку в кусты, спрятал банку с краской. Еще десяток погожих дней — и все подоконники будут как новые. Домашние не заметят, у них глаз не настроен на эти вещи, а дерево не станет гнить. Вот вам и семьдесят восемь лет, вот вам и «не лазь, папа, не рискуй!» За шесть лет в Америке вон как детям дом в порядок привел — потихоньку, не спеша, чтобы этот, как его... кардиостимулятор поспевал.

В тринадцать ноль-ноль Роман встречает желтый школьный автобус. Внучки бросают рюкзаки на асфальт и гоняют с соседкиными детьми в пятнашки. Младшая становится на свой рюкзак и кричит: «No babysitting! No babysitting!» Ага, понятно, это у них вместо нашего «за одним не гонка, человек не пятитонка».

Пятитонка, полуторка... угловатый зеленый грузовичок... где Роман его недавно видел? А, да, сегодняшней сон! Пыльная сумеречная площадь, он стоит с отцом, что-то важное хочет то ли сказать, то ли услышать. Подъезжает грузовик: дощатые борты, в кузове солдаты — круглолицые, румяные. Отец запрыгивает через борт, Роман еще удивляется, как легко у него получилось. Отцовский тулуп на глазах превращается в солдатскую форму первой мировой войны. Почему первой — он же воевал на второй? Грузовик отъезжает, среди молодых солдат выделяется старое лицо отца. Но вот оно разглаживается, розовеет, вот уже неотличимо от других. Так Роман и не успел то ли услышать, то ли сказать что-то важное, теперь уже не узнать что.

Он приводит внучек домой и сдает жене, а сам принимается за дела. По четвергам уборка в гараже — у него все по расписанию, тридцать лет на гражданке не изменили привычек. На цементном полу свалены картонные коробки, их надо разломать и связать в плоские пачки — пойдут в макулатуру. Четыре банки клюквенного сока: видно, сын привез и бросил где пришлось. Три банки Роман ставит в шкафчик, а одну несет в подвал, в свой чулан.

Здесь идеальный порядок: на нижних полках соки и вода, над ними в герметичных контейнерах крупы, мука и орехи — перед тем как запечатать, он их держит в морозилке, чтоб не завелся жучок. Два ящика свечей, три сотни банок консервов — даты надписаны, он регулярно освежает запасы. Если вдруг что, семье хватит перезимовать, еще и соседей поддержать от щедрот. Народ здесь в Америке не пуганый, не запасливый, жареный петух в одно место не клевал. Тут никто в жизни не видел пустых магазинов. А если ураган дороги размоет? Или электричество вырубится надолго, месяца эдак на два?

Здесь все на электричестве, бензина на заправке — и того не налью; сиди тогда, кукуй — ближний магазин в шести милях. Надо бы вырыть погреб во дворе, горючего для генератора запастись в герметичных канистрах, но это потом, первым делом — дровяная печь. В доме отопление газовое, а без тока не работает: это ж надо — не предусмотреть ручного режима! Разве можно надеяться на электричество? Ну и что, что вся Америка надеется... Если все дурни губошлепые, так и са-

тому туда же? Печку поставить в подвале простую, железную, обложить камнями — чтоб набирала тепло и отдавала постепенно. Когда к морю семьей ездят по выходным, Роман прихватывает домой пару-тройку гладких булжников — уже целая горка за кустами. Дрова тоже запасает постепенно: участок большой, лесистый, веток падает много, весной здоровенный клен ветром свалило. Попилил, поколол — с полкуба добавил в поленницу за сарай, под самодельную крышу.

Приехали с работы дети. Роман выходит, осматривает машины: не спустило ли колесо, нет ли царапины — в автомагазине краска продается точно в тон. За ужином, когда все наелись маминих котлет и пришли в хорошее настроение, Роман в который раз заговаривает о печке. Дети переглядываются, вздыхают. Невестка говорит:

— Папа, мы решили в этом году ничего не делать. Не потянем пока — страховка вырастет, налоги тоже. Давайте отложим разговор на пару лет?

С невесткой Роман не спорит. На сына может прикрикнуть, а на нее — никогда. Тихая вежливая женщина с нежными белыми руками и маленькими, трогательно пухлыми ступнями, она всегда смотрит ласково, говорит спокойно. Устает, бедняжка, не высыпается, на работу выезжает в шесть утра. В школе американских оболтусов учить — тут не только устанешь, тут с ума сойдешь. И платят мало. Но ей важно делать живое дело, а не в корпорации деньги зарабатывать. Это Роману понятно, сам такой.

Перед сном они с женой выходят погулять. Небо ясное, звезды крупные. Возле перекрестка Роман обхватывает жену за плечи и ведет дальше, обняв, потому что здесь она обычно вспоминает, что хочет увидеть падающую звезду, и перестает смотреть под ноги.

Потом, когда засыпают все дети — и маленькие, и взрослые, он ходит по детской половине дома, гасит свет в ванной и коридоре. Проверяет подвал — так и есть, лампы горят: видно, сын спускался за чем-то.

Под утро ему снится сон. Этот сон часто снится, но почему-то всегда забывается. Другие помнятся, а этот нет. Заснеженные маскировочные пригорки раскалываются надвое, расходятся в стороны. Откидываются массивные крышки ракетных шахт. Откуда-то с большой высоты Роман видит в широких воронках округлые рыла боеголовок. Одна шахта пустая — нет, не может быть... сердце дает сбой — где ракета? Как она могла исчезнуть? Это конец, это позор, это расстрел... Уже внизу, под землей, в командном модуле, он орет на дежурного майора, орет страшно, так, что голова чуть не разрывается от давления изнутри, но из горла выходит только сип.

Роман дергается, стонет, и жена, почти не просыпаясь, дует ему на лоб — так она дула на детские лбы, когда сыновьям снились кошмары. Роман успокаивается, сон меняется: все ракеты на месте, в идеальном порядке, готовые к пуску. Вздрагивает земля, из желтоватого дыма, опираясь на короткие огненные столбы, взлетают баллистические ракеты и скрываются в темном небе как постепенно гаснущие звезды.

От вверенной Роману базы через Северный полюс до США им лететь двадцать минут сорок секунд. Ну и бабахнет там сейчас! Электричество точно вырубится. Ничего, пока долетят, он успеет поставить детям печку. Дрова есть, зиму переживаем, а там видно будет.

И он улыбается во сне.



Моше Гончарок

СЕРПАНТИН

Рассказы

Сент-Луис блюз

Так говорил бывший директор архива в Яд ва-Шем: я, говорил он, когда нас освободили, вышел из Освенцима, где находился с 1940-го, и веса во мне было 42 кило, и вот я вышел в поле и пошел, качаясь, к лесу — просто так пошел, совершенно бездумно, чтобы посмотреть на травку и на деревья, у меня вообще в голове в те дни никаких мыслей не было; и вот на опушке я увидел чистенький такой домик, и там в саду играли дети, и хозяйка доила корову.

И мне вынесли хлеба, и намазали его маслом, и я жрал, и давился, и даже прискуливал при этом. И дети на меня смотрели во все глаза, а я жрал и смотрел на них, и тоже ничего не понимал — как это так, что они вот одетые, чистенькие, а моих сестренек сожгли в крематории сразу после прибытия в лагерь, они тоже были маленькими. И я понимаю, говорил он, что никто не может и не обязан ставить себя на мое место, и никто не виноват, что на это место себя поставить не может, но мне, говорил он, всегда было странно, что, когда "Сент-Луис" с беженцами подошел к кубинскому берегу, и им не дали сойти на берег, и корабль вернулся в Германию, — не понимаю, как это так, что когда пароход еще стоял у берега, и в городе зажигались вечерние огни, там справляли свадьбы, и люди шли в рестораны и в кино, и кто-то из прогуливавшихся по набережной небось посмотрел в сторону моря и сказал: гляньте — на рейде пароход какой беленький...

И, — говорил он, — я понимаю, что никто тут не виноват, и я не к тому рассказываю, что вот, мол, я в лагере смерти пять лет пробыл, и номер у меня на руке будет синеть до смерти, а вы, мол, ничего не испытали, и вечно передо мной виноватыми будете — не к тому вовсе; а к тому, что я просто не понимаю, как такая ситуация может быть в принципе, сама по себе, что никому ничего объяснить невозможно, и поэтому я отказался писать мемуары, по которым какой-то поц в Голливуде собрался ставить фильм, это такое дело, говорил он — мы поколение молчания, потому что объяснить то, что было, совершенно невозможно, никому невозможно такое объяснить, и не нужно объяснять, а вот Теодор сказал мне как-то — после Освенцима нельзя писать стихов и, когда мир узнает о том, что было, никто никогда в мире стихов писать больше не будет; но ведь пишут же, и хорошо пишут, и даже гениально, и я думаю — это хорошо, притом что изначально происходит это от невозможности объяснить.

Я вот с тобой говорю на святом языке, а дома мы тогда говорили на другом языке, и этот язык умер вместе с теми, кто на нем говорил, его тоже сожгли, язык; мне Зингер как-то сказал, после получения Нобелевки по литературе: я пишу на мертвом языке, а не на английском потому, что если он был хорош для тех моих любимых, кого сожгли, то он и для меня хорош, я не отступаю от своих мертвых. А Бог, говорил он, молчит вечным молчанием, и никого не спас, и раз уж Он молчит, так и мне ни к чему рассказывать и писать мемуары, по которым этот голли-

вудский поц хотел фильм поставить — и даже не потому, что я не могу вслух вспоминать то, что было, а потому только, что все равно этого не объяснишь, это только те поймут, кто там был, но те, кто был, и сами все понимают, и им ни к чему мои мемуары.

Я, говорил он, хочу думать, что это никогда не повторится, я твержу это как заклинание с того самого дня, как оказался в этой стране, ты не поверишь — каждый день, как просыпался, и ночью перед сном, как мой папа, который вылетел дымом в трубу, когда-то в Варшаве вот так же утром и вечером повторял "Шма Израэль", и я, когда повторяю, что не повторится, даже раскачиваюсь так же, как он. Но ты тоже ничего не понимаешь, и это хорошо, что не понимаешь, ведь ты там не был.

И он замолчал, и уставился в окно своего кабинета, на парящие под неистовым августовским солнцем бурые холмы, и забыл обо мне. Я постоял, переминаясь с ноги на ногу, а потом подергал его за закатанный рукав, отводя взгляд от синей татуировки у сгиба локтя, и кашлянул. А что за Теодор, который тебе сказал, что теперь нельзя писать стихов, спросил я. Он очнулся и сказал по-русски — Адорно; иди, мальчик.

Чудо

Сегодня днем я отправился гулять с дочкой. По дороге мы читали Гомера, а потом зашли в гости к раввину Г., которого я порадовал историей со скрижалями Завета, которые оказались сапфировыми.

Чудо! — закричал поддатый Г. — Подлинное чудо! О чудо! — Он воздел руки. — О мамма миа! Я тридцать лет учил Писание с комментариями — и в итоге напрочь забыл, что это воистину так!.. Ты — кудесник, любимец богов!

Раввин Г. одно время, еще в прошлом веке — между пребыванием в лагере и эмиграцией — был преподавателем русской словесности, и он до сих пор сыплет цитатами из классической литературы.

Мне стало совсем приятно, и даже самому захотелось совершить маленькое чудо — и вот, пока моя дочка играла с двенадцатью детьми раввина, мы решили его организовать. Чудо организовать, я имею в виду. Раввинша, дымя беломором, принесла из кухни и, морщась от дыма, грохнула об стол трехлитровую бутылку шотландского виски. Мне становилось всё приятнее и приятнее. Мы цитировали стихи Писания и стихи Франсуа Вийона, мы закусывали вареной картошкой с селедкой, мы пели под гитару "Хорст Вессель". Когда уровень коричневой жидкости в сосуде опустился до самого ложного доньшка, я понял наконец, что способен совершить чудо. И я совершил его, клянусь мамой.

В многоголовом, как гидра империалистической агрессии, семействе раввина живет гигантский кактус с сорокапятисложным латинским именем. Он приехал из Мексики, и для простоты я называю его Кетсалькоатлем. Он живет в углу гостиной уже тридцать пять лет, но ему, в отличие от раввина, очень неудобно в эмиграции. За все эти годы он ни разу не цвел. Тридцать пять лет он стоял в огромном глиняном горшке — одинокий, сухой, мрачный и колючий. Я всегда утверждал, что это оттого что в квартире Г., двадцать четыре часа в сутки предающегося с многочисленными учениками комментированию Писания, воздух так загустел от учености, что кактус просто не может дышать. Раввин свирепо спорил с этим — но

не сегодня. Сегодня, в честь открытия сапфировых скрижалей Завета, он наливал мне шотландское виски в огромный турий рог, который когда-то подарил ему архиепископ Кенгерберийский, его личный друг.

...Чудо! — протяжно, нежным голосом кричал раввин, чавкая селедкой, — чу-у-удо! Как хорошо-то, Господи! Сотвори чудо!

И Господь сотворил его, избрав посредником меня. Аз, недостойный, видел это своими глазами. Бедный кактус, — вздохнула раввинша, наливая себе последнюю стопку. — Надо его полить еще раз. Может, он тогда все же расцветет... Миша, полей его. Вон там стоит пластиковая бутылка с водой, которая когда-то была с водкой.

Если бы сейчас был праздник Пурим, я уже не смог бы отличить положенных к этому празднику выражений "будь проклят" и "будь благословен". Но сейчас был не Пурим, сейчас был Шавуот, и я просто не отличал черного от белого. Я промахнулся и взял вторую трехлитровую бутылку с виски, и целиком опорожнил эту бутылку в глиняный горшок с Кетсалькоатлем, и никто — воистину, о чудо! — этого не заметил.

Всё было чрезвычайно хорошо. Кетсалькоатль плескался в виски, моя дочь играла с двенадцатью детьми раввина, а мы пили, пели и ели вареную в мундире картошку, как когда-то, на заре моей глупой юности, мы ели ее у пионерского костра. За окнами темнело.

Упал десятый час, как с плахи голова казненного. Так сказал поэт. И мы выпили за этого поэта. И раздался вопль раввинши. Она кричала, тыча пальцем в угол комнаты, где стоял кактус, носящий имя языческого бога. Там, в углу, резко воняло виски и копилась тень забытых предков. Я привстал, раввин подскочил. Да будет свет, костенеющим языком сказал он, и его дети зажгли свет, и стал свет. Мы уставились на кактус, на невесту откуда, как из мексиканских джунглей явившиеся, дивной красоты красные цветы и извивающиеся лианы, опутавшие его тело, как созвездие Волос Вероники.

Кетсалькоатль расцвел.

Свет мой, зеркальце

Единственным стоящим видом отдыха для меня является чтение, и я никак не могу назвать его пассивным. Активнее некуда: я читаю в транспорте, в очередях и иногда даже во время ходьбы. За едой я читаю тоже. Людей это часто раздражает. Когда я читаю, то не слышу и не вижу происходящего вокруг. Какое мне дело, скажите на милость, до цены на подсолнечное масло на рынке или номера подошедшего к остановке автобуса, если в тот момент, когда меня спрашивают об этих вещах, я веду с Форсайтом неспешную беседу у камина, или продираюсь сквозь дебри Севера, или сопровождаю Веничку в его поездке в Петушки. Вырванный в иную реальность, я временами реагирую, с точки зрения окружающих, не очень адекватно. Впоследствии, поразмыслив, я иногда соглашаюсь с ними...

Сегодня я читал "Записные книжки" Алексея Пантелеева, автора, которого нежно и преданно люблю с самого детства. Читать я начал еще по дороге к автобусной остановке. Подошел автобус и, с некоторым трудом сорентировавшись в обстановке, я поднялся на подножку передней площадки. В Израиле пассажиры

всегда входят в общественный транспорт с передней площадки, чтобы заплатить водителю за билет или предъявить ему проездную карточку.

Куда бы я ни направился, в моей сумке всегда лежат бутылочки с пятью сортами глазных капель, которые я с некоторого времени обречен закапывать себе строго по часам. С этой целью я ношу с собой также маленькое карманное зеркальце, позаимствованное у жены.

Уставившись в Пантелеева, я ощупью нашарил вход и поднялся в автобус. Перед водителем образовалась маленькая очередь предъявляющих билеты пассажиров. Краем сознания я следил за ними. Когда подошла моя очередь, я сунул руку в карман, вытащил зеркальце и протянул водителю. Он кашлянул, вытащил расческу и, глядя в зеркальце, причесался. Потом вопросительно поднял на меня глаза. Я ждал кивка — обычного сигнала автобусных водителей, означающего "о-кей, проходи". Кивка не было, поэтому я, глядя в книгу, продолжал держать зеркало перед его лицом. Тогда, глядя в зеркало, он расчесал бороду, пригладил усы и даже провел пальцем по бровям. Стоявшие сзади меня терпеливо ждали — в Иерусалиме много сумасшедших.

"Правильно! Так всегда и нужно!" — громко сказала старушка, сидевшая на переднем сиденье. Водитель наконец кивнул мне, и я прошел в салон. Большую часть дороги я читал Пантелеева, но не мог сосредоточиться: на меня искоса поглядывала значительная часть пассажиров, а я обычно чувствую это кожей. Понять причину их взглядов я не мог и от этого немного нервничал. Я даже отвлекся на секунду от книжки и, на всякий случай прикрывшись сумкой, посмотрел вниз, проверяя, не расстегнута ли у меня ширинка — такие случаи бывали. Дочитав главу до конца, я закрыл Пантелеева и поднял голову. Пассажиры глядели на меня в упор. И тут я вспомнил...

Плутарх рассказывает, что Александр Великий следующим образом отбирал к себе в армию воинов-наемников. Он прятался в своей палатке, приказывал заводить их к себе по одному и, когда они входили, неожиданно выскакивал на них из-за шторы. Иногда при этом он махал мечом. Тех наемников, кто в эту минуту от испуга краснел, он брал к себе в фалангу, тех же, кто бледнел, безжалостно отправлял домой.

Я покраснел.

Sexual harassment

— Ой, чего-то холодно мне сегодня, — сказал я, выйдя из кабинета в коридор и приблизившись к группе сотрудников, которые скорбными голосами обсуждали победу республиканцев в Массачусетсе.

— Слышали? — спросил я, не особенно прислушиваясь к разговору. — Республиканцы-то, а?! — и потер ладони. Потеря их оттого, что озяб.

Ответом было ледяное молчание.

— Холодно, — пожаловался я и приложил руку к теплой руке замдиректора по научной работе, чтобы показать, как мне холодно. Рахель — крайне прогрессивная феминистка.

— Это может быть расценено как сексуальное домогательство, — сказала она, но руки не отдернула.

— Так, — сказал я и похлопал по плечу профессора Шрагу, прогрессивного феминиста, опору и надежу демократических сил нашего архива. — А если его? Его-то похлопать по плечу можно — или?..

— Это тоже может быть расценено как сексуальное домогательство, — сказал профессор и отстранился.

— Так, — сказал я, потирая ладони и припнясь на месте. — А если я поглажу кошку? Вот возьму на руки и поглажу.

— Это может быть расценено как сексуальное домогательство, — сказала Рахель замогильным голосом.

— И насилие над животными, — добавил профессор, немного подумав.

Я потирал руки и смотрел на них.

— А если я прислонюсь к электронагревателю и поглажу его, потому что мне холодно, — это тоже будет расценено как сексуальное домогательство? — мне очень хотелось понять их. — А где толерантность? Или, скажем, я — фетишист. Что — нельзя?

— Что такое — тефишист? — спросил профессор.

— Это, наверное, по-русски — фашист, — предположила замдиректора по научной работе. Я потирал ладони. Я уже привык, что здешние довольно грамотные, иногда весьма образованные даже люди называют машины марки «мишубиши» — «мибуцуши», «мишубицц» и даже «мушубушу».

— Знаете что, — сказал я, — давайте сменим тему разговора. — Неплохо было бы выпить! Холодно... ручки зябнут, ножки зябнут... А? Скинемся на троих?

— Алкоголик, — сказала Рахель, библейскими глазами глядя на меня в упор.

— А ты — дура, — сказал я, припнясь на месте и согревая сложенные ладони дыханием.

— А ты — фашист, — нежно сказала она.

Красная кипа

Мой папа решил изучать иврит. Я помогаю ему делать уроки, которые задает преподавательница в ульпане. Не знаю, откуда учительница выкапывает книжки, по которые ученики делают домашние задания. Я такие книжки детям не давал бы читать. Ни детям, ни взрослым. Сейчас папа читает перевод на иврит «Красной шапочки», выполненный, судя по всему, в начале прошлого или в конце позапрошлого века, кем-то из последователей Элиэзера Бен-Йегуды, идеологически долбанутым на всю голову и создавшим свою работу не иначе как под влиянием древнеегипетских «Жалоб Ипувера». Помогая папе переводить этот дивный текст на русский, я начал потеть и чесаться, как орангутан.

«Была девочка, маленькая и милая, имя ей было — Красная Кипа, ибо носила шляпу красного цвета. Были у нее мать и бабушка, а отца не было вовсе; бабушка обигала в маленьком жилище на ином конце леса; и вот занемогла. И позвала мать дочь и сказала:

— Красная кипа, вот, дошло мне известие, печальное весьма, что занемогла бабушка твоя; и вот испекла я пирог пышный, и посылаю тебя, о дочь моя, к бабушке с пирогом и с бутылью вина; пирогом и вином укрепится бабушка и возрадуется. Но спеши, дочь моя, дабы успеть до захода светила, ибо близка святая

суббота. Идя же по селению, не забывая быть милой и приветливой к людям, встреченным тобой, и благословляй каждого из них миром.

И вот взяла Красная Кипа пирог пышный, матерью ее испеченный, и бутылку вина, и пошла по селению, и благословляла всех встреченных миром, и возрадовалась сердца их. И вошла она под сень могучих деревьев, и на тропе лесной встретила волка.

— Куда идешь ты, о милая девочка с красною кипой?

— Мир тебе, господин мой волк!

— Куда так спешишь ты, о девочка, — в дом поминальной молитвы?

— Благословляю тебя миром, о господин мой, и заклинаю не задерживать меня на узкой тропе сей, ибо перед встречей святой субботы спешу я на иной конец леса, в урочище, где проживает бабушка моя. Больна она. Мать моя испекла пирог пышный и послала меня к бабушке с пирогом сим и бутылку вина, дабы укрепились бабушка и возрадовалась в сердце своем.

— О, сколь приятно лицезреть усердно преданную роду своему девочку! — воскликнул волк и закатил глаза к небосводу, где светило дневное склонялось уж к краю земли. — Но где же урочище, в коем обитает бабушка твоя — любительница пирогов и вин?

— Господин мой, обитает она на второй стороне сего леса, под тремя деревьями дубовыми, великими, что возле деревьев ореховых; всяк знает, где это; но молю, не задерживай меня, ибо близится святая суббота.

— А! — подумал волк в сердце своем. — Девочка сия, конечно же, вкусна очень, сладка и на вкус приятна много больше, нежели бабушка ее, но мала, и останусь я голоден; и нет у меня выбора, обязан разорвать я обеих, ибо негоже всякой твари земной в святую субботу оставаться голодным; и простит Господь.

— Провожу я тебя, о девочка, преданная роду своему, до урочища лесного, к бабушке твоей, и войдешь ты к ней с лицом просветленным, и сделаете благословение на вино в честь наступившей субботы; а я погляжу лишь в окно за торжеством сим.

И пошел волк путем девочки, и пришли они к месту, что цвели в нем цветы.

— Взгляни, о Красная Кипа, — молвил волк в сладости, — на дивные цветы сии; прислушайся к пению птиц; к чему торопиться? Отчего не нарвешь ты бабушке твоей в честь дня грядущего, праздничного, букет красивый и пышный?!

Взглянула Красная Кипа окрест и ввысь, и видела блики света, мерцающие между ветвями деревьев и освещающие цветы разноцветные в свете зелени.

— Ты справедлив, господин волк! — рекла она. — Воистину рано еще, и нарву я бабушке в честь дня грядущего, и дабы укрепились она вернее, букет дивных полевых цветов сих.

Сошла с тропы и нагнулась, срывая цветы полевые, дивные».

Тут папа устал за мной записывать и сказал, что ему мерещится в рассказе сем дивном аленький цветочек пополам с книгой пророка Иезекииля и историей в «Понедельнике», где Мерлин отправляется в путешествие с добрым сэром — знатным медосборцем, а в ушах своих слышит он колокольчики мои, лютики цветные, ибо, видимо, поднялось у него давление от чудес сих. Но я продолжал тарачиться в книгу, чесаться и бубнить:

«...А волк торопился к дому бабушки, и вот — дошел он до урочища, что в тени деревьев дубовых, что окрест деревьев ореховых; и взшел он на ступени крыльца дома лесного, и под пение птиц полевых поскребся в дверь.

— Кто там? — спросила бабушка голосом слабым; и лежала она на ложе, в хитоне, а на столе стояли подсвечники и огниво, ибо близилось время зажигания свечей субботних.

— Я это! — вскрикнул волк голосом тонким, как тетива лука. — Внучка твоя, Красная Кипа; вот я пришла к тебе встретить с тобою день субботний, и несю угощение: пирог, что мать моя испекла, и бутылъ вина полную, объемом достойную, дай же войти мне, дабы поднести тебе пирог и бутылъ, и укрепишься ты, и будем мы встречать день Господень, есть и пить, и возрадуемся.

— Благословен входящий, — ответила бабушка.

И ворвался волк в дом.

— Доброй субботы! — рявкнул он».

... Тут уже сил не осталось и у меня; перед тем, как попрощаться с папой, я попросил у него номер телефона преподавательницы иврита, чтобы поговорить с ней по душам; прощаясь, скользнул все же взглядом по следующим страницам. Там творилось что-то совсем уж страшное: благочестивый волк оказался хасидом Сатмарского ребе, а бабушка — отчаянной миснагедкой, противницей хасидизма, последовательницей литовского направления, а покойный ее супруг, оказывается, был чуть ли не учеником Виленского Гаона; и вот они вступают в пререкания с волком на теологические темы, и разъяренный дискуссиями волк готовится сожрать бабушку; меж тем близится уж святая суббота, и тут подоспевает Красная Шапочка, то бишь Красная Кипа, спешит она к дому, откуда еще с опушки слышны крики препирающихся богословов, и вбегает в дом, и успокаивает обоих, и зажигают они с бабушкой свечи, и господин волк говорит: «Амен»; и садятся они за стол, едят пирог и пьют вино, причем больше всех на вино налегает бабушка; и волк опять приходит в бешенство, но тут появляются запоздавшие к субботней трапезе охотники, и оказываются они безбожниками, чуть ли не сторонниками политического сионизма, но их зовут к столу, ибо субботний гость — благословение в доме; однако, выпив и закусив, принимают они потешаться над бабушкой, внучкой и волком как над отсталым элементом; и кончается этот чудо-рассказ тем, что волк, как узкий догматик и религиозный мракобес, накидывается на них и в короткой, неравной борьбе пожирает двоих, но третий стреляет в него в упор, укладывает на месте, а потом рассказывает бабушке о великой заповеди строить и возрождать Святую землю, о преимуществах коллективного ведения сельского хозяйства и ремесел, и потрясенная бабушка благословляет внучку, и Красная Шапочка отправляется с охотником в Палестину и селится в каком-то социалистическом кибуце, чем, видимо, по замыслу переводчика, полностью и окончательно оправдывает свое странное прозвище.

О великом и могучем

Имел с утра увлекательную беседу с профессором А., завкафедрой славистики местного университета, причём он настаивал, чтобы беседа велась по-русски. Профессор — выходец из Курдистана и русский язык учил из бескорыстного интереса. "Похвалы достоин ли я, мой юный друг?!" — Безусловно. Учит студентов Достоевскому и Пушкину. Искренняя любовь к классической литературе 19 века. Пелевина не понимает. Стругацкие — политпамфлет, и всё тут. "Чеховым всё кончилось". "Я русский учил с пятнадцати лет!" "Люблю подлинные народные анек-

доты". Рассказывает странные шутки с абсурдными персонажами, словно бы вышедшими прямо из былинного эпоса — и сам хохочет. На моё кислое замечание — почему здесь нужно смеяться, ведь эти шутки уже и самого Мафусаила не смешили — в чёрных глазах загораются огоньки подозрения.

Почему собеседник им, профессором, не восхищается? Восточная ментальность прорезается внезапно. Спорим о преимуществах разговорного языка перед классическим — в плане устного общения современников. "Пушкин талантливее Сумарокова, а всё, что накропала советская литература — жалкое подражание оному". Учи меня говорить по-русски в соответствии с классической грамматикой. Убеждаюсь, что русского языка я не знаю. "Юный друг! Как сказать наивернее "поглотитель кала?" Минуты три молчу, озадаченный. Профессор ходит вокруг, хихикая и потирая смуглые ладони. Наконец меня осеняет: "Говноед!" Улыбка медленно сползает с его энергичного лица. — "О, Вы совсем не чувствуете родного языка... Как жаль. Ибо сказать нужно наивернее — ГОВНОПОЕДАТЕЛЬ!" Вялые возражения, что так никто не говорит, в расчёт не принимаются. "Так должно быть!"

Ещё раз убеждаюсь, что человек, в русскоязычной среде не выросший и изучающий русский "с нуля", ставит перед собой неподъёмную задачу. Вспомнил другую профессор — из Массачусетса, тоже славист и автор полдюжины учебников и хрестоматий по русской литературе, сам родом из семьи ирландских католиков, большой, как это принято среди ирландцев, любитель выпить. Это было ещё в Ленинграде. Мы с ним знатно поддали — и он стал меня убеждать, что, в соответствии с правилами нормального русского языка, нужно, говоря о чернокожем, употреблять термин "негритянин", но никак не "негр", ибо, во-первых — так грамотнее лексически, а во-вторых — звучит не так расистски.

Выпив вторую бутылку водки, профессор пришёл, помнится, в необычайное возбуждение и закричал — на неожиданно хорошем русском, лишь слабо разбавленным акцентом: "А, в опчем, какая, хрэн, разница — черножопый он и есть черножопый!.." Потом он плакал и признавался в любви к России — здесь не уволят с позором из университета за подобные высказывания. Он очень полюбил песню, одно время часто исполнявшуюся в виде клипа по российскому телевидению — из-за слов "...убили негра". Он повторял эти слова шепотом вновь и вновь, как кришнаит — мантру, и глаза его приобретали безумное выражение...

Вот что я вспомнил после беседы с профессором-курдом.

К слову сказать, расстались мы с ним холодно. Ирландец, по крайней мере, умел пить и курил беспрерывно сигары, распевая похабные частушки, которые ему привозили студенты-практиканты из Прикамья. Курда же ничего не интересует, кроме собственной правоты в вопросах классической грамматики; вдобавок, он не пьёт и полагает курение пагубной привычкой. Такие люди — вспомнил я — либо тяжело больны, либо втайне ненавидят окружающих.

Постфактум

Строгие ценители реализма вопрошают — для чего нужна вся эта фантасмагория из бредовых встреч Железного Дровосека с Муми-Троллем в полночь у входа в пещеру Гингеми; заседаний на Скале советов волчьей стаи в Сионийских горах, где рядом с Балу торчит нелепая фигура Кинг-Конга во фраке с галстуком-бабочкой; почему так уж необходимо Чебурашку помещать в отдел практических

испытаний НИИЧАВО на должность старшего научного сотрудника, а Карлсона, который живет на крыше, делать начальником отдела левитации того же института. Разве Пепси Длинныйчулок обязана служить посредницей между Мэри Поппис и доктором Моро в момент заключения соглашения о совместном путешествии в страну Гуингнмов? Что это за постфрейдистская чертовщина с принцессами ста сорока стран и народов, томящимися в подземелье, где обитает мой виртуальный прототип? Причем пещеру-то я арендую у антисоветски настроенных белых гномов, и им же плачу ежегодную ренту...

О типографии горных троллей на острове каннибалов-папуасов Куру-Кусу, возглавляемой Михелем-Великаном (Плотогоном) из лесов Шварцвальда, в которой печатаются сборники стихов, рассказов, повестей и мемуаров. И что именно "Дункан", яхта лорда Гленарвана, доставляет на Куру-Кусу мелованную бумагу с золотым обрезом для этой типографии. И отчего капитан Грант добровольно остался на своем затерянном в океане острове Мария-Терезия, причем не желает ступить с него и шагу, потому что ему обрыднул так называемый цивилизованный мир, и требует, чтобы договоры на поставку бумаги для троллевской типографии, формально принадлежащей Змею Горынычу, подписывал лично его старший заместитель — Робинзон Крузое.

Во имя этих диких бредней бывшего шотландского патриота яхта "Дункан" ежемесячно вынуждена менять курс, и мечется в австралийских водах, и срывает сроки поставок, и Баба-Яга психует, и ругается матом на древнемонгольском, потому что за эти поставки ответственна именно она... А ещё Капитан Немо на своем "Наутилусе" предпринял без таможенных санкций Индийской республики, к которой он принадлежит генетически, полет на Луну, обогнав дурачков, что туда же летели из пушки (вспомните старину Жюль Верна), и встречался там с Великим Лунарием, описанным Уэллсом, и угощал его табачком из садов Семирамиды, и хвастал тем, что сам покойный Тигратпаласар ему огоньку подносил, и Соломон Мудрый его учил языкам птиц и зверей, но он не пожелал вкушать от этих плодов сионистской пропаганды (а на самом деле — просто боялся, что древнееврейский вытеснит его санскрит).

И стыдно признаться, что великая Амагэрасу, восходя по утрам на радужный небосвод страны Ямато, стыдливо хихикает при виде своей партнерши — пеннорожденной Афродиты, которая, между нами, девочками, вовсе не такое уж совершенство, потому что пудрится, и красится, и завивается каждый раз перед тем, как голой шагнуть из моря — прямо по Ботичелли — а стыдится японская богиня оттого, что славные сыны ислама ее за личность не признают вовсе; и единственное достойное место, где может она найти пристанище, это, оказывается, Хроники проприцателя Килпа из позапрошлой ледниковой эпохи, том 22223-й, раздел "Бегство Земли" Франсиса Карсак, и местечкотам ей выделил Без-пяти-минут-раввин, и вы знаете, кто он, этот Без-пяти-минут...

И вот, в конце всего, в Конце времён, он, Единый и Предвечный, Восседающий на небесах, как Великий Утёс с ногой на небе и с ногой на земле, прочтет все эти построения, всю эту галиматью, и прослезится, и сведет воедино все сказания, и заповеди народов мира, и протоколы заседаний Волшебной Комиссии Вечности, состоящей из душ Великих (ну, вы поняли — там, в комиссии, заседают и Уэллс, и Франсис Карсак, и Майкл Муркок, и Свифт, и Гарун аль-Рашид, и Лагерлёф, и Лагин, и Стругацкие, и почему-то даже вечный оппозиционер граф Толстой, и председателем у них — Роджер Желязны, а вот Гарри Поттера, оказывается, и на порог не пу-

стили, даром что волшебник) — и вот, короче, Он заплачет над этим сводом знаний Храма всемирной культуры, — над этой книжкой, как писал Маяковский, тоже, к сожалению, уже давно покойный, как, впрочем, и все члены Комиссии без исключения, кроме разве что Всевышнего, который на всё свою печать ставит, а он тоже стар, хоть и вне времени и вне пространства, но — Вечный, что ж тут поделать...

А ведь я, знаете, в плане литературных пристрастий — тоже сторонник реализма. Не социалистического, правда, а критического. При этом полагаю, что всё вышеописанное — реально донельзя. Это рукопись. Она, может, и горит, но не врет. Рукописи вообще не врут, это вам не книги...

А знаете, что есть миф? Это, как сказали Великие, — описание действительного события в восприятии дурака и в обработке поэта.

Моим ведьмам

Когда у меня поднимается температура, я воочию вижу существа и сущности, добраться до которых иначе затруднительно — для этого требуется вся сила воображения. Более того — я разговариваю с ними. Родственники полагают, что это — бред; они начинают бегать по квартире, как сумасшедшие, капают какие-то мерзкие жидкости из маленьких бутылочек, запихивают их мне в черный обложенный рот, поддерживают голову, вызывают неотложку, звонят родственникам-врачам; а у меня, пребывающего в так называемом реальном мире лишь одной ногой, никогда не хватало силы сосредоточиться и объяснить, что мне — хорошо.

Я уходил в мир троллей и древних языческих царств, я кидался в них, как в омут, вниз головой, и не было сил сказать родным, чтобы они оставили меня в покое. Таящееся от здоровых становилось подлинной реальностью. Я пересмеивался с Ходжой Насреддином у входа в мечеть Бухара и-Шариф, Благородной Бухары, в тени пенистого арыка, у старых смоковниц; я стоял на древней стене священного Илиона рядом с престарелым Приамом, почтительно поддерживая его под локоть, и мы наблюдали, как садится кровавое солнце над хребтом печальной Иды; вцепившись в плечо Александра, я тащился за ним пешком по мертвым красным пескам Гедросии, и он, хрипя, ободрял меня на своем варварском македонском наречии; я прятался в холмах Сноуфелла, заползая, извиваясь как уж, в подземелья черных гномов, чтобы обсудить неотложные вопросы добычи сокровищ у драконов; в полный рост я разговаривал со своими бывшими подругами, я видел их лица, но при этом иногда забывал имена. Это было то состояние духа и тела, когда я не боялся ничего.

Сегодня ночью я разговаривал с госпожой Киритсубо, полуослепшей от слез вдовой сёгуна Тайко; это было на Хоккайдо и, кажется, на дворе стоял 1600-й год. Я советовал ей приобрести очки. Она смеялась и отвечала, что ей не нравится действительность, и что она предпочитает тот туман, который ее окружает.

Утром у меня было тридцать восемь и пять, и я обрадовался. С двух часов ночи я разговаривал со своими друзьями, и они отвечали на причудливой смеси койне, арамейского и старояпонского. Я еще успел полюбоваться на зарю, встающую над империей Чосон из-за северных маньчжурских лесов, как раздался звонок будильника.

Меня вернули в этот подлый мир, но я сообразил промолчать. Бормоча русские слова, я оделся во тьме иерусалимского восхода, и вышел из дома, не разбудив

домашних. На работе я решил не работать, а посидеть просто так. Когда из-за шпильки мечети у Яффских ворот Старого города, которую отчего-то именуют башней царя Давида, вынырнул и молча ринулся на меня сонм наложниц покойного Сулеймана ибн Дауда — мир с ними обоими! — я приветственно помахал им рукой, недоуменно пожевал слекшимися губами и решил измерить температуру. Оказалось — сорок и две десятых.

И вот я вошел в интернет и, предварительно помолясь Аллаху на набатейском наречии, решительно открыл ту книгу, которую всегда читаю в бреду.

Ведьмы, я любил вас, будьте бдительны.

Прикосновение

Бывает такое сиюминутное ощущение от какого-нибудь явления, когда дрожь вдруг пробивает насквозь, трясутся руки, окружающее уходит в небытие, — и впоследствии, оглядываясь на происшедшее, ты понимаешь, что перестал контролировать выражение собственного лица. Совершенно неважно, что является причиной — воспоминание, запах, строка, мелодия, картина. Как будто тебя прошил поток солнечного ветра, радиация рентген в восемьсот, но без губительных последствий. Ты забываешь, что в доме никого нет, ты ловишь себя на том, что разговариваешь вслух, на сто миль вокруг не имея собеседника, что для удержания ощущения взмахиваешь руками, никому ничего не пытаешься доказать, и что челюсть у тебя отвисла, на глазах выступили слезы, что ты гулко втягиваешь носом соплю, и никак этого не стыдишься.

Таким бывает ощущение от мгновенного прикосновения к полной, нечеловеческой гармонии. А потом со стоном переводишь дух, и еще несколько секунд шарить по воздуху руками, пытаешься удержать мгновение, потому что оно прекрасно. А потом на тебя снова хлынет поток жизни, и через минуту ты уже окончательно все забудешь, и остается только смутное сожаление о потерянном рае.

И раздался звонок, и я механически, как робот, встал и пошел открывать, и вошел сосед, и, с подозрением посмотрев на меня, спросил: отчего у тебя глаза красные и чавка отвисла? Ты выпил, что ли? И я ответил — если бы спирт обладал способностью возвращать меня к Бесконечности, я бы уже имел цирроз печени; но я видел Свет. Понятно, сказал он и, опасно оглядываясь через плечо, быстро вышел из квартиры.

Этот день

Я всегда ненавидел этот день. Нет, это не то слово. Я готовился к нему за год, за две-три недели, еще когда был на даче, гуляя по лесу и купаясь в озере. Я старался о нем не думать, но он все равно забирался ко мне в сознание — холодным, скользким гадом, медленно шуршащим по обрывкам прошлогодних воспоминаний. Этакой помесью Матери Кобр с пигоном Каа, только без ее истеричности и его доброты. Это было какое-то безглазое равнодушное чудовище, на расстоянии внушавшее чувство покорного ужаса. Не было для меня дня мерзее, чем первое

сентября. Наверное и даже наверняка были, есть и будут дети, относящиеся к этому дню как к празднику, но я никогда не был и не буду из их числа.

Первого сентября шестьдесят девятого года, естественно, я еще не знал, что мне предстоит, и более или менее спокойно шел в школу, держась за мамину руку. Помню внутренних, захламленный школьный двор, где нас собрали для торжественной линейки. Помню нечленораздельную речь директора, старого красного партизана Иван Силыча, которую он произносил в неотлаженный мегафон.

Я не расслышал и не понял ни единого слова. Родители, кажется, тоже. Во дворе все покорно стояли плотным каре, короткостриженные мальчики держали в руках букеты, у девочек шевелились на головах огромные банты. Девочки в коричневых платьицах были похожи на бабочек. Или на жукелики. Мальчики были одеты в серую форму из толстого ворсистого сукна, от него чесались шеи. Помню, как вдруг очутился в классе, за первой партой, у окна. Деревья с желтой листвой за окном и солнце, бьющее сбоку, и стаи медленно кружившихся пылинок в воздухе, и безотчетное, первое в жизни чувство обреченности, непонимания - что я здесь делаю? Моя первая учительница, классная руководительница Тамара Георгиевна - единственное доброе воспоминание об этой Богом проклятой восьмилетке.

Нет, не единственное. Меня посадили за одну парту с Наташей. Мы с ней еще до школы ходили в один детский сад. Помню серьезную, нахмуренную, зеленоглазую девочку с перекинутой через плечо русской косой, смотревшую на всех исподлобья. Мне все время хотелось к ней потянуться, как к единственно близкому человеку, но я был какой-то парализованный. По партам в классе были раскиданы и другие мои товарищи по детсаду, но Наташа сидела ближе всех. С некоторыми из них мы потом действительно подружились, и даже, как оказалось, на всю жизнь; и теперь, когда я приезжаю в Россию, мы встречаемся и шумно веселимся за столом, и вспоминаем одноклассников и учителей; но ни разу никто из нас, даже в хмельном угаре, не произнес: ах, это счастливое детство, это золотое время!.. Как жаль, что оно никогда не вернется, о!

Когда по начинавшей опадать листве мы шли - из класса в класс - первого сентября на улицах из всех рупоров доносились веселые и торжественные песни, исполнявшиеся замученными детскими голосами. Песня "Учат в школе..." всегда действовала на меня почище, чем "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес..." И еще передача "Пионерская зорька", которую я был вынужден слушать по радио ежедневно, в семь сорок, на кухне, за стаканом молока и кашей; до сих пор гадаю, кто ее вел. Голос был псевдодевичоночий; не удивлюсь, если когда-нибудь узнаю, что роль юной пионерки исполняла пожилая травести.

...В Наташку я был влюблен в третьем классе. В первом классе, когда мы сидели рядом, до таких высоких чувств я еще не дорос; потом я был влюблен в нее еще в четвертом классе, а следом - и в пятом. Я был благодарен ей за многое, и благодарность переросла в любовь. Нет, во влюбленность. Я никогда не умел отличать первое от второго. Помню, в третьем классе я заболел свинкой и лежал в постели; Наташке дали общественное поручение - прислали меня проведать и принести домашние задания; тетя Муся открыла дверь, моя одноклассница вошла в квартиру, встала на пороге комнаты и посмотрела на меня. Я съежился и забрался поглубже под одеяло. Я не сказал ей ни единого слова, и меня потом корили за это; я не мог объяснить, что мне было страшно стыдно за клеенку с теплым шарфом, пропитанным рыбьим, кажется, жиром, - этой клеенкой была обмотана моя шея, ставшая толстой, как у быка. Или у свиньи.

До сих пор мне горько и стыдно, что я не сказал тогда Наташке хотя бы "привет" или "спасибо".

В пятом классе мои родители попросили ее следить на уроках за моей осанкой — у меня начинался сколиоз, и я стал горбиться. Наташка добросовестно выполняла поручение: как только ей казалось, что я начинаю горбиться, она размахивалась и лупила меня кулаком по спине. Я подскакивал и говорил "спасибо!" Через несколько уроков в классе стали хихикать — вероятно, надо мной, а не над Наташкой. И я постыдно сбежал за другую парту, хотя млел от ощущения ее руки на моей спине... До сих пор не могу себе простить.

Два года назад летом я приехал к родителям и однажды утром встретил Наташку. Она выгуливала свою собаку — вернее, собака выгуливала ее. Она не обращала внимания на хозяйку и, волоча ее за собой, металась по двору с раскованностью собаки Баскервилей, берущей след. Редкие утренние прохожие старались держаться подальше. Станным образом мне показалось, что внешне Наташка совершенно не изменилась с первого класса. Она по-прежнему жила в нашем доме, в той самой квартире, что и двадцать, и тридцать, и сорок лет назад. Мы поговорили о детях, мужьях и женах, а потом я повернулся, чтобы идти домой. Прошел метров семьдесят, остановился и повернул обратно.

Наташка бегала по газону вслед за жизнерадостной собакой, которая тащила ее во все стороны, несмотря на натянутый изо всех сил поводок. Наташка-а-а!.. — заорал я издали. — А-а-а?!.. — откликнулась она, не прекращая попыток усмирения своего Буцефала. — А ты знаешь, что я был в тебя влюблен в третьем классе?!.. — надсаживаясь, завопил я на весь двор. — Конечно!!! — крикнула она, не прекращая движений; собака оглушительно рявкнула, и проходившая мимо бабуля осуждающе посмотрела на нас. И я, удовлетворенный и гордый, направился к нашему подъезду, унося с собой образ надушенной первоклассницы с перекинутой через плечо светлой косой. Моей Н.

...Единственное, что ежегодно облегчало мне муки январского утра — мысль о том, что завтра у меня будет день рождения.

Троянской войны не будет

Понимаете, появилась охота побродить по полям асфodelей, испить ледяной водицы из бурного Эвротa, посидеть в мрачной тени Тайгета, постоять на развалинах городских стен Стениклара, пощупать каменный настил Пирея; высчитать, наконец, на собственных пальцах расстояние между афинским берегом и Саламином и поверить в то, что Кефей, любимый пес маленького Перикла, смог проплыть это расстояние вслед за лодкой своего хозяина — а, выбравшись на остров, упасть и умереть от инфаркта.

Возможно, представится и возможность, склонив голову, постоять в ущелье Фермопил, у каменного льва; а на обратном пути — увидеть, как мелькают чайки над белой пеной у низких берегов песчаного Пилоса, где царствовал мудрый Нестор; вспомнить, как одной рукою он правил колесницей, неуклюже переваливавшейся через горы трупов, уносившей Агамемнона из крошечного боя на десятом году войны, начавшейся по нелепейшему из поводов.

Когда бы не Елена — что Троя вам одна, ахейские мужи? Да. Увидеть Львиные ворота Микен мне, увы, не удастся. Зато, может, внутренним эхом отзовется

блеяние стад на широком дворе Тиндареева дома, и маленький обиженный Аякс Локрийский, шмыгая носом, снова подбежит к своему огромному тезке, и тот опять швырнет бронзовый диск на полстадии дальше, чем Паламед и, гулко захохотав, вернется к царственным зрителям и сядет в толпе женихов, развлекающихся мужскими играми в ожидании вечернего пира.

И если бы в этой толпе я смог резать хитроумного Лаэртида, то сделал бы это не задумываясь. О, если бы я только смог сделать это!.. С облегченной совестью вернулся бы я в Пергам и, отдуваясь, возлег за пиршественный стол Приамидов, где меня всегда принимали на правах бедного родственника. Жасминовые лепестки с моего венка падали в кубок с багряным хиосским, и я, потянувшись к Энею, сидевшему справа, прошептал ему на ухо: все в порядке, Троянской войны не будет; и он, движением римского патриция в Колизее показав мне большой палец, точно также потянулся к своему соседу и что-то прошептал ему на ухо — и вот, не успели рабы подать первую перемену блюд, как новость обежала весь стол, и все заулыбались, заговорили вполголоса, и жуткое напряжение последнего времени спало с суровых бородатых лиц, и мудрый старец Ангенор полез ко мне целоваться через стол и прошамкал на малоазийском диалекте протокойнэ — "а поворотись-ка сынку, давай я тебя почеломкаю!.." — и я потянулся к нему, расшескивая драгоценное вино из кубка, и он звучно расцеловал меня в обе щеки.

А я, со сбившимся набекрень венком на рогагой, как у Пана, голове, тычась в козлиную бороду наставника царских сыновей, вспоминал аналогичные поцелуи, случиться которым предстоит через три тысячи двести лет совсем в другом мире — когда Генеральный секретарь оставлял влажные, пахнущие одеколоном "Красная Москва", звучные поцелуи на гладковыбритых, дряблых щеках генеральных секретарей сопредельных варварских держав. И вот уже сам Дарданид степенной походкой, стуча посохом по каменным плитам, ведомый старшими сыновьями, припадая на подагрическую ногу, обошел стол и, отшвырнув посох, обнял меня — я встал и увидел влажные бороздки на его щеках, а он бормотал одно только: "молодец, сынок, вот спасибо!" — и тут Эней потянулся и процитировал на древнедорическом: "...еще пробирались наощупь к местам за столом женихи, а страшную весть на площадь уже принесли пастухи..."

О Зевс и все боги, вскричал воспламененный Ангенор, чьи это стихи?! Мои, сказала и вышел.

Все это, и многое другое, я намеревался обсудить с доной Н. немедленно после моего прибытия в Пирей; но временами пьяньки Парки ткнут свою нить впотьмах не так, как было благословлено Ареем по благу, и — вот незадача! — бессмертные боги распорядились иначе, чем было положено по договору, и несоотыковка в три дня не даст мне насладиться обществом резвой Нимфы хмельных виноградников, и на этот раз я не услышу певучего "Хайре!", произнесенного звучным контральто. И мы не будем обмениваться трехступенчатыми ямбами, прогуливаясь в садах Академии, под портиками, между лафитом и клико (да! именно так — между лафитом и клико).

И мне в сотый раз придется довольствоваться обществом бесплотных теней, что я, впрочем, и так делаю на протяжении всей жизни, усилием воображения вызывая их на солнечную вахту из сумрака печального Аида.

У меня, как сказано одной из нимф, вернее, морских дев, еще точнее — Левкотеей, не внутренний цензор, а какой-то монстр, помесь Цербера с Минотавром. И, замечу в ни к чему не обязывающих скобках, задача номер раз — этого цензора

удалить максимально, усыпить, удушить, кастрировать, мумифицировать как Рамзеса Второго, ибо в его присутствии я не могу чувствовать себя на страницах так, как оно быть должно и как, дружески тыча меня в бок, рекомендует Джек Керуак, царствие ему небесное.

«Я не то что схожу с ума, но устал за лето».

Из моления рамапитека

У меня когда-то был друг в России, — теперь он уже академик, директор-распорядитель международных научных фондов, и вообще зишпредседатель, но имени его называть мы не будем, потому что его и так все знают, — а главное, мы уже давно не друзья; но тогда он был просто бедным студентом-интеллектуалом, тонким ценителем женщин и человеком с юмором. Но не юмором, не женолюбием и не бедностью прославился Игорь.

Среди алкашей города на Неве он слыл рекордсменом и, клянусь мамой, равных ему не было в заведениях типа "три ступеньки", тянувшихся прерывистым астматическим пунктиром от Адмиралтейской набережной до совхоза "Шушары", куда нас ежеосенне посылали в помощь вымирающей деревне собирать на унылых полях ящики с кормовой свеклой. Будущего членкора знали все: официантки и заведующие рюмочных центра города, и распорядители питейных заведений в районе экскурсионного маршрута "Петербург Достоевского", и рядовые, сержанты и офицеры отделения милиции "Сенная площадь — Площадь мира" (как, впрочем, и всех других милицейских отделений великого города), и держатель единственного в этом городе настоящего самогонного притона Василий Петрович с Лиговки, и баба Маня, собиравшая стеклотару из-под скамеек в Таврическом саду.

Его знали бездомные алкоголики, не скрывавшие своей естественной жажды к спиртовым парам гуталина, который они намазывали на хлеб и сушили на батареях парового отопления в подвалах, и высоколобые интеллигенты — физики и лирики, страдавшие тем же алкоголизмом, но стыдившиеся этого и лечившиеся тайно в трех наркологических клиниках.

...Он, именно он занес в Ленинград на рубеже двух глухих десятилетий московскую моду на древние рецепты Венички Ерофеева из бессмертной книги "Москва — Петушки". И если безвестный бомж из скверика на Зверинской улице, сверяясь с выцветшими страничками пятой машинописной копии, давясь, выцеживал на свежем воздухе, под шелестящей листвой, стакан одеколона "Свежесть"; и если прохиндей-майор из знаменитого милицейского участка N27 у Маяковской, где били морду и таскали за волосы первых российских панков и хиппи, в часы рабочего досуга варил на службе пунош "Слеза комсомолки" и помешивал его веточкой жимолости при выходе первой звезды; и если референт-секретарь Его превосходительства первого секретаря Обкома партии в Смольном, даже не догадываясь о существовании вышеупомянутых бомжа и майора, скрашивал свои серые рабочие будни изготовлением коктейля "Поцелуй тети Клавы", — то можете быть уверены, что рецепты все трое получили через Игоря — каждый по своим каналам, разумеется, при этом о существовании Игоря не подозревая вовсе.

Зачем я пишу всё это, зачем описываю глупость молодежных, бараньих, можно сказать — мычащих в границах (анги)советского новояза — студенческих

встреч в чайной "Свет" на Бассейной, в чебуречной "Дружба народов" на Фрунзе, в коктейль-баре "Висла" на Гороховой? Ни для чего такого, смею уверить.

"О чем печаль моего труда и радость его о ком?"

Как передать ощущение того странного уже теперь для многих, глухого времени, когда не было ни компьютеров, ни интернета, ни свободной прессы, ни Бориса Моисеева, ни рекламы голых сисек, ни прокладок с крылышками, ни секса, ни Солженицына — сотысячными тиражами — ничего не было, кроме анекдотов?

Помню, как в восемьдесят четвёртом Александр Завельевич, профессор, старший преподаватель кафедры истории СССР с пятидесятилетним партийным стажем, ветеран войны, шептал мне на ухо, выпятив губы дудкой, взъерошив волосы и округлив глаза:

— Вы — честный человек! Я скажу вам, как на духу: я надеюсь ещё дожить до дня, когда реабилитируют Бухарина! Я уже не доживу до того дня, когда реабилитируют Троцкого... но... может быть, доживете хотя бы Вы?!

Бедный Александр Завельевич, чем была набита больная твоя голова.

Я брезгливо отстранялся, гордый доверием старшего научного сотрудника. Я знал, кто такой Троцкий, и вовсе не желал противопоставлять его Сталину, как поколение почти вымерших к тому интересному времени динозавров — старых большевиков, прошедших царские каторги, и советские каторги, и семнадцатый революционный Эйфорический, и тридцать седьмой Страшный, и пятьдесят шестой — Год надежды для тех из них, кто остался жив. Меня тошнило от них одинаково — и от Давыдыча в пенсне, и от Виссарионыча в кигеле. И от тряского страха, вьёвшегося в поры старшего научного сотрудника с пятидесятилетним партийным стажем, меня тошнило тоже. Страхом веяло от вздетого короткого волосатого пальца, от его выпученных глаз; а я томился в ожидании свидания с Машей, Дашей, Любой, Светой, с бобинным магнитофоном "Маяк", принесенным через весь город на randevу, на хиппи-хату, и скверными копиями песен Цоя, Майка Науменко и Б.Г. И я отстранялся от пузырящихся губ, от причитаний о Николае Ивановиче, и думал о другом.

А за окном цвела сирень, и восходила юная весна восемьдесят четвертого года, и я бляел о бабах, как баран на заре, и вопил в тиши коммунальных кухонь о самиздате, как Буковский на исходе зоны.

И я знал, но ещё не чувствовал тогда, что предстоял мне в исходе того года майских роз ещё один, уже последний в России опыт — заиндевелый, заснеженный, кондовый, посконный, сермяжный, вонючий опыт Советской армии.

И, распрощавшись со своими Маргаритами, и со своими Цирцеями, и со своими Пенелопами — и с Еленами своими гордыми распрощавшись, я вздохнул запах их каштановых, черных, белокурых, рыжих волос — и отправился в изгнание; а, вернувшись, нашел я их ничуть не изменившимися, как будто мой опыт им и не передался, — а он таки не передался им (с какой стати?) — и тронулся я в новый поход.

И всюду, как ни вообрази, были и есть со мною клубящиеся реваншизмом струи коктейля "Слеза комсомолки" и "Поцелуя тети Клавы". И регламент вечного в своей неуязвимости одеколona "Свежесть" со мной был и есть тоже. Одеколон, чей аромат исчез лет двадцать пять назад, со смертью эпохи и автора гениального романа, преследует меня до сих пор...

И мы, жители далекой звездной родины угасшего мира, мира жалких потомков пророков, до сих пор собираемся иногда, и, выпив в ночной тишине, под

пальмами, очищенного шотландского виски, который ничтоже — ничтоже, говорю вам! — сумняшесь — принимаем мы за одеколон "Свежесть" — задрав вурдалачьи рыла, склонив бельма, протяжно стонем о невозвратном, о том, что не сбудется уже никогда, стройным хором, псалом:

— В нас прозвучит сосредоточьем ночи моление по меркнувшей Звезде...

Когда сбываются мечты

1. В вашу гавань заходили корабли. (Предвкушение)

Кто не любит морские круизы так же, как не люблю их я? Вот и на этот раз я решил, что, раз все равно меня вывозят в круиз, то, так и быть, поплыву, но при условии, что маршрут выберу сам. И я выбрал маршрут — так, чтобы не спеша поплыть по гомеровским местам. Плюс Овидий.

В воскресенье, в два часа дня мы выходим из Хайфы, и в понедельник прибываем на остров Родос. Помните? — «остров Самос, остров Хиос, остров Родос, — я немало поскитался по волнам...».

Во вторник утром мы отплываем с Родоса в Олимпию. Мне глубоко безразличны Олимпийские игры, но раз все говорят, что это место нужно увидеть, то я его увижу. Мировая культура, мол, то-се. В конце концов, материковая Греция хороша при любой погоде.

Это будет в среду. В четверг мы прибываем на Корфу. Мне всегда хотелось увидеть последнюю остановку Одиссея перед возвращением на Итаку. Керкира, понимаете? Остров веселюбивых феаков, царь Алкиной, внук женолюбивого Посейдона, царица Леда, самоплавающие во все стороны света корабли, божественноголосый Демодок, и прочее. Что прочее? Перечитайте последние главы «Одиссеи», и сами все поймете. Одиссей, отправленный на плоту, спасенный в волнах морской девой, выбирается на берег, ложится спать в голом виде в прибрежную рощу. Наутро его будят дивным пением местные девушки из дворца, затеявшие большую стирку, и он голый выбирается им навстречу. Все девушки, натурально, убегают с визгом, а царица Навсикая с любопытством смотрит на его прелести и ни капли не боится, а потом говорит служанке — тихо, но так, чтобы Одиссей слышал:

— О! Большого мужества я не видала...

Это же Эллада, это вам не «Конек-горбунок», потому что у более поздних славян было принято совсем другое, нежели пялиться на голых незнакомцев, как у эротолобивых греков:

*...А царица молодая,
чтоб не видеть наготу,
завернулася в фату.*

Но это я отвлекся. Короче говоря, день мы простоям на этом дивном острове; в пятницу мы идем по Адриатике, и я, стоя на носу бригантини, буду вспоминать, завернувшись в плащ, строки Джеффри Триза: «Ангела содрогнулась. — Пираты Адриатики, — прошептала она, — это не люди, а дикие звери!..»

Далее, в субботу мы прибываем, наконец, в Венецию. Здесь много чего можно посмотреть, я вам уже рассказывал — и про дождей, и про мессира Альда

Мануция, и про набережную Неисцелимых; вот тут я и сравню с действительностью мнение Бродского о дороговизне услуг гондольеров.

В воскресенье мы переплываем узкое это море и оказываемся в Хорватии. В Дубровнике, который в моем воображении навсегда останется Рагузой. Во вторник — на Крите, в Гераклионе.

Я не люблю круизы.

Нужно нечто сверхординарное, чтобы я согласился выйти в море. Другое дело было, когда я плывал на собственном фрегате «Анна» вслед за прославленным капитаном Бладом (за которым я хоть в пекло) и приятельствовал с не менее прославленным Джорджем Флинтом; правда, приятельствовал я с последним, в основном, в глухих углах ночных таверн на Тортуге и в Порто-Белло. Мне нравился дрожащий, скрипучий, как вымбовка, голос капитана «Моржа», когда он начинал, стуча кулаком по столу, петь — вернее, выть — свою неизменную

*Fifteen men on a dead man's chest
Yo ho ho and a bottle of rum
Drink and the devil had done for the rest
Yo ho ho and a bottle of rum...*

Лучше бы с ним дел не иметь, конечно. Юмор у него черный. Но однажды в Гоа мы все собрались вместе: Питер, Джордж, штурман Билли (манерой выпивать похожий на моего покойного деда, за что я всегда был к нему незаслуженно расположен), бездомный изгой дон Иаков де Куриэль, молодой еще совсем Миссон, прибывший ради такого дела с Мадагаскара, а в углу пыхтел трубкой Эфраим Длинныйчулок. Я в другом углу резался в шашки с Одноногим Джоном. Я быстро окосел и, помню, все спрашивал его, за что ему дали кличку «Окорок», и тут же забывал ответы... И все суда наши в тот день стояли у причала в ряд, как настоящие рейнджеры военно-морского флота Ее Величества — «Арабелла», «Морж», «Попрыгунья»... и моя «Туся», да.

Джордж застучал кулаком, и кружки зля запрыгали по столу, как библейские барашки по холмам. Он требовал внимания, и внимание было ему уделено. Я забыл, о чем он вел речь, это было давно. Шел какой-то спор, почему Билли выдавал себя за Бена Ганна, и наоборот... Забыл.

Я не люблю Гоа, не люблю вице-короля, и туда я прибыл в тот раз для того только, чтобы погладить Капитана Флинга. Я имею в виду попугая Сильвера, конечно. Хотел бы я посмотреть на человека, способного погладить самого капитана Флинга. Даже если предположить, что человек после этого остался бы в живых.

Честно говоря, поход в Гоа был единичным случаем; в основном, я плывал на Карибах. Во флибустьерском дальнем синем море, да. Если уж быть до конца откровенным, и Карибы я не люблю тоже. Жара. Смола выступает пузырями из всех щелей. Одеваться там невозможно ни во что, нужно ходить голым, но голым ходить нельзя, потому что сгоришь на солнце. Ненавижу солнце, ненавижу жару, ненавижу больше двадцати пяти в тени. Удачную же ты выбрал себе географию, сынок, говорил мне Черный Пес, добродушно похлопывая меня по плечу. Я сам знаю, но что делать? Все они — и Блэк Дог, и штурман Гэндс, и вся свора старого Флинга посмеивались над странными порядками, заведенными у меня на судне, — и негры-то у меня были свободными и могли при необходимости дать в зубы любому белому капитану, и женщин у меня на судно брали во многие походы, и пленных испанцев я иногда щадил. А уж над тем, что в субботу я никогда не выходил в

море, ржала вся Тортуга. Я, впрочем, никогда не объяснял причины. С моей точки зрения, это было все равно что метать жемчуга перед черт знает кем.

Флинт, тот никогда надо мной не смеялся. Он всегда говорил, что джентльмены удачи — все с заебами, абсолютно все, и нечего здесь обсуждать, каждому потому что свое. Вот я, говорил он высоким своим дребезжащим голосом, я — алкоголик; Питер — джентльмен; а Майкл соблюдает субботу; у всех заебы. И что? Главное, не забыть вовремя умертвить противника, пока он не стал тебе симпатичен, а такое бывает частенько, сами знаете; мертвые не кусаются.

Ненавижу жару. И вонь. Я специальным пунктом договора при вербовке команды вставил условие своим людям — принимать морские ванны не меньше двух раз в день. А женщинам — три раза. Все удивлялись, но соглашались. Если соглашались на все прочие условия, конечно.

Условий, сказать правду, было до хрена. Ну, неважно.

Де Курнэля я учил по субботам основам древнееврейского, а Питер всегда являлся ко мне на «Тусю» после обеда, деликатный человек, поднимался на палубу, благоухая жасминовыми духами, которых он спер как-то у испанцев целую бочку, закуривал трубочку, и вразумлял меня начатками латыни. Хорошее было время, да.

Я со всеми мог ужиться. Я не смог ужиться только с двумя: с Д'Олоннэ, уж очень от него вняло, и с безглазым Пью, когда он еще не был безглазым... Представьте, этот пес однажды, когда мы стояли на рейде Порт-оф-Спейна, поднялся ко мне на борт и стал клянчить на рюмочку. У него, видать, был отходняк после вчерашнего, а на других судах ему уже не подавали. Всем осточертело давать в долг, потому что он сам никому в жизни не наливал, даже когда возвращался из похода и трюмы его ломились от бренди и рома.

С-собака!.. Я тогда сидел в кают-компании с Билли и вразумлял его псалмами. Тоже в субботу дело было. Билли, правда, натрескался рома и спал, навалившись на стол, но я вразумлял его и так. Мне нужно было для практики. Тут вваливается этот Пью и заводит свою шотландскую волюнку: дай стаканчик, ну чего тебе стоит?.. Да пошел ты, отвечаю я, и неосторожно поворачиваюсь к нему спиной. Псалмы меня расслабили, и Билли сопел так уютно, и впереди до заката было еще полдня, и девушки на берегу пели так красиво... И тут эта сволочь прыгает на меня сзади. С ножом. Хорошо, Билли рефлекторно, как всегда в таких случаях, проснулся и успел оттолкнуть меня. Ну, я тогда дал этой гадюке по зубам эфесом шпаги — так, что он дважды перевернулся в воздухе; и он сел в углу на пол, вышпонул выбитые зубы, утерся и обозвал меня некрещеным псом. Меня, на собственном моем судне! Этого я не терплю совершенно, хотя и согласен с Флинтом, что у каждого — свой заеб. Я пришел в бешенство и схватил кортик...

Через пять минут мои люди с шутками и прибаутками уже выкидывали Пью с корабля, промахнувшись мимо трапа, так что он полетел с борта прямо в воду. Уже без глаз. Теперь вы знаете, в каком деле старый Пью лишился своих очков. В том же деле, где Черный Пес лишился своих когтей, и в том же, где Долговязый Джон — своей ноги. Они все прибежали потом к молу, вот в чем дело. Питер злился, я спугнул его, когда он сидел в каюте «Арабелья» с томиком Вергилия, и он прибежал на шум. Джону он тогда сделал операцию и спас ногу хотя бы до колена. А мне так стало противно, что вот люди приходят просить на стаканчик, а если им этого стаканчика не наливаешь по вполне объективным причинам, они тебя тут же обзывают не по делу, — так мне это обидно показалось, что я тут же поднял на мачте Веселого Роджера и ушел в море со всей командой, читая псалмы.

А баб наших мы в тот раз забыли на берегу, и матросы дико на меня злились, так что я весь рейс боялся повернуться к ним спиной, и успокоились они только тогда, когда пришлось мне взять на себя грех, отправиться на один из Наветренных островов и выкопать для удовлетворения их алчности сокровища капитана Кидда. Самого Кидда тогда уж и на свете не было, а к сокровищам Флинга прислоняться — себе дороже.

С берберскими пиратами я никогда дела не имел. Мы не враждовали, а так как-то... не пересекались. Про них рассказывают всякие гадости, но в тот единственный раз, когда я с ними столкнулся в Адриатике, никаких зверств за ними не заметил. Мы немного покачались друг напротив друга, моя каравелла против их шебеки, и хотя мушкетеры уже стояли вдоль борта, нацепив шляпы, как д'артаньяны, и артиллеристы с красными повязками на головах уже откинули форты пушек, и, ощерившись, стояли с зажженными фитилями, никто первым выстрела не сделал. С той стороны узкого водного пространства, разделявшего наши суда, мне крикнули: мы — янычары турецкого султана, чего тебе тут понадобилось? И кто ты вообще, к Аллаху, такой? — и я ответил, что у меня ностальгия по Венеции, поэтому я приперся сюда с того берега Атлантики, чтобы стоять на площади Святого Марка и читать голубям нараспев Бродского, вслух. Они там повертели пальцами у виска и сказали — проходите, не задерживайтесь; и когда мы уже почти прошли, их капитан, рыжебородый, как Барбаросса, крикнул вслед: эй, а ты, наверно, тот самый ебнутый на всю голову Муса по кличке Дракон, как зовут тебя неверные?..

Ну да, ответил я, и мы повернули, и опять сошлись бортами, и я пригласил рыжебородого ко мне в каюту, и потом мы там сидели и пили, я — ром, он — мятный шербет со льдом; и препирались на тему, кто более прав — сунниты или шииты. И мы горячились, и перешли на общетеологические темы, хотя это всегда чревато, но он успокоился, когда я процитировал ему суру Корана касательно своего статуса зимми — как представителя народа Книги. Он вздохнул и спросил: а вот все равно у тебя в каюте по стенам висят языческие картинки; у меня вот в каюте никаких картинок не висит; нельзя изображения на стенах вешать, эх ты, а еще монотеист.

Чего такое, спросил я, какие еще языческие картинки? Это фотографии моих родственниц — сестер, можно сказать, — и подруг. Они любят меня, как сорок тысяч братьев... Ну у тебя и родственницы, буркнул он. Я встал, заставил его подняться и начал водить его по каюте как по музею. А это что за монстр? — спросил он. — Мужик вдруг какой-то среди сонма гурий... — Это не монстр, это святой Брендан, — объяснил ему я не подумавши, — это наследственный дашнак с Арарата...

— Что-о-о?! — заорал турок и, мягко отпрыгнув в угол, вытащил саблю. Насилу я его успокоил. Он вошел к себе на корабль, поминутно оглядываясь, и долго еще подозрительно смотрел нам вслед. Когда верхушки наших парусов были уже вне досягаемости его пушек, я из принципа распорядился поднять на грот-мачте флаг партии Дашнакчутюн. И мы взяли курс на Венецию.

Дальше был Дворец дождей, которые все сперва хотели меня отравить на торжественном балу, устроенном в мою честь, но успокоились, когда я прочел им наизусть кое-что из Бродского. И я посетил типографию Альда Мануция, и пожал мягкую белую руку Марка Мансура, критянина, сделанного венецианским правительством государственным цензором, и тут выяснилось, что мы — дальние родственники.

Криг. Меня волнует все, что так или иначе связано с этим островом. Это уже третий раз, что я плыву на Криг и, надо сказать, мне ни разу не надоедает. Я все еще надеюсь откопать череп Минотавра и прибить его в моем доме, над входом в салон. Далее, как говаривал Питер, — *cras ingens interabimus aequor*, завтра мы снова выйдем в огромное море.

Жди меня, и я вернусь. Только очень жди.

2. *Festina lente* (Вкушение)

Я бывал в Греции три раза, и меня тянет туда снова и снова.

Может быть, и, скорее всего, наследие Гомера, которым я зачитывался с шести лет. Отчасти, возможно - тени забытых предков; мой прадед, чье имя в нашей семье было почти табу, - урожденный грек. А может быть, всё это - влияние Гомера и голоса нелюбимых покойников - я просто вообразил. Может быть, мне просто понравился степенный, неспешный уклад жизни потомков древних эллинов, столь отличный от сумасшедшего ритма, в котором я обычно живу.

В Италии я не бывал ни разу и, хотя очень люблю историю троянских беженцев и Энея, основавших город Альба-Лонга, предтечу Рима, меня туда как-то не очень тянет. Единственное место в Италии, которое я действительно всегда хотел увидеть — Венеция. Дело не столько в альбомах художников эпохи Возрождения, хранящихся в домашней библиотеке моих родителей, — или, вернее, не только в них. Дело в венецианских хрониках шестнадцатого века, описывающих подвижничество мессира Альда Мануция, одного из первых книгопечатников, чей дом стоит над тихим каналом вблизи от площади Сан-Марко, дело в "Набережной неисцелимых" Бродского и "Холмах Варны" Джеффри Триза.

Для того, чтобы прочувствовать долину Скамандра, где по книгам я знаю каждый камень и каждую излучину Ксанфа, мне нужно побывать в этой долине; но экскурсий непосредственно в Трою у нас нет. Поехать же в Венецию оказалось неожиданно простым делом, и я воспользовался этой возможностью. По Криту я бродил с томиком "Илиады" в руках, по Венеции — с повестью Триза. Три года назад я был на Родосе; снова и снова тянет меня в узкие переулки старого гетто, где всё осталось прежним, и только в прошлом году не стало Стража Ворот — девятистолетней Лючии. Мы заблудились в руинах одно и двухэтажных домов тех, кого в сорок четвертом отправили в Освенцим.

Дома остались без хозяев; греки в них не селятся и реконструкцией зданий не занимаются. Можно заглядывать внутрь и видеть жилье таким, каким оно было в последний день перед депортацией. Окна зияют провалами, двери заколочены старыми досками, которые при желании можно сорвать и войги - поглядеть на старую печь, на остовы кроватей, на остатки керамики на кухне. Двери были заколочены хозяевами одним июльским утром больше шестидесятилет назад; хозяева думали вернуться. Здесь относительно чисто, хотя всё носит следы поспешных сборов. Сюда не залезают хулиганы и ищущие туалет туристы; потомки эллинов обходят эти здания стороной. Наблюдая за лицами прохожих, я подумал, что они отводят от этих домов взгляд.

Сказал бы — бегут от них, как от чумы, но нет — никто, конечно же, не бежит, просто не обращают внимания. Что было — было, и быльем поросло.

Группа разбрелась по сувенирным лавкам, а я отправился разыскивать единственную синагогу гетто, в которой был уже дважды, и понял, что забыл, где она находится. В последний раз мне открывала ее Лючия; теперь Лючии нет, и я долго топтался по улочкам. С нами ходил, вздыхая, толстый парень с женой и с дочкой. Наши жены подружились, подружилось и дочки; нам ничего не осталось, как подружиться с толстым парнем; выяснилось, что он — религиозный писатель из Ашдода, имени которого я никогда раньше не слышал.

Надо мной сжалилась веселая краснолицая старуха, хозяйка кофейни неподалеку от центральной площади. Она была слегка навеселе. Поднявшись с высокого табурета перед стойкой, она выскочила на улицу, схватила меня за руку и побежала вперед. Я бежал за ней, придерживая сумку с фотоаппаратом, мое семейство несло следом. Бульжная мостовая под ногами цокала подковами воображенных мною лошадей. Соседям, глазевшим на нас из окон, старуха кричала: это из Иерусалима, приехали посмотреть нашу синагогу; а ну — вперед! Люди чесали носы и эмоций не выражали. Вероятно, визиты паломников такого рода на острове не редкость. Мы пробежали два квартала, пронеслись по переулкам и очутились у здания венецианской кладки. Вот! — сказала старуха и подвела меня за руку к дверям. — Ее открывают иногда для туристов, только я не знаю, у кого ключи, Лючия-то померла...

Веселая хозяйка кофейни была очень довольна. Я поцеловал ей руку, она потянулась ко мне и, привстав на цыпочки, звонко чмокнула меня в нос. Потом ущипнула за щеку Бусю, сказала Софе: мадам... поправила крестик на груди и вприпрыжку умчалась по переулку.

Я сел на скамейку под кипарисами, и усатый хозяин кафе напротив немедленно вынес мне лигровый картонный стакан с плескавшей в нем светло-желтой жидкостью, хотя я ни о чем его не просил. "Грек бир!" — внушительно сказал он и добавил что-то на итальянском; я расценил сказанное как русский аналог фразы "за счет заведения", и выпил пиво. Оно оказалось водянистым и не очень вкусным, зато холодным. На улице было тридцать градусов.

Я задумчиво пил пиво и вздыхал. Хозяин стоял надо мной и умилялся. Я встал, сказал "сенкьюверимач" и собрался уходить, но тут умильное выражение лица у усатого сменилось недоуменным, и он быстро заговорил на койне. То есть это я подумал, что он говорит на койне, оттого что мне этого захотелось, потому что я очень люблю не только Гомера, но и Таис Афинскую. Хайре! — сказал я и хлопнул его по плечу. Было так жарко, что выпитое залпом легкое пиво ударило мне в голову. Он почесал за ухом, продолжая удерживать меня. Калимера! — сказал я, но он все равно меня не отпускал.

Чего тебе надобно, старче, раздельно спросил я, ариведерчи, — и вывернулся из-под его руки. Усатый заорал. На нас стали оглядываться. Цокая по бульжнику каблучками, подошла официантка из соседнего кафе.

— Вы забыли заплатить, — виновато сказала она на удивительно чистом русском языке.

— Пардон, — сказала я, страшно сконфузился и достал из кармана три евро. — А где вы так хорошо выучили язык? Здорово, совсем нет никакого акцента.

— Да какой акцент может быть, я приехала из Севастополя, я тут замужем за греком. Уже двенадцать лет.

Мы разговорились.

— Хорошая у вас жизнь, — сказал я. — Тихо, тепло, и никаких арабов нет. И взрывов нет, и войны, и никакие великие державы на вас не давят.

— Скучно, — пожаловалась она, сморщив милый курносый носик.

— Мне бы вашу скуку, — проворчал я.

Мы обменялись адресами, расцеловались на глазах удивленного усача, пообещали приехать друг другу в гости, и я пошел на корабль.

Писать о корабле скучно, я не буду о нем писать. Скажу только, что там было два бассейна, которые очень скоро мне надоели необычайно, круглосуточный грохот на музыкальной площадке, и пятиразовое королевское питание. Последняя трапеза — в полночь, а завтрак — уже в шесть часов, но народ в ресторан прет стадами.

Обслуживающий персонал — филиппинцы; матросы, капитан, офицеры и доктор — контрактники из России; корабль принадлежит израильской компании, а ходит под панамским флагом.

Детям было весело, их развлекала и развивала специальная воспитательница. Я потом, после окончания рейса, написал ей благодарственное письмо. Мне было неуютно. Со времен советской армии я крайне не люблю замкнутых пространств, а здесь я ходил, словно тигр в клетке. Я получил приличное советское воспитание и не привык иметь дело со слугами, а несчастные филиппинки — горничные, повара и официантки — были даже не слугами, а рабами. Они следили за выражением лиц пассажиров (у меня оно, как правило, было брюзгливым) и кидались выполнять малейшее желание, работали, как каторжные, и все время улыбались приклеенными улыбками. Это было страшно. Чтобы не смущать их, я, выходя из каюты по утрам, надевал черные очки, и не снимал их до вечера.

В этих девочках было сорок килограммов живого веса, они получали за свой труд четыреста долларов, что, по их словам, в деревнях на Минданао считается царским жалованьем. Они боялись обращаться к врачу из опасения, что их уволят; свои семьи они не видели по восемь месяцев в году. Во время работы они пели хором. Мне показалось, что это — католические гимны на видеоизмененном испанском, но оказалось, что поют они песни партизан времен войны с японскими оккупантами. Я был очень тронут. С одной девушкой я было совсем уже подружился, но Софа, подозревая меня в matrimониальных намерениях, на всякий случай взяла меня за пугундер. Безо всякого, впрочем, на то основания.

На корабле плыли две профессиональные проститутки из Калуги, утверждавшие, что они живут в Канаде, и работавшие по контракту в Хайфе. В этом году они решили отдохнуть от трудов и отправились в плавание. Они рассказывали всем, что являются туристками из Монреаля; к ним пытались обращаться на английском, французском и иврите, но девушки не понимали ни слова. Бывшие канадки отходили от них, пожимая плечами. Девушки кричали им вслед, что у них — другой диалект. На корабле они занимались, преимущественно, тем, что загорали на палубах и пили виски в барах. Дорогое виски, я такое не всегда могу себе позволить.

В каждом порту они сходили на берег, но на экскурсии не ездили, а немедленно отправлялись искать министерство иностранных дел или полицейский участок. Они объяснили мне, что ходят туда с единственной целью — просить политического убежища. На каком основании? — удивился я. — В Калугу возвращаться не хочется, а в Хайфе жарко, — объяснили они мне, забыв на минуту, что являются канадками. — Кто же вам даст убежище, вы что? — продолжал нудничать я. — Вы

же не подвергается преследованиям по политическим или религиозным мотивам, и вы вовсе не похожи на беженцев. — Ну, вдруг получится, — сказали они, — было бы приколно остаться в Венеции.

В Венеции полицейские сказали им (они приплыли к полицейскому управлению на гондоле, уплатив гондольеру сто сорок евро за пятиминутную прогулку), что они дуры, и больше эти девушки никуда уже не ходили.

На Крите я поехал на экскурсию: сперва высоко в горы, где располагалась сельскохозяйственная ферма по производству вина и оливкового масла, а потом к развалинам Кносского дворца. В маленьком музее мы посмотрели фильм о сборе маслин по старинным дедовским рецептам и отправились дегустировать вино. Симпатичная эллинка с золотыми волосами и голубыми глазами наливала четверть стаканчика красного или белого — на выбор — вина, и давала закусить сухариками, украшенными съедобной оливковой веточкой; она объяснила, что такой бутерброд следует перед отправкой в рот как следует обмакнуть в оливковое масло. Я съел пять бутербродов и разговорился с продавщицей. Ее звали Еленой, и была она родом из Феодосии. Говорили мы, естественно, по-русски. Я вызвал ее доверие тем, что прочел ей первые строфы "Илиады" и рассказал о критском царе Идомее, родственнике Агамемнона и его союзнике в ходе Троянской войны. Елена заявила, что этим ее не удивишь, — в Греции "Илиаду" наизусть знает любой первоклассник.

Я опечалился, и тогда она тихонько сказала, что вот там, в углу, в стену вделаны две полутонные бочки с краниками, и я могу утешиться молодым вином: повернешь один краник, польется красное, повернешь другой — потечет белое. Я сказал, что лучше выпью водки, если она здесь есть, а вино пить по некоторым причинам не стану. Она подала мне две бутылки Cretan ouzo и сказала — "за счет заведения". Памятью о прискорбном инциденте на Родосе, я подозрительно переспросил ее, правильно ли ее понял. Я ж тебе русским языком говорю, ответила она, и я принялся распахивать бутылки по карманам.

Мужская часть нашей группы увидела меня, крутящегося возле бочек, мигом смекнула, в чем дело, и принялась угощаться, не отходя от стойки. К исходу часа полбочки, кажется, не меньше, было опорожнено, и экскурсия по острову могла бы закончиться уже здесь, если бы не наш ведущий. Он прибежал и вытащил спотыкающихся туристов наружу. Я с видом гурмана нюхал пробки от анисовой водки, подаренной мне за счет заведения, а потом принялся помогать экскурсоводу и водителю вносить туристов в автобус.

Высунувшись из окна, я послал Елене воздушный поцелуй и прокричал ей, что она — "киклогемерион мелибоя" (я вспомнил и безбожно переврал Ефремова), и мы умчались.

Потом мы были на развалинах Кносского дворца, и я повздорил с музейной охраной, запрещавшей курить не только внутри, но и на свежем воздухе. Зажав под мышкой Куновские "Легенды и мифы Древней Греции", я ходил по реконструкции дворца, сделанной Эвансом, и пытался найти вход в Лабиринт. У меня ничего не вышло, поэтому я, встав на карачки, поцеловал ступеньку лестницы царских процессий и вернулся в автобус.

Мы поехали дальше, и осмотрели гору, по очертаниям своим похожую на человеческий профиль. Нам объяснили, что это, по верованиям критян — могила Зевса. Как же бессмертный может умереть и быть похоронен, удивился я, и нам рассказали, что очень даже может — типа, как египетский Осирис.

Потом мы вернулись в порт и отплыли в Олимпию, о которой я рассказывать не буду — и так все знают, что такое Олимпия.

Про Албанию, вдоль берегов которой мы проплывали, я не буду рассказывать тоже.

На следующий день мы прибыли на остров Корфу, встречи с которым я действительно ждал. Я памятовал, что эта Керкира на самом деле — гомеровская Схерия, последняя остановка Одиссея перед возвращением на Итаку. Итаку, к слову, я видел тоже, но только с палубы. Я поднялся на мостик, сослепу влез в помещение, на двери которого было написано, что вход — только для экипажа, и немного поскандалил с капитаном, но он не решился причалить к острову, хотя я заклинал его Посейдоном, Герой и Афиной.

Слушай, профессор, — сказал мне капитан Петрищев, — шел бы ты почтить Гомера, что ли. Надоел ты мне хуже горькой редьки. Видишь — судно из-за тебя начинает описывать восьмерки.

Я пожелал ему, чтобы его съели сладкоголосые сирены, и спустился на палубу с "Одиссеей" под мышкой. Весь корабль уже знал, что я схожу на берег под ритмы Гомера. Не обращая внимания на скаливших зубы толстопузых, развалившихся в шезлонгах, туристов и приклеенные улыбки пробежавших филиппинцев, я встал у борта и прочел вслух пару строф про грот Наяд, у входа в который Сокрушительница городов давала последние наставления Лаэртиду перед его возвращением домой. Вот он, этот грот, а вот и лесистая вершина горы Нерион, только добраться туда сегодня у меня не получится...

Мы проплыли лесистый Закинф и богатый пшеницею Дулихий — острова, подвластные царю Итаки. Они выплывали один за другим из синевы Ионического моря, и я скрипел зубами. Потом я отвлекся — к моему удивлению, Закинф, супротив описаний Гомера, вовсе не был покрыт лесом, а на Дулихии я не обнаружил никаких признаков пшеничных полей. Только позднее я спохватился и вспомнил, что описания относились к происшедшему три тысячи двести лет назад.

Тогда я успокоился и пошел спать в каюту.

Утром, как я уже сказал, мы подплыли к Корфу, то есть к Схерии. С дрожью в сердце, прижимая к себе Гомера, я сошел на берег, встал на колени, и мы вдвоем с великим слепцом поцеловали священную землю царя Алкиноя, внука Посейдона, и супруги его — царицы Ареты. На меня смотрели странно, но меня это не беспокоило. Я был в своем праве.

Я загадал, что если первый человек, который мне встретится, будет носить имя кого-нибудь из героев "Одиссеи", то всё будет чрезвычайно хорошо. Я нашел на пляже с золотистым песком какую-то палку, вообразил, что это — страннический посох, оперся на него и, воздев бороду, взошел в город.

По сценарию, я должен был выбраться из кучи листьев и подойти к опушке рощи черных тополей, посвященных Артемиде. Я должен был больше походить на морское чудище, чем на человека, — грязный, с всклокоченной бородой и волосами, покрытыми только что засохшей морской тиной и листьями. Не впервые бура выбрасывала на берега блаженной Схерии несчастных мореплавателей, бубнил я вполголоса.

На берегу первой мимо меня прошла очень симпатичная девушка в сарафане, в сандалиях на босу ногу, с иссиня-черными волосами и синопскими глазами. На указательном пальце правой руки она вертела цепочку, к которой присоединен был маленький транзистор. Я прокашлялся, оперся на посох и заговорил, глядя на да-

лекие горы, ни к кому персонально не обращаясь. Девица оглянулась и заинтересованно приостановилась.

— Умоляю тебя, помоги мне, богиня или смертная — не знаю, — сказал я. — Если ты богиня, то ты можешь быть только Артемидой по красоте лица и высокому стану. Если же ты смертная — о, как должны быть счастливы твои отец и мать, имея такую дочь! Мне не приходилось встречать равных тебе. Однажды я видел в Делосе, возле алтаря Аполлона, стройную пальму с венцом из блестящих листьев. Ты прекрасна и стройна, как та пальма... Я не смею приблизиться к тебе с мольбой. Я знаю, что вид мой страшен, и боюсь испугать тебя. Двадцать дней я скитался по морю, был игралищем бури, и только вчера волны выбросили меня на этот берег. О! Сжался надо мной, прекрасная дева, о! — помоги мне. Пусть бессмертные боги исполнят все твои желанья, дадут тебе супруга по сердцу, счастье и изобилие в доме!

Закончив, я искоса взглянул на нее. Девица стояла, раскрыв рот. Я совсем уже собрался спросить ее "вотизуеим?", как она заговорила первой.

— Ни хрена себе! — воскликнула она пронзительным голосом. Я даже не сразу удивился, что воскликнула она это на чистейшем русском языке ("на чистейшем койне!") — умиленно подумал я).

— ...Ни хрена себе!

Она закатила глаза, потом на секунду зажмурилась и, щелкнув пальцами, процитировала именно то, что, по правилам, процитировать было должно.

— Странник, я вижу, что ты не простой скиталец. Ты разумен и благороден, и вид твой меня не пугает: Зевс посылает нам испытания по своей воле. В нашей стране все охотно помогут потерпевшему беды мореходу. Ты находишься в Схерии, стране феаков. Царем своим феаки признают Алкиноя, внука Посейдона. Царствует он вместе с пресветлой Аретой. Я дочь Алкиноя, и имя мне — Навзикая.

Я смотрел на нее, раскрыв рот. Она расхохоталась, и мы познакомились. Ее действительно звали Навзикая, и была она родом из Симферополя. В солнечной Элладе каждый мой приезд происходят чудеса, и я уже не удивился, когда выяснилось, что папу ее зовут Алкиноем, а маму — Любой, но в семье всегда именуют ее — Арета. В честь прабабушки.

Семейство Навзикаи репатриировалось на родину предков тринадцать лет назад; увлечение Гомером и троянским циклом мифов было у нее и ее родичей по-прежнему, и входило в естественный круг домашнего чтения. Совершенно обалделый, я позволил увлечь себя к ним домой — по правилам, естественно — в царский дворец, который на практике оказался милым домиком на холме на морском берегу, со стенами густой побелки, с несколькими уютными комнатами, с простой и удобной мебелью. Меня представили родителям принцессы, и часа три мы разговаривали о жизни, смерти, фатуме и стихах. Только когда дыхание вечернего бриза потянулось с запада и Гелиос стал опускаться в багровеющие волны, я распрощался с гостеприимным семейством, и, полный впечатлений, крутя головой, отправился в порт.

Нужно ли говорить, что на корабле никто не поверил ни единому моему слову. Обалделый от того, что случилось на берегу, я подошел к борту и стоял, облокотившись на перила, и смотрел невидящими глазами на закат, до тех пор, пока корабль не дал прощальный гудок, и переливавшийся огнями город стал медленно отодвигаться все дальше и дальше.

Я бормотал:

— О благородный Ангиной! Нигде не встречал я такой страны, как ваша благодатная Схерия! Всюду в домах слышится сладкое пенье и музыка, радостный смех пирующих; столы обильно уставлены вкусной едой; виночерпии разносят в кубках пенистое вино. Здесь живут счастливые люди!..

Сзади ко мне подошла супруга и стала подозрительно принохиваться. Я обернулся к ней и сказал с вызовом:

— Несчастливая! Ты хочешь, чтобы среди общего веселья я рассказал о своих плачевных скитаньях и о том, какие несказанные бедствия послали мне боги?! Ты, о ты, чье имя на языке бессмертных означает "Мудрость"!

— Я хочу, чтобы ты шел спать, — на редкость сдержанно ответила Софа, и я покорился.

...Сутки мы раскачивались на свинцовых волнах Адриатики, и весь корабль лежал, мучаясь от морской болезни; весь, кроме меня. Я бегал от борта к борту, бормоча строки Джеффри Триза. Так было положено по правилам — мы приближались к Венеции.

Утром я сошел на берег...

Я не буду рассказывать об этом городе. Во-первых, о нем прекрасно рассказали до меня десятки поколений людей, куда более выдающихся во всех отношениях. Могу только сказать, что вид Венеции в районе Гранд-канала действительно напоминает вид Петербурга в районе стрелки Васильевского острова. Я, наконец, понял, почему Бродский просил похоронить его здесь. Мне жаль, что я так и не сумел придти на его могилу. Сказать откровенно, я просто не нашел этого кладбища.

Зато я нашел трехэтажный дом, вот уже шестьсот лет стоящий над тихим каналом, и на высокой, тяжелой, потрескавшейся двери из мореного дуба все еще, как и в пятнадцатом веке, виднелся герб великого мессира Мануция: дельфин, обвивающий якорь, и надпись на нем — "Festina lente". Точно так, как было описано в книге Триза. Я посмотрел под ноги: шаги бесчисленных поколений выбили в булыжной мостовой глубокие колеи. Я не стал стучаться в дверь; я привстал на цыпочки и благоговейно коснулся губами старого дерева. Буся подошла тихо и, глядя на меня, потянулась губами к дверной ручке. Я погладил камень стены и отошел. "... И ему нравилось кормить голубей на площади Святого Марка".

...В тот же день мы отплывали в Дубровник. То есть в Рагузу, как называли ее жители Далмации полтысячелетия назад. Что есть Рагуза после Венеции? Это как китобойня в Рейкьявике после парижского Версаля. Там хорошо, но нам туда не надо.

И всё же, и всё же.

"К вечеру, поднявшись на холм, они вдруг увидели перед собой Рагузу..."

"Это были дни гордого расцвета Рагузы, когда корабли маленькой республики были известны во всех портах Средиземного моря. Прямо из морских волн вставали бело-серые двойные стены — скалы, сотворенные человеческими руками. Там и сям над ними поднимались грозные бастионы. Пирамидальные вершины кипарисов и пушистые веера пальм смягчали суровую геометричность их очертаний. Приглашенная зелень алоэ и серебристо-серая листва маслин отлично сочетались с кустарником, усеянным крупными желтыми и алыми звездами цветов. Утром путешественники вышли из гостиницы и оказались на Страдоне — главной улице города, украшенной фонтаном и затейливой башней с часами..."

Действительно, был и фонтан, и башня с часами. Узкие улочки с такой же, как в Венеции, булыжной мостовой. По обеим сторонам, погружая улицу в тень,

поднимаются высокие каменные дома. Над крышами кружат голуби и чайки. В провале между домами, в конце улочек, видны высоченные горы. Они совсем близко, начинаются сразу же за стенами Старого города, и чтобы разглядеть их вершины, нужно задирать голову.

Хорватия — древняя Далмация — красивая страна, и язык настолько похож на русский, что в любой ситуации я мог обойтись своим родным языком. Мне симпатичны потомки эллинов, но я с горечью констатирую, что темное бархатное хорватское пиво, которое я пил у стен цитадели, куда как вкуснее греческого.

Древнюю крепость никто никогда не трогал, но я обратил внимание, что почти все дома Нового города на склонах гор — совсем новенькие. Я спросил водителя такси, в машине которого мы возвращались к порту, и тот неохотно рассказал, что во время последней войны Новый город был разрушен практически полностью.

Мы возвращались домой после двенадцати дней плавания. Всю дорогу Посейдон был к нам благосклонен. Вероятно, ему пришлось по душе, как я приветствовал царевну Навзикаю в гостеприимном доме ее отца, старца Алкиноя, который ему, Посейдону, приходится родным внуком. А может быть, повелитель морей и тучегонитель просто давно умер, и, как его брат на Крите, похоронен безутешными олимпийцами на вершине горы, где-нибудь в дикой стране трибаллов...

Мы возвращались домой. Перед глазами стояли солнечные пляжи Эгейского моря — Делоса, Коса и Родоса с мельчайшим черным песком, зеленеющие оливковые рощи Крита, древнего острова, с которого давно ушла сказка... И Венеция. Особенно — Венеция.

Мой конь притомился, стопгались мои башмаки.



Ирина Чайковская

МОСКОВСКАЯ БАЛЛАДА

Повесть

Среда

Я проснулась среди ночи, было ощущение ужаса. Сердце билось пулеметно. В темноте взяла с табуретки стаканчик с водой, пузырек, накапала, выпила. Можно было зажечь свет, но не хотелось будить духов; сердце, успокаивайся, прошу тебя, и скорее наступай утро и чтобы не думать о привидевшемся сне, об этом кошмаре. Последнее время все какие-то чудища снятся, рожи страшные, но это хуже. Это самое ужасное, что может в моей жизни случиться и что случится непременно, но, дай господи, не скоро. Мне снилось, что мама умерла. И именно сегодня этот гнусный сон, сегодня, когда я отвезла маму на дачу, и она чувствовала себя неплохо и давление в норме, слегка только выше обычного, 150 на 90, и Клара Самойловна сказала: "Не волнуйся, Малочка, все будет в порядке. Мы с мамой твоей стреляные воробушки". Нет, там должно быть все хорошо. И в городке есть больница, плохая, правда, да где сейчас хорошие? До города, конечно, далеко, и на даче нет телефона. Но в случае чего Клары Самойловны ввук — Вовка — сгоняет на велосипеде, а если ночью, то дождутся как-нибудь утра, продержатся, у мамы с собой миллион лекарств, должна продержаться, и у Клары как-никак медицинское образование, хотя, она врачом никогда не была — ушла в науку, но все же...

Нашупала под подушкой транзистор, поймала "Маяк", как раз время передают, ага, 2 часа 15 минут, почему-то я в эту пору часто стала просыпаться. Хорошо бы открыть сейчас форточку, впустить воздух, но лучше не надо: в комнату пойдет черт знает что, только не воздух, они, гады, ночами выпускают вою накопленную пакость, и еще по субботам. Почему по субботам? Ха, из ненависти к евреям. Со всем зарпортовалась. Сердце бьется, не смолкает; встать? Какая гнусная музыка всегда на "Маяке", надоели эти "озера синие", терпеть не могу лживые песни, хоть бы рок какой, и то лучше. Все. Теперь, наверное, не усну, теперь мысли пойдут. Господи, как же тяжело, дай мне не думать и уснуть. Спокойно проспай до утра. Чтобы не думать. Ни о чем не думать. Ничего не вспоминать из прошлого. И не страшиться будущего. И не проклинать настоящее. Господи, дай мне! Все-таки зажду свет. Сяду почитаю. В журналах сейчас все такое страшное, вообще не смогу заснуть, уже от этого ужаса. Заварить валерьяновый корень? Сердце куда-то проваливается, частит невозможно. Мама! Я, наверное, умру сейчас. Точно. Такое ужасное сердцебиение, сердце не выдержит, разорвется. Скорую вызвать? Тело онемело, я не могу встать. Завтра в квартире найдут мое тело мертвое. Почему завтра? Через неделю, дай бог, когда мама хватится, начнет беспокоиться, попросит Вовку или еще кого-нибудь позвонит из города, там со связью плохо, автомата с Москвой нет. Бедная мама. Соседи придут ломать дверь. Наверное, Виктор Иванович, у него инструмент найдется, у него машина...

Господи, о чем я? Надо срочно взять себя в руки, это не сердце, не сердце, это нервы. Это стопроцентные нервы, а сердце бьется из страха, что рядом никого нет, некому помочь. И мама далеко, на даче проклятой. Мама, неужели ты спишь сейчас и не чувствуешь, как мне плохо? Надо измерить пульс. Ого, как громыхает. Так, 120. Где-то у мамы был абздан, Клара достала, по фальшивому рецепту. Надо принять четвертинку, жуткая горечь. Через полчаса полегчает. Надо спокойно лежать и считать до ста или до тысячи. А еще лучше вспомнить "Евгения Онегина", первую главу. Это все нервы. Коробова говорит, что таких, как я, у нас в стране 90 процентов, что все с неврозами — и живут, не умирают. Все-таки врет, наверное, чтобы больничных не давать.

Больше не пойду к ней, пусть ножом режут. Надо найти какого-нибудь знающего врача, чтобы со стажем, не современного. Да есть ли сейчас такие? Кто умер, кто уже в Штатах свою клинику открыл. У нас только такие гадины остались, как эта Коробова. "Не морочьте мне голову, у вас никакое не сердце, и моча хорошая. А у меня очередь, следующий". Пришла домой как оплеванная. Хоть бы меня кто-нибудь загипнотизировал что ли. Или наркотик какой принять. Лежишь — ничего не ощущаешь, только покой и тихую радость. А может, в церковь начать ходить? Какую только? Я ведь еврейка, в православии есть что-то антиеврейское; а в синагогу нет, не пойду. Синагога вообще не для женщин. Может, все-таки попробовать в православную? Свечку поставить, перед иконой постоять. Молитвы ни одной не знаю, разве что лермонтовскую "В минуту жизни трудную". Ну, можно ведь не по-писаному, что-нибудь от себя сказать. "Господи, дай мне силы выдерживать тяжесть этой жизни, ужасную тоску и одиночество, и бессонные ночи, и возможные болезни мои и мамини, и грядущий мамин уход, и то, что я не знаю, зачем и для чего я живу, и что никому, кроме мамы, не нужна, и что так нелепо и грустно складывается жизнь. Господи, услышь, ты ведь для всех — для православных и евреев — один, может, к евреям, твоим соплеменникам, ты даже ближе. Господи, дай нам с мамой сил". Неужели утро уже? Да, пять. Слава богу. Утро. Мамочка, с добрым утром! Как ты там на даче? Я, кажется, жива.

Да. Утро. Как там у Фадеева: "Надо было жить и выполнять свои обязанности". Это в Гражданскую войну было. А теперь не война ведь. Чего же я так хандрю? Ну что, если разобраться, что уж такого тяжелого в моей жизни, чего я разнюнилась? Вон до сих пор слезы текут. Прямо в чашку. Двухкомнатная квартира на двоих, не коммуналка, санузел отдельный, мебель старая, еще когда родители поженились, куплена, но в мебели ли счастье? Вид из окна плохой, это да. Прямо на свалку. Стоят металлические баки для мусора, день стоят, два ... запах тот еще. Это да, это неприятно. И вообще место не из лучших — Центр, заповедная зона. От машин некуда деться — улочки-то узкие. Жмешься к тротуарам, а они, гады, так и норовят тебя шлейфом обдать. Ненавижу машины и еще дизельные автобусы. Дурная примета для меня с утра с дизельным столкнуться. А вообще другие хуже живут. Что там — миллионы хуже, прямо возле заводов: стенка в стенку, или на Садовом. Юмор. Кольцо названо Садовым, а там по краям магистрали последние деревца доходят. Эти гады всем завладели безраздельно - шум, вонь. Слава богу, я не на Садовом. Но рядом. Еще что ли чашку выпить? В этот раз мед неплохой. Кажется, не надули в кооперации. А может, и надули — кто разберет? Но мед нужно есть, хотя бы ложечку в день, для сердца. И еще курагу, надо бы съездить на рынок на днях, если не дороже десятки. Мама говорит: "Курага мышцу сердечную укрепляет".

Да. Мама. Как ты там? Тоже, наверное, чай пьешь. С Клариным вареньем черносмородиновым. Или спишь еще. Сейчас только семь, спишь, конечно. Это я ... да, так я отвлеклась. Чего, собственно, мне не хватает? Здоровья? А кто сейчас здоров? Послушать Коробову, так у нас 90% неврастеники. И вот здесь я ей верю, гадине. И вообще никакая я не больная, выдумки одни. Сама себя взвинчиваю, словами довожу чуть не до сумасшествия. Нужно оздоровливаться. Делать обтирания, зарядку по утрам. И вообще заняться лечебной физкультурой. Но для этого опять надо идти к этой гадине, Коробовой, чтобы направление дала. Ни за что. К ней — ни за что. А я вот что сделаю, я в оздоровительный кооператив запишусь. Сколько они могут брать? Денег что-то совсем мало осталось, маме дала с собой пятьдесят рублей, это помимо пенсии за папу, она брать не хотела: "Тебе Малочка, надо приодеться, ты у нас девица на выданы!". Мама все еще думает выдать меня... А я уже и не думаю. Сорок пять. Сколько можно думать? Да, так о чем я? Опять нет горячей воды. Вот лето началось. Это всегда так. И вроде объявления не было. Кира мне недавно смешное объявление показала, из газет: "Женщина средних лет, еврейка, ищет спутника жизни с планами дальнего путешествия". Юмор. Какая-то идиотка дала, вроде меня. Только я без планов. Все сейчас как с ума посходили, все с планами, вон и Кира едет. Одна я сижу. Преподаватель английского языка... Сейчас других разговоров нет, кто ни встретит, сразу: "Ах, вы язык преподаете, а когда одеваете?" Или: "Вы еще не одеваете, так не могли бы..." Все, чашку сполоснула, надо одеваться. Выйти на улицу. Пройтись по магазинам. Нужен моцион. Неужели лучше оставаться в четырех стенах?

На улице люди, соседи, с кем-нибудь перекинешься словечком... Нельзя опускаться, нельзя. Мама так и говорила: "Ты здесь без меня не опускайся". Какая сейчас погода? Странно, что я радио не включила, теперь вот погоду прозевала. Солнце вроде, но ветер, да, сильный ветер, мусор несет из ящиков. Надо костюм надеть. Вот и хорошо, вечером у меня урок, не придется переодеваться. Сегодня среда, вечером Коля придет. Отличный мальчик, люблю его. Но к языку способности средние. И не больно старается. Тяп-ляп, нужно с ним построже. Не забыть взять ключ, сегодня дома никого, сегодня я дома одна, мамочка на даче. Как ты там, мама? Проснулась уже? Без четверти восемь. Нет, конечно, еще не проснулась. И в магазин еще рано идти. Вскочила по привычке, как когда в школу торопилась. Совсем недавно было, не успела отвыкнуть. Да, уже год. И Кира год как не работает. Но у нее ребенок, у нее семья. А у меня ни семьи, ни детей, мама одна. И работы нет. Репетиторство разве работа? Опять начинается. Чего ты хочешь, зануда! Ты когда в школе работала, ты же себе надоела жалобами, ты ж ноги едва таскала, тебе ж такая работа в гробу виделась, не знала, куда от нее убежать, а сейчас опять недовольна! Да когда же ты довольна-то будешь, а? Когда скажешь: "Господи, спасибо тебе, у меня есть крыша над головой, кусок хлеба, я еще не умерла, у меня есть мама и она тоже еще не умерла, спасибо тебе за доброту твою, Господи!" Когда ты это скажешь, неблагодарная?! А и правда, когда? Может, сейчас? Благодарю тебя, Господи. За все. Тьфу ты, лигатурно как-то. Как у Лермонтова. "За все, за все Тебя благодарю я". Ладно, надо идти. Открылся магазин. Ключ только не забыть, мамы-то нет сегодня. Мама, ау! А помнишь, мама, когда еще был жив папа...

Когда папа был жив... мы все были очень счастливы. Я была круглой отличницей — и в школе, и в институте. Занималась в кружке художественного чтения. До сих пор грамоты некуда девать - каждый год победительница конкурса чте-

цов. Очень Лермонтова любила читать баллады. Мистический он поэт, странный, мне это в нем всегда нравилось, — странность. "Я примчу к тебе с волнами труп казачки молодой". Казалось бы, почему и зачем здесь слово "труп"? Кто на такой подарок польстится? Я над этим местом долго голову ломала, Людмила Михайловна не подсказывала, говорила: "Сама думай, тебе читать". И потом я поняла, что стихотворение написано как бы с другой стороны, из ангимира. Человеку ни валуны не нужны, ни мертвый кабардинец, ни труп молодой казачки, а вот тому, кто в другом, нечеловечьем мире живет, все неживое — самые дорогие подарки. Но ведь слушателей надо убедить, что мертвецы могут доставить кому-то радость. Помню, когда я читала "труп казачки", то на слове "труп" понижала голос и таинственно так улыбалась. Людмила Михайловна сначала негодовала: "Какие здесь могут быть улыбки? Это же противостоестественно!" Но потом я ее убедила. Хороший она была педагог, понимающий, может, я из-за нее и в школу пошла.

Что-то сейчас с ней? Жива ли? Тогда на вид ей было лет 40-50, казалась молодой, а была вся седая, красилась. И прошло уже лет 30. Сейчас, если жива, ей должно быть лет семьдесят-восемьдесят. Нет, наверное, умерла.

Господи, и маме уже восемьдесят, и мне... А детство рядом, рукой можно потрогать. И Людмилу Михайловну помню, ее жесты, интонацию. Как глаза блестящие, и все это ушло, растворилось в вечности. И мама так же уйдет, и я... Людмила Михайловна мертва, а я помню ее живую, улыбчивую, она во мне живет. Может так? Во мне ее частица. Ну ладно, а дальше, дальше. Дальше ты умрешь - и цепь прервется, частичка Людмилы Михайловны уйдет вместе с тобой в небытие...

Да, так о чем это я?

В тот год, когда "Дары Терека" читала, я опять победила на конкурсе, и мы всей семьей решили отметить событие — пошли в ресторан "Якорь" на улице Горького. Мне было семнадцать лет. Ресторанчик маленький, уютный; папа заказал "осетрину по-московски", и ждали мы совсем недолго. В больших белых тарелках нам принесли горячий жареный картофель с кусками белой заливной сметанным соусом рыбы, мы пили шампанское. На мне было белое шелковое платье с красивым узором внизу и с таким же поясом. Дома мне было страшно глядеть на себя в зеркало, так шел мне этот наряд, так оттенял черные волосы и глаза, оливковую кожу. Официант спросил, кивнув на меня: "Иностранка? Из Мексики?" "Что вы, - заволновалась мама, — а папа спокойно и гордо ответил: "Моя дочь". Меня до сих пор иногда принимают за испанку или латиноамериканку. Не знаю, шутил ли папа — а он был шутник, — когда говорил, что наша фамилия — Хозе — происходит из Испании, и имя мне было дано вполне иностранное — Амалия, в школе и в институте — Малка, теперь — Амалия Исааковна, а папа умер. Папа умер давно, когда мне было двадцать и я училась на первом курсе пединститута. Заболело сердце, положили в больницу, и там он умер от воспаления легких. С тех по при слове "больница" нас с мамой бьет дрожь.

Папа очень любил нас с мамой, он работал в конторе и зарабатывал мало, мама иногда для порядка ворчала, что нет денег "дочке на салюги" или "на летний отдых", но жили мы — дай бог всем так — без ссор, без скандалов. Даже когда в коммуналке пьяный Мишка располагался в коридоре прямо возле нашей двери, папа его ошарашивал спокойным "простите" и невозмутимо перешагивал через лежащее тело. Жили в бараке, среди нищих, пьяных малограмотных русских, но Исаака Григорьевича здесь уважали. Сколько раз приходили советоваться по семейным делам. Папа прошел войну, был ранен, сильно хромал, за военное ранение его

тоже сильно уважали. Пока папа воевал, мама работала медсестрой в госпитале и не получала ни копейки денег — только паек.

Она дала такой зарок, чтобы папа вернулся с войны живым. И он вернулся — раненый, но живой. А после войны уж мама почти не работала, занималась домом, мной и папой — нам по очереди дали отдельную квартиру, вот радость была; да, почему-то все самое радостное и светлое ассоциируется у меня в памяти с тем временем, когда папа был с нами; если нет сна, я стараюсь представить себя маленькой и папу рядом, как он мне поет колыбельную, укачивает. Каждый вечер папа приносил нам с мамой маленький гостинец — кулечек пряников или тянучек. Интересно, куда с тех пор подевались эти простенькие, но удивительно вкусные сливочные тянучки? За эти годы много чего исчезло навсегда. И тянучки пропали. Исчезли также, как годы детства, проведенные с папой.

Ну вот, прошлась, настроение немного улучшилось. И продукты купила. Три больших пакета кефира и молоко, теперь смогу сделать творог и в субботу отвезу маме. Если объединить пять моих учеников в одну группу, я была бы занята всего какой-нибудь день в неделю, скажем, понедельник, а со вторника могла бы находиться на даче, с мамой. Но не могу. Другие объединяют, а я - нет. Принцип такой. Они же все разные — и по возрасту, и по подготовке, все требуют индивидуального подхода. Я ведь учитель, а не халтурщица, не репетитор как таковой. Тем только денег побольше подавай. А я плату беру такую, что все говорят: "Не ценишь свой труд. Тебе по нашим временам при нынешнем спросе спокойно можно вдвое брать". А я не могу, совестно. Это ж дети. Откуда у их родителей деньги лишние? Что они, воруют? Виноваты они, что в школе детей плохо учат? И еще у меня есть один резон, уже личный, не для чужих. Я самый обычный учитель, не экстракласс, в институте не преподавала и не преподаю, за границей не стажировалась, с иностранцами практики не имела.

Так что настоящего разговорного языка — увольте — не знаю, грамматику — это да, это пожалуйста, произношение, говорят, тоже неплохое, а в остальном... Вы попробуйте, работая в школе, будь у вас хоть трижды красный диплом, не забыть язык... Но про это я никому не говорю, держу про себя. Пусть думают, что я такая бессребреница. А я просто очень гордая. Мама говорит, что я из-за гордости своей замуж никак не выйду. Возможно. Гордая, робкая и стеснительная до крайности — три самых жутких черты характера, разве такая может в наше время найти себе "мужика"? Вон подумала и даже покраснела. Э-эх. И еще одно хорошо в том, что я учеников не объединяю: есть ощущение работы, занятости, ежедневного труда. Но не того, каторжного, на выживание, который был в школе, а добровольного, необременительного и престижного. А деньги в сущности те же. Ну вот, поставила все пакеты, хлеб — в целлофан, вот тоже повезло - купила черный круглый, кто рано встает, тому и верно, бог подает. Газеты принесла, целых два журнала, будет, чем заняться.

Газетка, газетка, газеточка моя. Какой портрет хороший. Народная артистка СССР. Глаза красивые. А как она? Она ТОЖЕ над этим думает? Или ей этого не нужно? У нее театр. Она обдумывает роли, у нее репетиции, спектакли, поклонники, авации. У нее уже внуки, наверное, Она умрет с сознанием исполненного долга. На шпите напишут: "Народная артистка СССР". Люди будут ходить, носить цветы. А я? А я никому-никому не буду нужна и после смерти, никто не вспомнит... Ученики? Да, брось ты. Кто вспоминает учителей? Инглиш, подумаешь! Если бы хотя бы литература или математика... Если бы любил меня кто-нибудь,

кроме мамы, он бы пришел ко мне на могилку. Хотя бы так, хотя бы так. Чтобы кто-нибудь пришел на могилку... ни ребенка, ни собаки, ни собаки, ни ребенка. Прекрати! Опять истерика начнется. У тебя все хорошо, слышишь? Ты здорова, еще не стара, у тебя есть мама, крыша, хлеб. Двести девять. Пятьдесят один. Девяносто шесть. Кира, ты дома? Да нет, ничего не случилось. Ну, зачем? У тебя Леночка. Ах, в садике. Ну, если в садике... А ты действительно ничем не занята? И не спешишь никуда? Ну что ж... тогда может действительно... Приезжай, Кира. А то я тут... умираю.

Кира ушла. А я снова одна, с немтыми чашками. Надо помыть. Вставать не хочется, сидела бы и сидела. Почему нет сил? Ведь ничего совсем не делала, утром только немного прошлась. На душе как-то ужасно тревожно. И было, так еще Кира добавила. Какой-то самозванец где-то на польской границе, не то Галич, не то Панич. Лучше не думать, все забыть. Не хватало еще начать об этом думать, слухи пустые. Надо бы газеты почитать, сейчас чашки только вымою, да в газетах не будет... Пусть Кира едет. Последняя из могики. А я буду самая последняя. Я не тронусь. Мне в сущности некуда ехать. И маму куда я дену, восьмидесятилетнюю? Восемьдесят, а крепче меня, стучу по дереву, поколение такое — чего только ни испытало: мамин отец до революции был краснодеревщиком, имел свое дело, потом все пошло прахом, и он с семьей начал колесить по России — я так и не поняла, то ли от властей скрывался, то ли искал, где лучше: голод был, разруха. Мама родилась на Украине, в школу пошла в Кисловодске, потом были Ташкент, Одесса, Харьков. В дедушке жила предпринимательская жилка, в Ташкенте он затеял небольшое предприятие по производству абрикосового повидла. Маме запомнилась гора абрикосовых косточек во дворе саманного домика в Старом городе.

Затея быстро прогорела. Дедушкин компаньон с горя умер, потом, много лет спустя, к вдове этого компаньона они нагрянут в эвакуацию. Плохо жили, бедно, голодно, в страхе. Дедушкина сестра еще до революции уехала в Америку, когда маме было лет десять, они получили открытку из Америки от мадам Котляревской — мамина девичья фамилия Котляр — так дедушка ужасно испугался, открытку сжег и, конечно, не ответил. Ха, сейчас где-то в Америке, возможно, проживают мои троюродные родственники. Интересно знать, как им живется. Довольны? Счастливы? Без проблем? Говорят, что проблем там еще больше, чем у нас, только они другие, иного уровня. У нас проблемы чисто житейские, бытовые, а там карьерные, профессиональные и прочие.

Я иногда пытаюсь представить себя в Америке. Становится так тоскливо, как даже здесь не бывает, сердце сжимается. Не подхожу я к той жизни, я по типу неудачница, хнычица, хандрюша, постоянно в меланхолии, вечно думаю о плохом, копаюсь в себе и ищу смысла жизни. Что мне делать среди сытых и довольных? Я же явно там сдохну, меня тот мир отторгнет, как инородное тело. А Кира говорит, что все сначала так думают, а потом ничего, привыкают. Там, говорит, гораздо легче жить, там от жизни можно получать удовольствие. Говорит, а глаза у самой бегают.

Что ей, преподавательнице русского языка и литературы, делать в чужих краях? С другой стороны, что ей здесь делать? С работы-то выгнали. Наверное, я ей завидую. Наверное. Но зачем так много кричать, негодовать, зачем так ехидно передразнивать директора?! Ничем он не хуже других. Я работала в четырех школах. В трех директора были много хуже. Подумаешь, деспот, разве можно у нас директору не быть деспотом? У него же школа развалится. Борис Львович хороший

учитель, знающий, прекрасный администратор, политик, Кира не работала при директорах-дураках, невежах, хамах и антисемитах, потому и брыкается. А, может, и по другой причине. Сейчас модно выступать за демократию, все и кинулись. И Кира туда же. Почему она раньше молчала? Почему она выступила именно сейчас? Правда, поплатилась. И я за ней следом вылетела, дуруха. По-глупому.

Четырнадцать сорок пять. Сейчас буду мыть чашки. В четыре часа придет Коля. В пять Кира обещала позвонить. У нее ко мне какое-то дело. Вечные тайны. Что сейчас делает мама? Отдыхает, наверное, сидит в шезлонге, в саду. Что-нибудь читает. Вообще говоря, сейчас как раз время ПОЗВОНИТЬ. Я еще до маминного отъезда задумала, при маме было это невозможно, телефон у нас в коридоре. Сегодня с самого утра вертится у меня в голове: позвони, позвони. Но страшно. Потом еще вопрос: куда звонить? На кафедру — спросят, кто такая. А звонить домой — неудобно. Жена подойдет или сын, надо будет что-то сказать. Потом еще вопрос: когда звонить? Днем он может отсутствовать, сидеть где-нибудь в библиотеке, а вечером как раз вся семья соберется и опять неудобно. Лучше отложу до завтра. А сейчас до Колиного прихода спокойно читаю.

Узнаю, что в мире делается. Какой-то там Галич или Панич. Кире это жизненно важно, ведь могут закрыть границы. И никуда она не выедет — ни тебе в Израиль, ни в Америку. В Америку уже давно никто не едет — не берут. Что-то такое Кира говорила, что ей, с ее биографией, могут дать статус беженца. Смешно. Какая биография? Выступила на педсовете с разоблачениями директора; мол, деспот, поставил себя вне критики, кадры не выдерживают и бегут. Когда выступила? Когда уже МОЖНО было, когда критиканство в моду вошло. Все средства информации в один голос заговорили: больше демократии, больше демократии, вот и Кира на педсовете про то же. До этого-то не решалась, до этого только мужу на кухне жаловалась на диктатора Розенблюма, а теперь ату его, так? Конечно, у его не оправдываю: диктатор. Но умный, образованный, к тому же еврей. Все, с кем я прежде работала, а я четыре школы сменила, были глупы, неинтеллигентны, предельно невежественны и в трех случаях из четырех антисемиты. В последней — до Розенблюма — школе ученики при моем появлении дружно кричали "Да здравствует израильский сионизм", а директриса только посмеивалась и разводила руками: "Что вы хотите — такой контингент, у них это в крови - пролетарии, к тому же международная обстановка... Если желаете, можно вызвать родителей", и все продолжалось в том же духе.

Стороной я узнала, что директриса активно участвовала по партийной линии в разгроме одной известной математической школы, за глаза называемой "маленьким Иерусалимом". Стала приискивать себе место, и так оказалась у Бориса Львовича Розенблюма. И он мне сначала понравился.

Понравился по контрасту с бывшей директрисой: та была антисемитка, он — еврей; она малообразованная, плохой историк, он хорошо владел своим предметом — физикой, она была женщиной, а он... соответственно. Последнее обстоятельство было очень важным. Мне ужасно надоела бабская атмосфера школы, разговоры о детях и продуктах, мужчина директор создавал вокруг школы особенный ореол, особенно нестарый, особенно не из партийных боссов. И сначала я подумала: наконец-то самое.

Вокруг звучал хор недовольных, все дружным шепотом корили Бориса Львовича за авторитарность, а я их урезонивала: помилюйте, да где взять демократа? На этой должности демократа в две минуты съедят, вы же и съедите. Рабо-

талось трудно, хотя классного руководства в первый год у меня, слава богу, не было. Я вела кружок английского языка, кружок художественного чтения, это помимо уроков, домой приходила около пяти. Директор особенно меня не трогал. На второй год все изменилось, я получила класс и, соответственно, стала винтиком в жестком механизме, управляемом директором. Классные руководители получали сверху указания и должны были довести их до детей, тем следовало их выполнить, в противном случае классный руководитель получал сверху нагоняй и считался не справившимся с делом. Я числилась в несправившихся. Меня не увлекали идеи, навязываемые сверху. Так же, как и ребят. Директор перестал улыбаться, моя фамилия все чаще звучала на педсоветах. К тому же я предельно уставала. Не было сил на домашнюю подготовку, проверку тетрадей, составление графика контрольных работ, тематического и проблемного планирования, оформление кабинета и встречи с родителями; работу с двоичниками и индивидуальную работу, а также на многочасовые планерки, совещания и педсоветы, которыми эта школа славилась.

Директор любил речи и мог их произносить часами, нажимая на то, что школа наша в передних рядах педагогики сотрудничества. Кого и с кем я так и не поняла. Назревал кризис. Идя на постылую работу, я мечтала сломать ногу, чтобы получить долгожданный больничный. Дистония и неврастения мои усиливались, но Коробова считала эти болезни не существующими, в природе, короче, присутствия от рождения 90% советских людей, поэтому идти к ней за освобождением было бесполезно. В это время, а дело было в самом конце учебного года, и выступила Кира со Своими обличениями. Она пришла в школу незадолго до меня, числилась в любимицах, была на хорошем счету. Борис Львович с похвалой отзывался об использовании ею технических средств на уроках — у нее имелся старенький проигрыватель с дребезжащими пластинками, и тут такой пассаж. Взбунтовалась, ударила в спину. Когда она в конце педсовета попросила слова, учителя были ужасно недовольны: сидение длилось уже четвертый час, все запланированные отчеты и речи были скучны и неинтересны. Софа, вторая англичанка, тайком читала книжку, Виталий, историк, просматривал газету, многие проверяли тетради, но тоже загораживаясь, так как Розенблом мог за это и прогнать, у меня в тот день нестерпимо болела голова, к тому же, в духоте я начала задыхаться.

С ужасом я думала, сколько это мучение еще будет длиться, как вдруг выпорхнула Кира, тогда мало мне известная учительница, мы с ней здоровались — не больше, впрочем, я и с другими была не ближе, и понеслась, понеслась. В школе атмосфера зажима критики, авторитарность, доведенная до самодурства, никакой заботы об учителях. Все только рот раскрыли. Софа книжку отложила, словесники из средней школы отодвинули проверенные тетради, я забыла про духоту. Кира кончила и в абсолютном молчании пошла на свое место, рядом с Софой. Все смотрели на Розенблома. А он металлическим голосом, глядя поверх голов, сказал, что лимит времени исчерпан и пора расходиться. Начались шевеление, кашель, и сквозь этот шум не все услышали конец его на этот раз краткого выступления. Что-то вроде: "Решающий бой экстремистам будет дан в назначенный срок, о коем вы будете оповещены дополнительно".

И очень скоро срок настал. Была назначена аттестационная комиссия по проверке работы Киры Леонидовны Кин, а уже через неделю собран новый "малый" педсовет с обсуждением ее личного дела. Выступил Виталий, председатель комиссии, незадолго до этого случая выбранный в местком, он, запинаясь, читал путаное, но грозное заключение комиссии о Кириной профнепригодности, неуме-

нии пользоваться техническими средствами. Потом выступил секретарь парторганизации, потом председатель месткома, они напирали на ужасающий моральный облик товарища Кин.

Подтверждением этому выводу было то, что у Кире не было классного руководства, оказывается, ей просто нельзя было доверить класса. Софа, ближайшая Кирина подруга, у них общие "детские интересы" — правда, Софа. Бабушка, — выступила и сказала, что педагога Кин нельзя впускать в класс, так как своими высказываниями она развращает юношество. И что как-то, идя по коридору мимо класса, где шел урок литературы, она такое услышала, такое...

Мне было смешно и горько, я оглядывалась, неужели никто, ни один человек не вступится. Да будь Кира хоть трижды профнепригодна и четырежды морально неустойчива, неужели не ясно, что судят ее не за это. Стояла тишина, очень напряженная. Софины слова раздавались гулко, били по нервам, все лица были устремлены на директора, ждали, что он скажет. А он сказал, что коллектив не намерен держать у себя на балласте, так и сказал, неквалифицированных учителей, отлынивающих от общественной работы и не могущих по своим моральным качествам иметь классное руководство. У таких, как Кин, — сказал директор в абсолютной тишине, — нет опоры в нашем слаженном коллективе. Два года ее работы показали ее полную некомпетентность — он с достоинством выговорил это слово, — мы без сожаления расстанемся с членом, порочащим наш образцовый школьный коллектив, спаянный педагогикой сотрудничества.

Он кончил, вытер рот платком. Все молчали. Кто-то робко заикнулся, что надо, мол, дать и подсудимой слово. Но общим голосованием в последнем слове Кире было отказано. Среди голосовавших за это решение не было меня. Я была против. Чисто инстинктивно. Ну как можно лишить человека возможности возразить? Это же его право. И я проголосовала против. Одна. Кира потом мне говорила, что если бы не моя рука, то она бы окончательно разуверилась в людях.

В общем, через день после педсовета директор вызвал меня к себе. Разговор был недолгий. Розенблум сказал, что некоторые родители вверенного мне класса жалуются на отсутствие среди детей общественной работы, плохую дисциплину и низкую успеваемость. Директор говорил мягко, не повышая голоса. Сделав паузу, продолжал. Посовещавшись с парткомом и месткомом, дирекция пришла к выводу, что мнение этих родителей имеет серьезное основание.

Общественная и учебная работа в классе запущена, коллектив деградирует. Что вы можете на это сказать? Я молчала. А что скажешь? Действительно деградирует. И я деградирую вместе с ними. Вздохнув, директор подвел итоги нашей вполне мирной беседы. Я советую вам подать заявление и не доводить дела до выводов о вашей профнепригодности. Я слишком хорошо, — он выделил это слово, — слишком хорошо к вам отношусь. И он посмотрел на меня так, что я подумала: а вдруг действительно? Взгляд был как будто человеческий. Но последняя его фраза на выходе из кабинета меня отрезвила. Он пропустил меня в дверях и произнес заговорщическим шепотом: "С кем вы объединились? Сейчас для нас главное консолидация и сотрудничество, а вы...". Дальше в интонации снова появилось что-то человеческое: "Я вам не говорил, у меня были определенные планы насчет вас...", но тут в помещение вошла секретарша, и он умолк.

Через несколько дней я подала заявление об уходе по собственному желанию — благо учебный год уже кончился и я никому в школе уже не была нужна. Желание мое удовлетворили.

Так мы с Кирой оказались без работы. Кира считает, что я за нее пострадала. Я ей не говорю, что все равно бы ушла, не выдержала бы. А так нашелся повод, да еще такой идейный. В сущности, мне одинаково неприятны и те, и эти. Я устала от общественной борьбы и интриг. Мне хочется, чтобы люди были людьми, не больше. А все-таки интересно, какие планы насчет меня были у Розенблома. Кира, идиотка, считает, что личные. Она якобы давно замечала, что он ко мне неравнодушен. Вот дуреха! Пару раз и я ловила на себе его пристальные взгляды, но из этого еще ничего не... Он, как положено школьному работнику, женат на школе, днюет в ней и ночует.

Живет один, по хозяйству помогает сестра, она в соседнем подъезде. Кажется, мы одногодки... Вот и еще один шанс уплыл... Ха. Внезапно осознала, что сижу возле телефона и листаю телефонную книжку. Позвонить? Только скорее, иначе расхочется. Набираю номер. Гудки. Слава богу, никого. Нет, кто-то подходит. Его голос. Положить трубку? Пауза, он кричит але, а я не отвечаю, не отвечаю, и опять не отвечаю. И он кладет трубку. Снова гудки, только частые. Вешаю трубку. Да что же это такое? И почему я такая трусиха? Ведь он же уже подошел, подошел к телефону. Мама бы сказала: "А ты позвони еще раз". Может, правда, еще раз позвонить?

И я звоню. Подходит женщина, должно быть, жена. Голос неприятный, с фрикативным "г": "Кого вам надо?" Я опять вешаю трубку и плачу. Ужасно невезучая. Но случилось это недавно. В детстве и в юности этого не было, жизнь текла молоком и медом. Рю-рик, Рю-рик — странное какое имя.

Не более странное, чем мое, — Амалия. Имена для меня не случайны. Имя — это судьба. Не случайно, что меня в моем одиночестве и неприкаянности зовут Амалия, не случайно, что его назвали Рю-рик, Рюрик. Ведь он исследователь древнерусской литературы, знаток славянской письменности. Такому и нужно называться древнерусским каким-нибудь именем, Рюрик. Неужели ты никогда обо мне не вспоминаешь? Неужели этот случайный звонок тебя не всколыхнул и ты не подумал: а вдруг это ОНА? Может, она еще помнит, хотя столько лет ... десятилетий...

Я встретила тебя в год смерти отца, мне было двадцать, а тебе, преподавателю института, лет тридцать пять, не больше. Сейчас тебе — страшно сказать — шестьдесят. Но не могу и не хочу представлять тебя старым. Я ведь с тех пор тебя не видела, нет, видела, один раз, уже после института. Ты защитил докторскую, был молодым профессором, появилась рыжеватая бородка, очень тебе шедшая. Мы тогда случайно встретились и проговорили — даже не знаю, сколько проговорили — часа три или больше. Ты сказал, что сына никогда не оставишь. Зачем ты это сказал? Я ведь ни о чем не спрашивала и ни о чем таком не говорила. Мы беседовали о науке. И вдруг: "А сына я никогда не оставлю". Тогда я ничего не поняла, до меня вообще долго доходит. Имя твое — льдинка на языке. Рю-рик, Рю-рик.

Разложила тетради — нужно подготовиться к Колиному приходу, кое-что посмотреть. Половина четвертого. Сейчас быстро подготовлюсь и просмотрю газеты. А до маминей деревни газеты не доходят, там их никто и не выписывает. Вот и славно. Мало деревне своих забот, еще думать о мировых и общественных неприятностях, катастрофах, катаклизмах. Вон какой-то самозванец объявился на польской границе, то ли Галич, то ли Панич; но имя точно Григорий. Объявил себя потомком Рюриковичей, претендует так сказать...

Даже если не слухи, в газетах ничего не напишут. Кира собирается ловить голоса. Обещала позвонить, и еще у нее что-то есть, интригующее. Вечно у нее

какие-то тайны, загадки. В чем-то мы с ней похожи. До сих пор на "вы". Кира моложе меня на десять лет, у нее муж математики и пятилетний сын Леничка. В их ближайших планах — отъезд. Они и так слишком, по Кириным словам, задержались: у Бори был допуск, и его держат вот уже пять лет. Но сейчас, кажется, отпускают.

Все Кирины разговоры вертятся вокруг отъезда, говорит она много, но занимается исключительно Леничкой. Все дела делает Боря. К делам Кира не способна. В этом мы тоже сходимся. Кира — идеолог, а Боря деятель. А Леничка — очаровательный мальчик, с ярко выраженным семитским типом.

Кира смешное сегодня сказала: страна раскололась на две части: семиты и антисемиты. Третьего не дано. Забавно, не больше. Кира слишком много кричит о разгуле у нас антисемитизма.

Странно, что мне всю жизнь нравились светлые. Люблю славянский тип или варяжский... Славяно-варяжский. Коля напоминает одного мальчика из моего детства, он был классом старше — красивый, рослый, занимался спортом и комсомольской работой. Но когда встречался со мной в коридоре, краснел. Сначала я не понимала, думала у него кожа такая, а потом сама начала краснеть при встречах. Его звали Сережа. Он погиб по выходе из школы в автокатастрофе. Мы не сказали друг другу ни слова. Это моя первая любовь. Коля похож на Сережу, но в плечах поменьше, волосы длиннее. Бездельник. Сейчас придет начнет путаться, до сих пор не освоил континиус.

Колно мне сватовала Кира. У нее он занимается русским языком, вероятно, с тем же рвением и успехом. Парень явно негуманитарный, поступает на физфак, русский язык ему, чтобы не вылететь на сочинении, а английский ... английский для дальних целей, как у многих сейчас. Отец физик, кандидат — все сведения от Киры. Но кое-чего Кира не знает, а я знаю. Колин отец тайно пишет, в стол. Рассказы. Случайно выяснилось. Коля сказал, что ему негде заниматься, а у отца отдельная комната, где он запирается и пишет рассказы. Мне стало интересно. Он обещал принести, с разрешения, конечно.

Любопытно, что у него самого эти отцовские рассказы никакого интереса не вызывают. Когда я спросила, о чем, он замаялся и ответил, что ему было недосуг прочитать: много задают по программе. Основные интересы, как я поняла, — гитарные; любит компанию, есть уже и подружка... Ох уж этот Коля. Ну хорошо, кажется, подготовилась, домашнее задание письменно, страница 21. Мало, конечно, но лентяй ведь, все равно не сделает. Надо будет придумать для него что-нибудь этакое... Без пятнадцати четыре. Четверть часа на газеты. Не забыть отвезти газеты маме.

Летом как-то не читается, хочется скорее на воздух, на природу, чтобы все городское и общественное забыть, чтобы время остановилось и ты не ощущал в каком веке и в какой стране живешь. В субботу полностью отключюсь, полностью. Буду собирать клубнику или что там поспело? Сидеть в шезлонге, дремать, все, что здесь доступно оку, спит, покой цена. Да, а вот дальше не подходит. Восток уже не дряхлый, и грузин не сонный, и Тегеран, и Иерусалим не мертв и не безглаголен. Сто пятьдесят лет после Лермонгова. Восток забурился, пришел в движение, к чему это приведет? А во мне есть Восток? Есть, хотя родилась и живу в северных широтах. Неискоренимо, гены. Иногда ощущаю в себе восточное бешенство, восточное сладострастие, прямо Далила какая-нибудь. Когда слышу арию Далилы в исполнении Обуховой, думаю: это про меня. МОГЛА БЫТЬ такой, но не стала. Время ли, страна ли тому причиной? Все во мне отсыхает и отмирает: мысли, чувства, желания.

В принципе, мне уже ничего не надо: только быть здоровой и чтобы рядом была мама. Нет, пусто в газетах, пусто: все их новости я знаю наизусть, а слова эти мне давно надоели, отвратительные слова, не человеческие. Про самозванца, естественно, ни гу-гу, а в моем сознании, надо сказать, он уже существует, этакий фантом Григорий. В России все повторяется, возвращается, воспроизводится. Такая страна. А что здесь? Эта газетенка позабавней. Кое-что о законе и благодати. О благодати? Любопытно. Кто автор? Автор Р. Рязанцев. Да, Р. Рязанцев. Он? Звонюк. Вот и Коля пришел. Странно, что в этот раз не опоздал.

Пять часов вечера. Только что ушел Коля. Сейчас выпью чаю и пойду прогуляюсь. Мама сейчас тоже пьет чай, по нашему общему с ней и англичанами обыкновению. В сущности мне, кроме чая, и не нужно ничего. Мяса я не ем, рыбы тоже, употребляю ограниченное число продуктов - творог, сыр, хлеб, редко какую-нибудь сваренную мамой кашу, живу в основном чаем, теперь, когда в магазинах не стало сладостей, обхожусь хлебом.

Так в течение уже многих лет. Мама часто ворчит, оглядывая меня: "Сорок лет, а все как девочка. Когда мясо нагуляешь? Мясо нужно есть". Мяса я не ем не потому, что как Кира говорит, от него стареют, а просто оно мне не по вкусу, и теперь я уже и представить не могу, как можно есть кусок коровы или овцы, это для меня как каннибальство. Я не вегетариантка, овощей в моем рационе почти нет — траву не люблю, а все прочие магазинные овощи занитрачены и вызывают у меня рвоту. Иногда я думаю, как бы я питалась в Америке, там ведь все есть. Наверное, почти так же, только творог был бы магазинный, а не домашний. Прибавились бы сласти, я сластена, фрукты и ягоды — всю жизнь мне их не хватало, а в остальном — так же. Странно, некоторые меняют местожительство из-за колбасы, которой у нас нет. Мне придется туго, когда исчезнет молоко и хлеб. Возможно, такое время наступит, в нашей стране нет ничего невозможного. Иногда очень хочется съесть шоколадную конфету. Вот сейчас например, с чаем. А у меня есть. Коля принес громадную коробку, сегодня у нас последнее занятие. Где такие коробки достают?

Вкусная конфета. Приятно сидеть и ни о чем не думать. И о статье не думать, под которой значится Р. Рязанцев. Может, еще не он. Не хочу волнений, не хочу разочарований. Статью посмотрю завтра. Сейчас спокойно допью чай, помою чашку, прогуляюсь... А вечером читаю рассказы Колиного родителя, папка тоненькая, там штук пять, не больше. Надеюсь, не страшные, иначе опять ночь без сна, хватит с меня кошмаров. Чашку на полку, еще одну конфету в рот, спасибо, Коля. Но по твоим скромным успехам эта конфета мною не заслужена. Звонюк. Кто бы это?

А, Кира, наверное, она же обещала. Слушаю. Кира, вы? Свободна. Да нет, ничего особенного, обычно себя чувствую. Каких гостей? Что вы придумали? Я собираюсь погулять, и у меня ничего нет к столу. Чай? Чай есть, и даже конфеты. В семь часов? Вечно у вас загадки, Кира. Да, а что слышно про самозванца? Выдумки? Ложные слухи? Было опровержение, говорите? Ну и слава богу. Опустила трубку, прислушалась к себе.

Неужели мне жаль, что слухи о самозванце не подтвердились?

Ловлю себя на мысли, что иду по нашему знаменитому бульвару и не озираюсь по сторонам. А лет этак десять назад шла с надеждой встретить кого-нибудь из бессмертных — Окуджаву, Нагибина... Бульвар захирел; похоже, здесь теперь можно встретить только пенсионеров с газетами. Бульвар, с двух сторон обвеваемый выхлопными газами...

Раньше машины тоже были, но в меньшем количестве, и я их как-то не замечала — глазела по сторонам. Когда-то и в метро глазела, и в электричке, были интересные человеческие лица — женские, мужские: казалось, каждый человек несет в себе миллион и одну тайну, все знают что-то такое, что мне не известно, хотелось приобщиться, узнать. А как-то я загадала: если однажды мой взгляд потухнет, как у этой усталой женщины, сидящей в вагоне метро, не отозвавшейся даже на сноп солнца, ворвавшийся в окна на станции Ленинские

горы, тогда, тогда ... лучше не жить. А сейчас? Сейчас и станции такой больше нет, из-за технических неполадок поезд ее проскакивает не останавливаясь.

И люди вокруг мне давно не интересны. Большая их часть объединена одним желанием, где бы что-нибудь урвать, достать, выбить, чтобы накормить и одеть себя и свою семью. Интеллигентных, просто красивых лиц в толпе все меньше, чаще мелькают почти звериные хищные морды. Жуткая картина одиночания, Смутное время, непонятное, страшное. И все вокруг говорят: надо бежать. И рада бы бежать, да некуда. Здесь, в этой чудовищной стране, мое все. И во всякой другой - даже благополучной, даже сверхцивилизованной, - будет мне худо, неуютно и чуждо. Или все это от идеализма?

В конце концов я ведь еврейка и моя историческая родина не здесь. Не знаю, откуда родом наша фамилия. Папа говорил — из Испании. Вполне возможно. До изгнания в XV веке в Испании было много евреев — философов, торговцев, политиков. Они считали эту страну своей родиной, гордились ею, работали для ее славы и богатства, а потом их изгнали — в один день, всех, кто не поменял веру и не захотел предать закон отцов. Их изгнали голых и босых, обобрав до нитки, с насмешками и плевками.

Плывите, мол, без вас обойдемся, а ваши золото и дома нам пригодятся для истинных граждан и патриотов нашей христианнейшей державы. Так было. Держава пришла враскорости в полный упадок. А евреи, в далекой Голландии обрешение себе новую родину, не смогли забыть старой. По вечерам они собирались и пели протяжные испанские романсы, они по крупицам собрали древние тексты и издали в Голландии книгу испанских песен — романсеро. Так было. Обо всем этом я узнала от тебя, человек со странным славяно-варяжским именем Рюрик. Рю-рик, Рю-рик. Я всегда произношу твое имя два раза и как бы нараспев, мне слышится: в нем живет эхо. Рю-рик, Рю-рик. Как много ты знал об еврейской истории, гораздо больше меня, еврейки. С каким упоением я тебя слушала. Как сладостно вспоминать об этом. Вспоминай, вспоминать...

В тот год я была ужасно счастлива. Наконец-то поступила в институт, да не куда-нибудь, а на иностранное отделение педагогического, куда таких как я вообще не брали.

После двух моих неудачных попыток поступления на филфак, папа стал искать знакомства и нашел какого-то фронтового друга, работавшего в министерстве. Тот позвонил куда надо. Речь уже шла о факультете иностранного языка. И меня приняли. Когда я увидела свою фамилию в списке, у меня отнялось дыхание, похолодели руки. Боже, я студентка. Позади два мучительных года работы в школе, постоянной зубрежки и, главное, самоогрызни, когда жить не дает одна и та же мысль: ты хуже всех, ты хуже всех, ты не поступила, а все поступили.

Первая лекция была по введению в языковедение. Я пришла на нее в том самом белом платье с цветным пояском, в котором была когда-то в ресторане "Якорь". Мне бы и сейчас оно было в пору. Прозвенел звонок. Аудитория гудела и

не затихла, даже когда на кафедре появился лектор. Я сидела в первом ряду, но с трудом слышала его имя Рюрик Григорьевич Рязанцев.

Он был высок, худощав, светловолос, он не владел аудиторией. Точнее не хотел с ней заигрывать, даже вступать в контакт. Он довольно тихим голосом, с оstanовками, излагал нам основы своего сложного предмета. Я вслушивалась, но было так шумно, что трудно было что-либо услышать. Порядка он не наводил, голоса не повышал. Иногда в его речи прорывались какие-то странные, озорные интонации, голос звучал ломко, по-мальчишески. Он оживлялся. Связано это было не с нами, а с тем куском его лекции, который, видимо, был ему чем-то особенно интересен.

Настоящий ученый, чудак, совсем не профессор, читать лекции не умеет, я сидела завороженная. После лекции вдруг слышала недовольный голос сидящей сзади студентки: "Фу, какого зануду прислали, скука смертная. Давайте, девочки, его выживем".

Через минуту я была в коридоре. Догнала его уже возле деканата. Пророботала какой-то вопрос. Он смотрел с любопытством, что-то ответил, быстро ушел. Я осталась стоять, взволнованная, красная. Было ощущение чего-то свершившегося. Вечером того первого дня я шла домой из института со своей студенческой сумкой, медленно шла, наслаждаясь прохладой. Цвела липа, и запах ее словно концентрировал впечатления начала моего студенчества. Как хороша жизнь, как много впереди увлекательного, как радостно ощущать на себе взгляды прохожих, нет, двадцать лет еще не так много, хотя... Я оглянулась.

Он стоял сзади: "Извините, я не помешал? Вы так хорошо задумались. Уж не над проблемами ли языкознания?" Озорные мальчишеские нотки в голосе, как тогда, в аудитории. Я была ошарашена, не знала, что сказать, но он не ждал ответа: "Хотите, я покажу вам райский сад?" — и повлек меня в сторону от общей тропы.

Мы зашли в какую-то калитку, и оказались в скверике, шедшем параллельно дороге. Здесь никого не было: видно, тайна его входа была известна не всем. Запах липы был тут еще сильнее. Мы шли молча к метро. Его внезапная говорливость исчезла, я была слишком потрясена нашей встречей. Возле метро мы расстались, я сказала, что должна еще зайти в магазин, и убежала. Бывает слишком много счастья, я боялась, что оно начнет литься через край. Долго-долго бродила по вечернему городу, повторяя: "Я счастлива, я счастлива", в голове отдавалось "Рюрик, Рюрик".

Он искал меня глазами. Находил. Я незаметно кивала. Начиналась лекция. Я не писала, слушала, радовалась мальчишеским интонациям. Чудесный учебник Реформатского, полученный мною в библиотеке, вразумительно и с блеском разъяснил мне многие премудрости языкознания. Этот учебник стал моей настольной книгой. Отправляясь на лекцию, я заранее разбирала новый материал. Я приходила на лекцию, все зная.

Лишь при этом условии, как я скоро поняла, можно было уследить за причудливой мыслью исследователя, за ее скачками и зигзагами, поисками ответа, внезапными озарениями. Особенно интересен для меня был раздел сравнительного языкознания. Рюрик Григорьевич приводил примеры из всех языков, живых и мертвых, очень много из древнееврейского. Знал ли он, что я еврейка? Вокруг бушевала стихия. Распоясавшиеся студенты громким шепотом обсуждали вчерашний фильм, жевали бутерброды, разгуливали по аудитории. Лекция читалась для меня одной. После лекции он быстро собирал чемоданчик и уходил. Вскоре окружающие стали замечать, что Рюрик Григорьевич смотрит во время лекции

только на одного человека. И этот человек, в отличие от прочих, внимательно слушает, кивает головой и даже иногда отвечает на поставленные вопросы. Как-то ко мне подошла староста группы, работавшая до поступления в деканате и знавшая все про всех. Она поинтересовалась, какие у меня планы насчет Рюрика. Я опешила. — В каком смысле? — В самом прямом, житейском. Если далекие, то надобно тебе знать, что он женат и есть ребенок. А жена работает на нашем же отделении на кафедре общественных наук. Она смотрела на меня с торжеством и с сожалением. Думала, наверное, что я очень расстроюсь из-за услышанного. А я рассмеялась. — Спасибо, Люда, за информацию, но я предполагала, что он женат, ему ведь лет тридцать пять, не меньше. Он староват для меня. А языкознание мне нравится просто так. Она отошла раздосадованная. Не думаю, чтобы ее послала его жена. Скорее всего, сработало любопытство. На нашем женском факультете было мало мужчин.

Весной был экзамен. Многим хулиганствующим бездельников он принес расплату. Они его не сдали. Рюрик Григорьевич внимательно слушал несколько путаных первых фраз и отправлял отвечающего домой. Деканат был недоволен, провалившихся оказалось слишком много, кое-кто из семей неприкасаемых.

Для меня экзамен начался катастрофой. Принимали его двое — Рюрик Григорьевич и некая Сусанна Николаевна, молодая аспирантка с огромной пышной прической. Семинары, которые она проводила в течение года, были для меня мучкой. Предмет она знала плохо, скорее всего, была чья-то родственница. Меня раздражало ее диалектное произношение, фрикативное украинское "г". Праздником были весенние семинары с Рюриком. В комнатке на последнем этаже сидело человек десять, окно было открыто, доносились запахи и шорохи сада. Входил Рюрик. Ставил на стул чемоданчик, разыскивал меня близорукими глазами, улыбался. Я тоже улыбалась и кивала. К этому времени он должен был уже знать мое имя, так как я его несколько раз поздравляла с праздниками - Новым годом, Маем — и подписывалась "Ваша студентка Амалия Хозе". Он садился, называл страницу, мы начинали языковедческий разбор текста. Конечно же, отвечала в основном я.

Думаю, мои сокурсники молились, чтобы я не болела. Он ни разу не назвал меня по имени, только: "Вы, пожалуйста", "А что вы думаете по этому поводу?", "А что если вы не правы?". Я оживлялась, говорила уже без всякого смущения, мозг работал быстро и безошибочно. Мне нравилась эта маленькая комната и то, чем мы занимались; на мне было синее, в первый раз надетое легкое платье, и, кажется, он его заметил, и оно ему понравилось. Он задавал вопросы, я отвечала. Звенел звонок, наступала перемена. Студенты и студентки выходили курить. Я стояла у колонны одна. И это было хорошо. После перерыва семинар возобновлялся. Счастье длилось.

И вот экзамен.

Дня за два до экзамена мы должны были сдать учебники с текстами, предназначенными для разбора. По-видимому, сдали их не все. Штук десять учебников я обнаружила в своей студенческой сумке, сиротливо прислоненной к стене экзаменационной аудитории. Штучки сокурсников. Переполох нарастал. Уже раза два в дверях появлялась разгневанная Сусанна Николаевна, возвещая, что экзамен не начнется, пока все тексты не будут у экзаменаторов.

Со слезами на глазах и с тяжелой, набитой учебниками сумкой, я вошла в аудиторию. В ней было пусто и тихо. Сидели двое экзаменаторов. Я раскрыла сумку и стала вынимать из нее учебники. "Ага, — сказала Сусанна, — вот кто, ока-

зывается, у нас этим занимается. Как не стыдно! Я считала вас..." «Неужели вы думаете, вы считаете...», — я не могла продолжать, голос мой оборвался, из глаз полились слезы. Вдруг я услышала смех, его смех. «Да что вы, Сусанна, как вы могли подумать такое на девочку? Студиозисов наших не знаете?» — и он подошел ко мне. — «Успокойтесь. Все пустяки. Давайте я вам помогу». Он стал быстро вытряхивать на стол оставшиеся учебники. Сусанна сидела прикусив язык. Слезы мои высохли, я поглядела на него: «Успокоились? Вот и славно». У него были светлые, с искорками глаза. Они смеялись. Я уже была возле двери, когда до меня донеслось, "Постойте, вас ведь Эмилия зовут?" Я не ответила, притворила за собой дверь. Экзамен начался.

И опять случилось странное. Мне выпало идти к Сусанне.

Нет, она не увидела меня растерянной, я четко ответила по билету, быстро справилась с практически заданием, выстроив сложнейшую цепочку корней. Она рассеянно кивала, рассматривая свои отполированные ногти. Когда я кончила, строгим голосом попросила повторить только что сказанное, ей что-то не все понятно. Я повторила, она попросила уточнить. Терпение мое было на пределе. Мы обе абсолютно точно знали, что ничего по этому вопросу она не знает, что вообще по всем вопросам я знаю гораздо больше, чем она. И вместе с тем, в этой ситуации она могла спокойно привести меня к неуду, измотав и выведя из себя. В тот момент, когда я распаренная и взъерошенная, почти кричала ей, что за фонетические процессы, происходившие в санскрите, я не отвечаю, рядом раздался все тот же знакомый смех: "А за что вы отвечаете, можно узнать?" Он стоял рядом и наблюдал за нашим поединком.

Я выпрямилась, Сусанна помрачнела, хотела что-то сказать, но он ее опередил: "Сусанна Николаевна, позвольте передать вам этого студиозиса, совсем меня замучил, а эту студенточку разрешите я сам проэкзаменую". И он, не оглядываясь, пошел к своему столу. Я встала и, не взглянув на Сусанну, пошла за ним. По языкознанию он не задал мне ни одного вопроса, сказал, что ему достаточно моих ответов на семинарах.

— Я вижу, вы увлекаетесь предметом...

Я кивнула.

— Вас Эмилия зовут?

Что-то внутри меня загорелось, и я ответила довольно резко:

— Нет, меня зовут не Эмилия. Постарайтесь запомнить!

— Ого, вы какая, — «графиня Эмилия». Знаете, как дальше?

— Знаю, если вы о лермонтовских стихах. Там: "Графиня Эмилия блее, чем лилия. Стройней её талии на свете не встретится, и небо Италии в очах ее светится". Я остановилась.

Он продолжил:

— Но сердце Эмили подобно Бастилии. Похоже на вас?

— Нет, не похоже. Я сейчас красная, к тому же меня зовут не Эмилия.

— А как же?

— Посмотрите на майской открытке.

— Так и не скажете? Тогда я посмотрю в зачетной книжке.

Он открыл мою зачетку, вывел в ней первую пятерку, встал. Я тоже встала. Он пожал мне руку и сказал: "Поздравляю вас, Амалия. Если бы вас не было на лекциях и семинарах, я бы не знал, для чего хожу на службу".

Эту сцену видели все вокруг и впоследствии раздули из нее бог знает что.

Пора было возвращаться. Я уже сделала два круга по бульвару. Сейчас около шести. Надо еще немного прибраться перед приходом гостей. Вернувшись, быстро окинула взглядом свое жилище. Две маленькие комнатенки, кухонька, узенький коридорчик, блеклые обои, стандартная мебель, очень много плюшевых зверей: почему-то дарили ко всем дням рождения. Книги, книги, старый проигрыватель на тумбочке возле тахты. Слава богу, перед маминым отъездом мы с ней сделали в квартире генеральную уборку. Вспомнила мамин ворчливый голос: "А то зарастешь без меня грязью". Как ты там, мамочка?

В семь часов пришла одна Кира. Остальные задерживались. Она объяснила, что к ее подруге, тоже русичке, кстати, это мама Коли, приехала по обмену учительница из Штатов. Кира и Колина мама язык знали плохо. Решили обратиться к моей помощи, тем более, что гостя изъявила желание познакомиться с одинокой русской учительницей. В добрый час. Против ожидания, я не обнаружила в себе злости. Пусть приходит, пусть вечер пройдет в разговорах. Не дай бог снова начнутся мысли, страхи. Кира принесла кекс.

Я достала чашки, блюдца. Когда со мной мама, гостей принимает она. Я до сих пор плохо знаю, где хранится наш праздничный трофейный сервиз, привезенный отцом из Германии. Так и не нашла; будем пить чай из обычных советских чашек. Кира между тем рассказывала новости. Только что ей позвонила Софа из школы, очень извинялась, умоляла простить, говорила, что ее поведение на педсовете непонятно для нее самой, просто нашло какое-то затмение, иначе не объяснишь. Затем Софа объявила о цели звонка. Не хочет ли Кира вернуться? Дело в том, что ситуация в школе резко изменилась. Похоже, что директора со дня на день снимут, на него скопилось много компрометирующего материала, а рука наверху, вечно его спасающая, сейчас сама вынуждена спасаться.

В школе образовались две враждебные группировки во главе с партийным Виталием и ею, беспартийной активисткой Софой. Оба претендуют на пост директора, но ее, Софу, поддерживают низы, учителя и обслуга, а Виталия - верхи, районные органы образования и выше. Она, Софа, боится как бы не прислали воряга и стремится к консолидации всех низовых общественных сил вокруг ее, Софиной, фигуры. Кира рассказывала важно, пытаясь воспроизвести Софину лексику и интонации. Мы обе посмеялись. Значит, теперь Софа ищет у Киры поддержку. Смешно. А не спросила ли у нее Кира, что такое слышала она, Софа, в коридоре, проходя мимо кабинета литературы. Какую такую крамолу, ведь даже произнести побоялась, поди ж ты! А сейчас обращается за поддержкой, зовет назад. Кого зовет? Кого всего год как официально признали некомпетентным и неквалифицированным педагогом. Ай-яй-яй.

— Вы ей не высказали этого, Кира?

Кира смеется и режет кекс:

— Зачем?

— А что вы будете делать там?

Лицо ее мрачнеет. Устроюсь где-нибудь... в секретарши пойду...

— С вашим знанием языка?

— Ну, буду дома сидеть, Леничку лелеять, заниматься хозяйством...

— С вашими запросами?

— Чего вы от меня хотите, Амалия? Надо приехать на место, сориентрироваться. Там будет видно...

Она быстро смотрит на меня:

— Я вам сразу напишу. И мы устроим вам вызов. Здесь ни в коем случае нельзя оставаться. И не говорите мне про маму. Подумаешь, восемьдесят лет. Это здесь возраст, а там... Мы еще и ее выдадим замуж.

Кира явно переусердствовала. Покосилась на меня, замолчала. Я спросила, что за американка. Средних лет, одинокая, специалистка по женскому движению. Хочет посмотреть, как живет одинокая российская учительница. Остановилась в гостинице, но не прочь пожить в семье. Колина мать совсем сбилась с ног - ищет продукты и подарки. Вчера американка так у них засиделась, что пришлось ее оставить ночевать. Представляете? Коля спал чуть ли не на полу в комнате родителей, вообще у него нет своего места, бедный парень. Американка смотрит вокруг и на все говорит "террибл" и «фэнтэстик». Представляете?

Я представляла.

Наконец, они пришли. У Колиной родительницы взгляд растерянный, даже затравленный. Едва поздоровавшись, она бросилась к Кире и что-то ей зашептала. Американка была предоставлена мне. Рыженькая с сединой, личико сморщенное, усталое, выглядит очень пожилой, глаза грустные, но все время смеется. «Оу, фэнтэстик». Мой книжный английский диковат для нее, ее американский для меня слишком невнятен и скор, но постепенно мы втягиваемся в разговор. Она путешественница — каждое лето куда-нибудь едет, извездила почти весь мир. Эта страсть у нее смолоду, со студенческих лет. Училась в Англии, в Оксфорде.

— Ду ю лайк то трэвел?

Я отвечаю, что у меня не было возможности путешествовать, да и характер не подходящий, к тому же дома мама, больной человек. "Оу", она кивает, у нее тоже есть мама, она в Калифорнии, и отчим, он живет в Канаде. Я тоже киваю, мне немножко не по себе. Американка — ее зовут Джейн — протягивает мне фотографии, красивые яркие открытки, на них снят с разных точек коттедж, утопающий в цветах и зелени. Здесь она живет. Есть ли у нее машина? О да, сетенги; о конечно, водит сама, она стопроцентная американка; Джейн улыбается, зубы у нее ровные, крепкие. Но, — она понижает голос, — мои предки вышли из России, с Украины. Они выехали еще до революции. И у меня всегда была тяга к этим местам.

— Ваши предки были русские?

— Ноу, зей а джуиш,

— Значит, вы еврейка?

Она кивает и улыбается.

— Каково быть еврейкой в Америке?

— Оу, есть сложности, но у вас, кажется, их больше.

Почему она все время улыбается?

У нее, Джейн, прекрасная работа, правда, дети сейчас трудные, некоторые употребляют наркотики, есть сложности и с цветными... Она преподает историю женского движения в Америке, курс придумала сама, выпустила книжку. Порывшись в сумке, протягивает мне красочно оформленную брошюру, я листаю.

Она спрашивает меня о моей работе.

Я отвечаю, что временно ушла из школы и сейчас даю частные уроки. При слове "частные" она оживляется: "Оу, уе, перестройка". В сущности мы друг друга не понимаем. Мы почти не пересекаемся в наших жизнях: у нас не совпадают быт, образ мыслей, прошлое. Она извездила весь свет, ей не страшно путешествовать одной, она, выйдя из дому, не хочет скорее вернуться. Ее мать живет сама по себе,

а отчим проживает отдельно и от нее, и от матери. Я не представляю таких отношений. Она приехала в чужую страну, и все ей здесь "террибл", ей странно и страшно, что можно жить, как мы.

Что нас связывает? Общая профессия? Еврейская кровь? Я ловлю на себе ее пристальный взгляд. Она меня разглядывает.

— Вы такая привлекательная, — вдруг говорит она, — почему вы одиноки?

Я теряюсь.

— А что, разве в Америке все привлекательные находят себе пару?

— Оу, нет, но... Я, например, сама предпочла свободу. Мужчина всегда стремится стать господином, а это разрушает любовь, не так ли?

Она ждет ответа. Я молчу.

— Вы не хотите говорить на эту тему? Русские женщины так целомудренны, вас почти не затронула сексуальная революция. Но женщина продолжает у вас оставаться рабой.

Какие чудесные у нее глаза, светло-карие, а кожа загорелая, лицо очень обветренное, видно, не слишком следит за собой. Не для кого?

— Послушайте, Джейн, — я говорю очень медленно, тяну, так как не знаю, стоит ли продолжать, — послушайте, Джейн, я одинока, не потому что не хочу быть рабой или потому что меня никто не берет — были возможности и не одна. Просто ... — я с разбега кидаюсь в пропасть, — я любила и люблю одного человека. По-английски это сказалоь странно легко. Я перевожу дух, — я не хочу за него замуж, да он и женат. Я просто его люблю. На расстоянии...

Джейн смотрит на меня; лицо ее медленно бледнеет и становится очень серьезным. А я не могу остановиться.

— С этим человеком связана была моя юность, лучшее время в моей жизни, до сих пор я посылаю ему к праздникам открытки — на Новый год и на Первое мая. Он не отвечает. Но мне и не нужно, чтобы он отвечал. Главное, что он есть, что он существует в моей жизни.

Американка берет меня за руку. Мне кажется, еще минута и у меня разорвется сердце. Кира, с тревогой, следящая за нами из своего угла, подбегает и наливает мне воду из чайника. Джейн гладит мои пальцы, глаза у нее удивительно добрые, она чем-то напоминает мою маму. Садимся пить чай. Колина родительница говорит исключительно о том, какие ужасные в Союзе квартирные условия. Ребенок лишен возможности уединиться, послушать музыку, побыть с друзьями, уж не говоря о том, что нельзя как следует принять зарубежных гостей... Я перевожу почти автоматически. Кира делает мне знаки, мол, не переводи, не нужно, я перевожу, не особенно вдумываясь в смысл, какая разница?

Джейн обводит взглядом комнату, подходит к проигрывателю.

— Вы любите музыку? Не хотите закончить вечер музыкой? Мне бы хотелось услышать то, что вы любите. Бетховен? Чайковский?

Я перебираю пластинки. Душа моя просит музыки... Есть один романс. Мы вместе слушали его когда-то по радио, после я долго искала по магазинам пластинку. Откуда эта американка знает, что только музыкой можно снять то состояние, в котором я сейчас нахожусь?

Крутится заезженная пластинка, одно время я заводила ее каждый день. Низкий мужской голос поет о миге счастья. Свиридов. Оказалось, что мы оба любим Свиридова.

*Упоительно встать в ранний час
Легкий след на песке увидеть.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.*

Голос набирает силу, в нем уже звучат страсть и ликование, и еще что-то, чему нет имени. О, как прекрасно это сказано, как удивительно спето. Я люблю тебя, панна моя! Хочется снова и снова слушать эти звуки — заклинания.

*Я люблю тебя, панна моя!
Невозвратная юность моя
И прозрачная свежесть Кремля
В это утро, как прелесть твоя.*

Слова-звуки повторяются и утихают. Звучит нежно-щемящая мелодия аккомпанемента. Все. Джейн замерла, Кира отвернулась и смахивает слезы. Обидно, что американка не слышала волшебных блоковских слов "Я люблю тебя, панна моя», — за эти слова, обращенные к тебе, можно пойти на казнь. Я хочу передать Джейн содержание романса, но она качает головой. Не нужно, понятно и так. Ей очень понравилось, она запомнит: маэстро Свиридоф. Мы идем в прихожую. Колина мама, до этого вполне безучастно слушавшая музыку, вдруг пробуждается к деятельности и изъявляет желание пойти ловить такси. Все за. Пока Джейн причесывается перед зеркалом, Кира отводит меня в сторону.

— Ты обратила внимание, что Рая не в себе?

Рая — это Колина родительница.

— Что-то случилось?

— Еще бы, Колька сбежал из дому, оставил записку, просит никого не винить, паршивец.

Я стою с открытым ртом. Кира объясняет. У них с отцом давняя тяжба из-за комнаты: отец захватил ее себе под кабинет, пишет там что-то, в общем, работает; а Кольке, слава богу, шестнадцать уже, ему вроде как и места нет постоянного, он там только ночует, а вчера и оттуда прогнали из-за Джейн. Кира воровато оглядывается, но Джейн продолжает причесываться и подмазываться. Тут еще одно наложилось, — шепчет Кира, — Рая говорит, что Колька стянул у отца со стола какую-то рукопись, был скандал, крик. Юра очень несдержан, ну и ... Конечно, он не самоубьется, только пугает, но все равно неприятно, а тут еще американка Рае на голову. Кира опять смотрит на Джейн, та ловит ее взгляд в зеркале и улыбается. Она уже кончила прихорашиваться, черты ожили, почему мне показалось, что она старая и некрасивая? Совсем нет. Очень пикантная, подтянутая мисс, вполне молодого возраста. Джейн подходит прощаться, жмет мне руку и что-то произносит одними губами. Я не понимаю что. Они уходят. Только тут я осознаю, что Джейн сказала: "Ю а хэппи", и глаза у нее при этом были грустные.

Четверг

Ночь. И опять я не сплю. Слишком много впечатлений, и мамы нет рядом. Как ты там, мамочка? Как прошел твой первый день на даче? Не поднялось давление? У Клары Самойловны хороший аппарат, новый. А в случае чего Вовка добегит до кирпичного завода, там есть телефон, можно вызвать Скорую. Правда, ночью там может никого не быть, но... хватит, иначе ты из этого не выпутаешься.

Подумай о чем-нибудь другом, вот об учениках подумай; завтра вечером придет Марина, весьма решительная и способная девица, собирается стать менеджером; а в пятницу, в пятницу — Оксана, ограниченная девочка, и память очень слабая, занимается, чтобы в школе дотянуть до троечки; для тройки не стоит и деньги тратить, я ей сказала: будем работать на четверку, но больно ленива девочка, ленива и не любопытна... как все мы, по словам Александра Сергеевича. Я ведь тоже ужасно ленива и не любопытна. Статью до сих пор не прочитала. Но тут другое. Боюсь. И какое-то суеверное чувство: не может быть такого совпадения. Я ведь думала о нем все эти дни — перед маминим отъездом. Да, что-то я хотела вспомнить, что-то еще хотела вспомнить об учениках... Оксана... Марина - эта способная, даже очень, и себе на уме, но не то, не то. Ах да, Коля. Коля ушел из дому, оставил прощальную записку. Ужасно. И еще эти рассказы. Мы договорились, что он мне позвонит дня через два и зайдет за ними. Откуда же мне знать, что он тайком взял? И что это еще за отец, что за автор! Прочла перед сном один рассказ. С меня довольно.

Странный какой-то рассказ, с неприятным душком. Исторический? Фантастический? Непонятно. Действие происходит в какой-то средневековой стране, наподобие Испании. Начинается с того, как ночью по спящему городу осторожно крадется человек, держа на поводу лошадь. На ней что-то навьючено. Признаться, тут мне и читать расхотелось; продолжала по инерции, да и Коле что-то нужно будет сказать... Далее идет описание города, прямо Толедо настоящий, но без названия. Приходит этот человек в какой-то окраинный квартал на проклятую ветку, там как-то по-другому, но похоже, что-то мне сегодня Пушкин вспоминается. Хозяин, — а он не спал, видно, ждал гостя, — спрашивает: "Привел?" Тот кивает и выходит во двор, к коню. Потом приносит что-то укутанное покрывалом.

Оказалось, мальчик. Идет описание, очень красивый мальчик подросткового возраста, светлый. А хозяин темный. И что-то злое еще говорит. Тут мне стало совсем не по себе. Я странички две перелестнула. Посмотрела конец. Ага, нагрянула полиция, да не простая: какие-то люди в белых развевающихся одеждах. Мальчик был спасен, а гость и хозяин сумели скрыться. Белые обнаружили в доме потайной ход, идет описание, и жуткое подземелье, но тут уж я читать больше не стала. Хватит с меня на сон грядущий. И зачем я Колю попросила принести рукопись? Была, была тайная мысль. Хотелось посмотреть, а что ЕЩЕ не печатают. И перегорело вроде бы, год уже как ни строчки не пишу, а все же зудит, зудит...

Здорово они тогда мне нервы потрепали. В итоге — я вся в кровоподтеках, а им ничего — улыбаются. Как будто не они сначала обещали напечатать... и не знаешь даже, кто зарезал... безликая масса, сначала все хором улыбаются, потом хором отворачиваются и смотрят мимо. А, наплевать. Не стоит сердце травить, не стоит, не стоит, нужно сменить пластинку. Срочно. Ох, видно, без лекарств опять не обойдется. Господи ты боже мой!

Джейн, голубушка, тебя бы сейчас в мою шкуру, и я бы тебя спросила: "А ю хэппи?"

Сон был короткий и не имел конца. Я шла по бесконечным коридорам - то светлым, то темным, — я искала маму, но никого не было. В одном из коридоров я столкнулась с незнакомым человеком, он вел на поводу лошадь, и руки у него были в чем-то красном. Я поняла, что это САМОЗВАНЕЦ, что он пришел за нами, и в ужасе отпрянула. В ту же минуту лицо его стало меняться и приняло знакомые черты. Черты Рюрика Рязанцева. Я проснулась. Звенел звонок. Неодетая, побежала

к телефону. Звонила Марина. Сегодня она не сможет прийти и, пожалуй, вообще больше не сможет: уезжает в трудовой лагерь, деньги вышлет почтой. Сразу же после Марининого звонка раздался другой. На этот раз звонила Оксана, она очень извиняется, но сегодняшнее занятие придется отменить, она не сумела подготовиться, да и вообще... отметки в школе уже выставили, у нее законная "тройка", а четверок вообще не выставляли — тройки и двойки, сущая правда. Да, лучше бы больше не заниматься, а деньги она завезет как-нибудь на днях. Я чувствовала, с каким облегчением вздохнули на том конце провода, положив трубку.

С облегчением вздохнула и я. Мне надоели мои уроки. Весь день была в напряжении, ожидая вечернего визитера. Занятия часто срывались, ученики были не пунктуальны и нерадивы. Бог с ними. Звонки улучшили мое настроение. Но какое странное совпадение — сначала звонит одна, потом одновременно другая. Есть ли в этом какой-то тайный смысл? Я рассмеялась: надо иметь мой характер, чтобы видеть тайные знаки в случайных совпадениях. Снова вспомнила о сне — понятно, что он отражение моих дневных впечатлений, прочитанного рассказа, слухов о самозванце, собственных мыслей, все это смешалось и создало сей неповторимый компот. Я снова рассмеялась.

Сейчас девять часов, я хорошо выспалась, в окно заглядывает солнце, уроков ни сегодня, ни завтра не предвидится. Хорошо. Да здравствует свобода. И маме пойдет на пользу наше временное расставание. Этот год был для нас обоих тяжел, постоянно ссорились, заводились, особенно я, да и мама стала невозможно ворчлива.

Конечно, когда люди изо дня в день из часа в час вместе, совместная жизнь начинает их тяготить. Поживу без маминой опеки. Слава богу, давно взрослая. Вечером можно сходить в кино или в театр, да, да, в театр, ведь есть завлитша знакомая, надо использовать: что у них сейчас идет хорошее? Ничего не припомню. Но вот это, с таким смешным названием, Кира видела, говорит, очень остро. Хочется ли мне пойти на острое? По правде, мне вообще никуда не хочется; одеваться, выходить в нужный час из дому, заходить к этой противной особе — завлитше, за билетом, смотреть что-то на потребу дня... не хочу, не пойду. А завлитшу эту в особенности видеть не хочу. Вы написали хорошую пьесу. Серьезно. Мне очень понравилось. Да любой театрее поставит. Что? Наш? А у нас, вы знаете, обязательство. На три года вперед. Увы, увы. Так что наш не может. Режиссеру, вы говорите. А он сейчас в зарубежной поездке, да он и вообще пьес не читает. Как отбирает? Друзья советуют, кое-что за границей видит, перенимает. Молодые авторы? А вот я и работаю, гм, с молодыми. Я же прочла вашу пьесу, и она мне понравилась, чего же вам еще надо? Что? Конечно, заходите, заносите. Как напишете что-нибудь, так и заносите. С удовольствием прочту. И с билетами в театр, если хотите, могу помочь. Так что милости прошу. Гадина, все они гады — и в журнале, и в театре.

Ведь не потому не печатают и не ставят, что не талантливо, а потому, что не та нынче конъюнктура. А насчет таланта. Пусть мой дар убог и голос негромок. Но... то, что я пишу, мое, не заемное, этого, кроме меня, никто не напишет. Все до сих пор мною читанное МОЕГО не отражает или отражает лишь частично, значит, в человеческой симфонии, создаваемой поколениями, не хватает одного, пусть негромкого звука. И она звучит не в полную силу, эта симфония... Да. Моя жизнь печальна и не примечательна. Но ведь есть кто-то, похожий на меня. Есть и, может, еще будет — в потомстве. Ведь без меня эти люди уйдут не узанные, не разгаданные, они и сами себя не узнают и не поймут.

Для самопознания им необходимы моя книга, моя пьеса... И когда они, эти люди, прочтут мою книгу, наши души найдут друг друга... и жизнь моя продлится, обретет смысл... Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие... Господи, неужели этого никогда не будет? Никогда? Никогда?

И чего это я с утра? Опять настроение упало. Вон солнце светит. Двигайся, Малка, двигайся. Оденься, подкрасься, выйди на улицу, ты свободна, можешь делать все что заблагорассудится. Когда еще ты была так свободна, как сейчас? Включи радио. Пусть звучит веселая музыка. Музыки нет. Видимо, только что кончились известия, до меня долетает конец фразы: «... на наших границах с Польшей». И тут же звенит звонок. Это Кира. Она страшным голосом спрашивает: "Вы слышали?" — Что? — Только что в известиях передавали, по "Маяку", вы ведь "Маяк" слушаете. — Но в этот раз я пропустила. Что случилось? Кира молчит. Потом медленно произносит: «Я слышала лишь самый конец. Было сказано, что неспокойно на наших границах с Польшей и потому принято решение о временном закрытии нашей границы.

Она плачет. Я не знаю, что сказать. Опять замаячила тень самозванца. Проклятый сон.

Возможно, этот четверг я запомню как день телефонных звонков. Бывает, что месяцами никто не звонит, а тут... только я расселась пить чай, снова звонок. Незнакомый мужской голос, интонации очень вежливые. Будьте любезны Амалию Исааковну. Это вы? Рад с вами познакомиться. Много слышал... от сына Николая. Тут я поняла, с кем говорю. Пока я соображала, что бы такое сказать, он продолжал. Вы не догадываетесь о причине моего звонка? Что-нибудь с Колей? - только и могла я выдать из себя, представив самое страшное. Но голос был слишком спокоен. Ну, с Николаем у нас, признаться сказать, вечные истории, на днях в очередной раз пустился в бегу. Но дело мое касается до вас. Не догадываетесь? Может быть, рукопись? — спросила я робко. Голос оживился. Вот-вот. Николай сознался, что рукопись передал вам. Я хотел бы ее получить.

Последняя фраза была сказана тоном решительным, даже угрожающим.

Пожалуйста, если это так срочно, я ведь думала, что Коля с разрешения, мне ведь и невдомек было, - я начала путаться в словах, голос перебил. У меня машина, примерно через час я буду у вас; надеюсь, рукопись в полной сохранности.

Я не успела ответить, трубку повесили.

Ничего себе! Он что, предполагает, что здесь заговор? Что я, скажем так, тайная агентка мирового сионизма, а его сын, Коля, стал моим послушным орудием и под влиянием дьявольских козней предал своего отца? А что? Очень похоже. Если судить по рассказу, именно такая чушь и могла прийти в голову этому человеку. И он через час будет здесь. И мне придется с ним разговаривать наедине. Я позвонила Кире и попросила ее срочно приехать.

Конечно, Кира сейчас в плохом состоянии и голос по телефону у нее прямо больной, но мне больше некого просить ... больше некого. В ожидании я стала ходить по комнате. Может, все-таки прочитать статью? У меня полчаса времени до Кириного приезда, успею. Я взяла газету. Медленно, цепляясь глазами за слова, начала читать. Прочла и начала читать снова. Слова до меня не доходили. Только подумалось, как хорошо, что приедет Кира. Осталось до его прихода минут двадцать, не больше, а если на остановке не будет ждать, то и меньше. Почему мне так нехорошо?

Голова кружится и жуткий озноб... Статья? Но что, собственно, в этой статье? Примеры из древнерусской истории, хорошие примеры о хороших людях. Ну и что? Мысль проводится, что благодать выше закона, то есть христианство имеет преимущество перед иудаизмом, так это же не он, это митрополит Иларион говорил, а до него апостол Павел, кстади сказать. Что тебя так напугало? Ведь там нет ни слова об евреях. Признайся, ты ведь ждала чего-то похожего, потому и не хотела читать. Чего ждала, чего? Статья вовсе не антисемитская, не против евреев, в ней просто с одобрением приводятся слова митрополита Илариона, что Новый Завет выше Ветхого, вот и все.

С похвалой говорится о русском православии, о праведниках. Почему ты не можешь поверить, что эту статью, вполне добротную, писал он, Р. Рязанцев? Ну, говори же скорее, формулируй. Не формулируется. Просто, просто он тогда не был религиозным человеком, вернее, ТАКИМ религиозным, ну чтобы говорить о преимуществе православия... он был человеком культуры... это трудно выразить. Мне кажется, он сильно изменился... даже внешне. Возможно, я бы его не узнала...

В экспедиции за песнями у нас было два руководителя — Рюрик Григорьевич и Сусанна Николаевна — на пятерых участников-студентов. Сейчас мне кажется, что Сусанна была послана специально, чтобы следить за нами — за мной и Рюриком Григорьевичем. А впрочем, не знаю. Группа студентов состояла из четырех филологов и меня, студентки с иностранного факультета, все первокурсники. Филологи подобрались веселые. Почти сразу они разбились на пары: Сева-Лариса, Алеша-Вика, каждую минуту спешили уединиться. Жили мы в крестьянской избе, у бабы Гали, одинокой глухой старухи. С утра обходили одно за другим рязанские села, записывали сохранившийся фольклор, в основном частушки. Села были умирающие, но поездка наша оказалась праздничной: так хорошо нам было всем вместе. Дело портило Сусанна.

Так получилось, что третьей парой стали мы с Рюриком, а она пребывала в роли соглядатая и возможного доносителя, роли весьма незавидной. Вечерами, когда мы с заполненными частушками блокнотами возвращались в бабы Галину избу, у нас начинались танцы. Заводили маг, почему-то одну и ту же латиноамериканскую мелодию. Высокий, красивый Сева танцевал с белокурой Ларисой, приземистый мужичок Лека с томной медлительной Викой, мы с Рюриком Григорьевичем мирно беседовали в углу, рядом читала или что-то писала Сусанна, кидая на нас внезапные быстрые взгляды. Эта мирная картина радовала бабу Галю, и она каждый вечер повторяла одно и то же: "Женигся бы вам, ребята!". На что мальчики дружно отвечали: "Мы, баб Галь, не прочь", а девочки фыркали. Многое забылось из тех разговоров, запомнилось лишь то, что сказано было наедине, без Сусаниного присмотра. Такие беседы велись обычно по дороге, мы с Рюриком Григорьевичем вырывались вперед, и Сусанна догоняла нас только минут через пятнадцать. Общение наше однако началось не сразу.

Первые дни я дичилась. Я думала, что Рюрик Григорьевич объединится с Сусанной, и я останусь совсем одна - филологи были заняты исключительно друг другом, на меня не обращали внимания, словно я стол или тарелка. Их тесная группа всегда была вместе, всегда позади, подальше от взглядов руководителей. Рюрик Григорьевич никак не реагировал на их вольное поведение, иногда, отводя глаза, замечал, что ввиду деревни, следует разомкнуть объятия. Сусанна же поднимала ужасный крик, орала, что не потерпит безнравственности, что родителям будет сообщено, что пошлет девочек на обследование и другие гадости, чем дости-

гала противоположного: девчонки нагтели в ее присутствии и стремились казаться более развращенными, чем были.

Позже Сусанна стала вести себя потише, и девчонки перестали выпендриваться; вообще они не были так безнравственны, как хотела представить Сусанна. Обыкновенные милые, немного взбалмошные девчата, слегка ошалевшие от свалившегося на них мальчишечьего внимания. Здесь было больше нежности, чем распушенности. Рюрик это понимал, Сусанна — нет.

Помню, в самом начале нашего путешествия, когда мы отправились из нашей родной Ивановки в дальнее Коготково, так получилось, что я сильно обогнала остальных. Обогнала, потому что некуда было пригнуться: четверка шла сзади, Рюрик Григорьевич с Сусанной, о чем-то своем беседуя, впереди, ну, я и дернула. Шла и повторяла про себя: утоплюсь, утоплюсь, утоплюсь.

И вдруг сзади Сусанин голос: «Амалия, вернись!» Я приостановилась. Они меня догнали, Сусанна, мне казалось, смотрела с ненавистью.

— Что случилось, Сусанна Николаевна? Почему вы меня позвали? — я говорила ни на кого не глядя, на нее — не хотела, на него — боялась.

— Тебе не понятно? В походе так не бегают, выдохнешься — что прикажешь с тобой делать? На себе нести? И опять его спасительный смех: "Подумаешь, тяжесть — она ж вои какая маленькая", и он легонько приподнял меня над землей. Одно мгновение. Его руки на моей талии, лицо, смеющиеся серые глаза, совсем рядом, внизу. Четверка довольно хохочет, Сусанна корчит гримасу, я вырываюсь и бегу вперед, бегу, бегу. Он меня догоняет, просит прощения. Получилось случайно, в ответ на реплику Сусанны Николаевны, больше, он дает слово, не повторится. Идет? Я киваю.

Сусанна осталась сзади, раздосадованная, злая. Мы летим впереди - беседуем. Он спрашивает, есть ли во мне испанская кровь... Я отвечаю, что возможно, ведь мои предки были испанские евреи. Слежу за его лицом, оно не меняет выражения. Обычно при встрече с незнакомыми я сразу говорю о своей национальности, многие тотчас отходят, кое-кто теряет способность нормально общаться. Рюрик Григорьевич невозмутим. Мало того, он начинает мне рассказывать об испанских евреях. Оказывается, он вообще интересуется еврейской темой. Нет, нет, он русский. Но, живя в России и занимаясь изучением древних текстов, трудно пройти мимо этой темы. Тут нас нагоняет Сусанна, потная и злая. Разговор наш мгновенно прерывается, весь остальной путь мы совершаем в молчании. Про себя я весь путь твержу: Рю-Рик, Рю-рик, Рю-рик...

Просыпаться на рассвете, потому что радость душист - сказано про меня. Я прямо излучаю радость. Вчера вечером мы побывали в небольшом городишке с древней историей — Скопине, зашли в местную книжную лавку и — о счастье — прямо на прилавке лежала маленькая книжечка в белой глянцево-обложке, украшенной стилизованным готическим рыцарем — сборник испанских романсов. Совпадения в моей судьбе!

Книжку купили все члены нашей экспедиции, но вряд ли кто-нибудь - разве что Сусанна — заметил, какими взглядам! мы обменялись с Рюриком Григорьевичем. Мы были как два заговорщика, едва не попавшихся на своей тайне. Я приступила к чтению сразу же, как только мы вошли в избу бабы Гали. Звучала латиноамериканская мелодия, Сева обнимал Ларису, Вика жалась к Леке, Сусанна что-то писала за столом, Рюрик Григорьевич пил чай, баба Галя наслаждалась мирной картиной человеческого счастья. А я читала.

Было впечатление, что жизнь, описанная этими прекрасными стихами, мне знакома, я ее узнавала, впитывала ее всем существом. Какая шемящая тоска в этих строчках, какое горькое и безудержное веселье, как горды и нежны героини этих печальных романсов... И ... как мы похожи... Рюрик Григорьевич пил чай и временами взглядывал на меня. Я чувствовала его взгляд, он бил по мне, как молния, как электрический разряд. Я не поднимала головы. Покончив с чаем, он подошел ко мне, шепотом спросил, какой романс так меня увлек.

— Все.

— А особенно?

Я сказала. Это был поразительный романс, навеянный мавриганским завоеванием, он назывался "Поля оливы". Рюрик Григорьевич взял у меня книгу, стал читать. Музыка внезапно прекратилась, четверка шумно усаживалась за стол, Сусанна перестала писать и пристально наблюдала за мною и Рюриком Григорьевичем, баба Галя, кряхтя, полезла на печь.

Какая сила у поэзии! Днем мы записывали незамысловатые частушки, сохранившиеся в памяти здешних старожилов; среди них была и та, которую я несу с собой через всю жизнь. —

*А не все по горю плакать,
А не все по нем тужить,
Хотя бы маленку печалинку
На радость положить.*

Через всю жизнь я несу и испанский романс, узнанный мною вечером того же дня в рязанской деревне.

Перед сном — а спали мы на полу, заняв все оставленное печью пространство маленькой комнатки с низким потолком, — я вышла на воздух. Стояла, смотрела на звезды, голова была бездумна, в душе звучала мелодия. Я повторяла строки полубившегося романса.

*В Пасху это было, в первый день недели,
На поля Оливы мавры налетели.
Ай, поля Оливы, ай, просторы Граны,
Полонили мавры христиан немало,
Юная инфанта к маврам в плен попала.*

Почти неслышно отворилась дверь. Я не обернулась. Я знала, что это он. Мы стояли молча. Вдруг он спросил: "Как вы думаете, Амалия, где в этом романсе кульминация?". Он протянул мне книгу. Я указала место, головы наши почти соприкасались, сердце мое билось учащенно и гулко. Он нараспев прочел: "На мече клянусь я — остром, золоченом. Буду тебе братом, братом нареченым".

Он оторвал глаза от книги, взгляды наши встретились. Он хотел что-то сказать, потом раздумал. Мне кажется, я поняла, что он хотел сказать. А потом на крыльцо выглянула Сусанна.

Следующие дни проходили в разговорах; ничего более увлекательного не было в моей жизни. Мы обменивались мнениями о писателях, поэтах, спорили выясняли вкусы друг друга, радовались когда оказывалось, что они сходятся. Сусанна глядела на нас как на сумасшедших, и в чем-то была права. В ее присутствии дух спора отлетал, мы замолкали. Я старалась не реагировать на ее бесконечные замечания, Рюрик Григорьевич отпускал на ее счет иронические колкости. Мне было даже немножко жаль Сусанну, она находилась в том положении, в каком, по всем правилам, должна была оказаться я. Жизнь случайно поменяла нас местами.

Мы оба — я и Рюрик Григорьевич — любили Лермонтова. Маршрут нашей экспедиции пролегал через бесконечную равнину, изрезанную холмами и оврагами. Нешадно жгло солнце, до пункта назначения — заброшенной деревеньки — оставалось еще километров семь. Мы с Рюриком Григорьевичем шли как всегда впереди, разгоренная четверка еле-еле плелась за нами, Сусанна, беспокойно оглядываясь на отстающих, спешила нас нагнать. Жар нарастал, и почти одновременно нам пришли на память лермонтовские строки:

*В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я,
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.*

Заговорили о провидческом даре Лермонтова, он точно описал картину своей смерти. Я была уверена, что, когда Лермонтов, писал "Сон", он пережил свою гибель, все ее жуткие физические муки. Рюрик Григорьевич согласился, его увлекала в стихотворении трактовка смерти как сна. Герой спит мертвым сном и видит сон из своей прошлой земной жизни, два мира — тот и этот — слились воедино, переплелись; поэтому и слово "труп" в применении к герою оправдано и не режет уха. Я поразились, как совпали мы в мысли о лермонтовском двоемирии, обрадовалась, вспомнив казачку из "Даров Терека".

В это время подошла Сусанна. Разгорячившись, я не сразу замолчала. Прервал мою сбивчивую речь голос Сусанны: "Послушай, умерь свой восточный темперамент, и так жарко". Я осеклась на полуслове, я получила оплеуху и ждала, что от меня защитит. Но он промолчал.

Тогда он промолчал, а сейчас написал статью о произведении, в котором провозглашается преимущество христианства над иудаизмом, есть связь? И вообще, что меня задело? Я что — иудаизм исповедую, что ли? Да я сама тысячу раз ужасалась, как много в иудейской религии предписаний, нудных обрядов, регламентации.

Всю жизнь боялась заглянуть в синагогу; по слухам, для женщин там особые места; но тут другое. Тот Рюрик Григорьевич, с которым я столкнулась много лет назад, не писал бы статей на такую тему... И все же, почему он тогда ничего не ответил Сусанне? Не съязвил, не сыронизировал, даже не взглянул на меня, мол, не робей: что с дуры взять? Он промолчал. Какая чепуха лезет в голову. Ну, промолчал и промолчал, ничего особенного. Слышишь, ничего особенного. Не хватало еще, чтобы ты... А вот и Кира, двадцать минут добиралась, значит, троллейбус сразу пришел, повезло.

У Киры как всегда были новости. Выходя из дому, в почтовом ящике она обнаружила два послания. Первое — незапечатанная повестка из школы. Приглашение на расширенный педагогический совет, посвященный проблеме гуманизации школы. Подписано Борисом Львовичем Розенбломом. Стало быть, он еще на месте. Я вспомнила, что вчера с газетами принесла какой-то листок, порывлась в бумажной горке на столе, ну да, вот оно, меня тоже приглашали на расширенный педагогический совет. Подпись Розенблома на обоих приглашениях была совершенно идентичной и ни о чем не говорила. Зачем мы ему понадобились? Какой еще педсовет?

Учебный год кончился, мы с Кирой ровно год, как оставили службу. Внизу было написано: сбор в 15 часов. Что там еще за гуманизация? Впрочем, мне не интересно. Кира, однако, сказала, что хотела бы пойти, из любопытства. Второе по-

слание было в запечатанном конверте без обратного адреса. На листе бумаги всего одна печатная строчка: Евреи, вон из России! Подписи не было. Внизу листа стояла небольшая буква С. Я сразу подставила: Самозванец, Кира была возбуждена. Она потрясала большим листом с крошечной строчкой на нем: "Вы видите, у них на ЭТО есть бумага, на ЭТО они и за валюту купят, а на книги, на журналы... Как вы можете здесь оставаться?" Ее Боря уже месяц не работал, они распродавали мебель, лишние вещи и книги. Теперь новое горе — говорят, что закрыли границы, но возможно, это только слухи. Во всяком случае, Кира слышала как "Маяк" передал опровержение.

Боря однако решил съездить в Американское посольство, посмотреть, что там делается. Звонил оттуда полчаса назад. Там жуткое столпотворение. Может, все-таки не слухи? Я с трудом увела Киру от этой темы. Рассказала о предстоящем визите Колиного отца. Она удивилась, что рукопись у меня. Рая ей уши прожужжала про какую-то рукопись, которую Коля стащил у отца со стола. Значит, это он для вас утащил? Она смотрела с прищуром. Господи, не хватало еще, чтобы Кира заподозрила здесь мелодраматическую историю: совращение младенца. Кира почему-то считает меня искусительницей, подозревает, что я от нее скрываю свои похождения.

— Так значит, рукопись у вас... Опять она оглядывает меня с любопытством. — А Коля, между прочим, дома не ночевал... Рая попеременно звонит то в милицию, то в морг, то в музей.

— В музей?

— Ну да, на ней же американка. Они договорились пойти в музей. Там как раз сейчас выставка Т. Невозможная очередь. Но, кажется, все устроится, Юрка помог. Он бывает и человеком, когда на свою тему не сворачивает. Тогда совершенным психом становится. И рассказы, наверное, сумасшедшие, да?

— В его сумасшествии есть своя логика. Странно, что он поручил обучать своего сына нам с тобой.

— Ну да, он из этих. Но в Рае нет этого в помине, ни намек. Что ее объединяет с Юркой? — Кира крутит возле виска, — софист доморощенный... Кстати, нас с тобой не он нанимал, а Рая. И, думаю, не без домашнего скандала. Ты ее не знаешь, чудесная русская баба, простая, добрая очень. Мы с ней учились вместе, а Юрка учился на матфаке, считался прогрессистом, это он потом сбрендил на русской идее. У них ранний брак и ранний сын. Бедный Коля! Рая говорит, что если с ним что-нибудь случится, она покончит с собой. Хороша ситуация? Я спрашиваю, надо ли чем-нибудь помочь.

— А чем поможешь? Он у них второй раз убегает. Первый раз вернулся сам через неделю. Сейчас пока только день прошел. Почему окно закрыто?

Кира подходит к окну и распахивает его, в комнату врывается шум и чад магистрали. Несколько мгновений мы вдыхаем запахи городского центра, потом я горячо умоляюще: "Кира, пожалуйста", и она закрывает, закрывает окно, оставив только форточку. У нас у обеих кислородное голодание, и нет от него спасения... Может, в своей Америке Кира спасется... не знаю...

Тяжелый какой день. А начался неплохо. Солнышко светило. Солнце и сейчас бьет, надо штору задвинуть, пять часов — самый жар в моей комнате. Кира уже, наверное, вернулась с расширенного педсовета. Или еще не вернулась, там любят долго заседать. Педагоги, учителя. Я, наверное, действительно зря пошла в школу. И, надо признать, хоть и неприятен мне этот человек, но в чем-то он прав.

Я никакой не педагог. Изначально, по своей нервной организации. Во всем сомневаюсь, мучаюсь, вечно в размышлениях. Он прав, прав. И Коле зря дала почитать, зачем дала? Почему Коле?

Теперь сама не объясню. Проклятая импульсивность, а педагог должен быть рассудителен. Помнишь, нам на семинаре по педагогике читали из книжки, каким должен быть педагог, на первом курсе, кажется. Тебе бы уже тогда, дурехе, понять, что ты не подходишь, что ты не для этой работы. Справедливый, добрый, рассудительный — это все не про тебя... а про кого? Про Розенблюма? Софу? Виталия?

Не отвлекайся. Речь идет о тебе, только о тебе. Тебе эта работа явно противопоказана. Ты ведь даже не знаешь, справедливая ты или нет, добрая или нет. Скорее всего, и не справедливая, и не добрая. Да, временами такая злость внутри, такая... и ощущение жуткой бессмысленности всего... человечество... выдумало себе бирюльки — детский сад, школа, институт, потом работа. А зачем, к чему эти игры? Только чтобы структурировать время человеческой жизни, ведь так? Чем-то занять руки и мозг, отвлечь от главного вопроса — зачем? Фу, опять ты за свое. Просто наваждение. И еще Колин отец добавил. Как его зовут? Юрий. А отчество не знаю. И он не сказал. Ведь он даже не представился. Вошел не вошел — вбежал — маленький, юркий, похожий на клоуна с грустным лицом.

Папочку, которую я ему протягивала, быстро в кейс спрятал и только тогда на меня поглядел. И улыбнулся — улыбка кривая. — А ведь я вас такой представлял — молодой, обаятельной... ну это он напрасно, меня на комплименты не поймаешь.

Так мы и стояли в прихожей, я его не приглашала в комнату. Пришлось ему самому сказать, что есть разговор. Я спросила: "О Коле?" Он кивнул: «И о нем!»

Зачем ему этот разговор нужен был? Чтобы нервы свои успокоить за счет другого? Вот так придешь к человеку и скажешь: ты не на своем месте, не имеешь права работать педагогом. А кто имеет? Да, но в начале он меня поразил, прямо по голове бахнул.

Из своего кейсика вытащил мою тетрадку, ту, которую я Коле давала. Я прямо обомлела. А он: "Ваше сочинение?" А у меня из горла слова не идут. Значит, Коля, значит... Он смотрит на меня, опять криво улыбается: "Ну чего вы так? Вам ведь Коля мое читать приносил, стянул со стола и принес, а вот ваше сочиненьице с трудом я у него извлек. Повозиться пришлось».

— Вы, вы били его... пытали? Сказала и сама испугалась, почему это слово вырвалось: пытали?

Он, кажется, не удивился.

— Да нет, припугнул малость и все. Ему ведь шестнадцать уже, можно и в милицию попасть за воровство и прочие отличные поступки. А вот, кстати, я ведь и предполагал, что вы в ихней психологии ни черта не смыслите. Да разве современного юнца пытать надо, чтобы он отца родного заложил? Мать продал? А уж что о других прочих ...

Я сидела, он бегал вокруг меня и говорил, говорил. Маленький, быстрый, с полуседыми вьющимися волосами, с лицом осужденного на казнь арлекина.

Трудно сказать, какой он национальности, может быть и евреем, и русским, и цыганом, и татаринном. Причудливый человек... вот тут он мне и выдал: "Я, собственно, для чего пришел, я к вам как посланец пришел. Нельзя вам педагогикой заниматься, не ваше это дело. И вообще детей не трожьте, оставьте в покое наших детей", слово наших он выделил. Он остановился, видно, ждал, что я начну возражать, но я с бьющимся сердцем ждала продолжения. Не дождавшись от меня возражений, он еще

больше воодушевился. Теперь он стоял прямо передо мной. — Что вы дали ему читать, вы сами-то понимаете? Это же отравка, яд, это же разлагает душу. Повесть на школьную тему. Голос с другой стороны баррикад... зачем ему знать, что у учителя болит сердце, что у него неладно с нервами и не сложилась личная жизнь, а? Вы для него должны быть вне досягаемости, вне критики, вы солнцем должны светить для него... и вдруг слезы, сопли, болезни, жалобы. Учитель — он должен вести за собой. Не искушать сомнения юные умы, а твердо знать, куда идти и где дорога».

Мне стало больно от его красноречия. Я закрыла глаза. Минут пять я сидела, полностью отключившись. Вдруг мне показалось, что в его словах забрежжило что-то новое, я вслушалась:

— ...Мало того, что вы отравили его ядом своей повестью, вы заставили его совершить святотатственный, кощунственный поступок — только так я могу квалифицировать то, что вы сделали. Имя его девочки, его первой девочки — зачем вам было знать это имя? Сын рассказал мне про какие-то стихи на английском, про какие-то песни, которые он якобы сочинял под вашим руководством. Бог с ней, с вашей методикой, нужны стихи для овладения английским, пусть будут, здесь я умоляю, но девочка-то, девочка-то здесь при чем? Понимаете ли вы, на какое святая святых покушаетесь?

Это был уже перебор. Он, возможно, сам это почувствовал, кашлянул, сел в кресло.

Я по-прежнему молчала. Мне хотелось одного, чтобы он поскорее ушел, ужасно болела голова, ныло сердце, жить не хотелось. Значит, Коля и это ему рассказал. А имя девочки я узнала случайно.

Коля искал рифму для слова "лиси", я сказала что хорошая рифма "Алиса", он просил, оказалось, что так зовут его подружку. Ужасное кощунство с моей стороны! А повесть зря дала, зря. Почему он не уходит? Как бы Кира не задохнулась в маминной комнатухе, форточку там забыли открыть. В этот момент из маминной комнаты раздалось чиханье. Мы с Колиным отцом одновременно взглянули друг на друга. С криком "так я и знал" он подбежал к занавеске и раскрыл ее. Слава богу, он не был вооружен, иначе Кире бы не избежать участи отца Офелии.

В следующую минуту в комнату со смехом впорхнула Кира. Колин отец с недоумением смотрел то на меня, то на нее. Видно, он ожидал, что в засаде сидит какой-нибудь агент с пейзажами...

Придя в себя, Колин отец пошел навстречу Кире с распростертыми объятиями: "А вот и Кира, сколько зим, сколько лет, привет тебе от Раи. Кто бы мог подумать, что ты тут... за занавеской". Положение было неловкое. Нашлась Кира. Она спросила, на машине ли он и сможет ли подбросить ее к школе. Они вышли вместе. Перед уходом Кира подошла ко мне: "Оказывается, вы, Амалия, развращаете отроков" и погрозила мне пальцем. Она все перетолковывает по-своему, эта Кира. Во всем ей видится любовь.

Была она в моей жизни? Можно назвать любовью то, что было в моей жизни? Со стороны мы могли восприниматься как влюбленные. Жене, конечно, донесли; скорее всего, Сусанна и донесла. Помню, в начале осени мы сидели в ожидании лекции, лектор не то заболел, не то опаздывал, в аудиторию заглянула какая-то женщина, в больших темных очках, она кого-то искала, внимательно оглядывала всех присутствующих. За ее спиной стояла Сусанна. Наконец, она нашла. Я поняла, что она смотрит на меня. Хотя не могла поймать ее взгляда, спрятанного за очками. Она стала медленно, словно сомнамбула, приближаться к месту, где я сидела.

Подошла почти вплотную ко мне и так стояла несколько мгновений. Потом, ни слова не сказав, пошла к двери. Из дверей на меня глядела улыбающаяся Сусанна.

Та осень была для меня ужасной. В конце сентября в больнице умер папа. Целый месяц почти не посещала занятий. Мама бесменно находилась в больнице, я возила туда еду и лекарства. Папу положили с инфарктом, но умер он от воспаления легких, простудившись на вечных больничных сквозняках.

В начале октября я пришла в институт, бледная, больная. Ловила на себе любопытные и сочувственные взгляды. Староста группы, Люда, с видом заговорщицы сообщила, что Рюрик Григорьевич ушел с кафедры языкознания на кафедру древнерусской литературы, что жена его недавно выписалась из психбольницы, куда попала из-за попытки отравиться, и что его все осуждают. За что осуждают, она не сказала. В тот же день в коридоре на меня налетела Сусанна: "Послушай, ты новость слышала?"

Я ждала, что она скажет про Рюрика Григорьевича, но ошиблась. -Наша-то четверка расписалась, зарегистрировала брак в ЗАГСе, а затем повенчалась в церкви. В глазах у Сусанны плясали черти. Новость меня не удивила. Они и должны были пожениться, еще баба Галя говорила: "Вам бы жениться", а мальчишки отвечали: "Мы не прочь — как девчата". Но главное Сусанна приберегла напоследок. Оказывается, они поменялись парами. Сева женился не на светловолосой Ларисе, а на томной Вике, а Лека, соответственно, на светловолосой Ларисе, а не на томной Вике.

— Кошмар, правда? — Сусанна потрянула высокой прической. — Хотя что ж? Я это предвидела.

И она возобновила свой бег по коридору.

Кафедра древнерусской литературы находилась в другом здании, и с Рюриком Григорьевичем мы уже не виделись. Лекций он у нас не читал. В тот год на Седьмое ноября я послала ему открытку. Написала, что никогда не забуду нашей прекрасной поездки, общения с ним. В моей памяти перешлелись деревенские чапушки, стихи Лермонтова и испанские романсы, и, если б не эти воспоминания, даже не знаю, как бы я пережила обрушившееся на меня горе. Целый месяц я ждала, что он откликнется.

Ведь я пишу, что мне тяжело, у меня горе, разве можно не ответить, уже хотя бы поэтому. Но ответа не было. Чего я только не передумала тогда: мне все пригрезилось, не было никакого общения, родства душ и прочего. Все это плод моего большого воображения. Одновременно мне приходило в голову, что во всем виновата его жена, что он не отвечает, боясь ее ревности. А может, она перехватила открытку, вскрыла конверт, прочитала мое послание и скрыла от него? Все эти версии жгли, как угли.

Я плохо спала, мучилась, томилась. Днем ходила с отрешенным лицом. Именно тогда началась моя дистония; мама, перепуганная, водила меня к платным специалистам, те прописывали соблюдать режим и гулять перед сном. А всего-то было нужно — получить письмо или открытку от одного человека. От Рюрика. Рюрик — Рю-рик. А потом, потом меня внезапно осенило. Чего я хочу? Он живет там, я здесь.

Он живет там, я здесь. Вроде бы наши жизни не пересекаются. Но это не так. Не так это. Это как у Лермонтова в стихотворении "Сон". Там герой и героиня отделены друг от друга не только горами и лесами, но даже смертью, и все равно они вместе, и души их говорят друг с другом. И я успокоилась.

И больше мы не встречались. Нет, была еще встреча. Через два года. У книжного магазина на Тверской.

Пять часов десять минут. Надо встать с дивана, хватит валяться. Встать, задернуть шторы, поставить чайник. Мама тоже сейчас пьет чай. Думает обо мне, беспокоится. Рассказывает Кларе, какая я непрактичная, дикая, как всему меня надо учить. Или нет, Кларе она говорит, как ей повезло со мной — любящая, заботливая, а счастья нет. И ведь не то чтобы дурнушка, совсем напротив, но верно говорят: не родись красивой, родись счастливой, и ведь были молодые люди, были, вон сосед с третьего этажа, тоже одинокий, с отцом жил, вид очень интеллигентный, он Малочке предложение делал, и еще было, да ты знаешь, Левка за ней со школьных лет ходил, теперь-то он далеко, давно женат небось и дети, нет, не пишет, а чего ты хочешь?

Она ему грубо так сказала: не люблю, люблю другого. Конечно, обиделся, а у Малочки нет ума, разве можно так говорить? Скажи, я еще подумаю или пока не решила, а она... Любит кого? А я знаю? Нет, не говорила. Нет, и разговора не было. Я пару раз начинала, а она как каменная становилась. Я, правда, стороной слышала, у нас староста как-то была с Малочкиного курса, она говорит, преподаватель, старше ее значительно и женатый, жена психическая. Может, соврала, откуда мне знать? А Малочка мне ни словечка... все про себя держит, потому и здоровья нет, верно, все от нервов, чудесное варенье, Клара, душистая как я клубника, язык проглотишь...

Да, а у меня домашнее варенье кончилось, надо бы купить в магазине яблочное повидло, буду мазать на хлеб. А сейчас поью чай с сахаром в прикуску, как в детстве. И хлеб еще остался, вот и хорошо. Чаек поью. Штору задернула, в комнате полумрак, на столе чайник, чашка, хлеб, сахар. Что еще нужно человеку! Почему болит душа, никак не успокоится? Чего ей не хватает? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. А ведь тогда зимой, два года спустя, мы снова о Лермонгове говорили, как быстро он созрел. Помню, он сказал, что если переложить один лермонтовский год на обычную человеческую жизнь, то получится десять лет.

Я поразилась, как будто про меня сказано, про мою жизнь. А встретились мы на улице Горького, возле книжного магазина. Он меня первый увидел и окликнул. И мы пошли в магазин вместе, потом обошли все книжные ближних окрестностей, так ничего хорошего и не купили. Нет, я купила маленький томик Баратынского, детское издание.

О Баратынском тоже говорили, как всю жизнь был разочарован, не верил в счастье, а перед самым концом — поверил, когда поехал с семьей в Италию: написал "завтра увижу Элизий земной" — и буквально через несколько месяцев после этого умер.

День был морозный и яркий. Шли мы быстро, словно за нами гнались. Он поглядывал на мою вязаную шапочку с детским помпоном и улыбался... я тоже улыбалась, неизвестно чему. Мы встретились словно и не расставались никогда, и так много нужно было рассказать друг другу.

За эти два года он защитил докторскую, написал кучу статей. Древнерусская и классическая литература, славянский и древние языки, тюркизмы в "Слове о полку Игореве", вклад еврейской интеллигенции в русскую культуру — все его волновало, обо всем он говорил увлеченно, с блеском в глазах.

У него глаза такие... Серые, становящиеся внезапно светло-голубыми, озорными, с искорками. Устав бродить, мы пошли в метро и сидели там на скамейке несколько часов. И тут он сказал совершенно неожиданно и некстати, что сына никогда не оставит. Разговор шел о чем-то совсем другом, сугубо научном, и вдруг... Я подняла глаза. Он не смотрел на меня. Мне показалось, что я ослышалась. Но пауза затягивалась. Он чего-то ждал. Чего? Я первая посмотрела на часы, ужаснулась, ой, мама волнуется, и мы простились. И с тех пор не встречались. А на открытки мои он не отвечал.

Звонок раздался, когда я поднялась, чтобы вынести чашку на кухню. Почему-то у меня дрынуло сердце.

— Я слушаю.

В трубке раздавалось какое-то бульканье, потом, смех, потом тоненький, явно измененный голосок пропищал: "Вам приветик". И снова смех, где-то далеко, на том конце, и еще звучала музыка.

— Приветик от кого?

— От одного мальчика... хорошего.

Опять смех и бульканье. Льют из бутылки?

— Послушайте, вас Алиса зовут, да?

На том конце провода взрыв веселья.

— О, ты догадлива. Положим, Алиса, что дальше?

— Алиса, вы не дадите трубку мальчику, ну тому, от кого приветик.

— Ишь чего захотела!

Какие ужасные уличные интонации.

Я продолжаю:

— Передай, пожалуйста, Коле пусть возвращается. Можно пожить и у меня, мама на даче.

— Ишь чего захотела!

Дальше следует ругательство. Я вешаю трубку. Через минуту снова звонок. Тот же голосок с визгливым смехом спрашивает: "Так вам Колю? Колю, значит, хотите? Вот вам ваш Коля".

И молчание в трубке. Скорее, скорее, нужно ему сказать, нужно сказать.

— Коля, ко мне отец твой приходил. Он принес повесть. Может, ты переживаешь из-за этого, что рассказал все отцу, что повесть показал; так ты не переживай. Я уже простила, он, наверное, здорово тебя мучил, я все понимаю. Что-то не то я говорю, совсем не то, я замолкаю, и вдруг из трубки в меня стреляет чужой жесткий голос.

— Ах, ты понимаешь? Да видно не все. Главное пойми: вам, жидам, нужно скорее убираться в Израиль.

Трубка падает из моих рук. Неужели это Колин голос? Нет, не может быть. Это шутка. Телефон снова звонит. Я смотрю на него как на зверя, я не беру трубку. Минут пять он звонит не умолкая. Я стою, закрыв уши руками. Это не Коля, не Коля. Совсем чужой злобный голос. И девчонка вовсе не Алиса. Случайное совпадение, а, вернее, просто назвалась так. Это розыгрыш, шутка. Мне казалось, что Коля позвонит, вот я и попалась. Конечно, не Коля. А вдруг... Что ему могло не понравиться в моей повести? Может, он решил, что герой — это он. Так нет же, я ведь его даже не знала тогда, Колю. И героя своего я все равно люблю, хоть в нем всего намешано... я его с себя списывала, с себя, Коля, вовсе не с тебя, дурачок ты. Неужели ты так меня понял превратно? Или когда про отца говорила, тебя задело,

что, мол, ты, хоть и под пытками, но сломался, сломался все же. Так? Ты ведь самолюбивый мальчик, гордый. Неужели так? Ты пьяный, наверное, вот что. Тебя напоили. И откуда она звонила, эта Алиса? Из пригона какого-нибудь, там и распивают и колотятся. Тебя там на ночь приютили, напоили, одурманили, так? Ведь иначе никак не получается, ведь иначе нельзя жить, тогда я просто не знаю, что с собой делать, Коля. Нет, не может быть. Это не ты. Это хулиганы. Шутка. Как та записка, которую Кира получила.

Там еще внизу буква С значилась. Вот и мне кто-то из той компании. Самозванец... какой-нибудь. Это не Коля, не Коля. А голос внутри нудно и вязко шепчет: "Это Коля". Нет, в комнате находиться больше нельзя. Воздуху не хватает. Ощущение, что ты рыба, выброшенная на песок, и еще потолок давит и стены. Нестерпимо бывает в четырех стенах, прямо как в палате № 6. Выбежала на улицу, глотнула уличного воздуха, чуть полегчало. Все было мокро вокруг, видно, успел пройти дождик. Солнце светило уж не так ярко, веяло холодком. Совершенно автоматически прошла несколько остановок. Троллейбусы почему-то не ходили. Ноги сами вели меня к Кире. Мозг отключился, внутри сидела только одна мысль — какая чудесная погода!

С Кирой мы столкнулись во дворе ее дома: она вела Леничку за руку из детского сада. Мордочка малыша была перемазана, костюмчик в пятнах, колени в болячках. Он кричал на весь двор: "Меня Сележка пшибил, плюклятый, говорит я уклел его веделко, а я не уклявал, не уклявал". Кира его успокаивала. Увидев меня, Леничка забыл про свою обиду: "Тетя Мала, ты что мне принесла?" Ужасно, не было у меня ничего для малыша. Леничка отвернулся, а я чуть не заплакала. Порылась в карманах, нашла копеечку, протянула Леничке. Он просил: "Спасибо, тетя Мала", стал что-то приговаривать над денежкой, весь переключился на игру. Увози, Кира, свое сокровище. Ради такого мальчика стоит перечеркнуть свою жизнь, стоит жить среди чужих, потерять язык и родину, нормальное общение. Зато ОН будет среди своих, и язык для него не будет чужим, и найдет он себе друзей, и никто, никто из них не скажет ему: "Убирайся отсюда, чужак". По дороге Кира рассказывала про педсовет.

Оказывается, Розенблом не только уцелел, но процветает. Он нашел поддержку у органов образования, которым всегда нравилась его педагогика сотрудничества. Опыт Розенблома было решено распространить. Помогло ему и то, что важное лицо, его поддерживающее, не утонуло, а, как оказалось, просто временно затаилось и теперь выплыло на поверхность. Внутренние враги, таким образом, потерпели сокрушительное поражение. Софа и Виталия сидели на педсовете как приговоренные, ожидалось, что Розенблом будет сводить с ними счеты.

Педсовет грозил перерасти в судилище, но случилось другое. Директор внимательно оглядел коллектив, явившийся в расширенном составе, особо выделил взглядом Киру, Софу и Виталия, и проникновенным, дрожащим от волнения голосом объявил тему: "Гуманизация школы". Затем он начал свою речь, из которой следовало, что на новом витке жизни школы провозглашаются гражданский мир и согласие. Я готов сотрудничать со всеми, — сказал директор, — и с теми, кто вел против меня непримиримую войну, — тут взгляд его упал на сжавшихся Софу и Виталия, — и с теми, кого я, погорячившись, незаслуженно уволил. Тут весь расширенный педсовет, по словам Киры, взглянул в ее сторону. С размягченным, покрасневшим лицом директор объявил об ожидающейся амнистии: отныне все подвергнувшиеся опале могут рассчитывать на его благосклонность, уволенные будут восстановлены на работе в кратчайший срок.

Он не помнит обид и надеется на взаимность вверенного ему коллектива. Последние слова Розенблюма потонули в аплодисментах. Расширенный педсовет стоя приветствовал новый курс. Под шум аплодисментов Кира, стараясь не привлекать внимания, покинула помещение. Расширенный педсовет продолжался без нее.

— Таким образом, — резюмировала Кира со смехом, — мы с вами со следующей недели можем приступать к работе. Думаю, что и стаж нам восстановят, а? Как вы к этому относитесь, Амалия?

Как я могла к этому относиться? Телефон беспрестанно трезвонил. Кире звонили какие-то люди по поводу книг и мебели, звонил Боря — он все еще находился на территории Американского посольства, толпа вокруг него росла, Боря советовался с Кирой, как быть, звонили Кирины и Борины родители, спрашивали насчет книг и мебели, беспокоились о Боре, давали советы. Одновременно Кира разговаривала со мной и кормила Леничку. Малыш капризничал, отказывался есть самостоятельно, короче освобождался от запретов садика. Кира нервничала, срывалась на крик, тогда Леничка опускал головку, надувал губки и начинал громкий рев. Было жаль и Киру, и малыша. Раздался очередной звонок. Кира, с гримасой на лице, схватила трубку.

После первых же слов она замахала мне рукой, я подошла. Звонила американка. Быстро и невразумительно она начала что-то объяснять. С трудом я поняла, что она находится в музее, Раи почему-то нет, и она просит чтобы кто-нибудь за ней приехал. Ай донт ноу зи вэй, зea pa соу мэни пипл.

В этот момент Леничка, чем-то недовольный, поднял громкий крик. Ничего больше не слыша, я прокричала в трубку: ай уил кам. Американка что-то ответила, и начались гудки.

Леничка внезапно смолк, Кира сказала: "Опять с Раей истории, вечно теряется". В нерешительности я посмотрела на Киру, она показала мне глазами на Леничку, его не на кого было оставить, значит, придется ехать мне. Кошмар, я морально не готова, и платье надела почти домашнее, не для выхода, и вообще... сто лет никуда не ездила. Тем более одна, и что я буду с ней делать, с этой американкой? Я была в отчаянии и одновременно радовалась, что не нужно сейчас возвращаться домой, в надоевшие, опостылевшие комнаты, ставшие без мамы чужими и неуютными, к телефону, стреляющему в упор. Я поехала в музей.

Хорошо, что Кира жила возле метро, иначе я бы не добралась. Весь наземный транспорт стоял. Кругом говорили о какой-то демонстрации, которая идет сейчас в центре, у правительственных зданий. У выхода из метро было оцепление. Народ стоял кучками, все чего-то ждали. Я с трудом, расталкивая встречных, шла по направлению к музею. Очень хотелось повернуть назад. Удерживала мысль: американке еще хуже, чем мне, ей, наверное, кажется, что у нас революция. Вышла к магистрали — отсюда рукой подать. Прямо по проезжей части навстречу мне двигалась процессия, с музыкой, лентами и плакатами. Музыка била в уши.

Я ускорила шаг, поравнялась с первой колонной. В ней была молодежь — длинноволосые подростки, в джинсах, на многих были рубашки цвета хаки, девчушки мало чем отличались от парней, почти у каждого в руках были портативные магнитофоны; казалось, земля дрожит от невообразимой какофонии. Но сами участники процессии были молчаливы, шли с суровыми замкнутыми лицами, на самодельных плакатах я прочла: "Верните нам будущее", "Россия — для русских". Тоненькая девчушка с распущенными золотыми волосами размахивала белым флагом, на нем было написано корявыми красными буквами "Да здравствует потомок

Рюриковичей!" Грохот и ярость магнитофонов и молчание колонны производили жуткое впечатление. Я побежала. Возле входа в музей выстроилась очередь. Здесь была выставка известного художника. Пропускали как всегда небольшими порциями. Я пошла вдоль очереди, ища глазами Джейн. Джейн с отчаянным лицом стояла рядом с милиционером. Увидев меня, только выдохнула: "О". Я схватила ее за руку. Вместе с группой иностранных туристов под ненавистными взглядами очереди мы беспрепятственно проследовали к величественному входу в музей.

Джейн быстро-быстро что-то говорила. Пристроились к очереди за билетами. Американка замолчала. Только изредка у нее вырывалось прежнее "террибл", "фэнтэстик". Минут через двадцать, когда мы были у самой кассы, неожиданно появилась Рая. Серое лицо, растрепанная прическа. Она извинилась за опоздание: из-за демонстрации движение остановилось. Джейн улыбалась и кивала: "Оу, уе, уе". Отвернувшись от американки, Рая приблизилась ко мне: "Я только что видела Колно... в этой колонне... ну, — она показала рукой на улицу, — идет — глаза дикие, рядом какая-то девка с синими губами, и волосы, представьте, тоже синие. Мода что ли сейчас такая? Я кричу: "Коля, Коля!" Он глаза поднял, увидел меня и снова опустил, как ни в чем не бывало..., а девчонка мне рожу скорчила. Что ж это? Как понять?" Она сдерживала слезы. Джейн с удивлением смотрела то на меня, то на Раю. Я пояснила: "Сам хоум траблс". Она кивнула: "Оу, уе", попробовала улыбнуться, улыбка плеча лик святого, меч или копые героя, хвост змея. Люди, казалось, что стоим за билетами, всплеснула руками: "У меня же пригласительные. Юрка же его друг ближайший". Мы тронулись цепочкой, возглавляемые Раей.

Большая, с выбившейся из прически косой, раскрасневшаяся, она сильно контрастировала со спортивной маленькой коротко стриженной Джейн. Интересно, как на этом фоне выгляжу я? Домашнее синее платье, мягкие туфли без каблуков... А, наплевать. Меня никто здесь не знает. Рая предъявила билеты, мы вошли в зал. Народу было так много, что картин я почти не видела. Кое-где выглядывали из-за чьего-нибудь плеча лик святого, меч или копые героя, хвост змея. Люди, казалось, не смотрят картины, а находятся в ожидании. Толпились кучками, тихо перешептывались, бросали взгляды на другой конец длинного просторного зала.

Там, как на сцене, но спиной к публике, стояли два человека. Рая, указав на одного из них, сказала: "Сам художник». Второй - маленький, в белом костюме, оживленно жестикулирующий, кого-то мне напоминал. Когда он повернулся лицом, я узнала своего сегодняшнего гостя, Колиного отца.

Кажется, он собирался что-то сказать, поднял руку вверх, ждал тишины. Рая устремилась вперед, прокладывая дорогу Джейн и мне. Вскоре мы стояли в нескольких шагах от художника и его доверенного лица. Оратор все не начинал, теперь он мне не казался печальным арлекином; в нарядном белом костюме, с игривой улыбкой на лице, он напоминал преуспевающего западного дельца. В ту минуту, когда оратор заговорил, я поймала на себе чей-то пристальный взгляд. Смотрела женщина средних лет с высокой белой прической, с браслетами на толстых руках. Рядом стоял седой мужчина в очках, тоже внимательно меня разглядывавший.

Женщина поманила меня рукой в браслете, она и ее спутник стали пробираться к выходу. Еще ничего не понимая, я тоже полезла через толпу. Кто такие? Женщина по виду весьма вульгарная, я с такими предпочитаю не общаться, жаль, что сегодня я в таком затрапезе... До слуха долетели отдельные фразы выступавшего: "в тяжелый для россиян час художник обязан ... с теми, кто вышел на улицу... древнее благочестие ... святые православия... безграничная вера в рус-

скую душу...". Джейн без меня ничего не поймет... зачем я понадобилась этой толстой тетке? Они стояли у выхода из зала, возле самых дверей. Женщина быстро произнесла: "Вы Амалия, да? Я не ошиблась? Столько годов пробежало...".

Я узнала ее по речи, по диалектному выговору.

— Сусанна, вы?

— Узнала, а ведь годов тридцать пробежало, ну, может, чуть меньше.

Г-фрикативное то же, а вот надменности прежней нет, какая-то ласковая вся, круглая. Ужасно изменилась, неужели и я так?

— А ты, Амалия, не меняешься — худая, не то что... ты заговоренная, что ли?

И она толкнула локтем своего спутника. Тот не шелохнулся. Глаза его за пригменными очками были устремлены на меня. Я физически ощущала его изучающий долгий взгляд. Он? Не может быть. Неужели?

— Не узнаешь? Сусанна кивком указала на мужчину, он подался вперед.

— Вы? Это вы? Рюрик... Рюрик Григорьевич, — слова не шли у меня. Я почувствовала, как мгновенно краснею. Сусанна поглядела на меня насмешливо. — Именно так, Рюрик Григорьевич ... ты что такая? Постарел?

Он по-прежнему не произносил ни слова, Сусанна же не закрывала рта.

— Мы женаты уже двадцать три года. Детей нет, но что поделаешь?

Она слегка вздохнула.

— Ты удивлена, да? А мы тогда же поженились, совсем скоро после нашей поездки, помнишь? — И снова быстрый насмешливый взгляд. У тебя ведь тоже нет детей... и мужа, так?

Она ждала подтверждения своим догадкам. Бабское желание похвастаться мужиком перед бывшей соперницей, так и не вышедшей замуж. Вот он, реванш. Сусанна облизнула яркие губы, рассмеялась:

— Зарделась, словно девка красная.

— А сын? У вас же есть сын? — я смотрела на него, только на него. Но ответила Сусанна:

— Сын? Так он от первой жены, Алешка. Взрослый уже, художник — она показала куда-то в толпу, он нас и привел.

Разговор был исчерпан, можно было поворачиваться и уходить. Сусанна похвасталась передо мной своим семейным счастьем. Конечно же, она знает о поздравительных открытках, возможно, читает их, ей захотелось поставить все точки над і. Она — победительница, все стало на свои места, как изначально намечалось судьбой. Он — ее, и правильно, что я его не узнала, и вид у него... вид у него... Я уже уходила, но так захотелось оглянуться, чтобы посмотреть еще раз. Он все так же стоял у стены.

Сусанны рядом не было. Минуту я стояла в нерешительности. Оратор тем временем закончил свое выступление, звучали аплодисменты... В сознании всплыла фраза: "Да возродится российская державность". Я быстро повернулась и остановилась перед Рюриком.

— Послушайте, я хотела вас спросить: вы — с ними?

Кругом кричали и аплодировали. Откуда-то вынырнула Сусанна:

— Рюрик, пойдем послушаем, сейчас Алеша будет выступать.

Я ждала. Ждала и Сусанна, в нетерпении покусывая губы.

Все последующее происходило, как в немом кино, в убыстренном темпе. Рюрик отделился от стены, отстранил Сусанну и, схватив меня за руку, повлек за собой. Люди с недоумением смотрели на нас. Оглянувшись, я увидела бешеное лицо Сусанны. Её открытый рот, что-то кричащий нам вслед.

По коридору из расступавшихся людей мы добежали до выхода. На крыльце у дверей остановились. Я задыхалась, он тоже дышал тяжело. После минутной паузы, наш бег продолжился - по аллее мимо милиционера и гудящей в ожидании толпы, по широкой теперь пустой магистрали, усеянной обрывками бумаги, мимо славного Кремля и дома Пашкова, вперед, все вперед.

Не знаю, как я выдержала этот бег. Остановились в начале улицы Горького.

— Помнишь? — он сказал мне ты, хотя раньше мы были на "вы". — Помнишь — мы гуляли здесь когда-то. Он сжал мне руку:

— Я ничего не забыл. На тебе была белая шапочка с помпоном, очень тебе шла.

Быстро взглянул на меня, сказал, как бы спохватившись:

— Ты мало изменилась, ты еще молода... — он не закончил, оборвал себя.

— Спросишь, почему я не отвечал на твои открытки?

Он хотел что-то сказать. Я зажала ему рот, сама удивляясь своей смелости:

— Не нужно, я ведь ни о чем не спрашиваю.

Мне было хорошо и без его оправданий. Впереди была Пушкинская. Мимо о воем пронеслось несколько милицейских машин.

Мы оба вздрогнули, огляделись. Площадь перед Моссоветом была усеяна людьми, рядом с памятником Долгорукому возвышалась трибуна, с нее несло усиленное мегафоном: "До каких пор", «святая месть», "призвать к ответу". Площадь гудела, молодые люди неподалеку смеялись и передразнивали выступавшего, на них грозно шикнул мужчина в форме.

Мы с Рюриком одновременно ускорили шаг. Я заметила над статуей Долгорукова парящий в воздухе белый плакат «СОГРАЖДАНЕ, ПРИСЯГАЙТЕ РЮРИКОВИЧУ!». Рюрик перехватил мой взгляд.

— Ты спрашиваешь, с кем я. С этими ли? Здесь сложно. Ты, наверное, прочла мою статью... Это тактика, мне было нужно ее написать. У нас в институте засели негодяи, они ищут повода, я уже давно на подозрении... — он снова оборвал себя. — Это ужасно, Амалия, все эти годы... все эти годы я изменял сам себе.

Мегафонный голос грохотал уже где-то позади. Мы были у Маяковки. Рюрик подавленно молчал.

Я сказала: "Рю-рик, Рю-рик", сначала негромко, потом так, чтобы он слышал. — Послушай, может ты и есть тот самый Рюрикович, а?

Я смеялась. Я впервые в его присутствии назвала его по имени и сказала "ты". Он не заметил, спросил серьезно:

— Какой Рюрикович?

— Ну тот, самозванец, может, он сейчас вовсе не на польской границе, а идет по главной московской улице, а?

Он тоже рассмеялся:

— Согласен, это я и есть, но при условии: ты будешь моя Марина.

Мы оба остановились, он снял очки и смотрел мне в глаза. У меня закружилась голова, я покачнулась и упала бы, если бы он не поддержал. Мы пошли дальше, его рука лежала у меня на талии. Она меня и поддерживала, и смущала. Я осторожно сняла его руку.

— Как ты думаешь, что делали испанские евреи, которые не захотели уехать?

Он снова полубоялся меня, сказал строго:

— Не дергайся, ты ведь на ногах не стоишь.

И после паузы:

— Что они делали? А что они могли делать? Выкрестились, поменяли имена, чтити короля и королеву, исполняли обряды новой веры, — он остановился, — и втайне молились своему богу. — Он поглядел на меня, — и посему были на подозрении как враги государства и религии, ясно?

— А если б не молились своему богу, не были бы на подозрении?

— Были, конечно, были бы. Тебе нужно уехать. Но не сейчас. Еще не скоро, еще есть время. И опять с жутким гудением пронеслись мимо нас патрульные машины. Мне кажется, в тот момент мы оба подумали, что оставшееся время — наше.

Пятница

Час или два ночи. Я не сплю. Последовательно вспоминаю, как все было. Мы долго гуляли. Дошли до Белорусского, потом повернули назад, снова оказались у площади Маяковского. Всю дорогу говорили, выплеснули друг в друга все что накопело за годы. Рюрик о кафедре, я — о школе, о не дающей надежды жизни, о пустяках, ставших проблемой, о путаном прошлом и неразгаданном будущем. Я привыкала к новому его виду, он казался ниже ростом, плотнее, очки ему шли, но из-за них не было видно глаз. В низком мужском голосе я пыталась уловить прежние мальчишеские интонации и, о чудо, они были, были.

Его рука крепко держала меня за талию, не давая упасть; на меня нашло легкое бесшабашное настроение, я много смеялась, забыла о простом своем платье, сама казалась себе молоденькой девчонкой, и он, было видно, не понимает, что я давно уже не студентка.

Он продолжал во мне видеть ту прежнюю Амалию. Поехал меня проводить и, когда возле двери нужно было проститься, у него сделалось такое беспомощное лицо, что я сама пригнула его голову и поцеловала. И он ушел. Завтра после заседания кафедры он придет ко мне и мы проведем вместе целый день. День наполненный до краев. Мне так хотелось узнать, как он жил без меня, час за часом. Но мне не нужна была его исповедь, повесть его семейной жизни. Есть вещи, которые невозможно объяснить словами, например, женитьбу на Сусанне. Я знала: в его прошлом был только он — Рюрик, Рюрик. ОН и Я.

Когда я, открыв ключом дверь, входила в темную квартиру, раздался звонок. Я отпрянула. Опять эти? Включила свет, прошлась по комнате, успокаивая дыхание. Потом все же подошла к вздрагивающему телефону. Звонила Кира:

— Амалия, случилось ужасное, Боря в больнице. Там была потасовка, возле посольства. Черная сотня прямо с митинга двинулась бить виноватых, ну а виноваты у нас сами знаете кто. — Она не плакала, только голос дрожал. — Вас не было, я звону уже час. Если хотите, переезжайте ко мне. Вместе не так страшно. Какие-то темные времена, вон и Галич этот на границе... Вы слышите? Возможно, это правда, во всяком случае, о нем говорят уже в полный голос. Так переедете? Вы бы с Леничкой мне помогли, пока я буду в больницу ездить... Вы слышите, Амалия? Почему вы молчите?

— Я слышу, слышу, — я сама не узнавала своего голоса, он звучал не ко времени звонко, — но переехать к вам не смогу, не смогу, потому что... видите, я... я хочу сказать, что в данный момент...

— Что с вами, Амалия, вы, случаем, не пьяны? Или влюбились? Я обрадованно кивнула телефонной трубке:

— О, это так, наверное, вы правы, Кира, я, кажется, влюбилась.

Трубка ошарашенно молчала, и я положила ее на рычаг. А потом начала смеяться, неудержимо. Вот дуреха — влюбилась. Второй раз в жизни, да еще в того же самого — смех, да и только. Жаль, что нет его сейчас со мной. Нет, нет, это как раз хорошо. Стану думать о нем и не будет ни скучно, ни страшно, ни одиноко. Снова звонил телефон. Уже без колебаний я сняла трубку.

— Кира, вы?

В трубке молчали. Где-то в глубине телефонного пространства звучала громкая лающая музыка. Что-то булькало. Я внимательно вслушивалась в звуки, стараясь уловить человеческое дыхание.

— Коля, это ты? Ты? Ты молчишь, да? Ты звонишь для чего, Коля?

Трубка молчала. Я повеселела.

— Ты звонишь, чтобы извиниться, да, Коля? Ты просишь прощения, так?

Ни одного звука с той стороны. У меня отлегло от сердца.

— Спасибо, что позвонил. Сегодня для меня радостный день, но без твоего звонка, Коля, на душе осталась бы горечь. Ты правильно сделал, мальчик, что позвонил.

Я снова прислушалась. Показалось, что я слышу чей-то вздох или шепот. Потом начались гудки. Коля или не Коля? Я снова рассмеялась. Меня прямо преследуют фантомы. Быстро постелила постель, легла и погрузилась в воспоминания. Но довольно быстро — часа в два — заснула. И спала без сновидений до самого утра.

А утром... В пятницу утром...

Меня разбудило солнце. Просыпаться на рассвете, потому что радость души. Неужели мне суждено пережить все вновь? Я вскочила — предстояло много дел. Нужно съездить на рынок, обегать все окрестные магазины, потом приготовить вкусную еду — какую — я еще сама не знала. Но спешить не хотелось. Медленно подошла к зеркалу, стала глядеться, отвернулась, посмотрела вновь. Какой он меня видит? Все же, наверное, не такой, какой я вижу себя сама - морщинки у глаз, желтоватая отцветающая кожа, слава богу, волосы еще не седые и зубы от природы хорошие.

Да, далеко не студентка-первокурсница. Но и не старуха. В троллейбусе обращаются "девушка", впрочем, сейчас все девушки, даже девяностолетние. А что надеть? У меня два наряда на выход — костюм и черное шелковое платье. Платье — мамин подарок — я еще ни разу не надевала, некуда было в нем идти.

Я приложила краешек к лицу, взглянула в зеркало — похожа на цыганку. Чудесно, что у меня есть красивое новое платье, еще чудесней, что мне захотелось его надеть. Май соул'з соу хэппи, зэт ай кант сит даун.

Я рассказывала по квартире и напевала негритянский спиричуэлз. Когда-то преподавательница кружка художественного чтения Людмила Михайловна помогала мне найти интонацию для заключительной строфы "Даров Терека". Радость — да, но какая. Такая, что сердце рвется из груди, что невозможно усидеть на месте. Тогда-то она и пропела мне этот спиричуэлз. Я не поняла смысла. Она объяснила. Господь приказывает негру: "Садись, раб!", а тот отвечает: "Не могу!". Три раза просит господь, но негр не садится. Он говорит: "Моя душа так счастлива, что я не могу сесть". Мне тогда этот спиричуэлз очень помог, читала Лермонтова так, что зал замер. И вот сейчас вспомнилось. Низкий, веселый голос Людмилы Михайловны ее озорная улыбка. Май соул'з соу хэппи, зэт ай кант сит даун.

Недавно совсем я о ней вспоминала, что умерла — и все, и память уйдет, но ведь я своим ученикам этот спиричуэлз передала. И Коле передала, и Марине, я Оксане, и в школе скольким... В этих словах, в музыке живет частичка Людмилы Михайловны и моя частичка тоже живет, и так до бесконечности, до конца поколений. Май соул'з соу хэппи...

К двенадцати часам я уже побывала на базаре и в магазинах. Я накормлю его скромно, но вкусно. С детства я умею готовить одно мясное блюдо — бефстроганов, кусочки мяса в сметанном соусе — еще бабушка научила, вот оно-то сейчас кипело и булькало на большой сковородке в кухне. На десерт — клубника — по невероятной цене, но зато какая! К чаю ничего не достала, заглянула по старой памяти во все местечки, где когда-то водилось вкусное, но всюду было пусто и даже запахи вкусные выветрились. Обидно, что съедены Колины конфеты, пригодись бы сейчас.

Купила даже шампанское, на всякий случай. В час бефстроганов был готов, гарниром будет жареная картошка с огурцом. Долго искала трофейный немецкий сервиз с драконами, почему-то нашла его в платяном шкафу, кто его туда запрятал? Мама? Старческий склероз? Вынула четыре изящных фарфоровых тарелочки — две поменьше, две побольше. На белой скатерти они смотрелись замечательно. Не хватает цветов, но ... интересно, когда у них кончается кафедра? День жаркий, добираться будет тяжело, ага, шампанское нужно поставить в холодильник. Может, сбежать купить мороженого? Нет, поздно уже, не успею. А вот странно.

Почему у меня нет даже мысли, что он не придет. Ну, в самом деле, зачем ему это нужно? Провести время? Но... но я не из тех, с кем проводят время, он это понимает. К тому же жена... Сусанна наверняка устроила ему сцену, взяла клятву... следит за каждым шагом. Она из тех, кто не упустит своего... Своего... Разве он ее? Он не ее. И не мой. Он свободен. Но я знаю, верю, что нужна ему я, только я.

Он пришел в четыре часа. Нервный, уставший, без цветов. На кафедре склака, варяго-россы ополчились на европейцев. Те в меньшинстве, короче, он подал заявление. Он говорил отрывисто, нервно, не глядя на меня. На последних словах снял очки, посмотрел.

Я спросила:

— Ты бы ушел, если бы мы не встретились?

— Ушел бы рано или поздно, но наша встреча мне помогла... Знаешь, это невозможно выдержать. Сегодня главной их мишенью был профессор Купер, фольклорист; видите ли, он не способен понять характер русского народа, а, соответственно, и народного творчества. Купер собрал сборник народных песен, его сегодня зарубили, идет настоящая травля, я не могу в этом участвовать.

Он ходил по комнате то снимая, то надевая очки.

— В конце концов плохо будет им, и в дураках останутся именно они. Купер уедет и увезет свой сборник, его опубликуют за границей, а в нем баллады, романы... Где он только их откопал, счастливчик? И все это уйдет из страны, представляешь?

Я представляла. История повторялась. Чужая культура становится твоей, ты живешь ею, она вращается в твою жизнь, вернее твоя жизнь в нее вращается, но приходит время — и тебя как чужака выкидывают вон, эта культура наша, а не твоя, и эта страна наша, а не твоя, и вообще мы истинные, а ты самозванец. Так было в Испании, так сейчас у нас.

— Знаешь, ты говоришь, что плохо будет им и они останутся в дураках. Согласна. Но подумай, каково будет ему.

— Ха, уверяю тебя, он великолепно устроится, его примут в любом университете, специалиста такого класса... Но... но ты имеешь в виду другое. Ты ведь и о себе думаешь, я угадал?

Я отвернулась. Мы молчали. А потом я встала и вынула из холодильника шампанское.

— Теперь мы оба безработные, это стоит отметить.

Пробка вылетела так стремительно, что я не успела увернуться. Все мое красивое платье было в шампанском.

У Рюрика, неумело открывшего шампанское, сделалось такое лицо, что я погладила его по голове:

— Ничего, пустяки. А правда, оно красивое?

— Платье — чудо. Ты в нем как испанская королева. Пришлось переодеться в домашнее синее - костюм слишком надоел. Когда я появилась в синем полотняном платье, Рюрик всплеснул руками:

— А в этом — ты дочь испанской королевы — инфанта.

Видно, он уже забыл, что видел меня в этом наряде, да и платье было самое простое, из дешевого мягкого полотна, но он не забыл другого, и сердце у меня стукнулось и затрепетало.

Я принесла из кухни дымящийся бефстроганов - плод моих кулинарных усилий, поставила перед ним, мясо пахло весьма аппетитно. Рюрик отодвинул тарелку и потянулся к вазочке с курагой:

— Прости, я тебя не предупредил, уже лет десять как не ем мяса.

И опять я не огорчилась, наоборот, было приятно, что и в этом мы похожи. Съели курагу, принялись за клубнику, выпили бутылку шампанского. Я забыла, когда в последний раз пила вино. Шампанское подействовало на меня как наркотик, я впала в состояние удивительной легкости и безудержного веселья, хотелось двигаться, петь, смеяться.

Я закружилась по комнате, потянув за собой Рюрика.

— Как? Без музыки?

— Почему без музыки?

Я взяла первую попавшуюся пластинку, поставила под иглу. Мужественный и нежный мужской голос запел "Упоительно встать в ранний час". Мы замерли, танцевать под этот романс было бы кощунством. Голос певца набирал силу, наполняя страстью, желанием, и вот наконец зазвучала самая важная кульминационная строка:

Я люблю тебя, панна моя!

Рюрик подошел ко мне близко-близко; взял обеими руками за плечи и с силой притянул к себе:

— Я люблю тебя, панна моя, слышишь? Будешь моей Мариной?

Я отшатнулась. Видимо, на моем лице отразился испуг, потому что и его изменило выражение, глаза за стеклами очков глядели надменно. Что, собственно, произошло? Я села. Возбуждение постепенно проходило. Сказала, чтобы не длить молчание:

— Помнишь нашу четверку в экспедиции? Как они танцевали, а баба Галя на них радовалась.

— Да, но дальнейшее складывалось у них не столь прекрасно. Сева был аспирантом у нас на кафедре, светлая голова, погиб от алкоголизма, спился, короче, а Алексей, или Лека, как мы его звали, бросит семью — жену с дочкой — и женится вторично, знаешь, на ком? На Севкиной вдове, там тоже был ребенок. Шекспир да и только.

А я подумала: от судьбы не уйдешь.

Молчание становилось невыносимым. Рюрик стоял у окна, спиной ко мне, я сидела за столом, перебирая бахрому скатерти. Что, собственно, случилось? Чего он ждал от меня? Неужели он думает, что я... что он... что ... все было так чудесно... и вдруг...

Тишину прервал телефон. Звонила Кира. Сказала, что они с Джейн возле моего дома. Джейн хочет зайти проститься, она завтра улетает к себе. Мне ничего не оставалось, как согласиться.

Рюрик отошел от окна, лицо его было замкнуто. Неужели он уйдет сейчас? — Не уходи, они быстро. Мы должны поговорить, — голос звучал жалобно.

Они пришли очень быстро. Обе какие-то усталые, невеселые и голодные, мой бефстроганов съели в две минуты, долго пили чай с сахаром — Кира показывала Джейн, как пьют в прикуску, — отдыхали. Еще в прихожей обе поняли, что у меня гость. Джейн стала прихорашиваться, а Кира, поглядев на себя в зеркало, махнула рукой.

Действительно она сильно изменилась — побледнела, лицо оснулось. Я спросила, как Боря. Она не ответила. Сказала только: "Если уж начались несчастья, то... Ты знаешь, Юрка в больнице. В той же, в Склифасовского, этажом ниже. Рая сейчас у него. Такое горе у них, такое..."

— Коля? — меня словно ударило.

— Да нет, не Коля. Коля как раз вернулся сегодня днем. Но не один. Привел с собой какую-то девчонку, Рая ее девкой называет, говорит, с синими волосами. Юра, к несчастью, был дома. Начался скандал. Юра пригрозил, что вызовет милицию и те девчонку уведут. Коля бросился на него, они сцепились. Рая не могла их разнять, стала звать соседей, Джейн была в соседней комнате, представляешь, какой ужас! В общем Коля ударил его ножом.

— Коля? Ножом?

— Ну да, чем-то железным, Рая не может толком объяснить. Когда я пришла, у них с Джейн была прямо истерика.

— А Коля?

— Его увели. Он в милиции. Девчонка сразу испарилась, как и вовсе не было. Джейн я взяла к себе. Шекспир, правда?

Кира подняла на меня глаза, в них читалось: все кончено, никуда нам отсюда не уехать.

— А Леничка с кем?

— Леничка? — Она ответила не сразу. — А Леничка с Софой. Как раз совпало, что Софа нагрязнула. Ее-таки выгоняют. Сразу после того расширенного педсовета Розенблом собрал административное совещание. И там, как Софа говорит, заявил, что гуманизм — это не всепрощение, что клеветникам и интриганам не должно обольщаться, ну и потом вызвал к себе Софу... насчет заявления...

— А Виталик?

— О, Виталий вывернулся. Он принародно покаялся, молил о прощении, и Розенблом его оставил. Софа считает, что это крупная ошибка директора, теперь

Виталик — его злейший враг, он будет ждать своего часа и когда-нибудь... Кира не договорила, к нам подошла улыбающаяся Джейн. Поразительная способность преображаться. Еще пять минут назад она была поникшей и вялой. Джейн протягивала мне какую-то фигурку из крашеного дерева — всадник с перьями на голове, держащий в руке лук.

По-видимому, индеец. Она начала что-то быстро объяснять насчет своего подарка, но мы вошли в комнату, и навстречу шел Рюрик. Я всех представила. Рюрик поцеловал дамочки ручки. Я постаралась взглянуть на него их глазами. Представительный седой мужчина в белой рубашке с черным галстуком, в модных чуть затененных очках, крепкий, в хорошей форме. Когда-то мне показалось, что ему идет борода, сейчас бороды не было и трудно было ее представить, к теперешнему его облику она не шла.

А вообще я люблю мужчин с бородой, может, это во мне кровь говорит... еврейские мужчины по обычаю бородаты, впрочем, как и русские. Очнулась я от своих мыслей от взрыва смеха. Глазам не поверила. Кира и Джейн смеялись! Рюрик что-то им рассказывал, причем Джейн — на прекрасном английском, а Кире он успевал переводить на русский. Смеялись они одновременно. С ума сойти — какой он разный; значит, может быть и таким — раскованным, остроумным, дамским угодником. И все это мое? Будет моим если...

Ушли они как-то внезапно. Кира вдруг заторопилась, поднялась, побежала к телефону. Выяснилось, что Софа не справляется — ребенок капризничает, зовет маму, отказывается спать, кушать и даже играть.

— А Рая, Рая не звонила? Я отчетливо слышала глухой Софин голос на другом конце провода, в Кириной квартирке.

— Звонила твоя Рая. Оба в хорошем состоянии, повреждения легкие, больше недели держать не будут. Слышишь? Не будут держать больше недели, скоро твой Борька вернется. А ты сию минуту возвращайся, слышишь? Уж на что моя Ленка, но тут... Я уже изнемогаю! Последнее слово Софа произнесла по слогам. И Кира тут же начала прощаться. Джейн явно не хотелось уходить, но тоже поднялась. Пока Кира звонила, Рюрик перешел на американский сленг, Джейн беспрерывно хохотала. Я слабо понимала, о чем идет речь: что-то о нескольких способах покорить сердце женщины и мужчины; в голове вертелось: нужно поговорить, нужно поговорить. Рюрик проводил дам до прихожей, снова поцеловал им ручки; обе, по-видимому, были им очарованы.

В коридоре Джейн отозвала меня в сторону, быстро и эмоционально зашептала, что понимает, в каком мы здесь положении, что сочувствует и готова помочь. Кира ей рассказывала, что у моих родных были родственники в Америке, она могла бы отыскать их потомков, хоть это и трудно.

Я ее прервала.

— Спасибо, Джейн, не стоит хлопотать. С родственниками связь давно прервана, а от судьбы своей не уйдешь.

Джейн понимающе улыбнулась, глазами показала внутрь комнаты:

— Хи?

Я кивнула.

— О! Ю а хэппи! — и она выбежала к ожидающей ее на площадке Кире.

В то же время Кира жестами и мимикой пыталась мне показать, как нехорошо было с моей стороны прятать такого мужчину, но что она, Кира, все знала,

обо всем догадывалась, ее не проведешь. Последнее, что я видела, закрывая дверь, — поднятый вверх Кирия палец.

— Ты хочешь, да?

— Хочу.

— Но... но я не умею...

— Я тебя научу.

— Но мне неловко, стыдно... я гордая очень.

— Я разведу, мы поженимся.

— Я не о том. Ты считаешь, это обязательно?

— Я уже не мальчик, да и ты...

— Помнишь, мы говорили о Лермонтове, как он стремительно созрел. Так вот я — анти-Лермонтов. Мне сейчас лет пятнадцать, не больше. Ты смеешься?

— Пора начинать. В пятнадцать уже можно. У меня есть предложение. Завтра суббота — поедем ко мне на дачу. Поездка тебе кое-что напомнит.

— Что ты имеешь в виду?

— Помнишь Ивановку? Большая такая деревня, вокруг холмы и овраги... Я там купил дом. Года через три после нашего вояжа. Ну так как? Только нужно встать пораньше, к восьми быть на автобусной станции, иначе не достанем билетов. Согласна?

— Но... но у меня были планы... я хотела поехать к маме.

— Так поедешь в понедельник. Какая разница? Ты же свободна. А два дня мы проведем вместе. Я хочу быть с тобой вместе, слышишь? У меня голова кружится, когда подумаю... Потеряно столько времени, Жизнь уходит. Уходит жизнь. Какая у тебя чистая упругая кожа.

— Не нужно, не трогай. Я подумаю. Я точно пока не знаю. В понедельник, говоришь. А действительно, почему нет? Мама только в среду уехала. Среда, четверг, пятница... Всего пять дней без меня. Всего-то пять дней. Знаешь, я, наверное, поеду с тобой. Только ты... ты не сразу... я должна привыкнуть, мне это так тяжело, так стыдно, ты не представляешь... Ты только ко мне сейчас не прикасайся. Отойди. Вот так. Так Мариной, говоришь? А ты, стало быть, самозванец. Не слишком привлекательно. Мы плохо кончим. Мы оба плохо кончим.

— Замолчи. Все будет чудесно. Я люблю тебя. Хватит жить чужую жизнь. Надоело участвовать в балагане. Больше я тебя не отпущу.

— Пусти. Я еще не привыкла. Пусти, слышишь? Значит, завтра в восемь. У какого метро?

— У Щелковского. Не опаздывай. Давай я позвоню тебе в половине седьмого.

— Не нужно, я встану. Кстати, что ты скажешь Сусанне?

— Не важно. Она уехала к матери. Так что... Ты не хочешь, чтобы я остался?

— Нет, уходи. Поздно уже. И я устала.

— Так я пошел? Почему ты грустная? Я не хочу тебя оставлять такой. Улыбнись... или скажи что-нибудь...

— О, пожалуйста. А ю хэппи?

— Уе, оф кос... энд ю?

— Я? Послушай, почему ты не уходишь? Так и будешь стоять в дверях? Соседей разбудим. Иди. Я приду завтра, приду.

Суббота

Черное, бесформенное, громоздкое. Вот-вот перевернется от большой волны. А если и не от волны, все равно погибнет. По берегу скачет всадник, гнется к седлу, прицеливается из лука. От волны или от стрелы? От стрелы или от волны? А что это такое — черное, громоздкое, бесформенное? Где-то я про это слышала или читала... Еще такое странное название, не вспоминается. А, ну конечно, пироскаф. Это Пироскаф. Стихотворение Баратынского. Всю жизнь был разочарован. А перед смертью написал: "Завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной". Путешествовал по Италии на пароходе. Почему не пароход, а Пироскаф? Чтобы было понятно: это о судьбе. И заклинает свою судьбу: "Вижу Фетиду, мне жребий благой емлет она из лазоревой урны".

Увидел благой жребий... А судьба не поддалась. Может, даже не слышала его заклинаний. Я сплю или нет? Уже нет, кажется. Интересно, сколько сейчас времени? Светлеет. Раннее утро, должно быть. Часов около шести. Ночь прошла. Сегодня для меня начинается новая жизнь.

Чего я боюсь? Прозы? Разочарования? Почему в голову лезут то пироскаф, то этот всадник? А какую славную фигурку Джейн подарила! Я еще не рассмотрела ее как следует. С луком, а лицо, кажется, не злое. Или злое? Надо рассмотреть. Сейчас нужно встать, чтобы собраться. Я ведь еще не решила, что о собой взять. Зубную щетку, крем, туфли, полотенце, халат... А, даже думать не хочется.

Покидаю что-нибудь, не в этом дело. А дело в том, что начинается новая жизнь. Ой, звонок, кажется. Кто бы в такую рань? Слушаю. Ты? Сейчас уже половина седьмого? Нет? Шесть часов? Я так и думала. Нет, я спала. Со сновидениями. Но не теми, о которых ты думаешь. Мне снились буря на море и всадник со стрелой. К чему бы это, а? Какой вопрос? И ты из-за этого не спал? Глупый. Конечно, счастлива. Я счастлива. Завтра увижу я башни Ливурны. Это так, вспомнилось. Нет, как договорились. Не передумала. А ты? Хорошо. До встречи.

Я счастлива? Почему в душе все время что-то зудит, мешает, словно заноза. Быстрей собираться, думать только о сборах, иначе все пропало. Зубная щетка, туфли, халат... Халат, туфли, зубная щетка. Вчера Кира и Джейн были от него в восторге. Редкое сейчас качество — развлекать дам. Вести занимательную беседу. Как покорить женщин и как мужчин. А как, собственно? Неужели это известно? Насколько я знаю, путь мужчины к сердцу женщины был неизвестен даже Соломону.

Путь орла в небе, змеи на скале, мужчины к сердцу... Где же мои туфли? Так я и за два часа не соберусь, а у меня только час. В семь нужно выйти. Туфли, туфли, туфли. Туфли, зубная щетка. А, аллах с ними, с туфлями. Ничего не возьму. Поеду как есть.

Интересно, Кире звонить рано еще? Спит ведь. Будить не хочется. Уехать не предупредив? Нет, так нельзя. А вдруг что-нибудь случится? И никто ничего знать не будет, где я, с кем. Сказать ей правду? А как иначе? Уезжаю на дачу к подружке? К какой? Это смешно и глупо. Скажу как есть.

Что делать — придется будить. Двести девять, пятьдесят один, девяносто шесть. Кира? Это я, Амалия. Извините за ранний звонок, но... Не спала? Что такое? Коля? Вскрыл себе вены? Слушайте, когда это кончится? Он жив? Слава богу. Да, Рая, Рая. Но главное, что оба живы. Это главное. Передайте ей от меня... ну да. Что? Собираетесь на аэродром?

Бедняжка Джейн! Наши трагедии разворачиваются у нее на глазах. Да, очень впечатлительная. Привет ей от меня и спасибо за подарок. Чудесный. У этого стрелка такое доброе лицо, такое милое. Да, да, спешите.

Трубку повесила. Перезвонить? А, какая уже разница, ей не до меня. Своих бед, да еще этот Коля. Бедный мальчик. Вскрыл вены. Значит, есть еще совесть. Значит, не зверь, человек. Поднять руку на отца... как не вяжется с Колей. У него лицо такое. Очень похож на Сергея. Была у меня в соседней школе подруга, как-то пришла к нам на вечер. Спросила, есть у тебя парень? Я так растерялась, что кивнула. А она: покажи. А он сидел далеко сзади. И я повернулась и давай вслух считать ряды до его ряда. Говорю ей: вон тот, через пять рядов. Все смотрят, шепчутся. Что со мной тогда случилось? Всегда такая скромная. Мы с Сергеем в то время да и потом двух слов не сказали. Только однажды я пришла в их класс, когда в нем никого не было, и села за его парту, а там на крышке ножичком было вырезано: Амалия. А потом он погиб. По случайности. Его сбил автобус. Автобус. Автобус. Чтобы успеть на автобус, я должна выйти через десять минут, даже раньше. Пока до метро доберусь...

Ну ладно. С собой беру только косметичку и зубную щетку. Прекрасно. Посидеть перед дорожкой. Все-таки новая жизнь... Ключи у меня? Так, кошелек. Прекрасно. С богом. Что-то я еще хотела, что-то еще. Какая-то мысль... что-то неперемное неперемное. Сервиз трофейный забыла убрать, так и останется на столе до моего приезда. Мама бы мне выдала. Мама! Вот что. Я о маме должна была подумать. Как это я о ней забыла? Начисто. Как ты там? Третий день без меня. Мама, тебе плохо? Ты меня зовешь, мама? Ты ждешь, что приеду? Я ведь обещала в субботу. Ты будешь ждать сегодня весь день. Начнешь волноваться. Не дай бог, повысится давление, сердце заболит. Фу, какой ужас.

Что со мной? Как я могла про тебя забыть? Наваждение какое-то. Ты ждешь меня, мама? Ты соскучилась? И я тоже. Я еду. Я уже еду к тебе, мама. Мне, кроме тебя, никто не нужен. Будем жить вместе, как жили. Только не болей, только не болей. Я еду, еду мама. А Рюрик? Как же он?

А очень просто. Вернется домой, позовет Сусанну. Как я могла подумать, что займу ее место? Глупости. Быть того не может.

У меня другая судьба. Рю-рик, Рю-рик, ты всегда со мной, слышишь?

Ты огорчен? Ты меня ругаешь? Не нужно. Ты скоро поймешь, что я права. Может, мы с тобой еще встретимся когда-нибудь...

Когда вернется мама. Мама вернется...



Ян Пробштейн

ИСПЫТАНИЕ ЗНАКА

Переводы из Чарльза Бернстина

Возможно, Чарльз Бернстин* (р. 1950) — один из самых читаемых и популярных современных американских поэтов. Он автор более сорока книг, в том числе двадцати поэтических, включая «Весь виски в раю» (*All the Whiskey in Heaven*), опубликованную в 2010 году престижным издательством «Фаррар, Страус и Жиру», первым «неакадемическим» издательством, 3 сборников эссе.

Все остальные выходили либо в университетских, либо в небольших независимых издательствах: «Трудное ремесло» (*Rough Trades*, Sun & Moon, 1991) «Помоему: стихи и реч» (*My Way Speeches and Poems*, Chicago University Press, 1999), «Со струнными» (*With Strings*, Chicago, 2001), «Республики реальности: стихи 1975-1995» (*Republics of Reality: Poems 1975-1995*, Sun & Moon, 2000), нечто вроде избранного за двадцать лет, «Жену муж» (*Girly Man*, Chicago University Press, 2006), недавно вышедшая «Атака сложных стихов», с подзаголовком «Книга эссе и изобретений» (*Attack of the Difficult Poems. A Book of Essays and Inventions*. Chicago University Press, 2011), а только что вышедший сборник стихов «Перерекогносцировка» (*Recalculating*, Chicago University Press, 2013) показал Чарльза Бернстина еще с одной стороны — как переводчика со многих языков — от Бодлера до Хлебникова и Мандельштама.

Бернстин — один из основателей направления «языковой поэзии» («языковая школа»), теоретик, эссеист и один из самых ярких ее представителей; с 1978-го по 1981-й год совместно с Брюсом Эндрюсом он редактировал журнал «Я=З=Ы=К» («L=A=N=G=U=A=G=E»), а сейчас ведет радиопередачу «Внимательное слушание: поэзия и звучащее слово» (так называлась книга, которую недавно он составил и отредактировал), а также является главным редактором Электронного поэтического центра и соредактором «Пенсаунд» — аудиотеки Пенсильванского университета, где он является заслуженным профессором имени Ригана, хотя продолжает постоянно жить в Нью-Йорке. Усилиями Бернстина и его единомышленников поэзия в Америке восстановила свое исконное право — на декламацию, произнесение вслух и таким образом вернулась к одному из своих истоков — звуку как таковому.

Американская языковая школа, делающая основной упор на форме, а не на содержании, как поэты неоднократно заявляли в своем журнале, основывается на идеях ОПОЯЗа и русской формальной школы, в частности на принципе «остранения», связывая его с «очуждением» Брехта и «обновлением» Паунда («make it new»). Чарльз Бернстин обожаем Велемира Хлебникова (хотя и не читает по-русски) и собрал все книги переводов русского поэта на английский (а их немало). Бернстин увлеченно беседует о Маяковском, Крученых и признает, что не только поэты, но и русские художники, такие как Малевич, Татлин, Попова, Н. Гончарова, Родченко оказали на него огромное влияние. К слову сказать, жена Чарльза, художница Сьюзан Би, не только разделяет его взгляды и увлечения, но и совместно с ним занимается визуальной поэзией, оформляет его книги.

Несмотря на то что он отмечен многими престижными премиями и званиями, такими как премия Национального Фонда искусств, фонда Гугенхайма и другие, а также избран в члены Академии Искусств и Наук США и в Академию поэзии, Бернстин далек от самовлюбленности и самоуспокоенности: в «запруженном толпами свете» политической и повседневной жизни он стремится отыскать истинные, а не рыночные ценности. Языковая поэзия ищет истину, восстанавливая корни и значения слов, даже сдвигая или деформируя их смысл совершенно в духе Хлебникова. «Заумь» Бернстина — это поиски смысла, скрывающегося за расхожими стереотипами, так называемым здравым смыслом или за официальной политической риторикой; в чем-то такой подход сродни Оруэллу, обнажившему фальшь «нового яза», ибо язык при должном к нему внимании сам изобличает ложь «братства, равенства и свободы», будь то в устах Гитлера, Сталина или Мао, либо полуправду современной американской политики.

Бернстин показывает возможность восприятия или, скорее, невозможность восприятия, расширяя границы того, что возможно воспринять. Он раздвигает не только границы языка, двигая его к пределу возможного, но и пределы самой реальности, доводя ее до предела понимания, так как его зрение зорко различает ирреальность и абсурдность окружающей нас жизни и он доводит ее до абсурда.

Говорят, что те, кто лелеют иллюзии, рискуют их утратить, и на смену иллюзиям придет разочарование. Подобное разочарование испытали модернисты и авангардисты после Первой мировой войны. Однако Чарльз Бернстин — постмодернист, а по его последней формулировке из книги «Перерекогносцировка» (2013), «Постмодернизм: модернизм с глубоким чувством вины». С чувством вины соседствует чувство ответственности. Кроме того, у Бернстина есть противоядие против иллюзий и разочарования в них — убийственная и мужественная ирония. Его стихи столь ироничны, что некоторые даже называют его сатириком. Действительно, многие стихи Бернстина уморительны, и люди хохочут, слушая искусную игру словосмысла и звукосмысла. Однако потом — некоторые по крайней мере — погружаются в странную задумчивость и грусть, и оказывается, что они смеялись над собой. Бернстин сам «смеется сквозь невидимые миру слезы».

Не случайно Мэрджори Перлофф, едва ли не самый выдающийся американский исследователь поэзии модернизма и постмодернизма, заметила: «Чарльз Бернстин один из лучших поэтов сегодня, и, конечно, сатириков. Его поэзия представляет собой основательную и глубоко своеобразную критику современных полуправд, речевых форм и способов выражения, и делает он это столь зримо и с таким замечательным чувством юмора, что у читателя захватывает дыхание — он одновременно и смеется, и плачет, потрясенный узнаванием». Стало быть, и я предлагаю русскому читателю ознакомиться с поэзией Чарльза Бернстина и «подвергнуть знак испытанию».

ИЗ КНИГИ «По-Моему»: Речи и стихи (1999)

Эта строка

Эта строка лишена чувств.
Эта строка не более, чем
иллюстрация европейской
теории. Эта строка лишена
темы. У этой строки нет ссылок кроме
контекста этой строки. Эта строка
посвящена только самой себе.
У той строки нет смысла:
слова ее мнимы,
звуки неразличимы.
Эту строку не заботит
ни она сама, ни что-либо:
она безразлична, безлична,
непривлекательна и холодна.
Эта строка элитарна,
для понимания требует
многолетнего изучения
в отушающих библиотеках,
чтения эзотерических
трактатов по темам, которые
не выговорить.
Эта строка отрицает реальность.

Дорогой г-н Фанелли,

Я видел ваше фото
на станции метро
79-я улица. Вы сказали,
что вам будут интересны
мои замечания о состоянии
станции. Г-н Фанелли,
на станции 79-я улица
масса строительного мусора,
так что неприятно ждать
дольше нескольких минут.
Станцию можно было бы
покрасить и может
установить там новые
динамики, чтобы
понять объявления
о задержках, которые
всегда передают. Г-н
Фанелли, много народа
спит на станции 79-я улица
& мне грустно

Charles Bernstein

This Line

This line is stripped of emotion.
This line is no more than an
illustration of a European
theory. This line is bereft
of a subject. This line
has no reference apart
from its context in
this line. This line
is only about itself.
This line has no meaning:
its words are imaginary, its
sounds inaudible. This line
cares not for itself or for
anyone else — it is indifferent,
impersonal, cold, uninviting.
This line is elitist, requiring,
to understand it, years of study
in stultifying libraries, poring
over esoteric treatises on
impossible to pronounce topics.
This line refuses reality.

Dear Mr. Fanelli,

I saw your picture
in the 79th street
station. You said
you'd be interested
in any comments I
might have on the
condition of the
station. Mr. Fanelli,
there is a lot of
debris in the 79th street
station that makes it
unpleasant to wait in
for more than a few
minutes. The station
could use a paint
job and maybe
new speakers so you
could understand
the delay announcements
that are always being

от мысли, что у них
нет дома. Г-н
Фанелли, вам не кажется,
что вы могли бы найти
им более удобное место
для отдыха? Довольно
шумно в метро, особенно
когда экспрессы
проносятся мимо
каждые несколько минут,
когда ходят, конечно.
Должен заметить, г-н Фанелли,
на мой взгляд станция
79-я улица в довольно
плачевном состоянии
& по ночам иногда,
когда ворочаюсь в кровати,
думаю, что и у мира
дела идут неважно & я
гадаю, что случится,
куда направляется
наш головной вагон,
если он куда-нибудь
направляется, если
есть у нас
направление
и вообще голова.
Г-н Фанелли,
не кажется ли вам,
что если бы мы начали
с 79-й улицы & сделали,
что в наших силах,
тогда, быть может, смогли бы,
знаете, мне думается,
двинуться отсюда дальше? Г-н
Фанелли, когда я увидел
ваше фото и надпись
с просьбой о предложениях,
я подумал, что если вы
действительно хотите
докопаться до причин
неполадок, тогда,
может, я должен был
вам написать: может
вы никогда и не заходили
на станцию 79-й улицы,
потому что слишком
заняты управлением

broadcast. Mr.
Fanelli — there are
a lot of people sleeping
in the 79th street station
& it makes me sad
to think they have no
home to go to. Mr.
Fanelli, do you think
you could find a more
comfortable place for them
to rest? It's pretty noisy
in the subway, especially with
all those express trains
hurtling through every
few minutes, anyway when the
trains are in service.
I have to admit, Mr. Fanelli, I
think the 79th street station's
in pretty bad shape
& sometimes at night
as I toss in my bed
I think the world's
not doing too good
either, & I
wonder what's going
to happen, where we're
headed, if we're
headed anywhere, if
we even have heads. Mr.
Fanelli, do you think if
we could just start
with the 79th street
station & do what
we could with that
then maybe we could,
you know, I guess, move
on from there? Mr.
Fanelli, when I saw your
picture & the sign
asking for suggestions
I thought, if
you really wanted to
get to the bottom
of what's wrong then
maybe it was my job
to write you: Maybe
you've never been inside
the 79th street station

станциями на 72-й
и 66-й улицах, может
вы и не знаете о
проблемах у нас
на 79-й — я имею в виду
грязь & частые
задержки & чувство
полного убожества,
которым это место
пропитано. Г-н
Фанелли, вы дочитали
до этого места письмо
или вы получаете
так много писем
каждый день,
что у вас нет
времени уделить
каждому пристальное
внимание, на которое
оно рассчитывает? Или
я — единственный, кто
откликнулся на приглашение
снестись с вами & у вас
просто не хватает опыта
ответов на подобные письма?
Сожалею, что не смог
завладеть вашим вниманием,
г-н Фанелли, потому что
на самом деле верю, что если
вы спрашиваете о замечаниях,
тогда вы должны быть
заинтересованы в том, чтобы
отреагировать, что-то сделать — даже
если *должны* — слишком
сильное слово, которыми
не стоит бросаться
в данный момент.
Г-н Фанелли,
надеюсь вы не сочтете грубостью
если я задам вам личный вопрос.
Вы часто выходите из
своего офиса?
Вы ходите в кино
или предпочитаете
спорт — или может
тихий вечер в ресторане
по соседству? Много ли
вы читаете, г-н Фанелли?

because you're so busy
managing the 72nd street
& 66th street stations,
maybe you don't know
the problems we have
at 79th — I mean the
dirt & frequent
delays & the feeling of
total misery that
pervades the place. Mr.
Fanelli, are you reading
this far in the letter
or do you get so
many letters every day
that you don't have
time to give each
one the close attention
it desires? Or am I
the only person who's
taken up your invitation
to get in touch &
you just don't have enough
experience to know how to
respond? I'm sorry
I can't get your attention
Mr. Fanelli because I really
believe if you ask
for comments then you
ought to be willing
to act on them — even
if *ought* is too
big a word to throw
around at this point.
Mr. Fanelli
I hope you won't
think I'm rude
if I ask you a
personal question. Do
you get out of the
office much?
Do you go to the movies
or do you prefer
sports — or maybe
quiet evenings at a
local restaurant? Do
you read much, Mr. Fanelli?
I don't mean just
Gibbon and like

Я не имею в виду просто Гиббона и тому подобное, но философию — много ли книг Ханны Арендт вы прочли или предпочитаете более идеологическую перспективу? Думаю, если бы я понял ваши истоки, г-н Фанелли, я мог бы написать вам более обоснованно и убедительно. Г-н Фанелли, выбираетесь ли вы из города — я имею в виду, на север штата, где Медвежья Гора или Монтаук? То есть, вы заметили, насколько неприятен воздух на станции 79-й улицы — так что мы могли бы как-то охладить воздух или установить систему очистки там? Г-н Фанелли, как вы думаете, можем ли мы встретиться и обсудить эти вещи лично? Есть еще несколько вопросов, которые мне хотелось бы обговорить с вами, если мне представится такая возможность, но мне не хочется об этом писать. Г-н Фанелли, мне нехорошо последнее время, и мне думалось, что личная встреча с вами могла бы изменить мой настрой, строй мыслей. Может, пообедаем вместе? Или может, встретимся после работы? Подумайте об этом, г-н Фанелли.

that, but philosophy — have you read much Hannah Arendt or do you prefer a more ideological perspective? I think if I understood where you're coming from, Mr. Fanelli, I could write to you more cogently, more persuasively. Mr. Fanelli, do you get out of the city at all — I mean like up to Bear Mountain or out to Montauk? I mean do you notice how unpleasant the air is in the 79th street station — that we could use some cooling or air-filtering system down there? Mr. Fanelli, do you think it's possible we could get together and talk about these things in person? There are a few other points I'd like to go over with you if I could get the chance. Things I'd like to talk to you about but that I'd be reluctant to put down on paper. Mr. Fanelli, I haven't been feeling very good lately and I thought meeting with you face to face might change my mood, might put me into a new frame of mind. Maybe we could have lunch? Or maybe after work? Think about it, Mr. Fanelli.

Из Книги «Перерекогносцировка» (2013)

Складень

Пестую своего пестуна, страшусь своего страха, пытаю свою пытку, одеваюсь в свою одежду, плачу своим плачем, расчесываю свою расческу, чищу свою щетку, затыкаю свою затычку, утишаю свою тихость, касаюсь своего касания, ненавижу свою ненависть, люблю свою любовь, вкушаю свой вкус, даю пощечину своей пощечине, срезаю свой срез, вью свое вервие, цепляю свою цепь, освещаю свое светило, нарекаю свое рекло, удивляю свое удивление, порочу свой порок, смеюсь своим смехом, плачу своим плачем, надеюсь своей надеждой, кричу своим криком, сыплю свой песок, обделываю свои дела, делю свою долю, улавливаю свой улов, целюсь в свою цель, мне не хватает моей нехватки, лицезрю свое лицо, позорю свой позор, ловлю свою ловушку, перегибаю свой перегиб, нуждаюсь в своей нужде, желаю свое желанье, скрываю свой покров, подхожу к своему подходу, укоряю свой укор, отсрочиваю свою отсрочку, раню свою рану, горюю своим горем, слагаю слоги в Слово, шокирую свой шок, рискую собственным риском, глаголю свой глагол, делаю свое дело, болею своей болью, коплю свои накопления, закашиваю свою кошушку, чередую свой черед, теряю свои потери, складываю свой складень, держу свою узду в узде, распогожу свою погоду, запасая свои запасы, зрю свой зрак, реку свою речь, пестую свой перст, понимаю свое понятие, грешу своим грехом, свечу своим светом, отшелушиваю свою шелуху, валю свой валун, опустошаю свою пустоту, ломаю свой излом, заглатьяваю свой глоток, чешу свою чушь, временем отмеряю время, обуздываю свою необузданность, гневаюсь на свой гнев, закрашиваю свою краску, изьявляю свою волю, субсидирую свои субсидии, слой настилаваю на слой.

Charles Bernstein

Fold

I pet my pet, I fear my fear, I torment my torment, I wear my wear, I tear my tear, I comb my comb, I brush my brush, I hush my hush, I quiet my quiet, I touch my touch, I hate my hate, I love my love, I taste my taste, I slap my slap, I rip my rip, I rope my rope, I chain my chain, I sun my sun, I name my name, I surprise my surprise, I slur my slur, I laugh my laugh, I cry my cry, I hope my hope, I shout my shout, I sand my sand, I deal my deal, I share my share, I snare my snare, I aim my aim, I lack my lack, I face my face, I blame my blame, I trap my trap, I curb my curve, I need my need, I desire my desire, I cloak my cloak, I approach my approach, I reproach my reproach, I delay my delay, I hurt my hurt, I pain my pain, I word my word, I shock my shock, I risk my risk, I language my language, I act my act, I ache my ache, I stoke my stoke, I stash my stash, I turn my turn, I waste my waste, I fold my fold, I tether my tether, I weather my weather, I store my store, I eye my eye, I tongue my tongue, I finger my finger, I figure my figure, I sin my sin, I light my light, I shell my shell, I stone my stone, I void my void, I break my break, I gulp my gulp, I shit my shit, I time my time, I temper my temper, I anger my anger, I taint my taint, I will my will, I fund my fund, I ply my ply.

Порыв ветра

Из Дугласа Мессерли ^[1]

Вождление к фактам
у медленной боли
ускоряет транспортировку
к земле
трясению и громовержению
против соблазна к и от
некоего мерцания,
пока скала рокочет
ритм, чувства
выпадают в осадок,
чтоб заманить в ловушку
отчаяние.

Blown Wind

after Douglas Messerli

Slow pain's
lust of facts
quickens transport
into earth
quake and bolt against
temptation to, from
certain
flicker of
as rock rattles
rhythm, sentiments
sediment
to snare
despair

КУ (Ha) Хай ^[2]

Форма —
Это Раз
Потом Два Три

Содержание — Другое дело
Важно тоже
Нет?

*

Я иду домой
Смертельно устал
Сейчас

Сползать
Начинаю в дрему
Неуклонно дома опять

В то
Просыпаюсь что
Почти позабыл уже

*

Никто не ждет
Время подведет
Снова

Тишина
Все же
Иссушает до дна

Кость
На ветру
Торчит как гвоздь

*

Не доверять никогда
никому ведет
В никуда

Ku(na)hay

Form
Is One
Then Two Three

Content Is Another
Matter Altogether
No?

*

I Go Home
So Tired
Now

Slump
Into My
Slumber Once Again

Wake
To What
I Almost Forgot

*

No One Waits
Time Fails
Again

*

Still
The Quiet
Sucks Me Dry

A
Bone Solitary
Against the Wind

*

Trust No One
Gets You
Nowhere

Как важно быть Бобом ^[3]

Бобу Перельману ^[4]

определение

моего отвращения
к изяществу. Недоверие Боба

Бобоснованный

непостижимый номинализм.
туальная автобиографология. Боб-

люзии. Бобовы классические сек-

инкунабулы.
щедрость. Вифлсем Боба. Бобово

разумение Боба. Чрево

вещание Боба. Бобов сюрреализм
в будничной одежде. Бобова

усложненность. Бобов соцреалистический

очаровательный читатель. Сложность Боба
иногда

ты, непостоянный, но обезоруживающий, оди-
озная но
работоспособность. Бобово прямое обращение

The Importance of Being Bob

characterization.

of my aversion to
grace. Bob's distrust

Bob's considered

numinous nominalism.
tual autobiographology. Bob's

lusions. Bob's concept-

Bob's classical sec-
incunabula.
generosity. Bob's Bethlehem. Bob's

Bob's discretion. Bob's

ventriloquism. Bob's casual attire
surrealism. Bob's

being difficult. Bob's social realist

charming, reader. Bob's difficulty
sometimes

you, fickle yet disarming, odious but
resilience. Bob's direct address to

к энтропическому гомеопатическому еврейству. Бобова	entropic homeopathic Jewishness. Bob's
	Bob's talk. Bob's
беседа о Бобе. Сопротивление Боба. Тактический юмор Боба. Квемой & Мацзу. ^[5] Стратегия Боба	resistance. Bob's tactical humor. Quemoy & Matsu. Bob's strategic
Отчетливая нечитабельность. Боба	Bob's legible illegibility. Bob's
Источник стихотворения!: Отчетливая нечитабельность. Бобовы Квемой & Мацзу. ^[6] Стратегическое сопротивление Боба. Тактический юмор Боба.	Source text for poem!: Bob's legible illegibility. Bob's Quemoy & Matsu. Bob's strategic resistance. Bob's tactical humor.
беседа Боба. Бобово гомеопатическое еврейство. Бобова	Bob's talk. Bob's homeopathic Jewishness. Bob's
энтропическая	entropic
работоспособность. Прямое обращение Боба к тебе, непостоянный, но обезоруживающий, одиозный, но иногда	resilience. Bob's direct address to you, fickle yet disarming, odious but sometimes
очаровательный читатель. Трудность Боба быть трудным. Бобов соцреалистический	charming, reader. Bob's difficulty being difficult. Bob's social realist
сюрреализм. Бобово	surrealism. Bob's
чревовещание. Повседневная одежда Боба Благоразумие Боба. Бобова	ventriloquism. Bob's casual attire Bob's discretion. Bob's
щедрость. Вифлеем Боба. Бобовы	generosity. Bob's Bethlehem. Bob's
инкунабулы. Бобово классическое от-	incunabula. Bob's classical sec-
шельничество. Бобова концеп-	lusions. Bob's concept-
туальная автобиографология. Бобов непостижимый номинализм.	tual autobiographology. Bob's numinous nominalism.
Известное изящество Боба. Недоверие Боба к моему отвращению к	Bob's considered grace. Bob's distrust of my aversion to
раскрытие образа.	characterization.

Это Мгновение — ты

Понимаешь, что стар, если те, кто кажутся тебе стариками, моложе тебя.
Понимаешь, что стар, если крыша едет быстрее, чем машина.
Понимаешь, что стар, если ночи длиннее, а сон короче.
Понимаешь, что стар, если все твои дела в шляпе.
Понимаешь, что стар, если вопли не слышны, а видны.
Понимаешь, что стар, если серое небо несет тебе надежду.
Понимаешь, что стар, если шелковые подчистки преследуют утренний свет.
Понимаешь, что стар, если пыль оседает на пыль.
Понимаешь, что стар, если смех издевается над собственной репризой.
Понимаешь, что стар, если потери предшествуют цели.
Понимаешь, что стар, если уши вянут быстрее, чем сирень в помойном ведре.
Понимаешь, что стар, если может быть значит никогда.
Понимаешь, что стар, если инкрустации украшают махинации.
Понимаешь, что стар, если синева зеленее, а роса испарилась.
Понимаешь, что стар, если старые сраженья кажутся неизбежными.
Понимаешь, что стар, если каждый следующий шаг труднее, чем последний.
Понимаешь, что стар, если от вздохов сожаления фальшивит арфа таинственности.
Понимаешь, что стар, если лавина непоследовательностей тает в полях пустых обещаний.
Понимаешь, что стар, если все, что предназначено судьбой, струится, как пар из канализационного люка.
Понимаешь, что стар, если каждый час — тянется, а дни — убегают.
Понимаешь, что стар, если манеры заменяют методы.
Понимаешь, что стар, если мечты похожи на концерт по заявкам.
Понимаешь, что стар, если прошлое превращается в оставшиеся впереди дни.
Понимаешь, что стар, если думаешь, что отпечатки Пеш-Мерля и Ласко ^[7] созданы твоими детьми.
Понимаешь, что стар, если красишь волосы в седой цвет, чтобы выделяться.
Понимаешь, что стар, если можешь прочесть эти слова.
Понимаешь, что стар, если твои знания отчуждаются от твоего опыта.
Понимаешь, что стар, если тирания настоящего затмевает маскарад.
Понимаешь, что стар, если вечные вехи тают, как сосульки.
Понимаешь, что стар, если новизна кажется модерном, а незыблемые ценности свисают, как старые кроссовки с проводов.
Понимаешь, что стар, если мгновенья бесценны, а часы — как свинец.
Понимаешь, что стар, если невинность одета в покровы опыта.
Понимаешь, что стар, если видишь свое отражение в зеркале, но отражение не видит тебя.
Понимаешь, что стар, если кажется, что давние наваждения стали хуже.
Понимаешь, что стар, если свет бессилен против тьмы, а зима не кончается.
Понимаешь, что стар, если отбыл срок, равный пожизненному.
Понимаешь, что стар, если даже свет лампы тускл.
Понимаешь, что стар, если тебя определяют пределы.
Понимаешь, что стар, если чувства становятся атмосферой, а атмосфера опьяняет.
Понимаешь, что стар, еслиemento затмевает память.
Понимаешь, что стар, если яркий свет истории ослепляет тебя.
Понимаешь, что стар, если все твои достижения как утренняя роса.
Понимаешь, что стар, если видишь солнце и благодаришь тени.

The Moment Is You

You know you're old when the people who look old to you are younger than you are.
You know you're old when the crank case works better than the crank.
You know you're old when the nights are longer and the sleep shorter.
You know you're old when tarpaulin covers the boiler plate.
You know you're old when screams are seen but not heard.
You know you're old when the grey sky holds promise.
You know you're old when silken erasures haunt the morning light.
You know you're old when dust settles on dust.
You know you're old when laughter mocks its own reprise.
You know you're old when loss precedes purpose.
You know you're old when lilacs languish in lard.
You know you're old when maybe means never.
You know you're old when tessellation embroiders larceny.
You know you're old when the blue is greener and the dew evaporated.
You know you're old when the old battles seem inevitable.
You know you're old when the next step is harsher than the last.
You know you're old when the wail of regret cripples the harp of inscrutability.
You know you're old when the avalanche of inconsequence evaporates in fields of empty promise.
You know you're old when all that is fated rises up before your eyes like steam from a man hole.
You know you're old when each hour awaits and days are fugitive.
You know you're old when manners replace methods.
You know you're old when dreams remind you of summer reruns.
You know you're old when time past becomes the days ahead.
You know you're old when you think that the handprints of Pech-Merle and Lascaux were made by your children.
You know you're old when you feel you need to highlight your hair with grey so you will look more distinguished.
You know you're old when you can read these words.
You know you're old when your knowledge separates itself from your experience.
You know you're old when the tyranny of the present obscures the masquerade.
You know you're old when indelible marks melt like icicles.
You know you're old when everything new seems retrofitted and the established monuments hang like discarded shoes on an electrical wire.
You know you're old when the moments are precious but the hours leaden.
You know you're old when innocence is shrouded in experience.
You know you're old when you can see yourself in the mirror but yourself cannot see you.
You know you're old when the long-time haunts seemed changed for the worse.
You know you're old when light is useless against dark and winter refuses to cede its hold.
You know you're old when time served is a life sentence.
You know you're old when even the limelight is dim.
You know you're old when limits define you.
You know you're old when sentiment is ambient and ambience intoxicates.
You know you're old when memento eclipses memory.
You know you're old when the bright light of history blinds you.
You know you're old when your accomplishments are like morning dew.
You know you're old when you see sun and thank shadows.

Сегодня — последний день твоей жизни пока

Я был счастливейшим отцом на свете
пока не стал самым несчастным.
Лошадей пристреливают, не так ли?
В горах воздух так разряжен,
что выговорить трудно твое
имя. Мне снилось, что я барабан.
Мне приснилось, что я школьник,
который боится школы. Мне снилось,
что я тонул. Вдалеке, обвал
отразил все еще приглушенный
свет. Точно наказание
было недостаточным.

Today Is the Last Day of Your Life 'til Now

I was the luckiest father in the world
until I turned unluckiest.
They shoot horses, don't they?
In the mountains, the air is so
thin you can scarcely say your
name. I dreamt I was a drum.
In the dream, I dreamt I was a
school boy afraid of school. I dreamt
I was drowning. Far away, the
crush of snow refracted the still muted
light. As if punishment was not
punishment enough.

(Jan. 14, 2009)

Вокруг опять синхроничность

Все всегда начинается с того,
что ты не был там, что прячется за участком,
который продали за двойную цену —
как в эхе, что отскочит в тебя,
и рухнешь в рык поблекших
туник, простертых на рояле
под мотив давних уграт
и новых амбаров, полных
шпулек и шпилек. Я ставил этот диск раньше,
но так он никогда не звучал,
точно тебя задело, звучал,
как шок в артишоке или
служба в синагоге. Не вздумай даже
идти туда, мы там были

триллион раз, и я до сих пор не понимаю,
как это связано, как по-твоему
я должен понять или даже
погрузиться по уши в твоё
заунывное остроумие. Все всегда
начинается так, словно ты
услышал это не слушая,
где-то во внутренних мирах, внутри
твоего невнимания, единственного места,
где, как известно, рай
соединяется в одно, за мгновение до того,
как нужно палить рентгу.

Беда рядом со мной

Был ли ты там?

невзначай, плохо сформулированные &
неуклюжие
ценности не сбрасывают недвижности —
зрит суставы
& сброшенный груз на плаву
(пенсия должника):
несостоятельное сердцебиенье
колотится перед паденьем —

Иногда доводит до беды

Штурвал колченог
подручный— плут
И выход лишь
Шлеп-хлоп-хлоп

Глубоки раны те & красны

Все что знаем объемяет
то что не узнаем вовек
как гарпун
но призрак кита
кровью все же истек

Беда рядом со мной

На заре жизни моей
был запах горелого целлофана

но сегодня, но *сего* дня
гниенье

Ни где не была лучезарна так
как на пляже том улыбка твоя

Trouble Near Me
Were You There?

by chance, ill defined &
awkward
values uncast immobility —
eyes the joints
or jettisons drift
(debtor's pension):
from those calls
this insolvent throb
who hears then falls —

Sometimes It Causes Me to Tremble

My rudder's bow-leg
My nipper's gyp
The only out is
Flop — flap — flip

Deep These Wounds & Red

all we know impales
what we never will
like a harpoon
the imaginary whale
bleeding all the same

Trouble Is Near Me

In the morning of my life
there was a smell of burning plastic

but today, *but today*
putrefaction

*No where is your smile
more radiant than on this beach*

Перед уходом

Мысли немеют, редуют, мертвеют перед уходом.
Воспоминанья окрашены отчаяньем перед уходом.
Кувшин с двумя озерами дрожит перед уходом.
Огонь озаряет порывы лжи перед уходом.
Завтра воровато, всегда — тогда, сейчас — никогда перед уходом.
Провал заштрихован пунктиром дождя перед уходом.
Трется гнев, грубо и сладостно, перед уходом.
Так и не видел другую сторону сна перед уходом.
Ничего не осталось, даже горя перед уходом.
Склон, карта, и подъем до измора перед уходом.
Камень, корень, ночь, ноктюрн, и прыжок перед уходом.
Компас из костей и зубов перед уходом.
Завершение дел, бреда зверь, перед уходом.
Покой протек, говорит нетерпенье перед уходом.
Раздирает смех, из всех щелей — свеченье перед уходом.
Ни звука, ни места, ни вверх, ни вниз перед уходом.
Сочится дым и гарь и гной перед уходом.
Мечешься в стихии стиха, как прошлой ночью, перед уходом.
Не приближусь к схватке перед уходом.
Ничего не исправить ничем перед уходом.
Не заделать течь, сделок не сбережь перед уходом.
Надежда — забор, в колодце — костер перед уходом.
Не хлопнешь дверью сам, хлопнут и проклянут перед уходом.
Бухта, борзая, голубки мелькнут перед уходом.
Кориандр, кружев вязь, вязкая благодать перед уходом.
Грааль Сатаны, рока пасть перед уходом.
Всемирный след, потухший вулкан перед уходом.
Отсрочка упадка, стойкий страх перед уходом
Все тягуче медленно тянется перед уходом
Бери сейчас, когда оставили силы перед уходом
Дай-ка отвяжу этот трос буксира перед уходом
Еще осталось один стежок простегать перед уходом
Расчеты сокрыты в сугробе и снег глубок перед уходом
Не говори, ничего не слышу перед уходом
Смирно лежи, кто там песню поет перед уходом
Символ, залог, язвит перо перед уходом
Знаю немного, но это знаю перед уходом
Асфальт в два ряда, мигает свет

Before You Go

Thoughts inanimate, stumbled, spare, before you go.
Folded memories, tintured with despair, before you go.
Two lakes inside a jar, before you go.
Flame illumines fitful lie, before you go.
Furtive then morrow, nevering now, before you go.

Lacerating gap, stippled rain, before you go.
 Anger rubs, raw 'n' sweet, before you go.
 Never seen the other side of sleep, before you go.
 Nothing left for, not yet, grief, before you go.
 A slope, a map, insistent heave, before you go.
 Stone & stem, nocturne, leap, before you go.
 Compass made of bones & teeth, before you go.
 The wind up acts, delirium's beast, before you go.
 Spilt quell, impatient, speaks, before you go.
 Rippling laughter, radiance leaks, before you go.
 No place, no sound, nor up, or down, before you go.
 Smokey, swollen seeps, before you go.
 Tossing in tune, just like last night, before you go.
 I'm nowhere near the fight, before you go.
 Nothing to make it right, before you go.
 It won't congeal, no more deals, before you go.
 Hope a fence, well's on fire, before you go.
 Slammed when you don't, damned if not, before you go.
 A hound, a bay, a hurtled dove, before you go.
 Coriander & lace, stickly grace, before you go. [sic]
 Englobing trace, fading quakes, before you go.
 Devil's grail, face of fate, before you go.
 Suspended deanimation, recalcitrant fright, before you go
 Everything so goddamn slow, before you
 Take me now, I'm feelin' low, before you
 Just let me unhitch this tow, before y
 One more stitch still to sew, before
 Calculus hidden deep in snow, befor
 Can't hear, don't say, befo
 Lie still, who sings this song, bef
 A token, a throw, a truculent pen, be
 Don't know much, but that I do, b
 Two lane blacktop, undulating light

Из новых стихов

В Утопии

в утопии нет правил и «чистая и простая уголовщина» премьер-министра Камерона оставлена как раз для таких политиков, как он. В утопии маргышка возлежит вместе с носорогом и призраки преследуют призраков, оставляя всех прочих отбиваться самим. В утопии терпишь поражение в битвах и в войне тоже, но там это меньше волнует. В утопии тебе никто ничего не говорит, но я вот что должен сказать. В утопии планы — украшения и ожидания растворяется в прихотях. В утопии есть ось. В утопии любовь при своих интересах может и проехаться с ветерком, но эрос за рулем. В утопии слова поют песни, а певцы слушают. В утопии 1 плюс 2 не равно 2 плюс 1. В утопии я и вы не то же самое, что вы и я. В утопии мы не занимаем Уолл-стрит, мы сами — Уолл-стрит. В утопии, все твердое замерзает, все тающее вытекает, а воздух исчезает в полуденном тумане без следа. 2012

In Utopia

In utopia they don't got no rules and Prime Minister Cameron's "criminality pure and simple" is reserved for politicians just like him. In utopia the monkey lies down with the rhinoceros and the ghosts haunt the ghosts leaving everyone else to fend for themself. In utopia, you lose the battles and you lose the war too but it bothers you less. In utopia no one tells nobody nothin', but I gotta tell you this. In utopia the plans are ornament and expectations dissolve into whim. In utopia, here is a pivot. In utopia, love goes for the ride but eros's at the wheel. In utopia, the words sing the songs while the singers listen. In utopia, 1 plus 2 does not equal 2 plus 1. In utopia, I and you is not the same as you and me. In utopia, we won't occupy Wall Street, we are Wall Street. In utopia, all that is solid congeals, all that melts liquefies, all that is air vanishes into the late afternoon fog. 2012

Charles Bernstein
The Lie of Art

— **Tr. by Ian Probst**
— *Ложь искусства*

2012

I don't want innovative art. Не хочу новаторского искусства.
I don't want experimental art. Не хочу экспериментального искусства.
I don't want conceptual art. Не хочу концептуального искусства.
I don't want abstract art. Не хочу абстрактного искусства.
I don't want figurative art. Не хочу фигуративного искусства.
I don't want original art. Не хочу оригинального искусства.
I don't want formal art. Не хочу формального искусства.
I don't want emotional art. Не хочу эмоционального искусства.
I don't want nostalgic art. Не хочу ностальгического искусства.
I don't want sentimental art. Не хочу сентиментального искусства.
I don't want complacent art. Не хочу услужливого искусства.
I don't want erotic art. Не хочу эротического искусства.
I don't want boring art. Не хочу скучного искусства.
I don't want mediocre art. Не хочу посредственного искусства.
I don't want political art. Не хочу политического искусства.
I don't want empty art. Не хочу пустого искусства.
I don't want baroque art. Не хочу барочного искусства.
I don't want mannered art. Не хочу вычурного искусства.
I don't want minimal art. Не хочу минималистского искусства.
I don't want plain art. Не хочу простого искусства.
I don't want vernacular art. Не хочу языкового искусства.
I don't want artificial art. Не хочу искусственного искусства.
I don't want pretentious art. Не хочу претенциозного искусства.
I don't want idea art. Не хочу идейного искусства.
I don't want thing art. Не хочу предметного искусства.
I don't want naturalistic art. Не хочу натуралистического искусства.
I don't want rhetorical art. Не хочу риторического искусства.
I don't want dull art. Не хочу тусклого искусства.
I don't want rhapsodic art. Не хочу рапсодического искусства.
I don't want rigid art. Не хочу жесткого искусства.

I don't want informal art. Не хочу неформального искусства.
I don't want celebratory art. Не хочу праздничного искусства.
I don't want cerebral art. Не хочу мозгового искусства.
I don't want formulaic art. Не хочу трафаретного искусства.
I don't want sardonic art. Не хочу сардонического искусства.
I don't want sadistic art. Не хочу садистского искусства.
I don't want masochistic art. Не хочу мазохистского искусства.
I don't want trendy art. Не хочу модного искусства.
I don't want adolescent art. Не хочу подросткового искусства.
I don't want senescent art. Не хочу старческого искусства.
I don't want grumpy art. Не хочу сварливого искусства.
I don't want happy art. Не хочу счастливого искусства.
I don't want severe art. Не хочу сурового искусства.
I don't want demanding art. Не хочу требовательного искусства.
I don't want tempestuous art. Не хочу бурного искусства.
I don't want incendiary art. Не хочу зажигательного искусства.
I don't want commercial art. Не хочу коммерческого искусства.
I don't want moralizing art. Не хочу нравоучительного искусства.
I don't want transgressive art. Не хочу греховного искусства.
I don't want violent art. Не хочу жестокого искусства.
I don't want exemplary art. Не хочу образцового искусства.
I don't want uplifting art. Не хочу ободряющего искусства.
I don't want degrading art. Не хочу унижающего искусства.
I don't want melancholy art. Не хочу меланхолического искусства.
I don't want chaotic art. Не хочу хаотического искусства.
I don't want provocative art. Не хочу провокационного искусства.
I don't want self-satisfied art. Не хочу самодовольного искусства.
I don't want nurturing art. Не хочу воспитывающего искусства.
I don't want genuine art. Не хочу неподдельного искусства.
I don't want derivative art. Не хочу производного искусства.
I don't want religious art. Не хочу религиозного искусства.
I don't want authentic art. Не хочу аутентичного искусства.
I don't want sincere art. Не хочу искреннего искусства.
I don't want sacred art. Не хочу священного искусства.
I don't want profane art. Не хочу светского искусства.
I don't want mystical art. Не хочу мистического искусства.
I don't want voyeuristic art. Не хочу voyeurистического искусства.
I don't want traditional art. Не хочу традиционного искусства.
I don't want expectable art. Не хочу ожидаемого искусства.
I don't want hopeful art. Не хочу обнадеживающего искусства.
I don't want irreverent art. Не хочу непочтительного искусства.
I don't want process art. Не хочу описательного искусства.
I don't want static art. Не хочу статического искусства.
I don't want urban art. Не хочу урбанистического искусства.
I don't want pure art. Не хочу чистого искусства.
I don't want ideological art. Не хочу идеологического искусства.
I don't want spontaneous art. Не хочу спонтанного искусства.
I don't want pious art. Не хочу благочестивого искусства.

I don't want comprehensible art. Не хочу постижимого искусства.
I don't want enigmatic art. Не хочу непостижного искусства.
I don't want epic art. Не хочу эпического искусства.
I don't want lyric art. Не хочу лирического искусства.
I don't want familiar art. Не хочу знакомого искусства.
I don't want alien art. Не хочу чужого искусства.
I don't want human art. Не хочу человеческого искусства.

Автобиография экс-жиды ^[8]

Я так устал
от споров.
Пора пере-
порхнуть. Но никак
не дают.
Мать их так.
2013

Autobiography of an Ex-Kike

I am so
tired of arguing.
time to cross
over. But they
just won't let
me. Fuck 'em.
2013

Charles Bernstein

Fado

after Quem dorme à noite comigo?
by Reinaldo Ferreira (1922-1959)

Who sleeps with me at night's
My secret, but if you must
I'll tell you: Fear sleeps with me –

Just fear, which suddenly
Cradles me in the see-sawß
Of loneliness, with a silence

That talks with treacherous
Voice, stalking at reason.
What shall I do when lying –

Staring at the void, screaming
Into space? Who is asleep
Beside me, cold as Lazurus?

Scream? Who can save me
From what's inside me
And waits to kill me?

I know it waits
At the edge of the bridge.

Чарльз Бернстин

Фадо (Фатум) Блюз

*(Из "Quem dorme à noite comigo?"
Рейналдо Феррейра, 1922-1959)*

Кто ночью рядом спит —
Секрет мой, если жаждешь,
Скажу тебе: мой Страх —

Да, просто страх — внезапно
Он в люльке одиночества
Начнет качать в молчанье,

Коварным голосом маня,
Преследуя меня.
Что делать мне в кровати —

В пространство ли кричать,
Лежать, глаза в пустоту?
*Кто рядом спит со мной,
Как Лазарь, ледяной?*
Кричать? Спасусь ли от того,
Кто ждет внутри меня

Чтобы убить? Он, знаю,
Ждет на краю моста.

Перевел с английского Ян Пробштейн

Reinaldo Ferreira (1922-1959)

Quem dorme à noite comigo?

Quem dorme à noite comigo?
É meu segredo, é meu segredo!
Mas se insistirem, desdigo.
O medo mora comigo,

Mas só o medo, mas só o medo!
E cedo, porque me embala
Num vaivém de solidão,
É com silêncio que fala,

Com voz de móvel que estala
E nos perturba a razão.
Que farei quando, deitado,
Fitando o espaço vazio,

Grita no espaço fitado
Que está dormindo a meu lado,
Lázaro e frio?
Gritar? Quem pode salvar-me

Do que está dentro de mim?
Gostava até de matar-me.
Mas eu sei que ele há-de esperar-me
Ao pé da ponte do fim.

Из “*Quem dorme à noite comigo?*”
Рейнальдо Феррейра, 1922-1959

Кто спит по ночам со мною

Кто спит по ночам со мною —
Это тайна моя, тайна моя,
Но если требуешь, открою:
Мой Страх объял меня —

Да просто страх — внезапно
Он в люльке одиночества опять
Начнет качать в молчанье,
Начнет меня качать,

Коварным голосом маня,
Преследуя меня.
Что делать мне в кровати —
В пространство ли кричать и

Лежать, лишь в пустоту глаза?
Кто рядом спит со мной,
Как Лазарь, ледяной?
Спасть ли от того сумею,

Кто ждет, чтобы убить меня,
Живя внутри меня?
Он, знаю, ждет меня
Там, на краю моста.

Перевел с португальского Ян Пробиштейн

* Предыдущие подборки стихов Чарльза Бернстина в переводе Яна Пробштейна были опубликованы:

«Иностранная литература». 2011. № 6. С. 165-171.

НЛО 2011. № 110. Статья: <http://www.nlobooks.ru/node/1091>

В электронных журналах:

Гефтер: <http://gefter.ru/archive/11450>

«Облака», Таллинн, Эстония. 3-4 2013 (31.12.2013)

<http://www.oblaka.ee/journal-new-clouds/3-4-2013/чарльз-бернстин-софист-избранные-сти/>

«Сетевая словесность»: http://www.netslova.ru/bemstein_ch/stihi.html

В журналах:

Окно (<http://okno.webs.com/No10/bemstein.htm>),

«Журнале Поэтов» 2011, № 12 (33), 9 (41), 2012,

45-я параллель: http://45parallel.net/charlz_bemstin/pererekognostsirovka/

Сайт Чарльза Бернстина: <http://epc.buffalo.edu/authors/bemstein/>

Переводы на другие языки, в том числе и на русский:

<http://epc.buffalo.edu/authors/bemstein/index2.html#translations>

В Пенсильванском университете: <http://writing.upenn.edu/bemstein/>

Примечания

[1] Дуглас Мессерли (р. 1947) — поэт, профессор, издатель, в 1976 г. начал издавать журнал «Сан анд Мун» (Солнце и луна), который перерос в издательство, где были опубликованы многие книги Чарльза Бернстина, а затем издательство «Грин Интегер» (Зеленая цельность). Живет в Лос-Анджелесе.

[2] КУ (На) Хай — хайку наизнанку, форма, изобретенная Чарльзом Бернстином: 3-строчные строфы состоят из 1—2—3— 3-2-1 слов.

[3] Это стихотворение-перевертыш, следующий за ним ключ, первичное стихотворение, вывернуто наизнанку. Читать следует с конца.

[4] Боб Перельман (р. в 1947) — поэт, связанный с школой («L=A=N=G=U=A=G=E»), автор 15 стихотворных сборников, критик, профессор Пенсильванского университета, где также, как Бернстин, преподает английскую и американскую поэзию и поэтику.

[5] Квемой (Цзиньмэнь) и Мацзу — острова в Тайванском проливе у берегов Китая, которые остались в руках правительства Чан Кайши.

[6] Квемой (Цзиньмэнь) и Мацзу — острова в Тайванском проливе у берегов Китая, которые остались в руках правительства Чан Кайши, несмотря на то, что они ближе к матерiku, чем к Тайвану; КНР во главе с Мао Цзе Дуном за них решила не сражаться.

[7] Пеш-Мерль — одна из знаменитых французских пещер, где были обнаружены памятники доисторического искусства эпохи палеолита (16 000 лет назад), открытая для публичного доступа. Живописные и гравировальные работы, найденные в пещере Ласко в Перигоре, еще древнее — они появились примерно в XVIII—XV тысячелетии до н.э.

[8] Аллюзия на "Autobiography of an Ex-Colored Man" by J W Johnson.



Франсуаза Саган

РЫБАЛКА БЛИЖЕ К ПОЛУДНЮ

Два рассказа

Перевод Эдуарда Шехтмана

Разрыв по-римски

Он пригласил её на коктейль, пригласил в последний раз. Она не знала этого. Не знала, что её, словно Бландину ^[1], он собирается отдать на растерзание львам: своим друзьям. Да, от этой светловолосой женщины, нудной, лишённой самобытности, к тому же привередливой и в придачу не столь уж пылкой, он решил сегодня вечером отделаться. Это решение (о котором нельзя было говорить, как о вполне созревшем, ибо принял он его в минуту гнева на римском пляже), это решение... надо же было в конце концов прийти к нему после, по крайней мере, двух лет. Луиджи, кумир карнавалов, этот знаток автомобилей, женщин, верных путей к успеху и при всём том крайне нерешительный в некоторых жизненных обстоятельствах, вознамерился объявить своей любовнице об их разрыве. И — до удивления даже — для этого он должен был опереться на стадное чувство, ему нужны были они, равнодушные и весёлые, замкнутые и умеющие очаровывать, а то и быть задушевными, те, кого он называл «мои друзья». Вот уже три месяца они наблюдали, как он нервничает, мало-помалу отдаляется от неё, ожесточается, короче, морально готовится бросить эту нудную до невозможности Ингу.

Нудная Инга уже далеко не первый день была «гостьей Рима» из самых красивых и притом, как говорили с гордостью его друзья, одной из самых красивых любовниц Луиджи.

Но миновало два года, изменились вкусы, привычки и бог знает что там ещё, и вот Луиджи, порядком накалённый, увозил в своей машине на этот коктейль, прощальный коктейль, по-прежнему красивую — но это ничего не меняло — светловолосую Ингу. Было странным, даже для него самого, видеть, до какой степени она была сейчас не женщиной, которую он собирался покинуть, но образом этой женщины. Он расставался не с этим профилем, ртом, этими плечами, бёдрами, всем, чем восхищался в своё время, почти боготворил (потому что был мужчиной страстным), он расставался с подобием схемы, некоей оболочкой, ставшей всего лишь многократно отражённым эхом: «Ты знаешь Ингу? Ну ту, которая с Луиджи». И, двигаясь в потоке машин по улицам Рима, ему стоило усилий уговорить себя, что она существо из плоти и крови, как и он сам, ему казалось, что в кабине — старая фотография, снятая в рост, хорошо одетая, устроившаяся нелепым образом рядом с ним для бесконечного пути, которому тем не менее два года и который должен окончиться сегодня вечером.

Он был сейчас так далёк от неё, от этой шведки, что, ему казалось, он рядом со своими итальянскими друзьями — его миром, его маленьким тёплым мирком, людьми его веры, этими крепкими ребятами, его ровне. Правду сказать, он толком не понимал, почему хотел с ней порвать именно в этот вечер, не понимал и того,

почему все должны были об этом знать. Это было одним из проявлений странного рока, ложной морали, которой в Риме ещё хватает, спустя двадцать веков после Нерона. Как бы там ни было, твёрдо держа руль своей стремительной открытой машины — ремень безопасности лежал рядом незастёгнутый, — он спешил бестрепетной рукой швырнуть свою христианку диким зверям. Иными словами, он собирался оставить свою любовницу и хотел это сделать достаточно шумно, чтобы ничего уже нельзя было поправить. Он не был человеком посредственным, но испытывал — и виной тому была компания — нечто вроде страха перед одиночеством, он как бы приобрёл привычку быть с кем-нибудь и глубокую, отчаянную, прямо-таки до печёнок, потребность в одобрении своих поступков другими.

Другими, пусть они будут тупоголовыми или разумными, жестокосердными или с мягкой душою, жертвами или охотниками, но в любом случае это должны были быть «другие», те, кто слоняется часами по улицам их города, их Рима. Больные от самих себя, отравленные собой, балансирующие на острие между их пороками, их удовольствиями, их здоровьем и — бывало — их нежностью. Инга вошла в этот мирок красивой женщицей — светловолосая, голубоглазая, с длинными ногами, в высшей степени элегантная — тотчас ставшей предметом соперничества, похожего на борьбу за первый приз. И то был Луиджи де Санто, римский архитектор, тридцати лет от роду, с неомрачённым прошлым, неомрачённым будущим, который этот первый приз завоевал, увёз к себе, в свой дом, в свою постель, который исторг у неё слова — даже крики — любви. Это был он, заставивший женщину Севера принять, каков он есть, мужчину Юга.

...Время, время, чудесное быстротекущее время, оно пронеслось — Ингой овладевала меланхолия. Имена родных городов — Стокгольм, Гётеборг — все чаще слетали с её уст в разговорах не очень, впрочем, и частых (Луиджи много работал). Бросая сейчас на неё взгляд предателя, взгляд Яго, он как бы удивлялся самому себе, и это чувство порождало беспокойство. Вот, всё конечно, этот профиль, это тело, да что там, почти его собственную тень он покинет через час или два, так и не узнав эту женщину по-настоящему. Что теперь предпримет она, не очень-то его заботило — так уж ли она к нему привязана? — не покончит же с собой в самом деле. Вернее всего, уедет в другой итальянский город — или в Париж — и очень мало шансов, что ей будет не хватать его, а ему — её. Они «держались» друг друга, «сосуществовали», как два модных образа, два силуэта, нарисованные не ими самими, а обществом, в котором жили; они практически играли театральную роль без театра, роль, в которой подразумевались чувства, но чувств не было. Всё как надо было в том, что Луиджи де Санто имел любовницей молодую, сменявшую других, женщину по имени Инга Инглеборг. А также всё как надо было и в том, что они желали друг друга, терпели друг друга и расставались друг с другом к концу двух лет их связи...

Она, слегка зевнув, повернула к нему голову и спросила своим спокойным голосом с лёгким акцентом, который вот уже два дня, как выводил его из себя, она спросила: «Кто там будет сегодня вечером?» И когда он, натянуто улыбувшись, ответил: «Те же», — она внезапно показалаась чуть разочарованной. Может быть, она отдавала себе отчёт, что их отношения идут к концу, может быть, и сама начала отдаляться и ускользать от него, ускользать... От этой мысли инстинкт охотника проснулся в Луиджи. Он подумал, что пожелай того, он будет для неё всем: защитником, утешителем, отцом хоть десяти её детей, он спрячет её от мира и даже сможет — почему бы и нет? — любить её. От последнего предположения он коротко хохотнул, она повернулась к нему: «Тебе весело, да?» — её тон его удивил.

Во всяком случае, сказал он себе, проезжая площадь Испании, во всяком случае, она должна бы подозревать кое-что. Ведь Карла, болтая со мной, висела по полчаса на телефоне, а ещё Джина, Умберто... и, хотя она никогда не слушает, о чём я там говорю с ними — впрочем, она, бедняжка, ничего бы и не поняла (а ведь говорит бегло по-итальянски) — да, она должна бы всё-таки сознавать: что-то происходит. Существует же эта хваленая женская интуиция...

И внезапно, увозя её в этот женский клан, в эту толпу навязчивых до одержимости женщин, он почувствовал себя чуть спокойнее. Не ему себя упрекать, Инга была женщиной, достоинство которой он не попирает, она всегда была рядом с ним — на пляжах, в загородных домиках, на вечеринках; он всегда был готов физически её защищать и — также физически, хотя и по-другому, — всегда был готов напасть на неё. Пусть не часто она была с ним откровенна, пусть они лишь изредка говорили друг другу «я люблю тебя» и пусть это «люблю» в их интимном языке больше относилось к чувственности, чем к чувству, — зачем сейчас ворошить то, что ушло? Как говорили ему по телефону Гвидо и Карла, теперь было самое время рвать с ней: он просто погряз в этой истории! Мужчина его обаяния, его внешности, его самобытности не должен был возиться более двух лет с этим шведским манекеном. А они... о, он мог им верить, они его хорошо знали. Знали лучше, чем он знал себя сам. Эта мысль руководила им, когда он пустился сегодня в путь, да что там сегодня — с той поры, наверное, когда ему стукнуло лет пятнадцать.

...Вилла была вся в огнях. С подобием грустной усмешки Луиджи подумал, что последним воспоминанием, которое Инга сохранит о Риме, будет воспоминание о роскоши этого вечера. Здесь под дождем отливала красным и чёрным машины-болиды, здесь вышколенный и предупредительный дворецкий сновал туда и обратно с разноцветным зонтиком в руках. Вот они, желтоватые, в щербинах, ступени исторического крыльца, а там, внутри, просматриваются так изысканно одетые женщины и явно готовые их раздеть мужчины. Когда он взял руку Инги, чтобы войти в дверь, у него появилось неприятное ощущение, будто он ведёт кого-то на заклание, кого-то невинного к столу азартных игр или в вертеп, а этот кто-то ни о чём не догадывается.

Миг — и Карла оказалась над ними (именно так, скорее, чем перед ними), на них обрушилась. Она смеялась, она бесцеремонно разглядывала Ингу и его и смеялась сильнее прежнего.

— Мои дорогие, — затараторила она, — дорогусенькие мои, я уже просто беспокоилась.

Он её, конечно, поцеловал, Инга тоже, и они пошли через зал. Он хорошо знал Рим и салоны, и то, что одни перед ними спешно расступались, а другие в стороне собирались кучками, подтвердило его мысли, укрепило в подозрении: все эти люди были *в курсе*, все эти люди ждали их приезда и все они знали, что он, Луиджи, собирается порвать сегодня вечером — притом в эффектной манере, весело — со своей любовницей, чертовски, конечно, красивой, но и чертовски же долго задержавшейся возле него, с этой Ингой Инглеборг, родом из Швеции.

Она, казалось, ничего не замечает. Она опиралась рукой о его руку, она приветствовала добрых старых друзей, направляясь к буфету, готовая, как и в любой другой раз, надо это признать, пить, есть, танцевать, а потом — по возвращении домой — любить его. Не больше и не меньше. Но вдруг ему показалось, что это «не меньше» всегда относилось к таким вот вечеринкам, а «не больше»... Может быть, она силилась пробиться к нему?

Инга с отсутствующим видом выпила рюмку водки с тоником, и Карла тут же подала ей мысль налить вторую. Мало-помалу, словно в каком-то балете, одновременно бездарном и чуть зловещем, друзья стали собираться полукругом перед ними. Они ждали. Чего?.. Чтобы он сказал им, что эта женщина вконец ему осточертела, чтобы он дал ей пощёчину, чтобы он сделал с ней что-нибудь непристойное? Чего же? Ведь, в сущности, он не знал, почему в этот грозовой осенний вечер он должен что-то объяснять всем этим маскам (и близким, и безликим сразу), объяснить, что ему надо, что это стало необходимым и срочным — покинуть Ингу.

Он вспомнил, как они говорили: «Она не нашей породы». Но, разглядывая «породу», которая их окружала, эту помесь шакалов, грифов и квохчущих куриц, он спрашивал себя, а точно ли эти слова совпадали с его мыслями? Странно, но, без сомнения, в первый раз с тех пор, что он узнал эту красивую молодую женщину, светловолосую шведку, такую недоступную и тем не менее прирученную им, странно, но он почувствовал свою солидарность с ней.

Появился Джузеппе, как всегда красивый, и весёлый, как всегда. Он поцеловал руку Инге прямо-таки драматическим жестом, и Луиджи с удивлением поймал себя на мысли, что видит, сколько в этом жесте позёрства. Потом вновь возникла Карла. Она с глубокой заинтересованностью осведомилась у Инги, видела ли та последний фильм Висконти. Потом вступил Альдо. Путаясь в словах, он распинался перед Ингой, что его загородный дом около Аосты она всегда так украшала своим присутствием (Альдо нередко торопил события). Затем приблизилась Марина, истинная богиня этих мест. Она положила одну руку на запястье Луиджи, другую — на обнажённое плечо Инги.

— Боже великий, — пропела она, — как вы оба красивы! Вы воистину созданы друг для друга...

Толпа, как сказали бы в Испании, перестала дышать, коррида началась. Но бык, эта нудная Инга, стояла миролюбиво настроенная, чуть улыбающаяся. Все явно ждали от Луиджи какого-нибудь намёка, забавной выходки. Друзья ждали, он молчал. Молчал и тогда, когда сделал это чисто итальянское движение кистью, которое могло означать «ничего, подождёте». Слегка разочарованная Карла, которой он без обиняков обещал спектакль, обещал, что сегодняшний вечер станет вечером его разрыва с Ингой, не уточнив, верно, места, где это произойдёт... так вот Карла пошла на приступ:

— Надо же, сегодня адская жара, — ослабилась она. — Я так понимаю, дорогая Инга, что лето в наших краях куда мягче вашего. И то сказать, если мне не изменяет память, Швеция — ведь это вроде как на Севере, не правда ли?

Джузеппе, Марина, Гвидо и другие покатались со смеху. А Луиджи, глядя на них, подумал, ну что тут на самом деле забавного, что Швеция севернее Италии. Подозрение, что Карла не такая уж остроумная, какой её рисует молва, на миг укололо его. Он тряхнул головой, словно желая освободиться от дурных мыслей.

— Правда. Я действительно думаю, что Швеция севернее Италии, — ответила Инга с тем лёгким акцентом, который сообщал некоторую бесцветность всему, что она говорила, и который, должно быть, показался кому-то до невозможности смешным, потому что толпа, сгрудившаяся у буфета, захохотала.

«Это, видно, от нервного напряжения, — подумал Луиджи, — они все ждут не дождутся, когда же я попрошаюсь с ней, хорошо бы в самых грязных выражениях, да впрочем... надо уже на что-то решаться».

...И тогда Инга подняла, на него свои голубые глаза — а у неё были глаза великолепной голубизны, далеко не последняя причина её успеха в Риме — и произнесла необычные для неё слова, услышанные всемирно навострил уши, а навострили все:

— Луиджи, я нахожу этот вечер просто нудным. Тебя не затруднило бы отвезти меня куда-нибудь в другое место?

Будто грянул гром с небес, раздался хрустальный звон, дворецкий испарился, не все захлопнули рот сразу... Луиджи словно обрел второе зрение. Они пристально взглянули друг на друга, в глазах женщины, абсолютно голубых и абсолютно искренних не было больше наивного вопроса, а было безоговорочное утверждение и означало оно: «Я люблю тебя, дурачок». Зато коричневые глаза усталого римлянина вопрошали по-мужски и вместе по-детски: «Это точно? Это правда?» И всё перевернулось: обстановка, люди, мысли, программа действий и даже сам конец вечера. «Друзья» внезапно оказались висящими под потолком вниз головой на манер летучих мышей зимой. А все расступающиеся были ничем иным, как триумфальным кортежем на пути к их автомобилю. И Рим был так же, как всегда, прекрасен. И Рим был в Риме, и в Риме была любовь.

Рыбалка ближе к полудню

Этой весной мы были в Нормандии в моём шикарном жилище, тем более шикарном, что после двух лет, в продолжении коих там немилосердно текла крыша, нам удалось наконец её починить. Разом исчезли тазы под потолочными балками, исчезли капли ледяной воды, срывавшиеся в ночи на наши расслабленные сном лица, исчез резиновый коврик под ногами — новая действительность нас пьянила. И тут-то мы замыслили перекрасить ставни, которые из рыжих превратились в грязно-каштановые, а потом и вовсе в серо-буро-малиновые. Это лихое решение имело свои непредвиденные психологические и спортивные последствия.

А именно следующие.

Приятельница одного нашего друга (когда я говорю «мы», то имею в виду завсегдаев этого дома, составивших нечто вроде очень закрытого клуба, — помимо прочего, закрытого и для практических навыков), итак, приятельница одного нашего друга знала югославского художника, в высшей степени разумного, весьма даровитого, который не гнушался малярничать, чтобы заработать себе во Франции на хлеб. Жизнь его была полна превратностей, о которых здесь не место распространяться. В общем-то это было и экономическим решением, — ибо всякий знает, что местный народец содрал бы за покраску дюжины ставней три шкуры, — и моральным, ведь Яско (так звали югослава) был в этот момент на финансовой мели. Да здравствует Яско! Он вроде бы придет с другом, который тоже рисует, и со своей молодой женой (останься в Париже, она сильно бы там заскучала). И вот они уже у нас, все трое, милые, разговорчивые, любители телевизора — приятные гости. Ставни постепенно становятся что надо, правда, очень постепенно.

Не знаю почему, но в один роковой день разговор — после трёх недель интеллектуального трёпа — перекинулся на рыбную ловлю. Яско любил рыбачить, и он хранил о своих югославских рыбалках самые нежные воспоминания. Я тоже что-то такое щebetала о ловле на мушку, но если не считать трёх плотвичек, лет в десять выловленных по игре случая в реке моей бабушки и одной дорады, пойман-

ной как-то хмельной ночью в бухте Сен-Тропе, то чтоя умела? А мы заводили себя, заводили... Фрэнк Бернар, писатель и мой друг, чьи речи вертелись обычно вокруг Бенжамена Константа или Сартра, внезапно открыл форель в своём лицейском прошлом. Короче, на следующей же день мы оказались в магазине рыболовных принадлежностей, обсуждая с самым серьёзным видом сравнительные достоинства червей, крючков, грузил и удилищ. Потом уже у камелька втрём изучали указатель приливов и отливов. По мнению Яско, рыбу надо было атаковать к самому концу прилива. Таковых было два: в час ночи — он полностью отпадал — и в одиннадцать тридцать утра. Мы остановили свой выбор на последнем, и в полночь ровно были в постели, предвкушая грядущие уловы.

Мы, разумеется, совсем забыли, что Нормандия — местность здоровая, спокойная, где тяготеют к таким видам спорта, как верховая езда, теннис, ну и баккара ^[2] (а это — если сердце здоровое). Раз никто из наших знакомых не рыбачил, значит, тому была причина. И если завзятыми рыбаками были лишь те, у кого наличествовала лодка, то причина была и здесь. Но когда это даёшь себе труд обдумать всё досконально? Ко всему я ещё хотела блеснуть перед мадам Марк, сторожкой, посмеивающейся над нашими планами, а Фрэнком, должно быть, слегка овладел комплекс Хемингуэя.

Итак, в это утро мы погрузили наши рыболовные снасти (лёгкого класса) и наших земляных червей в автомобиль да впридачу — смех! — корзину, чтобы было куда складывать рыбу. Стоило трудов просунуть удилища в окна, после чего автомобиль начал походить на подушечку для булавок. По дороге Фрэнк полудремал, художника и меня распирало ликование. Пляж был враждебен, пустынен, холоден.

Пришлось вначале помаяться с насаживнием червей на крючки. Фрэнк заявил, что его печень не выносит такого рода зрелищ, да и мои действия не выдавали человека, привычного к этой операции. Яско уладил всё сам. Потом он торжественно воздел руку и забросил свою наживку. Мы внимательно наблюдали за ним, чтобы побыстрее освоить его технику (я уже вроде упомянула, что история с дорадой не оставила у меня никакого отчётливого воспоминания). Раздался свист, и крючок упал к ногам Фрэнка. Яско пробурчал что-то насчёт французских удилищ — куда им до югославских — и вновь повторил своё движение. Увы, Фрэнку обязательно нужно было наклониться, чтобы подобрать крючок... Ухарским движением Яско тут же вонзил ему эту загогулину в мякоть большого пальца. Фрэнк разразился ужасными проклятиями. Я устремилась к нему, извлекла крючок с червячком из его бедного пальца и платком перетянула рану не хуже гаротты ^[3]. Ну а потом минут пять мы разыгрывали дьявольскую пантомиму, заставляя удилище плясать над нашими головами, напрасно пытаясь эти чёртовы лески отправить в воду, сматывая их с бешеной скоростью для новой попытки — в общем, трое сумасшедших, и всё тут.

Я должна добавить, что мы были босы для удобства маневрирования, что наши брюки были тщательно подвёрнуты, а в нескольких шагах позади нас мы накидали горькой обуви, носки и разное по мелочи. Доверившись указателю приливов и отливов, не подозревая о коварстве Ла-Манша, мы весело шлёпали туда-сюда и ни о чём худом не помышляли. Это Фрэнк первым заметил неладное: его правый ботинок обогнал его и, если можно так выразиться, вышел в открытое море. Фрэнк — за ним, снова проклиная всё на свете, а в это время ботинок левый в компании с носками Яско заплясал на гребне волны. Нас на миг охватила нешуточная паника: мы устремились вдогонку за вещичками, побросав удилища.

Они использовали это обстоятельство и, в свою очередь, доверились волнам. А черви, в отсутствие хозяев, безнаказанно повальсировали малое время на поверхности и этого им было достаточно, чтобы улизнуть. Мы потеряли один ботинок, пару носков, пару же очков, пачку сигарет и одно удилище. Два других окончательно запутались. Сверх всего, зарядил дождь. Прошло каких-то полчаса, что мы высадились, полные лучезарных надежд, на этом пляже: теперь он нас видел мокрыми, растерянными, ранеными и босыми. Яско трепетал под нашими взглядами. Он пытался распутить своё удилище. Фрэнк сидел поодаль, молчаливый и надутый. Время от времени он сосал ранку на пальце или тёр руками босую ногу, чтобы её согреть... Я пыталась выловить несколько зазевавшихся червей. Мне было зябко.

— Думаю, с меня довольно, — пробурчал вдруг Фрэнк.

Он поднялся и с видом, тем более достойным, что прихрамывал, поплёлся по воде к машине, где и плюхнулся на сиденье. Я последовала за ним. Яско подобрал оба удилища и разразился бесполезным и путаным комментарием касательно преимуществ югославских берегов, если говорить о рыбалке, и Средиземного моря, если говорить о приливах и отливах. Машина пахла мокрой собакой. Сторожиха не произнесла ни слова при нашем появлении: итог экспедиции без труда угадывался по нашим физиономиям, обычно вполне жизнерадостным.

С тех пор я больше не рыбачила в Нормандии. Яско кончил красить ставни и исчез. Фрэнк купил себе новую пару обуви. Нет, не для нас этот рыболовный спорт!

Примечания

[1] Бландина — лионская мученица, была брошена на съедение львам (177 г.). Причислена к лику святых.

[2] Баккара — карточная игра.

[3] Гаротта — испанское орудие казни.



Лев Харитон

ШАХМАТНЫЕ ЗАРИСОВКИ

Летом 1974-го мне повезло: я преподавал английский Ботвиннику. У него дома, на 3-й Фрунзенской улице. Таких учеников, как можно догадаться, у меня никогда не было — ни до того, ни после.

Любопытно, что в наших разговорах на кухне, когда Михаил Моисеевич угощал бутербродами с чаем, он всегда вспоминал о своих добрых отношениях с Паулем. Он предпочитал называть Кереса просто Паулем.

Но как-то в один из дней Ботвинник попросил меня сделать короткий перерыв в занятиях — сказал, что уезжает на несколько дней в Таллинн по делам.

— Михаил Моисеевич, — воскликнул я, — так Вы встретитесь с Кересом!

— Что вы, — ответил он, оглядевшись по сторонам, — Пауль об этом ни в коем случае не должен знать!

— Молчок! — пообещал я.

— Уж не шпион ли вы Батуринского случае, Лев Давидович?!

Батуринский Виктор Давыдович был в то время руководителем шахматной федерации СССР. Отношения между ним и Ботвинником были, мягко говоря, натянутыми. Я обомлел. Фирменные ботвинниковские бутерброды показались мне в этот момент слегка переперченными. Хотя чай был заварен превосходно...

Живая легенда оформлялась в колкую реальность.

История одного интервью

В конце января 1997 года ваш автор вспомнил, что приближалась юбилейная дата, 60-летие Спасского. Возникла мысль взять у него интервью для газеты «Русская мысль». Согласовав всё предварительно с редакцией, я узнал телефон десятого чемпиона мира и позвонил.

Борис Васильевич был слегка озадачен, удивлен и, по-моему, доволен. Впервые за много лет молчания на Западе, он разрешил взять у себя интервью. Даже когда играл второй матч с Фишером в 92-м в Югославии, он не общался с русскоязычными журналистами. И вообще, я уже тогда обратил внимание на то, что из всех советских шахматных королей мы меньше всего знали о Спасском. Как-то очень долго ему удавалось оставаться в тени, и кажется, он сам к этому стремился. Иначе говоря, мне предстояло, возможно, первому вывести Бориса Васильевича на большой разговор.

27 числа, за три дня до даты, я приехал к нему на поезде в Медон, парижский пригород, где он жил с женой и сыном. Герой еще не написанного материала встретил меня, скажем так, сдержанно-радушно. Чувствовалось недоверие к журналисту. Вскоре я понял почему. По какой-то причине он считал «Русскую мысль» газетой, продававшейся большевикам. Он об этом вскоре и сказал в начале беседы. Почему он так считал, сказать не могу. Газета с момента своего основания в 1947-м году всегда находилась во фронде с СССР и с советской властью, а для тогдашнего

редактора Ирины Алексеевны Иловойской само слово «коммунизм» было, по меньшей мере, дьявольским проклятием.

Я не буду здесь вспоминать всё интервью, тем более цитировать его дословно. Позднее оно было практически перепечатано и «64», и журналом «Шахматы в СССР», да и вообще, разобрано на куски разными печатными изданиями. Практически без разрешения Бориса Васильевича или газеты, в которой оно было напечатано. Никто, понятно, не спросил и меня, хотя я был автором материала.

Лучше я обращусь... к Ботвиннику. Вернее — к тому, как Спасский преподнес мне образ Патриарха в том интервью.

Беседа наша длилась около четырех часов и я полностью записал ее на магнитофонную пленку. Понятно, что привести ее целиком на страницах газеты не представлялось возможным. Потому я решил разбить интервью на четыре номера издания, выходявшего еженедельно. Когда текст был готов, я обратил внимание на то, что именно Ботвиннику было уделено не менее 25 процентов всех рассказов Спасского. Не Фишеру, с которым мой собеседник сыграл два матча, не Геллеру, не Корчному, не Талю, а именно Ботвиннику! Мне было очевидно, что Спасского Ботвинник притягивал, как магнит — возможно не менее, чем Бронштейна. Хотя у того было куда больше оснований помнить и, что и говорить, зло вспоминать противника по матчу за корону.

Конечно, считая Ботвинника великим шахматистом, мой собеседник говорил о нем по большей части в ироническом тоне, и было ясно, что он считает шестого чемпиона закоренелым коммунистом, сталинцем и вообще человеком из мракобесной эпохи со всеми вытекающими из этого выводами. И чем отрицательнее Борис Васильевич отзывался о Михаиле Моисеевиче, тем более, я бы сказал, зажигательными становились его экскурсы в прошлое.

Спасский обладает талантом имитатора. Рассказывает не хуже, чем это делал знаменитый Иракий Андроников, пародируя героев своих рассказов. Он с особым удовольствием подражал голосу Ботвинника. Особенно я запомнил такую историю. Спасский вычитал в книге Патриарха «К достижению цели» пассаж: «Время было тяжелое. Колхозы еще не окрепли». И вот он всё время порывался спросить Ботвинника: «Михаил Моисеевич, а когда колхозы окрепли? И как именно они окрепли?» Рассказывая мне это, Борис Васильевич смеялся от души. От всей души издевался над Ботвинником, его коммунистичностью.

Вскоре после нашей беседы Спасский уехал кататься на лыжах в Альпы, а в начале февраля вышел номер газеты с первой частью интервью. Когда герой спустился с гор, сразу же позвонил мне. Он был свиреп, наверное, как никогда в жизни.

— Лев, что вы опубликовали? — кричал он в трубку. — Разве я сказал где-нибудь что-то плохое о Ботвиннике? Я к нему всегда хорошо относился.

— Но я опубликовал, Борис Васильевич, только то, что вы мне говорили, — ответил я спокойно, — и вы понимали, что я брал у вас интервью, и могли бы многие вещи не говорить. Я записал весь разговор на магнитофон, вы видели, что я это делал, и если прослушаете запись, то увидите, что ничего особенно хорошего о Ботвиннике вы не сказали.

Спасский замолчал. Видимо, он чутьем шахматиста все-таки что-то понял.

— Ну да ладно, — сказал он примирительно. — Когда выйдет следующий номер с продолжением?

— Вы можете приехать в редакцию на Фобур-Сент-Оноре во вторник. Газета выходит в четверг. И мы вместе всё выверим.

Спасский приехал в редакцию, как и обещал. Мы внимательно изучали каждое его слово в интервью — для трех оставшихся выпусков. Он сделал несколько небольших замечаний. Единственное, что изменил серьезно — ответ на мой вопрос о его убеждениях. Карпова и Каспарова он назвал большевиками, учениками Ботвинника (ах, опять Ботвинник!), а о себе дома он наговорил много и решил все это удалить. И написал своей рукой, что он — русский националист. Наверное, мое лицо искривилось, но я постарался не показать это. Мы попрощались как старые друзья.

А сразу после его ухода я пошел к Арине Гинзбург, ответственному секретарю газеты, жене Алика Гинзбурга, и спросил ее, что мы будем делать с этими словами — «русский националист». «Не кипятитесь Лева, — ответила хладнокровная Арина, — в конце концов, это не ваше признание, а Спасского. Если он хочет быть русским националистом, то пусть будет им».

На том и порешили.

Нерешительный смельчак

Конец 50-х — начало 60-х годов в советской истории, с легкой руки Ильи Эренбурга, назвали "оттепелью". Было много надежд, несбывшихся надежд. И в шахматах, и во многом другом.

Осмелюсь предложить мое стихотворение на эту тему, написанное совсем недавно.

Оттепель

Оттепель — странное слово.

Нет, не жара, не мороз.

Время с улыбкой суровой

Смотрит на лица без слез.

Глядя на наши заботы,

Глядя на нашу тоску,

Время задумалось — что-то,

Видно, с теплом не в ладу.

Нужно, наверное, больше

Людям замерзшим тепла,

Но от мурашек по коже

Плачет сухая Москва.

Оттепель. Разве возможно

Ласкою всех одарить?

Время, оно осторожно.

Видно, боится любить.

Я вдруг подумал о тех шахматистах, которые возникли на волне оттепели. Оттепели, которая была "подарена" народу Хрущевым, им же через несколько лет задущена и вскоре похоронена в эпоху Брежнева.

Таль, Штейн, Полугаевский... Эти гроссмейстеры внесли совсем иной аромат в эпоху академичных шахмат Ботвинника и Смыслова. Иррациональные шахматы — так даже говорили об их стиле игры.

Лев Полугаевский. Лева... Всё, кажется, было совсем недавно. Я вижу его живым. Особенный характер. Очень нерешительный — не скажу робкий — в жизни и отчаянно смелый за шахматной доской. Всегда в поисках чего-то нового, того, что не было до него. Но и за доской в нем боролась нерешительность — эти его цейтноты, и при этом непреклонная воля, всегда преодоление себя.

Кто-то даже назвал его смельчаком поневоле. Одного варианта, названного его именем, достаточно, чтобы понять, насколько креативен — употребим это слово — был Лева. Сейчас тот вариант исследован до дыр, но большая часть анализов все равно принадлежит Леве. Можно вспомнить, что претенденский матч с Талем Лева выиграл практически на одном варианте — СВОЕМ в сицилианской защите. Таль, великий шахматный комбинатор, не смог справиться с джунглями продолжений, разработанных автором этой острейшей системы — Варианта Полугаевского.

Я познакомился с Полугаевским в доме моего старинного друга Леонида Верховского. Леонид был долгое время тренером общества "Локомотив", за которое играли, помимо Полугаевского, Спасский, Гулько, Игорь Зайцев и другие известные шахматисты. Лева довольно часто бывал в доме Верховского. Часто я видел его во время застолий, приходил он обычно со своей очаровательной женой Ирой. Лева был великолепным тамадой, и я помню его тосты в доме Верховского на всяких семейных праздниках.

Верховский и Полугаевский много сотрудничали над разными книжными проектами. Великолепна книга о сицилианской защите. Увы, ее увидел только французский читатель - на русском, мне кажется, она не появлялась.

В 1984 году я работал переводчиком на семинаре ФИДЕ в Москве для молодых шахматистов из разных стран. Перед молодежью выступали Смыслов, Авербах, Тайманов... Но более всего на слушателей произвел впечатление Полугаевский. Наверное, своей увлеченностью шахматами.

Как-то он рассказывал студентам про какую-то свою партию. И так увлекся показом вариантов, стоя перед демонстрационной доской, что слушатели просто не успевали за пулеметной скоростью, с которой он передвигал фигуры. Я же, переводчик, никак не успевал за словами и мыслью гроссмейстера. Помню, в зал вошел Смыслов, он должен был выступать вслед за Левой. Наверное, Василий Васильевич ждал Леву полчаса, прежде чем тот, наконец, заметил экс-чемпиона мира. "Я Вас не задержал?" — спросил разгоряченный лектор старшего коллегу.

Лева всегда во всем сомневался, никогда ни в чем не был уверен. Свои молодые годы он провел в Куйбышеве. Но потом, став уже гроссмейстером и женившись, перебрался — не в Москву, а в Московскую область. Очень хотел жить в Москве. Но просто так приобрести квартиру в столице было невозможно.

И вот, как говорится, по протекции, Леве организовали встречу с одним человеком, отставным генералом, который ведал столичным жилым фондом. "Иди, — сказали Леве друзья, — не волнуйся, все уже подписано, получишь шикарную квартиру в самом центре! Только не волнуйся, не трелещи и не задавай никаких вопросов". Лева предстал перед светлыми очами этого отставника — этого, по выражению Довлатова, «неясного ветерана Халхингола». Тот хотел вручить Леве какую-то бумагу. А Лева в этот момент, одолеваемый своими всегдашними сомнениями, дрожа от понятного волнения, забыл о совете преданных друзей. Взял да и спросил: "Скажите, а какие гарантии вы можете мне предложить?"

Генерал, взвившись в кресле, рассвирепел. Вопрос этот и, очевидно, левино ненавязчивое грассирование разъярили начальника. "Вон из моего кабинета!" — заорал он.

Волею судеб случилось так, что Лева и я жили в одно время в одном городе, не самом плохом, — Париже. Я бывал в его уютной квартире около станции метро Порт Орлеан. Говорили о том, о сем. О шахматах, о каких-то общих знакомых. Лева играл в турнирах, тренировал французских шахматистов, писал статьи. Было много планов.

И догадаться я не мог, что дни его на этом свете сочтены. Он думал о больном Тале, который тогда, в начале 90-х, доживал отпущенный ему Всевышним срок. Когда Миши не стало, то Леву попросили написать статью о Мише для журнала "Эроп эшек". Я потом перевел ее на французский. Замечательная была статья. Теплая, настоящая статья друга о друге. Не знаю, была ли она опубликована потом в России.

И все же не буду о грустном. Вспомню что-нибудь смешное. Такой вот эпизод, рассказанный мне Спасским.

В оные времена во время одного из заседаний шахматной федерации СССР обсуждался вопрос, должны ли взять гроссмейстеры шефство над стройками коммунизма, чаще ездить в глубинку, а не увлекаться поездками во всякие там монрелали и щорихи. Присутствовавший на собрании Полугаевский задал вопрос ведущему, будут ли платить за поездки на стройки коммунизма командировочные, и если да, то как, где и когда.

В зале воцарилась гробовая тишина. Хотя, если бы все было нормально, люди должны были бы смеяться. Спасский полагал, что Лева задал этот вопрос по наивности. Теперь же, по прошествии стольких лет, можно думать, что в вопросе гроссмейстера была скрыта немалая доза иронии, но он так долго не выдавал свое отношение к советской власти, что просто никому в голову не пришло, что он мог над ней, этой властью, издеваться. И вопрос сошел ему с рук.

В 70-е, когда шахматная корона перешла к Карпову, а герои 60-х, из оттепели, отступили на второй план, таких вопросов, ни в шутку, ни всерьез никто уже не задавал.

Таков был Лева — наивный и шутливый, нерешительный и смелый...

Казимирыч, или Как лапша на уши вешалась

В ходе интервью, взятого у Бориса Спасского в Медоне в январе 1997-го, один из моих вопросов касался Толуша. Александра Казимировича Толуша, замечательного советского шахматиста, блестящего мастера атаки, виртуоза комбинационной игры, имя которого навсегда осталось в истории шахмат, как бы далеко они ни ушли и ни развились за все долгие годы после его кончины в 1969-м.

Ведь, помимо прочего, Толуш был учителем и тренером Спасского, причем опекал Бориса, можно сказать с юных лет. Пишу "опекал" не зря, ибо жизнь Бориса складывалась не очень счастливо. Война, когда он ребенком был эвакуирован практически с последним эшелонам из Ленинграда. Рос, не видя отца. Да и мать, бедная и не очень здоровая женщина, мало могла помочь ему.

У Александра Казимировича не было детей, и, как я понял из прочитанных когда-то воспоминаний вдовы Толуша, маленький Боря просто стал для них сыном.

В 1955 году в столичном Центральном доме культуры железнодорожников (или "у трех вокзалов") проходило первенство СССР. Десятилетний, я уже очень увлекался шахматами и со старшим братом довольно часто посещал туры того чемпионата. Впервые в нем играл Спасский, ему было тогда восемнадцать. Конкуренция с Ботвинником, Смысловым, Кересом, Геллером, Петросяном не помешала ему войти в число победителей и выйти в межзональный турнир, а потом и в турнир претендентов.



Помню фойе ЦДКЖ, гардероб — те места, где участников турнира можно было увидеть вблизи. Их окружали болельщики. Мне, маленькому, протиснуться через заслоны взрослых было очень трудно. Помню, как будто это было вчера, вдруг появился Ботвинник. После партии. Он прошел в гардероб, чтобы взять свое пальто. И рукавом этого пальто коснулся меня. Мне тогда казалось, что я причастился!

Но самым главным героем турнира, во всяком случае для меня и моего брата, являлся Спасский. Он был тогда очень худ и высок. Или казался высоким — я-то был еще карапет. Выглядел он как-то болезненно. На шее виднелся какой-то бинт, на который иногда накидывался шарфик. Возможно, болел ангиной, не знаю. И помню, что рядом с ним держался среднего роста мужчина — я тогда думал, что это его отец.

Брат объяснил, что перед нами гроссмейстер Толуш. Очень сильный шахматист и тренер Спасского. Это имя мне было уже известно, ведь "Казимирыч", как его называли тогда, за два года до того чемпионата победил на сильнейшем турнире в Бухаресте, и ему было присвоено звание гроссмейстера. А юный Боря в том же соревновании стал международным мастером. Всё это мне было очень интересно.

Во всех шахматных газетах и журналах в то время писали о необычайной дружбе между учителем и учеником. Часто о ней рассказывал сам Борис. Особенно подчеркивалось то, что искрометный шахматный атакер Толуш очень благотворно подействовал на эволюцию шахматного почерка своего ученика. Под влиянием опытного шахматиста и учителя Борис начал смело и даже рискованно комбинировать, не скупясь на жертвы фигур и пешек. Его шахматный стиль достиг необходимого синтеза — гармонии позиционного маневрирования и алексинского комбинационного размаха.

В своей книге "Антишахматы" Корчной написал, что он завидовал Спасскому, потому что его учителем был Толуш. Завидовал именно тому, что Толуш научил Бориса с юных лет смело расставаться с шахматным материалом, жертво-

вать, играть, полагаясь на интуицию, не отсиживаться в окопной защите. Корчной жалел, что у него не было такого учителя.

Старые взгляды сильны. Особенно когда они становятся застарелыми. А потом происходит — если происходит! — какое-то просветление. Но к нему уже не просто привыкнуть. Новые взгляды на старости лет даются трудно. То, что происходит со мной сейчас. Об этом и воспоминания.

И вот, когда в интервью с Борисом Васильевичем я "добрался" до Толуша, гроссмейстер с удовольствием вспомнил своего старого учителя. Об игре с ним в турнирах, о путешествиях по белу свету, о разных смешных эпизодах, даже о застольях. Оба не чурались нарушать спортивный режим. Все это я слушал с неподдельным интересом. Живые, в конце концов, мы все люди.

Но шахматная вьедливость все-таки одолевала меня. Уж очень мне хотелось знать, как именно Толуш работал над шахматами и воспитывал юного Спасского.

— Работал? — удивился Борис Васильевич. — Да я над шахматами никогда не работал. Особенно с Толушем. Казимирыч даже не знал такого слова применительно к шахматам. Ближевали мы с ним немало, а так — чтобы теорию, какие-то там дебюты... Мы этого просто не знали. Только Корчняк работал по 16 часов в сутки. Да Лева Полугаевский еще. Ботвинниковцы!

— Ну, а как все-таки ваши жертвы? — не унимался я. — Ведь Толуш вас научил этому... Вроде бы вы играли достаточно сухо, когда еще не знали Толуша.

Я говорил, спрашивал, а уверенность в том, что задаю правильные вопросы, таяла. Спасский смотрел на меня совершенно непонимающим взглядом.

— Да вы знаете, все эти жертвы, все это потом приходит. Само собой, от природы, если это заложено. Мальчишка растет, развивается, происходят какие-то качественные изменения, взросление. Объяснить трудно, все происходит само собой. Вон Карпов. Какой шахматный сухарь был в детстве! А потом стал комбинировать. Да еще как! При чем тут тренер?

Своими аргументами Спасский долбил всю мою столетнюю заскорузлость.

— Но вы же сами говорили, что Толуш помог вам вырасти как комбинационному шахматисту, научил жертвовать.

— Ох, знаете, — я, кажется, уже надоедал собеседнику, — да если бы я следовал советам Казимирыча, как и что жертвовать, то я бы так кандидатом в мастера и остался. Я помню, что, когда и если мы садись анализировать мои отложенные, то он часто предлагал мне что-то пожертвовать. Вместо того чтобы анализировать потихоньку эту жертву, мы ставили часы и разыгрывали жертву, блинцу. И я его почти никогда не слушал. Потому что все эти жертвы были с потолка, совершенно неподготовленные и неоправданные. Так Толуш и играл сам в шахматы. Как варяг! У него была типично ноздрёвская игра. Талант огромнейший! А так, если подумать, — то куда лошадка вывезет!

Я сидел в уютной гостиной Спасского в Медоне. Но мне было не очень уютно. Я был совершенно пришиблен откровениями Бориса Васильевича. Все, о что я верил с давних лет, оказывалось туфтой.

При этом я испытывал двоякое ощущение. С одной стороны, Спасский говорил о Толуше с симпатией, как и в прежние годы; с другой, та правда, а я был уверен, что это была правда, о Толуше как об учителе бередила мне душу и сознание. Значит, Спасский, многие годы говоривший о своей любви к Толушу, совершенно не был искренен в рассказах о нем как о шахматисте.

Интересно, что думал сам Толуш — а теперь мы это никогда не узнаем — о мнении Спасского о нем. Шахматном мнении.

Все их отношения держались только на личной симпатии (не так уж мало!), а профессиональный контакт был весьма небольшой. У каждого было абсолютно свое понимание игры. Ничего, так сказать, общего.

А на уши почтеннейшей публики вешалась лапша. Которая так на долгие годы и повисла! И я бы ничего не знал об этой лапше, если бы не памятная беседа...

Вспоминая и грустя

Трудно представить — моему шахматному учителю и другу Юрия Абрамовичу Бразильскому было бы сейчас далеко за восемьдесят.

Имя этого человека — шахматиста, педагога, журналиста, редактора — предано незаслуженному забвению. А ведь о нем можно и должно было написать в «Энциклопедическом словаре шахмат», вышедшем в Москве в 1990 году. Тем более что авторы и редакторы словаря по большей части люди, книги которых Бразильский редактировал для издания в издательстве «Физкультура и спорт».

Что поделать. Возможно, такова человеческая память. А может быть, многое делается сознательно — возвеличить одних и забыть других.

Я помню его молодым. В 1954-м девятилетним мальчиком привел меня отец в шахматный кружок дома пионеров Кировского района в Москве. В комнате, наполненной детьми, игравшими в шахматы, впервые увидел Юрия Абрамовича. И влюбился на всю жизнь! Шахматному педагогу было тогда только двадцать пять лет!

То было особое время в моей жизни. Детство всегда дорого. А такие люди как Бразильский встречаются крайне редко, и свет их душ отражается в тебе неизменно всю твою жизнь. В нем было всё: и доброта, и строгость, и справедливость, и демократизм — любил всех своих учеников, но не из кого не делал любимчиков, никого не проталкивал, как делали другие тренеры, в московские юношеские чемпионаты. Всего нужно было добиться своим трудом, занятиями, игрой, в конце концов набранными очками — все должно было быть честно по чести — безо всякого блата!

Вместе с тем, как много лет спустя рассказывал мне сам Бразильский, главным для него в шахматной педагогике было выращивание не мастеров и гроссмейстеров, а духовных людей — интеллигентных и интеллектуальных.

Наш дом пионеров располагался в старинном особняке на улице Лужниковская (потом ее переименовали в Бахрушина). Район был весьма пролетарский, рядом знаменитая Зацепа со своим рынком, описанным еще Гиляровским. Дети, понятно, были не княжеских кровей, но Юрия Абрамовича, как он говорил мне, привлекало именно это культуртрегерство. Дети рабочих отвлекались от улицы, и шахматы были для Бразильского тем волшебным факелом, который озарял их не слишком богатую в 50-е развлечениями юношескую пору.

Позднее, когда Бразильский уже отошел от педагогики, он возглавлял комиссию при московской шахматной федерации, занимавшуюся юношескими шахматами. Во многом благодаря нему, в то время выдвинулись такие шахматисты, как Разуваев, Гулько, Дворецкий...

В 50-е годы он много играл в турнирах, мечтал стать мастером. Тогда это было высокое звание, и для него, как для многих, оно было фетишем. Понимание

шахмат, знание их были у него необыкновенными, но не хватало характера, нервов. Был слишком впечатлителен.

Да, возможно, мешала, излишняя принципиальность. Помню, он получил право на матч за звание мастера (были такие славные времена!). Мог выбрать себе экзаменатора послабее (тем более что сам входил в московскую федерацию). А предпочел играть с Я.Б. Эстриным, прекрасным, опытейшим шахматистом, к тому же знатоком теории. И захотел Бразильский дать бой Якову Борисовичу в дебюте двух коней. Но ведь именно в этом дебюте Эстрин был специалист, каких поискать! Как Ботвинник говорил когда-то Флору: «Какой же я чемпион мира, если не буду знать ладейного эндшпиля, когда нужно бороться против проходных пешек «а» и «с»?». Бразильский не считал возможным считать себя мастером, если не победит Эстрина именно в защите двух коней!

Не стоит говорить, что в этом матче он потерпел полное фиаско. А вообще, могу вспомнить, что играл Юрий Абрамович в те годы с такими шахматистами, как Симагин, Аронин, Шамкович, Хасин. Играл и с более «слабыми» — такими как Бейлин, Васильчук, Прохорович, Нейштадт, Хенкин, Воронков. Долгие годы связывала его дружба с Борисом Григорьевичем Воронковым. Помню, как он приглашал его не раз в наш шахматный кружок, и мне доводилось играть с незабвенным Борисом Григорьевичем. В сеансах...

Конечно, в душе Бразильский очень страдал от того, что не стал мастером, но никогда он никому не завидовал. Начиная свой шахматный путь (наверное, здесь стоит вспомнить, что шахматным учителем и идеалом в жизни был для Бразильского мастер Равинский. О нем мне хотелось бы написать отдельно) еще в юношеских первенствах СССР, в которых играли Петросян и Корчной — так что, казалось, что тоже открыт путь к вершинам. Вспоминаю, как во время матчей Петосяна со Спасским он болел за Тиграна Варгановича — с ним он всегда был связан памятью никогда невозвратимой юности.

Новый период в жизни Бразильского начался, когда он приступил к работе редактора шахматной литературы в издательстве «Физкультура и спорт». Лучше, наверное, было бы сказать, что новый период начался в издании шахматных книг в СССР. Можно вспомнить, что до 1964 года, пока Бразильский не стал редактором, книг на шахматные темы в СССР выходило мало, и издание каждой занимало годы.

Как Бразильскому удалось вывести издательство из «шахматной спячки», честно говоря, ума не приложу. Именно он явился инициатором так называемой «большой черной серии» — книг, посвященных выдающимся шахматистам мира. И по сей день, даже в такой стране, как Англия, где выходит много шахматных книг, нет ничего, что бы походило на серию ВШМ.

При Бразильском стали регулярно появляться книги, посвященные различным дебютам и дебютным вариантам. К работе над ними привлекались самые выдающиеся специалисты в этой области — Геллер, Багиров, Моисеев, Эстрин, Константинопольский, Ботвинник.

Особо надо сказать о сотрудничестве Бразильского с Ботвинником. Ведь первое в мире монументальное издание, посвященное Михаилу Моисеевичу, вышло под редакцией Бразильского. Юрий Абрамович с юношеских лет боготворил Ботвинника — на первом советском чемпионе выросло целое поколение людей. Ботвинник был более чем своеобразный человек. И перечить ему было трудно — тем более трудно было исправить хотя бы одно слово в его рукописи. Зная мягкость характера Бразильского, его трепет перед Ботвинником как великим шахматным

авторитетом, только можно подивиться, как Юрий Абрамович добивался от Ботвинника и правок текста, и, что самое удивительное, исправления попадавшихся в тексте чисто шахматных ошибок!

Судьба человеческая непредсказуема. Гораздо более пожилому Ботвиннику довелось хоронить Бразильского. Друзья Юрия Абрамовича хотели похоронить его в одной могиле с его отцом на Востряковском кладбище. Но «по закону» в то время это не разрешалось. Ботвинник вызвался помочь. Поехал в Востряково и убедил директора кладбища дать разрешение на захоронение. Позднее друзья Бразильского вспоминали фразу Ботвинника: «Жить в этой стране трудно, а умереть еще труднее!»

О человеке судят по его друзьям. Среди многих друзей Бразильского назову двух: гениального физика Вольдемара Смиггу и человека-энциклопедию Натана Эйдельмана.

С Валькой-физиком его больше связывала лирика — любили вместе посидеть с друзьями за вкусным столом и предаться воспоминаниям. Интересно, что Смигга вместе с Бразильским начинал шахматную карьеру в сороковых. Смигга мне всегда напоминал физика Гусева в исполнении Баталова из фильма «Девять дней одного года»: мог также написать на салфетке в ресторане гениальную новую формулу.

Тоник Эйдельман, который, по выражению поэта Александра Городницкого, вполне заменял собой всю Академию исторических наук, поверял Бразильскому все свои творческие замыслы.

А чего стоило Бразильскому со всей его деликатностью пробить издание в СССР фишеровских «60 партий»? Как он смог протиснуться через всю эту гущу, бронно издательских генералов от шахмат, этих геббельсов от шахматной литературы? Фишер для них был «врагом советской власти». Упоминать его имя в начале семидесятых можно было только в уничижительном контексте. Как Бразильский смог добиться издания этой книги? Я так никогда и не задал ему этот вопрос. О чем сейчас лишь сожалею.

Одного не забуду никогда. Один из дней в августе 1971 года. Я нахожусь в отпуске в Пярну. Вдруг в дверь звонит почтальон. Открываю телеграмму из Москвы от Бразильского. В ней всего четыре слова: «ЛЕВ ФИШЕРА ПЕРЕВОДИТЬ БУДЕМ». Он так меня и в детстве звал — Лев. В этом было что-то ласковое, какая-то похвала. Никаких Лева и прочих.

Перед ним я всегда в долгу, и нет ничего слаще этого долга. Перевел блестящую книгу, по которой столько людей учились и, наверное, сейчас учатся шахматам. Почувствовал, благодаря Учителю, вкус к писательству. И всегда спрашиваю себя, был бы он доволен тем, что пишу о шахматах и шахматистах. Всегда сверяю себя с ним.

Да, всегда сверяю себя с ним. Например, с его чувством справедливости. Справедливости во всем. Это было для Бразильского самым главным. Как-то я спросил его, почему он, окончив юридический институт, никогда не работал юристом. «Знаешь, Лев, я мог бы сказать тебе, что шахматы я любил больше. Но самое важное, это то, что я никогда бы не мог быть ни адвокатом, ни прокурором. Противно делать было бы бесполезную работу в стране, где нет ни права, ни справедливости».

Как он любил справедливость, так ненавидел халтуру. Помню, как учась в низзе курсе на третьем, я стал давать уроки английского детям — нужно было

иметь хоть какие-то деньги, чтобы приглашать девушек в кино и угощать их мороженым (отец давно умер, а матери приходилось трудиться за мизерную зарплату). Бразильский, узнав о моей халтуре, сказал мне: «Смотри, не увлекайся деньгами. Лучше потратить это время на занятия, чтобы лучше самому освоить английский».

Когда молод, не думаешь о стремительном беге времени. Как в стихах, «и жизнь короткая, как песня, бессмертной кажется с утра». Увы, это не так: с бессмертием дело обстоит неважно, а молодость пролетает быстро. Из-за этого молодого легкомыслия не собрал ни одной партии Бразильского.

Увы, нет у меня и его фотографий. Может быть, кто-то, прочтя эти строки, откликнется на мою просьбу прислать все, что возможно, касающееся дорогого мне человека.

Правда, пару лет назад мне повезло. В одной из своих статей я упомянул имя Бразильского, и один аргентинский (!) журналист прислал мне такую его партию:

Бразильский, Юрий - Петросян, Тигран Ленинград, 1945,
Юношеское первенство СССР

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Kc3 Cb4 4. e5 c5 5. Cd2 Kc6 6. Kb5 C:d2+ 7. Ф:d2 Kd4
8. K:d4 c:d4 9. Kf3 Ke7 10. Kd4 Kc6 11. Cb5 Фc7 12. O-O Cd7 13. C:c6 b:c6
14. f4 c5 15. Kf3 O-O 16. Kph1 f5 17. e:f6 Л:f6 18. Ke5Лaf8 19. K:d7 Ф:d7 20. Лf3 Фd6
21. Лaf1 e5 22. f:e5 Л:f3 23. Л:f3 Л:f3 24. g:f3 Фе5 25. Фа5 d4 26. Фb5 Фе1+
27. Kpg2 Фd2 28. Kpg3 Фg5+. Ничья.

Никогда не изгладить из памяти страшного дня, когда я узнал о кончине Юрия Абрамовича. Утром 23 июня 1975 года мне позвонил мой старший брат Борис (когда-то он учился с Бразильским в юридическом институте) и сказал: «Держись, брат. Вчера умер Юра Бразильский...» Я застыл с трубкой в руке. Меня словно поразил гром. Я не мог плакать. И не мог ничего сказать. Не было ни слез, ни слов. Так бывает, когда уходит по-настоящему дорогой человек.

Потом оцепенение отошло и вспомнился голос, который я любил с детства. Потом лицо, походка. Чуть позже в памяти возникли его жесты, любимые выражения и словечки. То, что помню и по сей день. Вспомнился умный взгляд его серых глаз, в которых мысль, душа и доброта жили единой жизнью.

Помню, подумал о том, что видел его всего за неделю за кончины. Зайдя к Бразильскому в редакцию на Новослободской, я заметил много окурков в пепельнице. «Вот опять начал курить. Помирать — так с музыкой!» — сказал он. Вид у него был уставший, видно было, что плохо спал. «Вчера со Смигой засиделись за полночь, вспоминали старые времена, друзей. Иных уж нет, а те далеке...» Он словно предвидел свой скорый конец, как бы пророчествовал самому себе... Чувствовал себя он и правда жутко: болели ноги, никуда не годились сосуды. Но, казалось все же, что минует печаль...

Теперь, думая о Юрии Абрамовиче, остается только грустить — такого друга уже никогда не встретишь. Игрешься только от мысли, выраженной поэтом: «...мне хорошо в твоей большой тени»...

Сослагательное наклонение

Прихожу однажды на очередной урок английского к Михаилу Моисеевичу. Садимся, как обычно, в его кабинете за стол. Начинаю объяснять ему что-то — помнится, о сослагательном наклонении. Но замечаю, какой-то он сегодня не очень

внимательный, что с ним бывает крайне редко, если бывает. Как-то даже ерзает он на стуле. А потом говорит: "Лев Давидович (он ко мне всегда так обращался, хотя старше меня на 30 с лишним лет), у меня есть сегодня на вечер пригласительные билеты в Дом журналиста. Пойдемте вместе. Какое-то кино будут показывать. И женщины там будут миленькие, думаю".

Я не знал, что сказать. Соблазнительно, конечно, с Ботвинником, выйти в свет. Показаться, так сказать, на людях. А с другой стороны, такого легкомыслия от Михаила Моисеевича я не ожидал никак. А эти миленькие женщины? Неужели это Ботвинник? Ведь серьезнее на свете я никого не считал.

Я растерялся и решил сказать правду. "Вы знаете, Михаил Моисеевич, я должен пораньше дома быть сегодня. Жена ждет..."

Это была чистая правда. За несколько месяцев до знакомства с Ботвинником я женился, и юная жена уже была в интересном положении.

"О, какие у Вас высокие нравственные принципы, — сказал Ботвинник. — Я тоже такой был в молодости. Никогда жене не изменял. Наверное, правильно. Хотя сейчас жалею. И Вы, Лев Давидович, тоже жалеть будете. Так что Вы там сказали про сослагательное наклонение?"

Ботвинник был провидцем. Я и сейчас жалею, что отказался от его приглашения. Но ведь сослагательного наклонения в жизни нет...

Талло было бы 78?!

Когда думаю о Тале, в памяти все время перемешивается грустное с негрустным.

Никогда не забуду, как я увидел восьмого чемпиона мира в мае 1989 года, за четыре месяца до своей эмиграции, в Измайловском комплексе на турнире-отборе к Кубку мира. Тогда по Москве пронесся слух, что Таль то ли умер, то ли при смерти. Во всяком случае, в Измайлово никто его не ждал — тем более, что он имел право, по-моему, без отбора играть в Кубке.

И вдруг в самый разгар единственного тура, на который я пришел, по лестнице в зал поднимается Таль — один, без друзей, без кого-либо рядом. Появление это можно сравнить с разрывом снаряда. Никто не ожидал его увидеть! Но самое главное — ощущение было такое, что с того света явился покойник, чтобы еще раз порадоваться шахматам, повариться в атмосфере, которая была для него, как вода для рыбы. Самое грустное и запомнившееся было то, что в тот момент никто даже не смел приблизиться к нему, хотя мы знаем, как все и всегда лили к нему. Потому что он выглядел, как выглядит, должно быть, Смерть. Думаю, что это было его очередное бегство из госпиталя — никак иначе. Это было не лицо, а маска покойника, а от его и так худющего тела не осталось ничего. Глаза его, как всегда, горели, но когда они горят на живом лице, это одно, а тут весь ужас был в том, что лицо его было мертво, и от этого становилось страшно.

Таль стал ходить между столиков, бросая взгляд на игравшиеся партии. Я как-то улучил момент и стал маячить не так далеко от него, наблюдая, конечно, за ним, а не за партиями. И ужас мой от того, что я вижу совершенно потустороннего человека, не того веселого Мишу, горевшего жизнью и юмором, еще более овладел мной. Я просто хорошо помню, что у меня на глазах выступили слезы. Мне казалось, что он просто пришел попрощаться с шахматами. Сегодня я думаю, что ни один человек, ни известный шахматист, ни безызвестный в таком состоянии никогда бы не пришли, и пригом в одиночку, на шахматный турнир.

В тот момент я не думал, что мне когда-то снова доведется видеть Таля. И где — в Израиле! И очень скоро! В ноябре 89-го в Хайфе проводилось командное первенство Европы, и мой очень хороший друг Йоханан Афек, израильский международный мастер, по приглашению которого я смог эмигрировать и курировавший мою жизнь в Тель-Авиве ежедневно (первые три дня после приезда я жил в его квартире), отправил меня в Хайфу работать в пресс-центре первенства.

Это были мои золотые денечки: утром и днем я наслаждался беззаботной жизнью, гулял, ел (за столом со мной сидели шахматисты — Юдашин, Васюков, Капенгут, теперь покойные Гуфельд и Ольш, — всех уже не помню)... А вечером в турнирном зале я встречал Полугаевского, Смыслова и... Таля! Все они были гостями и приехали с женами. Таль выглядел ужасно, но все же живее, чем тогда, тремя месяцами ранее, в Москве. Ему суждено было жить еще почти три года.

Помню как сейчас нашу экскурсию в Иерусалим, как мы гуляли у Стены Плача. Поездку на автобусе со всеми советскими участниками и гостями, когда я, уже «старожил», объяснял всем, особенно Смыслову, интересовавшемуся религией, что и где находится неподалеку от Стены Плача. Помню веселый ужин в придорожном ресторане, где-то между Иерусалимом и Хайфой, когда наш автобус сделал «стоп».

Таль тогда приехал в Тель-Авив два или три раза, и каждый раз я наблюдал за ним. Обратил внимание, что он, как и всегда, борется изо всех сил (но сколько их оставалось?). Каждая партия для него, как последняя и решающая в жизни. Когда он делал ход, то, как и прежде, прогуливался. Какие-то люди подходили к нему поздороваться и хотели поговорить, но он мило улыбался и быстренько уходил куда-то в сторону — чувствовалось, что он весь в борьбе, там за доской, и что это единственная горящая его жизнь, а все остальное уже тлен. И становилось грустно, очень грустно...

В те мгновения, как и поныне, я вспоминал другого Таля. Того, которого впервые увидел в 57-м году на первенстве СССР в ЦДКЖ. Брат водил меня на турнир. Помню, как трудно было купить билет. Очередь в кассу — представляете? Этим, кажется, все сказано про шахматы — каким они были вчера и что стало с ними сегодня. Запомнились те партии, которые я видел прямо в зале. Почему-то помню, как Таль не выиграл очень красиво у Антошина (не нашел матовый вариант со своими белыми конями на f7 и h5). Помню потрясающую атаку Таля против Кламана — кажется, Таль в цейтноте сделал гениальный «вкрадчивый» ход Кра1. Помню истошный крик по радио Синявского: «Таль — чемпион!», когда он выиграл вдохновенную партию последнего тура у Толуша. Все это забыть невозможно.

Помню и матчи с Ботвинником. Театр Пушкина весной 60-го года. Я жил там, где и родился, на Большой Молчановке, рядом с Арбатом. Ходьбы до театра Пушкина минут десять. На партии было попасть невозможно. В основном наблюдал все по демонстрационной доске на Тверском бульваре. Там собиралась огромнейшая толпа. Помню, что был и на партиях — на третьей, когда Таль белыми в Каро-Канне после 1.e4 c6 2.Kc3 d5 3.Kf3 Cg4 4h3 C:f3 сыграл 5.g2:f3?! Ботвинник остолбенел — впрочем, как и весь зал. Правда, всю партию Патриарх давил, но потом под цейтнот Таль все-таки взорвал позицию, и все закончилось вечным шахом.

Самое большое везение, что я видел напрямую в зале шестую партию. Староиндийскую, где Таль поставил своего коня на f4. Что творилось! Партию перенесли за сцену, зал ревел. Ботвинник был красный, как рак, а Таль носился по сцене — поэтому и перенесли игру за кулисы. Наверное, нечто подобное было только раз,

когда Ботвинник в 51-м году в девятой партии с Бронштейном выиграл ладью, сразу в дебюте проведя пешку в ферзи на a8, а тот продолжал играть, как ни в чем не бывало. Брат был на той партии и рассказывал мне, что творилось.

Более всего, как нечто радостное в жизни я запомнил, как опять же с братом ходил на многочисленные вечера встречи с Талем в Москве после матча. Они устраивались в ВТО, ЦДРИ, Доме литераторов, журналистов и т.д. Таль отвечал на вопросы, всегда это было остроумно, живо. Так не похоже на всех других знаменитых и незнаменитых шахматистов. Помню почему-то вечер, где Талья представлял Плягт — сам бывший обаятельнейшим человеком и большим юмористом. Казалось — и наверное, так и было, — что ничего более интересного, чем эти встречи, на свете нет и не будет...

Поражало и то, с каким уважением Таль всегда говорил о шахматистах, о своих соперниках, в частности, о Ботвиннике. Как это непохоже на то, что мы видим сегодня, или, например, на те отношения, которые были между Карповым и Корчным, или Каспаровым и Карповым. Вообще, Таль просто не был похож ни на кого! Трудно представить себе его сегодня. Неужели он криковал бы Путина, организовывал бы свои партии (политические), комитеты? Он знал, что служит одним шахматам. Наверное, он посмеялся бы над этим «служит» — он ведь жил только ими, а все остальное, думаю, было лишь приложением, поистине тягостной службой.

* * *

Привожу два фото из моего архива.



Турнир в Цюрихе, 1959 год. Таль наблюдает за игрой Бобби Фишера. «Как молоды мы были!» Фишеру 16 лет, а Талю еще нет 23-х. Замечу, что потом Таль никогда так Элегантно не одевался.



Героев этого снимка узнать просто: Тайманов, Петросян, Корчной (Рига, 1958 год). Таль во второй раз завоевал звание чемпиона СССР.



Владимир Фрумкин, Тамара Львова

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Повесть-переключка

(Окончание. Начало в №10/2014)

ТАМАРА ЛЬВОВА

День добрый, Володя! Не знаю, как отнесёшься ты к моему предложению продолжить нашу переключку *через океан* — из России в Америку и обратно. Как ты на это смотришь? Мне есть о чём рассказать тебе и вместе с тобой, возможно, кому-то ещё. Согласен?

«ЭТО МОЁ?»

Володя! Расскажу о моей подруге, очень близком мне человеке, и её истории, которой я была свидетелем и отчасти участницей. Имя я изменю — ты поймёшь почему. «Итак, она звалась Татьяной.»

Однажды — было это давно — Таня спросила меня: «Хочешь, я расскажу тебе, когда окончательно и бесповоротно поняла, что коммунизм — утопия и никогда не осуществится?» — «Расскажи», — согласилась я, честно говоря, без особого энтузиазма: снова пойдут политика, экономика, может быть ещё Томаса Мора с его «Утопией» и Томмазо Кампанеллу с «Городом Солнца» припомнит и, конечно же, все уже в наше время трагически одна за другой провалившиеся попытки осуществить вековую мечту человечества об абсолютной справедливости. Всё это мы уже «проходили». Как же я ошибалась, Володя!

Таня стояла у калитки, очевидно только что покрашенной в ярко-зелёный цвет, — рука прилипла, когда она дотронулась. Долго стояла, не решаясь войти — толкнуть эту зелёную калитку... Одно движение и — другая жизнь, совсем иная, новая. И ещё боялась глаз, детских глаз — в них вопрос, надежда, мольба: «Чья мама пришла? Может быть, моя?.. Тётя, Вы — моя мама?» А потом глаза погаснут: «Нет, не моя, Наташкина. А когда — моя?..» В это время у детей прогулка. И они — всякий раз, когда она приходила гулять с Наташей, — бросались к ней. Но сегодня — не прогулка. Сегодня она Наташу забирает. Совсем. Навсегда... Таня толкнула калитку.

Да, всё осталось позади. Её первый приход в этот дом два месяца назад — один из лучших детских домов в Ленинграде, в самом деле очень хороший (она была во многих, пока искала свою единственную!). Дети чистенькие, накормленные; в игровой комнате — множество игрушек (Володя, обрати внимание на эту деталь); воспитательницы приветливые, не орут (всякого она насмотрелась). И заведующая замечательная, добрейшая, а улыбается как! Она и привела в свой кабинет Наташу — показать «потенциальной маме». Нарядили её, как невесту, причесали — куколка, а не девочка. Только в глазах всё тот же вопрос и надежда: «Это моя мама?» Наташе скоро четыре. Её так называемые биологические родители-пья-

ницы буянили, лишены родительских прав — на них пожаловались соседи по коммуналке. У Наташи — три старших братика, но они уже в школьных детдомах, она их не помнит. Много болела, дважды лежала в больнице с воспалением лёгких. Но девочка, девочка — чудо! Весёлая, умненькая — золотая девочка! Так расхваливала её заведующая: изо всех сил старалась пристроить своих деток, как она говорила, «в порядочную, интеллигентную семью». Наташу — так показалось Тане — она любила особенно: и радовалась, и грустила, отдавая её. Но надо было спешить: «переростков», лет с пяти, брали неохотно — новые родители хотели, чтобы ребёнок забыл о прошлом, знал только их... (Знаю, Володя, что у вас, в Америке, иначе: берут и больных, и подростков. У нас — нет, и тогда, и теперь.)

2 января 2014 г. (перечитываю текст: готовим к изданию).

Как не вспомнить после этих строк нашу великую детищу нашей Думы — «закон Димы Яковлева», или, как называют его, «закон подлецов», запрещающий американцам усыновлять наших детей, даже тяжело больных. Я вчера позвонила Тане. Поздравила с Новым годом и спросила: решилась бы она ввести Наташки взять большого ребёнка? И моя добрая, славная Таня ответила твёрдо: «Нет, ни в коем случае. Не было тогда у нас в стране — и сейчас нет! — условий для этого, и у меня не хватило бы сил... Нет, не могла бы...»

Но вернёмся к давнему рассказу моей подруги...

Навсегда запомнила Таня их прощание с домом, в котором Наташа жила и росла, кажется, около трёх лет, после Дома ребёнка, — с хорошим домом. С обеих сторон лестницы, по которой они спускались со второго этажа на первый, словно коридором стояли все служившие там: воспитатели, няни, повар, медсестричка, заведующая, конечно, — провожали. И — Тане это-то больше всего и запомнилось! — почти все со слезами на глазах. Кто-то даже вслух всплакнул... Все желали им обем, Тане и Наташе, добра и счастья. И Таня тоже не могла сдержать слёз. А Наташа, как в забытьи, прижимала к себе привезённого ей мамой Таней большого зайца. Она теперь всё знала: заведующая, тётя Надя, ей объяснила, что она, Наташа, когда-то очень давно потерялась, мама Таня её искала, искала и теперь нашла; что они даже не знали, как её зовут, и придумали ей имя Наташа; что только мама знает её настоящее имя, и зовут её теперь... (Да, Таня дала дочке другое имя и день рождения изменила: она имела право сделать её на полгода старше или младше...)

А потом они долго ехали: и на трамвае, и на троллейбусе. Всю дорогу Наташа, не отрываясь, испуганно, оторопело смотрела в окно: машины, трамваи, а людей, людей сколько! Целый мир, совершенно новый, невиданный мир ворвался в её маленькую жизнь. Она по-прежнему крепко прижимала к себе зайца, но ещё крепче другой рукой держала мамину руку — до боли, откуда силёнки взялись! Именно в эту минуту, когда почувствовала в своей руке маленькую, чуть дрожащую ручку, проснулось в Тане то, о чём она мечтала (панически боялась: а вдруг не проснётся?), — любовь, да, материнская любовь к этому беззащитному, так жестоко обиженному судьбой существу, которое не будет, нет, не будет больше беззащитным...

А где же Наташин новый папа — тогда ведь отдавали ребенка только в полную, нормальную семью (теперь, кажется, иначе)? Папа у Наташи был и очень хотел скорее увидеть дочку. Просто так получилось, что в этот такой важный — важнейший! — день ему пришлось уехать в срочную командировку...

И вот они приехали домой. Разделись. Таня открывает дверь в детскую. Они входят туда вдвоём, держась за руки. Наташа видит и... целенеет: игрушечное царство! Столик, стулья, шкафчик, кровать. А посуды-то, сколько посуды: тарелочки, чашечки, ложечки, вилочки, ножички. И даже сахарница, такая красивая, и солонка. За столиком и в креслицах важно восседают — ждут хозяйку — куколка-девочка, и куколка-мальчик, и собачка, и кошечка. (Это неммыслимое и, конечно, не наше, «заграничное» богатство я помогала Тане через свои знакомства «достать» — у нас такого и в помине не было.)

Наташа молчит. Долго. Очень долго. Таня уже волнуется. У девочки краснеют щёки. Таня дотронулась: щёки — пылают. Наташа поднимает к маме лицо и дрожащим, едва слышным голосом, не веря, но робко надеясь на счастье, спрашивает... Всего два слова: «Это моё???» — «Твоё», — отвечает Таня. — «Всё моё?» — «Всё». Наташа ещё больше краснеет и вдруг падает на коврик рядом со своим богатством. Таня вызывает «скорую». Врач сказала: «Нервное потрясение. Ничего. Не страшно». Сделала ей укол, дала таблетку. Между прочим, когда малышка пришла в себя и врач спросила: «Как тебя зовут?» — в первый и последний раз она произнесла своё прежнее имя: «Натаса Власова». И... навсегда забыла. Или это чувство самосохранения?.. Тане пришлось назвать врачу другое имя и фамилию и объяснить происходящее; врач тоже почему-то прослезилась. Дала ещё какие-то советы, сказала, что зайдёт завтра навестить (и зашла! и не раз!)

Девочка жила в хорошем детском доме, у них там было много игрушек. С рождения(!) её приучали, что всё может быть только общее. Только «наше» и никаких «моё»! Откуда же, из каких глубин — из самой, значит, человеческой природы — пробилось, прорвалось: «Это моё»?

Тогда, сказала мне Таня, и поняла она окончательно и бесповоротно, что «моё» всегда будет в человеке и никакое «общее» его не победит. А значит, и коммунизм — это утопия. Неосуществимая мечта человечества.

Володя! Ты помнишь эпиграф к первой части моих писем к тебе? Из М. Цветаевой (она — о стихах, я — о воспоминаниях):

*Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет...*

Я повторяю его снова: «как брызги» — в разные стороны, о разном, из разного времени. «Картинки», запавшие в душу, в память, — о времени, в котором довелось жить. Не я, кажется мне, в их центре — оно, время...

В ГОСТЯХ У ТЁТИ ФАНИ

По-моему, я говорила тебе, Володя, о том, что у мамы была младшая сестра Фаня, красивая, яркая, очень музыкальная (напевала не переставая, играла на пианино — музыке никогда не училась!), безусловно одарённая разносторонне. К тому же приветливая, весёлая. Вижу в ней ещё одно свидетельство великой несправедливости — кого там? — Всевышнего, Природы, Судьбы?

Её родная сестра, всего на год старше, Соня — некрасивая, неловкая (семьи у неё никогда не было, без любви прожила, и учиться ей было трудно, а Фане — играючи!) — всю жизнь пыталась за ней угнаться. Куда там!.. Соня, наверное, была добрее всех: как помогала родным в годы войны, особенно дяде Арону и тётке Бете

с тремя детьми, когда судьба забросила их в Среднюю Азию (а сама бедствовала)!.. Обе сестры закончили мединститут заочно, работая санитарками.

Но... Соня стала рядовым врачом, а Фаня — выдающимся кардиологом. Помню, когда уже студенткой я была у неё в гостях в чудесном городке Юрмале, где она со вторым мужем работала в госпитале (об этом — позже), мне то и дело встречались на улице тяжело раненные ещё на фронте, но уже ходячие, на костылях. Они подходили ко мне, улыбались приветливо, спрашивали: «Ты племянница Фаины Константиновны?» — «Да». — «Классная у тебя тётка. Самый лучший доктор. Все её любят. А добрая какая! Внимательная. Все бы такие...»

Так вот... Я упомянула — «со вторым мужем». Хочу рассказать о первом. Звали его Мишей. Был он врачом, ещё тогда очень молодым, но уже, кажется, профессором. Типичным профессором: тут уж не об одарённости речь, она у многих, а о таланте. Очкарик-еврей, высок, тощий, смешной даже, — и... потрясающе образованный, всё на свете знающий, но в практической жизни совершенно растерянный, беспомощный...

Была ему моя тётя Фаня обожаемой женой и... абсолютно необходимой нянькой.

Я приезжала к ним в Днепропетровск несколько раз. В дядю Мишу прямо-таки (и — взаимно) влюбилась. Гуляли по вечерам. Он мне целые романы — да как занимательно, понятно мне, малышке! — рассказывал. И ещё, Володя, он распахнул надо мной... небо!!! Про каждую звезду и планету рассказал. Так и вижу: ясное звёздное небо и длинный дяди-Мишин палец, куда-то вверх указывающий. Я с тех пор и полюбила в небо на звёзды смотреть и всегда при этом дядю Мишу вспоминала. Жаль только, что у нас в Ленинграде-Петербурге редко ясное небо увидишь.

А потом — война. Тётя Фаня сразу же — добровольцем! — врачом на фронт. Дядя Миша очень хотел с ней, по комиссиям разным ходил, но кто его возьмёт почти слепого! В тыловых госпиталях всю войну работал. А Фаня там, на фронте, встретила Володю, огромного, сильного, уверенного в себе (затаённая мечта каждой женщины — опереться о крепкое мужское плечо!), тоже врача. И была у них любовь. Не писала она об этом долго своему Мише, боялась...

Закончу, наверное, неожиданно. Помнишь фильм «Развод по-итальянски»? Расскажу тебе про «развод по-еврейски». После войны Фаня с новым мужем поехала в Москву, фронтовикам там давали квартиры в новых домах — кстати, хорошую получили они квартиру. Миша вернулся в Днепропетровск. И вот моя тётя Фаня поехала к нему. Сделала грандиозный ремонт. Купила мебель. И всё, что только можно было, — на долгие годы. Нашла женщину, которая взялась его обслуживать. Договорилась, что та будет ей каждый месяц звонить — «отчитываться». Одного только не смогла — женить его. И невесту ведь хорошую нашла — ни в какую. Так и не женился больше. А Фаня говорила моей маме, что Бог её за Мишу накажет. И наказал.

Остаётся мне, Володя, «перепрыгнуть» лет на десять вперед после того, как мы с дядей Мишей ночью смотрели на звёзды, и рассказать тебе совсем про другое. От звёзд — в грязь...

Как бы сами собой ожили давние воспоминания, которые всегда от себя гнала. Казалось, забыты намертво. Но нет, прятались они где-то в тёмных закоулках памяти и вот выскочили, словно вчера всё это было. Никогда, никому не рассказывала. Только мама знала. Ну и, конечно, тётя Фаня. Попробую поведать тебе

эту гнусную историю — и, надеюсь, улетит она от меня окончательно, исчезнет, растворится в воздухе.

Самое начало 1949 года. Я на 2-м курсе филфака ЛГУ. Настроение велико-лепное, новогоднее — ещё ёлки стоят. На целую неделю еду в Юрмалу к тётке Фане, маминной любимой младшей сестре, и её мужу — дяде Володе. Его я ещё не знаю. Оба врачи, орденноносцы, всю войну в госпиталях работали. Она — майор медицинской службы, он — подполковник. И сейчас в госпитале. Столько лет после войны прошло, а у них до сих пор искалеченные войной солдаты и офицеры; некоторым и ехать некуда: не принимают дома... Но всё это я узнала — и увидела! — позже...

Встретила меня на вокзале тётя Фаня. Радовалась, что я приехала: детей у неё нет (думаю, из-за войны проклятой), очень из-за этого горевала, а меня любила как дочку. По дороге состоялся у нас с ней странный разговор. Видела я, что неловко ей, слова подбирает, смотрит куда-то мимо. Объяснила, что её Володя — очень замкнутый, нелюдимый. Как ни старается она, не признаёт её родных, сестёр, братьев, их детей, семьи (а они такие дружные все!), видеть никого не хочет — такое горе. Еле уговорила его, чтоб согласился на мой приезд. Вот и просит меня: очень постараться понравиться ему. Это так для неё важно! Может, тогда и других признает. «Ты разговори его, расшевели, про университет рассказывай, про подругек, про Ленинград — пожалуйста, очень прошу!» И я обещала...

И я постаралась, Володя! Ох как я постаралась! Рта не закрывала, о чём-то рассказывала, смеялась. Даже стихи читала. Странно, больше всего, помню, дяде Володе понравился пушкинский «Утопленник». И он вовсе не такой замкнутый и нелюдимый оказался. Сидели за столом — смеялся с нами, шутил, всякие сладости мне приносил. В госпиталь приводил, по палатам вместе ходили. Представлял меня раненым: племянница в гости приехала. (Тогда-то я всё и увидела.) Много гуляли вместе, места там красивые. И там меня угощал.

Тётя Фаня прямо шела. Когда оставались одни — подмигивала мне, шептала: «Ну и молодец ты, не ожидала!» Маме моей восторженное письмо написала: мол, летом всех нас — её, папу и братика Сашу — к себе пригласит... Теперь он разрешит — чтобы я приехала...

Как миг пролетела неделя. Завтра мне уезжать. У нас вечером пир — про-воды... Да, настоящий был пир, Володя! Ты помнишь, конечно: тогда, в послевоенные годы, много ли «вкусенького» мы видели? Я не говорю в провинции, в глублинке — у меня в Челябинске, у тебя в Омске: какое уж «вкусенькое» — поесть бы досыта. Но и в Ленинграде тоже — не особенно

разгуляешься. А уж тут дядя Володя расстарался: где только достал — весь стол в невиданных, заграничных яствах! И бутылки с вином — тоже не наши, — и фужеры хрустальные. Хороший он, дядя Володя... Чокнулись. Выпили за моё здоровье, успехи, «повышенную стипендию», за моих маму и папу, за то, чтоб ещё к ним приезжала. Дядя Володя второй бокал наливает. Вижу — тётя волнуется: «Хватит ребёнку пить!» (Мне восемнадцать — какой ребенок) Второй выпила, а потом и третий — весело, всё нипочём! Из-за стола встала пошатываясь, слегка мутило, в голове туман — по совести говоря, первый раз в жизни вот так по-настоящему со взрослыми «посидела». Тётя отвела меня за ширму, к окну, где я спала на диване, помогла раздеться, накрыла, поцеловала. И — провалилась я...

Прснулась неожиданно. От чего-то липкого, неприятного. Поистине, Володя: «Из-за туч луна катится —/ Что же? Гольй перед ним...» В лунном свете перед моим диваном в одних трусах(!) огромный, неуклюжий, на коленях, крепко

схватив обе мои руки и непрерывно, от пальцев до плеч, жадно целуя их, — дядя Володя! Я пытаюсь вырвать руки, и тут... Тут происходит то омерзительное, что не могла забыть годами, что снилось по ночам — и просыпалась в ужасе! Мои руки освободились, но наклонилось ко мне лицо — неузнаваемое, нечеловеческое, зверское! — с выражением глаз, которому не могу найти словесного эквивалента. Так и осталось оно во мне: «тот взгляд». И это нелюбо склоняется надо мной ниже, ниже, заслоняет собой белый свет, и отвратительный гадкий рот ещё более жадно, чем в руки, впивается в, по сути, ещё детские губы (и это — первый поцелуй, о котором тайно мечтает каждая девочка!), и длится это — вечность! Но вот он отрывается от меня и говорит-бормочет что-то, горячо, захлебываясь, быстро-быстро. Я не слушаю, не понимаю — я диким голосом ору: «Фанечка! Фаня!» Тётя вбегает, босая, в ночной рубашке, хватая его за плечи, бьёт по голове, колотит, тащит. Он сопротивляется...

На следующий день они меня провожают. Оба. Она заплаканная, он — с каменным лицом. Когда была уже в своём купе — тётя Фаня позаботилась (из Ленинграда в Челябинск на каникулы я обычно ездила в общем вагоне, на третьей, багажной полке), — буквально за минуту до отхода поезда он (я не могла уже даже мысленно называть его «дядя Володя») врывается в купе, суёт мне в руку какую-то бумажку и на ходу поезда спрыгивает из вагона.

Я не сразу решилась развернуть сложенную вчетверо записку. Там было всего несколько строк: что скоро приедет за мной в Ленинград, что мы с ним куда-то уедем — у него есть сбережения, я буду жить как королева, а доучусь в университете заочно...

Больше я в гости к тёте Фане и дяде Володе в прелестный городок Юрмалу не ездила. А тётя Фаня ещё долго писала покаянные письма моей маме: всё каялась и каялась, что недосмотрела, не догадалась, что сама виновата, — словом, простить себе не может, что у неё в доме психике «ребёнка» был нанесён такой удар.

И знаешь, Володя, во всём, пожалуй, кроме «ребёнка», она была права, моя бедная тётя Фаня. Удар был в самом деле нанесён. И немалый. Все свои студенческие годы, когда подруги-сокурсницы направо-налево заводили романы, я буквально шарахалась от молодых людей (именно тех, которые нравились, очень нравились!), стоило поймать их взгляд, который молнией определяла — «тот самый!».

Только один пример. Когда мы с мужем, отработав по распределению в Карелии три года, вернулись в Ленинград, Женя как-то встретил у Дома печати своего сокурсника, тоже бывшего фронтовика, сделавшего за это время блестящую карьеру в одной из центральных ленинградских газет. Поговорили. Когда прощались, он вдруг вспомнил: «Мне говорили, что ты женился. Поздравляю! На ком?» — «Ты её знаешь. Из 1-й «русской» группы. Тамара». И тут, рассказывает мне Женя, он в лице изменился: «Тамара?! Неужели? Да как ты подбехал к ней? Я сколько раз пытался — она и близко не подпускала!» (Наверное, потому и «подпустила» Женю, что ухаживал он уж очень красиво, «несовременно».) А мне, Володя, тот парень тоже нравился. Очень! Поэт. Красивый, высокий, умища. Но как-то поймала на себе его взгляд — показалось, «тот самый!». Всё. Конец. Ужас и отвращение...

И так было не раз. Мне нужен был Дон Кихот Ламанчский у ног Дульсинеи. Но где их взять в наш прагматичный век? Да и много ли их было в века прежние? Вот ведь и Блок, воспевая свою Прекрасную Даму, по вечерам в ресторане отыскивал глазами Незнакомку...

КАРТИНКИ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ

«Нельзя! Ты — комсомолка!»

Я в читальном зале главного здания в конце длинного-длинного коридора, готовлюсь к сессии. Третий день подряд сижу здесь после последней пары, читаю что-то, конспектирую — и словно жжёт, когда бы голову ни подняла (насквозь прожигает!), взгляд чёрных, иссиня-чёрных глаз сидящего за столом напротив незнакомого, красивого, высокого, с какой-то «загадочной», «не нашей» внешностью студента. Он приходит (специально? ждёт?) чуть позже меня и садится, куда бы я ни села, напротив. Именно в этот третий день он подошёл, когда я, вконец уставшая, — уже и не соображала ничего! — встала из-за стола. Он тоже встал. Пошёл за мной. Вышли вместе из читального зала. Идём рядом по коридору, прогуливаемся. Сначала молчим оба, потом он заговорил — я не ошиблась, не «наш» — с акцентом... Оказалось — албанец. И на следующий день — оба в читальном зале. Над книгами не очень долго и — прогуливаемся...

Так и ходили с того дня по коридору, всю сессию проходили. Говорили, говорили. Больше он.

Темпераментно, пылко о своей стране рассказывал — я и не знала раньше ничего о маленькой героической Албании (по-моему, именно в следующем семестре, единственном за все пять студенческих лет, не получила я повышенную стипендию — проговорили!). Он лет на пять старше меня, в партизанских отрядах сражался, орденами какими-то награждён, верил в будущую социалистическую Албанию, жизнь готов был за неё отдать. После войны послали его к нам учиться...

Кончилась сессия, а нам — не расстаться: по городу гуляем. Все каникулы. Каждый день. Тут уж я «солировала» — Ленинград ему показывала. Это здорово у меня получалось — любила (и люблю!) я «град Петров» и знала его уже хорошо, хоть к тому времени и прожила в нём всего каких-нибудь пару лет. Провожал меня поздним вечером до самого дома, до подъезда, но к нам не зашёл ни разу. Ждал, что приглашу. Но я не решалась — иностранец.

Ты, конечно, помнишь, Володя, песню — замечательно её пела Анна Герман: «А он мне нравится, нравится, нравится!..» Так вот, нравился мне мой албанец, очень нравился, никто из моих сокурсников так не нравился. На шаг, всего на один шаг были мы от романа, может быть большого романа, настоящего. Но не случилось. Ты спросишь — почему? А ты — подумай: в одно ведь время проживали мы с тобой свою юность.

После каникул в самые первые дни занятий меня пригласили в комитет комсомола — наш, факультетский. Говорил со мной наедине наш секретарь, хороший, между прочим, парень. Неловко, видно, ему было. Но... Долг... Что поделаешь! Уверена, «сверху» ему поручили. Спросил: серьёзные ли у нас отношения с этим албанцем? Если серьёзные — нельзя! Надо прекратить. Долго объяснял, но всё-таки осмелилась я спросить: «Почему? Ведь Албания — наш друг, за социализм сражалась». Не мог он мне этого объяснить, путался, но твёрдо повторил: «Нельзя! Нельзя замуж за иностранца (мы-то и слова этого не произносили); друзья или не друзья наши — всё равно нельзя категорически! Иностранец! И встречаться не нужно. Все видят, знают, разговоры пошли! Нельзя! Ты — комсомолка!» И я, Володя, послушалась. Хорошая комсомолка была или трусиха — не знаю, не могу сейчас судить. Другие мы были тогда.

Последнее наше свидание помню. Грустное, горькое. Я просила его больше не приходите. Никогда. Совсем. Слово дать. Он понял сразу: старше, умнее меня был. А может быть, даже уверена, с ним тоже говорили — из его посольства или ещё кто-то — раньше, чем со мной, говорили. Но он — послал их подальше: храбрый был, воин, не я. Может, надеялся, что и я покрепче. По-моему, он вообще тогда уже кое-что понял про нас, чего я совсем ещё не понимала. Сказал, что этого разговора ждал. Много об этом думал. Что не вправе осложнять мне жизнь. Обещал «исчезнуть»... И слово своё сдержал — ни разу не встречал больше меня у факультета после занятий... Не знаю, Володя, лучше или хуже сложилась бы моя жизнь, если б не послушались мы, восстали. Но была бы она другой...

«Исключить!»

Ты помнишь, Володя, как приносил на наши посиделки почти после каждого «Турнира» плёнки и мы слушали (я — чаще всего впервые!) песни Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Н. Матвеевой, А. Галича? Так вот, строка Галича о том, как исключали из Союза писателей Бориса Пастернака (убивали его!): «Мы поимённо вспомним всех, кто поднял руку», — строка эта вонзилась в меня, словно остриё ножа: я — вспомнила! Да, вспомнила, что и я «подняла руку»! Нет, не тогда, в конце 1950-х, и не в зале Союза писателей, а лет за десять до того в актовом зале нашего филологического — я на 3-м или 4-м курсе была. В этом и повинюсь...

На сцене перед нами — идёт закрытое комсомольское собрание — вся в слезах девушка с 5-го курса «западного» отделения. Она не просто плачет — она рыдает. Вина её велика: она, комсомолка, крестила своего ребёнка! Пытается сквозь всхлипывания оправдаться, объяснить: она не хотела, бабушка уговорила, прямо потащила в церковь, и муж не хотел (тоже студент другого института). Уверяет, что понимает свою вину, даёт «честное комсомольское», что не верит в Бога, просит простить её, дать любое, самое трудное поручение — она выполнит! Но зал неумолит. Одно за другим выступления (ты знаешь, Володя, мне кажется, искренние!): «Позор! Позор! Какая она комсомолка! Крестила ребёнка! Исключить!» Других предложений нет. Мы голосуем. Все — за! Единогласно!.. И я со всеми, «кто поднял руку»!

Ты знаешь, Володя, я и тогда, и сейчас не верю в Бога и, по правде, пожалуй, завидую тем, кто искренне верит: им легче живётся. Но столь диким, чудовищным видится мне из дня сегодняшнего то наше единогласное голосование: мы ведь жизнь искалечили способной девушке-выпускнице. Её неприятности-беды этим исключением только начались: ей изменили «распределение» — направление на работу, куда она хотела, где её ждали: таким нельзя доверять! Да и горе для неё это было, настоящее горе — отдать свой комсомольский билет... Другие мы были тогда люди, Володя, совсем другие — «идейные» или «зомбированные»?

Страх или вера?

Мы не раз говорили с тобой, Володя, и даже спорили о том, что перевешивало в рядовом советском человеке — страх или вера (нет, не в Бога, конечно, — в высокую идею социализма-коммунизма)? На твоих «весах» перевешивал страх, на моих — вера. Вот тебе маленькая история в пользу моей «чаши». Пусть далеко не всегда, но и так было.

Мы снова на моём филфаке ЛГУ. Последняя лекция — скорей бы звонок. А за окном по Неве — глыбы льда: ледоход — весна! Устали учиться.

Совсем скоро сессия. Экзамены — и каникулы. Два месяца! Я — в Челябинск, конечно: там мама, папа, бабушка, братик. Так соскучилась! Планы строю: наверное, на озеро поедом все вместе — чудесное там озеро под Челябинском.

Наконец, звонок. Выхожу в коридор. На стене длиннющим полотном — новая стенгазета. (Ах, Володя, забыла я её название — яркое, призывное.) Подходят студенты всех курсов и отделений, читают вслух — там и стихи, и проза, и лозунги, и фото, — что-то шумно обсуждают, смех, шутки. По-моему, именно наш университет — ЛГУ — первым, во всяком случае одним из первых, бросил лозунг: во время летних каникул силами студентов строим сельские электростанции! (Ещё были тогда сёла — конец 40-х — начало 50-х, — где сидели при свечах и керосинках.) Читаю не отрываясь. Крупными буквами: желающим ехать строителями-добровольцами явиться завтра в такое-то время в комитет комсомола.

Что со мной было — не смеяся, Володя! Какие страсти кипели в душе! Как я хотела поехать строить электростанцию и... как хотела к маме и папе! Сомнения, колебания были недолгими — строить! Позвонила домой, сказала изумлённым родителям, что на каникулы не приеду. А папа уже и путёвки всем нам купил в пансионат на озеро. Ждут меня. Нет, мои дорогие, я — на стройку!..

На следующий день за полчаса до указанного времени была у дверей комитета комсомола. Собственно, к дверям подойти не смогла — стала в длинную очередь: «комсомольцев-добровольцев», желающих стать строителями, было хоть отбавляй. И «отбавили!» Представь себе, меня не взяли!!! И знаешь почему не взяли? Когда, волнуясь, вошла в кабинет секретаря и подошла к столу, один из членов комитета (я хорошо его знала: парень из другой «русской» группы) вдруг громко заявил: «Я — против! Её брать нельзя: всё время на лекции в последнюю минуту вбегает, опаздывает. Будет и на работу опаздывать!

Недостойна!» И не взяли меня — «отличницу, общественницу, активную комсомолку». В решении комитета записали: «За систематические опоздания на лекции — отказать!» Как обидно было! Надолго осталась эта обида: без меня загорелись огни в незнакомом селе, а они-таки загорелись! Без меня был в том селе праздник, о котором не уставали рассказывать «строители» весь следующий учебный год. Ни разу не посмела я подхватить сочинённую нашими композиторами и поэтами «Песню строителей». Отверженная.

Ну, и что же ты скажешь, Володя? Страху ведь в этой истории с юными строителями, в самом деле добровольцами, не было никакого, а была только вера, вера в свою способность добавить собственный маленький кирпичик в прекрасное здание будущего и радость от этой веры.

Вот и закончила я свои университетские «картинки» столь неожиданно для меня самой оптимистично. Но, заглянем на несколько десятилетий вперёд. Что стало с верой и страхом в «обыкновенном советском», теперь «русском» человеке? Моими сокурсниками, строителями-добровольцами, их детьми и внуками?

Меня волнуют строки, написанные уже в XXI веке Владимиром Познером в его книге «Прощание с иллюзиями», изданной в 2013 году: «Когда я уезжал из СССР в 1991 году (как тележурналист в США. — Т. А.), я покидал страну, в которой после десятилетий правления веры и страха робко зарождалась вера — без страха. Вернувшись всего через семь лет, я нашёл страну, совершенно лишённую

какой бы то ни было веры; что до страха, то ему на смену пришли цинизм, безразличие и неуёмная жажда денег» (выделено мной. — Т. А.).

Печальные строки... Горькие... Честные... Сегодня они звучат ещё более хлестко, чем в конце 1990-х. Вот как разрешились наши, Володя, с тобой дискуссии о страхе и вере. Ни страха, ни веры...



Непросто это — работать в живом эфире. Редактор «Турнира СК» Тамара Львова подаёт тревожный сигнал — очевидно, пора закругляться...

КАРТИНКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Моё открытие

Ты, может быть, не помнишь, Володя, что, помимо редактора «Турнира СК» (а это всегда было для меня наиважнейшим!), довольно длительное время я пребывала — назначили! — в должности заместителя главного редактора нашей Детской редакции, а когда главная, Лариса Котлярова, болела или уезжала — несколько раз замещала её? Ты удивляешься: с какой статьи об этом пишу? Видишь ли, за время своего «начальствования» я сделала для себя важнейшее открытие. Расскажу — поймёшь.

В обязанности мои как зама, тем более главного, входило прежде всего чтение сценариев, которые мне сдавали редакторы, и работа с ними, а потом — вместе с главным режиссёром редакции — приёмка готовых передач (на трактовой репетиции в студии — тех, что выходили «живьём»), или киносюжетов, спектаклей — в записи на видео). Ну и, конечно, создатели, вся творческая бригада, особенно режиссёр с редактором, с трепетом ожидали выступления обозревателя и начальства на редакционной летучке уже после передачи. (Впереди ещё была, тоже еженедельная, общестудийная летучка. Что касается меня самой — волновалась на этой общестудийной чуть не до обморока после каждого «Турнира».)

Так вот, представь себе. Я просто редактор. Середина дня. Мы все уже вымотались, устали, есть хочется. Я иду по каким-то бесконечным делам в редакцию программ. Навстречу — симпатичный коллега. Уважаемый человек. Один из лучших режиссёров нашей Детской редакции. Хорошие спектакли ставит. Подходит ко мне, легко обнимает за плечи: «Тамара, пойдём в буфет, хоть кофе выпьем! На кого ты похожа! Помрёшь с голодухи!» И мы идём, о чём-то весело болтаем. Смеёмся. Едим салат и пьём кофе с булочкой. Возвращаемся вместе в редакцию... Запомнил, Володя?

Не проходит и месяца Я уже «зам». Тот же режиссёр (не хочу называть его имя) заходит ко мне в кабинет. Улыбается, замечаю, какой-то новой, странной улыбкой. Приглашает на сдачу своего спектакля: «Тамара Львовна, я очень прошу Вас, приходите. Я так ценю Ваши замечания. У Вас тонкий вкус. Точный взгляд. Я Вам доверяю... Придётся?» И меня осеняет: как я не замечала! Не только у него — у всех теперь другой тон. Другие слова. Другая улыбка. И за плечи никто не обнимает, в буфет не зовёт. Я — не своя больше, не редактор Тамара, я — начальство!

Ты понял, Володя? И ведь всего-то ходила я в «начальниках» с гулькин нос! А если бы долго, очень долго — годами? И поверила бы, уверяю тебя, поверила, что у меня особый «тонкий вкус» и «точный взгляд» и вообще всё, что я скажу, — истина в последней инстанции!..

С тех пор абсолютно уверена, что власть — долгая власть — слепит, оглушает, что всех и каждого она нравственно разрушает. Не помню, кто это сказал (цитирую не дословно, но смысл передаю точно): единственное безусловное, бесспорное достижение демократии — сменяемость власти.

В заключение позволю мне снова — через полстолетия! — оказаться в дне сегодняшнем и снова призвать на помощь ту же книгу Владимира Познера «Прощание с иллюзиями», точнее самые последние её страницы, когда, уже готовя её к печати, автор «не устоял перед желанием написать ещё несколько слов». Написал он их, узнав 24 сентября 2012 года о знаменитой «рокировке» Медведев — Путин: Владимир Владимирович Путин снова — по существу, это четвёртый срок! — стал президентом. А написал В.В.Познер вот что: «...это — смачный плевок в лицо всего российского общества. Нас принимают за быдло, за дураков, они убеждены, что "пишп хавает" всё».

Я имею возможность продолжить. Уже после того, как книга вышла и эти поразившие меня строки были написаны, совсем на днях я услышала, что наш президент не исключает возможности баллотироваться ещё раз. То ли в шутку сказал, то ли всерьёз, отвечая на вопрос западного журналиста. Почему бы и не всерьёз? Это будет уже в пятый раз — законный «второй срок»... Вот тебе и «сменяемость власти».

Не правда ли, я далеко ушла от того, как, в общем, очень недолго была «начальницей»?

22 декабря 2013 г. Удивлена, более того — огорчена высказываниями В.В. Познера о его отношении (равнодушии!) к освобождению после 10 лет тюрьмы Михаила Борисовича Ходорковского и к нему самому — высказываниями несправедливыми, недружелюбными, даже... враждебными. Это так противоречит всему тому, что писал В. Познер совсем недавно, в этом году, «прощаясь с иллюзиями». Говорю уже не о М. Ходорковском, а о мировоззренческой позиции В.В.: да, противоречит, более того — несовместимо со всем, что он писал в этой книге, особенно в её иронической, издательской концовке о рокировке «Пу» и «Му»... Недоумеваю: что с Вами, уважаемый мною Владимир Владимирович?

К истории одного письма Ю.П. Германа¹¹

В разгар зимы 1951-1952 года студенткой-пятикурсницей я сижу в журнальном зале Публичной библиотеки и с 9 утра до 11 вечера просматриваю — до ряби в глазах — толстенные фолианты за два десятилетия: вылавливаю любые упоминания о В.Ф. Пановой — у меня дипломная работа о её творчестве.

Совершенно случайно в «Звезде» № 1 за 1949 год натыкаюсь на повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы». Имя автора тогда мне почти ничего не говорило: романа «Наши знакомые», повестей «Лапшин» и «Жмакин» я не читала, а в любимейшем фильме детства «Семеро смелых» менее всего интересовалась сценаристом.

И вот наткнулась, пробежала первые абзацы и... забыла о своём дипломе. Опомнилась, когда прочитала последнюю строчку — "продолжение следует". За окном с видом на подсвеченный заснеженный Екатерининский садик — ночь, в зале никого, кроме меня, и оглушительно гремит звонок, требуя поскорее сдавать журналы.

На другой день беру «Звезду» № 2. «Подполковника медицинской службы» нет. В номерах третьем, четвёртом, пятом — тоже нет. Возвращаюсь. Ищу снова. И вдруг в самом конце номера (какого — не помню, идти в Публичку смотреть — не хочу, это как рана) внизу мелким шрифтом — «Письмо в редакцию» Ю.П. Германа.

О Боже! Он, родитель, автор, объявляет во всеулышание своё дитя, свою повесть вредной, своего героя, высокой душевной красоты человека, доктора Левина — ущербным; извиняется перед читателями за столь слабое произведение и просит редакцию вторую его часть не публиковать. В этом было что-то чудовищное и противоестественное. Такого быть не могло! Ярко увидела человека, которого душат, схватив за горло, он задыхается, кричит и дрожащей рукой пишет письмо, которое помещают потом на последней странице журнала внизу мелким шрифтом. За этим стояли ложь и насилие. Моё сердце болезненно сжалось. Уже несколькими годами позже я осознала, что именно в 1949 году подходила к своему пику фантастическая кампания против «безродных космополитов», а беднягу доктора Левина автора угораздило сделать евреем. Не знаю почему, но именно эта история с письмом в редакцию стала для меня началом прозрения. За что я Юрию Павловичу Герману безмерно благодарна. Могла ли я представить, что Ю.П. поможет мне ещё раз, через много лет, и тоже письмом, написанным — уже по своей собственной воле — мне лично?

Да, это было через пятнадцать лет, в 1966-м. Я к тому времени уже четыре года работала в Детской редакции Ленинградского телевидения, и третий сезон шла в «живом эфире» отнимавшая все мои душевные силы передача «Турнир СК». На авторскую, сценарную работу времени абсолютно не оставалось. И всё-таки, когда редактор Литературной редакции Тамара Муринец попросила меня сделать сценарий передачи о Ю. П. Германе, я согласилась сразу же.

— Нужно спешить, — объяснила она, — Юрий Павлович тяжело болен. Безнадёжно. И знает об этом. Мы должны успеть порадовать его. В последний раз...^[2]

Это «нужно спешить» пронзительно и тревожно звучало в каждом, кто имел хоть какое-то отношение к подготовке передачи, особенно в непосредственных её участниках. Охотно, более того — с радостью согласились выступить Кирилл Лавров — Алексей Лапин из фильма «Верьте мне, люди!» и Алексей Баталов — Саша Румянцев в «Деле Румянцева» и Володя Устименко в картине «Дорогой мой человек». Оба они, не стовариваясь, — я встречалась с каждым в отдельности — захотели рассказать не столько о своей работе в фильмах по сценариям Германа, сколько о нём самом — о счастье знакомства с ним, о необыкновенной силе воздействия на них его личности, огромном обаянии и действенной доброте.

У Ю.П. Германа, в его квартире на Марсовом Поле, я была трижды. Два раза придумывали вместе передачу и просто разговаривали. В третий — я привезла

показать готовый сценарий. В нём было довольно много острых по тому времени моментов, что очень Юрию Павловичу понравилось. Я и просить его не смела участвовать в передаче — так он был уже слаб, — но он заговорил об этом сам. И загорелся! Тут же показал огромное количество писем, пришедших к нему после фильма «Верьте мне, люди!», — в большинстве своём из мест заключения. Исповеди, покаяния, мольбы о помощи, последние надежды на справедливость — это были потрясающие по силе искренности человеческие документы. Многим он помогал: писал, звонил, требовал, пока мог — ездил. И вот теперь, на краю могилы, он несказанно обрадовался возможности использовать нашу передачу, чтобы ещё кому-то помочь, — отобрал несколько писем, авторов которых считал невиновными.

Я как сейчас вижу его сидящим в кресле, очень худого, высокого, с неестественно напряжённой прямой спиной — и приветливого, оживлённого, даже весёлого, только раз от раза слабеего... Помню, как, расспрашивая меня об обстановке на телевидении, сказал, вздохнув: «Моему Алёше тоже достаётся на его киностудии». Так я впервые услышала об Алексее Германе.

Юрий Павлович не пришёл на передачу — уже не было сил. Зато все остальные, от помрежа и операторов до ведущего Кирилла Лаврова, объединились в едином порыве, и особая атмосфера любви, восхищения, признательности с первого до последнего кадра пронизывала наш «живой эфир», безусловно передаваясь зрителю и — мы верили в это! — сидящему (скорее, лежащему) у телевизора писателю, с которым мы прощались.

Был у нас для Юрия Павловича сюрприз: появление на экране профессора М.М. Ермолаева, которого он знал молодым учёным-полярником, приглашённым режиссёром С. А. Герасимовым быть научным консультантом их фильма «Семеро смелых». В 1933 году М.М. Ермолаев вернулся с Новой Земли, где руководил зимовкой «Русская Гавань». Всего их было семеро, в том числе и немецкий геофизик Курт Велькен. Помните, в фильме: сильнейший шторм, многометровые заносы, поломка аэросаней, пеший переход с едва живым ослабевшим товарищем? Всё это было на самом деле. Михаил Ермолаев и Володя Петерсон, падая от изнеможения и вновь вставая, поддерживали, тащили, несли на носилках по ледниковому щиту замерзающего Курта Велькена. Многие из той зимовки было использовано Ю.П. Германом в сценарии. Кстати, аэросани, снятые в фильме, чудо техники по тому времени, принадлежали лично А.Н. Туполеву, он подарил их зимовке М.М. Ермолаева, а уже тот — съёмочной группе... В 1938 году М.М. Ермолаев был арестован, исчез, пропал, сгинул, его фамилию как консультанта изъяли из титров фильма, а в многочисленных статьях и книгах о знаменитой картине упоминали в качестве прототипа только экспедицию Кости Званцева и его дневники. Ю. Герман считал М. Ермолаева погибшим. И вот теперь тот явился из небытия, пришёл на передачу и живо, образно, с юмором вспоминал об их общей молодости, о смешных эпизодах на съёмках фильма. (Не так давно мне довелось вновь посмотреть по телевидению «Семеро смелых». С радостью увидела восстановленные титры: «Консультант — М. Ермолаев».)

Впрочем, все трое наших выступающих — М. Ермолаев, бессменный председатель «Коллегии Справедливости» «Турнира СК», А. Баталов и К. Лавров — были прекрасны. И фрагменты фильмов естественно влились в ткань передачи. Мы вышли из студии на большом подъёме. Слава Богу, успели! Позвонили из автомата Юрию Павловичу, он был очень взволнован, каждому сказал какие-то тёплые слова.

Через несколько дней на «большой летучке» в актовом зале обозреватель недельной программы сказал о нашей передаче много хорошего и предложил её отметить в числе лучших. А в конце с заключительным словом, как всегда, выступил главный редактор студии Н.А. Бажин. Нет, он не просто покритиковал передачу — были же, конечно, в ней недостатки, — он её разгромил! Камня на камне не оставил! Имени популярного писателя тронуть не посмел. Напротив, возмущался искажением его облика в передаче, представлением его произведений пессимистическими, а его героев ущербными (знакомые, знакомые слова!). Он не сказал ничего худого об участниках передачи — лишь пожалел их, вынужденных выступить «в навязанной им незавидной роли». Все оскорбительные обвинения, уничижительные эпитеты, попросту грубость и хамство (в присутствии всех творческих работников студии, большинство из которых передачи не видели) обрушились на одного человека — автора сценария. И бедный автор, то есть я, чуть там сквозь землю не провалился. Досталось, конечно, и редактору Тамаре Муринец, автора пригласившей. После такого разгрома можно было и не подняться...

Никто из нашей бригады — ручаюсь, мы об этом договорились — не сказал Юрию Павловичу о злополучном выступлении на летучке. Но он узнал в тот же день — у него были на студии знакомые. И, тяжело страдающий, умирающий и знавший об этом, совершил, наверное, последний в своей жизни поступок — защитил несправедливо обиженного.

В дирекцию на моё имя пришло письмо с благодарностью за передачу (копию Ю.П. прислал мне на домашний адрес). Его, как это было принято, повесили на специальном стенде. И висело оно там неделю. Все читали и поздравляли нас. А Н.А. Бажин молча проглотил пилюлю.

Вот и всё, что я хотела рассказать. А теперь читайте письмо Ю.П. мне, напечатанное им на машинке. Обратите внимание на последний абзац — как он сильно и красиво «врезал» главному редактору, который был и главным нашим идеологическим цензором. Это после его кабинета сценарии становились «вегетарианскими».

Многоуважаемая Тамара Львовна!

Я никогда не пишу про то, нравится мне или нет, как про меня написали или как изобразили на экране либо в театре моё сочинение. Но о передаче Лен. телевидения мне хочется написать Вам — организатору и строителю всего этого сложного хозяйства — прежде всего спасибо! Я ведь долго морочил Вам голову тем, что буду непременно, тем, что буду возможно, а также тем, что вдруг не буду вообще. Конечно, это создало чрезвычайные трудности, которые Вы отлично преодолели. Настолько умно и толково, что, проглядев передачу, я подумал — как хорошо, что меня не было.

Передача отличная. Достаточно мне сослаться на мнение Козинцева, который редко что хвалит. Он мне позвонил из Комарова и сказал, что ужасно жалеет по поводу обстоятельств (был тогда в Америке, — Т.Л.), не давших ему возможности участвовать в такой человеческой, искренней и правдивой передаче, о которой я пишу Вам письмо. «Чёрт бы побрал все эти Америки, — сказал Г.М. Козинцев, — мы бы ещё показали кусочек "Пирогова", и я бы тоже кое-что сказал».

Звонил мне и Д.С. Данин, и многие, многие чужие люди, читатели и зрители.

Так что спасибо Вам большое.

Единственное, что меня огорчило, если уж всю правду на кон, — это странные купюры в тексте. Точно не могу назвать, что именно выкинуто, но тексты были острее и злее, а в передаче стали отдавать лампадным маслом благополучия. Впрочем, это грех не только данной передачи, думаю, что вегетарианство есть основной (пропущено слово «грех»? — Т.Л.) наших передач. Мы — беззубы, а это никогда не способствует успеху того или иного дела.

Но, несмотря на этот грешок, спасибо Вам огромное за отличную передачу.

Ваш Ю. Герман Ленинград, Марсово Поле, 7, кв. 37.

26 октября 1966 г.

И моё письмо ему к ноябрьским праздникам: 6/ 11. 66 г.

Дорогой Юрий Павлович!

Пользуюсь праздником как поводом написать Вам несколько слов.

Поздравляю Вас, от всей души желаю Вам здоровья и бодрости. Необыкновенно благодарна обстоятельствам, позволившим мне познакомиться с Вами. Не знаю, какими путями (неловко признаться в таких вещах отнюдь не в 17 лет), но я получила от Вас заряд надежды и ... драчливости, что, в общем, мне очень не мешает.

И ещё раз спасибо Вам за письмо. М.М. Ермолаев был прямо-таки поребячески счастлив, что передача Вам понравилась.

С глубоким уважением, Ваша Т.Л.

Повесть «Подполковник медицинской службы» я прочла в 1956 году, когда она вышла отдельным изданием в «Советском писателе». А ещё десять лет спустя испытала потрясение, осознав, что в истории болезни и смерти доктора Левина писатель провидчески изобразил свои собственные последние земные страдания.

Ю.П. Герман скончался от той же болезни, что и его герой, — от рака — 16 января 1967 года. И также, как он, я глубоко убеждена в этом, Ю. Герман сумел то, что удается редчайше, — преодолеть *страх* — «*страх близкой и неотвратимой смерти*»...

Р.С. 2002 г. Я не понимала тогда истинных причин столь злостного выпада главного редактора в мой адрес. Юрий Павлович Герман сполна получил своё задолго до этого, а тогда уже был признан, обласкан. Передача о его творчестве давно была запланирована редакцией, и план одобрен начальством. Прошла она безоговорочно успешно. В чём же дело? Не сомневаюсь теперь: это был первый пробный удар по «Турниру СК», моей передаче, бывшей тогда в зените своей популярности, вызывавшей только хвалебные отзывы. В ней участвовало столько уважаемых, почитаемых, блистательных людей. Как было к ней подступиться? Дискредитировать её редактора как журналиста? Уверена, будь автором сценария передачи о Ю.П. Германе (того же самого сценария, той самой передачи!) другой человек, не я — никакого разгрома на студийной летучке бы не было. С тех пор долгих пять с

лишним лет с тяжёлыми боями, с переменным успехом шла непрерывная война «команды» «Турнира СК» со студийным начальством в лице её главного редактора, окончившаяся полным нашим поражением в 1972 году... Будем считать, что первым (потом их было немало) за нас вступился, сам того не зная, перед самой своей кончиной Ю.П. Герман.

Совершенно неожиданно в книге Льва Сидоровского «Когда я был журналом» (Петербург: XXI век, 2001, с. 108) из давнего — 1992 года — интервью автора с Алексеем Германом узнала о печальных фактах биографии его отца, ранее не известных мне, но непосредственно связанных с тем, о чём я написала. Итак, Алексей Юрьевич вспоминает: «Отец часто попадал в беду, и одна из них была связана с книжкой "Подполковник медицинской службы". В ней отец в страшном сорок девятом, несмотря на предупреждения, что не сносить ему головы, открыто поднял (может, единственный из русских писателей) голос против официального в стране антисемитизма. И был страшно наказан: его исключали из Союза писателей, описывали имущество, он ждал ареста...» (Выделено мною, — Т.Л.)

Трижды преданная

Вспомни, Володя, приходилось ли тебе встречаться с предательством не в книге, не в рассказах родных и друзей, а самому, лицом к лицу, лично? Мне вот пришлось на протяжении полутора-двух лет — трижды... Об этом и попробую рассказать (частично, очень коротко, уже упоминала в нашей «Книге о "Турнире СК"»).

Предательство первое... Это было в 1970-1971 гг., когда нашу, одну из самых популярных телепередач того времени, — давили, душили уже непрерывно: твёрдо решили «поймать» и заставить записывать. Мы отказывались категорически «Турнир СК» мог дышать относительно свободно только в живом эфире. Запись означала цензуру, для нас неприемлемую: просмотр начальством, «выбраковку» самого яркого, смелого, талантливого. Да и кому охота смотреть конкурсную передачу, когда результат известен! «Сарафанное радио» всегда работает безотказно.

Есть жанры, обречённые на живой эфир, — всё, что требует от зрителя азарта, волнения, ожидания неожиданности (ну, хотя бы футбольный матч — для болельщиков). Только узким специалистам интересна запись.

Мы пытались это доказывать; я ноги о начальственные пороги обила, на коленях готова была молить: «Оставьте нам живой эфир!» Но всё напрасно! Придирались теперь к каждому сценарию, к каждой передаче. Ты помнишь, Володя, что так и не смог осуществить свою мечту — конкурс об Окуджаве? А уже и по телефону с ним договаривался... Запретили конкурс о современной поэзии. Я получила очередной выговор за совершенно блестящий киноконкурс, который провела Александра Александровна Пурцеладзе. Кто-то из ребят назвал лучшим фильмом года «Дневные звёзды» Игоря Таланкина по повести Ольги Берггольц. Оказалось — мы ещё и не знали об этом, — его накануне разгромили как «пессимистический» в обкоме партии. Но именно этот фильм на «Турнире СК» ребята одной из команд очень аргументированно рекомендовали отправить на «международный кинофестиваль», а комментатор конкурса кинорежиссёр Виталий Аксёнов более всех поддержал их, присоединился к их мнению, похвалил за тонкое понимание искусства. Да, я получила выговор, который неделю висел в коридоре на доске приказов.

И всё-таки мы ещё держались: каждый месяц звучали в эфире всем знакомые фанфары — наши позывные. А смотрели нас — теперь трудно в это поверить

— и продавцы магазина, и шофёры (профессору М.М. Ермолаеву, председателю нашей «Коллегии Справедливости», в магазине отвечивали лучший кусок мяса и пропускали без очереди — а тогда это дорогого стоило! У А.А. Пурцеладзе, вечно и всюду опаздывавшей, таксисты отказывались брать деньги). Смотрели наш «Турнир» и преподаватели вузов, и академики — такие дискуссии у них после передач разгорались! Я уж не говорю о ребятах-старшеклассниках: это была их передача. Словом, зрители нас любили, и потому просто закрыть, запретить начальство не решалось.

И снова — из 2014-го. Был мне вчера, 2-го января, удивительный, очень приятный звонок.

Позвонил и поздравил с Новым годом (интересно, откуда мой номер узнал?) совершенно незнакомый мужской голос. Представился — нет, не участником (этому я бы не удивилась) — зрителем, постоянным, верным телезрителем нашего «Турнира СК». Почти через полстолетия позвонил! Помнит, значит. Тогда был старшеклассником... Значит, Володя, есть нам чем гордиться... Но вернёмся к моему письму.

Получилось удивительно: на «опасных» конкурсах, гуманитарных (там-то и ожидали подвоха!), мы устояли. А «поймались» на абсолютно безопасном — техническом. Наш генеральный автор Эдуард Семёнович Каташков (Эдик) говорил с соревнующимися командами трёх школ о будущем энергетики страны. И один очень славный мальчик что-то сказал про атомную электростанцию в Сосновом Бору Ленинградской области. Володя! Ты, может быть, не помнишь: про эту электростанцию у нас тогда каждый дурак знал. Её в «Ленинградской правде» называли. Но оказалось — тут нас и «поймали», — мы выдали государственную тайну.

Вот тогда-то и случилось предательство, ради которого я всё это тебе и напомнила. Меня вызвали на партбюро.

Только две фразы из «Книги о "Турнире СК"»: «Вы знаете, я, пожалуй, рада, что оно в моей жизни было. Я ощутила тогда на себе дыхание, пусть только дыхание, 1937 года».

На бюро передо мной были коллеги из разных редакций. Я хорошо знала каждого. Встречались в коридорах студии, в буфете, на летучках. Улыбались друг другу, шутили. А уж сколько добрых слов о «Турнире» я слышала. И главный редактор нашей Детской Лариса Котлярова сидит рядом. Но теперь у них — у всех! — чужие, каменные, как мне казалось, враждебные лица. И никто, ни один человек ни слова — в мою защиту. Проголосовали единогласно: снять с должности старшего редактора (а значит, и заместителя главного редактора) — это неважно, неважно было мне. Но конец живого эфира! «Впредь выходить "Турниру СК" только в записи!»

Это и называю я *предательством № 1*.

О *предательстве № 2* — всего несколько слов. В конце учебного года мы провели три передачив записи: не могли уйти, не дав ребятам закончить игру, взойти победителям (последним!) на пьедестал почёта. И только потом все вместе (а как вас, помнишь, уговаривали остаться, по одному приглашали к начальству — убрать хотели только меня?), вся моя замечательная турнирная команда — кроме одного — во главе с Михаилом Михайловичем Ермолаевым (а уж как уговаривали его!), все мы — ушли. Кончился наш «Турнир СК». Но кто же принял его? Принял на руки чужое, любимое, выстраданное, насильно отнятое дитя? Такой человек нашёлся. И тоже —

моя коллега, опекаемая мной молодая журналистка (видишь, фамилию снова называть не хочу). Могла ли она отказаться? Не сажали уже тогда всех подряд — не сталинское время. Да и с работы бы, наверное, не уволили. Но согласилась. Передача популярная, известная. Лестно. Стала редактором «Турнира». И передача, уже не наша, несколько лет — конечно, в записи — медленно и незаметно умирала.



Вопрос задаёт председатель «Коллегии Справедливости» М.М. Ермолаев.
Слева от него — Тамара Львова. У стены — Владимир Фрумкин.

Я назвала предательством то, о чём рассказала. И первое, и второе. Но вполне ли права? А может быть, это клеймо времени, лежавшее, пусть не на всех, но на большинстве из нас? Ведь и я была среди «тех, кто поднял руку», когда исключали из комсомола девушку-студентку за то, что она крестила своего ребёнка, — помнишь? Чем я лучше? Думаю, Володя, что XX век выжиг из российского человека — я говорю сейчас о нашей интеллигенции — понятие, в прежние времена святое, наивысшее: чести. Ты не согласен?

Володя! Мне придётся прервать то, что писала тебе совсем недавно и назвала «предательством № 2». Пыталась понять, как могла моя младшая коллега по Детской редакции согласиться принять наше детище, «Турнир СК», — стать вместо меня его редактором? То ли она чистой воды штрейкбрехер: не устояла перед соблазном славы — очень уж популярная была передача наш «Турнир»? То ли это «клеймо времени» — страх, боязнь последствий?

Вчера, 27 декабря 2013 года, через сорок один год (с 72-го!) получила ответ: да, это давивший нас десятилетиями страх, выбивший (пусть не из всех, но очень многих!) временем понятие чести. Случилось, что мы, совсем по другому поводу, встретились с этой моей коллегой, и я, когда уже кончили наши дела, совершенно для себя неожиданно задала ей так долго мучивший меня вопрос: «Как Вы могли тогда согласиться?» И вот что узнала.

Она поклялась, Володя, что четыре заявления положила на стол главному редактору Ларисе Котляровой о своём отказе брать «Турнир». С ней беседовали разные наши начальники — редакционные, студийные, партийные. Уговаривали, настаивали. Она держалась. А потом её пригласили в наш «Большой дом» — Дом радио на Малой Садовой. Трясая от страха, вошла в кабинет самого председателя Ленинградского комитета радио и телевидения А.П. Филиппова. Там и сломалась. Согласилась. И на «Турнир», и на запись.

И прошли, Володя, моя сорокалетняя обида на неё, злость, возмущение. Рада, что и в нашей книге о «Турнире» не назвала её имя. И сейчас не назову.

...Разве я не шла всю нашу «турнирную» жизнь на бесчисленные компромиссы, даже вам, моей команде, далеко не всё рассказывая? Разве без этих компромиссов продержались бы мы целых восемь лет?



Театральный конкурс. Обсуждаем спектакли ТЮЗа.
Председатель «Театрального совета» худрук театра Зиновий Корогодский.
Крайняя справа — Тамара Львова. Сзади М.М. Ермолаев и юный Лев Додин.

Вспомню только об одном. Долго «пробивали» совершенно, кажется нам сегодня, безобидный конкурс А.А. Пурцеладзе о любви в нашей классической литературе (Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой). Никак не утверждал его наш свирепый душителёв Н.А. Бажин, главный редактор Ленинградского ТВ: «Зачем с детьми о любви, ни к чему!» («Детям» было по 16-17.) А конкурс намечался такой интересный! Александра Александровна столько там напридумывала! Звонила мне домой каждый вечер: «Ну как, разрешил?» И я согласилась, на совсем другой конкурс, который давно уже нам навязывали и от которого мы всеми способами, изо всех сил отбояривались: политический, о странах социалистического лагеря. И вёл его не кто-то из наших постоянных ведущих, а присланный товарищ из городского Общества по распространению политических и научных знаний. Кстати, хорошо провёл, живо. И так всё, оказывается, прекрасно было во всех «странах народной демократии», так нас там все любили. До сих пор совестно мне за тот конкурс. Зато в следующем «Турнире», через месяц, «Большой конкурс» был совсем о другой любви — настоящей: в русской классической литературе. Какой замечательный конкурс! Помню, на всех летучках его отметили. Сколько хороших слов услышали и я на студии, и Александра Александровна у себя в институте. В общем, «сторговалась» я тогда удачно.

Могла бы ещё примеры привести. Да стоит ли?..

Так что, Володя, простила я бывшую коллегу: у самой, как говорится, «рыльце в пушку».

Предательство № 3, о котором сейчас расскажу, — по-моему, уже без сомнения просто предательство, классическое, так сказать. И случилось оно примерно через год после того, как я ушла (скорее — «меня ушли») из Детской редакции.

Работала я некоторое время в редакции программ у прежнего моего главного редактора — Нины Владимировны Пономарёвой (протянула мне руку в трудный час — спасибо ей!). Но это была не моя работа. Я тосковала. Можешь себе представить (мы с тобой тогда почти не общались — ты, вероятно, уже лелеял свои «тайные планы» об отъезде), как я обрадовалась, когда меня пригласил старшим редактором («простили», значит!) в свою недавно созданную Учебную редакцию её главный редактор Д.К. Зебров. Предложил «школьный» отдел — вести передачи прямо на уроки. Такого раньше не было.

Это уже было моё! Ведь, собственно говоря, учебные передачи первыми начали мы, наша Детская редакция, и я имела к этому непосредственное отношение. Вспомни мои, ещё до «Турнира», олимпиады по физике, математике, географии (на последней я и познакомилась с М.М. Ермолаевым, он был ведущим этой олимпиады, провёл её блестяще; потом стал бессменным председателем нашей «Коллегии Справедливости»). Это были самые настоящие учебные передачи. А мой «Лекторий для старше-классников» помнишь? Эти передачи велись прямо из университетских аудиторий. Лекторы — лучшие преподаватели. Особенно запомнился мне профессор-физик Н.А. Толстой (вот уж истинный граф!), сын писателя Алексея Толстого. В общем, из нашей Детской редакции при Н.В. Пономарёвой и родилась Учебная.

Теперь ты понял, Володя, что значило для меня приглашение Д.К. Зеброва? С жадностью и азартом кинулась в новое-старое для меня дело.

Какие педагоги-лекторы «приходили» теперь к детям в обыкновенный школьный класс на уроки литературы, истории, биологии, географии, математики! Очень помогал мой бездонный «турнирный» багаж и ведущие наши, и бесчисленные комментаторы конкурсов самых разных наук, и лучшие школьные педагоги — все, как правило, охотно соглашались, услышав «волшебные позывные»: «Помните, Вы приходили к нам на "Турнир СК"»? А теперь приглашаю...»

Сложилась у меня небольшая, но очень дружная команда: несколько редакторов, режиссёров, помрежи. Ближе всех — главная помощница, опора, самая молоденькая из редакторов. Назовём её Оля. Она мне в глаза смотрела. Даже неловко было. «Учусь у Вас, — говорила, — "Турнир" ваш всегда смотрела. И не мечтала с Вами работать».

Но я, как видно, — неизлечимая моя болезнь! — снова «заигралась». Учебная редакция не была в центре внимания начальства, и приглашённые мной педагоги-лекторы (были и профессора вузов, и режиссёры, и киноведы) поднимали подчас темы и освещали их так, как на «Турнире» ни в какую бы не пропустили. «Заигралась — и доигралась». Не сразу, но довольно скоро. Заметили...

Прибегает ко мне моя любимая Оленька в слезах. Сообщает новость, уже всем, кроме меня, известную: главный увольняет меня с отдела, уже с партийным секретарем согласовал. Она, Оля, уйдёт, если меня снимут! «Это же подлость! Без Вас не останусь! Сейчас пойдём к нему с... (назовём Игорем — тоже мой любимец,

наш молодой способный режиссёр, — не хочу я настоящих имён: они работают ещё, у них дети). Мы все ему скажем: пусть отменяет свой приказ!»

Они пошли решительно, бесстрашно в кабинет Зеброва. Их долго не было. Я понимала, что надежды нет, только неприятности и у них будут. Жалела, что не удержала, — растерялась. Теперь сидела за столом, опустив голову на руки. Ждала.

Открылась дверь. Они вышли. Оба... Какие-то не такие. Незнакомые. Чужие. Мне — ни слова. Не глядя на меня, прошли мимо. Вышли из редакции. Володя, ты, наверное, понял? Она вышла... старшим редактором, заведующей школьным отделом. Он — её старшим режиссёром...

На следующий день я подала заявление об уходе из телевидения. «По собственному желанию». Это было в феврале 1975 года.

В заключение: Оля (пусть так и останется Олей) начала с того дня свою долгую, весьма успешную карьеру на Ленинградском ТВ.

Вот и всё, что я хотела рассказать о *трёх предательствах*.

4 октября 2013 г. Володя! Ты предложил мне дополнить эту «картинку» именами тех, кого я приглашала (на свой страх и риск), примерами того, что рассказывали они детям по ТВ на школьных уроках. Видишь ли, мне это сделать не так просто. Когда я писала нашу «Книгу о "Турнире СК"» всего десять лет назад, в моём распоряжении были сценарии за все восемь лет и много плёнок конкурсов (на «живых» передачах заставляли записывать звук, но как мне эти плёнки пригодились!) — за каждый факт и каждое имя там я отвечаю. А теперь ничего этого у меня нет, и память за эти годы лучше не стала. Но всё-таки попытаюсь. Пусть расскажу лишь о двоих, но обоих хорошо знала и помню, да и сценарии всё те же, «турнирные», придут мне на помощь.

Лия Евсеевна Ковалёва. Одна из самых известных в городе преподавателей литературы, автор книг; её пьеса долго шла в нашем ТЮЗе. «Она ждала и моя школа 118-я участвовала в "Турнире" — и наша команда выиграла!» — вспоминала она в 2004 году в «Живом журнале». Я в 1966-м пригласила её быть ведущей в передаче «ДИСК» («Дискуссии старшеклассников»). Я редактор, Борис Ротенштейн — режиссёр. «Спорщиками» были наши самые яркие ребята из разных команд «Турнира». Сплошь таланты! Взрослых — двое: ведущая Л.Е. и почётный гость. Первая передача прошла «живьём» — с огромным успехом, я не помню такого количества писем телезрителей. Вторую заставили предварительно записать. Её гостем был обаятельный, умнейший человек — генеральный директор станкостроительного объединения имени Свердлова Георгий Андреевич Кулагин. Передачу, а с ней весь цикл запретили. «Кто-то из начальства решил, что Кулагин изложил вредные экономические теории (абсолютная чушь!)», — так объясняла Л.Е. запрет нашего «ДИСКА». Но — представь себе! — эту запись показывали несколько лет на курсах повышения квалификации для телевизионщиков всей страны как «образец телевизионного искусства свободной дискуссии»! И, конечно же, им не сообщали, что зрители этой передачи не увидели... Лию Евсеевну я и попросила дать по ТВ урок литературы для 11-х классов. Мне кажется (тут уж я не ручаюсь), была у нас тема — «Тихий Дон». И конечно, Л.Е. Ковалёва не могла не коснуться «полузапретной-запретной» спорной темы об авторстве Шолохова. Учителя,

принимавшие нас (а мы связывались с ними сразу же после уроков), в один голос говорили: дети слушали как заворожённые.

Юрий Давидович Марголис. Кандидат исторических наук. Ты помнишь, Володя, — он недолго, всего один сезон, был нашим «историческим ведущим» на «Турнире»? Его имя я нашла в сценариях впервые в сентябре 66-го, в последний раз — в апреле 67-го. Ни до, ни после него не было у нас таких исторических конкурсов — глубоких, оригинальных и всегда весёлых. Например, командам 366-й и 121-й школ предлагалась прямо-таки приключенческая история: глядя на огромную фотографию скульптуры Венеры (она находится в Эрмитаже) объяснить, как эта богиня Венус в 1720 году попала-доехала из Италии в Россию. Почему добиралась она до своего нового дома очень странным, неблизким путем? Почему Пётр выбрал именно этот маршрут? Чтобы ответить на эти вопросы, ребята должны были обладать серьёзнейшими познаниями о взаимоотношениях России с европейскими странами, о союзниках и врагах Петра, о войнах тех лет.

Они горячо спорили, а ведущий всё подбрасывал и подбрасывал интереснейшие подробности о дипломатических тайнах петровской эпохи... Что было дальше — ты, Володя, не можешь не помнить: Ю.Д. исключили из партии, уволили из университета и «бросили» на ситценабивную фабрику им. Веры Слуцкой написать книгу об истории этой старейшей фабрики. Книгу он написал, хорошую книгу. Вышла она через четыре года, в 73-м, — «Фабрика на взморье». Вышла без указания его имени («рабочие сами написали».) А мне ещё тогда же, в 67-м, запретили приглашать его на «Турнир», навсегда запретили. Напомню, в чём была его вина: накануне в Ленинграде разоблачили «подпольную антикоммунистическую организацию» — «Все-российский социально-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН), созданную выпускниками и студентами ЛГУ.

Наш Юрий Давидович не был её членом, но знал о ней и ... не сообщил куда следует. Вот и вся его вина... Ты понял, Володя? Я пригласила Ю.Д. Марголиса дать детям (по-моему, средних классов) телевизионный урок истории. Тему точно не помню. Пришёл с радостью: тогда как раз он работал над книгой о фабрике — соскучился по родному, отнятому делу. И справился, конечно, с ним блестяще. Мне потом звонили школьные учителя истории, спрашивали: «Когда ещё этот профессор будет давать уроки? Для каких классов?» Уроков этот профессор больше не давал ни в каких классах. А мне был поставлен начальством очередной «минус».

Впрочем, думаю, не только, а может быть, и не столько причина моего изгнания в приглашённых мной педагогах, учёных, людях искусства. Я и сама, наверное, кое в чём «виновата»: решала всё сама, не советовалась с главным редактором, кого можно, а кого не стоит видеть-слышать на школьном уроке. «Свободой» увлеклась, забыла, где нахожусь. Словом, Володя, повторяю: я — «заигралась». И получила «по заслугам». Ну, а то, что главного поддержал парторг, — понятно: одного Марголиса, исключённого из партии, уволенного из университета, было вполне достаточно.

Прости, Володя, очень затянулась моя «рemarkа». Иначе — не получилось...

«Много ли подкинули?..»

То, о чём хочу рассказать, случилось лет через десять после того, как ушла из телевидения. Приготовься, Володя, удивиться, более того — изумиться, как удивилась-изумилась я...

Шла по Невскому. Навстречу — мой бывший сослуживец, редактор другой редакции. Улыбнулись друг другу. Думала, «Привет! — Привет!» (помнишь, конечно, такая песня есть?) — и мимо по своим делам. Но он как-то искренне обрадовался, пошёл меня провожать. Разговорился. Тоже, оказалось, на ТВ уже не работает. О нашем «Турнире» вспомнил: «Нет телерь такой передачи!» Туг я, конечно, не устояла — тоже пустилась в воспоминания. Довольно долго шли вместе. А когда совсем уже прощались, вдруг спрашивает, лукаво улыбаясь: «Много, небось, тебе за восемь лет подкинули?» Я не поняла: «Чего подкинули? Кто?» — «Не придуривайся. Деньжат. Твои авторы. Да ещё приходили сколько... Как их?.. Которые комментировали».

Хотела бы я сейчас посмотреть на твоё лицо, Володя! Моё — можешь себе представить. И припомни: много ты мне подкинул деньжат из своих «огромных» (весьма скромных!) гонораров? А Александра Александровна Пурцеладзе? А наш генеральный автор — Эдик Каташков? А председатель «Коллегии Справедливости» профессор Ермолаев? Может быть, наши комментаторы — на каждой передаче другие, в зависимости от темы? Ты, верно, не помнишь (а была это моя вечная боль и стыд!) — получали они, Володя, за «выступление в кадре» 9 рублей. Может быть, они подкидывали мне деньжат? Открою тебе секрет (по-моему, вы все, мои авторы, моя славная «турнирная команда», правды об этом так и не узнали): обрадовала вас, что, наконец, удалось «выбить» у дирекции — не легко, не сразу, через несколько лет! — для комментаторов (чтобы не так позориться — ведь среди них профессора, академики, писатели, композиторы, известные режиссёры и артисты были!) небольшую «добавку» к 9 р. Вручала каждому в конверте помреж — так и говорила: «От дирекции». Это вы знали. В чём же секрет?

Знаешь, откуда мы брали эти деньги? Я стала соавтором сценария «Турнира» (собственно, и была им с самого начала, но числилась только редактором), меня включили в авторскую ведомость — значит, и на меня теперь стали выписывать некую сумму. Эти-то «деньжата» мы и делили, распределяя по конвертам.

Расстались мы с бывшим коллегой после прогулки по Невскому: он — обиженный (зачем скрывать от товарища правду — все ведь знают!), я — недоумевающая, возмущённая (как он смел такое подумать!). А потом подумала: значит, такое всё-таки было! Пусть, конечно, не у всех, у немногих, у кого-то, но было!!! И где? На моём «святном» (в смысле корысти) телевидении! Ведь это правда, Володя: многие из нас (и авторы наши тоже!) работали тогда, в общем, на энтузиазме. Ты, наверное, помнишь, что М.М. Ермолаев несколько лет прилетал к нам на передачу из Калининграда (он тогда там работал) — каждый месяц! — за свои деньги... Но вот, оказываясь, не все на энтузиазме, совсем не все. Было это для меня открытием.

И снова хочу закончить днём сегодняшним. Многие опросы самых разных социологических служб единодушно утверждают: самая большая беда наша (это мнение людей разных возрастов, образования, профессий, богатства и бедности) — коррупция, сверху донизу пронизывающая всю систему. И это — тоже правда! Но многие мои знакомые, совсем неглупые люди, уверены (настаивают, спорят!), что это проблема именно сегодняшнего дня. Мол, в Советском Союзе, да и в царской России этого не было или почти не было. Неправда! Утверждаю: неправда!

Как быстро всё забывается. И недавнее прошлое забывается, и своя история, и великая русская литература. Вспомним «Былое и думы» А. Герцена — одну из лучших наших мемуарных книг. Есть там страницы о вятской ссылке молодого автора. Что поразило его тогда, чего не мог никогда забыть? Крестьяне — самые бедные крестьяне из окрестных деревень — приходили к нему, мелкому, поднадзорному чиновнику, с просьбами, жалобами и — всегда, всегда! — приносили ему что мог, чтоб умиловить, чтоб разобрался, по справедливости сделал то, что обязан был сделать по службе своей. И как обижались, горевали, упрашивали, когда ни за что, чуть не со слезами не хотел брать жалкое их подношение — иногда грош последний или несколько яиц. Не понимали! Не берёт — значит, не делает! Отказывается! Прогоняет! Значит, мало дал. Больше нужно. Ещё приду — принесу. Это Герцен. А Гоголь, а Салтыков-Щедрин — как их можно не помнить!

Но оставим литературу. Скажу, что меня удивило вчера, 1 октября 2013 года. Документальный фильм показали по каналу «Культура» — вспоминали графа Бенкендорфа, к которому мы, потомки, возможно, не вполне справедливы. В своём дневнике он записал (передаю смысл, дословно не запомнила): самое отвратительное сословие — чиновники, потому что мздоимцы, взяточники. Оказывается, он с ними неустанно боролся — не только с декабристами и всякими вольнодумцами.

Но если не так далеко? Если — о них сожалеют сегодня многие наши граждане — в «благополучные» брежневские времена? Была у меня близкая школьная подруга (увы, её уже нет) — Элеонора Пчелинцева, хороший адвокат, в Ленинграде много лет работала, потом в Москве. Рассказывала мне под большим секретом (и я слово сдержала — никому, никогда!), какие тогда чудовищные, ничуть не «лучше» наших, сегодняшних, коррупционные дела были. Фокус в том, что разбирались они в абсолютной тайне, — даже я, как-никак журналистка, понятия о них не имела.

О сталинских временах — молчу. Там все просто было: расстрелять — и дело с концом. Этого ли хотим снова?

Зачем я, Володя, об этом пишу? Понимать нужно: российская коррупция, воровство, взяточничество власть имущих, большая ли власть или маленькая, — от роду имеют столетия. И если всерьёз наши сегодняшние самые высокие правители, как утверждают на словах, решили бороться с безусловно губительным для страны злом — это прошлое надо учитывать. И бороться по-настоящему, начиная именно с этих самых высоких правителей. Иначе снова будут «слова, слова, слова».

КАРТИНКИ БИБЛИОТЕЧНЫЕ

В доме на Съездовской

Моя библиотека, Детская и Юношеская имени Николая Островского, на Васильевском острове. Съездовская линия, 21. Дом А. Брюллова конца XVIII века, двухэтажный, уютный, с фронтоном. Говорили, что жили в нём не сам архитектор, а его дочь с мужем. Теперь и улица снова по-старому Кадетская, и библиотека давно поменяла адрес.

Я знала эту библиотеку много лет: брала там детские книжки для сценариев своих радио- и телепередач — работала тогда внештатно. Провела оттуда (с передвижной телевизионной станцией) «живую передачу» о библиотекаре героическом — Галине Векслер: перенесла в детстве какую-то страшную болезнь (полиомиелит, кажется), еле передвигалась, тяжело опираясь на два костыля, но работала — у неё

были самые маленькие читатели — страстно и вдохновенно. Вот после этой передачи я и подружилась со всеми сотрудниками.

Наверное, ты помнишь, Володя, что семь лет я, автор-сценарист Детской редакции Ленинградского ТВ, выкладываясь там неистово и страстно, не могла пробиться в штат, хотя каждые три месяца — телевидение тогда расширялось — появлялись новые вакансии и молодые профессиональные журналисты были очень нужны. А меня из-за злосчастного 5-го пункта не брали! Не брали!.. И когда мне реально стало угрожать неумолимое «тунеядство», в самый критический момент в библиотеке предложили (спасением это тогда было!) пойти к ним на полставки.

Пять лет я у них работала, продолжая свою радиотеледеятельность, но уже «законно», со штампом в паспорте! Только в 62-м году, наконец, я стала редактором Детской редакции Ленинградской студии телевидения. Какое же это было счастье! Я тебе уже, по-моему, об этом писала? И о благодарности своей Н.В. Пономарёвой и директору (недолго он у нас был — выжили!) Борису Максимовичу Фирсову — писала тоже?



Тамара Львова в первые библиотечные годы.

Говорят, что в одну и ту же воду дважды войти нельзя. А я, Володя, вошла и весьма успешно: через тринадцать лет, в феврале 75-го, когда «добровольно ушла» (или «меня ушли») из телевидения, вернулась на Съездовскую, 21, в «свою» библиотеку и работала там, соединив обе профессии — библиотекаря и тележурналиста. Ко мне по школьному расписанию регулярно приходили классы со своим педагогом (только с очень хорошими имела дело!); мы проводили диспуты, конференции, обсуждения книг и... даже несколько раз настоящий между классами или школами «Турнир СК». И в «Коллегию Справедливости» к нам охотно приходили А.А. Пурцеладзе, и А.В. Брянцев, и кто-то ещё — мои замечательные «турнирные» ведущие...

Вот, Володя, какое солидное предисловие у меня получилось, чтобы дальше всё было понятно.

Итак.

Один наш читатель, по-моему 9-го класса, часто приходил заниматься в читальный зал. Однажды, смущаясь, попросил проверить написанное. Я проверила, что-то, помню, ему подсказала, какую-то книжку ещё принесла, посоветовала ци-

тату оттуда. Словом, мы подружились — он теперь все свои сочинения писал у меня в зале, о чём-то советовался. Иногда не соглашался — спорил. Однажды спросил, кого я люблю из советских поэтов. Я ответила — Заболоцкого. Жаль, мол, что нет у меня его книжки стихов — не достать. Принесла ему сборник из наших записников. И дала домой (что не полагается — из читального зала!) — на пару дней.

Вернул точно, как договорились, а через несколько лет, уже студентом, принёс мне — подарил! — маленький томик стихов. Он и сейчас у меня, затрёпанный, зачитанный: Н. Заболоцкий, «Избранное» (Уфа, 1975).

Есть у Николая Заболоцкого цикл из десяти стихотворений «Последняя любовь», написанный в самые последние годы его жизни — 195-1957 (умер в 58-м). Нет, Володя, стихов о любви второй половины XX века, которые трогали бы меня больше. Если ты не знаешь их или забыл — перечитай...

Но сказать я хочу совсем о другом. В конце книжечки — автобиография. Как положено: дед, отец, мать, где учился, когда начал писать. Последний абзац: «В 1930 году я женился на Е.В. Клыковой. В 1932 году у нас родился сын Никита, в 1937 году — дочь Наталья. Всё время жил в Ленинграде». Дальше — пробел. И уже от редактора: «На этом автобиография Н.А. Заболоцкого прерывается. Здесь приводятся основные данные его дальнейшей жизни и творчества. С 1938 года Н.А. Заболоцкий был на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. В 1945 году — в Караганде. С мая 1946 года он переехал в Москву».

Володя! Я не могу это читать! Меня даже сейчас охватывают злорадство, бешенство. Вот так просто: захотел Н.А. Заболоцкий и поехал путешествовать из Ленинграда на Дальний Восток, потом — в Алтайский край, не понравилось ему на Алтае, надоело — и отправился в Караганду. Ну скажи, что тут мог понять молодой читатель, купивший эту книжечку стихов в 1975 году, да ещё в Башкирии, в Уфе?! Почему прервалась автобиография? Придёт ли ему в голову, что это Большой террор на долгие годы отправил в «телятнике» замечательного поэта на Дальний Восток, в Алтайский край, Караганду?

Много ли тебе, Володя, пришлось читать таких автобиографий и биографий, которые стыдливо «прерывались» в 1936 — 1937 годах и часто уже безвозвратно? Я таких читала множество. И всякий раз, как будто видела впервые, злость и бешенство кипели во мне.

Н. Заболоцкий вернулся. Но умер он в 55 лет. Не сыграл ли в его безвременной кончине немалую роль этот зловещий «перерыв» в автобиографии?

Мрачная у меня получилась «картинка»? Прости.

Будем ли читать?

В последнее время, Володя, в самых разных СМИ обсуждается проблема: есть ли будущее у бумажной книги? Заканчиваются обычно эти обсуждения вопросом. А вот совсем недавно — не помню точно, по радио «Эхо Москвы» или каналу ТВ «Культура» — вопрос был поставлен категорически, безапелляционно: «Когда умрёт бумажная книга?» Да, умрёт. Уже умирает. Но когда? Один из участников дискуссии утверждал: лет через десять-пятнадцать подрастёт поколение, которое никогда бумажную книгу не открывало. Хорошо ли это, плохо ли, но неизбежно. Проблема, считает он, в другом: есть ли будущее у чтения? Пусть читают свои электронные книги, но пусть читают! Не умирает ли, не умрёт ли само чтение? Есть ли будущее у великой нашей классической литературы — пожалуй, наиболее цен-

ного вклада России в сокровищницу мировой культуры? Вот о чём мы должны думать, что защищать — не дать сгнить чтению! (Ты, не сомневаюсь, возразишь: а русская музыка, а живопись? Конечно! Но в той дискуссии речь шла о литературе, о чтении.)

Слушала я это, Володя, — сердце замирало. Да ведь и не только это наша российская проблема — всемирная! Слушала спор учёных людей, думала. И вдруг (часто у меня это «вдруг»?) вспомнила — ты удивишься — «Асю» Ивана Сергеевича Тургенева, прелестную повесть, которую так люблю с самой ранней юности. Почему вспомнила — сейчас расскажу.

Это был очень хороший класс. И учительница замечательная. Они приходили ко мне в читальный зал уже третий год. Мы обсуждали с ними книги. Какие? Очень разные: и новинки, обычно из журнала «Юность», и школьную программу не забывали. Но, Володя, я ведь хитрая: программное мы всегда обсуждали раньше, чем они изучали его в школе. Как только начинали «проходить» — интерес пропадал, начиналась «обязаловка». С учительницей был у нас такой договор: я даю им (брала во всех библиотеках района) книги, 10-20, за месяц примерно до нашей встречи; они — обязательно! — читают; только прочитав, приходят ко мне — и начинается! Двоек троек она не ставит, только пятёрки и четвёрки. Какие у нас были встречи-диспуты! Помню, «Преступление и наказание» обсуждали. Спор был такой, как будто сегодня произошло всё описанное Достоевским. Очень нравилось ребятам, когда мы с учительницей, взрослые, отчаянно друг с другом не соглашались. Фильмы новые обсуждали, спектакли ТЮЗа — конечно, предварительно все вместе посмотрев.

И немного «азналась» я, Володя: казалось, безошибочно могу предугадать, что понравится ребятам, вызовет живой интерес. Но на Тургеневе — споткнулась... Видишь ли, «Записки охотника» и «Отцы и дети» (именно это и изучается в школе), кажется мне, скучно, трудно детям читать. Куда было бы интереснее «Дворянское гнездо», «Накануне». Или повести: «Ася», «Первая любовь». Вот и договорились мы с учительницей — для начала читаем «Асю».

Провалилась я, Володя, с «Асей». Они прочитали. Почти все прочитали. Пришли. Расселись, как обычно. И... молчат. Как-то сразу повеяло холодком. Я что-то говорю, спрашиваю. Отвечают вяло, без интереса, поднятых рук почти нет. Пошла на крайнее средство. Раздала всем листочки. Просила (без фамилий!) поставить «плюс» или «минус» — понравилась повесть или нет. Забрала листочки. Промотрела. Минусов — абсолютное большинство! И тогда спросила: «Почему? Почему не понравилась вам "Ася"? Пусть это будет сегодня нашей темой. Сумейте доказать, что повесть неинтересная!» И тут они словно ожили, заговорили.

Напомню тебе, Володя, это было в конце 70-х — начале 80-х годов. О компьютерах, конечно, ещё и не слыхали, но «телевизионная болезнь» была в самом расцвете (телевизоры — в каждом доме), она даже название имела — «голубая болезнь», верно? Один за другим вставали мои «детки» и повторяли примерно одно и то же: длинно, скучно, затянута, описывает всё, описывает — от тоски умрёшь! А одна девочка, очень славная, уменькая, — её я хорошо запомнила, — попыталась мне объяснить: «Вот он Рейн описывает: берег один, берег другой. Восход, закат, облака — какого они цвета, как они двигаются, меняются. Или горы: каждую тропинку, каждое дерево. Невозможно читать — заснёшь. В любой рекламе по телевизору всё это за секунду покажут: и Рейн, и оба берега, и облака, и горы».

Ты понял, Володя? Что до меня — тогда, тогда ещё, впервые осенило: наша литература, наша великая классика в смертельной опасности.

В тот же вечер заново — и по-иному! — перечитала «Асю». Приведу тебе несколько строк: «Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне её бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за тёмной гранью круто рассечённых горных гребней». Ну, что ты скажешь? Нельзя ли это за секунду показать по «ящичку», как теперь говорят? Кому нужны эти многие страницы описания природы и — не то же ли самое! — переживаний человеческих? А у такой же умненькой девочки сегодня в руках послушный ей компьютер с его возможностями.

Да, Володя, в опасности, в смертельной опасности великая наша литература. Читает ли её сегодня? Будут ли её читать завтра? Не забудутся ли имена тех, кто её создал? Есть ли надежда её уберечь? Как не дать исчезнуть самой великой многовековой культуре чтения? И в кого превратимся мы, люди, человечество с его мобильниками, компьютерами, Интернетом, если культуру эту утратим?..

Володя! Хочу задать тебе вопрос, который меня по-настоящему волнует. (Кстати, он волнует ещё больше, болезненно, Владимира Михайловича Акимова, нашего постоянного «турнирного» комментатора литературных конкурсов, тогда молодого кандидата филологических наук, теперь доктора, профессора, члена Союза российских писателей. Считаю, что вопрос тебе задаём мы оба.) Но сначала — иллюстрация к вопросу.

Ты знаешь, что ко мне часто заходит соседская девушка, студентка 3-го курса Политеха. Милая, добрая, учится хорошо, двадцать лет. Здорово по-могает мне с компьютером, ориентируется в нём молниеносно, а я, к сожалению, увы...

Иногда читаю ей стихи — ей нравится, слушает хорошо. На днях я спросила, хочет ли она послушать все 26 стихотворений Лермонтова, включённых им самим в единственный вышедший при его жизни в 1840 году, за год до гибели, сборник его произведений: ведь 2014-й — год Лермонтова, 200 лет со дня рождения?..

— *Очень хочу. Почитайте.*

— *Начнём с первого. С него пошла его известность. Помните какое?*

— *Нет, не помню.*

— *Не может быть. Я со школы его наизусть помню. И Вы ведь учили? 1837 год. Великий поэт ушёл — другой великий явился. «На смерть поэта».*

— *Не помню... Что-то, кажется, в школе говорили. Почитайте.*

Я прочитала. Она слушала, честное слово, Володя, впервые! Потом я спросила: читала ли она «Героя нашего времени»? Говорит: «Нет, не читала». Я подкидывала подсказки — одно за другим называла имена: Максим Максимыч, Бэла, княжна Мери, Грушницкий, наконец Печорин (когда-то «мой герой»!). Нет, не вспомнила. Не читала!!!

Итак, Володя, ты понял? Нас с В.М. Акимовым волнует, тревожит, печалит грустная истина: не читает (или почти не читает?) сегодняшняя молодёжь нашу великую классику — в Интернете сидит.

А ваша молодёжь в Соединённых Штатах — читает свою американскую классику (я уж не говорю о нашей русской)? Знает ли своих великих писателей? Словом, читает ли хорошие книги? И современные тоже? Это и есть наш вопрос. Рада буду, если ответишь.

Владимир Фрумкин: Молодые американцы классику читают (и американскую, и иную) — изучают в школах, в университетах и сами не прочь почитать. Другой вопрос — насколько хорошо они её знают. Если сравнивать их познания с нашими (когда мы с тобой были молодыми), то наша начитанность, я думаю, была на порядок выше. Я это понял, когда стал преподавать в Оберлинском колледже и Русской школе Норвичского университета и ссылаться во время урока на примеры из мировой литературы. Помните, мол, у Гёте в «Фаусте» есть похожая сцена?.. Вижу по лицам, что не помнят. Оказалось, что даже «своего» Шекспира не очень-то знают. Меня это сначала сильно удивило и расстроило. Но постепенно дошло, что привезённые мной из России представления и критерии неприменимы к обычаям принявшей меня страны. У американцев, в отличие от нас, иное отношение к культуре и к понятию «культурный багаж». У них нет привычных для нас мерок «культурности», они не ожидают от каждого обладания неким минимумом прочитанного, этаким «джентльменским набором». Каждый волен увлечься тем искусством, которое ему по душе. Повторяю: ничего обязательного, навязанного извне, никаких общепринятых норм. Но вот что интересно: область, которую молодой американец избирает как профессию, он изучает с поразительной доскональностью. И становится блестящим знатоком того же Гёте или Шекспира...

Тамара Львова: *Не согласна! Если нет у человека «минимума прочитанного» — обеднённый духовно, а то и убогий он человек. Не кажется ли тебе, что потеря культуры чтения (вспомни, что завещал нам, студентам, Г.А. Гукоский) неизбежно ведёт к духовному оскудению? У нас, я уверена, так и есть, а у вас?*

Владимир Фрумкин: Может быть, и ведёт. И у вас, и у нас. Тревожные симптомы налицо. Но неизбежно ли это оскудение? Необратимо ли оно? С некоторых пор я стал опасаться мрачных оценок и предсказаний, особенно когда заходит речь об изъянах и пороках нового поколения. Не так давно я прочитал высказывания старших о подрастающих молодых, начиная от древних греков: все до одного — вот уже несколько тысяч лет — твердят о падении морали, размягчении характеров, духовном оскудении и т. д., и т. п. Если бы эти мудрецы, эти кассандры оказались правы, человеческая цивилизация давно бы приказала долго жить. Может быть, обойдётся и на сей раз? Сработают некие компенсирующие механизмы, потери в одном будут восполнены чем-то другим, всё выровняется — и катастрофы не случится. Как это и происходило на протяжении всей истории человечества.

Двойное сожжение

На «двойное» натолкнула меня случайность — так не хотелось начинать с мрачного, пожалуй самого мрачного из всех моих библиотечных воспоминаний.

Сегодня утром в «маленьком концерте» пела по «Радио России» Кристина Орбакайте. Неплохо пела. Но, думается мне, немало есть таких, как она, певиц. Обыкновенных. А ведь когда-то я была уверена: большая драматическая актриса из неё вырастет. Помнишь «Чучело» — может быть, лучший фильм Ролана Быкова по повести В. Железникова? Как она сыграла в нём, сама тогда девочка, двенадцатилетнюю шестиклассницу Лену Бессольцеву! Там и было «первое сожжение»: потерявшие разум в омуте жестокосердия ровесники Лены подожгли «её» чучело.

Фильм этот трудно и долго пробивал себе дорогу на экран: «Клевета на советских детей. Они не могут быть такими жестокими» — таков был приговор. Сна-

чала вообще запретили; потом шёл где-то на задворках, окраинах. Помню, я с дочкой, мой любимый класс с учительницей ездили смотреть его куда-то за город (был 84-й год). Какое, Володя, у нас было обсуждение! Ребята и повесть прочли. Кстати, тот редкий случай, когда фильм превосходит свой литературный прообраз, причём повесть ведь хорошая, но фильм — гениальный! Помню, повесили на входной двери объявление: «Библиотека закрыта по техническим причинам». Мы себе редко это позволяли. Но тут... Все сотрудники устроились в заднем ряду нашего маленького «зала» (это был «младший абонемент» — мы перед приходом класса вытаскивали оттуда всё, что можно было поднять, ставили стулья) — все хотели присутствовать на нашей «литературной киноконференции».

Через много лет, Володя, я услышала по радио выступление женщины — у неё были какие-то претензии к библиотеке, в которой её дочь берёт книги. И — ушам своим не верю! — она вспоминает, что когда-то ходила с классом в библиотеку на Съездовской, там такие обсуждения были; именно там, тогда у неё проснулся интерес к чтению. Она до сих пор помнит, как спорили про фильм «Чучело» и сравнивали с повестью. Так интересно! А сейчас у её дочки в детской библиотеке ничего этого нет... Несколько дней, Володя, я ходила как именинница.

А теперь — о настоящем, не киношном сожжении. Их, собственно, было два, разделённых несколькими годами, — во всяком случае, я помню два, и о каждом из них у меня есть «вещдоки» — вещественное доказательство.

Передо мной на столе — две книги. Очень разные. Одна — читанная-перечитанная, вся обтрёпанная. Год издания — 1951-й. Виктор Некрасов, «В окопах Сталинграда». На обороте титульного листа читаем (обрати на это внимание, Володя!): «Постановлением Совета

Министров Союза ССР от 7 июня 1947 года Некрасову Виктору Платоновичу присуждена СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ второй степени за повесть "В окопах Сталинграда)". Я напомню тебе, что начата (или задумана?) эта книга автором-фронтовиком, очевидно, ещё во время войны: вышла в 46-м! Правдивая, честная повесть — предшественница всей нашей замечательной «лейтенантской прозы». О ней, помню, много говорили у нас в университете в курсе советской литературы.

А вот вторая книга — совсем новенькая, не читанная, кроме меня, никем. Издана в 1974-м. Из серии «Пламенные революционеры». Анатолий Гладилин, «Сны Шлиссельбургской крепости» (повесть об Ипполите Мышкине). Запомни, запомни, Володя! Ленин назвал народника Ипполита Мышкина — о его трагической судьбе и рассказывает повесть — «одним из корифеев русской революции». А сам А. Гладилин — один из «зачинателей прозы шестидесятников», имя его «было знаменем молодёжной литературы периода оттепели» (это я в Интернете прочитала, с чем совершенно согласна).

Что же объединяет эти книги? На обеих — библиотечный штамп. Украли я их, Володя! Но не суди строго. Украли, но и спасла. Спасла от сожжения! Вот что написано моей рукой на форзацах. В книге А. Гладилина (её спасала первой, она только-только пришла в библиотеку — никто из читателей ещё не открывал её): «Книга, подлежащая сожжению и втихую взятая мной из библиотеки — с разрешения заведующей. Автор — эмигрант, диссидент». Почти то же, но позже моим почерком на повести В. Некрасова: «Книга, подлежащая сожжению и взятая мной из библиотеки — "спасённая" (автор уехал из страны). Т. Львова. P.S. С разрешения Г.А. (Галина Андреевна Пушко — моя заведующая. — Т.Л.), она её чем-то "тайно" заменила». Авторы уехали за рубеж (В. Некрасов — в 74-м, А. Гладилин — в 76-м)

— значит, книги сжечь! Некрасова жгли позже, потому что он позже был лишён советского гражданства, уже в 80-х; Гладиллина — раньше.

Спроси у кого хочешь, Володя, где и кто жёг книги в XX веке? Уверена, тебе ответят: «В фашистской Германии. Гитлер». Я тоже так думала. Ан нет! Не только фашисты, не только Гитлер — в Советском Союзе, и не в сталинском уже, а в брежневском. Я — свидетельствую! Библиотека получала приказ: «Изыять такие-то книги, имеющиеся у вас в таком-то количестве; такого-то числа, к такому-то часу за ними придут — увезут». Тут мы с моей Галей Пушко помним по-разному. Я так и вижу: остановился у нашего подъезда на Съездовской, 21 фургон, мы — не фигурально, буквально! — в слезах сносим перевязанные бечёвкой пачки книг (ведь, например, некрасовской «В окопах Сталинграда» у нас было множество экземпляров!); фургон трогается — объезжает все библиотеки района. Г.А. помнит, что она с кем-то из сотрудников отвезла «арестованные» книги в центральную библиотеку района, а оттуда уже на фургоне — куда-то в печь. На сожжение... Так ли, сяк ли — какое имеет значение? Но — снимали с полок на абонементе, в читальном зале, в запасниках. Увозили. И где-то там — сжигали. Понимаешь ли, для библиотекаря это вивисекция — резание по живому! Я этого не забуду. И не прошу.

9 мая 2014 г. Только что позвонила — поздравила с Днём Победы — заведующая моей библиотеки. (Увы, ровно месяц — не заведующая, а рядовой библиотекарь: «А годы летят...»^{13]} — и она уже пенсионерка, моя Галя, Галочка — кажется, недавно совсем юная, из далёкой белорусской провинции, — Галина Андреевна Пушко, которая «сама себя сделала».)

Рассказала мне Галя среди прочих библиотечных новостей нечто совершенно меня поразившее, а ею обозначенное как «очередной идиотизм». Чтобы ты понял, Володя, придётся объяснить...

Ты знаешь, конечно, что 2014-й объявлен у нас Годом культуры. А для библиотек (именно для библиотек, если я не ошибаюсь, он ещё «Перекрёстный год культур Великобритании и России». Какова цель? Вот она: «Как хорошо было бы и для России, и для Британии, если бы 2014 год... действительно привёл к улучшению взаимопонимания между народами наших стран». Цель, как видишь, великоленная... Чего только не придумали (есть ещё настоящие, влюблённые в своё дело профессионалы!) библиотекари разных городов и весей! Кто-то открыл клуб «Англоман», кто-то подготовил вечер «Ребусы по-английски», у кого-то целая программа разработана: «Как всем желающим почувствовать богатство и выразительность английского языка». И выставки, выставки, выставки! Всё своё «английское богатство» — читателю: смотрите, берите! Далеко не во всех библиотеках есть оно, это богатство. А вот в моей Юношеской есть. Копилось годами: ведь на Васильевском острове, где наша библиотека, — несколько школ с углублённым изучением английского. Книжки с выставки на английском — только заменять успевай — быстро разбирали.

Вот я и подошла к тому, поразившему меня, что рассказала Галина Андреевна. Несколько дней назад пришёл указ от районного начальства: всю англоязычную литературу (кроме учебников) из открытого доступа убрать в запасники. И выставку убрать тоже. Незамедлительно... Зачем? Почему? Не объяснили. убрать — и всё! И они послушались. Выполнили приказ. Убрали книги с полок на абонементе и выставку, которой гордились.

Я спросила Галину Андреевну: откуда приказ — только ли из района, или всем библиотекам нашей культурной столицы, или ... общероссийский? Она не знает. И тогда я позвонила в ближайшую, недалеко от дома, библиотеку Московского района — там ко мне хорошо относятся (профессиональная солидарность). Слава Богу! Ничего они об этом «приказе» не слышали. У них «Перекрёстный год культур России и Британии» продолжается. Значит, «изобретение» принадлежит — пока (???) — только василеостровским «культурным деятелям». Интересно, чем они руководствовались?.. Хотелось угадать желание высокого начальства? Когда-то это называлось — «идти впереди прогресса» или «впереди планеты всей» ... Может быть, и в самом деле — угадали, точнее предугадали? Случилось же это «указание» именно теперь, после Крыма, после «санкций». Поживём — увидим... Мы-то с Галиной Андреевной помним сожжение. Куда идём?..

Изворачались!

Ты помнишь, конечно, Володя, самое начало — вторую фразу — из «Анны Карениной»: «Всё смешалось в доме Облонских»? А если добавить сюда и дом самой Анны? По существу, ведь все они, каждый по-своему, — хорошие люди: и Стива, и жена его Долли, и приехавшая мирить их Анна, и сама Анна, и даже Каренин. Но что таилось за этим? И ложь, и измена, и предательство, и жестокость. Да, «всё смешалось».

Смелое, скажем прямо, сравнение, но, поверь, — поразительно **«всё смешалось»** в двухэтажном особняке с фронтоном Александра Брюллова на Съездовской, 21, где на много лет нашла приют Детская, потом Детская и Юношеская, потом просто Юношеская библиотека имени Николая Островского.

Очень хорошая была у нас библиотека, Володя. Небольшой коллектив преданных своему делу людей. Доброжелательных друг к другу. Внимательных к каждому читателю. Готовых «из-под земли» — в запасниках, из других библиотек — достать нужную ему книгу. Рекомендовать — увлекательно рассказав о ней — новую книжку.

Что касается меня, пожалуй, самым запомнившимся событием был праздник, посвящённый 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина в 1999 году. Длился он весь учебный год. Каждый месяц будущие его участники (ребята 35-й школы) приходили к нам в читальный зал: рассказывали им о Пушкине и читали его стихи лучшие лекторы и артисты Детской филармонии.

Несколько раз ходили на Мойку, 12, в Музей-квартиру Пушкина: специально для нас был разработан «экспериментальный цикл бесед». А весной как итог я устроила настоящий «Турнир СК» между классными командами. Председателем «Коллегии Справедливости» была наша «турнирная» Александра Александровна Пурцеладзе. Представь себе, после этого события я, тогда уже «в чине» ведущего библиотекаря, стала... лауреатом премии администрации Василеостровского района «С любовью к Пушкину».

Нам повезло с заведующими. Обими. И этим многое определяется.

Когда я пришла в библиотеку в 75-м, заведующей была уже много лет (а всего проработала в этой библиотеке — 35!) Мария Зиновьевна Зелицкая. Обрати на это, пожалуйста, особое внимание, Володя: М.З. прошла всю войну от звонка до звонка — старшина медицинской службы, хирургическая медсестра. В её красноармейской

книжке — благодарности «за отличные боевые действия в боях» под Бобруйском, Белостоком, городами Восточной Пруссии, Берлином. Два ордена Красной Звезды. Семьи у неё так и не было, как у множества её ровесниц: вернувшиеся с фронта женихи (на вес золота были!) искали себе невест помоложе (вог хотя бы мой Женя, тоже фронтовик, — на семь лет меня старше). Это очень важно — запомни, Володя: была Мария Зиновьевна до щепетильности честный, порядочный и, как ты понимаешь, мужественный человек. К сотрудникам относилась — мы все гораздо моложе были — почти по-матерински. Ушла она от нас — скончалась в 87-м году.

Вторая наша заведующая после М.З. — Галя, Галочка, Галина Пушко. Из белорусской провинции в Ленинград приехала совсем молоденькой. О таких говорят: «Сам себя человек сделал». Не было за ней ни родительской поддержки, ни интеллигентной среды. Но поступила в вечерний (или заочный?) библиотечный техникум и закончила, потом институт. (При этом рано стала женой и мамой.) Помню, меня не раз поражала в первые годы нашего знакомства — постараюсь выразиться поделикатнее — её потрясающая неосведомлённость в самых, казалось бы, элементарных на «культурной ниве» вещах. Но как она училась! Как жадно читала! Использовала каждую минуту, чтобы прочитать, спросить, записать в блокнот — всегда был при ней — для себя новое. Я, помню, что-то советовала ей, когда она курсовые писала. Как она слушала!.. В общем, наша Галя, Галина Андреевна уже много лет одна из лучших заведующих библиотек Василеостровского района, человек высокопрофессиональный, любознательный, начитанный. И, повторюсь (это особенно ценю!), — «сама себя сделала». Но, Володя, в этом контексте мне самое важное подчеркнуть другое (ты скоро поймёшь почему): она — так же, как Мария Зиновьевна, — безусловно, человек честный и по-своему мужественный. (Я очень ей благодарна: с 2001 года, когда я ушла из библиотеки, Г.А. привозит для меня — живёт она недалеко, дочка у неё забирает — все книжные новинки.)

Вот ты и подумай, Володя, как, почему, зачем могли изобраться такие хорошие, порядочные, подчёркиваю — сильные люди, как обе мои заведующие? А следом за ними все мы, которые «под ними», — значит, и я, ведущий библиотекарь, да к тому же ещё лауреат премии районного масштаба?..

Напомню, что столь наполненное горечью «изворался!» я «похитила» из письма Аркадия Гайдара, написанного в «психушке» другу своему писателю Рувиму Фраерману. Не исключаю, но это уже мои домыслы, что в слове этом — одна из причин его душевного заболевания. Не мог он, фанатик-революционер, герой гражданской, любимейший детский писатель, вынести вранья в своих писаниях, а иначе... иначе было невозможно. И сломался...

Ну, а мы-то, мы в своей замечательной Юношеской библиотеке на Васильевском острове, так добросовестно и честно делавшие свое дело, — с какой радости изворались? Все до одного. Сверху донизу...

Начнём «сверху». С уважаемой и любимой нами заведующей, прошедшей всю войну, — Марии Зиновьевны Зелицкой.

Приближались тогда, Володя, какие-то выборы. Какие — не помню. Наверное, всесоюзные — возможно, депутатов в Верховный Совет выбирали. Мария Зиновьевна, как обычно в таких кампаниях, — член районного избиркома (так ли называю? Но ты понял?). Проводила там много времени, и в библиотеке дел было немало — уставала очень. Накануне выборов поделилась со мной (под большим секретом: только мы двое у нас в библиотеке члены партии, она к тому же секретарь партийной организации всей нашей районной библиотечной системы): сказала

мне, что боится завтрашнего дня — сил не хватит всю ночь в избиркоме сидеть. Я удивилась: «Зачем всю ночь? Разве так долго голоса посчитать?» Она посмотрела на меня удивлённо: «Вы что, не понимаете? Все протоколы надо переписывать, чтобы процент явки получить». Ты понял, Володя? Им «спускали» процент явки избирателей, который они обязаны были получить. И это ещё тогда, когда по квартирам ходили агитаторы: приглашали, уговаривали (намекали на возможные неприятности на работе!), настаивали непременно исполнить свой гражданский долг — проголосовать за кандидата «блока коммунистов и беспартийных». Вот и сидела всю ночь бедная наша Мария Зиновьевна вместе с коллегами по избиркому — переписывали протоколы. И получали к утру нужный процент! Но ведь это означает, что кто-то всё-таки осмеливался не приходить, не исполнить «свой гражданский долг»!

Ты знаешь, что более всего удивило меня в том разговоре с М.З.? Не было в её интонации ни протеста, ни злости, ни возмущения — только усталость: раз нужно, так нужно. И её, значит, сломали. Как нас всех. Нет, как почти всех. (Так что, Володя, вон откуда идёт сегодняшний, пожалуй, главный лозунг наших оппозиционеров: «За честные выборы!» Оттуда, издалека идёт.)

Я обещала провести нить — «изоврались» — сверху донизу. Вот и спустимся вниз, к нам, рядовым сотрудникам, библиотекарям.

Что делаем мы постоянно, ежедневно, ежечасно? Ты и представить себе не можешь: заполняем «статисты» — статистические, значит. Лежит перед каждой из нас этот лист и на абонементе, и в читальном зале. Приходит читатель — мы отмечаем, чтобы потом посчитать, сколько сегодня пришло. Это не всё. Мы отмечаем каждую книжку, которую он взял, вносим в графу: общественно-политическая, например, или русская, западная классика, фольклор, география, физика, математика, о нашем районе; столько-то книг взято с выставки, поставленной недавно нами, такие-то взяли журналы, и ещё, и ещё. Статисты эти храним пуце глаза — по ним отчёты, то ли ежемесячные, то ли поквартальные, а там ещё годовые. Ну и что, скажешь ты? Скучная, нудная работа. Зато будем знать, сколько к нам приходит ребят, какие книжки, журналы больше всего востребованы. Очень полезное дело!.. Да нет же, Володя, нет! Мы отмечаем, подводя итоги дня, не сколько их было, читателей, а сколько их должно было быть!!! Не сколько они и какие взяли книги, а сколько и какие должны были взять!!! Враньё, сплошное враньё! Всё так же: «спускают сверху цифры» — мы обязаны им соответствовать...

И ведь полный абсурд! К нам тогда в самом деле ходило много читателей. На абонементах — и старшем, и младшем — после школьных уроков стояли очереди, в читальном зале нередко все столы были заняты: занимались ребята, читали... Зачем же нужно было это враньё? Чтобы нарисовать цифру ещё более грандиозную? Читателей? Не понимаю! А вот книг... Тут другое дело. Книги и журналы в запредельных количествах должны были быть востребованы в первую очередь общественно-политические, потом естественнонаучные, потом какие-то ещё. Так что истинно ребята интересовались по этим статистам не очень можно было изучать. И зря пропадала вся наша кропотливая работа.

Понял теперь, почему и как — «изоврались»?..

Была ещё одна глубокая ниша для вранья. Меня она как раз не касалась: мои диспуты, конференции, обсуждения книг, фильмов, спектаклей — так называемые «массовые мероприятия» — они были, я на самом деле их проводила. Потом мои «сценарии» вовсю использовали для годовых отчётов — и районных, и городских. А знаешь, как проводили — и не раз! — эти «массовые мероприятия» в других

библиотеках? (Ну не умели, не умели их многие проводить, зато умели другое, чего не умела я, но нужно, необходимо было заполнить в отчётах именно эту графу: «массовые мероприятия».) Приглашали к себе коллеги нас, библиотекарей всего района, — так сказать, к себе в гости. Мы изображали читателей. Перед нами выступал какой-то докладчик, делал сообщение. Вот тебе и «массовое мероприятие». А потом те приглашали их — и у тех, значит, «массовое мероприятие». Нужная графа заполняется...

Ты, помня мою «турнирную» непримиримость, можешь спросить, отчего я тут так легко сдалась? Ничего подобного. Совсем не легко. Представь себе, статью написала в журнал «Библиотекарь» про все эти наши статисты лживые. И её напечатали! Почти без купюр. Но... Ничего, Володя, после этого не изменилось. Всё те же листы, всё то же враньё...

Совсем недавно (уже по поводу наших с тобой «писем») я разговаривала по телефону — долго разговаривала! — с Галиной Андреевной. И что узнала! Оказывается, после той моей статьи были у неё большие неприятности: специально приезжала комиссия, досталось ей крепко зато, что в её библиотеке (понимаешь, только в её) были все эти «лжецифры», — в остальных, конечно, ничего подобного никогда не было. Вот так!!! А Галя мне ничего тогда не сказала — спасибо ей: бергла меня так же, Володя, как я когда-то вас, мою славную «турнирную» команду, — тоже, помню, сколько скрывала от вас.

Не удастся мне закончить оптимистически, а я очень на это надеялась. Спросила Галину Андреевну, как у них сегодня, сейчас, — нет, конечно, такого количества никому не нужных бумаг, освободили их от всего этого? И вот что она мне ответила — почти дословно: «Откуда Вы прилетели, Тамара Львовна, из каких краёв? Я сдаю теперь бумаг о каждом мероприятии — отчётов по Интернету, с фотографиями — в несколько экземпляров: отдел культуры, район, город — в сто раз больше (это её слова, Володя, я их не придумала!), чем мы когда-то с Вами сдавали. А у нас что ни день — мероприятие. Так тошно от всего.» На этом и кончился наш разговор. Об «изоврались» я её не спросила. Не решилась. Попробуем догадаться сами.

Я задала ему вопрос

Я видела его один раз. Но кто он — ты узнаешь потом, потому что было это в мои библиотечные годы, наверное в середине 80-х, а начну я с дней сегодняшних.

С грустью слышала за последние год-два, и не раз, и от разных уважаемых мной людей по радио «Эхо Москвы», да и по «Радио России» тоже, что неуклонно катимся мы куда-то в средневековое мракобесие. И «культурная столица», «град Петров», наш с тобой город, Володя (он всё равно и твой, хоть ты теперь «далече»), и Москва — столица российская. И так хочется негодовать, возмущаться, но — от этого-то и грустно — приходится соглашаться: катимся в мракобесие.

2014 год. 8 января. Москва. Ухрама Христа Спасителя — огромная очередь. Люди стоят поклониться «дарам волхвов», привезённым с Афона! Невскольким (передавали по радио) потребовалась медицинская помощь... А ведь, наверное, у многих — очень многих! — в руках мобильный телефон. И называется это — XXI век. Не понимаю.

Очередь у храма Христа Спасителя становится с каждым днем всё длиннее. Сначала, чтобы дойти до великой цели, нужно было отстоять 5 часов, потом — 9.

11 января в новостях по радио «Эхо Москвы» сообщили: стоять уже нужно 12 часов! Успокоили: очередь движется быстро, в полном порядке.

На днях по тому же радио Дмитрий Быков объяснил этот феномен жаждой русского человека духовности, его верой в чудо.

Скоро «дары волхвов» придут в Санкт-Петербург. Интересно, Володя, что будет у нас? Победит ли «культурная столица» свою вечную соперницу по... длине очереди «жаждущих духовности»? Или — это моё мнение — по размерам волны мракобесия, захлестывающей обе столицы при поддержке РПЦ?

Так что же это, Володя? Жажда добра и духовности? Или затмение разума? Я ничего другого в этом не вижу.

Владимир Фрумкин: Какая там «жажда духовности»! Побойтесь Бога, Дмитрий Львович! Но вера в чудо — да, согласен. Она издавна живёт в народе. Помнишь, Тамара, массовое увлечение целителями (Кашиповский и др.), собиравшими у телевизоров миллионные аудитории? Думаю, что его вызвала растерянность, оторопь, которая охватила народ в ходе краха империи и провала в тартары привычного образа жизни. Судорожные поиски хоть какой ни на есть опоры в этом распадающемся мире...

14 января. Ну вот и дождалась. Приехали «дары волхвов» на три дня к нам, в культурную столицу. Пускать в храм (совсем недалеко от меня: в нашем, Московском районе, в Новодевичьем монастыре) начнут во второй половине дня. В 11 часов утра слышала по радио: «Очередь уже протянулась на полкилометра. Первые стоят с 4-х утра». Люди в многочасовой очереди, чтобы только прикоснуться к святыне, мёрзли, выматывались и (по словам очевидцев) ссорились. Произошла большая давка, паломники забыли обо всех христианских заповедях. Около ста человек обратились за медицинской помощью... Вот и всё, Володя. Больше мне сказать нечего.

18 января. Есть что сказать, Володя! Только что по «Эху» выступала Юлия Латынина. Вот её «особое мнение» по поводу «даров»: эти многотысячные очереди — помесь абсолютно средневекового мировосприятия и... новейших ТВ-технологий. Оказывается, федеральные каналы всю эту самую «дары» рекламировали. В общем, согласна она с тем, о чём мы с тобой говорили: средневековье, мракобесие. И — XXI век...

26 января. И всё же — слабое утешение. Прочитала в «Аргументах и фактах» № 4 слова диакона Александра Мухина, доктора исторических наук: «К чести Петербурга, очередь здесь много короче, чем в Москве. Там к дарам волхвов прикоснулось более 400 тысяччверующих». А в Петербурге, согласно итоговому цифрам, — 160 тысяч.

Ещё немного на близкую тему. Привозили к нам не так давно «святые мощи», и выстраивалась — чтобы только дотронуться! — огромная очередь; не ели, не пили, под дождём мокли — молили о чуде! Больше, конечно, женщин, молодых и старых, некоторые с детьми. Их я очень жалела — не от хорошей жизни пришли сюда. Но вот «православные активисты» (или называют их ещё «православные верующие»), агрессивные, «вооружённые» только своим невежеством (я с несколькими разговаривала — ни Нового, ни, тем более, Старого Завета они в руках не держали!), или из небытия вдруг возникшие «блюстители порядка» — благо пока безнагаек! — казаки.

Эти вызывают у меня страх... Их боятся, их слушаются! Они закрывают художественные выставки, отменяют концерты, врываются на сцену во время спектакля, они требуют убрать из Третьяковки картину Репина. (Пока не убрали!) Они чувствуют явную или тайную поддержку РПЦ — это, по-моему, и придаёт им уверенности и агрессии... И уже совсем недавно они позволили себе откровенно наглую, хулиганскую выходку по отношению к Международному театральному фестивалю у нас в Петербурге и его организатору, художественному руководителю Малого драматического театра — Театра Европы — Льву Додину, нашему Лёвочке, который, тогда совсем ещё юный, всего год был режиссёром «Турнира», но навсегда этот год запомнил и называл общение с нашей командой «глотком свободы». Что-то не слышала я, чтобы этих опозоривших нашу культурную столицу хулиганов нашли и примерно наказали.

Но продолжаю.

Главная опасность, по-моему, Володя, — это школа, дети. Ты, возможно, не знаешь, что ребятишкам 4-го класса у нас преподаётся сейчас новый предмет, точнее один из пяти (по выбору родителей): основы православия, или ислама, или иудаизма, или роль в истории культуры всех основных мировых религий, или, наконец, светская этика (возможно, я не совсем точно называю эти предметы, но смысл, думаю, понятен).

Не приходит ли тебе в голову после этой информации название предыдущей моей «картинки» — «Изворались»? Где, в какой школе, да ещё по всей необъятной нашей России, найдутся должного, высочайшего уровня преподаватели всех пяти означенных предметов?! Где, когда, в каком вузе их готовили? Да ещё в полном соответствии с нашей конституцией об отделении религии от образования, церкви — от государства?..

Вот тут я и позволю себе вернуться лет на тридцать назад, в 80-е годы прошлого века, в мои библиотечные годы. Тогда, Володя, — этого ты не знаешь точно, уехал в 74-м, — уже была предпринята попытка «вернуть» в школу основы православия в России, его роль в истории и культуре страны.

Несказанно я удивилась, когда узнала, что ведёт этот новый предмет в 35-й школе, с которой я уже столько лет и плодотворно сотрудничаю, очень милая учительница литературы, любящая детей, приветливая, но — оказывается! в голову не приходило! — ещё и знаток истории религии. Обычно, Володя, классы этой учительницы (не буду называть её имени) приходили ко мне в читальный зал на наши литературные диспуты-конференции. А тут пошла в школу я — специально к ней на урок «православия» (не помню точно, как он назывался) — очень интересно было. Да, не сказала: тогда новый предмет ввели в старших классах.

Ушла я — убежала! — сразу после звонка, сделав вид, что куда-то очень спешу, слова не сказав (а она этого ждала) своей милой приятельнице-учительнице, — совершенно ошарашенная... Ты знаешь, Володя, я атеистка, в религиоведении полная невежда, но на её фоне я в профессора годилась. 45 минут она говорила детям что-то совершенно жалкое, беспомощное, где-то по клочкам вычитанное, путаное. А дети, дети это понимали! Переглядывались, хихикали, домашнее задание по математике втихую делали, записочками перекидывались, на меня хитро поглядывали... Словом, всё было ясно. Но скажи, скажи, Володя, где было им взять другого, лучшего учителя? Знаток в области истории религии, православия? Да не было такого в школе — ни в этой, ни в какой другой.

И вот, представь себе, возвращаюсь я в библиотеку расстроенная, растерянная. Что делать? Должна ли об этом говорить? С ней самой, с учительницей? С директором? И что говорить? Ведь понимаю: пришла директива — начать преподавание. Немедленно. И точка!

Галина Андреевна, моя заведующая, встречает новостью: завтра она просит меня прямо из дома, не заходя на работу, пойги по такому-то адресу (по-моему, в здание на набережной, недалеко от моего филфака, там какое-то учреждение было) на встречу библиотекарей нашего района с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым!

Моё дурное настроение как ветром сдуло. С Д.С. Лихачёвым! Историком древнерусской литературы. Академиком. И, как называли его, «совестью нации» — это главное. В нашей «Книге о "Турнире СК"» в главе «Председатель "Коллегии Справедливости"» на с. 63 есть такая строка: «Когда люди моего поколения продолжают ряд: Д.С. Лихачёв, А.Д. Сахаров, — далеко не у каждого есть кто-то следующий, кого можно в этот ряд поставить. У меня есть — Михаил Михайлович Ермолаев». Видишь, Д.С. у меня в этом ряду первый. Как я благодарна была Гале, что она меня послала от нашей библиотеки на эту встречу. Я увидела Дмитрия Сергеевича. Единственный раз.

Встреча состоялась в основном из вопросов и ответов. Дмитрий Сергеевич — обаяние его, улыбку я не забуду! — интересовался конкретными нуждами библиотеки, всё записывал, чтобы конкретно помочь. И ещё расспрашивал — очень внимательно слушал! — что читают дети.

В общем, Володя, я со своим вопросом «влезла», по правде говоря, неуместно, не о том совсем шла речь. Но не могла иначе. Этот вопрос мучил меня. И я подняла руку. Встала. И рассказала (не называя ни школу, ни учительницу) о том, чему была свидетельницей. И спросила его мнение по поводу только что введённого «религиозного» предмета. Представь себе, Володя, Д.С. обрадовался моему вопросу, сказал, что его это тоже очень волнует.

Уже сейчас, готовясь писать тебе это письмо, я кое-что сумела найги и прочитать, но твёрдо так и не могу сказать, был ли абсолютно неверующим Д.С. Хотя и нашла у него такую фразу (по-моему, привожу точно): «...тогда изредка ходил в церковь, уже неверующим». Но вот — цитата: «Необходимо учитывать значимую роль религии в развитии человеческой цивилизации».

Так что же всё-таки ответил Д.С. на мой вопрос? Не дословно, но за смысл ручаюсь: что было бы очень полезно рассказывать детям о роли всех основных мировых религий, именно всех, а не только православия. Что дело это очень трудное, тонкое. Требуется специальной и весьма длительной подготовки, хороших педагогов. У нас сейчас таких педагогов нет. Поэтому, кроме вреда, введение дисциплины, которую пытаются скоропалительно ввести, ничего дать не может. Ни в коем случае не забывать, что речь идёт не о Законе Божьем, а именно о роли религии в мировой культуре. А это часто путают. Мы — светское государство.

Попытка, назовем её первой, о которой я рассказала, очень скоро и как-то сама собой испарилась, исчезла — провалилась. Сейчас мы переживаем вторую, куда более пугающую, агрессивную. И безусловно поддерживаемую и РПЦ, и властью. Хотела бы, чтобы помнили — и не забывали! — мнение на этот счёт человека, которого называли «совестью нации».

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

Моя встреча

Тамара Львова: *Володя, я рассказала о незабываемой встрече с Д. С. Лихачёвым. А что если и ты, подхватывая, напишешь о своей самой значимой для тебя встрече?*

Моя незабываемая (я бы сказал — судьбоносная) встреча произошла в старинном дворянском особняке на улице «Правды», где в наши дни был Дом культуры работников пищевой промышленности.

Я вёл там цикл лекций-концертов о русской классической музыке. Как-то после одной из лекций ко мне подошла стайка молодых слушателей: «Не хотите ли прийти на песенный вечер в кафе "Восток"? Это здесь, в ДК пищевиков! Петь будут наши самодельные авторы, ленинградцы. Вряд ли Вам это знакомо и близко, но вдруг заинтересуетесь?..»

После некоторых колебаний я на вечер пошёл. Вхожу. За одним из столиков сидит... Неужели? Ну да, Александр Володин, замечательный драматург, автор «Пяти вечеров»! Подошёл, познакомились (а потом — и дружить стали). Ну, думаю, если сам Володин пришёл послушать, то что-то в этих песенках должно быть стоящее, достойное внимания. И не ошибся. С того вечера жизнь моя безнадежно раздвоилась. Я попал в мир, параллельный тому, в который меня привело моё консерваторское образование. Перестал быть «нормальным», академическим музыковедом-теоретиком.

Не сложилась у меня академическая карьера, и вот почему. Во-первых, не закончил диссертацию. Тему мне Михаил Семёнович подсказал интересную: об особенностях симфонической драматургии Шостаковича. Не исключаю, что у Друскина была не высказанная им вслух мысль: дать мне шанс реабилитировать себя, смыть пятно, оставшееся на мне после моей злосчастной статьи. Я написал довольно много, дважды опубликовал — в солидных изданиях — большие фрагменты, но так и не довёл до конца и до защиты. А дальше случилось так, что я как-то остыл к чистой теории. Меня увлекли педагогика, чтение популярных лекций, телевизионные циклы. И я стал отдаляться от классического музыковедения. Вскоре после визита в кафе «Восток» у меня появились новые друзья — авторы, исполнители и энтузиасты вырвавшегося из-под государственного контроля песенного движения: молодые инженеры, преподаватели, научные работники, аспиранты, студенты. Через год-два к ним прибавились профессиональные поэты, ставшие неоспоримыми лидерами «магнитиздата», властителями дум, в чьи голоса вслушивались миллионы их сограждан, приникшие к появившимся тогда в продаже «Яузам», «Астрам», «Днепрам»... Каждый поэт-певец оставил свой след в моём сознании, общение с ними стало моей «школой зрелости». И немудрено: Булат Окуджава, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Фовелла Матвеева, Александр Гордоничский, Юлий Ким, Юрий Кукин, Юрий Визбор, Евгений Клячкин были яркими, незаурядными личностями и, за редким исключением, раньше меня прозрели и отрешились от советских мифов и иллюзий. Присутствие этих людей в моей жизни во многом определило мою дальнейшую профессиональную и человеческую судьбу.

Отъезд

Тамара Львова: *Ты так и не рассказал, почему уехал, как это в тебе зрело и нарастало. Да я больше в нашей «Книге о "Турнире СК"» написала, почему ты уехал. Вспомни хотя бы, сколько конкурсов, тобой задуманных, интереснейших (об*

Окуджаве, о балете Якобсона, об авторской песне), нам прикрыли. Вспомни своё «знаменитое» (см. в той же книге): «Правду, ребята! Только правду!», — с которым ты буквально умоляюще обратился к командам в живом эфире, задав довольно-таки сомнительный (для наших цензоров) вопрос: что им ближе — стихи Окуджавы (конкурс о котором нам запретили!) с его музыкой или с музыкой Блантера? И потом — мне, каясь: «Не могу больше!»

Хорошо, расскажу. Но — сжато, пунктиром, чтобы не перегружать и не переусложнять нашу повесть излишними психологическими и фактическими деталями.

Рубежный год — 1968-й, роковое число — 21 августа. С него-то и начались те главные события, которые — через несколько лет — заставили меня сказать себе, а потом и тебе те самые слова: «Не могу больше». Вторжение советских войск в Чехословакию положило конец надеждам на продолжение «оттепели», на либерализацию режима.

Первой жертвой новых заморозков для меня стал цикл абонементных вечеров «Молодость — песня — гитара», которые я вёл в ДК пищевиков, в переполненном зале на 800 мест (плюс толпа не попавших на концерт, слушавшая трансляцию возле здания). Осенью 1968-го начальство Дома культуры потребовало, чтобы барды — за несколько дней до концерта-диспута — приносили на проверку тексты своих песен. «Спасибо, — сказал я, — занимайтесь этим без меня». — «Да это не от нас исходит, — замялась заведующая массовым отделом, горячая поклонница бардовской песни В.С. Войналович. — Это всё "Большой дом", наши славные органы. Я не хотела говорить Вам раньше, но они проявляют сугубый интерес к этому жанру. Мы им оставляем два билета на каждый наш вечер». Очень не хотелось мне бросать это дело. Но ещё больше не хотелось быть причастным к полицейскому контролю над песнями, главная суть которых была именно в их свободе от официоза.

Следующий привет от славных органов я получил в 1970 году, когда меня не выпустили из страны на фестиваль «Парижская музыкальная неделя». Секретарь партбюро ленинградского Союза композиторов Юрий Зарицкий рассказал мне в порыве откровенности, что меня не утвердило ленинградское КГБ. Ему показали в «Большом доме» пухлое досье, почти сплошь посвящённое моим занятиям бардовской песней и связям с её авторами.

С одним из них, Булатом Шалвовичем Окуджавой, я познакомился осенью 1967 года, когда московское отделение издательства «Музыка» неожиданно согласилось на моё предложение выпустить сборник из двадцати пяти его песен с мелодиями и буквенными обозначениями аккордов. Волнуясь, как юноша, я набрал его номер телефона. Назвался, сказал, по какому поводу звоню. Встретились мы в Центральном доме литераторов. Окуджава идею благословил, согласился помочь, пригласил заходить к нему домой.

Через год после нашей первой встречи на странице с открывавшей рукопись «Песенкой об открытой двери» редактор «Музыки» размашисто красным карандашом начертил многообещающее: «В набор». Увы, вместо типографии рукопись попала в письменный стол директора издательства К.А. Фортунатова, где пролежала несколько лет, пока я не забрал её перед своим отъездом в Америку. Там сборничек из двадцати пяти песен разросся в две книги, любовно изданные в 1980 и 1986 годах Карлом и Элландей Проффер, основателями легендарного «Ардиса», — на двух языках, с нотами, фотографиями и не публиковавшимися ранее высказываниями поэта.

Булату, по моей просьбе, удалось выяснить, кто был тем злодеем, который не дал родиться этой книжечке. (А она ведь могла стать первым в истории «музыкальным» изданием окуджав-ских песен!) Оказалось, что виновник — не Идеологический отдел ЦК КПСС, а само издательство, убоявшееся гнева советских песенников — композиторов и поэтов, ревниво и нервно следивших за бурным развитием «магнитиздата»...

Примерно в то же время навсегда разошлись мои пути и с ленинградским отделением «Музыки». Руководство издательства предложило мне взяться за большой и почётный труд: составить энциклопедический словарь выдающихся пианистов мира. Недели через две приношу в редакцию многостраничный список пианистов разных стран. Меня радушно встречают директор и главред. Начинаю читать: «Итак, на букву "А" — Ашкенази, Владимир Давидович». По лицам начальников пробегает едва заметная тень: «Его — не стоит. Вычеркните». — «То есть как? Выбросить Ашкенази?! Это почему?» — «А потому, что он, как Вам наверняка известно, женат на гражданке Исландии. И может — в любой момент! — уехать на родину жены. Ашкенази — потенциальный эмигрант! И нам с Вами не поздоровится, если он окажется в нашей книге». — «А как быть с другими потенциальными эмигрантами?» — «Это Вы о ком?» — «О советских пианистах с интересным пятым пунктом». По лицам моих потенциальных издателей прошла уже явная тень смущения. «Ими, к сожалению, тоже придётся пожертвовать». — «Значит, всех ныне здравствующих пианистов-евреев из списка — вон?» — «Выходит, что так». — «Всё понял. Спасибо. До свидания». Я собрал свои листки и удалился. Чтобы больше туда не возвращаться.

А весной 1972 года мы с тобой, Тамара, как и все (кроме одного) наши коллеги, распрощались с любимым, выстрадавшим детищем — «Турниром СК», а большинство из нас — с Ленинградской студией телевидения. Нас ведь никто не гнал, не правда ли? Нам предлагали новые правила игры (как мне до этого предлагали в ДК пишевинов и в издательстве «Музыка»): «Турнир» — предварительно записывать! Но мы их не приняли. Смелее стали к тому времени. Непримириее. Внутренне свободнее и злее. Согласиться на то, чтобы наш «Турнир» — искромётное интеллектуальное действо длиной в 1 час 45 минут (а финальные встречи — 2 часа!) — утратил непосредственность и остроту по воле туповатых и трусоватых начальников? Не дождётеся!

Уход из телевидения стал «последней каплей» в череде разрывов, и притом — самой горькой. Именно тогда возникла мысль о том, чтобы всё начать сначала. С нуля. Но не здесь, не в СССР.

Заявление в ОВИР я отнёс со второй попытки. Первая позорно провалилась. «Ноги налились свинцом», «ощепенение», «ступор» — всё это я испытал в утро октября 1973 года, намеченное для подачи документов на выезд. Психическое напряжение последних недель, как видно, достигло критической точки и полностью парализовало волю: в тот день я так и не смог заставить себя выйти из дома... Чертовщина какая-то. Решение было принято, сомнения прокручены в мозгу и отброшены — и на тебе: слаб в коленках оказался, полный коллапс.

Но странно ли, если вдуматься? Слишком уж многое ставилось на карту. Я знал, на что иду. Знал, что, подав на развод с советской властью, я мгновенно превращаюсь в изгоя, отщепенца, предателя, кандидата в вечные безработные. Время было такое: так называемая третья волна эмиграции только-только начиналась. Знал я и то, что, потеряв членство в Союзе композиторов и соответствующий

штамп в паспорте (штамп полагался членам всех «творческих союзов», ибо были мы, в сущности, государственными служащими...), я, нигде не числящийся в штате, кормящийся одними гонорарами «свободный художник», тут же становлюсь юридически уязвимым, ибо подпадаю под статью о тунеядстве. И если меня не выпустят — могут как миленького посадить или выслать куда подальше.

И всё-таки на фоне грозящих мне бед брезжило смутное предвкушение награды, некоей «платы за страх». Мне до чёртиков надоела двойная жизнь, обрыдла изношенная до дыр маска лояльности. Ужасно хотелось сбросить её, «засветиться», громко и недвусмысленно врезать: «Я не ваш. С меня довольно». Предчувствие меня не обмануло. После моего последнего (и главного!) разрыва — с режимом — я впервые почувствовал себя свободным человеком. Так сказать, «не отходя от кассы», ещё внутри советской России.

Ох, нелёгкая это работа, Тамарочка, после брежневского застойного болота привыкать к стране, где почти всё — другое, абсолютно непохожее на то, что окружало меня сорок с лишним лет моей жизни. Нелегко встраиваться в англоязычный мир, почти не зная английского (мы с Лидой всю жизнь учили немецкий) и обладая профессией, требующей досконального знания языка! Но мне повезло: процесс адаптации прошёл у меня быстрее и органичнее, чем у многих моих друзей и знакомых. Почему? Потому что я почти немедленно попал в гущу молодой Америки, оказался под одной крышей со студентами одного из лучших колледжей страны.

Как это произошло, ты узнаешь из заметок, которые мой заочный друг, московский журналист, писатель и эссеист Сергей Баймухаметов, посоветовал назвать так:

Общага в Огайо: юная Америка глазами аутсайдера

Есть страны (таких немного), где есть... общество индивидуумов, работающих на себя и на свои семьи, умеющих учиться на своих и чужих ошибках... Они твёрдо знают, что вежливость и терпимость — не признак слабости и подчинённости, как это принято считать в архаических или криминальных коллективах, а признак силы и уверенности.

Лев Рубинштейн. Все на выбор. [4]



Владимир Фрумкин перед Русским домом.
Первый учебный год в Оберлинском колледже. США, 1974–1975

Суббота из-под пятницы

“Студенты из Америки? Да, есть несколько. Впечатление? Дурачки какие-то...” Это я услышал от студента МГУ Андрея, участника передачи “Алло, вам звонит Америка!” Я вел эту рубрику несколько лет из Вашингтона, в ельцинские времена, когда россияне, как правило, не пугались неожиданных звонков из-за границы. Набирал произвольный номер и предлагал поговорить о том, о сём — на любые темы. С началом путинской эры охотников «засветиться» на «Голосе Америки» стало заметно меньше, и программа прекратилась. Андрей после некоторых колебаний поговорить со мной согласился. На вопросы отвечал откровенно, включая вопрос о соучениках-американцах. Странные ребята, смахивают на блажененьких: всё им нипочём, всё — божья роса, всегда в хорошем настроении, улыбаются. Даже когда у них проблемы, когда влипают в неприятную историю. Чудики. Дурачки.

Реакция российского студента на сокурсников из-за океана напомнила мне мою собственную. В августе 1974 года я, новоиспечённый эмигрант, стал директором Русского дома — общежития для студентов Оберлинского колледжа, изучающих русский язык. Там же и поселился — в директорской квартире. Первые впечатления о моих подопечных вызвали у меня нечто вроде лёгкого шока. Выглядели они и держались явно не так, как их советские сверстники. Их приветливость не знала границ. Ведь вроде уже здоровались утром, а он нет: столкнувшись с ним или с ней ещё раз — опять раскланивается: «Привет, Владимир, как дела?» (Я их попросил обходиться без отчества.) В десятый раз встретимся — то же самое. Но вот что странно: манеры вроде бы светские, а одеты как шпана. Вначале думал — от бедности. Колледж-то частный, престижный, дорогой, вот и экономят на одежде. Оказалось — нет, не бедные они. Родители, как правило, весьма состоятельные. Просто мода такая, оставшаяся от 60-х, от времен хиппи. Напяливают на себя что попало. Всё дешёвое, всё в дырах или заплатках. Рваные джинсы, широкие, уродливые шорты.

Куда девалась та женственность американок, которая в начале века восхитила Джакомо Пуччини, когда тот приехал в Нью-Йорк на премьеру своей оперы «Девушка с Запада»? «Уверен, — заметил он в письме к другу, — что если одна из таких красоток пройдёт мимо Пизанской башни своей волнующей походкой, та немедленно выпрямится!» Но то было в далёкие, дофеминистские времена. А теперь — девицы не отличаются от парней ни походкой, ни стилем одежды, так что издали не разобрать: who is who.

Из-под кофты, свитера или куртки нелепо вылезает надетая навыпуск рубашка. Про такое на моей родине говорили: «Ты как вырядился? Из-под пятницы суббота видна!» Именно так был одет мой дядя Самуил Фрумкин, старший брат моего отца, приехавший из Лос-Анджелеса повидать нас и свою родину. Но тогда я решил, что дело тут в стариковской неопрятности. (Замечу в скобках, что преклонный возраст иностранца — дяде было уже за восемьдесят, а прожил он до ста — не обеспечил ему иммунитета от слежки: из-за колонн в вестибюле «Европейской» гостиницы на нас небрежно, как бы вскользь, поглядывали одинаково одетые молодые мужчины, которых я в тот же вечер увидел на перроне вокзала, провозжая дядю в Москву.)

Как ни раздражала меня расхристанность моих студентов, я старался не показывать вида, воздерживался от замечаний — не хотел уподобляться ленинградской старушке в троллейбусе, которая, как рассказала мне вернувшаяся из Питера студентка, строго оглядела её с ног до головы и возмутилась: «Бесстыжая! Ты что,

юбку не могла надеть? Штаны напялила — тьфу, Господи!» Да что старушка. Помню, каким ревностным блюстителем общественной морали оказался ректор консерватории Павел Серебряков, когда ленинградские женщины, нарушая многолетнее табу, начали прилюдно появляться в брюках. Павел Алексеевич занимал по утрам пост у главного входа в консерваторию и безжалостно отправлял домой переодеваться всех без исключения нарушительниц — студенток, служащих, преподавательниц.

Тамара Львова: *Володя! Захотелось дополнить. Ещё в «турнирные» годы, наверное в конце 60-х — начале 70-х, помню: девочки из команды 27-й (литературной) школы чуть не со слезами рассказывали, что их встречает каждый день внизу, у школьной лестницы, завуч и всех, кто в брюках, отправляет домой. А как им хотелось соответствовать «новой моде»!*



С обитателями Русского дома, женой Лидой и недавно родившейся Майкой. 1978.

Флирт, секс и шпаргалки

Не меньше, чем манера одеваться, смутили меня в моих новых знакомых их глаза — какие-то уж слишком распахнутые и прозрачные. Настолько безмятежно прозрачные, что просматривалось самое дно, и там, на дне, — ни сучка, ни задоринки, никакой припрятанной эмоции или задней мысли. То есть ничего из того, к чему я привык за сорок четыре года жизни в советской России и что вырабатывается привычкой ловчить и лавировать, хитрить и изворачиваться. Эти глаза сохраняли невозмутимую ясность даже тогда, когда перед ними возникало существо противоположного пола. Искры в них не вспыхивали. Ничего не менялось — ни во взгляде, ни в жестах, ни в словах. Полная индифферентность.

Мой друг Боря Фёдоров, биофизик, попавший по научным делам в Америку и вырвавшийся (полулегально) на пару дней ко мне в Оберлин, моментально это почувствовал. Он заглянул в гостиную Русского дома, где, готовясь к экзаменам, сидели парами несколько парней и девиц, и потом битый час допрашивал меня: это что — всегда у них так? Сидят рядышком — и нисколько не волнуются, будто малые дети, которым до полового созревания ещё годы и годы. Заметил Боря и то, что я свою былую манеру общения с прекрасным полом не поменял. Боря был прав.

Старые привычки умирают медленно. В результате, как я узнал через много лет от одной из моих тогдашних студенток, и она, и другие обитательницы Русского дома были убеждены, что я к ним сильно равнодушен, и спорили, кто у меня был на первом месте.

Довольно скоро я с удивлением обнаружил, что отсутствие у молодых американцев культуры флирта отнюдь не мешает им заниматься любовью. Секса в кампусе было сколько угодно, и все, включая администрацию, относились к этому совершенно спокойно. Как-то к одной из моих девиц, занимавшей отдельную комнату, зачастил парень из другого общежития. Иногда оставался на ночь. А потом вообще переселился к ней. Спрашиваю у декана по студенческой жизни: разрешается ли жить в общежитии посторонним людям? А смотря каким, слышу в ответ. Если это любовная связь — разрешается. Мы не имеем права вмешиваться в личную жизнь наших студентов и, в частности, запрещать cohabitation, то есть сожительство. Я, грешным делом, вначале подумал, что из-за плохого знания английского чего-то там недопонял. Уж очень привык к другим порядкам. Не знаю, как сейчас, но в моё время на моей родине в общежитии или гостинице гостям разрешалось находиться до определённого часа. Скажем, до 11-ти вечера...

В общем, довольно скоро до меня дошло, что пуританами мои мальчики и девочки не были. Тем не менее они по-прежнему казались мне пресноватыми и наивными. Расскажешь им солёный или даже слегка подсоленный анекдот — смущаются, краснеют. Иногда я с тоской вспоминал о своих бывших соотечественниках, тёртых калачах из Страны Советов, в которых хитринки, соли, перца и других острых приправ — хоть отбавляй. А эти — даже на экзаменах не ловчат, не знают, что такое шпаргалка или подсказка. Нет, пожалуй, знают, но зареклись, что ничем таким пользоваться не будут. У них, оказывается, закон такой есть. Называется «Кодекс чести». «Володя, во время письменного экзамена Вам в классе находиться нельзя», — строго предупредил меня заведующий русско-немецкой кафедрой (в американских вузах это весьма обычная комбинация), когда я собирался провести свой первый полусеместровый экзамен. «То есть как?!» — «Ребята подумают, что Вы им не доверяете. Обидятся. В Оберлине такое правило: студент при поступлении (и на каждом экзамене) даёт письменное обещание не обманывать преподавателей — не прибегать к шпаргалкам, подсказкам, заимствованиям и прочим штучкам. Нарушить этот обет считается позорным. Стыдно и перед собой, и перед товарищами. Преступивший закон знает, что его поступок друзья не только осудят, но и расскажут о нём учителю». Я был потрясён: в моей прежней жизни такое считалось доносом, а обман преподавателя — делом чести, доблести и геройства.

Моя старшая дочь Дина понятия не имела об этих оберлинских традициях, а я не удосужился её просветить — и не уберёг от неприятного инцидента. Дело было так. Дина эмигрировала на четыре года позже меня и приехала с мужем и маленькой дочуркой в Оберлин осмотреться, адаптироваться к новой жизни с моей и Лидиной помощью — и двинуться дальше, когда подвернётся что-то постоянное. В Ленинграде она закончила четыре (из пяти) курса консерватории и решила поучиться в консерватории Оберлина. Весной на экзамене по истории музыки, который мой приятель, талантливый и строгий профессор Сильван Сускин, превращал в форменную экзекуцию, она оказалась рядом с симпатичным высоким парнем, который учился на композиторском отделении. Во время звучащей викторины из «пройденных» за семестр композиторов, которая предвляла письменный экзамен, Дина, увидев замешательство на лице своего соседа, подсказала ему несколько от-

ветов. После экзамена парень подошёл к ней и вместо «Thank you!» произнёс поразившие её слова: «Ты меня оскорбила. Я лучше завалю экзамен, чем выдержу его с помощью обмана».

Тамара Львова: *Давала читать твой опус нескольким ребятам — не верят, что «кодекс чести», о котором ты пишешь, мог быть на самом деле! Что его исполняли! Что о подсказках доносили педагогам и это не считалось подлостью! У нас всякого рода шпаргалки как были, так и есть — во множестве. И друзьями, как оно было всегда, «умельцы» этого жанра не осуждаются. Скорее напротив: молодец, ловкий парень! Способы изготовления разного рода шпаргалок с помощью новейших технологий становятся всё совершеннее. В этом году на злощастных ЕГЭ количество фальшивок-списываний достигло апогея. Только что — я слышала по радио — вышло новое постановление о всяческих устрашающих мерах, только бы справиться с этой бедой. А чтобы педагог не присутствовал (!) на письменном экзамене — такого и присниться не может. Неусыпно следить! Сажать по одному в ряд. Сдавать экзамены не в своей — в чужой школе, с чужими педагогами! Контролировать! Лишать аттестата тех, кто провинился!. Неужели у вас ничего с тех пор, когда ты был этому свидетелем, не изменилось?*

Изменилось, Тамара, как же без этого, без перемен. Всё течёт. И всё — увы! — не в ту сторону. Научились наши студенты ловчить. Трудно удержаться от поиска лёгких путей, когда под руками — такой соблазн: Интернет, где можно найти всё обо всём. Тем не менее «кодекс чести» по-прежнему существует во многих учебных заведениях Америки. Но, судя по тому, что я слышу и читаю, соблюдается он студентами далеко не так ревностно, как в моё время...

По-русски, под огурчик...

Где мои ребята умели ловчить, хитрить и идти против закона и правил, так это когда надо было побаловаться травкой или чем-нибудь другим покрепче.

Был у нас один студент, который учился у Лиды игре на фортепиано, а у меня — русскому языку.

— Вам, Владимир, надо бы марихуану попробовать, — заметил он мне однажды.

— Зачем? — удивился я.

— Видите ли, её курят многие студенты, и Вы как воспитатель и педагог лучше бы поняли их психологию, если бы сами эту травку покурили. Хотите, угощу?

— Хочу, — после некоторой паузы согласился я и отправился с ним к заброшенному пруду в двух кварталах от Русского дома. Прогуливаясь по его берегу, мы попеременно покуривали одну и ту же неказистого вида сигаретку.

— Ну как? — любопытствовал мой соблазнитель. — Действует?

— Пока нет.

— Ничего, это бывает с новичками... Ой, нам надо уходить! Сюда идут Крыжицкие! Сергей Павлович и Галина Викторовна! Если нам не удастся улизнуть, старайтесь на них не дышать, а то почувствуют запах!

От супругов Крыжицких, преподавателей русской кафедры и моих старших друзей, удрать не удалось, но я последовал совету моего соблазнителя — и всё обошлось.

Только на второй или даже третий год жизни в Русском доме я узнал, что в комнате на втором этаже, где была общежитейская кухня, ребята преспокойно выращивали строго запрещённую марихуану. Я принимал её за безобидные цветы в горшках... Не дураки они были и выпить, для чего нарушали аж два закона сразу: сухой закон, установленный для берлинского кампуса, и федеральный, запрещающий потребление алкоголя до 21 года.

Я не видел в этом последнем ни пользы, ни логики: голосовать молодые американцы могут с восемнадцати и, следовательно, уже считаются зрелыми гражданами — почему же им даже пива выпить нельзя? Короче, я игнорировал этот закон, а заодно и местный — и обучал своих мальчиков и девочек у себя в квартире пить водку по-русски: опрокидывать рюмку чистой сорокаградусной и закусывать солёным огурцом. Они были в восторге. Ни один из них не настучал на меня начальству.

Тамара Львова: *Володя, я активно не принимаю твоей «педагогической методы». Знаю точно: категорически не понравилось бы мне, если б ты курил втихаря марихуану с моим внуком и учил его пить водку «по-русски». Это у тебя, моего «турнирного джентльмена» и «денди», откуда? (Недаром говорят: «Всё моё ношу с собою».) Наверное, твой «хулиганское» детство аукнулось. Но питомцы твои не стали, надеюсь, ни наркоманами, ни алкоголиками. И что их спасло? Искусство, высокое искусство! Твоё искусство, Володя. Ты встречался с ними в тот же вечер в своём Русском доме и пел им Окуджаву. И Булат побеждал! Я совершенно уверена, что запомнили они — на долгие годы запомнили — не сигарету, выкуренную тобой с ними, не выпитую вместе рюмку сорокаградусной под солёный огурчик, а песни Окуджавы (и Н. Матвеевой, и В. Высоцкого, и А. Галича), которые ты им пел. Согласен?*

Насчет выкуренной втихаря травки и угощения водкой — да, согласен. Нехорошо я поступал, непедагогично. Посыпаю голову пеплом. Моё «хулиганское» детство сказалось? Может быть. Но главное тут в другом. Мы, советские люди, привезли с собой на Запад глубокое презрение к Закону. Мы не понимали сути американской юридической системы, её основ. Иронизировали над ней, потешались, ругали за дотошность, буквоедство и мягкотелость, требовали от неё большей решительности и жёсткости. То есть того, чего мы вдоволь насмотрелись и от чего пострадали у себя дома. Нас раздражала и удивляла законопослушность американцев. Странный народ: прав у них и гражданских свобод — навалом, а ведут себя робко, постоянно оглядываются на закон. Особенно когда за рулём: на знак «стоп», к примеру, останавливаются неукоснительно, даже когда перекресток безлюден, как пустыня Сахара!

Тамара Львова: *Мне кажется, ты себе противоречишь. Пишешь, что ребята нарушают сразу два закона, а чуть ниже утверждаешь, что американцы очень законопослушны.*

Ты права. У меня это тоже мелькнуло в голове. Поясняю: законопослушны — взрослые, зрелые американцы. Тинейджеры, студенты, молодёжь — другое дело. Они самоутверждаются, экспериментируют, бунтуют, нарушают правила взрослых. В годы вьетнамской войны студенты устраивали бурные антивоенные демонстрации. В более поздние времена их «инакомыслие» выражается, в основном, в употреблении запрещённых наркотиков и алкоголя.

Ну, а насчет того, что мои питомцы убереглись от наркомании и алкоголизма благодаря «высокому искусству»... Верно, убереглись, но их увлечённость русской «гитарной поэзией» если и сыграла какую-то роль, то — как бы это сказать — «подсобную». Запомнили они её действительно «на долгие годы», — тут ты права на все сто. Твою прозорливость подтверждают два коротеньких письма, прилетевших ко мне по Интернету в ноябре 2013-го и появившихся в Фейсбуке:

«Владимир Аронович! Разрешите мне поздравить Вас с днём рождения. Желаю счастья, славы, богатства и крепкого здоровья! Вечера в Русском доме в Оберлине, когда Вы пели и заставили нас петь, — жемчужина того периода моей жизни. Я ещё не научился петь и не могу играть на гитаре, но Окуджава, Галич, Высоцкий и другие стали важной частью моего характера. До сих пор я рассказываю Ваши анекдоты ("Что нужно, чтобы зачать ребёнка в Непале?..") и цитирую песни и стихотворения, которым вы нас научили. Марк Дадли».

«Дорогой Владимир Аронович! Марк написал поздравление как будто от всех нас, кто учился у Вас в Оберлине в те годы. До сегодняшнего дня цитируем, поём, с благодарностью и теплотой вспоминаем. Как раз в воскресенье я сидела в нашем — уже не нашем — оберлинском Русском доме, где, к моему величайшему непониманию, нас (какими мы все были) не было... Но дар (который я получила от Вас) русского языка и песни остался, и я со светлой печалью (как у Пушкина на холмах Грузии!) подумала: "Розы без меня не глохнут; птицы без меня не молкнут... как же это без меня?" С днём рождения! With many fond memories and lots of gratitude, Jenny^[5]».

О пользе страдания

Самыми непугаными среди моих новых знакомых были ребята из американской глубинки, из тихих городков Среднего Запада. Выходцы из Нью-Йорка, Бостона, Лос-Анджелеса или Сан-Франциско отличались на их фоне несколько большей замысловатостью и раскованностью. Но всё же и те, и другие казались мне сделанными из совершенно иного теста. Какими-то размягчёнными, прекраснородушными, легковёрными. Ни рыба ни мясо. Я вспомнил, что нечто подобное Ростропович заметил и в юных американцах школьного возраста. Во время гастролей в США хозяева одного богатого дома попросили его послушать их детей, обучающихся музыке. Приговор Славы был суров: дети играют грамотно, техника у них в порядке, но музыки — нет. Звучит она вяло, без нерва и страсти. А почему? Слишком хорошо живут. Комфортно и благополучно. «Заставьте их пострадать, — заключил Маэстро. — Бейте их. Желательно — ежедневно. Пусть испытают боль, пусть поплачут. Увидите — заиграют иначе». Эту сцену Слава описал в интервью «Литературной газете», которое я прочитал ещё там, в СССР.

Предложенный Ростроповичем рецепт избавления от чрезмерной душевной ясности — пожалуй, самый радикальный из всех, что я услышал от моих бывших сограждан. Анатолий Ангохин, московский литератор и сценарист, сбежавший на Запад во время поездки в Италию и ставший моим коллегой по Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), вёл с нашими студентами бесконечные душевительные разговоры. Толя был предельно откровенен, своего разочарования и раздражения не скрывал. Его возмущали терпимость и вежливость молодых американцев, их леволиберальные симпатии и желание спокойно и

объективно разобраться в том, что представляет собой страна, покинутая нами, их наставниками. «Вы никогда не станете людьми, — вешал Ангохин, — никогда не поймёте, что к чему в этом мире, если не научитесь страдать, не помучаетесь как следует, не узнаете, почём фунт лиха. Читайте Достоевского! Учитесь у его героев! Поезжайте куда-нибудь, где вам будет плохо, очень плохо». Вот и в жёбы Толя взял не наивную нестрадавшую американку, а изгнанную из своей страны очаровательную эфиопскую девушку королевской крови. Принцесса Эстер почему-то приехала в нашу школу изучать русский язык.



С преподавателями и гостями Русской школы Норвичского университета. Справа налево: жена Лиды, литературовед Ефим Эткинд, за ним у стены его зять Ури Шафрир, московский драматург и режиссёр Сергей Коковкин, Юлия Беломлинская, профессор Вадим Ляпунов, поэт Лев Лосев, Анна фон Бремзен и Мария Эткинд (дочь Ефима Григорьевича). 1993.

Гарвардская речь Солженицына пролилась на Толину душу как целебный бальзам, она стала подтверждением его, Толиной, правоты. Выступление вермонтского отшельника (он жил в Кавендише, в 80-ти милях к югу от нашего кампуса) перед выпускниками Гарварда 1978 года мы смотрели по телевидению 8-го июня вместе с нашими норвичскими студентами. Диагноз, поставленный знаменитым писателем и диссидентом западному обществу, напоминал диагноз Ангохина. Александр Исаевич констатировал «расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада».

Среди студентов Русской школы лекция Солженицына вызвала оторопь, среди её преподавателей — раскол. Я недоумевал. Зачем же писатель «бодался с дубом», зачем восстал против системы, из-под смертного пресса которой выходят такие замечательные характеры? И что, по его мнению, должен сделать Запад, чтобы такие характеры порождать? Отказаться от благополучной жизни? К этому времени я успел худо-бедно осмотреться в этой стране и начал кое-что понимать. В частности, то, что американцы — не такие уж хлюпки и бесхребетные фраера, какими их видят многие мои коллеги по эмиграции. Что их терпимость к иным мнениям вовсе не есть равнодушие ко всем и всему, как страстно уверял нас другой резидент норвичского кампуса, мой добрый друг Наум Коржавин. И что они далеко не так наивны и легковёрны, как кажется. Я начал об этом догадываться уже на пятом месяце моей американской жизни.

Случай в гостиной

Октябрь 1974-го. В гостиной Русского дома смотрю со студентами вечерний выпуск новостей. Симпатичная дикторша рассказывает о призыве президента Джеральда Форда повести наступление на инфляцию. «А теперь, — чарующе улыбнулась ведущая, — мы приглашаем вас в студию композитора, который написал по этому поводу песню. Она называется точно так же, как и объявленная президентом кампания: "Разгромим инфляцию немедленно!"

Сидящий за роялем мужчина лет пятидесяти, тряхнув седеющей шевелюрой, с размаху ударяет по клавишам, и нашу небольшую гостиную оглашает упругий, бравурный марш. Слова были примерно такие:

*WIN! WIN! WIN!
We will whip inflation!
WIN! WIN! WIN!
Glory to our nation!*

*Победим! Победим! Победим!
Разгромим инфляцию!
Победим! Победим! Победим!
Слава нашей нации!*

Автор пел их самозабвенно, его руки картинно взлетали в эффектных пассажах. В какой-то момент мне почудилось, что на экране передо мной — американская реинкарнация незабвенного Дмитрия Покрасса, который вместо «Кипучая, могучая, никем непобедимая...» вдруг с привычным энтузиазмом запел о том, что весь народ как один должен объявить непримиримую войну инфляции. У меня слегка потемнело в глазах. Я-то ведь думал, что навсегда избавился от пламенных маршей, от набивших оскомину политических шлягеров и надёжно укрылся от них в стране, выросшей на совершенно иных ритмах, гибких, раскованных, свингующих, в стране, чьи собственные марши — не те, что остались в наследство от имперской культуры британцев, а те, что родились на родной почве, — звучат без тени милитаризма, легко, если не легкомысленно: под них не печатать шаг хочется, а, скорее, двигаться в фокстроте. Даже государственный гимн Америки — не марш, как гимны в большинстве стран, а медленный вальс: его мелодия была заимствована из старинной английской застольной песни! Так неужто и сюда добралось это зловредное поветрие, эта губительная для свободы мода на массовые песнимарши? Неужто опять сниматься с места? И куда бежать -то? Куда ехать? В Канаду? Гренландию? Я потерянно оглянулся на студентов — и успокоился. Песня на них не действовала. Они иронически улыбались, переглядывались, пожимали плечами. Музыкальный плакат, призывающий, задрав штаны, немедленно ринуться на борьбу с инфляцией во славу родной страны, вызвал у них недоумение. Нет, братцы, всё в порядке. Остаюсь. Не нужен мне берег гренландский... Похоже, что у этих ребят — надёжный иммунитет к лозунгам и маршам, у них свои головы на плечах, а в головах — трезвый ум и здоровый скепсис. Именно то, чего мне так не доставало в моей советской молодости.

Внучка Дюпона работает официанткой

К этому времени за полтора месяца, пробежавших с начала учебного года, я успел сделать другое открытие: американский студент — невероятный трудяга. И трудится он не рывками и авралами, как трудился я в канун экзаменационных сессий, а более или менее равномерно и плавно. Так тут положено. Ходить на лекции и семинары — это только полдела, если не меньше. Хочешь удержаться в колледже — вкалывай каждый день: читай сотни страниц заданных материалов, готовься к блиц-проверкам, контрольным работам и докладам на семинарах, пиши «бумаги» (papers) — небольшие самостоятельные исследования.

Но академическая нагрузка — это ещё не всё. Надо отрабатывать часть платы за обучение, которую тебе скостили, — в столовой, студенческом баре, библиотеке, коллежской охране. Многие студенты ещё ухитряются подрабатывать частным образом на стороне. К этому они привыкают с детства, лет с девяти-десяти. Сидят с соседскими малышами, разносят газеты, стригут газоны — зарабатывают карманные деньги. Я узнавал об этом из устных рассказов «обо мне и моей семье», которые студенты готовили для практики в разговорном русском. «А как родители к этому относились?» — спрашивал я, услышав несколько первых таких рассказов. Потом перестал: американские мамы и папы смотрят на всё это благожелательно. Сами привыкли с малолетства к труду, постигали цену заработанной своими руками копейки. Однажды услышал совсем уж невероятное и поначалу покоробившее: «Я этим летом сделал большую работу — покрасил дом снаружи». — «Чей дом, соседей?» — спрашиваю. — «Нет, моих родителей». — «То есть и твой тоже?» — «Да, и мой». — «Но это не за деньги, конечно?» — «Почему не за деньги? Они сказали: "Хочешь заработать? Покрась дом — лучше тебе заплатим, чем кому-нибудь чужому. А ты к тому же научишься красить, пригодится в жизни, когда собственный дом купишь"».

Сюрпризы такого рода подстерегали меня на каждом шагу.

Тамара Львова: *Такое совпадение, Володя! Буквально вчера я попросила зайти ко мне соседа Колю, очень милого молодого человека: помочь найти «убежавший» текст моего письма к тебе (ты же знаешь, какой я в этом «специалист»!). Через минуту «беглец» был водворён наместо, а я, пользуясь случаем, робко попросила Колю дать мне несколько настоящих (он знаток!) компьютерных уроков; конечно, уроки эти оплачу. Он смутился, задумался, потом ответил: очень много работает да ещё учится, поздно приходит, но постарается. Ни о каких деньгах речи быть не может — соседи. Кто больше мне нравится, Володя, — твой американский студент или мой русский Коля? Не знаю. Наверное, по-человечески Коля. Но, твой студент покрасил дом своим родителям, а мой сосед Коля скорее всего не зайдёт — ему в самом деле некогда. Да я и не соглашусь, чтобы он всерьёз занимался со мной «задаром». Вот и разберись.*

В столовой Русской летней школы при Норвичском университете за мой стол подседа молоденькая миловидная студентка — попрактиковаться в русском. Представилась. Фамилия меня удивила. Дюпон? Интересно. «Да, я из этой семьи... как это по-русски — би... миллиардеров? Ой, нет — из семьюмил-ли-ар-де-ров! Мой дедушка — он тот самый, знаменитый...» Я переменял тему: «Какие планы на остаток лета, что будешь делать после этой школы?» — «Работать буду». — «Где?» — «В ресторане. Официанткой». — «Но это же твои каникулы! Отдыхать когда будешь? И потом — в ресторане...» — «А мне неважно где. Важно — иметь свои деньги и ни от кого не зависеть».

Вообще-то о том, что американцы хотят и умеют работать, я читал и слышал ещё до приезда в эту страну. И даже создал себе образ труженика-фанатика, который вкалывает, не разгибаясь.



Со студентами Русской школы Норвичского университета, штат Вермонт.

Именно так и начал работать на фабрике мужских курток в Демойне, столице штата Айова — того самого штата, где лет за пятнадцать до этого Никита Хрущёв влюбился и уверовал в кукурузу как палочку-выручалочку умирающего советского сельского хозяйства. Американские иммиграционные власти направили нас с Лидой из Рима в провинциальный Демойн, потому что там жил мой американский дядя Герман Фрумкин.

Меня уже ждала другая работа, почище и чуть посolidнее. Мне позвонили с русской кафедры Оберлинского колледжа буквально через несколько дней после прилёта в Демойн: «У нас открылось место директора общежития для студентов, изучающих русский язык. Хотите приехать на интервью?» — «Откуда вы обо мне узнали?!» — «От Беверли Маккой, нашей студентки...» С Бев мы подружились осенью 1973 года в Ленинграде во время её учебного семестра в ЛГУ, где она совершенствовалась в русском языке. Мы продолжали переписываться; 29 мая 74-го она встретила нас в аэропорту Кеннеди — но никогда ни словом не обмолвилась о том, что рекомендовала нас администрации колледжа.

Вакансия появилась случайно. С поста директора Русского дома ушёл, проработав всего лишь год, бывший московский драматург и сценарист Юрий Кротков, активно и успешно помогавший КГБ шантажировать и вербовать иностранцев и следить за согражданами (в частности — за Борисом Пастернаком). Кротков остался в 1963 году в Англии, куда приехал с советским учёным, за которым должен был присматривать... В 69-м переехал в США, был сотрудником «Нового журнала», в 73-м его взял в штат Оберлинский колледж, но там он не удержался: не сложились отношения ни со студентами, ни с коллегами. Весной 1975 года я встретил его в Вашингтоне, в отеле, где остановился Александр Галич, приехавший на гастроли из Европы. Я нашёл Александра Аркадьевича в баре в обществе художого, хмурого вида мужчины лет шестидесяти. «Знакомьтесь, Володя, мой друг и коллега Юрий Васильевич Кротков». — «А-а, так это Вы, кто заменил меня там, в Оберлине, — протянул тот с усмешкой. — Ну и как — выживаете?» — «Вполне». — «Странно. А я вот не смог. Бежал оттуда без оглядки». Уступая мне Галича, мой новый знакомый, прощаясь с ним, произнёс: «А всё-таки зря ты уехал, Саша. Сидел бы лучше в Москве. Никому мы здесь с тобой не нужны».

В Оберлине Кроткову быстро нашли замену, но новый директор, ещё не приступив к работе, сообщил, что нашёл место получше и не приедет. Как раз в это время на кафедру пришло письмо от Беверли, что рекомендованная ею ленинградская пара только что прилетела в Америку.

На фабрику зимних нейлоновых мужских курток я пошёл, чтобы подзаработать и купить машину, без которой, как мы быстро поняли, в Америке как без ног, особенно в маленьком городке, где нам предстояло жить. Взяли меня разнорабочим, платили по тогдашнему минимуму — 3 доллара 29 с половиной центов в час. Я перерабатывал отходы стекловаты, которая шла на подкладку. Бросал бесформенные грязные куски в оглушительно гремевшую машину и, когда специальная камера размером с просторную комнату до отказа наполнялась белоснежным пухом, останавливал агрегат, набивал ватой большие пластиковые мешки и оттачивал их в другой цех. Работа была тяжёлая, к тому же стояла жуткая влажная жара; приходя домой, я немедленно ложился в ванну с холодной, как лёд, водой, с ужасом думая о предстоящих вечером встречах с аборигенами, где надо будет говорить на еле знакомом английском. Приёмы устраивались едва ли не ежедневно: мы были нарасхват, до нас в Демойн приехали из СССР только две семьи (кстати, тоже из Питера, наши друзья). И всё же я ухитрился оставаться на сверхурочные и почти не делал перерывов. Думал, что в Америке так работают все. Допускаю, что во мне сработал также глубоко засевший с детства комплекс доблестного стахановца. Я так увлёкся, что не замечал неодобрительных взглядов, которые бросали на меня мои коллеги. Расплата за мой дурацкий трудовой энтузиазм наступила быстро. Ко мне подошёл президент фирмы Фред Лорбер, велел остановить мою машину и произнёс извиняющимся тоном: «Володя, relax, расслабься! Don't work too hard! Не надо так вкалывать! Рабочие жалуются — говорят, что тебя, наверное, подслала советская госбезопасность с целью помешать свободным американским профсоюзам бороться за права трудящихся!» Оказалось, что я мог отдыхать не только во время ланча (30 минут), но делать небольшие coffee breaks (перерывы на кофе)!

Я тут же вспомнил, как не угодил своим коллегам-рабочим ровно за тридцать лет до этого, когда поступил учеником механика на военный радиозавод им. Козицкого, эвакуированный из Ленинграда в Омск. Был я тогда школьником, решил поработать во время летних каникул, чтобы помочь семье деньгами, а главное — получить полную, взрослую хлебную карточку. Меня научили делать на специальных тисках обжимки для конденсаторов, которые устанавливались на танковых радио. Я так наловчился, что уже через несколько дней стал превышать норму, а вскоре перевыполнял её чуть ли не вдвое — пока ко мне не подошли трое опытных рабочих: «Ты что, малец, белены объелся? Не понимаешь, что из-за тебя нам всем повысят норму выработки, а расценки за штуку — снизят? Тут, как ни вкалывай, как ни потей, — больше не заработаешь! Понял? В общем, давай полегче, не торопись!» Я понял, но не сразу: мне уже успели вбить в голову, что советская экономика — самая справедливая и эффективная в мире. А когда приехал в Америку, узнал, что сдельная оплата труда применялась в давно забытые времена «потопного капитализма».

За 25 дней, проведённых на демойнской фабрике мужских курток, я заработал ровно 500 долларов, на которые купил огромный 8-цилиндровый автомобиль 1968 года — «Ford Galaxy-500». В начале августа, посадив в него свою Лиду, я покатил на восток, в край Великих озер, где к югу от озера Эри нас ждал крохотный, уютный Оберлин.

Кто Вы, господин Беликов?

«Каждый год на мой день рождения моя мама дарит мне один и тот же подарок — клячу». Так написала моя студентка Ева в сочинении на свободную тему. Та самая Ева Шапиро, которая через пару лет переведёт на английский стихи Окуджавы для составленного мной двуязычного сборника его песен. Что ей дарит мама на самом деле, я вычислил довольно быстро. Открываю русско-английский словарь. «Кляча» — ж., разг. Jade. Произносится «джейд». Из англо-русского словаря узнаю, что jade, кроме клячи, означает также шлоху, шельму, негодницу и, наконец, гагат и нефрит. Всё ясно. Ева ежегодно получает от мамы полудрагоценный камень.

В сочинениях моих студентов попадались и более трудные загадки. Их, само собой, приходилось разгадывать дольше, а над некоторыми я продолжаю размышлять и по сей день. И удивиться тому, до чего у них, выросших в другом мире, иначе устроены головы.

Однажды я задал Еве и её сокурсникам прочитать «Человека в футляре» и написать (по-русски), что они думают о героях рассказа. Читаю их работы — и не верю своим глазам: авторам сочинений больше всех понравился... Беликов. Да, он странный, нелепый, ходит в калошах и с зонтиком, вечно молчит, всего боится. Ну и что? Ему бы посочувствовать, его бы пожалеть, а коллеги и знакомые вместо этого пытаются его изменить, переделать его личность, даже женить хотят! И вот — нечуткое, жестокое общество доводит Беликова до гибели...

Позвольте, говорю я ребятам на ближайшем занятии: этот человек в калошах и с зонтиком не такой уж безобидный, как вам кажется! Вот послушайте: он «держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город... Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять-пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...» Как вы можете симпатизировать такому человеку! «А не только мы симпатизируем, — слышу в ответ. — Вот и рассказчик, учитель гимназии Буркин, говорит: "Мне даже его жалко стало". Помните? Беликов увидел злую карикатуру на себя с надписью: "Влюблённый антропос". И проговорил: "Какие есть нехорошие, злые люди!.. — и губы у него задрожали". Вот тут-то его и пожалел Буркин. А Вам разве его не жалко?» Ну, жалко, отвечаю, но не так, как вам. Потому что я знаю, как жили люди в России в конце XIX века, когда Чехов написал свой рассказ, а вы — не знаете. Вам даже трудно себе представить эту жизнь, такую непохожую на вашу. А я к тому же приехал к вам из страны, где свободы ещё меньше, чем в тогдашней России. Скажите, нелепый и странный Беликов, вечно боящийся, как бы чего не вышло, мог бы запугать, скажем, наш Оберлин? Или соседний Акрон? Да ни за что! А тот провинциальный русский город он запугал до смерти. Почему? Да потому, что его страхи падали на благодатную почву. Для меня Беликов воплощает запретительную сущность авторитарной власти. Ему и таким, как он, — вот послушайте! — «были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное».

По лицам моих оппонентов вижу, что они хотят понять меня — и не могут. Сочувствие к странному, одинокому, не вписывающимся в общество отщепенцам они всосали с молоком матери.

К этим чудакам надо относиться терпимо и ни в коем случае не пытаться на них давить, тормошить, переделывать. У них есть священное право быть такими, какие они есть.

Как говорят психологи, люди, подобные чеховскому Беликову (и гоголевскому Башмачкину из «Шинели»), страдают тяжёлой формой социофобии. В Америке они составляют 13% населения. Я здесь встречал таких людей, но это были так называемые пассивные социофобы: они не представляли угрозу окружающим, не пытались навязать свою мизантропию и свои страхи обществу.

Другое дело — мизантропы активные, да ещё одержимые идеологией, познавшие свет «единственно верного учения». Этим мы видели на самых высоких постах и немало от них пострадали. Очень пронзительно сказал о них бывший московский, а ныне американский философ, культуролог и литературовед Михаил Эпштейн:

«Если вдуматься в смысл радикальнейших версий коммунизма и всмотреться в характеры его вождей, включая самого "основоположника" Карла Маркса, бросаются в глаза черты активнейшей социофобии: ярко выраженная мизантропия, вражда к существующему обществу и грызня со всеми современниками, включая даже "товарищей" и сподвижников, которые по малейшему поводу обвиняются во всех грехах уклонизма и оппортунизма; подозрительность ко всем инакоживущим и инакомыслящим; страх бытия в его самочинности, стихийности, "счастья", непредсказуемости, неупорядоченности ("как бы чего не вышло"); умственная закрытость, неподвижность, однодумство, сосредоточенность на "Букве", "Шинели", "Футляре" или другой идее-фикс»^[6].

Вот такие ассоциации вызывают у бывших советских людей Беликовы. У моих новых сограждан, к счастью, нет нашего опыта, и «человеков в футляре» они предпочитают жалеть, а не бояться.

«Я обиделась на Чуковского...»

Группе начинающих, с которой я встречаюсь три раза в неделю, задаю выучить к следующему занятию наизусть начало «Бармалея». Через два дня у входа в аудиторию меня останавливает студентка: «Мистер Фрумкин, я не выучила стихи, простите. Дайте мне другое задание». — «Почему?!» — «Я обиделась на Чуковского. "Не ходите, дети, в Африку гулять. Африка ужасна, да, да, да! Африка опасна, да, да, да!" Как так можно? Мне, афроамериканке, это неприятно».

Девочка застала меня врасплох. Протест прозвучал как гром среди ясного неба. Я даже не стал проверять задание у других студентки — чтобы не травмировать «Бармалеем» юную патриотку Африки, которая, скорее всего, ни разу там не бывала. А как только кончился урок, кинулся в библиотеку читать литературу о Чуковском.

Следующее занятие я начал с того, что Корней Иванович написал не просто сказку для детей, но и тонкую пародию для взрослых. В «Бармалее» он высмеял приключенческие романы начала века про экзотические дальние страны, по которым бродят страшные хищные звери и жестокие разбойники. В них рассказывалось и про Африку. Так что все эти заклинания и устрашения, все эти «Не ходите, дети» и «Африка ужасна» не нужно принимать всерьёз. Ни в коем случае. Это же ирония, насмешка над второсортной романтической литературой и над поверившими ей наивными читателями!

Говорил я, само собой, по-английски: передо мной всё же сидели первокурсники. Тайком посматривал на шоколадную девицу с большими красивыми глазами, но так и не понял, убеждают ли её мои слова. Прошло ещё два дня. Подхожу к классу: у дверей — она: «Мистер Фрумкин. Я выучила. Наизусть. Могу прочитать на уроке».

Тамара Львова: *Володя! Перечитывая эти твои главки о чеховском Беликове и о Чуковском, я неожиданно задала себе вопрос: в общении со студентами он (т. е. ты) — опытный, искусный педагог. Откуда? Музыковед, телеведущий, теоретик авторской песни — да, да, да. Но педагог?.. И вдруг — осенило! А я — в моей библиотеке со всеми своими диспутами и конференциями? Оттуда же! От нашего «Турнира СК». Он нас с тобой сделал педагогами.*

И обоим — и тебе, и мне — очень это пригодилось.

«Спасибо за яблоко!»

В моей квартире при Русском доме сидит студент. Как оказалось, пришёл он не для консультации и не по конкретному делу, а поговорить по душам. Услышать о моей жизни в СССР, о моих впечатлениях об Америке. И главное, посоветоваться о том, как строить свою жизнь, какую приобретать специальность, чтобы и ему было хорошо, и обществу. Разговор получился занятный и длился битых два часа. На столике, за которым мы сидели, стояла вазочка с яблоками, одно из которых мой собеседник рассеянно и долго ел. Прощаясь, он крепко пожал мне руку и растроганно произнёс: «Спасибо за яблоко!» У меня отвисла челюсть. Подумать только: не за разговор поблагодарил, глубокий и содержательный, — за яблоко! Почему, с какой стати? Может, парень боялся, что у него не хватит подходящих к случаю русских слов, и решил отделиться благодарностью за яблоко? Или они тут все бездуховные материалисты и съеденный фрукт для них значит больше, чем задушевная, откровенная беседа? Значит, не зря мне говорили некоторые, когда собирался уезжать: «Куда ты, братец? Подумай как следует, уютно ли тебе будет в мире рационализма, в царстве чистогана, где всё измеряется долларом!»

Долго ещё не давала мне покоя эта сцена, пока, наконец, не дошло до меня, что сдержанность в изъяснении чувств — вторая натура многих людей Запада, особенно тех, кто причастен к англосаксонской или скандинавской культуре. Они стесняются чрезмерных излияний, предпочитают недосказать, преуменьшить, спрятать эмоцию в подтекст, сыронизировать, чем пуститься в разгорячённую патетику. Даже сильно подвыпивший мужик не станет тут вопрошать собутыльника: «Ты меня уважаешь!?» — и клясться ему в вечной любви.

Мой питерский друг, без которого, кстати, я вряд ли бы решился на отъезд, тем более столь ранний (он заронил во мне эту мысль и упорно, планомерно её культивировал), умнейший человек и талантливый инженер-экспериментатор, приехав сюда, никак не мог привыкнуть к тональности и температуре здешних тусовок и застолий. «То ли дело — закатиться с ребятами в ресторан, скажем, в Череповце, во время командировки! Водка — рекой, анекдоты, хохмы, истории всякие. Какой кайф ловили!»

«Ты это что — серьёзно? — спрашиваю. — Одно из двух, дорогой. Тоскуешь по загулам и пьянкам — езжай назад. Если бы здесь гуляли, как в России, американцы и жили бы, как живут там. Это же всё неразделимо: быт, привычки, уклад жизни, политический строй — всё взаимосвязано, одно к одному. Приехал в цивили-

лизованную страну — и будь доволен. А то ты как гоголевская Агафья Тихоновна: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, а к развязности Балтазара Балтазарыча прибавить дородность Ивана Павловича". Если тут начнут так гулять, как мы гуляли там, — считай, что дело плохо: придёт и всё то, от чего мы с тобой уехали. А я вот, представь, уже отвык от душевных излишних, от панибрательства, от чрезмерного любопытства и повышенной заботливости, когда сослуживец, приятель или родственник, пристально на тебя взглянув, начинает допрашивать: "Что-то у тебя сегодня глаза грустные — не случилось ли чего? Давай, давай выкладывай!" И прекрасно без этих прелестей обхожусь. Случайно, что ли, что в русском языке нет эквивалента слову *privacy*? Когда ценилась, когда считалась священной в России неприкосновенность личной жизни? Живи и наслаждайся тем, что тебе не лезут в душу. А то, что наши новые сограждане ведут себя прохладнее и сдержаннее прежних и не склонны к буйным загулам, — как-нибудь переживёшь...»

Далеко же завело меня воспоминание о яблоке, съеденном молодым американцем в русско-американской общаге, старинном двухэтажном кирпичном особняке, затерянном среди огайских прерий...

Людоеды — тоже люди

В середине 80-х я читал в Оберлине семестровый курс по советской популярной культуре. По-английски. Записалось человек двадцать с лишним. После нескольких лекций дал домашнее задание: написать работу по первой главе книги Фредерика Старра об истории советского джаза. Фред, президент нашего колледжа и мой приятель, увлекательно и убедительно показал в этой главе, что советская культура формировалась совершенно своеобразно, совсем не так, как в западных странах, в частности в Америке. Советская власть вводила культуру в желаемые ей рамки, отсекая всё ненужное, — даже такую трудноуправляемую стихию, как культура массовая, популярная. А в Америке она складывалась органично, спонтанно, снизу.

Читаю сочинения своих студентов — и меня берёт оторопь. Подавляющее большинство, признавая, что одна культура росла снизу, а другая насаждалась сверху, специально оговаривали: «Но это не значит, что один путь хуже или лучше другого. Мы избегаем оценочных суждений, мы не признаём каких-либо качественных отличий между культурами».

Прихожу на занятие. Делаю разбор работ. И спрашиваю: а можно ли оценивать различные формы государственного устройства, сравнивать уровни развития общества? С точки зрения достигнутых гражданских свобод, например, или состояния экономики? «Нет, — отвечает то же большинство, — ни в коем случае. Никаких сравнений и оценок! Не имеем права судить. У всего сущего есть какие-то основания. Любая форма общества, раз она сложилась, была необходима. Забудьте, профессор, про уровни развития. Каждое общество ценно по-своему. И если Вы скажете, что каннибалы уступали в чём-то другим обществам и примитивны по сравнению с современной демократией, Вы допустите грубую методологическую ошибку. Важно, как оценивают себя сами члены общества. Людоеды считали, что иначе они жить не могут и не должны. Для них их образ жизни был единственно возможным, и не наше дело ставить им оценки с точки зрения каких-то абстрактных принципов или критериев».

«Значит, никакие критерии неприложимы?» — спрашиваю. «Ни в коем случае, — отвечают. — Только критерии, принятые самим этим обществом. Универсальных критериев нет». — «Ну, а ценность человеческой жизни?» — с робкой надеждой спрашиваю я. «Нет! В разных культурах к феномену жизни относятся по-разному. Стали бы Вы уговаривать канибалов не убивать и не есть людей?! Абсурд!»

Далее мне вежливо пояснили, что понятия Добра и Зла к человеческой деятельности неприложимы, понятия эти наивны, они устарели, ненаучны, ибо пришли из религии. Мальчики и девочки при одном только упоминании мною нравственных критериев, Добра и Зла снисходительно заулыбались. «Ну хорошо, — не сдавался я, — а можно ли сказать, что нацистский режим был злом, что он был бесчеловечным и преступным?» — «Честно говоря, мне немного надоело слышать нападки на государство Третьего рейха, — взял слово симпатичный парень с интеллигентным, умным лицом. — Хватит уже. Гитлер был избран немецким народом. Он устраивал немцев, они его любили. И мы не можем осуждать то, что делал фюрер с другими народами. Потому что эта нация действовала в своих интересах». — «Простите, — говорю, — режим продержался всего двенадцать лет, Гитлер своей политикой привёл свой народ к катастрофе!» — «Ну и что? — отвечает мой оппонент. — Он допустил ряд ошибок и потерпел поражение. Но в любом случае мы со стороны не можем давать качественных оценок никакому режиму. В том числе и советскому. СССР существует много лет, народ не бунтует, революций не устраивает — значит, ему хорошо».

Прозвенел звонок, студенты удалились на другие лекции. В классе остались только двое, Нина и Вета, мои хорошие знакомые по русским курсам и Русскому дому. «Неужели и ты согласна с тем, что тут говорили? — спросила Нину Вета. — Ты что — тоже моральная релятивистка? Ну хорошо, я сейчас здесь при тебе начну убивать Владимира Фрумкина. Что ты будешь делать?» — «Ничего, — невозмутимо ответствовала Нина. — Мне было бы жалко его, конечно, но, я бы тебя не остановила. Потому что у твоего поступка наверняка были бы личные основания. Следовательно, со своей точки зрения, ты была бы права. А это — единственный критерий».

Профессор истории Bob Neil (Боб Нил), блестящий лектор и едва ли не единственный не либерал из оберлинских гуманитариев, сказал мне потом, что эти потрясшие меня ребята успели поднабраться завиральных идей у своих профессоров, поклонников всяческих «измов» — от «старого доброго» марксизма до новомодного деконструктивизма. Таких преподавателей Оберлин с его репутацией одного из самых либеральных университетов Америки притягивал, как магнит.

Лет через десять, уже в Вашингтоне, я вспомнил о моих милых оберлинских оппонентах, когда узнал, что в одном из самых престижных американских университетов (кажется, в Стэнфорде) вместо обязательного для всех первокурсников семестрового курса по западной цивилизации вводится столь же обязательный курс по мировой цивилизации. Этому решению предшествовали бурные дебаты, в ходе которых взяла верх «прогрессивная общественность», свободная от шпета перед культурой, созданной by dead white males — мёртвыми белыми мужчинами. Специальный комитет собрал с миру по нитке и скроил мультикультуральную и политкорректную рубашку. В новом курсе не нашлось места Данте и некоторым другим гигантам прошлого, зато в него, помимо прочих «детей разных народов», вошла современная африканская поэтесса, набравшая высокий балл, ибо была чёрной, лесбиянкой, а также борцом с колониализмом и империализмом.

«Детскими болезнями» левизны, релятивизма, мультикультурализма и политкорректности заражены многие кампусы Америки. В этой славной когорте

Оберлин как шёл, так и идёт в первых рядах. За четырнадцать лет моего пребывания там я не раз оказывался зрителем, а порой и участником этого театра абсурда наших дней. Некоторые сцены — то смешные, то грустные, то поразительные по своей нелепости или глупости — так и стоят перед глазами. Например, попытка приехавших из соседнего Кливленда троцкистов из «Союза молодых спартаковцев» сорвать выступление Владимира Буковского, только что обменённого Брежневым на Луиса Корвалана. Или многолюдное собрание, на котором был поставлен острейший вопрос дня: поддержать или осудить польскую «Солидарность», организацию рабочих, которые почему-то вознамерились отменить социализм, то есть самую что ни на есть рабочую власть?! Или демонстрация, организованная теми же молодыми спартаковцами и прошедшая под лозунгом: «Пусть советская армия на своих штыках принесёт прогресс народу Афганистана!»

30 марта 1981 года. Жуткий, тревожный день: в Вашингтоне возле отеля «Хилтон» тяжело ранен новый президент Рональд Рейган. Громкий стук во входную дверь нашей общаги. На пороге — бледная, взволнованная женщина с пареньком лет шестнадцати. И сразу — в крик: «Ноги моей здесь больше не будет, и мальчика своего сюда не отдам! Может, вы мне объясните, что у вас тут за люди в общежитии напротив — "Третий мир" называется?» — «А что случилось?» — «Вот привезла сына посмотреть Оберлина, он в будущем году кончает школу. Ходили по кампусу, заглянули в этот самый "Третий мир", а там — шум и хохот. "Выпьем с нами! — кричат. И подносят бокал. — Про Рейгана слышали? Ранен! Авоось не выживет"».

Вот такая история. В «Третьем мире» живут иностранные студенты из бедных стран.

Америку, мягко говоря, не жалуют, хотя её систему образования очень даже уважают и приехали учиться именно сюда, тем более что их здесь обеспечивают щедрыми стипендиями. В просторной гостиной на панно, растянувшемся на всю стену, — Фидель Кастро и Че Гевара в героических позах. Членов республиканской партии считают отпетыми реакционерами, так что республиканец Рейган для них — чуть ли не враг народа. Немного лучше относились (и относятся) к республиканцам и остальные студенты Оберлина, подавляющее большинство которых неизменно голосует за демократов, а то и за ещё более левых — «зелёных». Показательные цифры: в студенческом республиканском клубе в моё время было двадцать членов на весь кампус, в демократическом — сотни.

«Кто не был в юности либералом, у того нет сердца. А кто затем не стал консерватором — у того нет мозгов». Эта сентенция, приписываемая Уинстону Черчиллю, меня в некоторой степени успокаивает. Именно в некоторой, потому что никто из моих бывших студентов, за судьбой которых я слежу и с которыми поддерживаю дружеские отношения, консерватором не сделался. В лучшем случае они передвинулись с крайне левых позиций в направлении центра. Очень помогли этому процессу посещения Советского Союза. Всего лишь один семестр проучился в Ленинграде весёлый и общительный Костик (Кен Коэн), родители которого в своё время были то ли коммунистами, то ли сочувствующими. Его отец владел обувным магазином в пенсильванском городе Potstown (произносится, прошу прощения, «Потстаун»). «Когда у нас свергнут власть капитала, — говорил он сыну, — я раздам всю свою обувь народу; это будет моим вкладом в социалистическую революцию!» Костик рассказывал об этом с иронией, но к капитализму и сам относился с недоверием, симпатизировал Советскому Союзу и не очень-то верил моим рассказам о покинутой мною стране. Летом 1976 года мы с Лидой встретили его в нью-

йоркском аэропорту Кеннеди — он возвращался после семестра, проведённого в Ленинградском университете, и мы должны были вместе ехать в Вермонт на мою лекцию-концерт о бардах в Русской летней школе в Миддлбери. «Нам надо вооружаться!» — это были первые слова, которые мы от него услышали...

Костик живёт в Вашингтоне, женился он на миниатюрной Джейдже Маттеини, с которой познакомился всё в том же Русском доме... Несколько лет назад Кознов и нас с Лидой пригласил в ресторан ещё один бывший резидент общаги, Гриша Кривченя, приехавший на конференцию из родного огайского города Мариэтта. Грише, несмотря на его украинское происхождение, русский язык давался трудно. Он пошёл по стопам отца — стал преуспевающим ортопедом-хирургом. Я спросил Гришу, где он остановился. «В отеле возле Вашингтонского национального аэропорта». — «Да, имени Рейгана», — машинально добавил я. «Я предпочитаю этот аэропорт называть по-старому. Рейган — не мой герой: оберлинская закваска, ничего не поделаешь».

Но вот что удивляло, и довольно долго, пока не дошло, что это — типичная для американцев (и вообще для людей Запада) черта: мои студенты не смешивали идеологию с человеческими отношениями. Политические разногласия не мешали им общаться с тобой запросто и дружелюбно.

Отчётливо помню день, когда это их свойство проявилось особенно ярко: день получения нами, мной и Лидой, американского гражданства. После церемонии, которая состоялась в соседнем городке, в здании ратуши, мы вернулись в Оберлин. Но в Русский дом войти не пришлось: ожидавшие нас у входа друзья, тоже пара из Питера, увезли нас (по отдельности) на какие-то якобы срочные встречи, которые так и не состоялись. «Чего ты меня возишь вокруг да около?» — спрашиваю Алика. «Потерпи, скоро узнаешь». Подвезли нас к «общаге» где-то через час. Открываем входную дверь — и обалдеваем: в гостиной накрыт длиннющий стол, составленный из маленьких письменных. На белой скатерти — бутылки, закуски, цветы. Встречают нас обитатели дома в полном составе. Улыбки, смех, тосты, поздравления. Больше всего поразило то, что нас поздравляли с обретением гражданства США юные скептики, люди, которые, казалось, отнюдь не гордились своей принадлежностью к Америке, никогда и ничем не выражали патриотических чувств.

ТАМАРА ЛЬВОВА

Комментарий

Володя! Мне очень интересно было читать твою «Общагу»: ведь мы с тобой после нашего «Турнира СК» хорошо знаем, чувствуем этот возраст — ранней юности. Не во всём «ваши» мне понравились больше «наших». Иногда хотелось с тобой поспорить. Ну, вот хотя бы: ты пишешь (в главке «Спасибо за яблоко!»), что американцы — и юные, и взрослые — «стесняются чрезмерных излияний, предпочитают недосказать, преуменьшить, спрятать эмоцию в подтекст», что сам ты «уже отвык от душевных излияний» и этим доволен: «Живи и наслаждайся тем, что тебе не лезут в душу». Не знаю я, хорошо это или плохо. Конечно, «изливать душу» первому встречному — глупо. Конечно, противно, когда без спроса «лезут в душу». Но разве не хочется каждому из нас иметь близкого — называется ведь как, произнеси про себя! — задушевного друга, с которым можно поделиться чем-то очень для тебя важным, радостным или горьким и который поймёт тебя хотя бы настолько, насколько вообще один человек способен понять другого? Не легче, не лучше ли станет у меня или у тебя, Володя, на этой самой душе? Словом, я в этом

«пункте» остаюсь «русской». Навсегда запомнились слова из чудесного фильма «Доживём до понедельника» С. Ростюцкого (помнишь его?) — кстати, о ребятах-старшеклассниках и их учителе: «Счастье — это когда тебя понимают».

А вот читая твою главу «Флирт, секс и шпартгалки», я, представь себе, сделала ещё одно «открытие». В чём оно? Да в том (касается это, во всяком случае, флирта и секса), что мы за пробежавшие почти сорок лет (ты писал о середине 70-х) стремительно догоняем вас, а то, что ты рассказал, — отнюдь не только американская, но одна из особенностей всей западной цивилизации. Нравится мне сие или не нравится — какое имеет значение! (Скорее не нравится: уходят красота, романтика, таинственность. Но — неизбежно. Ничего не поделаешь.)

Я, Володя, по этому поводу провела маленькое «журналистское расследование». Ты прав: исчезает, уходит «культура флирта». Вспомни не только своё советское прошлое, но всю великую нашу, да и мировую литературу: как умели ухаживать!!! (И ты сам, мой далёкий друг, ах как умел!) Да и вспоминаем мы потом всю жизнь более всего именно эту первую, возвышенную часть наших с ним или с ней отношений. Разве не так? А теперь? Как часто, минуя «флирт», приходит сегодня «секс»? И это стало почти нормальным (я имею в виду обычных, хороших ребят).

В моём подъезде — семья, мои соседи, симпатичные люди, я бы сказала, среднеинтеллигентные: муж, жена, сын. Уже год, как у них постоянно живёт «его девушка». Обоим по семнадцать. Он — школьник 10-го класса(!), она учится в техникуме. Вежливые оба. Приветливые. Всегда здороваются — не смущаются. (Девочка не стесняется, а мне, старой дурочке, неловко!) Я спросила его маму: «Как же вы с мужем разрешили?» Она ответила: «А что — лучше, чтобы они по подъездам болтались? Её родители тоже так считают. Кончат учиться — или поженятся, или разбегутся». Скажи, было такое возможно в наши юные годы? Или — в «турнирные»? Я знаю несколько впоследствии семейных пар — ребят из разных школ, познакомившихся на наших перед «Турниром» студийных встречах, — но каким долгим, сложным, подчас мучительным, был путь, сколько волнений, переживаний до того, как они стали «парой».

Мальчик, сын моей приятельницы, первокурсник университета. Спортсмен. Думаю, будущая звезда. Долго говорила с ним по телефону. Расспрашивала. О нём самом, о друзьях. Разговаривал охотно. Рассказал, как о чём-то обычном, о соученике, своём товарище, теперь он тоже студент: живёт в семье «своей девушки» — «он у них вроде слуги, покупает всё, убирает квартиру, только так её родители согласились его пустить». Где уж тут место поэзии — сплошная проза! Даже — натурализм. Разве не грустно?..

Очаровательная девушка. Студентка Политехнического института. Двадцать лет. Хорошо учится. Живёт дома, с родителями. А на выходные уходит к «своему парню» — он живёт один, родные уехали. Её родители знают и — не возражают. Но вот, Володя, она же сказала мне, что в студенческом общежитии, так же как и в прошлые времена, «посторонним» можно находиться только до 11-ти вечера — следят строго. Если поженятся — пожалуйста. А так... Комнату надо найти, если родители против. Им повезло: у него комната. Я спросила: «А почему вы со "своим парнем" не поженитесь, если у вас любовь и живёте, по существу, вместе?» И знаешь, что она ответила? «Денег у нас сейчас нет. Даже на кольца».

Скучно мне это, Володя, а куда деваться? Так оно и есть. Разве что ещё один вариант: виртуальное знакомство. (Читал — хорошая книга — «Одиночество в сети», автор Януш Вишневский? Какое точное и печальное определение — «одиночество»?)

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

Вместо послесловия

*Две вещи действительно бесконечны:
Вселенная и человеческая глупость.*

Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен
Альберт Эйнштейн

Против глупости бессильны даже боги.
Фридрих Шиллер

Хочу напоследок поделиться мыслью, которая не даёт мне покоя последнее время и заметно подтачивает мой природный оптимизм. Как бы её попонятнее выразить... Ну, скажем, так: никакая, даже самая разумная и гуманная политическая система не способна сделать разумными всех её граждан. Более того, она не в состоянии сколь-нибудь существенно снизить процент глупцов по сравнению с обществами гораздо менее совершенными — даже такими, где нет ни свободы слова, ни прав человека, ни демократических выборов.

Помню, как много лет назад удивилась и расстроилась моя мать, когда узнала, что я, начинающий американец, переболел тяжёлой простудой. «Как! У вас всё ещё гриппом болеют? А я-то думала, что Америка давно с такими болячками покончила!»

Направляясь в США, я не лелеял столь фантастических ожиданий. Но кое-что представлял совсем иначе, лучше, чем оказалось на самом деле. (Надо сказать, что иллюзии причудливо переплетались в моей голове с сомнениями и тревогами: что меня там ждёт? Найду ли себе хоть какое-нибудь применение? Серёжа Слонимский, друг-композитор, считал, что не найду, и уговаривал не ехать: «У тебя нет предпринимательской жилки, ты в Америке ничего путного не добьёшься»). Бев Маккой, та самая студентка, благодаря которой я попал в Оберлин, предупреждала: «Учти, что там, в англоязычной стране, ты утратишь свой главный козырь — дар общения, умение владеть словом. Английский твоим родным языком не станет никогда».)

Я, к примеру, понятия не имел, что в Америке далеко не идеальный климат. Он хоть и теплее и мягче, чем в России, но невероятно влажный и жаркий. Да к тому ещё крайне капризный и коварный. Главная причина: не повезло Америке с горами, потому как все без исключения горные хребты тянутся здесь не горизонтально, с востока на запад (как, например, в Крыму или на Кавказе), а вертикально, с юга на север. Результат: полная свобода северным и южным ветрам — ледяным из Арктики, влажным и горячим с Мексиканского залива и из вечно тёплых южных штатов. Не натываясь на горные преграды, они то и дело сшибаются в смертельной схватке. Смертельной в самом прямом смысле слова: немало жизней уносят порождаемые этими схватками наводнения и гигантские смерчи — торнадо.

Кроме климата, ожидали меня в Америке и другие открытия, вносящие коррективы в мои представления об этой стране и мало-помалу превращавшие её романтизированный образ во вполне реалистическую картину. Здесь не место эти открытия перечислять. Скажу только, что реальная, неприкрашенная Америка, такая, какой я вижу её сегодня без розовых очков, — моя страна, мой дом, который я не променяю на другой ни за какие коврижки.

Я не стал любить её меньше даже после того, как пришёл к невесёлой мысли, с которой я начал своё «последнее слово», — мысли о том, что глупость не

знает границ. Мне кажется даже, что граждане свободных и процветающих стран легче увлекаются идиотскими идеями, чем жители стран не столь свободных и успешных. Те больше озабочены добычей хлеба насущного. Тем не до завиральных идей. Люди, борющиеся за выживание, вряд ли займутся борьбой за полное искоренение нежелательных человеческих импульсов — например, любых, даже слабых, зачаточных проявлений агрессивности или склонности к насилию.

Недавно американские СМИ сообщили, слегка недоумевая, что шестилетний мальчик временно исключён из школы за тяжёлый проступок — сексуальное домогательство(?!). Что же он, малолетка, натворил? А вот что: поцеловал ручку у своей одноклассницы. Другой малыш принёс в детский сад испечённый им дома крендель, который по форме напоминал игрушечный пистолет. Наказание получил такое же, как и начинающий Казанова: suspension, временное исключение. Или вот ещё. Шестиклассник, играя на перемене с товарищем, изобразил руками, что натягивает тетиву лука. И тут же был отправлен домой. Ещё бы: в этой школе введена «нулевая терпимость» ко всему, что напоминает об оружии любой эпохи и любого вида. Идиотизм? Явный. Редки ли такие всплески политкорректности? К великому сожалению — нет: борцы за ускоренное совершенствование человечества и прежде всего его мужской половины не унимаются, они свято убеждены в своей правоте и пользуются симпатией и поддержкой левых и феминистских кругов (что почти одно и то же).

Знай я раньше поставленный в эпиграф блестящий каламбур Эйнштейна о человеческой глупости, спокойнее относился бы к её (увы, участвовавшим) проявлениям в приютившей меня стране. Поздновато попалась мне на глаза и крылатая фраза Черчилля о демократии: «Демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных, которые ещё хуже».

Вовремя прочитанные и усвоенные, эти фразы могли бы уберечь меня от чрезмерных ожиданий и последовавших затем разочарований. Каковые, впрочем (вне всякого сомнения!), ничтожны рядом с ощущением того, что всё было сделано правильно. Бог знает, как сложилась бы жизнь, не соверши я — переломив свою природную нерешительность — этот шаг, этот прыжок в неизвестность. Не сомневаюсь лишь в одном: никакого диалога через океан с тобой, Тамарочка, не было бы и в помине...

Тамара Львова: *Володя, я не раз пыталась намекнуть, что ты свою Америку несколько идеализируешь. Ты не соглашался — приводил в доказательство своей объективности некие американские пороки и недостатки. Признаюсь, они кажутся мне незначительными, а то и смехотворными (ну хотя бы история с шестилетним мальшом, обвинённым в «сексуальных домогательствах».) Ты мог бы главные «за» и «против» изложить здесь, в нашей «переключке», понятно и толково?*

Изложу, если смогу сказать об этом в предельно сжатом, «афористическом» виде.

Я люблю и ценю в Америке прежде всего то, чем она (пока что) отличается в лучшую сторону от других демократических стран Запада. А именно — большую степень личной свободы. Для меня свобода и достоинство индивидуального человека — самая высшая ценность. Так вот, гражданин Америки более независим, имеет больше прав и больше возможностей для развития заложенных в нём способностей, чем гражданин любой другой страны.

Это аргумент за.

А аргумент против, если сформулировать столь же кратко, — это та тенденция, которая выявилась в самые последние годы: такие ценности, как свобода, достоинство, дух предпринимательства, личная инициатива, постепенно теряют свою привлекательность, их придерживается всё меньшее количество граждан. Если так пойдёт и дальше, то Америка утратит свою уникальность, свою «космическую свободу» (выражение Вероники Долиной в недавнем письме ко мне), и будет неотличима от социал-демократических стран Западной Европы, где у бюрократического аппарата гораздо больше влияния и власти и где граждане всё в большей степени от него зависят. Вот что мне не даёт покоя. Где-то далеко впереди забрезжил закат американской цивилизации. Раньше я как-то не тревожился за будущее своих детей и внуков...

Тамара Львова: *Ей-богу, я (а значит, не только я!) не понимаю, что Вероника вкладывает в своё «космическая свобода», а ты — в пренебрежительный отзыв в этом смысле о странах Западной Европы. Для меня именно Франция всегда была символом свободы— общества и личности.*

Мой опыт жизни в СССР и на Западе убедил меня в том, что реальная свобода личности находится в обратной зависимости от реальной власти государства. Чем больше власти у бюрократического аппарата, тем меньше свободы у живущего в этом государстве населения. Так вот, в этой игре, в этом «перетягивании каната» жители США издавна показывали отличные результаты. Здесь всегда было меньше волокиты, хождений по чиновникам, всевозможных справок и других бумаг. Здесь проще начать свой бизнес, чем в большинстве других стран мира. Здесь ниже налоги. Здесь поощряются предпринимательство, личная инициатива. Вот простой пример: если ты сдаёшь кому-то часть своего дома или квартиры, тебя не облагают дополнительным налогом. Наоборот: тебе предоставляют налоговую льготу. Почему? Потому что сдача жилплощади считается полезным для общества малым бизнесом...

Но тут я остановлюсь: вместо того, чтобы заниматься нудным перечислением аспектов американских свобод, передам слово поэту. Не удивляйся: я, как ты и просила, задал Веронике Долиной твой вопрос об американской «космической свободе» и о Франции как эталоне свободы личности. Вероника часто приезжает в США и много времени проводит во Франции. Вот несколько фраз из её ответного письма:

«Особенность США, сбивающая с ног европейца..., — именно в вихре свободы, который моментально захватывает живое существо, неосторожно приземлившееся в США. До первого нельзя проходят не одни сутки...

Количество дозволенного, функционирующего, обустроенного для человеческого удобства — не поддаётся исчислению. Так устроен социальный, профессиональный, и любой другой пласт жизни в США. Такие откровения, которые придуманы в США..., практически чужды Европе, старому миру. Франция живёт по старинке (особенно провинциальная, в какой обособилась и я), укладом тем, каким жили и сто, и более лет назад.

Америка — нечто вроде каждодневного будничного чуда, с точки зрения жителя Европы: столько возможностей она предоставляет. Вот это безликое слово — возможности — играет в США неслыханными алмазными гранями. Космос, иная планета.

Каждый мой приезд в Америку — это купание в океане. Возможность вдохнуть свободу».

Как это похоже, Тамара, на то, что испытал я сам, когда оказался здесь. Это всё так: и захватывающий вихрь свободы, и неслыханное «количество дозволенного», и море «человеческого удобства», и пьянящее ощущение почти безграничных возможностей...



Тамара Львова в Юношеской библиотеке на Съездовской ведет «Турнир шестиклассников».

ТАМАРА ЛЬВОВА

Эпilog

Хочу, Володя, на прощание напомнить тебе это число: 26 сентября 2014 года. В этот день у нас юбилей. Исполнится ровно 50 лет, как 26 сентября 1964 года впервые прозвучали позывные «Турнира СК». И звучали каждый месяц — восемь лет, пока нас не разогнали и не передали наше «живое» детище (прямой эфир!) в чужие руки. И стали записывать и кромсать — выбрасывать неудобное. Это уже был другой, не наш «Турнир».

Будем, Володенька, живы — вспомним в этот день всех, каждого из нашей славной «турнирной команды». увы, многих уже с нами нет, а наши «дети» стали дедушками. Но есть что вспомнить!

Знаешь, что меня больше всего тронуло? Когда я брала интервью для книги у наших «детей» (по телефону — в разных странах, в письмах — у себя дома), не один, не два — многие! — говорили и писали: «"Турнир СК" — самое яркое воспоминание моей юности». А это дорогого стоит.

Так что вспомним 26 сентября 2014 года наш «Турнир СК».



Т. Львова, Н. Кавин, В. Фрумкин



Участники и зрители юбилейного вечера «Турнира СК» в Музее Анны Ахматовой

[И вспомнили! Да ещё как вспомнили! Собрались в тот день в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Пришли и "отцы", и "дети", и уже их дети — «внуки Турнира». И родные, знакомые, и просто "болельщики" — такие тоже были, не забывшие его верные телезрители. Вечер вела я в дуэте с его организатором, журналистом Николаем Кавиным, бывшим помрежем «Турнира СК». Присоединился к нам под конец и Владимир Фрумкин — на экране, по Скайпу. Даже провел маленький "турнирный конкурс" ...]

Вот и закончили мы с тобой, Володя, нашу повесть-переключку. Не такая уж маленькая получилась. Мне жаль расставаться с ней. Не нам судить, получилось ли то, что казалось главным: ожило ли через нас время, отпущенное нам судьбой?

Помнишь, в самом начале: «Перед вами странная книга...»? Я пыталась объяснить, почему странная: писали её два автора, разделённые океаном... Пусть и конец будет необычным: закончилась повесть, но не закончилась переключка. И по-прежнему будут летать через океан письма к далёкому другу.

Я в это верю. Переключка продолжается.

Примечания

1. Эти воспоминания были напечатаны впервые в журнале "Нева" (2002, № 1), а потом — в «Книге о "Турнире СК"» (СПб., 2005). Но нам кажется, что они будут интересны и в нашей повести. — Т.Л., В.Ф.
2. Эти воспоминания были напечатаны впервые в журнале "Нева" (2002, № 1), а потом — в «Книге о "Турнире СК"» (СПб., 2005). Но нам кажется, что они будут интересны и в нашей повести. — Т.Л., В.Ф.
3. «А годы летят...» — из песни М. Фрадкина на стихи Е. Долматовского в кинофильме «Добровольцы» (1958).
4. Grani.ru/Culture/essay/rubinstein/m133196.html, Febr. 5 2008.
5. Со множеством тёплых воспоминаний и огромной благодарностью, Дженни (англ).
6. Маленький человек в футляре: синдром Башмачкина-Беликова <http://magazines.russ.ru/voplit/2005/6/ep7.html>



Дмитрий Бобышев
ЧЕЛОВЕКОТЕКСТ
Трилогия
Книга первая. "Я здесь"

Мариупольские отпуска

Азовское море, бледная голубизна которого просвечивает жёлтыми мелями. По самой кромке пляжа голышом идёт мальчик лет четырёх-пяти. Он гордо вышагивает вдоль набегающей плоской волны, глаза его блестят, как жуки-плавунцы, чубчик приподнято золотится на солнце, так же как и его «перчик», а в руках он торжественно несет сачок. Что он будет ловить им — не звёзды ли с неба? Ребёнком любуются загорелые и мускулистые взрослые, его фотографируют, и он чувствует себя властным морским божком.

Не всевластным, конечно, — он это уже понимает и потому намеренно ограничивает свои владения выкопанной в плотном песке ямкой, куда просачивается прозрачная морская вода и где всё будет происходить по его велению. Туда же вытряхивается из сачка жук-плавунец, который бешено кружит по воде, коричнево сверкает и тщетно пытается удрать в море. Второго плавунца мальчик ловит рукой, и, когда он доставляет жука в неволю, тот, пребольно цапнув его за палец, исчезает в волне, и сквозь брызги и слезы малыш видит, как у его первого невольника вдруг раскрываются на глянцевой спине крылья и тот взмывает в голубизну.

Боль, обида, «коварство» морского жука, оказавшегося ещё и летучим, громкий плач, утешение взрослых...

Таков ранний жизненный урок маленького счастливица, которым был когда-то я. Я ли это теперь, русский стихотворец и эмигрант, я ли это, университетский преподаватель вот уже и пенсионного возраста? Мой телесный состав многократно с тех пор переменялся, а о сознании нечего и говорить, — меня и зовут-то иначе, я уже давно живу на противоположной стороне планеты, говорю на одном языке, пишу на другом. Сменился век, даже тысячелетие, и тем не менее я сейчас извлекаю себя, тогдашнего, из-под всех этих толщ и напластований.

Мать моя — химик Зинаида Ивановна Павлова, отец — архитектор Вячеслав Васильевич Мещеряков, они жили и познакомились в Ленинграде, там же и поженились, причем отец — уже имея от первого брака дочь Викторию, мою, стало быть, единокровную сестру. Рожать меня, своего первенца, мать отправилась в Мариуполь к родителям. Там я и появился на свет, в больнице на берегу греческой речки Кальмиус, впадающей в Азовское море, — близ мест, связанных как с неудачной кампанией новгород-северского князя, так и с началом «татарского ига».

В моем отце, в общем-то русском, видимо, было подмешано что-то татарское, и на некоторых из оставшихся фотографий эти черты видней, а с годами они стали проступать и в моей внешности. Помню, как я в последние годы ленинград-

ского житья стоял у Таврического сада на Кировной, напротив Суворовского музея, в унылом ожидании 1-го автобуса, чтобы ехать к себе на Петроградскую сторону, и некая полупьянь пристала ко мне:

— Ты кто, татарин?



«Я — здесь!» Мариуполь 1940 г.

Я его чуть не растерзал с досады, а затем успокоился и сказал ему фразу из, кажется, Жозефа де Местра:

— Если русского хорошенько потерять, из него татарин и вылезет.

Тереть меня тот пьянчужка не решился и потому остался в крепкой задумчивости.

Мать была младшей из трёх сестер в русско-украинском семействе Павловых, породнённых с семьёй мариупольских греков Халанговых, и этот домашний интернационал дал мне свою прививку. Дедушка Иван Иванович говорил на хорошем русском, но любил шутить и петь по-украински. Он был мастеровой, столяр краснодеревщик высокой квалификации, и до революции они с бабушкой Ксенией Никигичной, которая была значительно моложе его, были записаны в мещане. Однако дед, как я его помню, статный старик с высоким лбом, правильным носом с горбинкой, живыми ореховыми глазами, белоснежной шевелюрой и бородкой клинышком выглядел весьма породисто. Дядя Тим, о котором я скажу позже, вернувшись из Америки, пригласил свёкра для обустройства московской квартиры и как-то раз повязал тому американский галстук, надел свою шляпу да и наснимал нашего краснодеревщика «Кодаком».

— Профессор! — с удивлением качали головами родственники, рассматривая роскошные фотографии.

Сам он был откуда-то из-под Полтавы, солдатом побывал и в Австрии, и в Манчжурии, с семейством кочевал по южным окраинам Империи, пока не осел в Мариуполе стремя дочками. На их отрочество пришлось Гражданская война, город переходил от атамана к атаману, но все они благополучно подросли до девиц и уехали на учёбу в Ленинград, да и повыходили там замуж.

Старшая Лида вышла за добродушного здоровяка из шахтёров, воевавшего с басмачами и пошедшего потом по ведомству внешней торговли, дослужившись

до заместителя министра... Тихон Тимофеевич Иванов, или дядя Тим, как его звали у нас, был перед самой войной откомандирован с семьёю в Америку, — в США, а затем в Аргентину, где и застрял на годы. Он называл себя «красным купцом» и проворачивал какие-то нужные для страны дела. Его сын Вадим, с которым мы были одноклассниками, дружил со мной в отрочестве, а потом пошёл высоко по научной линии и даже стал академиком.

Средняя из сестёр, живая и весёлая Таля вышла за красивого и любящего шутку Леонида Васильевича Зубковского, инженера, взятого перед войной в автомобильные войска. У них родился Серёжа, первый из нового поколения большой семьи Павловых.

Талья, ставшая мне двоюродной матерью, говорила, что до революции Иван Иванович служил управляющим в “экономии” местных богачей, но сам он предпочитал рассказывать, как был модельщиком на старом сталелитейном заводе, переименованном в «завод Ильича», и работал при запуске вновь построенного, названного «Азовсталью», а затем стал обучающим мастером при ремесленном училище, вступив, между прочим, в большевики как истый пролетарий.

Словно Ленин и Сталин, оба грязных гиганта высились и дымили в конце нашей улицы, в том месте, где она должна была упереться в море. Ясно, что купаться там было негде, и все ездили вбок за тридевять земель на чистые пляжи. Возил туда трамвай-однопутка, подолгу ждавший на остановках встречного, а добравшись, все располагались на целый день — пляжный солнечный день, как оставленное мгновение, растянувшийся в памяти на всё мое довоенное детство.

Смутно помню, что были у нас какие-то приживалки, бабушкины подруги, исполнявшие её поручения по хозяйству... Одна из них, которую я не терпел за фальшивые интонации, взаимно невзлюбила меня.

— Пусть она уйдет! — требовал я невозможного. В этот момент она проносила кипящее молоко рядом со мной.

Миг — и мир наполнился болью и воплями. «Случайно» горячее молоко опрокинулось на мои ноги. Я был утешен лишь тем, что после этого случая она больше у нас не показывалась.

Я был «младшенький», и на какое-то время мне посчастливилось стать всеобщим баловнем. Весь клан собирался в Мариуполе на летние отпуска. Мы занимали нижний этаж дома с выходом на круглый хозяйственный двор с сараем и пристройками, в глубине был старый фруктовый сад с остатками фонтана.

Если вспомнить, что то был конец тридцатых, то можно вообразить, какие тени и страхи перемещались в сознании родителей. Но под отпускным солнцем, в тепле семейных общений их не замечалось. Было много шуток и подшучиваний, все любило фотографироваться: Лида на краю фонтана, мама на низкой яблоневой ветке, Талья в шезлонге, читающая мне:

*Жил на свете человек,
скрюченные ножки.
И шагал он целый век
по скрюченной дорожке.*

Мне читали также «Что я видел» Бориса Житкова, а я рассматривал иллюстрации — это была энциклопедия тогдашней цивилизации: паровоз, трамвай, танк, «чудо-лестница» в метро, регулировщик на перекрестке. Но все равно я требовал Брема, в особенности тот его том, где за воцарившейся страницей открывался влажно-яркий, как переводная картинка, мир птиц.

Кроме поездок на пляж, у взрослых были большие хождения в гости — к Халанготам и к «другим Павловым», в семью дедушкиного брата, чей сын Георгий Сергеевич (Жорж) высоко выдвинулся при Брежневе, став управляющим делами ЦК, то есть оказался на посту никак не ниже министра. Он мне приходился двоюродным дядей, но у меня нет детской памяти о нем, позднее я видел его лишь однажды на самом подъёме его карьеры, и он запомнился молодым статным барином. Я никогда не имел и не искал шанса воспользоваться хотя бы единой крохой его могущества. С перестройкой и началом дележа партийной кассы он, уже уйдя с поста, внезапно покончил с собой, выбросившись с восьмого этажа своей правительственной квартиры в Москве. Такова, по крайней мере, была официальная версия о его смерти.

А в те мариупольские сборы для поддержания сил молодой оравы нужно было иметь в доме хозяйство, и оно имелось. Был пичник, на который делал кровавые набег соседский кот, в сарае похрюкивал кабанчик. Не помню, хорошо ли плодоносили старые яблони в центре сада, окружённые по краям высоченными акациями, видимо нет, но между двором и садом свежо зеленел огород, на котором росла даже своя горчица и где водилась таинственная и страшная медведка, стенающая по вечерам и грызущая корнеплоды. Дед умудрился её отловить и, прежде чем казнить, показал мне это крупное шерстистое насекомое с челюстями, способными откусить детский палец.

Головы курам отрубал сам дед, причем он не отгонял детей, смотрящих на казнь со средневековым ужасом. Кажется, ему нравилось устрашать маленьких зрителей, а может быть, находя это поучительным, он однажды выпустил обезглавленного петуха, и тот, фонтанируя кровью, целую вечность бегал кругами по двору, — один из редких случаев, когда наша кроткая бабушка вслух отчитала мужа.

Наступал час и для кабанчика. Это было зимой, вероятно, под Рождество, и хотя я сомневаюсь, что в конце тридцатых этот праздник отмечался открыто, бабушкин уклад всегда соответствовал старому календарю, и на Пасху, например, пеклись куличи и красились яйца, а на Ивана Купалу полы устилались пахучими травами — аиром и мятой.

Деду на помощь приходил его брат с молодым Жоржем. Кабану перед закланием давали порезвиться — выпускали во двор, сажали меня на него покататься, затем детей отправляли с глаз долой в дом, но и оттуда можно было услышать последний его визг. Я хотя и не видел, но знал по рассказам деда, что его закалывают шилом в левую подмышку, затем, полоснув сапожным ножом по горлу, спускают кровь и вытряхивают сгустки в таз, а потом подвешивают тушу на крючья, опалаяют щетину паяльной лампой и опалину соскабливают ножом. Ничто не должно было пропасть при разделке: потроха шли в скорую готовку, вонючие кишки тщательно промывались для набивки чесночной колбасы, сало пласталось для засолки, а для будущих окороков и ветчин существовал ледник.

Получалось так, что я рос вдаль от родителей. Поэтому отец забрал меня из Мариуполя и привёз в Ленинград. Мы вышли из Московского вокзала, и он пешком повёл меня довольно далеко, на одну из Красноармейских Рот — так назывались улицы в том районе, где жили они с матерью и сестрой Викой. Вот с этого момента мощно включилось моё сознание, и я детально запомнил, как мы шли по Лиговке, как на уровне моего тогдашнего роста я видел брюки и юбки прохожих, как мы вели разговор о подарках, которые ждут меня дома. Моё воображение занял обещанный деревянный грузовик, и мы жестами рук устанавливали его размер:

- Такой он большой?
- Нет, чуть меньше.
- Вот такой?
- Да, примерно такой.

Дом оказался малой комнатухой в коммунальной квартире с коридорной системой, где я после первого посещения уборной капитально заблудился. Помню мать вечером за швейной машинкой, помню заводного слона, шагающего по столу, а утром — окно, упирающееся в противоположную стенку внутреннего двора, ко-сой луч солнца в открытую форточку и смуглого мускулистого мужчину, делаю-щего гимнастику, — моего отца. Это осталось моим последним воспоминанием о нём, через год с небольшим погибшем от недоедания, болезней и, думается мне теперь, от отвращения к жизни во время ленинградской блокады.

О войне много пели и говорили, дети беспрерывно играли в войну, но вес-ной 1941 года о ней не думали как об угрозе для собственной жизни. Большая семья планировала, как обычно, собраться к отпуску в Мариуполе. Дед приехал за мной в Ленинград, мои родители были заняты своими делами, и он не мешкая увез меня тут же на юг.

Помню наш огромный под солнцем двор. На мне крашеная серебром пор-тупей, в кобуре — жестяной пистолет, последний подарок отца. На голове — исп-панская шапочка с кисткой. Я — командир, только командир без армии. Старшим братом Серёжей не покомандуешь, а изобретать врагов, чтобы увлечь остальных, я не умею. Но я вооружён и мечтаю воевать, надо только придумать — с кем. За тем забором, куда особенно «нельзя», высится стена с громкоговорителем, который не только молчит, но более того — даже вслушивается в происходящее, как ухо слона.

А происходит вот что: войдя с улицы через калитку, двор пересекает не-обычный посетитель в военной форме. На нём белая гимнастерка, перекрещенная наискось портупей и белая фуражка. Он входит в дом. В этот момент заговорило радио на стене.словно пыльные хлопья, из рупора полетели уныло-грохочущие слова, смысл которых до меня не доходил, но ощущение беды пришло незамедли-тельно. В доме я застал взрослых, ошеломлённо застыв-ших в немой сцене: пред-ставитель власти приносил вызов в военную часть для Лёни, а по радио звучало объявление войны с Германией.

Война для младшего возраста

Вскоре после объявления война приблизилась настолько, что её можно было ощутить даже в нашем саду. Взрослые предполагали, что немцы скоро будут бомбить индустриальные цели и бомбы посыпятся не только туда, но и на наши головы. Поэтому в саду вдруг появилась толпа молодых баб, повязанных косын-ками, и неопределенного возраста мужиков с лопатами. Под присмотром красно-армейца, не выпускавшего из рук винтовку, они вырубали часть яблонь и на осво-бодившемся месте начали копать котлован под бомбоубежище.

Винтовка была длинная, старого образца, штык у неё четырехгранный, с желобком вдоль каждой грани.

— Для стока крови, — важно прокомментировал кто-то из малолетних зна-токов.

На второй день земляных работ небо затянулось тучами и начался нескончаемый дождь, ливень, просто потоп, захлёстывающий окна ремнями воды, — редкое явление в тех местах, где случайный дождь вызывал обычно радостное возбуждение и хозяйки выбегали с тазами и ведрами набирать побольше «мягкой» воды для мытья головы и стирки.

В тот раз никто и не высунулся из домов, и, когда летнее солнечное утро ударило в глаза, дети первым делом выбежали в сад. Котлован до краёв был заполнен глинистой мутью. Вода! Не зная еще, что делать с таким обилием, мы бегали вдоль кромки по земляным осыпям и кирпичам, вдавленным в глину. Неловкое движение, и балансирующий Сергей всё-таки удержался, а я полетел вниз. Плавать я ещё не научился, несмотря на пляжные похождения, а воды оказалось там выше моего роста.

Наглотившись воды для начала, я понял, что надо спастись самому, — выгнулся, ударил ногами и дельфиньими рывками добрался до края, где был подхвачен на сушу.

Первая реальная опасность для жизни, а сколько их будет ещё!

Немцы не стали бомбить заводы, видимо, решив, что они и так им достанутся, но фронт или, вернее, военное месиво отступления приблизилось вплотную. Власть в городе испарилась, поезда не ходили. Дед был бессилён что-либо сделать, мы ждали самого худшего.

И тогда вдруг под возрастающий грохот канонады к нашему дому подкатил грузовик с полуфургоном — то, что получило название «драпмашина», оттуда выпрыгнул Лёня Зубковский в форме капитана, и, едва схватив по узлу каких-то пожитков, мы все рванули вслед за его частью в Краснодар. Там нам даже выделили квартиру в несколько этажном доме на краю города, неподалёку от военной части и, увы, от расположенного в близлежащей роще склада боеприпасов.

В неизменный послеполуденный час этот склад бомбили. Дом сотрясался от близких разрывов, а мы по тревоге сидели в подвале, густо испуская адреналин и ожидая конца. Зато после налётов тёплые ещё осколки были добычей и забавой детей.

На той же улице находился штаб армии. Его возглавлял уже не бригадоловый маршал Тимошенко, герой наших мариупольских игр, а усатый кавалерийский и ещё более героический Будённый. Никаких всадников не наблюдалось около штаба, хотя ребята из ближних домов собирались на пригорке в надежде увидеть легендарного героя на гнедом жеребце. Внезапно у кучки детей остановился американский «виллис», и оттуда вышел Семён Михайлович собственной персоной, в точности как на портретах. Я был среди этих детей и видел его так близко, что мог бы прикоснуться.

— Ну, как живете, мальцы? — поинтересовался маршал.

— Да так, ничего, — промямлили и главным образом промолчали мы.

— А знаете ли вы, где живет Будённый? — задал военно-разведывательный вопрос командующий фронтом.

— А как же, во-о-он там, — указали все на его штаб, радуясь лёгкости вопроса. Командарм сел в машину и укатил, а его штаб переменил дислокацию.

Прежде, чем навалиться ещё пуше, фронт немного застрял на месте, и это дало передышку. Таля устроилась воспитательницей в детском саду, и вскоре я оказался там же, в одной из групп. И — вновь я пытаюсь играть лидера, веду детей за собой, изображая героя и жертву, на этот раз — Щорса, о котором красочно пелось:

*Голова повязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве.
Ы-ы э-э...
По сырой траве.*

Как всегда, недостает врагов: в немцы никто идти не соглашается, с трудом удается заставить двух малышей быть японцами. И — за мной, на врага! Доведя дружину до лёгкой победы, но истощив свои притязания, я решаюсь впредь больше никем не командовать, но и никому под начало не даваться. Так у меня и пошло, и это было порой нелегко в мире двух измерений: если ты сам не командуешь, то изволь подчиняться.

Вечерами мы ходили в часть смотреть кино, и, чтобы пройти туда, нужно было миновать часового. В сумерках он окликал:

— Стой, кто идет?

— Свои.

— Проходи...

На простынном экране — военная мелодрама. Солдат склоняется над умирающим другом:

— Скажи хоть слово!

— Прощай...

А днем — исковерканные танкетки стоят посреди авторемонтной части. Можно ли починить их? Вряд ли. Но детей к ним не подпускают — мало ли что можно найти в их обгорелом нутре?

И вновь дела плохи. Прорыв. Мы прыгаем в грузовики, мужчинам раздаётся оружие, — дедушка сидит в кузове полуторки рядом со мной, коленями держа карабин. Мы едем не по большаку, а специально виляя по проселочным дорогам, мимо спелых пшеничных нив, мимо плеснувших синевой васильков и цикория, и бабы-казачки машут нам по пути спокойно и прощально.

Остановка на ночлег в станице со странным названием Даркох. Поезд с кочующей авторемонтной частью, если его еще не разбомбили, подойдет сюда завтра, и мы уедем. Или — послезавтра, если немцы не захватят станицу... При условии, если нам, гражданским, будет позволено влиться в военную часть.

Все семейство сидит на узлах у ворот встревоженной станичницы, размышляющей: пускать нас на ночлег или не пускать. После азартного бегства о еде ещё не вспоминается, но жажда чувствуется всё сильнее. Солнце, к счастью, начинает склоняться, освещая дряхлое дреколье забора, калитки и ворот. Дед лезет в свой узел и достаёт то единственное, что он захватил с собой: молоток, плоскогубцы, клещи. Выдрав заржавленный гвоздь, он распрямляет его молотком и чинит калитку, затем поправляет забор.

Ворота раскрываются, оттаявшая хозяйка пускает нас в свою глинобитную хатку. Быстро темнеет, и в сумерках я вижу, как громадное существо с раздутыми боками загоняется в хлев, сравнительно малая голова повёрнута ко мне, большие, влажные и как будто влюбленные глаза глядят с любопытством и опасением. Это буйволица, и вот уже я пью густое, тепло-дымящееся и живительное молоко.

Поезд всё-таки подошел, и нам разрешили, при условии, чтоб никто не высовывался, занять часть вагонной мастерской на колесах. Это было спасение. Но мы теперь стали и приоритетной мишенью для охоты с воздуха. Немцы нас обстреливали и бомбили, но пока случайно, по пути к другим целям. Наш эшелон спешил, приближаясь к городу, — кажется, то был Майкоп, где мы хотели бы затеряться,

но, прежде чем въехать туда, увидели зарево: город уже бомбили. Эшелон остановился, и все живые души рассеялись вокруг по мелколесью, стараясь хоть как-то спрятаться и затанцаться.

Так мы просидели до темноты, и лишь тогда, минуя грозное зарево, наш поезд отправился всё дальше и дальше на юг — за Кавказский хребет.

За хребтом Кавказа

И вот мы — кавказские захребетные беженцы. Стоящие вокруг крутые горы и парящие меж ними орлы стали на несколько лет привычными атрибутами жизни. Первая большая стоянка оказалась в Тбилиси.

Хотя и на краю, но в пределах большого города мы поселились в двух кварталах от берега Куры, вблизи от уже, кажется, не существующего пешеходного Ишачьего моста через реку. Жёлтая, белопенная Кура омывала внизу светло-серые валуны. Из-за этих стремнин переходить мост было головокружительным приключением.

Мы занимали часть квартиры в доме с галереями, но, озираясь, держались замкнуто и семейно, приходя в себя после стольких опасностей и потрясений. Грузинский язык, горловой и переливающийся, как Кура, создавал впечатление заграничьи. Мой дед, помимо всех тревог, чувствовал себя виноватым передо мной: ещё в Краснодаре он меня, закапризничавшего, хлестнул вдруг по плечам ремешком, а этого у нас не водилось. Да и каприз-то мой к утру объяснился: я проснулся жару, весь обмётанный корью, — обстоятельство, осложнившее наше отступление дальше. В Тбилиси, сообразив, что мне нужна хоть какая-нибудь игрушка, он вырезал из дерева и раскрасил фигурку дровосека, а вернее — пильщика с деревянной же пилой, который, будучи поставлен на край стола, качался и как бы перепиливал стол, а в сущности, сук, на котором стоял.

Эту философскую игрушку у меня вскорости украли дети галерей, но дальнейшая дружба с воришками меня развлекла и вознаградила потерю.

Деньги тогда не значили ничего, хотя и наполняли своими условностями людские отношения, даже между детьми. Вдруг по галереям пролетел слух, что нужно иметь два рубля, — иначе не попадёшь на кукольное представление, которое состоится вот-вот где-то поблизости.

Получив (впервые!) деньги на представление, я попадаю в хвост очереди и уже с билетом оказываюсь отнюдь не в театре, но в декорированной под театр квартире, где можно было увидеть семейный бизнес в действии: мать продавала билеты, бабушка распределяла места, старший брат стоял сторожем, а мой сверстник оказался режиссёром и исполнителем всех ролей. Откинув занавеску, он открыл зрителям выставленные на столе предметы: щетки, зеркальца, ёлочные украшения. И вдруг маленький маг превратил это в пейзаж: рощи, пруды с лебедями, дома. Какая-то маленькая фигурка имитировала перемещение героя и все его похождения, но всё это было не важно. Важно было само превращение малых предметов в целый мир — просто так, условиями этой двухрублёвой игры, которая вдруг стала мистерией.

— И тут явился Бог! — провозгласил наш ведущий и на нитке спустил с потолка над пейзажем ёлочный блистающий шар.

С чувством некоторой обманутости зрители разошлись.

Центр Тбилиси был не близок, и я лишь однажды там побывал со взрослыми — на сеансе «Багдадского вора». Когда мы шли в кинотеатр, я озирался на обсаженные мимозами и тополями бульвары, на тепло высвеченные ступени боковых улиц, глубокие тени галерей и балконов. Чувствовался нарядный и небрежный, почти шегольской характер города, как бы забытого о большой войне. Но из кинотеатра мы шагнули в полную темноту, только тут и напомнимшую, что город притаился, хоронясь от возможного воздушного налета. Пока мы шли, крепко держась за руки и спотыкаясь, пахло влажной пылью, виноградным жмыхом, вдруг потянуло левком, лицо ощутило близость мимоз.

Но — прощай, Тбилиси! Дяди-Лёнину часть переводили, соединяя ее с автомобильными цехами в Кутаиси. В этом был несомненный резон, и мы переселились туда, осев более чем на два года в маленьком домике Бацши Георхелидзе на улице Месхишвили. Мы заняли переднюю комнату и террасу, лишь к зиме заметив, что отопления там не было. Очаг находился в задней половине дома, где жила сама Бацши, морщинистая вдова, сдержанная в обращении, но добрая сердцем, и два её сына: уже почти взрослый рыжеватый и худощавый Дадико да симпатичный подросток Вахтанг, с охотой становившийся напарником моих игр, когда мать освобождала его от домашних работ.

Перед домом рос гигантский орех, сбоку была разбита грядка, засеянная кукурузой, а перед крыльцом в облаке испаряемых ароматных масел стояло на ровном стволе элегантноое деревце с кроной, сформированной в шар. То был благородный лавр. К соседскому инжиру, молодому, но раскидистому, примыкал с нашей стороны изгороди куст роз. Если добавить сюда порхающих бабочек, пичьи свисты из ветвей да виноградную лозу, прорастающую по-над всей террасой, то получался рай.

Но рай этот находился на углу двух пыльных улиц, где располагались такие же домики, было тревожно и довольно голодно. Фронт было придвинулся настолько, что орлы, одиноко кружащие в высоте, вдруг начали стаями, наподобие ворон, уноситься прочь...

Повестки, воспринимаемые как смертные приговоры, стали приходиться дома на улице Месхишвили. Наш Дадико попросту уходил в бега и, возвращаясь в сумерках домой, поглощал огромное количество чурек, испекаемых Бацшей, а затем снова исчезал. Из других домов время от времени раздавались, выплескиваясь на улицу, скорбные крики, траурные вопли, как на похоронах с нанятыми плакальщицами, — это приносили повестки.

Но проходил день, другой... И вдруг из того же места начинала доноситься музыка, смех, вакхические возгласы. Гуляние охватывало и ближайšie дома. Это означало, что взятка принята и призывник освобождался от «священного долга» до следующего полугодия. Пирь продолжались и ночью, к утру веселье смолкало, но днём героя возили по улицам в фаэтоне, а извозчик потряхивал вожжами и крутил ручку шарманки, расположенной под сиденьем.

Нашей основной едой стала мамалыга — каша из кукурузной муки, покупаемой у хозяйки, но и её не хватало. Оказалось, что сеять больше, чем позволяла грядка, нельзя по закону.

Она распалила хворост в очаге, одновременно замешивая кукурузное тесто и заполняя им глиняные сковороды-тарелки, составляла их с крышками в пирамиды и устанавливала среди жарких углей, пока тарелки не раскалялись докрасна. Когда белые искры начинали скакать меж керамических сковород, Бацши ловко

опорожняла их, извлекая пышущие румяные чуреки, и не было ничего вкуснее этих толстых лепёшек, пока они ещё были горячими. Однажды она после моих похвал расщедрилась и подала с чуреком тарелку томлёной зелени, замешанной с орехами и специями, — такого деликатеса я в жизни больше не пробовал.

Мы были семьёй офицера, служащего в действующей армии, и имели определённые права, но, когда Лёня подолгу отлучался на фронт, грузинские чиновники немедленно лишали нас продовольственных карточек. К тому времени мой дедушка Иван Иванович, сообразив что почём, решил тайно промышлять ремеслом сапожника. А промышлять открыто было невозможно из-за непомерного финансового сбора, подрывающего дело в самом начале. Но, запасшись буковыми заготовками, он стал ловко изготавливать босоножки на деревянной платформе, изящно вырезая каблучки и расписывая их по тамошней моде. Образовалась клиентура. Кутаисские дамы в ожидании примерки щипали меня за щёку и одаряли комплиментами.

Однако и фининспектор не дремал. Он должен был со дня на день нагряться с проверкой — так предупреждали нас всеведущие модницы. И вот, на полном серьёзе, я был отряжён в разведку. Я болтался, тоскуя, перед крыльцом, между орехом и лавром, между лавром и инжиром, в ожидании ревизора, чей приход я должен был возвестить обусловленными куплетами:

*По улицам ходила
Большая крокодила.
Она, она
Голодная была.*

Миссия моя скучна, куплеты пошлы. По улице проходит то старуха с кувшином, то, не замечая меня, пробегает Гоги, гоня проволочным крюком обруч... Но вот через калитку действительно идёт в дом какой-то пришлец в тёмном костюме, и я горланю ему вслед:

*Во рту она держала
Кусочек одеяла,
И думала, что это
Кусочек ветчины.*

Дед, кажется, успел сунуть сапожную колодку под матрас, а бабушка, наоборот, выставить графин с угощением ревизору, — во всяком случае, моя миссия считалась выполненной успешно. Укладывая спать, дед погладил меня по волосам, тогда совсем светлым. Помимо макушки на затылке, он обнаружил еще два завихрения надо лбом, образующих горизонтальную восьмерку, и был этим впечатлён.

— То ли большой человек из тебя выйдет, — заключил он, — то ли большой жулик!

Приехал Лёня с фронта, привез на пикапе брезент, завесил им террасу от ночных холодов, быстро восстановил продовольственные карточки и вечером пел мне, грассируя, из Лещенко:

*Чубчик, чубчик, чубчик кучегявий,
Газзевайся, чубчик, по ветгу!..*

Я стал было в подражание емукартавить, но Таля вдруг встала горой против этого и взамен начала меня всерьёз обучать грамоте. По складам, но с растущим увлечением я стал читать о том, как Братец Кролик до полусмерти напугал громадного Братца Слона, швырнув ему под ноги мышь... О том, как Братец Кролик ездил по выходным развлекаться в город к Тётушке Медоус и её девочкам и как ему по-

стоянно приходилось избегать встреч с недружелюбным Братцем Койотом... То были сказки американских фермеров, и мне теперь забавно бывает, живя в земельческой глубинке и зная нехитрую символику этой книжки, опознавать вокруг себя её прототипы.

Фронт на карте с флажками перестал продвигаться в нашем направлении и вместо того полез на восток до самой Волги, а главное, окружил Ленинград, и не было никаких сведений об оставшихся там моих родителях.

Поправляя керосиновую лампу, бабушка Ксения Никитична нахохленно и печально глядела в её пламя.

— Бабушка, что ты так грустишь?

— Как же не грустить — дом наш, наверное, разорен в Мариуполе, и ничего не слышно о Зиночке, твоей маме. Жива ли она?

— Жива, жива. И завтра ты получишь от неё письмо. Или — послезавтра, — добавил я на всякий случай, вдруг осознав, что произношу-то я не утешение, а прощание.

Письмо пришло на следующий день. Мать сообщала, что её вывезли малым самолетом и она поправляется от дистрофии, а отец остался там...

Отец мой погиб. Эту потерю я чувствовал в течение всей моей жизни, но пропасти между жизнью и смертью я тогда не ощутил: отца так и эдак давно не было со мной, и я всё равно помнил его живым. Для родных я стал ещё родней, но мысли, которые переваривались в моей голове, были уже не детские: я сознавал себя последним в роду.

Много позже мы с интеллектуалом и корешем Ефимом Славинским (Славой) как-то рассуждали о причинах нашей нервной раздрыганности, по существу — неврастении. Поводом послужила книга Зоценко «Перед восходом солнца», в которой автор, пользуясь фрейдовским и павловским методами, словно ножом и вилкой, препарировал свое сердце. Выяснилось, что Слава в то же время, что я из Мариуполя, бежал от кровавой бани в Киеве, и я напомнил ему, что Фрейд считал сокрушительной травмой детской жизни свидетельство о половом акте родителей.

— Экое кирикуку! — воскликнул он сардонически. — В таком хорошем деле — что ж плохого?

— А был ли ты под бомбежкой? А испытал ли потерю близких?

— Как же не быть? Был. И — испытал. И — нам бы, доктор Фрейд, ваши заботы...

Таля и Лёня и в самом деле привязались ко мне, как совсем родному их сыну, так что старший Серёжа мог испытывать ко мне ревность, которую оправдал бы, наверное, доктор Фрейд. Но, добрая душа, он своё соперничество выражал лишь в возне перед ночёвкой за лучшее место у стенки да в обычных поддразниваниях, на которые был охоч и его отец.

Лёня, когда мог, приносил домой теплую пшёнку в котелке, и Таля распределяла кашу по мискам.

— А Сергею больше... — заявлял я проверочно.

— Так поменяйгесь!

— Не буду.

Порции, конечно, были равными, и мы пировали вволю.

— Пища богов! — повторял я чьё-то выражение.

— Пища богов богов! — говорил Сережа.

— Богов богов богов! — выстраивал я уже непредставимую иерархию.

Позже появилась ещё одна ступень этой лестницы блаженств — американская ТУШЕНКА с неправильной буквой «У», и жизнь заметно стала посытней. К тому же начали приходиться стандартные посылки от тётки Лиды и дяди Тима, тоже из Америки: смалец, топлёное масло, яичный порошок... Хозяйственное мыло вызвало особое восхищение у наших хозяек, привыкших к вонючим земляным кирпичам, — мыло из посылки было пахучим, белоснежным и не тонуло в воде!

У меня появился приятель Гоги, коротко стриженный грузинский мальчик с плоским затылком (мне потом объяснили, что это происходит потому, что по местным обычаям детей припелёнывают к жесткой люльке). Мы ловили бабочек, сбивая их метельчатыми ветками, затем, словно драгоценностями, любовались переливами красок и, наконец, помещали свои сокровища в тайники, вырытые в земле и прикрытые обломками стекла. Это была, наверно, тяга к стяжательству, но она так и осталась у меня, увы, лишь символической.

Гоги проведаль и нечто посушественней: через двор от нашего двора хозяйка сушила инжир на солнце. Она разложила плоды на столике, предусмотрительно отодвинув его на некоторое расстояние от забора, чтобы нельзя было дотянуться. Но даже маргитки соображают в таких случаях взять в руку палку. Скоро двух сладких фиг стало не хватать у соседки, затем четырёх, и наконец она сама выбежала с кочергой из дома...

Была большая проработка: Таля требовала, чтобы я пошёл извиняться перед той ведьмой, я отказался, она в слезах ходила туда извиняться, затем я извинялся перед ней самой...

Наша хозяйка тоже решила заработать: притащила откуда-то большой, но не тяжелый мешок — то были выданные властями ветки шелковицы, поражённые шелкопрядом. Армии нужен был шёлк для парашютов! Дадико и Вахтанги в полчаса сколотили стеллажи вдоль стенки, разложили по полкам ветки, и вся хозяйская половина наполнилась запахами органической жизни. Скоро вывелись гусеницы, которым потребовался свежий лист, — и вот все, кто могли, отрядились на добычу. Гусеницы росли, запах креп, листа не хватало. Я изловчался залезать на верхушки шелковиц за самыми свежими побегами. Однажды, принеся целую охапку, был остановлен Бацией: гусеницы стали заматываться в золотистые коконы. Цикл был закончен, коконы сданы, стеллажи разобраны.

Но вот приблизилось первое сентября, а мне ещё в апреле исполнилось семь лет. Пора за учёбу, тем более что и Сергей уже записан в ту же городскую школу. Вот нам вместе и ходить туда, вместе и возвращаться! Но оказывается, наши классы будут заниматься в разные смены... Это меняет дело. Стараниями Тали я уже читаю и даже пишу, хотя и крупным почерком и с ошибками, но всё же пишу письма матери, вернувшейся в Ленинград после снятия блокады. Оборот почтового листа я разрисовываю батальными сценами.

И Таля решает:

— Я сама буду тебя учить. В конце концов, у меня университетский диплом, и я имею на это право!

Только на один миг, да и то лишь сначала, я пожалел об этом — когда улица с утра оживилась и из домов вышли мои принаряженные сверстники с портфелями. Но вот из чьего же дома — директора кожевенной мастерской? — выступил его сын первоклассник: он важно нес кожаный портфель с блестящими замками, на ногах сияли кожаные высокие сапожки, на нем было кожаное пальто и даже кожаная кепка! Ну, как мне было бы с таким учиться вместе? Больше я не жалел о школе.

Мы с Талей занимались, когда оба хотели и сколько хотелось. Свободное расписание стало моим идеалом жизни.

Вечеров у нас почти не было: солнце заходило за горы, и стремительно наступала ночь. Цикады смолкали, начинал нежно стрекотать сверчок. Уже почти чёрные виноградные листья, обрамляющие террасу, складывались то в качающийся орнамент, то в кавалькаду всадников, то в притаившихся зверей. Затем дед завешивал брезентом весь открытый фронтон, и приходило чувство защищённости, закрытости, дома, наступал сон.

Но однажды, проснувшись от тревожных возгласов, я увидел в брезенте треугольное зияние, раскroенное, вероятно, острейшим ножом или бритвой. Ночью все спали «без задних ног», никто не услышал грабителя, который мог бы зарезать нас по одному. Вместо этого он взял лишь кастрюлю с обедом на завтра, котелок, примус, какие-то хозяйственные ценности и, конечно же, остатки американских лакомств да и исчез в проделанной им прорехе.

Кто мог решиться на эту дерзость? Были, наверное, подозрения на кого-то из своих, тем более что Дадико опять находился в бегах от армии. Но за ним водилась и уголовщина. Накануне он продал чужие железные ворота, и, когда покупатель приехал на подводе, чтобы увезти их, нашёлся истинный владелец...

Около места происшествия стали скапчиваться зеваки. Лёня уселся на террасе и принялся чистить свой наган. Улица опустела. Я с любопытством разглядывал вороненый ствол оружия, патроны, вынутые из барабана, туповатые наконечники пуль, курок, рукоять.

— Можно поиграть?

— Возьми. Пойди, покажи там, в комнате у Бацци.

Я вошёл с револьвером на хозяйскую половину. Там был только Вахтанги. Увидев меня, он побледнел и поднял руки:

— Что ты, что ты, Димочка, не стреляй!

— Да он же не заряжен. Смотри...

— Уходи, уходи, ради Бога... — Продолжал он умолять, не опуская рук.

Эффект был слишком велик, игра не вышла, и я был разочарован. Но вся округа получила тогда предупреждение, и оно охраняло наше жильё, конечно, надёжнее списанного брезента, который уже больше и не понадобился.

Мы попривыкли и освоились в нашей «загранице», а война отодвинулась настолько, что гарнизонные дамы стали устраивать поездки на пикник в горы.

Наш кортеж, состоявший из двух эмок и пикапа, остановился, сделав виток наверх по горной дороге, перед заброшенным кладбищем. Заросшие мохом каменные кресты и плиты казались доисторическими. Их окружала могучая дубрава. Богатыри-дубы были переплетены удавьиными узлами плющей, чья тёмная зелень выделялась в их чуть тронутой ржавью листве. То были поединки не на жизнь, а на смерть, и каждый из лаокоонов представлял разные стадии схватки. Вот разрастающийся плющ и уже ползасохший дуб. Вот уже высосанный богатырь и начинающий на нем увядать хищник. А вот и оба мертвы: высохший дуб умертвил своего убийцу.

Наконец, нашли лужайку, раскинули скатерти на траве, зазвучали тосты:

— За победу!

— Нет, ни за что, я такая суеверная...

— Чтоб наши союзнички скорей открыли второй фронт!

Потом стали палить по бутылкам. Потом кому-то стало нехорошо, все засобирались по домам.

Путь обратно в Кутаиси пересекал шоссе, ведущее из Персии. Непрерывные колонны тяжело гружёных машин шли по нему впритык, один грузовик за другим, на север. Десять минут ожидания, двадцать... Вот в образовавшийся зазор между колоннами проскочили две эмки, а мы в пикапе остались ждать следующей возможности. То были «студебеккеры», вёзшие американскую помощь. Грузовики шли и шли с прикрытыми брезентом грузами. Горбоносые моторы напоминали головы хищных чудовищ. Ветровые стёкла были высоко подняты, крылья над колёсами спрямлены, обнажая их мощь, они везли — бампер к бамперу — продовольствие и лекарства, оружие и тушёнку, одежду, боеприпасы, жизнь и смерть, необходимые тылу и фронту, — да это и был уже, по существу, второй фронт.

Дождавшись следующего зазора, наш пикап шмыгнул через шоссе, и вновь ревущие колонны сомкнулись на большаке.

Отчим

Если вечера были коротки из-за горного горизонта, то зима была вовсе не обязательным, хотя и художественным капризом в тех широтах.

Вдруг за ночь закидало двор, сад и улицу прямо по зелени пухлой белизной. Широколиственный инжир с трудом напрягал свои сильные ветви, но пунцовые розы под снегом радостно изображали невест.

В праздничном возбуждении я носился кругами по глубокому снегу. Всё это закончилось тяжелой ангиной, свалившей меня, так же как мариупольская свинка ранее или как краснодарская корь, из которой я едва выкарабкался.

Весной обмен письмами и посылками с Ленинградом участился: мать посылала мне тетради и учебники. Она вышла замуж за морского инженера, много писала о новом муже, который, ещё не видя меня и ещё не видимый мной, становился моим отчимом.

По этому поводу у Зубковских были вполне серьёзные споры: «Отдадим или не отдадим?», пока Талья не поставила вопрос иначе: «Ну как же мы можем не отдать сына его родной матери?» Итак, всё предопределилось, но ранившими душу вопросами меня продолжали мучить, любя, до самой разлуки в середине 1944 года.

Летом на берегах Риони — наверное, впервые в местной истории — появился ослепительный морячок, идущий от вокзала в сторону улицы Месхишвили. Видимо, нанять фазтонщика ему показалось неподобающим, и, наверное, он был прав. Скоро он оказался у дома Башии Георхелидзе. На нём был надет невиданный в тех местах синий китель, на голове — фуражка с белым верхом, а из-под кителя на удлиненных ремнях болтались с одной стороны пистолет в кобуре, а с другой — кортик в ножнах, бьющаяся при ходьбе о широкие брюки. Морячок вошел в дом. То был Василий Константинович Бобышев, мой отчим, приехавший, чтобы забрать меня и отвезти к матери.

“Дядя Вася”, как он представился мне, очень понравился моим родственникам: кашиган второго ранга, он соответствовал чину дяди Лёни, к тому времени подполковника инженерных войск, и уже это установило мгновенное přátельство между ними. Братанья, гулянья, прощанья со мной заполнили дни перед отъездом.

Мы приехали всей компанией на вокзал загодя, до подачи паровоза. Дед повел меня в голову состава. Шипя медными цилиндрами, с громом проворачивая маслянистые колеса, подаётся локомотив.

— Кривошипно-шатунный механизм! — уважительно говорит дед, указывая на самые страшные части горячего и ломового чудовища. Но вот мы с отчимом садимся в вагон, неопределённо шикарный, «международного класса», и в словесной туче прощаний, напутствий и провокационных призывов остаётся наш вагон плавно трогается...

Наконец, поезд прибывает в Москву, где нам предстояла пересадка, но вдруг выяснилось «одно, понимаешь, обстоятельство», отчего мы должны были остановиться на неопределённое время у знакомых дяди Васи. Мы идём по Москве, я несу фанерный беженский чемоданец дедовской работы, отчим — чемодан побольше и огромный кутаисский арбуз, чтобы удивить мою мать. Жарко...

— Идея! Давай-ка я понесу оба чемодана, а ты — арбуз.

Арбуз передаётся мне, я несу его потными ладонями, пока он не выскальзывается... Крах!

Я слежу: что сделает отчим — накажет? Как? Нет, он лишь с досады крикает... Через несколько минут выражает досаду опять, но не на меня, а на себя. Обломки суперарбуза мы доедали у его знакомых, где остановились ещё на несколько дней, во время которых я видел с их балкона салюты с фейерверками в знак перелома в войне и отвоёванных городов.

Но истинная причина остановки в Москве была другой: в кутаисской гулянке дядя Вася забыл свой пистолет, носить который, вероятно, у него не было привычки, и теперь он трепетно ожидал верной оказии оттуда, от дяди Лёни. Оказия не замедлила прибыть с ироническими комментариями, пистолет был вновь нацеплен на правое бедро отчима, и тут же мы отправились далее к северу, в Ленинград.

На вокзале нас поджидал американский джип с шофёром, и через несколько минут мы, повернув перед Аничковым мостом направо, остановились, въехав во двор Шереметевского дворца. Там располагался Арктический институт, где работала научной сотрудницей моя мать. По лестнице она сбежала к нам в белом рабочем халате. Наконец-то, — объятия! Но — минута, и ей надо возвращаться назад, к эксперименту, отчима уже давно клаксоном вызывает шофёр ехать на завод мореходных инструментов, где он, между прочим, директор...

И меня поручают голубоглазой блондинке Мусе, которая доставляет меня «домой» на Таврическую улицу, и, ведя вдоль решетки сада, она выспрашивает почему-то:

— Кого ты любишь больше — маму или тётю Талку?

Чуя какой-то подвох, я соображаю, что ответить, и отвечаю правильно:

— Конечно, маму!

Это была моя первая и чуть ли не единственная дипломатическая победа.

На Таврической улице

«Дом» оказался просторной квартирой с балконом и великолепным видом на сад и дворец. В одной из комнат даже стоял рояль с надорванной струной. Само здание было тогда еще недавней постройки, заслонившей собой стоящие в глубине дома № 31 и № 33, и поэтому объединяло две цифры под своим номером. Оно примыкало к другому зданию, за № 35, на пересечении с Тверской улицей. Его скруглённый угол со смотрящими во все стороны окнами возвышался на все этажи

дома и выглядел башней. Там, наверху, и была знаменитая квартира-Башня символиста Вячеслава Иванова, о котором я узнал, конечно, значительно позже. Но улица во многом сохранилась ещё такой, какой она была при нём: бульжная мостовая «корытцем», широкие каменные плиты тротуаров вдоль решётки сада, где когда-то, потно вея одеколоном, проходил символист с горячими глазами на одутловатом лице, окруженном золотыми кудряшками бороды и шевелюры.

Улица была та же, упирающаяся в Неву, выход к которой был заперт тупиком водонапорной башни — причина многих несчастий только что миновавшего блокадного времени. Воду она не подавала, но казалась желанной мишенью для вражеских бомб. Противоположный от нашей квартиры угол дома был разрушен чудовищным взрывом, а за ним и ещё несколько домов. Туда попала даже не бомба, а связка торпед, нацеленных на водокачку, впрочем, так и не пострадавшую. Большая часть нашего здания была в жилом состоянии, и даже военно-морская лепнина (а дом принадлежал ведомству и заводу, где работал отчим) нисколько не облетела. Правда, фигуры краснофлотцев и колхозниц на шестом этаже слегка отошли от крепления, чуть приблизившись к убийственной крутизне карниза.

Руины высились горами обломков, и, как только я обзавёлся приятелями, мы стали на них карабкаться. За двумя проходными дворами страшно чернел сгоревший под бомбами госпиталь, из окон которого, как рассказывали, выпрыгивали горящие раненые. Окна мрачно зияли, но это не останавливало детей — мы забегали в них и заворожённо бродили по развалинам. Веселей было играть в «казаки-разбойники». Поиски и погони заводили нас в подвалы и закоулки дворов, в лабиринты дровяных сараев и на чёрные лестницы. Позднее меня больше тянуло в роскошный и запущенный Таврический сад, к его покрытым ряской прудам и каналам, к дубам, ивам и лиственницам.

В доме на Таврической как-то заново сформировалась семья: в люльке лежала темноволосям детёнышем моя единоутробная сестра Таня, начали подтягиваться Павловы — приехали дедушка с бабушкой, привезя с собой весть, что и у Зубковских появился младшенький Вася. (Тогда появился, а сейчас, когда я пишу эти заметки, уже и пропал — замёрз в Москве в ночь накануне Нового года, закончив жизнь, начатую застенчиво и талантливо, в упадке и на излёте.)

Школа у Смольного

Моя учебная жизнь началась как нельзя хуже. Я умел читать и считать благодаря Тале, моей первой учительнице, и мать меня определила во второй класс. Она привела меня, видимо, позже означенного часа и тут же была обругана при мне какой-то раздражённой шваброй — такой непривлекательной выглядела учительница. Вместо того, чтобы отчитать грубиянку, как следовало по моим представлениям, мать сняла и, более того, буквально предала меня в её дурные руки. Учителька ввела меня в коридор школы во время большой перемены.

Я увидел самый настоящий обезьянник: мои сверстники бегали по коридору между печек, кривлялись, верещали и били друг друга что было сил по стриженным головам, щекам, лопаткам и ягодицам, а кроме того, схватывались в борьбе и катались серыми клубками по полу.

«Мне запах школы ненавистен», — написал однажды Владимир Британишский, но меня преследовали не только запахи, а щипки, уколы, толчки, подножки, вульгарные позы, звуки и выражения, доносы и жалобы, унижения, скабрёзности,

угрозы и главным образом невозможность отстоять себя перед ложью, силой и властью, и потому я школьные годы воспринимал каким-то подобием отбывания срока в исправительном заведении. Срок предстоял долгий...

Хороших учителей попросту не было, а был лишь роскошный директор Анатолий Павлович Исаев с седоватыми баками, дававший магические сеансы в библиотеке — определяя будущих гениев по зелёному отсвету в очках в отличие от тупиц с красноватым взглядом. В стоящем передо мной Солнцево он увидел талант, вглядываясь в меня, поколебался и ничего не сказал, а дальше предсказывать не стал.

Помню ежегодные групповые фотографии классов на фоне — чего же? — печек, конечно: тупые физиономии одноклассников в суконных рубахах, с сумками из-под противогазов для ношения учебников и в больших подшитых валенках. Странно признаться, но как я хотел тогда походить на них!

Я был в ботинках, и в этом им проигрывал, ежеутренне огибая башенный угол на Тверской и направляясь по гремящей ледяным ветром улице к Смольному. Ноги я все-таки обморозил — пальцы долго болели и пухли. И, восполняя родительскую оплошность, мать раздобыла мне теплые бурки, кожаные варежки со шнуром, пропущенным через рукава, и роскошную лёгческую шапку — кожаный шлем с меховым отворотом.

Увы, бурки привлекли ко мне голодных одноклассников: с возгласами «цекни» и «рубани» они приставали ко мне на переменах, выпрашивая бутерброд, но мои попытки делиться не помешали им украсть у меня варежки. А на модный кожаный шлем было совершено покушение целой бандой в Таврическом саду, и слава Богу, что с ним не оторвали мне голову!

Кроме того, на пути домой меня обдували еще более дикие ветра, и потому обратно я шел дворами. Сначала, перед площадью Смольного, миновал двор-колодец и каждый раз завораживался его внеурочным, затем, перейдя Одесскую улицу, входил в арку, и там, перед проходным двором, меня неизменно подлаивал подросток-грабитель, потрошивший мой портфель. Ничего, кроме новых тетрадей, он не мог найти, но и это его удовлетворяло. Если он совсем ничего не находил, мне бывало плохо.

Однажды я пустил записку по классу, чтоб помогли. Её перехватила учительница, заподозрившая заговорщицкую деятельность. Она долго меня продержала, выпрашивая, пока все не ушли, затем отпустила, и я вновь попал в лапы моего Соловья-Разбойника. Уж как он мне выворачивал руки...

В плохой школе

Тем временем разрушенный угол нашего дома, следующий за ним дом и школу отстраивали немецкие военнопленные. Проходя мимо, я часто видел их работающими старательно, а во время отдыха ещё и предлагающими свои поделки: раскрашенные фигурки, копилки, фанерные домики... На врагов они уже не были похожи.

Когда открылась отстроенная ими школа-семилетка рядом с домом, я с надеждой пошел в неё учиться. Увы, худшего места я в жизни своей не знал. Я был одним из младших в классе. Собственно говоря, поступив восьми лет во второй класс, я был как раз нормальным учеником. Но большинство, пропустив по крайней мере два-три года за блокаду или эвакуацию и набравшись опыта совсем не ученического, были заправилами в классе.

Например, сидящий впереди меня Чесноков, наклоняясь к Максиму, общал ему о свидании с девицей накануне.

— Пошворились, — говорил он умиротворенно.



Слева внизу — я. Школа у Смольного 1945 г.

В другие дни переростки изощрённо бесились, ища хотя бы символического удовлетворения. Толстому Додику Веберу, игравшему на скрипке, начинали выкручивать пальцы.

А с другого малолетки, накинувшись на него бандой, стягивали штаны, укладывали его на учительский стол и измазывали пипку чернилами.

Бывали и более изощрённые издевательства: один переросток, влюблённый в неведомую мне Сусанну, требовал от меня признания её красоты и, чтобы заставить меня признать свою Дульсинею Тобосскую, сажал на мой воротник клопов, принесённых в спичечном коробке из дома.

Учителя ничего этого подло, трусливо и предательски не замечали. Но происходили иногда выдающиеся случаи. Наш голубоглазый одноклассник Приходко оказался вдруг участником убийства и ограбления отставного генерала. Да, дом No 2 по Таврической считался «генеральским домом» и примыкал к Академии связи, перед фасадом которой лежачий лев гневно озирал капустные головы на клумбе, росшие там в воспоминание о блокаде. Странно и невероятно было представить, как вежливый блондинчик кроит молотком бритую голову генерала.

От шпаны надо было как-то защищаться, но как? На помощь пришел мой одноклассник и сосед по дому Толя Кольцов, живший выше по той же лестнице, отец которого работал на заводе, где директором был мой отчим. Он был немногим крепче меня, но вдвоём мы уже представляли какую-то силу. К тому же его приятель Владик Милорадов, рослый приветливый малый, чей отец состоял водопроводчиком в том же ведомстве, открыто взял меня под свою защиту, и тут уже обидчики отступили.

Так ли всё это, настолько ли все школьные годы были мрачны? Нет, бывали моменты и повеселей. Например, географ Исидор Исидорович Серафимович буше-

вал со своими «сортировками», то есть проверками по карте: название — нет ответа — балл снижается, еще название — еще один балл, и так далее... Кол! Это было страшно, но забавно.



Отчим 1952 г.

Откуда-то сама собой возникла политическая сатира. Поразительный эффект производил шутовской припев «в штанах» и «без штанов» после каждой строчки. Если с ним пропеть самую идеологическую песню Лебедева-Кумача, то получалась восхитительная антисоветчина:

*Широка страна моя родная (в штанах),
Много в ней лесов, полей и рек (без штанов).
Я другой такой страны не знаю (в штанах),
Где так вольно дышит человек (без штанов).*

Чаще всего фольклор сливался с рукоприкладством. Мазали друг друга чернилами, щеки и нос. Но школьную форму — ни-ни... Сворачивали, слюнявя, из бумаги плотные пульки и из тонких резинок больно стреляли по затылкам. Или разжёвывали промокашку и через трубку плевались этой пульпой. Замахивались, и тот, кто отшатнется, за испуг получал «сайку» по голове. С присказкой “Сегодня праздник обороны, выделяем макароны” можно было заработать по шее. Так же “законно” получал наклонившийся — внезапную оттяжку пальцами с размаху по тылу:

— По натяжке бить не грех, полагается для всех.

Просто так можно было отведать «огурец» оттянутым средним пальцем по темени или «грушу», то есть больнейший щипок за дельтовидную мышцу в плече. Зазевавшиеся получали звонкие щелбаны с размаху по темени, либо если обидчик особенно изловчится, то по носу. «Пендель» выдавался ногой по заднему месту и был трёх разновидностей: прямой, обратный и морской. С ушей «стряхивали пыль», их скручивали варениками и мяли, из толстяков «давили масло», сжимая с двух сторон в углу. Доносчиков, конечно, «метелили», просто избивая, или устраивали «тёмную», то есть избивали, предварительно накинув на голову ябедника пальто.

Но в некоторых физических забавах бывало нечто молодецкое, как, например, в игре «в слона», случавшейся обычно на большую перемену. Идея возникала, вероятно, в глубинах «ретивого» у заводил, которые, хотя у них и чесались руки «стыкнуться» и выяснить, кто главней, всё-таки не решались нарушить дипломатического равновесия. Тогда звучал клич: «Играем в слона!»

Двое заводил переговаривались и кидали монетой жребий — кто из них будет «мать», кто «отец» будущего слона. «Отец» начинал игру, зато «мать» выбирала себе команду. Участники сговаривались в пары, подбирая друг друга по приблизительному физическому равенству. Затем, обнявшись, подходили к заводилам:

— Мать, а мать, кого вам дать: бочку с салом или казака с кинжалом?

«Мать» цепко вглядывалась в парочку: во-первых, кто тяжелей, кто прыгучее? А во-вторых — кто из них есть кто? Выбирался, предположим, «казак», который шел в команду «матери», а «бочка» доставалась «отцу». Порой предлагался совсем какой-нибудь деревенский выбор: «Картошку или брюкву», и мать могла отвергнуть обоих. Или — нечто экзотическое, не лезшее ни в какие ворота:

— Баобаб африканский или шоколад американский?

Наконец, набиралось полкласса участников. Команда-мать выстраивалась от стенки, составляя нижний этаж слона. Голова каждого пряталась под локоть впереди стоящего, спины и затылки напрягались в ожидании «отца».

Тем временем противник зорко всматривался, выискивая слабое звено в этом коллективном позночнике. Сигнал — и, разбежавшись, первым прыгал именно туда кто-нибудь потяжелее. Оттолкнувшись руками, как при игре в чехарду, на него взлетал следующий. Скоро вся команда громоздилась вторым и третьим этажами на спинах противников, у которых от напряжения трещали ребра и лопались пояса.

Но, чтобы выиграть кон, «матери» надо было довести слона до противоположной стенки. По её команде нижний этаж начинал тяжело переступать ногами. Случалось, что груда тел, пыхтя и раскачиваясь, добиралась до цели, но чаще всего у кого-то подгибались колени, и крушение заканчивалось всеобщей кучей-малой.

Иногда пороховые всполохи, иногда хлопки пистонов расцветивали пряную монотонность «дурной школы». А вот вдруг — невиданное: кто-то натащил в класс ртуть да и раздал щедро одноклассникам. Многие вылили её в желобки парт, предназначенные под перья. Катали там подвижные блестящие шарики, баловались ими. Начали было швыряться...

Тут в класс вбежал бледный директор, вообще-то озабоченный лишь теорией трения: что будет, если трения не станет? Правильный ответ был (и все его знали) — жизнь остановится. Но в тот момент его волновали уже не эротические теории, а практическая безопасность — что делать с ртутью, с её ядовитейшими парами?

— Школу закрою! По больницам всех поразмещу! — бушевал он.

Ртуть куда-то попрятали, мелкие её шарики замели под парты, и всё успокоилось...

Успокоилось, пока не был объявлен сдвоенный урок химии. Класс зачарованно глядел на химичку, как на волшебницу: жидкости меняли цвет, вода под электродами наполняла банку гремучим газом, и та с грохотом взлетала в воздух... Никто не ушёл на перемену, все вертелись у стола, с опаской рассматривая химикалии. Прозвучал звонок. На следующем уроке химичка уже не показывала фокусы, а пустилась объяснять их научно, и вдруг...

И вдруг из предпоследнего ряда шумно восстала фигура некоего до сих пор непримечательного Семёнова. Из его сердца бил столб белого огня, он, безгласно вопя, пытался его загасить ударами ладоней, из которых в свою очередь вспыхивали новые языки белого пламени. Эффект был совершенно мистический, но неотложная помощь прибыла через несколько минут. Семёнов был госпитализирован, а химичка, не скрывая удовольствия, дала нам строго-научное объяснение странному происшествию. Семёнов, оказывается, попросту стибрил кусок белого фосфора, который мог сохраняться, не окисляясь, лишь в воде. Он сунул его в нагрудный карман, где фосфор высох и тут же вспыхнул от малейшего трения о рубашку.

Не зря же эта теория волновала нашего директора!

Отчим (продолжение)

Семейство Бобышевых процветало вместе с фронтовыми сводками. Настала великая Победа, загремели салюты, запольхали фейерверки. Ракеты взлетали над прозрачной зеленью клёнов, цветное буйство отражалось в пруду, который был виден с балкона.

В комнате с безднострунным роялем раздвигался в длину овальный стол, накрытый двумя скатертями, и за ним усаживались друзья с материнской стороны: Хавины — остроумец и мудрец Захарий Яковлевич и его супруга Наталья Алексеевна с независимыми взглядами, затем басовитый доцент Игорь Сергеевич Павлушенко с таинственной женой Дагмарой, более простая (но только на вид) пара Малышевых, их родственницы блондинки Муся и Надя, а со стороны дяди-Васиной, собственно бобышевской, лишь главный инженер, весельчак Георгий Федорович Тёпин с женой, тоже Мусей, которую он ради отличия от блондинок, а также в шутку, именовал Мухой.

Бабушка и мать этот стол сплошь накрывали закусками. Дед выпивал рюмку-другую. Тёпин — только одну, но объёмом со стакан. Отчим азартно запевал Бетховена:

*Налей полней стаканы.
Кто врет, что мы, брат, пьяны?
Мы веселы просто, ей-Богу,
Ну, кто так бессовестно врет!*

После смены блюд отчим переходил на стихи, читал что-то ораторское из Маяковского:

Разве это молодёжь? Нет!!

А порой, бледнея, гремел даже чем-то своим, тоже нарастающим преданно-идеологическим, про партийную чистку... Мол, вот он я весь. Тут его мать останавливала.

Вдруг и я захотел выступить перед гостями и начал читать наизусть целую поэму, обнаруженную мной в машинописном виде между географических карт «Атласа командира РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии)».

*Шпиль торчит, как штык отточенный ...
Молчаливый, озабоченный,
над всклокоченной Невою
ты стоишь, как часовой,
Ленинград.*

То была поэма Бориса Четверикова о блокаде, запомнившаяся мне сразу, с первого же прочтения, упругими и настойчивыми ритмами.

Протрезвевший и явно перепуганный отчим прервал моё чтение: «Что это? Откуда ты взял?» Я был раздосадован, не понимал его страха, но потом всё-таки сказал: «Нашёл в „Атласе РККА“». Он, уже с облегчением, повторил: «Этого не надо читать. Нельзя, поверь...»

Выяснилось, что злосчастный поэт Четвериков оказался-таки жертвой той самой чистки, которую отчим так беспечно призывал на себя, а опальная, хотя и совершенно патриотическая поэма случайно завалялась среди страниц роскошного инфолио издания «Атласа» с тисненым профилем Ворошилова, с золотыми каллиграфическими надписями и даже со звёздной картой для возбуждения завоевательных амбиций у старшего командного состава... Сам Василий Константинович от чистки особенно не пострадал, но все же вскоре после «ленинградского дела» оставил пост директора завода и был мягко переведён в Гидрографическое управление Военно-морского флота.

В большом клане Павловых происходили и другие перемещения. На короткое время в Ленинград прибыли Зубковские, отвоевали назад свою бывшую комнату в Кузнечном переулке, но скоро перебрались в Москву, где Лёне предложили работу в Военно-транспортной академии с квартирой в генеральском доме у метро «Сокол». Вернувшиеся из Америки Ивановы, пока устраивались в Москве, оставили нам своего Вадима, моего младшего сверстника. Дед, наоборот, поехал к ним краснодеревничать — обставлять квартиру на Кутузовском проспекте. А моя мать забеременела младшим братом, Костей Бобышевым.

Но я-то был Мещеряков.

Помню обеспокоенность, но не столько матери, сколько бабушки, когда отчим объявил мне:

— Ты знаешь, мы решили быть одним семейством, и я тебя усыновил. Теперь ты — Бобышев, у всех нас одна фамилия, и называй меня уже не «дядей Васей», а папой.

Я никогда его так и не назвал «папой». Но и «дядей Васей» отныне его нельзя было называть. Так мы и разговаривали... Более того, всей остальной жизни мне не хватило, чтобы привыкнуть к недобровольно выбранному имени. Какой-то витальный стимул во мне тогда пропал. В 1978 году, посылая через Арсения Рогинского рукопись «Зияний» в Париж, я с надеждой вывел на титульном листе: «Димитрий Мещеряков», добавив к имени, ради созвучия, церковно-славянский слог. В следующем году она вышла как первая книга Димитрия Бобышева. Наталья Горбаневская, набиравшая книгу, так объяснила издательское своеволие: «Бобышев — это имя, а Мещеряков — никто». Она имела в виду мою некоторую известность в литературных кругах, а также коммерческие планы ИМКА-пресс, этот факт учитывающие...

Впрочем, в своих кругах у Василия Константиновича была определённая известность. Георгий Федорович (дядя Жора) в нём души не чаял — отчим выручил тёпинского отца из тяжёлых обстоятельств (читай — политических)...

Какие-то тихие алкаши приходили и глядели на него сияющими, как у девушек, глазами. На овальном столе раскладывались сложно испеченные миллиметровки, слышались слова: «картушка», «жироскоп». То сочинялся и изобретался новый «компас» — так по-морскому следовало делать ударение.

О главном своем подвиге он как-то рассказал, почуяв во мне повествователя, — о том, как перевозил он свой завод из блокадного Ленинграда на Урал и как пришлось ему разворачивать его на месте в городе Катав-Ивановске, не без помощи местного населения. И с помощью красноречивых убеждений военного времени. Я был очень скептичен по поводу именно этого последнего. К изумлению, я убедился, что в том городе есть даже улица Бобышева — улица имени моего отчима, и узнал не от него, а от Гали Рубинштейн, моей закадычной технологической подруги, побывавшей там в командировке.

Он был азартный человек — прежде всего в картах. Застрывать на целую ночь где-то ради партии в преферанс? В мотивах его ночных отлучек разбиралась мать, она же карала виновного. Кажется, картёж был подлинным, но, увы, недоходным.

А вот охотником он был и азартным, и добычливым: приносил домой то тетерева, то двух-трех горлинок, то зайца. Дед, пока еще был жив, разделывал зайчиков, спластывая с них шкурки, осторожно убирая желчный пузырь и весь кишечник, затем отсекал полукошачью голову зверька и задние лапки, используемые потом на кухне как щетки. Заячий хвостик он дарил собственноручно одной из дам как пуховку для пудреницы.

Василий Константинович ко всему этому не прилагивался и дичи не ел, но мечтал об истинной охоте с загоном и травлей. И вот его мечта исполнилась: однажды, побывав у егеря, жившего, как это ни странно, не в лесу, а в коммуналке неподалёку, он привёл домой на брезентовом поводе могучего выжлеца гончих кровей, тут же облаявшего, затопавшего и заполнившего своими нервными движениями всю нашу немалую квартиру.

Мать только что родила Костю, младшего сына, отчего и привела в такую непомерную эйфорию мужа. Бабушка уже была слаба, а наёмные няньки, порой совершенно ведьминские, перестали являться в наше сложное семейство. Между тем, кроме новорожденного Кости, у мамы была шестилетняя Таня, двенадцатилетний я, престарелые родители, научная работа и теперь ещё привыкший к бегу, как отчим к куреву, гончий пёс среднего возраста, которому, между прочим, должен был вариться четвертый обед, после всех нас... Этот пёс презирал всех, кроме отчима, а гулять с ним приходилось мне.

Я его выводил в Таврический сад, и он, превосходя вчетверо по силе, таскал меня, вцепившегося в поводок, по сугробам. Если я выводил его во двор, его нельзя было оттянуть от помойки. Однажды, вернувшись с ним домой, я привязал его, как обычно, к ручке буфета, но не успел повернуть ключ. А тут пришёл ко мне Толя Кольцов. Проклятый кобель, вообразив себя хозяином дома, выдернул ящик буфета и бросился, с лаем и грохотом, на моего друга. Я, хотя и в ужасе за свою жизнь, встал-таки преградой, сумел загнать пса обратно в гостиную да и захлопнул дверь.

Толя ретировался, и моя минутная храбрость исчезла. Мать тоже не рисковала даже заглянуть в комнату, откуда доносился отчаянный лай, гром волочимого ящика, звон разбиваемых стекол, будто там бушевала пьяная горилла.

Когда отчим вернулся с работы, он, услышав от матери ультиматум: «Либо я, либо — это...», открыл дверь в гостиную, и ему предстала убедительная картина. Последствия «четвертого обеда» были размазаны по паркету волочащимся ящиком и посыпаны осколками вазы... Понурившись, наш капитан первого ранга взялся за швабру, ведро и тряпку. Мать, рыдая, отобрала у него атрибуты, оскорбляющие честь мундира, и он навсегда ушёл с глаз долой явно неподходящего обитателя.

Пропадал он довольно долго, а когда вернулся, безысходная семейная драма разрешилась самым счастливым образом: избавив нас от кобеля-буяна, он привёл в дом коренастую и не очень казистую, но смышлёную и крепкую крестьянскую девушку и передал её жене со словами:

— Вот тебе помощница Федосья Федоровна Федотова. Прошу любить и жаловать.

Феничка осталась жить у нас и уже прожила всю жизнь. Она стала нашей домработницей, то есть нянькой трём детям, привязавшись особенно к младшему Косте, была кухаркой, уборщицей, прачкой, прислужгой всем и за всё, пилила дрова, окучивала на даче картошку, солила грибы, шинковала капусту, потрошила и чистила лещей, стояла в очередях, гладила рубашки, резала, когда надо, правду-матку в глаза, отмачивала порой деревенские афоризмы, а случалось, и давала денег взаймы.

Мир праху твоему, Феничка!

Дачи

Следующий сезон мы провели в Ольгине в доме со многими верандами и крыльцами. Участок там был большой и не только огородный: позади дома изгибалась декадентские стволы стареющая персидская сирень. За ней, видимо на месте бывлой помойки, густо зеленели дикие заросли крапивы, а в самом углу у забора бузина образовывала сокровенный шатер, идеальное укрытие для игр и фантазий, пригодное, будь я постарше, и для свиданий.

Раз я об этом подумал, значит, гормоны уже бродили и окрашивали фантазии, вызывая новые, странные для меня самого побуждения. Мне, например, до смерти захотелось там уединиться с девочкой из соседнего двора, которой я любовался и с которой уже заговаривал. Она была красиво причёсана, одета в нарядное голубое платье и казалась совершенной недотрогой. И что же — я её уговорил! Мы сидели рядом под зелёным шатром и не знали, что делать. Я упивался своей «георетической» победой, но не смел поцеловать её даже в щёку. Видимо, у неё были схожие мечты и переживания, и испугавшись их, голубая девочка выпорхнула из куста бузины и навеки исчезла.

У хозяев дачи завёлся белый козлёнок. Он препотешно скакал по ступенькам крыльца, изредка посыпая его орешками, — вот ещё один товарищ для забав. Но тут на крыльцо вышла своим ходом моя подрастающая сестрёнка, только-только начинавшая лопотать что-то осмысленное. Козленок боднул Таню и на целый год лишил её речи.

Вскоре духовитое жаркое подавалось на обед и у хозяев, и у нас. Я с негодованием отказывался от еды. Странное дело: отчим был всё-таки директор завода, мать — научный сотрудник, а питались мы как-то голодно-важно: пшенная каша с сахарином воспринималась как деликатес. Дед, несмотря на тонкие улыбки окружающих, упорно сушил сухари и прятал их в марлевые мешки. Как он торжествовал, когда сухари пригождались в отсутствие хлеба: он их распаривал, отбрасывал на дуршлаг и, дав чуть остыть, раздавал едокам. Было ли это прорехами семейного бюджета, последствиями войны или пороками сталинской экономики, мне знать не дано. Однако при Хрущеве я не раз подменял нашу Феничку в километровых очередях за мукой или хлебом, и тут уж виноватили все «кукурузника».

То были дачи, из которых природа уже, по существу, ушла, заменившись подсобными хозяйствами. К тому же город надвигался и на них. Но однажды отчим, уехав на весеннюю охоту куда-то за Райволу (Рошино), допоздна плутал по лесам, пока не вышел на какую-то деревню да и заночевал там. Утром выяснилось, что это — Мустамяки, бывшие финские хутора на холмах, окруженных лесом, а теперь деревня Горьковское, потому что еще раньше, при финнах, была здесь дача Горького, но где — в точности никто не знает. Население было рязанское, вывезенное из сожженных войной деревень. К избам они пристроили веранды и сдавали их горожанам.

Отчим, сговорившись, снял на всё лето полдома. До станции было пешего ходу три километра лесом (считай, что и все пять), но там мы обосновались не на один сезон.

Мы пересехали туда на грузовике, ещё в холода. Ароматы витали над деревней. Старые черёмухи стояли в цвету от вершин до земли. Родители до начала своих отпусков навещали нас еженедельно. Поезда ходили только до Рошина, при нас пустили электричку. А дальше наши кормильцы, тяжело нагруженные снедью, пересаживались на «подкидыш» — почти игрушечный паровоз с двумя-тремя вагонами.

Наши рязанские переселенцы спали на своей половине вповалку, полы мели только к праздникам, зато держали корову, следовательно, у нас было парное молоко и (так и просится сюда пастернаковская строка) «засим имелся сеновал» для наполненного травяным ароматом и санным насморком ребячьего ночлега.

Имелись также леса и болота с дурманящими запахами, с гоноболой, черникой, брусникой и клюквой, но и со змеями тоже. Белые грибы сами выбегали к даче из соснового бора, а для особенных любителей «тихой охоты» не в диковинку было принести в корзине согно бурых маслянистых шляпок.

Где-то поблизости проходила «линия Маннергейма», на вершине соседнего холма виднелся сожженный коровник, а по существу — форт со стенами циклопической кладки, всё еще годный для обороны. Кое-где в лесах попадались ровные и широкие, покрытые осыпавшейся хвоей тропы, подходящие для рессорных дрожек, — ниоткуда и никуда ведущие следы былой хуторской цивилизации, за которую было дорого заплачено. В лесу мы, стакнувшись с деревенскими однолетками, скоро обнаружили траншеи и воронки, обрушенные склады, землянки, начинающие зарастать, а в них — все виды патронов, тола и артиллерийского пороха. Мы немедленно увлеклись опасными забавами.

Для одной из них нужно было взять длинную пушечную порошину и поджечь с одного конца. Тогда коричневая макаронина взлетала, как ракета, вертелась в воздухе, беспорядочно двигаясь, и могла влететь огнём в лицо или в крышу сарая.

Вторая забава звалась «засос» и требовала винтовочного патрона и, конечно, спичек. Расшатывая её, словно молочный зуб, нужно было сначала вытащить пулю и высыпать половину пороха. Затем пуля забивалась внутрь гильзы и засыпалась доверху порохом. Теперь порох надо было поджечь и, держа свистящее огнем устройство двумя пальцами, быстро перевернуть его донцем кверху. Когда капсюль взрывался со звуком крепкого поцелуя, пуля врезалась под ноги, а гильза, куврыкаясь, летела высоко в небо.

Но однажды мы уговорили местного проводника из подростков отвести нас далеко в лес на заветное место крушения боевого самолета. Экспедиция проходила в полной тайне от взрослых, ведь это была, возможно, и военная тайна. После дол-

гого пути по дикому лесу мы вышли, наконец, в осинник, смешанный с березняком. Там, полузаросшие подлеском, широко были раскиданы обломки фюзеляжа и крыльев. Красная звезда все еще виднелась на хвостовом оперении. Туда, где была кабина, проводник нас не пустил — там находились останки летчика, — но сам спокойно, словно не в первый раз, влез внутрь. Так оно и было.

— Это все, что осталось с прошлого раза, — сказал он, вынеся с десяток невиданно крупных патронов.

— Разрывные от скорострельной пушки!

Развели костёр, заряды побросали в огонь. Отбежали на расстояние, чтоб только видеть происходящее. Залегли за кочками, под корнями осин. Тут же зазвенели комары. Костёр без подпитки начал было дымить, кто-то опрометчиво встал, колеблясь, не пойти ли подкинуть сучьев.

— Ложись!

В этот момент по одному, по два начали рваться заряды, с паузами паля куда угодно, и в нашу сторону тоже, — вот поблизости упала сражённая ветка. Быстро погрузившись в омут страха, я вынырнул из него с чувством игры, только игры всерьёз — жгучего ожидания, пьянящей опасности и азарта.

— Кажется, всё по счету, — сказал проводник, поднимаясь из-за укрытия.

В этот момент рванул еще один заряд, на этот раз последний. А может быть, предпоследний? Подождав немного, он, все ещё рискуя, приблизился к разметанному кострищу и, ритуально помочившись на дымящиеся угли, повёл дачников до дому.

Проводником был младший хозяйкин сын Аркашка, примерно нашего возраста, но он служил уже подпаском в колхозе, пас телячье стадо. То была незавидная должность, которую он, отлынивая, охотно перепоручал мне. Меня занимали животные, и я увлекся этим времяпровождением — как оказалось, совсем не идиллическим. То и дело приходилось гуртовать разбредшееся стадо в 150 голов, бегая с прутом в особенности за двумя упрямыми. Телячьих нежностей и дружбы с ними у меня не вышло, к тому же я получил предостережение от Аркадия и узнал то, о чем не ведал ни один дачник: многие коровы в колхозе болели туберкулёзом, и наше стадо тоже было целиком заражённым.

— А как же молоко? — ужаснулся я.

— Да что молоко — вскипятить, и всё.

— Так ведь пьют-то парное... А что будет с телятами?

— Подрастут к зиме, и сдадут их на мясо.

Тем не менее пастух, заскорuzлый и задубелый от всепогодья «коровий жених» со взглядом врубелевского Пана, ужинал поочерёдно по дворам своих парнокопытных подопечных. Хозяйки угощали его истово, с суеверным восхищением и ужасом. Вот и наша, лишившаяся в лихое десятилетие мужа и передних зубов, просто лучилась, поднося ему миску картошки со сметаной, с парой варёных, выгащенных прямо из-под наседки яиц. Кокнув одно из них о стол, пастух обнаружил в нем сварившегося недоцыпленка, зародыша.

— Гы-гы, — засмеялся он от души, словно лучшей шутке, которую когда-либо отмочила хозяйка.

Та заметалась, бросилась было к несущке за новым яйцом, но была остановлена пастухом:

— Ничего, есть второе.

Второе оказалось свежим, и хозяйка успокоилась. «Шутка», конечно, пойдет по дворам, но корове вреда он не причинит.

— Какого вреда? — допытывался я потом.

— Да какого хочешь... Ведь «коровий жених». Сделает ей что-то, и она дойти перестанет. А то бичом заденет по вымени, и у коровы молоко с кровью, дачники не покупают.

«Молоко с кровью»... А хозяйкина старшая дочка Таисия, белобрысая Таська, была явно «кровь с молоком» и начинала невеститься. На днях должно было ей стукнуть шестнадцать. Я пошел в сельпо, хотел купить духи, но денег хватило лишь на «Вежесталь», цветочную воду для умывания. Таська небрежно поставила пузырек на рукомойник:

— Ты не мешайся. Я лейтенанта ишу.

— А что ж тогда киномеханик?

— Ну, это так...

Вообще-то мы ходили в кино в следующую от нас деревню, засветло взбираясь на холм с финским коровником да и возвращаясь ещё в румяных сумерках. Но в августе мы спускались уже в темноте по росной дороге. В низинах под нами лежали тучки тумана, над головой Млечный Путь перевернуто летел в вечность, звёзды прерывисто сшиблись впечатать в мозги какую-то запредельную телеграмму.

А тут вдруг открылся клуб за три дома от нас.

Киномеханик, двадцатилетний парень из области, появился в клубе с тяжёлыми коробками, обещающими вечернее зрелище, походя намекнув ребятам, что перед сеансом он кое-что им покажет бесплатно. Избранные из деревенских подростков и дачников были приглашены внутрь его будки.

— Ну, покажи...

— Щас покажем, — усмехнулся он как-то скабрёзно и вдруг вытащил из-под рубахи нечто действительно незаурядное.

Как циркач — бицепсы, продемонстрировал он свою силушку, взял пустую литровую банку, надел, поиграл ею, затем всё спрятал. Представление было окончено. Потрясённые, зрители разбрелись по домам, не в силах удержать в секрете распирающую их сенсацию. Сообразительные сеструхи сразу разгадали, о чём мычат их младшие недотёпистые братья, а нашему хитрецу только того и требовалось.

Но — прочь от эротики! Она и так выдавала нас, набухая в мальчишеских сосках, в ночных видениях, в утреннем телесном упорстве. Она заставляла нас искать расположения у девочек — этих капризных, брезгливо-чуждых существ, отчисти польщённых вниманием, но каждую минуту готовых нас «сдать» взрослым и опозорить. Вот тут-то, именно в этот момент жизни, должно быть, и завязываются однополюе связи у растущих и томящихся подростков, тут-то бы и появиться искушённому «педагогу» — просветить да и подтолкнуть одного к другому: сразу же и получила бы «голубая» пара. Но, слава Богу, не появился, не подтолкнул, а инстинкт оказался прямой и крепче: делай-ка лучше зарядку и купайся в холодной воде!

А до ближайшего озера и до впадающей в него реки надо идти и идти. И вот, взяв только лёску для рыбалки и корзины на случай грибов или ягод, мы на целые дни уходили туда, где лишь изредка можно было встретить удильщика или туристское семейство с палаткой. Шли лесной дорогой, а иногда прямо по лесу — то жарко-сосновому, то прохладно-еловому, перемешанному осинами и берёзами, на подходе к месту присматривая, где бы срезать удилище.

Но вот странность: старая яблоня среди молодых елок, еще одна, кусты одичавшего крыжовника между осинами, а впереди стена елового бора, которую не обойти. Раздвинув хвою, я шагаю, зажмурясь, вперёд и оказываюсь не в бору, а

меж двух еловых стен в тесной и тёмной аллее, ведущей в какой-то просвет. Всё это так загадочно, что, кажется, не удивившись, можно здесь встретить и единого рога. Просвет расширяется, мы выходим на просторный луг, в середине которого возвышается бугор, поросший иван-чаем, крапивой и репейником. Кучи битого кирпича, остатки фундамента разорённой усадьбы. Что здесь — жил финский фермер или было дворянское поместье? Или — та самая «дача Горького».

О «даче Маннергейма» говорили, понижая голос, в другое лето, когда мы проводили его в Териоках, теперешнем Зеленогорске. Там было всего понемногу — природы и цивилизации, был пляж у мелкого залива с колюшками на дне, мёртвыми своими колючками впивающимися в пятки. Был, конечно, и огород, окружённый купами деревьев, и в них однажды — о чудо! — пыхнул вдруг жёлто-золотым опереньем и, свистнув, засвиристал зинзивер. То была, должно быть, иволга — редкая и осторожная птица, встреча с которой у меня состоялась лишь полжизни спустя в парках американского Среднего Запада.

На Таврической улице (продолжение)

Не всё ладно было в «Датском королевстве» напротив Таврического сада. Долго хворал дед, и на глазах распадалась связь времен. Стены прикухонной комнатушки, которую он оборудовал под свою мастерскую и спальню, сотрясались от кашля. До последних дней он курил, сначала набивая папиросные гильзы табаком, смешанным с махоркой и приправленным для запаха зубным эликсиром, а затем перешёл попросту на ментоловые сигаретки с мундштуком. Верстак с тисками, токарный станочек с ножным приводом (ноги были мои), на котором «мы» выточили множество шахматных фигур, балясин, деревянных волчков и, наконец, четыре дубовых шара для огады на бабушкину могилу, — всё теперь бездействовало. Фельдшершицы сновали со склянками, в которых извивались пиявки. Они приставляли их деду за уши, и те отсасывали лишнюю кровь, снижая кровяное давление.

Наконец меня куда-то услали, а когда я вернулся, деда уже не было. Осталась изящная машинка для набивки гильз, серебряные часы (трофей с австрийского фронта), набор стамесок да ещё так называемый музей.

Это была круглая жестяная коробка, в которую дед складывал запасные части и прочий механический хлам. Зато как было интересно перебирать всякие цапфочки, стопоры, шайбы простые, шайбы фигурные, цевки, ключи, шестерёнки, клапаны в поисках нужного винтика! Теперь этот винтик казался утерянным навсегда.

Я приходил из школы, а Федосья укутывала Таню и укладывала в мальпост Костю — они уходили гулять в сад. Я делал уроки или, выражаясь менее определенно, «занимался», то есть просто читал, беря книги наугад из домашней библиотеки, или исследовал нашу большую и опустевшую квартиру: например, подтянувшись, залезал на шкаф. Там обнаружилось много интересного. Под толстым слоем пыли лежала шахматная доска. Стоило стереть пыль, как доска засверкала самоцветными квадратами — не черно-белыми, а малахитовыми и яхонтовыми. Это же музейная ценность! Увы, то был обман зрения, стеклянная имитация...

А вот тяжелый сверток в тряпице. Что там? Там была знакомая флотская кобура на удлинённых ремнях и массивный браунинг в ней. Заряжен? Конечно, заряжен, есть и ещё обоймы в придачу. Курок, спусковой крючок, предохранитель. А вот и воронённый зрачок ствола. Так и тянет пустить оружие в ход: в лампочку, в зеркало, в самого себя, наконец!

Ушел и этот искус. Я вернулся к урокам. Занимался я за письменным столом с тумбами, официально принадлежащим Василию Константиновичу. Это подтверждал и причудливый письменный прибор — свободная вариация из флексигласа и хромированного металла на тему мореходных инструментов: «Дорогому ... в день его ...летия... от коллектива...» Тем не менее, когда я сидел за этим столом, он силой убеждения превращался в мой стол. Я, сидя за ним, хозяйствовал, писал, открывал и закрывал дверцы, выдвигал ящики, вынимал папки. Понятно, что наброски картушек и компасов меня не интересовали...

Но вот объемистая папка с чем-то, меня касающимся. Фотография моей молодой матери, смотрящей в сторону оборванного, а не обрезанного края. Кто ж был оборван? Ответ ясен — мой отец, Вячеслав Мещеряков, архитектор. Вот он, на других фотографиях — с нею и без неё. Я всматриваюсь в его черты, стараясь угадать в нём себя — свои, неясные мне самому повадки и особенности, даже в какой-то мере пытаюсь угадать своё будущее. Но снимки молчат, их модель, их живой образец непоправимо отсутствует, неизвестно даже, где он похоронен. Так я и не узнал главного о себе: какая часть меня была предопределена от отца генетически, вне моей воли, и где начинается мера, за которую ответствен я сам.

Лишь дважды, значительно позднее, я ощутил свое совпадение с отцом, словно один невидимый контур сошёлся с другим, и оба раза это было связано с женщинами.

Я — в возрасте отца на тех фотографиях тридцатых годов. Я работаю на телевидении. Моя сотрудница — незамужняя (или разведённая) женщина чуть моложе меня. У неё медно-рыжие кудри, глаза с поволокой и сангвинический смех. Я в очередном разводе, тоже свободен. Боюсь, что только это нас и сближает, но отношения неизбежно ведут к свиданию наедине. И вот я у неё дома, в комнате, где она живет с матерью и сестрой, но их сейчас нет. Обстановка — бедные фанерные шкафы довоенной работы, железные кровати, на одну из которых мы непременно возляжем, на стене — фотография военного с ромбиками. Видимо, отец. Нечего и спрашивать — конечно, убит на войне. Вдруг контур совпадает с контуром, меня охватывает резкая тоска, и на минуту я становлюсь моим отцом.

— Что с тобой?

— Ничего... У нас до войны была такая же мебель. Как тебе идёт это платье! И вообще зелёное...

В другой раз это пришло, когда я, наоборот, прощался после свидания с другой женщиной — может быть, самой красивой в моей жизни. Она годами дарила мне свой молодой и зрелый расцвет, не требуя ни моей свободы, ни ответственности, а лишь приверженности, и я отвечал ей сполна. В поздний час ночи, стоя в темноте у двери, я увидел её лицо, освещенное луной сквозь боковое окно прихожей, и в этот момент контуры вновь сошлись, я ощутил, что я в эту минуту — мой отец, вместе с острой и глубоко благодарной радостью. И опять:

— Что с тобой?

— Так... Просто я очень счастливый.

— Скорей-ка постучим по дереву, оба...

В той папке находились не только фотографии, но и архитектурные чертежи моего отца. Именно они дали мне понятие о направлении его ума и личности. То были наброски идей, некоторые из них были доведены до объемных проекций: индустриальные, общественные здания, крупные гаражи. Он был, несомненно, конструктивист, чуждающийся украшательства, и в пору зарождения сталинского ба-

рокко приходился, наверное, не ко двору. Он не был фантастом и футуристом, в форме ценил пропорции и функциональный смысл, и некоторые из его идей, забывшихся мне, я гораздо, гораздо позже находил осуществившимися в Чикаго и Торонто. Когда, опять-таки позже, я читал записки Фрэнка Ллойда Райта, я понял, что и отец их читал — да ещё как! — не просто с интересом и сочувствием, а чуть ли не на каждой странице автору руку.

Эта книга не только об архитектуре, она — о личности, живущей в системе одних и тех же ценностей, но в двух мирах — реальном и художественном. Впрочем, и об архитектуре тоже — о том, как она умеет побуждать к действиям, зарожать идеи, помогать человеку, но и лгать ему, мучить его и даже убивать.

Реальный случай на стройке — сорвавшийся карниз, убивший двух рабочих, побудил Райта навсегда отказаться от фальшивых фасадных украшений. Здесь уже мне захотелось позвать ему руку: наш ведомственный дом был отмечен именно таким карнизом, пущенным по шестому этажу с бетонными изваяниями краснофлотцев, физкультурников и колхозниц. Я уже упоминал здесь, что дом, построенный, между прочим, в год моего рождения, был повреждён в войну и крепления фигур на карнизе были ослаблены.

Неизбежное произошло в конце пятидесятых: отвалилась какая-то часть футболиста и вместе с фрагментом лепнины рухнула на головы прохожих, убив одного и поранив двух. Они шли мимо из гастронома к Вячеслав-ивановской башне, чтобы отметить «мальчишник» накануне свадьбы самого главного «счастливчика» происшествия. Дом стал убийцей. Начали приезжать комиссии, проверяли, искали виновных. Но время уже было другим, не столь скорым на расправу. Наоборот, рушились авторитеты, колебались устои. И вот однажды ночью улицу перегородили и с грохотом посвергали всех матросов и баб.

В плохой школе (окончание)

Школа на Таврической улице была семилетней, наступила пора её заканчивать. Последние два года учёбы получились не такими угрюмыми, как предыдущие: самооборона действовала, шпана перестала донимать. Да и не все из хулиганов доучились до седьмого класса: кто-то сел в тюрьму, кто-то пошёл в ремеслуху, а кого-то из переростков даже забрали в армию. Я поздоровел, подрос, стал неплохо учиться, и только отсутствие тщеславия и тяги к верховодству мешало мне пробиться в отличники.

Учителя были самые посредственные, да и каким им быть в семилетке? Науки сами по себе не увлекали — я не понимал, чем может, например, увлечь арифметика, хотя и слышал об удовольствии щёлкать задачки, как орехи. История бывала занимательна, но даты запоминались с трудом, а забывались молниеносно. Литературу я презирал.

Сначала очаровав напыженными богатырями (а о силе мечтал каждый школьник) и волшебной тарабарщиной «Слова», которое мы учили наизусть, она вдруг перескочила через столетия и заругалась совсем по-начальственному: «хулиган», «барынька», «блудница». То были печально знаменитые «Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад Жданова, прорабатываемые решительно всюду, в том числе и на уровне малолеток, — какой педагогический ляпсус! Бранимые и распекаемые писатели вызывали сочувствие: так же и нас распекают за шалости наши учителя, воспитатели, мучители и ограничители вольности, — к

ним установилось у нас прочное сословно-возрастное недоверие. А эта забавная обезьянка, сбежавшая из клетки, — не так ли и мы, сбегая из зверинца школы в Тавригу, «мотали» там уроки? Её приключения докладчик не пересказывал, и каждому представлялось что-то увлекательно-непочтительно-головокружительное. А вот из пародии на «Евгения Онегина» он процитировал целую строфу, и каждый из нас мгновенно запомнил её наизусть: «В трамвай садится наш Евгений... ха-ха... Ему лишь ногу отдавило... ха-ха-ха... кто-то спёр...»

Нечто скорбное окружало и защищало третью жертву доклада — невидимо, но так ошутимо, что даже сам обидчик ругал её торжественными словами. Странно, что никто в классе не спросил, что такое «блудница», но отнюдь не все знали, что значит «монахиня».

Литература заговорила со мной с глазу на глаз позднее, пока она лишь забавляла или разнюживала, уносила во времена и пространства или возвращала в мелочную ерунду, а больше — просто фальшивила. Взаменя увлёкся русским языком — решил, что буду говорить и писать правильно: окружающие говорили «искра», «плотят», «звонит», мне надоело спотыкаться на ровном месте. Когда задавалось одно упражнение, я стал делать два, а наш учитель Абрамов, чистый белый старичок, напоминавший мне уменьшенного дедушку, спрашивал недоверчиво:

— Зачем вы это делаете?

Мог ли я объяснить то, что сам угадывал лишь инстинктивно, — что язык (даже не поэзия или литература, а именно русский язык!) станет средой моего истинного обитания, пятой стихией, считая после страдания и счастья, жизни и смерти, — стихией, в которой я смогу резвиться или бороться, но и которая сможет, вдруг разогнав свои подспудные бурьки, величать, увечить или вековечить. Язык тогда казался мне текучим, прозрачным набором правил — не без подвохов и омутов, которые можно, впрочем, плывя, одолеть интуицией или догадкой. Но, уже добравшись до разноспрягаемых глаголов, я, и не запоминая их, стал выводить верные окончания и свои штудии бросил.

А старичок Абрамов продолжал возиться с нами, водил даже в театр на «Ревизора». Это был старый ТЮЗ на Моховой с залом, расположенным амфитеатром. Я шел на спектакль с неохотой — был уверен, что наш хулиганский класс что-нибудь отчебучит, начнет «глотничать», и мне было заранее за них неловко. Но получилось наоборот. Наша отпетая шпана была захвачена атмосферой театра и его действием, в нужных местах залиvisto хохотала над гоголевскими шутками. А когда городничий начал, глядя прямо в зал, финальный монолог «Над кем смеётесь? Над собою смеётесь!», то все попригихли. И в тишине зала (или это я ослышался?) из его хриплой пасти вдруг вылетело розовое и голое, как поросенок с бантиком, матерное словцо. Мы переглянулись:

— Ты слышал?

— Слышал. А ты?

Немая сцена. Упал занавес. Абрамов попросил не расходиться и надолго ушел за кулисы. Вернувшись, он объявил:

— Народный артист попросил прощения за случайно сорвавшееся выражение. Он слишком вошел в роль, перевозбудился... А сейчас он без сил, чтобы выйти на сцену и извиниться.

Молодец, дедушка Абрамов!

И — ещё один образец хулиганства сверху — причёской и ростом похожий на Маяковского географ Исидор Исидорович, контуженный на войне. Столько

двоек, колов и даже нулей с минусами (новость в математике, но не в географии!), я уверен, не ставил ни один учитель. Он изобрёл систему двойных «сортировок» — малых и больших, гоняя учеников по карте мира. Указка делалась им собственноручно из рулона бумаги от фотоплёнки и швырялась в класс:

— В кого попадет, тот будет первый!

Вышедшему вперёд давалось пять названий и пять секунд на нахождение каждого на карте. Метрономом стучал учительский карандаш:

— Пролив Аль-Хормуз! Раз, два, три, четыре, пять! Мыс Де-Лиль-де-ля-Койера! Раз, два, три... Столица Гондураса! Назвать! Раз, два... Вулкан Попокате-петль!.. Остров Борнео!.. Садитесь. Кол с минусом. Следующий!

Таковы были малые сортировки, когда за полминуты можно было схлопотать нуль, но и за пару секунд заработать пятёрку, если укажешь верно первое же название. Азарт и жуть охватывали весь класс. Минут за двадцать просеивались все, и каждый получал свой шанс оказаться по ту сторону нуля. Но и большая сортировка тоже укладывалась в рамки урока. Ученики вставали колоннами вдоль стен, лицом к карте мира. Сначала каждому давался шанс получить пятёрку, если он укажет название на карте с первой попытки:

— Баб-эль-Мандебский пролив! Раз, два... Всё! Становитесь в конец очереди. Следующий! Балеарские острова! Раз, два... Следующий!

Немного счастливыца усаживались за свои парты. Оставшиеся перегруппировывались в очередь за призрачным шансом четверки.

— Пустыня Калахари! Раз, два, три... Следующий!

В этот момент в коридоре послышался развязно-раздольный голос, без опаски распевавший:

Все ниже, и ниже, и ни-и-же

Учитель снимает штаны...

Географ гигантски шагнул, распахнул дверь и за шиворот втащил внутрь ошеломлённого семиклассника, грозу малолеток.

— Как ты смеешь! Да я тебя в бараний рог скручу!

— Я больше не буду... Откуда мне знать, что вы — тут... Чего вы дерётесь?!

Шмяк, хряп, ляп, тят! — звучно раздались пощечины географа.

— Урок закончен. Убирайтесь домой! — обернулся он к классу.

И «гогочки», и отпетые хулиганы с рёвом от пережитого стресса бросились к дверям, оставив проштрафившегося на растерзание географу, и он затравленно проводил нас глазами... Через неделю состоялось открытое собрание класса — с учениками, родителями и учителями. Ученики, рыдая, жаловались больше всего на швыряемую указку, родители и некоторые учителя находили непедagogичным и даже ненаучным ноль с минусом, а директор просил снисхождения у всех ради военной контузии географа-новатора.

Пора было кончать эту школу.

Школа у Смольного (продолжение)

Мать не без труда перевела меня в прежнюю школу, которая сохранила тот же номер 157, и директором был все тот же почти не постаревший Анатолий Павлович. Но стала она какой-то особенно показательной — местом для посещения делегаций (например, деятелей народного образования братских народно-демокра-

тических стран) и, что особенно было важным, подчиненной не районному, а городскому начальству. Это означало, как я теперь понимаю, большие деньги на зарплату учителям и на школьное оборудование.

Что касается учителей, я не сказал бы, что они, как Куницын в лицеистах, зажигали в нас жажду знаний, но кабинеты, в особенности физический, были оснащены действительно впечатляюще. Наш физик Переверзев, мрачный мужчина с тиком, порой прерывал занятия, чтобы продемонстрировать очередной внезапно нагрянувшей делегации (учителей Саратовской области) самоопускающийся экран, световую указку и прочие достижения тогдашней техники, которыми во время обычных уроков он пользовался скупю.

Но окна в классах были большие, двор просторный, и в большую перемену там было где порезвиться. Впрочем, не очень-то бурно: директор квартировал при школе и из окна наблюдал за порядком.

Толя и Владик, вместе со мной переведшиеся сюда после семилетки, сели рядом, за последнюю парту средней колонки. Перед ними занимал половину парты некто Казанджи, смуглый брюнет с уже пробивающимися усами.

— Алик, — представился он. — А можно — Саша.

Я сел рядом, и он стал моим «корешем», другом и не-разлей-вода приятелем на всю жизнь. Его необычная фамилия объяснялась не совсем обыкновенными семейными корнями: отец Михаил Пантелевич был одесский болгарин, а мать Нина Александровна — русская латышка, при этом отец был жгучий темпераментный брюнет, а она — нежная и любопытная блондинка. Мне нравилось бывать у них, и позднее, когда я начал курить, я там не держал этого в секрете, как от своих родителей, — для Нины Александровны это было поводом попросить у меня сигаретку и, прикурив, поговорить за этим очень вредным и редким для неё наслаждением о том о сём, запросто и почти на равных.

Пантелеич тоже благоволил нашей дружбе, но по-своему. Этот одессит был в своё время матросом парусного фрегата «Говариш», в войну возил на «опеле» боевого генерала, а после стал таксёром. Он охотно рассказывал увлекательные шофёрские байки про гаишников и пассажиров, красочно описывал дорожные коллизии и ночные сцены, пока его однажды какие-то седоки не «замочили», пырнув ножом и ограбив кассу. Он выжил, но помрачнел.

Однако неизменно первого декабря, в день рождения старшего сына Александра (а у них ещё были средняя сестра Жанна и младший Андрей, — семейное сходство переходило в каждом из них от отца к матери), он выкатывал откуда-то из-под сено-солом свежий арбуз, и это всякий раз было сенсацией среди сугробов и зимней тьмы.

Рассказы Казанджи-старшего, помимо своей занимательности, содержали ещё некую «правду жизни» — то, чего я не мог найти ни в школьном учебнике, ни в родительских назиданиях. И мать, и отчим были в самом прямом смысле частицами идеологической системы, может быть и не веря в учение, но веря в неколебимую данность, они, каждый из своих побуждений, желали, чтобы и я уверовал. Наверное, считали, что так мне будет легче жить. Однако фальшь плакатного фасада была очевидна, она кислотой обрызгивала мои молодые инстинкты, за фальшью угадывались корысть и сила, но то, как они действовали в реальности, было неизвестно.

Шофёрские байки исподволь показывали эту механику в её простых заповедях типа: «Дай каждому на лапу», «Гащи, что плохо лежит» и «Не попадайся». Весь этот катехизис, готовясь к жизни в «социалистическом обществе», хорошо

было бы знать не только теоретически, но школа, увы, не предусматривала практических занятий.

Мои учебные дела были омрачены с самого начала. Алгебра! Её в первой четверти вёл сам директор, «дерик», что давало ему возможность уже безо всякого тайновидения определить умственные способности каждого. Увы, то ли я что-то изначально пропустил, то ли не придал ему значения, но «дерик», ничего мне не объясняя, ставил двойку за двойкой, пока не вывел в таблице окончательно — два в четверти. Обжалованию не подлежит!

В семье произошли дебаты на высшем уровне, какие принимать меры: подвергнуть меня каким-нибудь лишениям или нанять репетитора? Но ни того ни другого не понадобилось. Сообразительный Толя Кольцов в несколько минут определил, в чём дело: я действительно не знал основных правил, потому что проболел два-три урока в самом начале. У Толи заслуженный педагог не взял этого в толк.

Вскоре дела мои наладились, хотя, как было сказано, медали по окончании школы мне уже было не видать как своих ушей. Дались им мои уши! До окончания простиралась ещё целая вечность.

В связи с математическим кризисом моя дружба с Кольцовым возродилась: я опять стал бывать у них в комнате на шестом этаже, мы вылезали на карниз, балансируя над бездной и держась за покачивающихся краснофлотцев, — им ещё предстояло оттуда сверзиться. У Толи был склад ума, впоследствии приведший его в науку, у меня — приведший в литературу, но мы замечательно ладили. Он паял детекторный приёмник и умилялся слышимой оттуда речи, которую и без того разносил репродуктор, а я исцелял растения, разводил рыб в аквариуме и, уставясь в стекло, впадал в мечтательное оцепенение.

Вместе мы отправлялись в многочасовые прогулки вокруг Смольного собора, через Охтинский мост и дальше, добираясь аж до Ржевки и Пороховых складов. Что мы искали, проходя свалки, склады и насыпи? О расстрельных полях в тех местах я узнал позже, но и без этого знания убогость и вымученность пейзажей хватала за сердце.

Нас, тогда четырнадцатилетних дурней, косяками загоняли в комсомол. И воспитательница, по безжалостному и неблагозвучному прозвищу «Клизма» (она же преподавала у нас литературу), и историк, бывший энкавэдэшник, а в тогдешнем времени школьный «парткомыч», прямым текстом убеждали:

— Не вступите в комсомол — не видать вам вуза как своих ушей!

Впоследствии это оказалось враньём.

А свои уши я наблюдал в зеркале. Они казались слишком оттопыренными, и вообще моя внешность меня не удовлетворяла: я видел круглый лоб, восьмерку завихрений в русых, начинающих темнеть волосах, ускользающий взгляд, припухлые губы, а будущую жизнь мою — тупиковой или, во всяком случае, сторонней от солнечно-звёздных и исторических событий и свершений.

Вообще же, либо из-за «показательности» школы, либо из-за её близости к Смольному учёба у нас была особенно политизирована: были классные собрания с политинформациями, комсомольские собрания с проработками, уроки истории и литературы с марксистскими разъяснениями и установками, отдельные занятия по «Краткой биографии» великого вождя и по его работам о языкознании. На концертах самодеятельности звучал лигмонтаж о семье социалистических народов, объединяемых великим именем. Радио экстатически грохотало о том же. Газеты, пла-

каты, скульптуры обступали нас парадом силы и ненависти. Школьный хор звенел детскими дискантами и гремел юношескими басами:

*О Сталине мудром, родном и любимом
Счастливую песню слагает народ.*

На уроках анатомии и физиологии клеймились коварные вейсманисты и морганисты, и эти разоблачения, почти не прерываясь, переходили в кампании против генетики, кибернетики и космополитизма.

Но бывали и странные, дерзкие нарушения идеологического единообразия. Седой чудак Семён Сергеевич, учитель биологии, хотя и не одобряя последователей Вейсмана, вдруг поддержал теории самого основоположника, моравского монаха и ученого, и долго чертил на доске генетические схемы. Эти схемы много позже я увидел в монастырском музее под городом Брно. И его келью. И микроскоп. И те скромные пробирки, в которых кипели и смешивались ереси, превратившиеся в конце концов в науку следующего тысячелетия.

Наши свежие комсомольские вожди отправились к директору. По существу, это был донос, но донос открытый, подаваемый как поиски истины. Вернулись они смущёнными:

— Директор сказал, мол, делайте что хотите, а за год до пенсии уволить его я не могу.

Вот вам и Анатолий Павлович, номенклатурный партийный барин! Между тем старик биолог и в самом деле вызывал сострадание и насмешки: он всерьёз верил, что за его селекционное открытие ему вот-вот дадут Сталинскую премию. Он якобы сумел скрестить рис с пыреем, сорной травой, и горячо ораторствовал:

— По белковому содержанию зерно риса не уступает пшенице. Общеизвестно, однако, что теплолюбивый рис из-за суровых климатических условий не может расти в наших местах. Гены пырея сообщают гибриду необходимую холодостойкость, даже морозоустойчивость. Его можно и нужно выращивать в северных заболоченных местностях и, в частности, в Ленинградской области.

В глазах его зажигался саморазрушительный огонь, как у многих других изобретателей — безмагнитного компаса или вечного двигателя. Неприятности для нашего биолога ограничились тем, что экзамен по предмету отменили в конце 9-го класса, и его уроки перестали посещать. Однако те, кто пришёл на последнее занятие, были вознаграждены: это оказался единственный урок во всей школьной программе, относящийся к половому воспитанию!

По содержанию то была смесь благоразумных житейских советов и каких-то ветеринарных правил, но все, лишь сначала подхихкинув, слушали далее разинув рты и не проронив ни звука. О таком внимании класса учителя могли только мечтать — действительно можно было услышать пролетевшую муху! Ёлкин догадался записывать. Конспект сделал его знаменитым — даже десятиклассники подходили к нему с подношениями и просьбами почитать.

Ведь школа наша была мужской, и нашему выпуску случилось стать последним перед объединением школ.

(продолжение следует)



Валерий Хаит

О ЖВАНЕЦКОМ

Как-то, приехав на недельку в Москву, я заглянул к писателю Леониду Зорину, с которым много лет назад познакомился в Одессе. Он, помню, туда приезжал на премьеру своей «Театральной фантазии», блестяще поставленной молодым одесским режиссером Олегом Сташкевичем.

В тот момент в гостях у Леонида Генриховича был достаточно известный московский критик Н. (почему я не хочу называть его фамилию, вы поймете чуть ниже). Хозяин со словами «Вам это тоже будет интересно» пригласил и меня посидеть с ними в кабинете. Я слушал их беседу, в которой речь шла, как я понял, о новых журнальных публикациях. Дождавшись паузы и испросив разрешения хозяина, я спросил у критика:

— Простите, что я не по теме, но вот у меня такой вопрос. Некоторое время назад вышел четырехтомник Жванецкого...

— Да-да, — живо откликнулся гость, — я видел!

— Так не могли бы вы мне ответить, почему на это событие (а я уверен, что это действительно событие) никто из литературных критиков так и не откликнулся?

Критик, коротко взглянул на Зорина и, как бы изначально беря его в союзники, ответил:

— А пусть он сначала роман напишет!..

Через некоторое время, уже дома в Одессе, перечитывая в девятом томе Бунина эссе «О Чехове», я наткнулся на сетование Антона Павловича в связи с нападениями на него репортеров: «Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться!..»

Если это совпадение кажется вам недостаточным для объяснения, почему я решил не называть имя критика, то вот вам еще деталь. Через какое-то время после эпизода в кабинете у Зорина в одном из толстых журналов я обнаружил роман, написанный этим самым критиком Н. Видит бог, я пытался прочесть хотя бы несколько страниц, но понял, что для меня это слишком большое испытание...

Так кто же он все-таки — этот загадочный, невероятный Михаил Жванецкий? Писатель? Эстрадный автор? Автор-исполнитель? Артист?

И тут мне на память приходит еще одно воспоминание.

В 1964 году я первый и единственный раз в жизни слушал, что называется, живую Окуджаву. Это было, помнится, в Одесском Доме актера. Он пел «Полночный троллейбус», «Бумажного солдатака», «В Барабанном переулке»... Он разбудил мою душу, он повернул мою жизнь.

Что на меня тогда так подействовало? Стихи? Мелодия? Внешность автора? Его голос? По отдельности ни то, ни другое. Я воспринимал все вместе: передо мной был просто Человек, Поющий Свои Стихи.

И вот, прислушиваясь все эти годы к спорам о том, поэт Владимир Высоцкий или не поэт, настоящий ли писатель Михаил Жванецкий или просто эстрадный автор, и в каком качестве Окуджава все-таки значительнее — как поэт или как исполнитель своих песен, я отчетливо чувствовал: тут что-то не то. Принцип какой-

то неверный, подход изначально ложный. Тут, мне кажется, мы имеем дело с каким-то новым жанром, в попытках понять который обычные исследовательские методы и приемы не годятся. Тут должны быть найдены какие-то совсем другие подходы, выработаны свои критерии, использован особый инструментарий.

Я достаточно хорошо знаю творчество Жванецкого, много раз слушал его со сцены, иногда был среди тех немногих счастливцев, кому он читал свои вещи впервые, и уверен: сказать про Жванецкого, что он просто писатель, это ничего не сказать. Равно как нельзя считать его всего лишь автором-исполнителем. Тут, как и в случае с Высоцким и Окуджавой, мы имеем дело с неким уникальным литературно-сценическим явлением, которое нужно судить по отличным от просто литературных или просто сценических законам. Автор На Сцене...

Недавно, кстати, я нашел подтверждение этой простой мысли и у самого Высоцкого. Вот фрагмент из уникального (чуть ли не последнего) интервью Владимира Высоцкого, которое он дал Пятигорской студии телевидения.

На вопрос журналиста, кем по преимуществу он себя ощущает, Высоцкий, которому было как раз важно, чтобы его считали поэтом, ответил:

Я себя считаю тем, кто я есть. Я думаю, сочетание тех жанров и элементов искусства, которыми я занимаюсь и пытаюсь сделать из них синтез, — может, это даже какой-то новый вид искусства. Не было же магнитофонов в XIX веке, была только бумага, теперь появились магнитофоны и видеоманитофоны. Вы спросили: кем я себя больше считаю — поэтом, композитором, актером? Вот я не могу вам впрямую ответить на этот вопрос. Может быть, все вместе это будет называться каким-то одним словом в будущем, и тогда я вам скажу: «Я себя считаю вот этим-то». Такого слова пока нет...^[1]

При этом известно, что для Владимира Высоцкого было как раз важно, чтобы его считали именно поэтом. Именно потому, что вида искусства, в котором он был безусловно гениален, формально не существовало. То есть творчество его было, так сказать, нелегитимным не только из-за остроты и непривычности его песен, но и из-за неканоничности жанра. Оно не было узаконено официально. А он чувствовал свою силу, знал себе истинную цену и не мог не ощущать дискомфорта от своего отдельного существования.

Позволю себе вообще крамольную мысль. Мне кажется, что поэтическое и исполнительское мастерство Беллы Ахмадулиной (счастливицы слышали, какое фантастическое впечатление производило ее чтение со сцены) тоже в какой-то степени можно отнести к этому, недостаточно изученному пока, жанру. Во всяком случае, в те годы, когда она активно выступала. Это, пожалуй, что-то близкое к гениальному театру, спектакли которого существуют только один раз — здесь и сейчас — и поэтому неповторимы.

Все это, конечно, справедливо лишь в том случае, если все составляющие рассматриваемого феномена гармоничны и масштабны. Автор должен быть крупной личностью, Автором с большой буквы. В этом случае между ним и сидящими в зале зрителями возникает какое-то поле, натягивается взаимосвязующая нить доверия.

И пусть многие тексты, прочитанные глазами, не производят сильного впечатления, — в авторском исполнении это дает художественный эффект, соизмеримый с самыми сильными впечатлениями от других, более традиционных видов искусства.

Я вообще подозреваю, что многие поэтические тексты при чтении глазами могут и не соответствовать канонам поэзии (будучи при этом с точки зрения литературной техники безукоризненными). Но при исполнении автором со сцены эти же тексты вдруг обнаруживают такой поэтический заряд, которого в них никто из так называемых специалистов-стиховедов и не подозревал. Нет, нет, конечно, совсем не вдруг, а именно потому, что их исполняет (поет, читает, произносит) именно Автор с его неповторимой манерой и интонацией.

Другими словами, аура искусства, художественная субстанция, которая в традиционной поэзии действует на читателя независимо от присутствия поэта, здесь, в нашем жанре, возникает именно в момент выступления автора перед зрителями, которые в данном случае абсолютно необходимы...

Так вот, я считаю, что Михаила Жванецкого вполне можно считать поэтом. О чем даже написал еще лет тридцать назад. Привожу этот текст полностью...

Поэт

О Михаиле Жванецком

Да, он не пишет стихов. Ни в рифму, ни белых. И проза у него не ритмизована. Но тем не менее он — поэт!

Он пишет как бы вслух, у него идеальная связь между голосом и рукой.

«Поэзия — скоропись духа» — эти слова имеют прямое отношение к нему. Причем не только в метафорическом смысле. Я знаю его почерк — разнонаклонный, стремительный, убегающий за край листа. Думаю, если он и переписывает, переделывает свои вещи, то лишь тогда, когда скорость написания становится меньше скорости произнесения... Вот-вот! Он пишет с той же скоростью, что и говорит, а когда делает это медленнее, тогда приходится исправлять...

В его стихах нельзя переставлять слова, любое отклонение от текста — катастрофа! Как в стихах. Это ощущается такой же грубой неправильностью, как если бы, скажем, сделать ошибку, читая известное всем стихотворение.

Все, что он пишет, льется из глубины его души, как сплошной лирический монолог. Степень откровенности предельная, как у поэта.

Даже если монолог этот не от первого лица, все равно в нем то, что есть в его душе. Вспомним пушкинское «Пока не требует поэта...»

В его вещах слышна его интонация. Как у больших поэтов — единственная, искренняя. У непозтов, пишущих стихи, интонация тоже слышна, но она фальшива...

Когда я читаю некоторые стихи Лермонтова, мне иногда чудится, что я слышу его голос. Голос, который я никогда не слышал.

Так я услышал голос Твардовского в его стихах и был поражен, когда он — клянусь! — совпал с его настоящим голосом, услышанным мною впервые по радио.

Я думаю, что наш поэт тоже сохранит свой голос в своих стихах, хотя двадцатый век дает возможность сделать это впрямую: пластинка, магнитофонная запись, видеозапись.

Говорят, что удовольствие, испытываемое при чтении монологов Жванецкого, объясняется тем, что у нас на слуху его голос. Уверен, что это не так... не совсем так. Интонация — в его вещах. И существует уже независимо от него.

Интонация, тон. Он — гений интонации, и это тоже качество подлинного поэта.

Он читает свои вещи потрясающе, причем специальных приемов и эффектов вроде бы нет. Почти нет. Есть только голос и задача — донести мысль, чувство.

Кстати, эта задача правомерна лишь тогда, когда поэту есть что сказать, когда скрывать нечего.

Он — наш поэт — живой, грешный, мучающийся человек, который тоже вслед за Пушкиным мог бы сказать: «И с отвращением читая жизнь мою...» И он выворачивает свою душу наизнанку, и казнит себя, и ловит себя на слабостях.

Так проявляется, проступает совесть.

И это свойство тоже, прежде всего поэтическое.

Он светел, наш поэт, у него дарование пушкинского направления. И не случайно он дружит с человеком, который знает Пушкина, как Бог, и для которого Пушкин — Бог (Андрей Битов).

Что ж, видимо, не случайно именно Пушкин сопровождает эти заметки.

Как-то наш поэт прочел миниатюру о девушке, запорошенной снегом, и о поцелуе.

Я тут же вспомнил Пушкина:

*Как жарко поцелуй пылает на морозе,
Как дева русская свежа в пыли снегов!..*

Возможно, он этих стихов и не читал.

Он проверяет звучание своих вещей на слух, читает друзьям, знакомым, незнакомым — кому угодно! — он должен прежде всего сам услышать.

И опять параллель — из Давида Самойлова:

*Кому б прочесть — Анисье иль Настасье?
Ей-богу, Пушкин, все равно кому!*

Он лирик, наш поэт, множество его стихов посвящено женщинам, они его вдохновляют неизменно, они ему нужны, без них он не может.

Но он хочет, чтобы они видели в нем не только поэта, и мучается, если не видят.

Он выступает с эстрады и завораживает зал своими стихами и, как большой поэт, читает их лучше всех — тцевов, актеров, друзей. Так читали Пушкин, Блок, Пастернак.

В нем есть детскость, незащищенность, ранимость. И это тоже черты поэта.

Но он по-пушкински разумен, прост, точен в делах, в его поведении нет странностей, которые почему-то принято считать естественными для гениев.

Он насквозь ироничен, самоироничен. Этим он защищается от ужаса жизни и смерти. И это тоже черта поэта.

Он гений общения, он мгновенно чувствует атмосферу зала ли, компании ли — неважно — и тут же становится их центром, все нити протягиваются к нему.

Но, выходя на сцену, к микрофону, он не делает явных попыток приладиться к публике — он начинает с места в карьер. И после первой же фразы зал принадлежит ему — настолько твердо и искренне звучит эта фраза.

Он не очень любит разговаривать со сцены и очень любит — в компании. Он всегда очень остроумен, хотя иногда слишком простодушен. До наивности. Но его самоирония и откровенность обезоруживают.

Он любит быть один, но недолго, он рвется к общению, но оно ему быстро надоедает. Он сомневается в себе, в своем таланте, в его силе — и это тоже черта поэта.

Да, он светлый поэт, в его стихах нет безысходности, они полны надежды и жизни, полны солнца. Того самого южного солнца, которое поделилось с ним когда-то, давным-давно, в самом раннем детстве, этим своим светом и теплом. При чем так щедро, что он легко может делиться этим солнцем с другими.

Что он, к счастью, и делает... [2]

Когда-то в Древней Греции существовала традиция: авторов пьес, вызывавших у публики слезы дешевыми приемами, другими словами, спекулировавших на человеческих чувствах, подвергали ostracismu, то есть попросту изгоняли из страны. Насчет пользующихся такими же приемами древнегреческих авторов комедий в истории Эллады почему-то не сказано ничего... Что же касается нашего времени, то авторов и актеров, выжимающих смех из публики любой ценой, не то что не осуждают, а даже наоборот, всячески приветствуют. Не буду перечислять эти навязшие в зубах фамилии и теле- и радиопередачи (их и так все знают), скажу только, что из-за них такое жизненно важное для человека понятие как юмор стало синонимом пошлости, а слово «юморист» приобрело пренебрежительный, даже слегка оскорбительный оттенок.

На этом фоне отдельной недосягаемой вершиной высится творчество Михаила Жванецкого. Впрочем, оно, я уверен, выросло бы и без подобного фона, настолько он сам по себе неповторим и уникален.

Его невероятный, феноменальный успех у публики в течение более чем сорока лет, практически без всяких перерывов, уже сам по себе достоин книги Гиннеса. Но дело в том, что это не тот успех, которого добиваются любой ценой, для достижения которого все средства хороши. У Жванецкого успех полноценный, успех по гамбургскому счету. Причем ему для этого не нужно было меняться, придумывать новые формы для выступлений, — нет, он все годы остается неизменным: портфель, в нем тексты, в руке несколько страниц, энергичный взмах руки и — главное — неповторимая, только одному ему присущая интонация, которую ни с чьей не спутаешь. Сначала на магнитофонных лентах, потом по радио, наконец, по телевидению, и все эти годы со сцен переполненных концертных залов звучит этот неповторимый, мгновенно узнаваемый голос со всеми его невероятными оттенками и нюансами.

Да, он тот же, что и раньше, лишь портфель заметно потерялся да воротник рубашки уже не зажат галстуком или (реже) бабочкой, а свободно расстегнут. И тексты, тексты, новые, каждый раз неожиданные, суперактуальные, парадоксальные — уверен, мало кто из выступавших когда бы то ни было авторов и артистов так часто обновляет репертуар...

А теперь попробую поговорить именно об этих текстах, которые в авторском исполнении звучат наиболее адекватно и убедительно.

Но еще два слова отступления.

Жванецкого исполнять трудно. Многие актеры пробовали включать его тексты в свой репертуар, но успеха добивались единицы. Конечно, прежде всего это феноменальные одесситы Роман Карцев и Виктор Ильченко, которые в своих многочисленных спектаклях и эстрадных программах исполнили множество миниатюр

и монологов Жванецкого. Это Сергей Юрский, в репертуаре которого было всего три-четыре текста Жванецкого, но я сам был свидетелем его потрясающего успеха. Ну и, конечно, это Аркадий Райкин, который исполнял и целую программу, написанную для его театра Жванецким, и отдельные его монологи; все, конечно, помнят и знаменитое «В греческом зале...», и «Юзика», и «Дефицит». Исполняла Жванецкого и Любовь Полищук, причем специально написанные для нее вещи. Вот, пожалуй, и все. И параллельно с этими замечательными актерами, он читал свои тексты сам...

А вот теперь о них, об этих загадочных текстах Жванецкого, которые улеглись уже в пять вышедших томов и, кажется, скоро наберется и на шестой...

В каком же все-таки жанре пишет Жванецкий?.. Мне скажут: как в каком? — в эстрадном.

Что ж, начинал он, безусловно, с эстрады — монологи, миниатюры, скетчи. Но со временем стал преодолевать жанровые границы, смело вторгаться в другие жанры и я бы этот вопрос сформулировал иначе: в каких жанрах пишет Жванецкий?

Да эстрада, но не только. Тут еще и рассказ, и философская притча, и публицистика, и белые стихи, и эссе, и многое-многое другое, что ни в какие жанровые определения не укладывается. Такой новый жанр — «Жванецкий»...

Я тут перед тем, как взяться за эти заметки, перечитал его четырехтомник. А когда вышел пятый том, то проштудировал и его. И не только для того, чтобы обновить в памяти какие-то вещи. Я попытался систематизировать тексты Жванецкого, сгруппировать их по каким-то признакам. Увы, эта работа оказалась мне не под силу. Таким делом должны заниматься специалисты. Я представляю себе целый институт, занимающийся творчеством Жванецкого, такой Институт Жванецкого.

Попробую хотя бы коснуться того, чем сам много лет пытаюсь заниматься — собственно юмора.

Так вот, Жванецкий виртуозно пользуется всеми способами создания смешного: тут и абсурд, и гротеск, и парадокс, и комедия положений, и игра слов. При этом каламбуры очень редки. Вот что он сам об этом сказал:

«Талант в юморе — мыслить парадоксами, говорить необычайные слова, расставлять их в непривычном порядке, касаться самой тонкой субстанции в человеке — его настроения».^[3]

Но главное — Жванецкий мастерски строит фразу, рождает афоризмы, пишет ими. Вот несколько примеров. Причем фразы эти существуют не отдельно (хотя такие у него тоже есть), а внутри текстов...

То, о чем молчишь, начинает само о себе кричать.

Страны стали соперничать не силой, что приветствуется только между хулиганами, а умом, что не так интересно.

Меня всегда интересовало, почему плохой язык, скверная дикция, отсутствие мыслей вызывают такое большое желание встретиться с аудиторией.

Граждане, выпьем за медленное течение быстротекущей жизни...

Старость — как электричка: вот она еще там — и вот она уже здесь.

Дураком быть не стыдно. Стыдно быть счастливым от этого.

Хмурость и мрачность свидетельствуют о надежде, овладевшей массами. В то время как веселье и хохот сообщают нам, что такой надежды больше нет.

Откуда взяться профессионалам, если столько лет мы растили самодеятельность?

Она не сдержала себя, открыла прелестный ротик — и испортила прекрасную фигурку и дорогой купальник.

История России — борьба невежества с несправедливостью.

Знайка при таланте невозможно, оно наступает после.

Он сам о себе все написал. Вот, к примеру...

Мой юмор всегда был одинаковым. Он меня тянул, как собака тянет хозяйку. И может быть, мы чем-то приближали сегодняшнее время, а может, случайно попали в него.

Настоящий сатирик, как пономарь, ударил в колокола ушел спать во время наводнения. Его дело — предупредить. А спасателей — спасать.

Для меня две оценки работы на эстраде или театре — успех или провал. Шутки бывают дешевые, успех — нет.

Критиковать нашу жизнь может только человек слабого ума. Настолько все ясно.

Гениальные произведения — такие же создания Бога, как птицы и животные, и непоявление их оставляет это место пустым.

Что делать? Поднимать всех до уровня интеллигентного человека, конечно, сложно. Гораздо легче его стащить вниз.

Хочу напомнить: я не специалист, я всего лишь читатель и слушатель Жванецкого и просто хочу поделиться какими-то своими частными мыслями и соображениями. Здесь, как вы заметили, нет связного сюжета, тем более сквозного исследования, просто какие-то отдельные мысли и соображения, возникшие у меня в разное время.

Продолжаю...

В последние годы на телеканале «Россия» с огромным успехом идет передача «Дежурный по стране». Главный герой в ней — Жванецкий. Постепенно эта передача приобрела наиболее удобную для него форму: обязательно зрители, обязательно чтение текстов и только после того, как контакт налажен, успех налицо, идут остроумнейшие ответы на вопросы ведущего передачи Андрея Максимова и телезрителей, блестящие импровизации — и вновь чтение текстов, как бы уже отталкиваясь от вопросов. Это я опять к тому, что Жванецкий блестящ и наиболее удачен, когда он в своей стихии. Форма ее, этой передачи, благодаря его требовательности и авторитету, а также уму и деликатности ведущего, оптимальна для мастера. Отсюда и удивительное ощущение его естественности и легкости, глаза сверкают, ум искрится, парадоксы и образы рождаются сами собой...

Нужно сказать, что до передачи «Дежурный по стране» была у М. М. и другая телевизионная попытка. Года три назад вышло несколько выпусков передачи «Простые вещи» с Вадимом Жуком в качестве ведущего. Было отчетливо видно, что ее форма — беседа вдвоем, без зрителя — сковывает Жванецкого, что без живой реакции публики ему трудно думать и импровизировать; не было той атмосферы легкости и доверия, в которой он привык выступать. Но все-таки его мощь и мудрость проявлялись и там.

В газете «Известия» несколько номеров подряд публиковались фрагменты этих телевизионных откровений Михал Михальча. На разные темы.

Приведу некоторые из них.

Так говорил Жванецкий

О разном

...Я за то, чтобы врачам платили. И платить должны мы, если у нас есть возможность. Но платить, конечно, после. Потому что свою работу они должны сделать. За деньги, конечно, не сделаешь. Сделаешь только из милосердия. А потом ты за это получишь. Как я сажусь писать? Я же, конечно, небесплатно хочу писать. Но я пишу из удовольствия. А потом, как Александр Сергеевич, буду бродить и предлагать: «Кто купит, кто купит...». Так и врач должен лечить — в хорошем состоянии и из удовольствия быть милосердным.

...Что, ты скажешь: умная кошка, глупая кошка... Когда очарование в каждом движении, в хвосте, в лапке, в том, как ложится, как поднимается, как спрыгивает с окна... Глупая или умная! Да не все ли равно?! — скажешь ты.

...Что могло быть лучше, чем протирать оптику? Что могло быть лучше, чем получать спирт для протирания чего-нибудь? Это же изумительно — протирать изнутри всю кабину. Или всю подводную лодку. А на санэпидстанции — какое счастье... С бидоном спирта — куда хочешь. Пол-литра была настоящая валюта.... Пять бутылок — тебе ворота починят. Это такой курс был. Шесть бутылок — крыша. Восемь — от туберкулеза излечат. Это была очень конвертируемая вещь.

...Мы всю жизнь были не хозяевами земли, а хозяева на земле. Так нас называли. Хозяин на земле. Хозяин у станка. Хозяин возле дома. Такой был хозяин у нас. Он никогда ничего не имел. Он не имел собственности. Как вы хотите удержать людей в этой стране?

...Почему воровство в этой стране так выросло? Потому что мы никогда не знаем: мы ворует или забираем свое. У государства украсть — это ж святое дело. Это может быть и мое. Я же работал всю жизнь, что-то заработал кроме рецептов...

...Дурак — это человек без чувства юмора. Ты удачно сказал — все расхотались, а один сидит и наливаются кровью.

...Я всегда понимал, выходя от дурака, что дурак — я.

...Я так соскучился по хорошим новостям, что я их вырабатываю сам. Я говорю: помоги людям, хотя бы своим оптимизмом.

...Я буду говорить много тупого, но я не подписывался говорить в каждой передаче умные вещи. Ну не подписывался. Но общее впечатление ума должно быть. А глупости входят в этот раздел. Сюда входят глупости, чушь, неудачные шутки, которые окружены общим названием «умный человек».

...У нас когда нехватка слов, то происходят все эти разговоры типа ...

Типа, по жизни, блин ... Типа красота. Это все было типа опера ... Ну, я типа пел ...

О возрасте

...Почему мне иногда говорят, что я невнимательно слушаю вашу мысль? Потому что боюсь пропустить свою.

...Почему в позднем времени у меня появляется темперамент? От состояния склероза. Появляется, чтоб не забыть, чтоб не забыть, чтобы не забыть ...

...В чем примета позднего времени? В боязни. Чтобы не опоздать к поезду, выезжаю за час. Это опыт. Меня всегда спрашивали: это опытили ум? Соединение

опыта с умом порождает такие скверные вещи, как выезд задолго. Потом отход ко сну — как отъезд в другой город! Все ты раскладываешь на тумбочке. Ты все стараешься взять и ничего не забыть. Ты действуешь по списку, по пунктам...

...Молодежи пожелаю не бояться стареть.

...Во-первых, не дети — наше будущее, а старики — наше будущее. Мы их видим, они ходят по улицам. Вот это наше будущее. Вот я сижу. Я не скажу, что я старик. Но то, что я чье-то будущее, это факт. Причем неплохое будущее. Так что присматривайтесь.

...Мне нравится тот возраст, который у меня сейчас. Мне молодость моя нравилась меньше. Она была, простите, глуповата.

...Сначала вы берете детей за руку, потом они вас берут за руку.

Возьмите свое будущее за руку и помогите ему перейти на другую сторону улицы...

О ненормативной лексике

Я еще несколько лет назад удивлялся. Группа образованных журналистов пыталась издать газету, написанную матом. Печатать непечатный мат. Почему печатать мат можно, а учить детей мату нельзя? Где же логика?..

...Я считаю, вот я считаю, что мат от темноты душевной, от нехватки слов, от обычной нехватки слов... От неясной злости. От попытки усилить впечатление... Усилить впечатление от сказанного.

Не хватает слов, а когда не хватает слов, то кончается все матом.

...Что скажет мать? Вот старенькая мама. Мат — это хорошо, мама?

Спроси у нее. Она скажет: плохо. Мамы, они не разбираются в этой жизни, они не знают, куда пойти, не знают, как эту рекламу воспринимать. Но они знают твердо, что мат — это плохо...

...Если за соседним столиком начинается мат, есть у тебя ощущение, что тебе сейчас набьют морду, через минуту-другую? Раз пошел мат, а я еще с девушкой... Ну, сейчас начнется, сейчас начнется. Начинаешь собираться куда-то, начинаешь быстро покидать поле битвы...

...Нехватка слов кончается мордобоем.

...А слово «траханье»?! Ну если вы не любите, ну это и есть траханье. Я вообще-то не возражаю. Если этот процесс напоминает это слово, то трахнул и пошел без всякого впечатления. Если ты девица, это слово поддержишь, то я трахну и вызову такси...

...Я знаю: некоторые мои друзья, художественные руководители театров, говорят матом... Иногда бывает ничего. Иногда бывает такой бархатистый мат. У Шуры Ширвиндта бывает неплохой...

...Даже уголовные люди... они при детях и женищинах бывает что стесняются.

...Наш человек в массе своей слово «нежный» не употребляет.

...Наш человек не знает слово «любовь». Он, может быть, один раз перед свадьбой скажет его, а потом...

...Один немецкий режиссер объяснил, почему немцы начали войну. Потому что у них мата не было. Не во что было пар выпускать.

...Наш человек владеет двумя языками — родным и матерным. Маловато. Надо и третий выучить... [4]

И еще один текст Жванецкого. Правда, уже из другой газеты — «Московские новости».

Кстати, можете в очередной раз проверить, как Жванецкий воспринимается не на слух, а в чтении. Да, мы помним его интонацию. Но я уверен, что она присутствует в этом тексте уже как бы независимо от автора.

Как лучшие пошутить

Наконец-то знаменитый сатирик решил поделиться секретом успеха у публики.

— Михал Михалыч, научите меня шутить. Ну, хотя бы в компании. Дома я обойдусь.

— Ну, значит так. Для этого должно быть хорошее настроение. Для хорошего настроения необходимо ну, чтоб здоровье там было нормальное, чтоб в семье было все в порядке или чтоб кто-то пошутил до того, как вы вышли из дому. Или чтоб в стране все было хорошо. В общем, надо прийти в хорошем настроении. Можно выпить чуть-чуть, но не добавлять. Выпить, чтоб пошло. В принципе хорошо, если идет с утра. Тогда где бы ты ни оказался, будет идти и идти. Вот хорошее настроение — это раз. Да, чтоб компания была с юмором. Чтоб было кому смеяться. Об этом нужно позаботиться заранее. И чтоб у вас уже был какой-то авторитет. Либо, чтобы первая шутка была удачной. Для этого нужно хорошее настроение, т.е. чтоб со здоровьем было хорошо, в семье было хорошо, в стране было хорошо и чтоб пошло с утра. С утра — это очень важно, чтоб к вечеру быть в хорошем настроении.

Да. Шутка должна родиться тут же. Чтоб не была видна работа ума. Работа ума убивает компанию. Работа пусть будет видна у стоматолога. В ответ на вашу шутку. Ваша шутка произнесена сразу и тихо. Без обдумывания. Шутите тихо. Чтобы все обратили внимание, должно быть плохо слышно. Но кто-то рядом с вами должен громко захохотать, просто обязан. Ну как этого добиться, я уже говорил: у вас должно быть хорошее настроение, для этого должно в семье быть хорошо, в стране быть хорошо, в городе не так все плохо, день — ясным, море — теплым, встречи — не хамы, милиция — не жлобы, желудок с утра молчит. Газеты не пришли. И с утра пошло. Вы это уже проверяли в потном автобусе. Там уже кто-то вас тул, чтоб вы не отвлекли его от давки. Вечером, когда возле вас кто-то громко захочет. Он будет привлекать внимание. Чем вы тише говорите, тем он громче хохочет. У вас теперь нет забот привлекать всеобщее внимание. Он все делает сам. Ничто не вызывает такую зависть, как хохот. Ну может деньги. Да, деньги. Когда у вас есть деньги, вашим шуткам улыбаются все. Когда же у вас много денег, вашим шуткам все смеются. Но деньги вызывают смех одобрительный, заискивающий, смех одлаживающий или просто любящий смех. Но не хохот.

Хохот обижает мецената. Он понимает, что не заслужил такого, и ему чудится издевка. И все, денег нет. Хотя хохот есть. Хороший смех вызывает хорошая шутка. Долгий смех вызывает хорошая и веселая шутка. А нарастающий до визга, до слез, до «у меня плохо с сердцем» — шутка, развивающаяся по спирали. Для этого у вас должно быть очень хорошее настроение. Ну т.е. в стране все хорошо, в городе все хорошо, в трамвае все хорошо, дома все хорошо, на душе все хорошо, а со здоровьем не просто хорошо, а очень хорошо, и коньяк должен быть хорошим, и жизнь интересной, потому что хохот нарастающий, визгливый до самых «не могу» вызывает уже не шутка, а ваша жизнь, заканчивающаяся шуткой. Если вы хотите вызвать хохот с визгом, вы должны рассказать о себе. Тогда возле вас двое-трое будут падать, визжать, сгибаться, просить вас перестать. Тут уже все не выдержат... Кроме того, кто шутил до вас — теперь это наш враг. Он будет держаться до последнего. Он будет си-

деть спиной и шепотом спрашивать: «Что он сказал?» Но когда он развернется — все, ваша взяла. На его печальном лице вы прочтете вот эти слова: «Я не могу». Шутите дальше. Вы должны сломить его. Нет-нет, вашей шутке он не засмеется. Его сломит хохот вокруг. Хохочут все, а он один печален. Вот тут все скажут — он идиот. У него нет юмора. Это у того, кто веселил всех годами.

Тут ваша взяла окончательно. Теперь шутить годами придется вам. Ну, для этого, как я уже говорил, надо всегда иметь интересную жизнь, быть в хорошем настроении, надо чтоб всегда шло с утра, чтоб всегда собирались люди с юмором и чтоб у вас всегда было прекрасное настроение. Для этого должно быть все хорошо в стране. Инфляции нет. Случай холеры единичный, т.е. ниоткуда не заразился и никого не заразил. Жена, которая пришла утром, заявила, что поняла, как любит вас, и лучшего мужчины, чем вы, все-таки нет... Да, чуть не забыл. Дома не шутят. Настоящий шутник — шутит на стороне. Дома он борется за существование. Любая шутка и одинокое веселье мужа указывает на наличие любовницы. Отсюда скандалы, слежка и испорченное настроение, а для вас, как шутника, это опаснее всего. [5]

Серьезных статей о творчестве Жванецкого в советские времена не писали. Причины понятны: его искусство и искусство его феноменального театра с Романом Карцевым и Виктором Ильченко практически все доперестроечные десятилетия было полуподпольным. Удивительно другое. И в первые годы перестройки, когда стало все можно, серьезных попыток разобраться в феномене Жванецкого и его театра тоже не предпринималось. Об одной из причин этого я уже выше писал: видимо привычные литературные и театральные мерки тут не срабатывали. Но постепенно, особенно после выхода из печати знаменитого четырехтомника, ситуация несколько изменилась. О Жванецком стали писать серьезные исследователи. (Даже, кажется, и упомянутый в начале моих заметок критик Н.)

Я попытался собрать наиболее интересные (на мой взгляд, конечно) статьи и отклики о нем, фрагменты из которых и предлагаю здесь вниманию читателей.

Начну же с работы ленинградского критика Евгения Колмановского (чуть ли не единственной, появившейся еще в советские времена), уже одно название которой — «Синтаксис остроумия» — свидетельствовало о серьезном подходе и глубоком понимании автором такого литературно-эстрадно-театрального явления, как Жванецкий.

Евгений Колмановский

Из статьи «СИНТАКСИС ОСТРОУМИЯ»

...Границы эстрады Жванецкий нарушил или, если угодно, расширил.

В чем же тут соль?

Сильнейшее впечатление всегда вызывает схождение в искусстве двух отдаленных друг от друга начал, встреча противоположностей: таких, как смех — и слезы, восторг — и ирония, боль — и озорство...

У Жванецкого тоже встречаются крайности. Скажем, с одного края — заурядные дела квартирные и служебные, каждодневная халтура, вранье, кривлянье, очереди, пьяные. Он распрекрасно все это знает. До мельчайших мелочей. В одном из монологов заходит, например, речь об утраченном времени: «Я — часто стоял в

очередях, я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание... Два с половиной года я провел в столовых в ожидании блюд, два года в ожидании расчета. Год ждал в парикмахерской. Два года искал такси. Три года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора...»

Этот человек, этот автор (можно ли сказать — писатель? Ведь Жванецкий скорей писатель-говоритель) не просто выхватывает из быта тему, сюжет, общий ход. Он разбирает все по косточкам, дорожит верностью наблюдений над буднями. Это — с одного края.

А с другого? Смотрите, слушайте, какая тут во всем необычная мера, необычная чувствительность. Чем дальше, чем больше работает Жванецкий, тем меньше интересны ему сами по себе комические находки в обиходе, свеженький поворот темы. У Жванецкого, как у всякого настоящего литератора, есть то, что называют «тканью». Сочинения его сотканы искусно и строго — при всей их неимоверной смехоте и опущенности в точнейший быт. Сотканы они с естественностью не будничного, иного дыхания.

<...> Дальнейшие соображения о нашем предмете приходится начать с широко известного противопоставления остроумия и острословия.

Так вот — остроумие есть жизнь ума, всей духовной природы человека, который склонен шутить. И тем отличается от острословия, которое представляет собой передвижение слов, игру в слова-кубики, слова-кирпичики.

Поскольку Жванецкий — остроумец, то для него вся жизнь особым образом проявляется и переливается. Не в темах, а в отношении, подходе ко всему на свете надо искать его основные качества.

<...> Отсюда и удивительный ритм его рассказов. Не только отличная спортивная форма с точным чувством любой секунды — такое в конце концов может выработать в себе и аккуратный ремесленник-острослов. Нет, ритм — это дыхание, пульс прозы, количество и разнообразие реакций в единицу времени, насыщенность внутренним движением. Какая у Жванецкого неспокойная проза! Словно неравного объема словесные льдинки подталкивают друг друга, затирают, напирают, громоздятся — что-то их гонит, торопит: «Разве чего-то не хватает? Всего хватает — нас много. Нам как-то надо прекратить... Не смотри на нее... Не обращай... Иди мимо... Царь природы. Царей вон сколько — природы не осталось. Не заговаривай с ней, пусть идет... Не отвечай ему...»

И там, где нет таких прямых обращений к кому-либо, там тоже все прослоено как бы предощущением возможных откликов, отзывов, восприятий и воздействий. Это ли не остроумие, не острый ум, который замечает, видит, предвидит! Расчет на собеседника, на мгновенность взаимопонимания приговаривает Жванецкого к краткости, не дает ему продлевать свою речь...^[6]

Валентина Серикова *Из статьи «КАПУЗО ЮМОРА»*

...На вопрос: «слушать или читать Жванецкого?» можно отвечать по-разному, в зависимости от желаемого результата. Но при этом иметь в виду, что книга по-прежнему единственное, что можно посоветовать тому, кто хочет получить подлинное знание и найти умную мысль. Чтобы доказать, что телевидение и Интернет для этой цели не годятся, дискуссия, очевидно, не потребуется. На виртуальном

блошином рынке net порой можно найти что-то ценное, но для этого надо потратить бездну времени и перевернуть горы барахла. Пялиться с той же целью телевизор — занятие еще более бессмысленное. Поэтому книга — самый прямой и интересный путь к знанию и мудрости. А если это книга Жванецкого, то это еще и веселый путь... [7]

Из послесловия в книге Михаила Жванецкого «МОЙ ПОРТФЕЛЬ»

...Конечно, юмор самая манкая и притягательная грань таланта Жванецкого, но он только форма для содержания. Его смех — покров вечных вопросов и горьких истин, над которыми человек обязан задумываться, раз он пришел в этот мир. Отдаваясь власти сиюминутных соблазнов и покоряясь игу суеты, мы норовим пропустить трудный урок их постижения. И будто чувствуя наперед эту общую слабость, нам назначили Жванецкого, как капризным детям прописывают лекарство в цветной сладкой оболочке. Юмор демократичен по своей природе, в любой среде он имеет «допуск №1». А смех Жванецкого обладает исключительной созидательной силой. Он не унижает, но очищает накипь с главных органов человека — органов чувств. Мы отдаемся ему доверчиво и с удовольствием, хохочем залиvisto и от души, ощущая с последним всхлипом, что она стала местом удивительного преображения — звонкого смеха в беззвучный плач, который отзывается из нутра эхом светлой пронзительной грусти и заставляет думать и размышлять... [8]

Андрей Немзер

Из отклика «ЧЕТЫРЕХТОМНЫЙ ТОСТ»

...Когда-нибудь Жванецкого издадут в томах эдак в двадцати. Или тридцати. Причем на одну книгу текстов будет приходиться пять томов комментария. В крайнем случае, три-четыре.

Дотошные историки растолкуют беспаятным потомкам все реалии. Про дефицит объяснят и про ограничение потребностей. Про тупого доцента. (К тому времени либо звание сие упразднят, либо все доценты «острыми» станут.) Про цену раков — как вчера, так и сегодня. Про честного кладовщика, что отказывается пить, если искомой детали и вправду в его хозяйстве не имеется, и про доктора, который хоть не психиатр, а хирург, но шьет вполне приличные костюмы. Про бюрократию и демократию. Про колбасу и селедку, разварную картошечку и хрустящую квашеную капустку, мелкого частика (не путать с частником) и бычков в томате. Про народ и население. Про пиво. И про нее родимую. Про Россию, Украину, ихнюю заграничу и наш греческий зал.

<...> Наверняка кто-нибудь уже сказал, что весь поздний СССР, постсоветское пространство, а равно нашу Америку с нашей же Израйловкой придумал Жванецкий. Что все мы — богатые и бедные, глупые и умные, зажатые и отвязные, жуликоватые и простодушные, наглые и застенчивые, довольные и озлобленные, сытые и алчущие духовных высот, поддающие и борющиеся за трезвость, мы, постоянно ухитряющиеся совмещать эти якобы противоречивые свойства и остающиеся собой при любой погоде, — суть персонажи Михал Михальча... [9]

Юрий Михайлик
Из статьи «БРОДСКИЙ И ЖВАНЕЦКИЙ»

...Они принадлежат к тем, чья муза послушна единственному велению. Обиды не страшась, не требуя венца. И тем самым во след за Пушкиным утверждают высший нравственный императив художника, эстетические критерии которого рождаются не в отделах пропаганды, и не в диссидентских салонах.

У Иосифа Бродского была потаенная традиция — он писал себе стихи ко дню рождения. В одном из таких, как сказали бы литературоведы, программных стихотворений, он написал:

«Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя. Жрал хлеб изгнания, не оставляя корок. Позволял своим связкам все звуки помимо воя. Перешел на шепот. Теперь мне сорок».

Бродского и Жванецкого при всех различиях судеб и творческих манер, объединяет непреклонная верность принципам человеческого существования. Существования отдельного, непринадлежного. Помимо воя.

Похоже, что и Бродский, и Жванецкий — вслед за великими предшественниками, каждый по-своему, талантливо и неповторимо, занимаются главной проблемой российского общества последнего тысячелетия — изменением общественного отношения к человеческой личности. Важнее этого, на мой взгляд, нет и не будет ничего и в ближайшие столетия российской истории.

<...> Поэт Иосиф Бродский и писатель Михаил Жванецкий внесли с сферу литературной деятельности столь значительные изменения, что нынешние и грядущие коллеги вынуждены считаться с этими изменениями. Считаться — вовсе не обязательно принимать. Отталкивание — тоже форма взаимодействия, распространенная в искусстве. Важно в данном случае то, что сделанное Бродским и Жванецким, уже не может быть проигнорировано никем из работающих в тех же и смежных сферах. Притяжение ли, отторжение ли — неизбежны... [10]

Александр Архангельский
Из статьи «МИХАЛ МИХАЛЫЧ»

...В светлые годы юности, они же темные годы застоя, нынешний сорокалетним не всегда легко было понять секрет особой феерической популярности Михаила Жванецкого у старших товарищей-шестидесятников. Ну да, конечно, не сравнить ни с кем из эстрадно-сатирических звезд: ну да, разумеется, настоящий литературный талант, помноженный на актерское мастерство; ну да, ну да, ну да. Одноко ж смотрят на него не просто как на отличного сатирика; дарование это ограничено ровно тем же, чем и усилено: социальным контекстом? Уберите магнетическую рамку брежневского застоя, выпустите этот интеллигентский юмор на рыночную волю, — и что от популярности Жванецкого останется.

Но вот рамку убрали. Юмор выпустили, волю обеспечили, и что же — в 90 годы театрализованное писательство Жванецкого лишь расцвело. Причем он не только сумел найти новую интонацию для нового времени; каким-то невероятным образом и прежние его вещи сохранили свежесть и остроту, хотя реальность по поводу которой они создавались, пошла прахом. Пришлось задуматься, а зато того ли мы его принимали?

Многие из нынешних сорокалетних думали, что Михал Михалыч — всего лишь литературный резонатор социальных процессов. Оказалось, он создатель универсальных текстовых матриц, которые можно прилагать к разным обстоятельствам без ущерба для смысла.

<...> Вот в этом и кроется главный успех Жванецкого. Жизненного. Литературного. Под видом конкретной сатиры он выдал на-гора философию частной жизни в пределах общей истории. Под видом скоропортящейся эстрады предложил публике долгосрочную писательскую стратегию. Под видом своего сценического персонажа, Михал Михалыча, небольшого упитанного весельчака, обожающего собственные тексты и достающего из потертого портфельчика новыке и новые тексты, — под видом этого персонажа Жванецкий скрыл несуетливую мудрость здорового жизнеотношения... [11]

Наталья Хаткина

Из статьи «ВОЙНА И МИР МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО»

...Я читаю собрание произведений Жванецкого, как четыре тома "Войны и мира". Только у Льва Николаевича я "войну" пропускала, а у Михаила Михайловича война как раз самое интересное. Или не так: нет четкого разграничения между войной и миром, вся жизнь — театр. Военных действий. Автор справедливо опасается, что в хохоте зрительного зала утонут разрывы мин и стоны тех, кто подорвался, и позволяет себе высказаться прямым текстом: наш человек *"так помнит войну, что уже не представляет себе жизни мирной"*.

Среди тех, кто "в драке не выручит — в войне победит", мыкается главный герой Жванецкого — капитан Тушин. Одинокий интеллигент, ведущий свою войну на забытой всеми батарее...

<...> В своих окопах будем читать и думать. Тормозить при чтении. Да, фраза Жванецкого стремительна и легка, она проносится в мозгу, как мотоцикл по треку: вжик — и нету! Она стрекочет, как кинолента, стремительно разворачивая перед нами сменяющиеся кадры, — и на слух едва успеваешь отследить смеховые моменты, зачем и пришел на концерт, сел к телевизору, включил "видик". Так я же и повторяю: надо читать. Потому что фраза Жванецкого стремительна и легка, но что в ней? *"О жизнь моя, побудь со мной!"* Легко, стремительно, характерно для него Жванецкий останавливает мгновение: *"Чуть добавил майонезу и начал перемешивать деревянной ложкой. И еще. Снизу поддевал и вверх. Поливал соком обраровавшимся — и еще снизу и вверх"*. Но даже больше справедливо восхищающего всех неторопливого и вдумчивого перемешивания мне дорога фраза, останавливающая внимание именно при чтении: *"Умылся тепловатой водой под краном"*. Тепловатая вода в жаркий день — фу! Что в ней хорошего? Это — жизнь. Жить — хорошо. В нескольких фразах — судьба, и внешность, и отношение к жизни...

<...> Герой Жванецкого — человек под давлением. Его испытывают "высоким давлением", а он корчится, корячится (как средневековый карлик, которого для потехи королей вырастили в кувшине) и все пытается как-то распрямиться, вывернуться, уберечь свое "я", свои "честь и достоинство".

В нелепых стараниях уберечь уязвленную самооценку, в мечущемся, слабом человеке узнаем свое, себя. Гоголевское (здравствуйте, Акакий Акакиевич!) смыкается с чеховским — "раба по каше".

Многое, что осознается нами как открытия социологов, озарения философов, достижения серьезных писателей, намечено Жванецким. Или даже не намечено, а сказано вслух — отчетливо и мастерски, характерно для него! — но пропущено мимо ушей, утоплено во взрывах смеха...^[12]

Я надеюсь, что читатели не в претензии ко мне за столь пространное цитирование. Что же касается меня, то я в работе над моими заметками о Жванецком неоднократно перечитывал эти статьи и всякий раз поражался умению их авторов глубоко и компетентно писать о творчестве современного классика.

Свои же разрозненные и непоследовательные заметки о Жванецком я на этом завершаю. Причем завершаю в глубокой уверенности, что уже кем-то пишется, а в самом недалеком будущем обязательно появится и высокопрофессиональный капитальный труд (возможно, и не один), посвященный изучению этого уникального и яркого явления отечественной культуры второй половины двадцатого и первой — двадцать первого века...

Постскрипtum

10 февраля 2007-го года в Одессе прошёл традиционный зимний концерт Михал Михалыча Жванецкого. Прошёл он в одесском театре музыкальной комедии. Поскольку там зал на тысячу триста мест. Раньше Михал Михалыч выступал в зале украинского театра. И тот не мог всех желающих вместить. Правда, музыкальная комедия тоже не справилась, многие не попали... Мне повезло — я получил личное приглашение.

Ну что сказать? Маэстро был в ударе. Хотя глупее фразы не придумаешь, правда? Во-первых, когда он был не в ударе? А во-вторых, сказать про Жванецкого «в ударе» — это ничего не сказать. Ну, почти ничего... Сцена и зал были одним существом — добрым, весёлым, тёплым и отзывчивым. Кстати, в последнее время Михал Михалыч просит во время своего выступления свет в зале держать включённым. Он хочет видеть тех, кто его слушает, он хочет видеть всех и обращается к каждому. Особенно к женщинам. И так было всегда. И много-много лет назад, когда он только начинал, и теперь, когда ему за семьдесят. Так же сверкают его глаза. Тот же вскинутый в знак победы кулак, та же неповторимая интонация, перед которой мало кто способен устоять.

Самоирония, обезоруживающая откровенность, острое чувство жизни, мгновенные перевоплощения. Типы, характеры. Лирика, философия, парадоксальные мысли. Притчи, эссе, верлибры, афоризмы. И тут же паузы, во время одной из которых — уморительный рассказ о встрече с Владимиром Путиным.

Больше сорока лет мы слышим этот неповторимый голос, который учит нас свободе, — а мы всё никак не научимся. Больше сорока лет нас убеждают, что жизнь сама по себе прекрасна, — а мы всё сомневаемся. Но мы готовы и дальше быть плохими учениками, только бы слышать и слышать эти виртуозные фиоритурсы, только бы выпить эту живую энергию ума и остроумия.

Да что мы! Я никогда не видел на концертах Жванецкого столько молодёжи, как в этот раз. Как они заливались смехом, как хлопали! Как восторженно откликались на нюансы и подтексты!..

И ещё. Когда Михал Михалыч объявил антракт и, собрав в портфель бумаги, уже хотел было уйти со сцены, его что-то остановило. Может быть, аплодис-

менты, которые не смолкали. И тут они начали вдруг нарастать. И постепенно стали напоминать сплошной шум дождя в саду за окном, который постепенно превращается в ливень...

А артист стоял и с чуть печальной улыбкой смотрел в зал, который аплодировал и был счастлив оттого, что Жванецкий ещё вернётся...

1980—2008 г.г.

Примечания

- 1 «Известия», 24 января 2007
- 2 «Всемирные одесские новости» №1 (22). 1994
- 3 Все цитаты приводятся по изданию: Михаил Жванецкий. Собрание сочинений в 5 томах. М.: «Время», 2007
- 4 «Известия», 2001
- 5 «Столичные новости», 12—18 марта 2002
- 6 «Аврора», 1974, № 9, С.64-66.
- 7 «Зеркало недели», 4 июня 2005
- 8 «Мой портфель». К.: «Махаон-Украина», 2004
- 9 «Время МН», 6 марта 2001
- 10 Альманах «Дерибасовская — Ришельевская». Кн. 24, Одесса, 2008.
- 11 «Известия», 30 октября 2003
- 12 «Московские новости», 2001



Михаил Юдсон, Ирина Маулер

ОКРЕСТНОСТИ ГЕНИСА

Начитавшись вдосталь, начнем взглядываться в проступающие громады — каменные томища-небоскребы, взирать на канувшую самоварную Атлантиду, русский литературный Нью-Йорк 80-х. Он представляется порою бисерной игрой в азбучные классики: Аксенов, Бродский, Вайль, Генис, Довлатов ...

Александр Генис — писатель незаурядной прозы, знаменитый эссеист, создатель стиля «текст и окрестности». Живет неподалеку от Нью-Йорка. Ну, раз нам повезло — поговорим.

Сейчас вы приезжаете в Израиль по линии «Лимуда» — семинар на Кинерете по просвещенческим поводам (воистину, Генисаретский лекторий!). Давно не бывали на Обетованной?

— Двадцать лет. В 1995 году я приехал с Израилем с Библией и 17-летним сыном. Втроем мы объехали страну и навсегда ее полюбили. Лучше всего мне было у Стены плача, и я до сих пор пытаюсь понять — почему.

У вас одна за другой — на радость и благо верным почитателям — выходят новые книги. Расскажите немного о них.

— Книгу “Уроки чтения” с полуприличным подзаголовком “Камасутра книжника” я писал четыре года, а мечтал о ней с тех пор, как научился читать. Это — интимная биография страстного читателя, который рассказывает о своих романах с разными книгами, жанрами, авторами. Я десятилетиями оставлял ее на потом, но вот “потом” пришло, и я грущу по тому времени, когда писал свою “1001 ночь”.

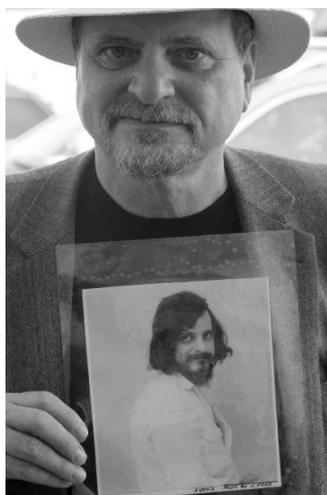
Другую недавно вышедшую книгу составила путевая проза. Я долго выбирал для нее название, потому что, как мне сказали, в России слово “космополит” всегда означает “безродный” и переводится “жидовская морда”. Но теперь я доволен, что оставил первоначальное название. В нынешней России оно звучит как лозунг.

Что касается содержания, то я вставил в книгу все, что отличает путевую прозу от путевых очерков и приближает её к стихам. Кстати, там есть глава и об Израиле — “Кровь и почва”.

Генис, так сказать, «на ранних поездах» наверняка отличен от позднего путешественника. А вы могли бы разделить вашу прозу на годовые срезы, смысловые периоды: «вайльйский», «текст-стильный», далее везде?

— У меня все делится до сорока и после. В первом периоде много стёба, оправданием которого служила звериная серьезность как советской, так и антисоветской словесности.

Когда наступила свобода, я потерял интерес к тому, что делают все, и в следующие 20 лет писал, стараясь спрятать, а не выпячивать то, что я больше всего люблю в тексте — юмор, остроту, тихий взрыв и тайный аттракцион.



Написав к 60-ти все, что собирался, я выполнил план жизни и, освободившись от сладкого бремени, пишу то, что взбредет в голову, не зная конца и не загадывая сроков.

Ваш давний друг Сергей Довлатов письменно признавался, что появился у него деньги, он сроду бы больше не писал, а странствовал по свету. А вы?

— Нашли кому верить! Сергей ненавидел путешествия, и как раз за страсть к ним обзывал нас с Вайлем Ганзелкой с Зигмундом. Он действительно говорил о тщете литературы, но только до тех пор, пока не начал новый сборник “Холодильник”, для которого успел написать два рассказа. Я не верю в писателей на пенсии. Все мы каторжники, прикованные к тачке, которые больше всего боятся, что ее у нас отберут.

Каким вам видится небольшое множество «идеальный читатель» — это два-три «я», жена, близкие друзья?

— “Я”, автор, точно не являюсь идеальным читателем. Меня можно убедить в чем угодно. Однажды самый чуткий редактор в моей жизни, Юра Сафронов из “Новой газеты”, выделил в тексте некоторые места жирным. Я тут же их выбросил, а потом оказалось, что он подчеркнул то, что ему больше всего понравилось. Бывает, правда, что сам захихикаешь над написанным, но это — редкий подарок. А так я первым делом полагаюсь на вкус и глаз жены-сокурсницы. Она 40 лет читает мои опусы и сразу поймает лишнее, лень или скуку. Раньше я её специально дразнил, чтобы злее читала. Теперь и без того боюсь.

Вам не хотелось бы написать роман (оглядываясь, скажем, на набоковский «Дар») со множеством персонажей и брожений — про русский Нью-Йорк 80-х?

— Роман не роман, Набоков не Набоков, но нечто подобное я сейчас и пишу.

Кстати, как выживает-выплывает сегодняшняя русская литература в США? Челнок еще потихоньку расшатывается или мертвая зыбь?

— Понятия не имею. Моя «Третья волна» — Бродский, Довлатов, Аксенов, Лосев — ушла с арены, а новых я мало знаю и еще меньше понимаю.

Интернет тернист, дик, чертополошен — но именно он сегодня навёрчивает «круги чтения». Критерии размыты, критики в загоне, читатели слепшаро бредут гуськом, брейгелевским шагом — и как увидит, что именно это хорошо? Где поводыр и, скажем больше, поводок?

— Интересен опыт Фэйсбука, который позволяет каждому создать себе журнал по вкусу. Я не большой знаток этой практики, но вот Татьяна Толстая внимательно читает и отбирает лучших, на которых я лишь случайно натываюсь. Недавно, например, открыл зарисовки Джона Шемякина. Смешные и тонкие.

Вам необходимы в быту стихи? Кто из рифмующих люб?

— Стихи, как водка, не на каждый день. Бывают, впрочем, запои. Когда ураган Сэнди оставил нас без света, мы с женой семь дней читали Мандельштама, пока не кончились свечи. Иногда мне кажется, что это была лучшая неделя в жизни.

Старые добрые толстые литературные журналы завершают свой жизненный цикл, уходят на покой в гляцевый «Дом и усадьбу» — или возможно возрождение?



— Я всегда любил некоторых “толстяков”, в первую очередь московскую “Иностранную литературу” и питерскую “Звезду”. Но боюсь, что будущее за литературно-публицистическими еженедельниками. Мелкие динозавры пережили больших. Правда, ненадолго.

По мнению Дмитрия Быкова, у нынешнего читателя просто отсутствует орган восприятия сложных текстов — как отрезало! Куда же катимся — к азбуке Морзе, первичному перестукиванию?

— Я бы сказал, что у нынешних читателей отсутствует орган восприятия не сложных, а длинных книг. Борхеса или Павича прочли, да еще как. Сегодня нельзя писать томами, как это можно и даже нужно было делать вчера. Именно поэтому я читаю только старые толстые книги. Сейчас, например, в третий раз “Волшебную гору”.

Как по-вашему, кого из пишущих на кириллице (ушедших и здравствующих) стоило бы «продинамитить», позвонив из Стокгольма?

— Мертвых слишком много — всех не перечислишь. Из живых — Искандер, выдумавший свой мир, на манер Макондо Маркеса. Его преступно обходят шведы. Еще — Сорокин, который создал целую библиотеку постсталигартной литературы, причем — дважды.

У вас постоянная страница в московской «Новой газете». Се — эссеистика, утонченная, замечательная, причем без примесей. А безбашенные вопросы мироустройства и злободневности вам малоинтересны?

— Редактор “Новой” Дмитрий Муратов 10 лет назад благородно предложил мне чрезвычайно соблазнительную должность “писателя в газете”. С тех пор «Новая газета» стала не работой, а образом жизни. Я пишу в ней уже пятую книгу — главу за главой, на глазах читателя, то есть под куполом без сетки.

Для актуального и большого у меня есть «Радио Свобода», где я могу говорить и писать, не боясь никого подвести в России.

Для нас доисторическая «родина, родинка, родники» — Москва и Волгоград, Воробьевы горы да Мамаев курган — в фаворе и поныне. А как вам нынешняя Латвия, Рига, откуда есть пошла ваша эмиграция?

— Поскольку я не совсем понимаю значение слова “родина”, то Россию, хотя мне и довелось родиться в Рязани, я осторожно решил считать родиной моего языка. Рига, Балтика, мне близки чисто физиологически. Мне там хорошо дышится — влажно, прохладно, свободно и земляника пахнет детством.

В какой земной точке вам наиболее комфортно душевно?

— В любой, где есть базар, музей, лес, горы, на худой конец — Венеция.

Вот мечтается порой прочесть «Поминки по Финнегану», книжку переворошить — да где там! Куды!.. Вы никогда не грустили, что не родились «на английском»?

— Да, бывает, я жалею, что не родился англичанином. С еврейми это бывает, думаю, из-за противоположности темпераментов. Холерики часто завидуют флегматикам. Колумнист «Нью-Йорк таймс» Дэвид Брукс говорил, что родители его учили так: “Think Yiddish, behave English”. А с “Финнеганом” я тоже боролся — за полгода прочел до 11-й страницы. В “Камасутре” подробно рассказывается история нашей борьбы. Утешает меня только то, что выучить английский несравненно проще, чем русский. Хотел бы я послушать, как полиглот Джойс выговаривает “выкарабкивающиеся”.

Каковы ваши творческие планы-семидневки — какую книгу начинаете заканчивать?

— Я в третий раз взялся за мемуары, когда понял, что ничего другого писатели вообще не пишут. Разница только в жанрах. На этот раз в ней нет цитат, зато много людей и пейзажей. Первую часть — о рижской юности вплоть до отъезда, я уже почти закончил. Она будет называться “Янгарный трактор”. Это не только метафора, но и реальная вещь редкого идиотизма, которая хранится в музее янтаря в Паланге.

И напослед: что бы вы пожелали добрым израильтянам и всем, всем, всем?

— Совсем недавно я вдруг понял, что отношусь к Израилю с такой нежностью и заботой, которых раньше в себе не подозревал. Нельзя любить всех евреев, но можно — есть за что — любить один Израиль, как, скажем, древнюю Грецию. У них много общего: остров цивилизации в архипелаге варваров. Поэтому пожелать могу только одно: держитесь.



Илья Корман

НАРЕЧЕНИЕ ЖИВУЩИХ

Проза Фолкнера: имена и судьбы

Содержание:

Имена «с претензией»

Маленький полковник

«Сакральные» имена

Рыцарь Ланселот

Люди и животные: родство по обонянию

Люди и животные: родство по именам

О трёх Нэнси

О двух Милли

Обратный случай Минка Сноупса

Итоги

Имена «с претензией». У Фолкнера особая значимость некоторых имён может обсуждаться как в «авторском тексте», так и в высказываниях и мыслях персонажей. Вот, например, в «Свете в августе» обсуждается имя Кростмас (Рождество): «— Его зовут Кростмас, — сказал он. — Как зовут? — переспросил один. — Кростмас. — Иностранец, что ли? — А ты слышал когда, чтобы белого человека звали Кростмасом? — спросил мастер. — Я вообще не слышал, чтобы человека так называли, — сказал другой.

И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит, — если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе — как цветок несет свой запах, как гремучая змея — гремушку. Только ни у кого из них не хватило ума понять намек.

Подобным же образом в «Авессаломе...» Компсон-старший объясняет сыну происхождение имени Клити: «да, Клити тоже была его (Томаса Сатпена, — И.К.) дочерью. Клитемнестра. Он сам дал ей это имя. Он всем давал имена сам — всем своим отпрыскам ... Впрочем, мне всегда хотелось думать, что какой-то чисто драматургический инстинкт побудил его не только породить дочь, но и дать ей имя верховного прорицателя собственной гибели, и что он намеревался назвать Клити Кассандрой и просто перепутал имена по ошибке, естественной для человека, который наверняка выучился грамоте чуть ли не самоучкой».

Маленький полковник. В рассказе «Поджигатель» нет сколько-нибудь подробного обсуждения имени мальчика — любопытного составного имени *полковник Сарторис*, а есть на сей счёт лишь реплика судьи: «— Как тебя зовут, маль-

чик? — спросил судья. — Полковник Сарторис Сноупс, — прошептал он. — Вот как? — изумился судья. — Говори громче. Значит, так и окрестили тебя от рождения полковником? Ну, тот, кто окрещён в честь полковника Сарториса, должен говорить только правду. Не так ли?». Конечно, так. И мальчик пусть не сразу, пусть лишь к концу рассказа, но порывает с отцом-поджигателем, уходит из семьи — то есть, совершает поступок, которого от него требует его, мальчика, имя. Говорящее, требующее имя.

«Сакральные» имена. Но часто «требующее имя» требует слишком многого, требует невозможного — и что тогда делать герою? Тут возможны три варианта поведения.

Чаще всего герой начинает вести себя «противоположно имени». Так, в рассказе «Когда наступает ночь» есть персонаж по имени Иисус. Ясно, что вести себя соответственно *такому* имени — невозможно. Иисус и не пытается. На его лице — шрам, полученный в драке. Он уже отсидел срок в тюрьме, но не угомонился, и у него всегда при себе бритва на шнурке — ну и так далее. А в романе «Святылище» есть героиня — девушка по имени Темпл (Храм). Но как под «Святылищем» понимается нечто прямо противоположное, так и Темпл ведёт себя совсем не по уставам храма — какого бы то ни было. Не самым лучшим образом ведёт себя и Квентина («Шум и ярость»), носительница благородно-романтического («вальтерскоттовского») имени. В «Когда я умирала» один из сыновей носит имя Джул (Jewel — драгоценный камень, сокровище). Но по характеру, по манере поведения он из тех, о ком говорят: «не подарок».

Другой вариант поведения являет дядя Квентины, Квентин. Он, Квентин, остаётся верен благородному характеру своего имени, он не желает меняться, приспособливаться к духу наступающей эпохи, и потому — добровольно уходит из жизни.

И наконец, третий вариант поведения являет Лэмп Сноупс.

Рыцарь Ланселот. Рэтлиф говорит миссис Литтлджон: «А всё этот новый приказчик. Сноупсов подголосок. Ланселот. Лэмп. Я знал его мамашу».

Лэмп Сноупс, быть может, самый циничный и жестокий из Сноупсов. Хотя он называет себя Лэмп, и все его так зовут, но, как мы теперь знаем, его подлинное имя — Ланселот. Но подлинное имя «слишком благородное», оно мешало бы Лэмпу быть самим собой, циничным и жестоким. И потому он предпочитает короткое пробивное Лэмп. Что ж, нежелание Лэмпа называться «обманным» именем Ланселот — это ведь проявление своеобразной циничной честности, не правда ли?

Нет, у него правдивый взгляд. Его глаза не лгут. Они правдиво говорят, что их владелец — плут.

Впрочем, можно выразиться несколько иначе. Можно сказать, что Лэмп *сменил имя*, предъявлявшее к нему невыполнимые требования, на другое, более отвечающее духу наступившей эпохи — и не обременённому благородством духу самого Лэмпа.

До сих пор мы рассматривали каждое имя изолированно от других. Но имена могут вступать друг с другом в отношения — парные и групповые. Так, в «Шуме и ярости» вырождение рода Компсонов можно проследить по именам героев: *Джейсон, Мори, Бенджи, Квентин* (Последнее имя — Quentin — является и

мужским, и женским. А в русском переводе оно расщепляется на Квентин и Квентина). В данном случае не важно, что имя Квентин взято из Вальтера Скотта («Квентин Дорвард»), Бенджи (=Бенджамин=Вениамин) — из Библии, а Мори — «ниоткуда не взято и ничего не означает». А важно, что герои «ходят парами», каждая пара под одним именем, как под знаменем. И отсюда возникает дополнительная смысловая нагрузка.

Джейсон: отец и сын.

Мори: дядя и племянник. Племяннику потом, когда станет окончательно ясным, что он от рождения неполноценен, дадут другое имя: Бенджи. Согласно хронологической таблице, составленной Эдмондом Л. Волпэ, это произойдёт в ноябре 1900 года, то есть на переходе от 19-го века к 20-му. Неудачная попытка обмануть судьбу и вписаться в новый век.

Квентин (Quentin): дядя и племянница (племяннице дают имя дяди-самой убийцы, наложившего на себя руки ещё до её рождения).

Здесь важно отметить, что второй персонаж в паре нравственно и/или интеллектуально уступает первому: происходит *вырождение*.

Отметим ещё, что повторение имён внутри узкого семейного круга чем-то сродни заключению браков внутри этого круга — браков, ведущих к вырождению (ср. инцестуальное влечение Квентина к его сестре Кэдди).

Люди и животные: родство по обонянию. У Фолкнера человек ещё не вполне выделился из природной среды, он ещё крепко связан с землёй («клочком земли размером с почтовую марку»), её флорой и фауной. Отсюда — обилие лесных, охотничьих, а также «индейских» и «негритянских» рассказов и тем. Отсюда же и особая роль растений и запахов. У героев Фолкнера чувство обоняния обострено (особенно у негров, по сравнению с белыми. Так, в «Авессаломе...», в погоне за сбежавшим архитектором, Томас Сатпен пускает своих негров по следу, как собак). Кто не различает запахов, тот, в лучшем случае, нелепый и никчёмный человек (Уилфред Миджлстон в «Чёрной музыке»), а в худшем — недочеловек, выродок (Лупоглазый в «Святылище»).

Вот, например, несчастный идиот Бенджи («Шум и ярость») — очень даже различает запахи: «Кэдди присела, обняла меня, прижалась ярким холодным лицом к моему. Она пахла деревьями»; «— Здравствуй, Бенджи, — говорит Кэдди. Открыла калитку, входит, наклонилась. Кэдди пахнет листьями»; «У ручья стирают, хлопают. Одна поет. Дым ползет через воду. Пахнет бельем и дымом».

В этих трёх примерах запахи — реальные. Так сказать, «запахи жизни». Но Бенджи различает и *метафизический* запах, запах смерти:

«...и стало темно. Я замолчал (перестал плакать, — *И.К.*), чтоб вдохнуть, и опять, и услышал маму (её плач, — *И.К.*), и шаги уходят быстро, и мне слышно запах. Тут комната пришла (включили свет, — *И.К.*), но у меня глаза закрылись. Я не перестал (плакать, — *И.К.*). Мне запах слышно. Ти-Пи (негритянский мальчик, внук Дилси, приставленный нянькой к Бенджи, — *И.К.*) отстегивает на простыне булавку. — Тихо, — говорит он. — Тш-ш.

Но мне запах слышно. Ти-Пи посадил меня в постели, одевает быстро.

— Тихо, Бенджи, — говорит Ти-Пи. — Идем к нам. Там у нас дома хорошо, там Фрони. Тихо. Тш-ш.

Завязал шнурки, надел шапку мне, мы вышли. В коридоре свет. За коридором слышно маму.

— Тш-ш, Бенджи, — говорит Ти-Пи. — Сейчас уйдем.

Дверь открылась, и запахло совсем сильно, и выставилась голова. Не папина. Папа лежит там больной (на самом деле: мёртвый. Слова «мёртвый», «смерть» слишком абстрактны, чтобы входить в словарь идиота. Бенджи чувствует смерть, но *слова* такого не знает, — *И.К.*).

— Уведи его во двор.

— Мы и так уже идем, — говорит Ти-Пи. Взошла Дилси по лестнице.

— Тихо, Бенджи, — говорит Дилси. — Тихо. Веди его к нам, Ти-Пи. Фрони постелет ему. Смотрите там за ним. Тихо, Бенджи. Иди с Ти-Пи.

Пошла туда, где слышно маму.

— У вас там пусть и остается. — Это не папа. Закрыв дверь, но мне слышно запах.

Спускаемся. Ступеньки в темное уходят, и Ти-Пи взял мою руку, и мы вышли через темное в дверь. Во дворе Дэн сидит и воет.

— Он чует, — говорит Ти-Пи. — И у тебя, значит, тоже на это чутье?»

Вот рассказ «Запах вербены» (заключительная часть «Непобеждённых»). Герой, от лица которого ведётся повествование — молодой человек. Он изучает право в колледже и готовится стать правоведом. Но не «правоведом в футляре», знающим только пыльные фолианты. Наш молодой человек не уступит «правоведу в футляре» в знании законов, но он ещё умеет скакать на коне и стрелять из пистолета (хотя стрелять в человека противно его натуре; но уметь — умеет), он различает запахи растений (той же вербены, например: «И я пошел к площади, под жарким солнцем. Был уже почти полдень, вербена у меня в петлице пахла так, как будто вобрала в себя все солнце, все томление несвершившегося поворота на зиму, и возгоняла этот яркий зной, и я шел в облаке вербены, словно в облаке табачного дыма») и голоса птиц: «Вскоре козодой смолкли, и я услышал первую дневную птицу — пересмешника. Я всю ночь его слышал, но то было дремотное, лунатическое повсвистывание, а теперь он запел по-дневному. Затем вступили остальные — зачирикали воробьи у конюшни, подал голос живущий в саду дрозд, перепел доносясь с выгона — и в комнате посветлело».

Для героев Фолкнера время — их настоящее и их прошлое — размечается не только событиями, но и запахами. Событиями запахов. Или, если угодно, запахами событий.

Вот в рассказе «Жила однажды королева» Нарцисса собирается рассказать девяностолетней Вирджинии Дю Пре нечто очень важное. Это касается тех анонимных писем с непристойными предложениями, которые Нарцисса получала, когда ещё не была женой Баярда.

«— Это всё из-за тех... — начала она, садясь. — Подожди, — перебила её старуха. — Подожди, пока ты ещё не начала. Жасмин. Слышишь, как он пахнет? — Да. Это всё из-за...»

— Подожди. Этот запах всегда появляется примерно в один и тот же час. Он появился в этот же час в июне пятьдесят семь лет назад. Я привезла их в корзине из Каролины. Помню, как в тот первый год, в марте, я однажды всю ночь напролёт жгла газеты возле их корней. Слышишь, как он пахнет?»

Люди и животные: родство по именам. В период своей дружбы с Шервудом Андерсеном Фолкнер сочинял истории и рассказы о полулюдях-полуживотных (истории эти никогда не были опубликованы). В этих историях человек не был чем-то биологически отделившимся, удалённым от мира животных или рыб (человек-акула, например). Разумеется, эти рассказы и истории сочинялись «не всерьёз». В «настоящих», «серьёзных» произведениях Фолкнера подобных монстров, кентавров или амфибий, нет. Но по косвенным признакам определённое родство фолкнеровских героев-людей и «героев»-животных всё-таки можно проследить. Можно, например, сопоставить имена людей с именами (кличками) животных.

Как это ни странно, в мире Фолкнера очень мало *животных кличек* (из них особого упоминания заслуживает пёс по кличке Лев (Lion) в «Медведе»), зато вместо них — человеческие (и даже божественные: Юпитер) имена.

Мулицы Кэти («Медведь») и Алиса («Осквернитель праха»), псы Генерал («Сарторис»), Дэн («Шум и ярость»), Моисей («Сойди, Моисей»), лошади/кони Боб («Непобеждённые»), Рузвельт и Тафт (мерины, впряжённые в одну повозку, носят имена 26-го и 27-го президентов США — «Сарторис»), литературный жеребец Роб Рой и литературная же кобылица Гризельда («Уош»), Цезарь («Нагорная победа»), Бетси («Непобеждённые») и Юпитер (вернее, даже два Юпитера: один в «Лисьей травле» и один в «Непобеждённых»), мулы Тесть и Стоик в тех же «Непобеждённых».

Вот в «Сарторисе» мы видим лисицу, носящую человеческое имя (Эллен) и ведущую себя как человек: Баярд Сарторис едет на пони по кличке Перри (Перри — человеческое имя). «Баярд резко остановил Перри — на краю поля у самой дороги сидела лисица. Она сидела на задних лапах, как собака, и глядела на деревья за прогалиной, и Баярд снова пустил Перри вперёд. Лисица повернула голову и украдкой окинула его быстрым, но совершенно спокойным взглядом, который заставил его в полном изумлении остановиться. Лай собак, бегущих по лесу, приближался, но лисица сидела на задних лапах, украдкой поглядывая на человека и не обращая никакого внимания на собак... Лисица поднялась, ещё раз украдкой окинула взглядом всадника и, окружённая пёстрой дружелюбной толпой усталых щенков, вышла на дорогу и скрылась за деревьями. — Ну и чертовщина! — сказал Баярд, глядя им вслед. — Поехали, Перри».

Но мало этого: часто оказывается, что одно и то же имя в одном месте (в одном произведении) обозначает животное, а в другом — человека. Только что мы цитировали отрывок из «Сарториса», и в нём Эллен была лисицей, хотя и с человеческими повадками. А в «Авессаломе...» Эллен — женщина, дочь Гудхью Колдфилда, выходит замуж за Томаса Сатпена.

В том же «Сарторисе» Руби — собака (сука). А в «Святылище» Руби Ламар — женщина.

Джон Генри. В «Сарторисе» он — молодой негр, в «Диких пальмах» — мул.

Алиса. В «Свете в августе» она — приютская девочка, единственная из всех детей проявляющая внимание к маленькому Кристмасу. А в «Огне и очаге» она —

мул (вернее, мулица: «О пропаже мула Эдмондс узнал вечером... Это была пяти-соткилограммовая мулица, трехлетка, по имени *Алиса* Гнутая Стрела...»). И в «Осквернителе праха» (1948) упоминается «старая одноглазая охотничья мулица *Алиса*, не боявшаяся даже медвежьего духа». Но вообще-то впервые *Алиса* появляется в «Солдатской награде» (1926), причём там она ... — бутылка виски!

Дэн. В «Шуме и ярости» — пёс, а в «Похитителях» — человек: старый Дэн Гриннап.

Злые комнатные собачки *Мисс Реба* и *Мистер Бинфорд* в «Святылище», причём *мисс Реба* — хозяйка публичного дома — героиня того же «Святылища», а *мистер Бинфорд*, ныне покойный, был её любовником. *Моисей (Мозес)*. В «Сойди, Моисей» — пёс, в «Лисьей травле» — «*дядя Мозес*» (вернее, «*Унс Мозе*» — в негритянском произношении), негр, ходящий за лошадьми в конюшне.

В той же «Лисьей травле» мы наблюдаем настойчиво проводимую аналогию между женщиной (женой Блера) и лисицей. Во-первых, они обе — «самки». Во-вторых, ни у жены Блера, ни у лисицы нет имени — своеобразная (нулевая, если можно так выразиться) форма *совпадения* имён. В-третьих, подчёркивается внешнее, чисто физическое, сходство жены Блера с лисицей («Я раз слышал, как он...<Блер, — *И.К.*> сказал ей такое, чего женщине при людях не говорят, и у нее глаза стали красные, как у лисицы, а потом опять рыжие, как лисицын мех») или с кобылой («узел ее мягких шелковистых волос отсвечивал в косых лучах солнца тем же цветом, что и круп рыжей кобылы»; «а он возьми и купи ей эту рыжую кобылу — под цвет ее волос»). Кобыла здесь (тоже «самка») — как бы посредница между женщиной и лисицей. Наконец, в-четвёртых, вызывающе-настойчивые ухаживания мистера Готри за женой Блера уподобляются охоте на лисицу.

До сих пор речь шла об именах (кличках) *домашних* животных: лошадей, собак и т.д. (лисица *Эллен* тоже росла в доме, с людьми и собаками). Но вот в «Медведе» мы видим лесного зверя, нападающего на домашний скот, и тем не менее этот зверь, этот хищник носит человеческое имя: «*Старый Бен* был медведь особый (медвежьим царём величал его генерал Компсон) и потому заслужил не кличку, но имя, какого не постыдился бы и человек».

В рассказе «Уош» тяжеловесная, неудачная шутка Сатпена, стоившая ему жизни (« — Жаль, Милли, — сказал Сатпен, — что ты не кобыла. Я поставил бы тебя в хорошее стойло у себя на конюшне») продиктована «сходством» и одновременно двух событий: кобыла Гривельда ожеребилась, а Милли, внучка Уоша, *родила* (от Сатпена). Событие в животном мире «почти зеркально отражается в человеческом».

Вообще, конская тема у Фолкнера — особая, даже внутри темы животных вообще. Она стала основой полудетективной повести «Ход конем». В «Пригче» она приобрела даже фантастический оттенок — трёхногий необгонимый конь, побеждающий на всех скачках.

Напомним, что и «в жизни» Фолкнера лошади занимали много места. Вот отрывок из беседы на семинаре в Нагано, Япония (1955-й год):

«Фолкнер: ... Охоту? Охоту я люблю. И уж если говорить о моем хобби, то это прежде всего лошади. Мне очень нравится растить и выезжать лошадей.

Вопрос: Есть ли у вас лошади?

Фолкнер: Да, есть.

Вопрос: Сколько же?

Фолкнер: Пять.

Вопрос: И каких?

Фолкнер: Одну я выездил как скаковую, другую — как охотничью, и могу мчаться на ней по равнине вслед за гончими, преследуя дичь. Сейчас я работаю еще одну лошадь, которую хочу сделать спортивной лошадью — для соревнований. Остальные лошади — для работы, их впрягают в тележки, экипажи и так далее.

Вопрос: Отчего вы любите лошадей?

Фолкнер: Думаю, я унаследовал эту привязанность. Мой отец был заядлым лошадиником. И мои первые воспоминания детства — о лошадях: я сижу на пони, пасущемся на зеленой лужайке.» [5, 184].

(И конечно, не будем забывать, что «принял он смерть от коня своего» — писатель умер от последствий падения с лошади).

Учитывая всё это, рассмотрим сюжет с именем Нэнси.

О трёх Нэнси. Эти совпадения человеческих имён и животных кличек — случайны ли? Мы не знаем. Но, кажется, в одном случае можно с уверенностью говорить о неслучайности.

В «Шуме и ярости» (1929) Нэнси — это имя лошади. Кэдди говорит: «Нэнси упала в ров, и Роскус ее пристрелил, и прилетели сарычи, раздели до костей». Ну, «до костей» — это вольность переводчика (О. Сороки), добавленная для лучшего понимания. У Фолкнера просто «and undressed her» — «и раздели ее».

А в рассказе «Когда наступает ночь» (1931) Нэнси — женщина-негритянка, и дом её находится по ту сторону рва (очевидно, того же самого рва). «Чуть не каждое утро приходилось бежать к дому Нэнси и звать её, чтоб она скорей шла и готовила завтрак. Мы останавливались у рва ... и отсюда принимались кидать камнями в дом Нэнси, пока, наконец, она, совершенно голая, не подходила к дверям». Значит, когда Нэнси была лошадью, то «раздели», а когда Нэнси — женщина, то «совершенно голая». Наследуется не только имя, но и обстоятельства. Когда рассказ «Когда наступает ночь» заканчивается, Нэнси ещё жива, но ясно, что она будет убита в самом скором времени.

Нэнси-негритянка фигурирует и в «Реквиеме по монахине» (1951). По утверждению Фолкнера, это тот же персонаж, что и в «Когда наступает ночь» («Вопрос: Существует ли какая-нибудь связь между Нэнси в романе «Реквием по монахине» и в рассказе «Когда наступает ночь»? Фолкнер: Это один и тот же персонаж. Я руковожу своими героями, имею право перемещать их во времени, когда мне это представляется необходимым».)

Но мы здесь не можем согласиться с Фолкнером. Нэнси полагается быть давным-давно зарезанной своим бывшим сожителем из «Когда наступает ночь», а не ожидать повешения по приговору суда в «Реквиеме по монахине». Поэтому мы считаем, что речь идёт о двух разных Нэнси, хотя и похожих.

Итак, из одной Нэнси-лошади (в «Шуме и ярости») получаются две Нэнси-негритянки — одна в «Когда наступает ночь», а другая в «Реквиеме по монахине». Две метаморфозы с тремя инвариантами. Инварианты следующие: 1. Женское имя — и вообще принадлежность к женскому полу. (Отметим, что у Фолкнера *всегда, при всех метаморфозах, сохраняется пол.* Оговорка требуется лишь для Алисы —

бутылки виски. Бутылка — предмет неодушевлённый, и потому пола не имеет. Не следует путать понятия *пол* и грамматический *род*). 2. Подневольное состояние (низкий социальный статус). Не дикий табун и вольная кобылица в нём, а дом с конюшней, и в ней — лошадь для хозяйственных работ («Шум и ярость»). Или — неграмотная негритянка, прислуживающая белым хозяевам («Когда наступает ночь») и «Реквием по монахине»). 3. Трагичность судьбы (упала в ров и застрелена; зарезана сожителем; повешена по приговору суда).

Эти три инварианта — общие для обеих метаморфоз. Но если рассмотреть по отдельности каждую из них, то могут обнаружиться дополнительные — локальные — инварианты. Один из них мы уже упоминали: «раздели» («Шум и ярость») — «голая» («Когда наступает ночь»). Можно назвать ещё два. Первый: отнюдь не безупречное поведение Нэнси-женщин в прошлом. «Путалась с белыми» («Когда наступает ночь»), «шлюха» («Реквием по монахине»). Второй: Наличие рва, отделяющего дом Нэнси-негритянки от дома Компсонов («Шум и ярость» и «Когда наступает ночь»). В этот ров падает Нэнси-лошадь, и в нём же прячется Иисус, ждущий, чтобы Нэнси осталась в доме одна.

О двух Милли. Имя Милли у Фолкнера — страдательное (чего сам писатель, по-видимому, не замечал). Первый раз оно появляется в «Свете в августе», второй — в «Авессаломе...». В обоих случаях Милли — незамужняя девица, вступающая в связь с мужчиной, рождающая от него незаконного ребёнка и убиваемая своим близким родственником: отцом или дедом. В «Свете в августе» убийство Милли — косвенное (отец запрещает оказывать дочери какую-либо помощь при родах, она умирает, а выживший младенец подбрасывается в приют). В «Авессаломе...» убийство настоящее, причём дед убивает и свою внучку, Милли, и новорожденную правнучку. В обоих случаях, т.е. и в «Свете...» и в «Авессаломе...», убивается также мужчина, с которым Милли вступила в связь, причём мужчина убивается первым, а Милли — второй. Вот какие страсти скрываются, как в ящике Пандоры, в имени Милли — таком вроде бы обычном имени.

Обратный случай Минка Сноупса. О Минке Сноупсе рассказывается в «Посёлке» и в «Обособнике»: первой и третьей частях трилогии. Две версии кое в чём не стыкуются. Так, в «Посёлке» Минк умеет писать (передаточная надпись на обороте долговой расписки, при покупке швейной машинки), в «Обособнике» же он умеет только «читать по-печатному». И так далее.

Но в обоих романах Минк — неудачник. Несчастья прямо-таки липнут к нему. Тяжёлая бесконечная работа в поле. Изнурительная тяжба с Хьюстоном... Убийство... Пёс Хьюстона мешает спрятать тело... Минка везут в тюрьму, он пытается бежать — и что-то себе ломает. Уже из тюрьмы он пытается бежать — и получает второй срок: двадцать лет. Теперь он больше не пытается бежать, но пытаются бежать его «товарищи» по кандалной команде — и Минк чудом остаётся в живых — и попадает в лазарет. И так во всё. «Я-то думал, убьешь человека, и на этом точка, — сказал он себе. — Не тут-то было. Теперь только оно и началось». Бывают, конечно, везучие люди, и бывают невезучие, но с Минком просто какая-то патология. И мы хотим знать, в чём её корни.

Корни — в имени *Минк*. *Minck* по-английски — норка (зверёк вроде хорька). Для американского уха имя звучит необычно. Рэтлиф пытается его вспомнить:

«Клин? Блин? Шплинг? Имя такое, вроде клички... ах да — Минк». Вроде клички! Значит, в американском английском клички животных всё-таки существуют?

В беседе с начальником тюрьмы (после неудачного побега, подстроенного Флемом) Минк говорит: «Ко мне в лазарет приходили эти молодые ребята из газеты. Все спрашивали, как меня зовут, я говорю Минк Сноупс, а они говорят — Минк не имя, это какая-то собачья кличка. Как, говорят, ваше настоящее имя?».

Если *Минк* для американского уха — собачья кличка, то всё плохое, что происходит с Минком, вся совокупность маленьких и больших несчастий — это *собачья жизнь*. Вот почему столь велика роль пса Хьюстона, мешающего Минку спрятать труп как следует: «собачья кличка» *Минк* как бы притягивает пса. Если фолкнеровским животным даются человеческие имена, «возвышающие» их до человека, то случай Минка Сноупса — обратный: человеку даётся имя (кличка!), «снижающая» его до животного. (Впрочем, впервые имя Минк появляется ещё в «Шуме и ярости», там его носит эпизодический персонаж: негр-кучер).

Итоги. Эти шесть (если угодно — семь) имён — полковник Сарторис, Иисус, Темпл, Квентин(а), Джул, Ланселот — обладают двумя свойствами: они яркие, декларативные, «с претензией», сразу обращают на себя внимание.

Несмотря на яркость, они простые, «одномерные». Не считаясь ни с чем, они предъявляют своим носителям очень высокие требования. Носители же демонстрируют четыре варианта поведения: уход из семьи и «следование за своим именем» (полковник Сарторис); уход из жизни (Квентин); «обратное поведение» (Иисус, Темпл, Квентина, Джул); смена имени (Ланселот — Лэмп).

К другому, совершенно особому типу относится имя Кристмас. Оно: 1) яркое, как в предыдущем случае 2) но при этом ещё и сложное, «многомерное». Предсказать судьбу персонажа, это имя носящего, невозможно. Можно только сказать, что судьба эта не будет рядовой.

И наконец, есть имена неприметные, от которых никаких сюрпризов не ждёшь: Милли, Минк, Нэнси. Тем не менее, они развёртываются в сложные сюжетно-ассоциативные построения.

Настоящими заметками тема имён у Фолкнера отнюдь не исчерпана. Внимательный читатель заметил, надо полагать, что мы никак не комментировали «литературное» имя Байрон, промелькнувшее в начале статьи. Ещё более «литературным» является составное имя Перси Гримм («Свет в августе»). Ещё до прихода Гиглера к власти Фолкнер вывел тип молодого убеждённого расиста, напоминающего гиглеровского штурмовика. Так вот: первая часть этого составного имени есть имя поэта Шелли, а вторая часть есть фамилия братьев Гримм. Словом, тема имён у Фолкнера ещё ждёт своего исследователя.

Литература

1. «Сарторис»//Уильям Фолкнер. Мастера современной прозы. США. Изд-во «Прогресс», Москва 1973.
2. «Шум и ярость»//Уильям Фолкнер. Избранное. М., «Терра» - «Тетта», 1997.

3. «Свет в августе»//Библиотека литературы США. Уильям Фолкнер. М., «Терра», 1999.
4. «Авессалом, Авессалом!»// Уильям Фолкнер, изд-во «Гудьял-Пресс», М.,1999.
5. Уильям Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. М., «Радуга», 1985.
6. Уильям Фолкнер. Собрание рассказов. Кишинев, изд-во «Лумина», 1989.
7. Уильям Фолкнер. «Посёлок». Харьков, изд-во «Фолио», 1998.
8. Уильям Фолкнер. «Город». Харьков, изд-во «Фолио», 1998.
9. Уильям Фолкнер. «Особняк». Харьков, изд-во «Фолио», 1998.



Елена Брызгалова

МНОГОГОЛОСИЕ И МНОГОМЕРНОСТЬ В ОСВЕЩЕНИИ СОБЫТИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ Е. КУРГАНОВА

В статье представлен анализ особенностей изображения Отечественной войны 1812 года в исторических романах Е.Я. Курганова. Соотношение документального начала и вымысла, усложнение коммуникативных отношений автора и читателя, перемена точек зрения — это и многое другое отличает прозу данного писателя от других. Доказывается, что произведения Е.Я. Курганова, имеющие идейным центром образ войны 1812 года, образуют единое полотно, многомерное и панорамное. Утверждается, что наибольший интерес для читателей и литературоведов представляет роман «Шпион Его Величества, или 1812 год (историко-полицейская сага)», достаточно полно представляющий эпоху, интереснее всего построенный и на сегодняшний день еще полностью не опубликованный. Автор романа, прибегнув к оригинальной композиционной структуре, побуждает читателя к тому, чтобы он составил собственное представление об описанных событиях. Текст произведения состоит из дневника главного героя и приложений — записок других участников событий, которые хранятся в бумагах главного героя и полны его примечаний. Показано, что в романе предложена «многоголосая» версия происходящего, в которой мнения участников то согласуются, то вступают в противоречие друг с другом.

Ключевые слова: война; автор; читатель; герой; точка зрения; современная литература; историческая проза.

Е.Я. Курганов — известный литературовед, автор работ по истории и теории анекдота, в последнее десятилетие заявил о себе как интересный и серьезный прозаик, автор ряда исторических романов. Среди них выделим те, что посвящены изображению войны 1812 года. Это романы «Шпион Его Величества, или 1812 год (Историко-полицейская сага в четырех томах)», «Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта (Невероятный, но правдивый роман)», «Первые партизаны, или Гибель подполковника Энгельгардта (Роман-документ в пяти частях с прологом и эпилогом)», «Завоеватель Парижа (Биографическая хроника с картинками эпохи)». Основным концептом и идейным центром всех этих произведений, является война. Каждое из них показывает эпоху в определенном ракурсе и с точки зрения героев — участников событий. Вместе взятые, они образуют единое полотно, многомерное и панорамное. Но несомненно, что наибольший интерес для читателей и литературоведов, с точки зрения обозначенной нами проблемы, представляет роман «Шпион Его Величества, или 1812 год (историко-полицейская сага)», наиболее полно представляющий эпоху, наиболее интересно построенный и, к сожалению, пока еще полностью не опубликованный.

Огромную роль в реализации концепции войны и создания концептосферы романа играет его композиция. Композиционная структура произведения сложна и своеобразна. Прежде всего бросается в глаза ее многослойность. Основной текст,

который имеет форму дневника Якова де Санглена, создателя русской тайной военной полиции при Александре I, дополняется приложениями — записками других участников событий, которые хранятся в бумагах главного героя и полны его примечаний, дописок на полях и пояснений.

Таким образом, в романе предложена «многоголосая» и противоречивая версия происходящего, в которой мнения участников то согласуются, то противостоят друг другу, но при этом всегда «работают» на то, чтобы изображение получилось многомерным и чтобы читатель смог составить собственное представление об описанных событиях.

Созданная в романе композиционная структура позволила Е. Курганову уйти от авторского диктата в освещении исторических событий: это Санглен в своем дневнике описывает происходящее таким, каким он его видит. Он же комментирует дневник Алины Коссаковской [Курганов, 2013], записки финансиста Абрама Перетца [Курганов, 2014] и «секретные прибавления к мемуарам А. Чарторыйского» — «Книгу Адама» [Курганов, архив авт.а]. Он, постоянно высказывая сомнение в правдивости написанного ими, оценивает, полемизирует с мемуаристами, опровергает или подтверждает их высказывания. Например, предвзято дневник графини Алины краткой справкой, Санглен пишет, что это «сплошное вранье. Верить ... не стоит». И далее продолжает: «Сие сочинение носит пасквильный характер, и я отказываюсь рекомендовать его к печатанию» [Курганов, 2013]. Об Адаме Чарторыйском он высказывается резко, поддерживая действия царя, фактически обманувшего своего недавнего любимца и нарушившего обещание сделать его наместником Польши, называя их «суровыми и справедливыми» [Курганов, архив авт.а]. Оправдывает он и позицию царя в истории с Перетцем, пожертвовавшим в 1812 г. свое огромное состояние для нужд русской армии и не получившим никакой компенсации после окончания войны.

Характеры героев, особенности их личностей, их позиции и взгляды на войну и эпоху так до конца и не проясняются для читателя, даже когда он переворачивает последнюю страницу произведения, прочитав все, включая приложения, потому что остается слишком много противоречий и возможностей для различных интерпретаций. И это не упущение автора, а его осознанная позиция и признание читателя как со-творца, наделенного правом иметь собственное мнение о рассказанном. Более того, автор использует своего рода провокационную стратегию: разъяснение по поводу тех или иных сюжетных коллизий он поручает одному из героев-мемуаристов, в то время как другой (чаще всего Санглен) его опровергает. Например, борьба русской тайной полиции и польской графини Коссаковской постоянно заканчивается ее арестом, побегом из-под стражи и дальнейшим появлением в наиболее важных и потому уязвимых для русских местах: при попытке покушения на царя, в Москве, в которую вскорости должна войти армия Наполеона, при подготовке и проведении Веского конгресса и др.

Сначала мы узнаем обо всех перипетиях этого длительного поединка из дневников Санглена. Читатель, основываясь на его записях, считает Алину виновной в ряде преступлений против российского государства. Он с интересом следит за тем, что и как предпринимает полиция для ее поимки, и всякий раз разочаровывается, когда ей удастся ускользнуть. Казалось бы, все ясно, так как на эту версию работает и дневник самой героини, объясняющей мотивы своих действий любовью к родине, ненавистью к России и стремлением способствовать возрождению «великой Польши» [Курганов, архив авт.а]. Это же, пусть и косвенно, подтверждается

в мемуарах Чартгорьского — еще одного вельможи, желающего возродить польскую государственность. Поэтому у читателя складывается определенное представление о героине. Но оно опровергается в записках Перетца: он высказывает мнение, что графиня мало того, что была двойным агентом и выполняла поручения Аракчеева, так еще и состояла в любовной связи с Сангленом. Это, с его точки зрения, и объясняет ее удачливость при побегах из-под стражи. Мемуарист утверждает, что предоставил царю доказательства в виде выкраденных любовных записок, и это способствовало падению директора воинской полиции.

Подобный сюжетный поворот не только опрокидывает читательские представления, сложившиеся ранее, но и в новом свете подает главного героя романа, поскольку противоречит очень многому из того, что тот писал в своем дневнике. Казалось бы, теперь-то все ясно: читатель наконец получил возможность все «разложить по полочкам» и составить окончательное мнение. Но «позднейшие вставки» Санглена страстно опровергают обвинения финансиста в его адрес: «Невыносимая клевета! Плод воспаленного воображения господина Перетца, и более ничего! Упоминаемых им писем и в помине не было. Никогда. Ручаюсь головою. Да ежели бы даже графиня Коссаковская и стала вдруг писать мне любовные записочки, то зачем мне было хранить их среди бумаг канцелярии Высшей воинской полиции? Я бы тут же их уничтожил. В общем, налицо наглая выдумка господина Перетца» [Курганов, 2014].

Обе точки зрения логически верны: один герой говорит о предоставленных доказательствах, другой уверяет в их ложности. Читатель, уже знакомый и с дневником Санглена, и с дневником Алины, оказывается в своеобразном тупике, так как ни в одном из них не было даже намека на возможную связь героев. Автор при этом остается в стороне, предоставляя читателю самому решить, кто прав и кому верить. А для того, чтобы ему окончательно определиться в своем отношении к героям, придется подождать собственную «доказательную базу», которая будет состоять из множества фактов и мнений. Может быть, он еще раз перечитает какие-то фрагменты, найдет в них подсказки и тогда окончательно разрешит для себя, кто прав, Перетц или Санглен.

Таким образом, дневниковая форма повествования в романе Е. Курганова из монологической превращается в диалогическую: каждый повествователь рассказывает о своей версии происходящего, а Санглен корректирует и опровергает то, что говорят остальные повествователи. Все это способствует созданию совершенно особой атмосферы недоговоренности, множественности мнений и сомнений в правоте того или иного рассказчика. Читатель постоянно оказывается перед необходимостью учитывать то, что все четверо находятся между собой в сложных отношениях и преследуют каждый свои собственные цели. К тому же читателю приходится учитывать, что среди основных героев только Алина Коссаковская — вымышленный персонаж, а остальные — реальные исторические лица, оставившие свой след в истории страны и в той или иной степени повлиявшие на эпоху.

Это характерно не только для данного романа, но и для всей исторической прозы писателя, посвященной эпохе 1812 г. Не только главные, но и многие второстепенные герои его романов — реальные люди. Отзывы современников о них дошли до наших дней и рисуют нам людей неоднозначных, часто оставивших по себе противоречивые мнения современников. Судя по романам, автора привлекают люди яркие, способные на самостоятельные действия, готовые к самопожертвованию, но далекие от того, чтобы выглядеть идеальными. Автор открыто говорит об этом в предисловии в одном из фрагментов «Шпиона...»: «В 1812-м году и во-

обще в царствование Александра I происходило много фантастического, и личности на политическом небосклоне тогда были зачастую нереально яркие, крупные, оригинальные, каждая из которых обладала своей индивидуальной стилистикой, четко выраженным творческим почерком, сильной характерологической отметиной и вместе с тем резким индивидуальным своеобразием» [Курганов, архив авт. б].

Под это определение подходят все главные герои романов о той эпохе. Например, Павел Иванович Энгельгардт («Первые партизаны, или Гибель полковника Энгельгардта» [Курганов, б]) в энциклопедических и биографических источниках предстает как несомненный герой, под страхом смерти отказавшийся от сотрудничества с французами и от предательства [Энгельгардт]. А в романе, где приводятся отрывки из реальных свидетельств и документов, он предстает еще и неуживчивым, скандальным, малопривычным в глазах соседей человеком [Курганов, б].

Графа Ивана Витта («Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта» [Курганов, а]), несомненно, человека храброго, некоторые современники считали предателем и не без оснований называли согладатаем царя. В биографических справочниках упоминаются свидетельства генерала П.И. Багратиона, назвавшего Витта «лжецом» [И.О. Витт], и Ф.Ф. Вигеля, считавшего его редким интриганом [И.О. Витт]. Военные историки нашего времени восторгаются его талантом разведчика [Шигин], в то время как можно встретить и резко отрицательное мнение: «Его ордена омыты кровью и слезами жертв» [Абросимов]. Курганов учитывает все это, его Витт — человек из плоти и крови, ему свойственно ошибаться, увлекаться, испытывать разные чувства. Но несомненно одно: он верен своей стране, даже если его понятие о верности расходится с читательским.

О реальном Якове де Санглена («Шпион его величества...») в романе приведены отзывы его современников, среди которых А.И. Герцен, Н.И. Греч, Ф.Ф. Вигель, Т.П. Пассек и др. [Курганов, в]. Современники в большинстве своем отзывались о нем отрицательно. Автор объясняет все это так: «Вообще надобно признать, что негативная репутация Санглена во многом исходила из российского жандармско-полицейского мира николаевского времени и, может быть, даже во многом формировалась в пределах этого мира. Это, видимо, объясняется тем, что Санглен был личным шпионом Александра I, знал множество государевых тайн, и, соответственно, в царствование Николая I он оказался совершенно не ко двору. Можно даже сказать, что его побаивались, побаивались того, что он может рассказать» [Курганов, архив авт. б]. Но были и те, кто воспринимал Якова де Санглена положительно — эти отзывы также приведены в романе. По мнению современного нам исследователя, Санглен «имел репутацию двуличного человека» [Кочуев, 2012]. Современный военный журналист и историк А.Ю. Бондаренко считает, что «современники побаивались его... даже тогда, когда он был частным лицом» [Левкова].

Итак, о каком бы из героев ни шла речь, автор уходит от однозначной оценки человека, представляя его с разных сторон. Писатель называет свои романы «реконструкциями» и на основе реальных фактов, документов и свидетельств создает собственные картины, в которых реальность подвергнута художественной обработке, а документы придуманы. В результате создается иллюзия предельного правдоподобия, что и привносит в произведения Е.Я. Курганова публицистический оттенок, поскольку они воспринимаются читателем именно как документальное повествование. Реальные исторические лица, мощный документальный фундамент, дневниковая форма повествования — все это способно ввести читателя в заблуждение и заставить интерпретировать вымышленное как реальное. Например,

некоторые придуманные писателем факты обрели самостоятельность и используются другими авторами в публикациях о реальных людях как достоверные. Так, краевед из Рыбинска И. Кочуев в статье, посвященной реальному Я. де Санглену, пишет, что он участвовал в «амурных похождениях» императора Александра, в то время как это вымышленный факт из романа Е. Курганова [Кочуев, 2012].

С другой стороны, то, что придумано, вполне могло происходить и в реальности. Например, история шарлатана Франца Леппиха, который обещал Александру I сделать «большой (воздушный — Е. Б.) шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, по ветру и против ветра» [Курганов, 2011а, с. 88], и получил под этот проект большие деньги, введена в роман для того, чтобы передать общую атмосферу, царившую при дворе накануне сдачи Москвы противнику и характеризовавшуюся оторванностью от реальности, неумением понять и принять очевидное и нежеланием брать на себя ответственность за промахи и ошибки. По сути не важно, имел ли место этот эпизод в реальности, — он мог быть, потому что не противоречил этой реальности: неудачный опыт воздухоплавания мог и состояться. Известно, что во Франции первые воздушные шары поднимались в воздух за несколько лет до Великой французской революции, то есть в 80-е гг. XVIII в., значит, русский самодержец вполне мог увлечься идеей использования воздушного шара в военных целях вместо того, чтобы заниматься делами армии. Таким образом, вымышленное и реальное подается автором в одном ряду и оправдывает его формулу «если это и не происходило, то вполне могло произойти»: «Все, без исключения, персонажи — вплоть до самых эпизодических — реальные исторические лица. Практически все описанные события имели место, а если не имели, то вполне могли бы иметь» [Курганов, 2005, с. 6].

В результате роман представляет собой правдивый портрет эпохи, основанный на единстве самых разных начал и взглядов. Исходя из этого, можно сказать, что авантюрное начало, выраженное в сюжетной линии борьбы Санглена и Алины, естественным образом включено в сферу начала эпического, документального, основанного на борьбе государств и народов. Вымышленные люди и события вписываются в логику реальных документов и свидетельств. Само повествование облечено в документальную форму, ведь дневники и записки — это документы эпохи. Сочетание публицистического и художественного начал в прозе Е. Курганова и специфика документальности в его произведениях уже становились предметом научного осмысления [Брызгалова, 2013], поэтому в данной статье нет смысла останавливаться на этой проблеме.

Дневники Якова де Санглена составляют большую часть повествования. Все происходящее мы видим его глазами, к нему сходятся все сюжетные нити в четырех томах «полицейской саги». Каждый том делится на части, которые состоят из эпизодов. Но Санглен не только автор дневника, он своеобразный дирижер, руководитель оркестра, в котором у каждого из героев своя партия. В справке, предваряющей одно из приложений, автор говорит о Санглене, что он «на протяжении многих лет собирал письма, дневники, воспоминания, посвященные памятной эпохе 1812-го года» [Курганов, 2014]. Его архив — это и есть роман, в котором личностное становится одним из проявлений всеобщего. Дневники и записки героев передают жизненный опыт людей той эпохи, их восприятие происходящего. Не случайно автор называет мемуары финансиста Перетца «своего рода исповедью, историко-психологически чрезвычайно показательной» [Курганов, 2014]. В картине эпохи частные свидетельства обретают иной, более глубокий смысл, выражают ее суть, характер и становятся ее объективными составляющими.

Литература

Абросимов А. В поисках крестного отца Виттовской улицы / А. Абросимов // Newfavorite: Культурно-информационный ресурс [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.newfavorite.net/vitt.htm> (дата обращения: 01.12.2013).

Брызгалова Е.Н. Художественное и публицистическое начала в исторической прозе Е. Курганова / Е. Н. Брызгалова // Colloquium: Volume di contribute scientifici internazionali; a cura di U. Persi e A. V. Polonskij. — Bergamo — Belgorod: Edizioni “POLITERRA”, 2013. — P. 22–32.

Иван Осипович Витт // Хронос. Биографический указатель [Электронный ресурс]. — URL: http://www.hrono.info/biograf/bio_we/witt_io.php (дата обращения: 12.09.2013).

Кочуев И. Шпион его величества / И. Кочуев // Рыбинская неделя. — 2012. — № 40 (217), от 10.10.2012 [Электронный ресурс]. — URL: week.ru/article/g-a-4198.html (дата обращения: 12.10.2013).

Курганов Е. Генерал-шпион, или Жизнь графа Витта / Е. Курганов [Электронный ресурс]. — URL: <http://iaelita.ru/aelitashop/item/zavoevatel-parizha-cikl-zabytuye-general-1812-goda.html> (дата обращения: 07.12.2013).

Курганов Е. Первые партизаны, или Гибель подполковника Энгельгардта / Е. Курганов [Электронный ресурс]. — URL: <http://iaelita.ru/aelitashop/item/pervye-partizany2.html> (дата обращения: 20.2.2014).

Курганов Е. Шпион Его Величества, или 1812 год. Июль — сентябрь 1812 г. Москва (историко-полицейская сага) / Е. Курганов. — Москва : Икс-Хистори, 2011. — 352 с.

Курганов Е. Шпион Его Величества, или 1812 г. Апрель — июль. Вильна (историко-полицейская сага) / Е. Курганов. — Москва : Икс-Хистори, 2011. — 384 с.

Курганов Е. «Где соль, там и Перец»: Эпизод из историко-полицейской саги “Шпион Его Величества” / Е. Курганов. [Электронный ресурс] // Заметки по еврейской истории. — 2014. — № 1 (171). — Январь. — URL: <http://berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer1/Kurganov1.php> (дата обращения: 18.01.2014).

Курганов Е. Дневник Алины. Бумаги из архива военного советника Якова Ивановича де Санглена / Е. Курганов. [Электронный ресурс] // День и ночь. — 2013. — № 6. Журнальный зал. — URL: <http://magazines.russ.ru/din/2013/6/29k.html> (дата обращения: 12.02. 2014).

Курганов Е. Шпион его величества / Е. Курганов // Нева. — 2005. — 12. — С. 6–98.

Курганов Е. Книга Адама (Секретные прибавления к мемуарам А. Чарторыйского) / Е. Курганов // Архив автора.

Курганов Е. Шпион Его Величества (историко-полицейская сага). Москва. Охота на французов (конец июня — первая половина июля 1812 года) / Е. Курганов // Архив автора.

Курганов Е. Шпион Его Величества, или 1812 год (историко-полицейская сага в четырех томах). Том первый. Петербург — Вильна. Март — июнь 1812-го года / Е. Курганов [Электронный ресурс]. — URL: <http://flibusta.net/b/173131> (дата обращения: 07.12.2013).

Левкова А. Яков де Санглен: начальник русской контрразведки. Беседа с военным историком Александром Бондаренко / А. Левкова // Радио Голос России [Электронный ресурс]. — URL: rus.ruvr.ru/2010/09/30/23124959.html (дата обращения: 21.12.2013).

Шигин В. Шпирлиц XIX века / В. Шигин // Независимое военное обозрение [Электронный ресурс]. — URL: http://nvo.ng.ru/spforces/2005-06-24/7_shtirliz.html (дата обращения: 09.09.2013).

Энгельгардт Павел Иванович (1774-1812) // Наполеон и революция [Электронный ресурс]. — URL: <http://impreur.blogspot.ru/2012/12/1774-1812.html> (дата обращения: 25.09.2013).



Борис Гасс

КРЕСТОВЫЙ МОНАСТЫРЬ ^[1]

Народ грузинский очень привязан к своей земле. И трудно представить себе грузина, счастливого вне родины. Может, именно поэтому и видится мне таким задумчиво-грустным Крестовый монастырь в Иерусалиме.

Построенный грузинскими подвижниками на заре нашего тысячелетия, он прошел через все мытарства и заключения, какие только ни выпали на долю этого мужественного народа. И сегодня, томясь в греческом плену, он взывает о помощи, ждет не дождется своего подлинного хозяина.

Первое упоминание о Крестовом монастыре мы встречаем в летописном своде "Картлис цховреба" ("Житие Грузии"). Грузины с глубокой древности начали запечатлевать важнейшие события своей жизни, судьбы. Летописцы, казалось, страшились мысли, что деяния их современников могут быть преданы забвению, и каждое поколение оставляло идущим на смену подробное описание своей эпохи. История Грузии, можно сказать, писалась по горячим следам событий.



Монастырь креста в Иерусалиме

Согласно этому своду, обращение Картли в христианство было совершено в IV веке при царе Мириане. Летописец приводит в числе других чудес и такое апокрифическое сказание.

...Как-то Мириан пошел на охоту в горы. В самый разгар погони за дичью вдруг померкло солнце, стало темно, хоть глаз выколи. Царь заблудился, остался один посреди леса. Он стал молить своих богов о помощи. Тщетно. Тогда Мириан вспомнил бога проповедницы новой религии Нино — Христа, помолился ему, и в то же мгновение тучи расступились, ярко засветило солнце.

^[1] Борис Гасс «Крестовый монастырь» Изд. «Кахоль-лаван», Иерусалим, 1990.

Царю Мириану открылся свет истинной веры. Вернувшись в Мцхету, он объявил христианство дозволенной в Грузии религией. А вскоре последовало и крещение грузинского народа в водах реки Мтквари Куры...

Насколько свято хранят грузины память о тех событиях давно минувших лет, можно судить хотя бы по недавнему, начавшемуся 31 мая 1989 года, шествию верующих при молитве и благословении патриарха Ильи Второго по следам крестительницы Картли. Повторив весь путь святой Нино от Параванского озера до Мцхеты, они 13 июля вновь приняли крещение у слияния рек Арагви и Куры.

Весть о добровольном обращении Грузии в христианство достигла ушей греческого царя Константина, который в знак поощрения религиозного рвения Мириана подарил ему участок земли в Иерусалиме.

По другой версии, поддерживаемой и нынешним патриархом всея Грузии, царь Мириан не получил этот участок в дар, а купил его.

Было это так или иначе, но грузины стали обладателями того самого клочка земли, на котором некогда росло дерево, послужившее римлянам материалом для сколачивания креста.

История этого дерева такова.

Праотец Авраам дал своему племяннику Лоту три отростка разных пород: кипариса, кедра и ели. А Лот посадил их вместе, дабы испытать судьбу и узнать, прощен ли он за грехи. Вскоре произошло чудо, свидетельствующее о Божьей милости: три дерева срослись в единый ствол. Затем это дерево срубили для храма царя Соломона. Но по какой-то причине строители им не воспользовались. И оно долгое время валялось перед храмом, служа скамьей для молящихся. Когда же римлянам понадобилось дерево твердой породы для распятия Христа, они выбрали этот ствол Лота.

Кстати сказать, пересказ этой легенды в картинках в давние времена украшал стены Соборного храма Крестового монастыря. Но в более поздние эпохи те фрески были стерты или закрашены новыми владельцами храма. Сейчас лишь жалкое подобие тех древних иллюстраций можно увидеть в крохотном, смежном с храмом помещении.



Жертвоприношение Авраама (северо-восточный усть)

Царь Мириан построил на новоприобретенной земле церковь, большего он не успел.

Следующим радетелем грузинской святыни в Иерусалиме стал Вахтанг Горгасал. Летописец характеризует Вахтанга, венчавшегося на царство в пятнадцатилетнем возрасте, как мудрого правителя и бесстрашного воина. Оказывается, на

шлеме Вахтанга был изображен волк, за что разбитые им иранцы и прозвали его горгасалом, что на языке фарси означает "волчья голова". Разгромив персидских, а затем и греческих притеснителей, царь Вахтанг обратил взор на внутренние нужды страны. Эпохой расцвета называют летописцы период царствования Вахтанга Горгасала. Он также является основателем Тбилиси. При Вахтанге развернулось и строительство новых храмов. Не оставил царь без призора и грузинскую церковь в Иерусалиме. Один из летописцев рассказывает даже о паломничестве царя Вахтанга в Палестину. Известно также, что Горгасал снарядил в Иерусалим гарнизон грузинских всадников, которому вменялось в обязанность охранять Крестовый монастырь от любителей легкой наживы. Посланцы царя поселились недалеко от монастыря, основали село Малха и из поколения в поколение передавали завет Вахтанга — защищать храм от притеснителей.



Храм Крестового монастыря (интерьер)

Деканоз Кончовили, который в конце прошлого века путешествовал по Палестине, еще успел увидеть это село в целости и сохранности.

«Поблизости от Крестового монастыря, в так называемой "лощине роз", — писал он, — находится местечко Малха. В нем живет 600 человек обоого пола. Ходит молва, будто жители Малхи являются потомками переселенных сюда в V веке, во время царствования Вахтанга Горгасала, грузин для защиты Крестового монастыря от врагов. Они позабыли родной язык и веру отцов. Но понаслышке все же знают, что являются потомками переселенных сюда некогда с далекого севера иноплеменников, и называют себя "гурджами". Живущие неподалеку от этого местечка арабы считают их пришлым, чужим племенем.

Говорят они по-арабски, немного по-татарски и по-гречески. Они охраняют и обслуживают Крестовый монастырь, обрабатывают монастырские земли и виноградники. Монастырю отдают всего лишь третью часть урожая. Но церковники не могут передать земли другим арендаторам, ибо боятся недовольства среди малхиан. Лицом, характером и обычаями они отличаются от живущих по соседству с ними арабских племен».

Иракий Абашидзе, посетивший в составе научной экспедиции Иерусалим в 1960 году, застал Малху, так сказать, при последнем дыхании.

Израильский ученый пояснил ему, что сейчас там почти никого нет. Жителей опустевшего ныне села переселили во время недавней войны куда-то далеко. А раньше здесь жили арабы, которые почему-то называли себя "гурджами". Последнее поколение местных жителей рассеялось по Палестине, затерялось, так и не узнав, что их дальние предки действительно были "гурджами" — грузинами. И. Абашидзе оставалось только воскликнуть: "Малха... Малха... Прощайте, необычные лицом своим и характером арабы! Совсем недавно, кажется, только вчера, закончилась ваша горестная история..."

Еще через шесть лет в Израиль была направлена группа работников грузинского телевидения для съемок Крестового монастыря. Писатель Илья Руруа рассказывает, что нашел на месте Малхи "сплошь развалины, однако и в этих развалинах можно различить знакомые нам архитектурные формы и линии — каменные дома с типично грузинскими окнами, каминами и стенными шкапами, неотъемлемые атрибуты нашего быта — марани, огромные врытые в землю чаны для вина, увы, заполненные ныне камнями..."

При царе Вахтанге Горгасале Крестовый монастырь приобрел новый вид, был расширен и украшен храм, наведен надлежащий порядок вокруг церкви.

Надпись на грузинском языке на одной из плит у алтаря гласит: "Сей святой и пречестный монастырь Креста с Божьей помощью был построен царем Вахтангом Горгасалом".

С годами вокруг Крестового монастыря разрасталась грузинская колония, появлялись новые поселения, странно-приемные дома. Большая заслуга в этом принадлежит выдающемуся грузинскому философу Петру Иверу-Грузину, в миру — Мурваносу.

Как повествует автор жития Петра Ивера, будучи царевичем, Мурванос с младых лет проявлял склонность к отшельничеству и долгим молитвам. Но в двенадцатилетнем возрасте был насильно отправлен к греческому кесарю. Оказываясь, греки опасались, как бы грузины не сблизились с персами, и потребовали в "залог дружбы" царского наследника. Через несколько лет Мурваносу и его верному другу все же удалось бежать из греческого дворца и добраться до Иерусалима. Там они приняли монашество в церкви Гроба Господня и новые имена. Мурваносу нарекли Петром, а его друга — Иоанном. За сравнительно короткий срок Петр Ивер и Иоанн Лаз построили в Иерусалиме ксенон ~ гостиницу для грузинских паломников. Немало забот они уделили и Крестовому монастырю. Слава о деяниях грузинских монахов распространялась со скоростью света. И вскоре по настоянию патриарха Петр вынужден был переехать в Маиму (Газу) в качестве епископа. Конечно, вместе с неразлучным Иоанном. Петр Ивер умер глубоким старцем и был похоронен в своем же монастыре, рядом с Иоанном Лазом. Так утверждает упомянутый нами автор жития святого Петра Ивера-Грузина.

В сороковых годах уже нашего века итальянский археолог Вирджилио Корбо, проводя на месте того монастыря раскопки, обнаружил две пустые могилы. Куда же девались останки грузинских подвижников? По предположению Шалвы Нуцубидзе, в конце XII века, когда "монастырь Петра Ивера был превращен в развалины мусульманскими завоевателями, останки Петра и Иоанна, по всей вероятности, были перенесены в Крестовый монастырь". Когда же в начале XIII века туда прибыл Шота Руставели, то "первое, что он сделал, "разукрасил" храм как обновлением старых фресок, так и новыми. Среди этих фресок имеются изображения Петра Ивера и Иоанна Лаза рядом". Таким образом, заключает Ш. Нуцубидзе, же-

ление Петра о совместном упокоении его с неразлучным другом нашло выражение не только в погребении их в соседних могилах, но и в изображении рядом на стенах Крестового монастыря.

Небезынтересно отметить и такую деталь. Если фресковый портрет Петра Ивера не вызывает у ученых сомнений, то изображение Иоанна Лаза породило разные трактовки. Оно сопровождается надписью "пусть чресла ваши будут перепоясаны и свечи зажжены", и поэтому одни ученые считают эту фигуру символическим изображением великой схимы. Другие же доказывают адекватность портрета облику Иоанна ссылкой на рассказ биографа грузинских философов, который пишет: "...пока были они [Петр и Иоанн] в монастыре на берегу Иордана, лицо последнего поразила болезнь и разедала его, затмевала свет его глаз, и стеснялся он своей хвори, и прикрывал лицо". А на фресковом изображении монаха в Крестовом монастыре мы видим повязку на его глазах. С какой точностью старались художники запечатлеть внешность изображаемого лица! Так и хочется предположить, что и портрет Шота Руставели на колонне храма сохранил какие-то черты облика великого поэта...

Но вернемся к первой половине XI века, когда на средства грузинского царя Баграта Куропалата Крестовый монастырь был полностью перестроен. Всеми работами руководил монах Прохор Шавтели. Он же и стал первым настоятелем грузинского Крестового монастыря в Иерусалиме. Надпись на юго-восточном устье храма сообщает: "Я, недостойный настоятель Крестового монастыря и святой Голгофы, расписал сие с превеликим трудом и усилиями, аминь".

Прохор, оказывается, собрал вокруг себя около сорока братьев во Христе, обеспечил их всем необходимым, определил правила и законы монастырские и велел трудиться не покладая рук.

Прохор Шавтели скончался в 1066 году "от трудов праведных и старости". Построенный им с помощью монашеской братии Соборный храм Крестового монастыря сохранился и до наших дней.

В течение веков за Крестовым монастырем все прочнее утверждалась слава средоточия культурных связей Грузии с остальным христианским миром, он стал очагом зарубежной грузинской историографии. Созданные или переписанные в его стенах сочинения выносили на международную арену лучшие достижения грузинской философской и духовной мысли. Недаром Крестовый монастырь называют праматерью всех грузинских церквей и монастырей зарубежья. Отцы и главы других грузинских центров культуры считали себя обязанными жертвовать книги или рукописи главной вне страны обители национальной культуры — Крестовому монастырю. И не удивительно, что некогда в специальных помещениях храма содержалось богатое рукописями и свитками книгохранилище. Однако в результате постоянных набегов, пленения монахов и разграбления церковного имущества библиотека монастыря была почти полностью разорена.

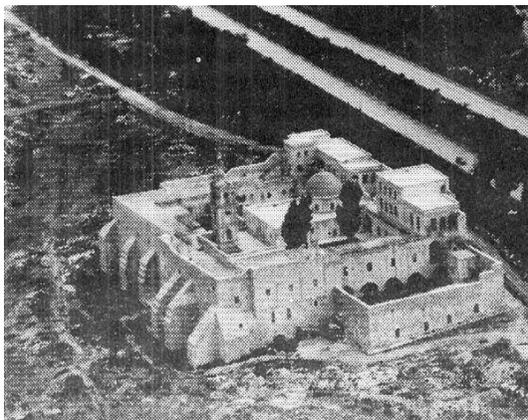
После взятия Иерусалима Саладином книгохранилище Крестового монастыря оказалось в таком жалком состоянии, что, по словам летописца, «нигде не осталось ни одной страницы рукописи или книги». Что уцелело от огня, продавалось «за гроши на иерусалимском рынке». И только через несколько десятилетий, вернув себе монастырь, грузины принялись вновь пополнять хранилище ценными экспонатами. Сегодня они сиротливо лежат на архивных полках греческой патриархии.

Илье Руруа с друзьями посчастливилось проникнуть в то помещение.

«... Спустившись по лестнице и пройдя лабиринт, — рассказывает он, — мы очутились у закрытых на замок дверей неказистой стеклянной галереи.

Неужели это и есть известная библиотека, о которой мы столько слышали, столько читали?

Из маленькой прихожей, служащей кабинетом управляющего библиотекой Артемиоса, попадаешь в темные и сырые комнаты — их две. Пол этих, с позволения сказать, книгохранилищ находится на уровне земли. На полках шкафов, источенных древесными червями и прогнивших от сырости, лежат грузинские фолианты. Рассматриваешь кожаные или папирусные свитки, принявшие столько пыток и мук, и думаешь о людях, истинных подвижниках, которые ценой многих лишений создали эти творения.



Крестовый монастырь с птичьего полета

Благоговейно снимаем с полки древнюю книгу, осторожно переворачиваем пожелтевшие страницы, вглядываемся в нанизанные, как жемчуг, буквы... Написанные сангиной строчки растекаются по страницам, словно свежеспролитая кровь...

В глубине души мы боялись за судьбу этих рукописей, вдруг их уже не существует, вдруг их растаскали, затеряли. И, честно говоря, немного успокоились, когда нашли их на месте.

Но на месте ли они, наши грузинские сокровища, здесь ли, так далеко от Грузии, должны они лежать, покрытые слоем пыли и ежедневно подвергаемые опасности погибнуть, исчезнуть без следа.

Изъеденные молью и сыростью, рассыпанные, неуложенные, они словно молят о пощаде, и если мы своевременно не протянем руку помощи, то жить им осталось недолго.

И еще вопиющий случай, происшедший на глазах у грузинских ученых в 1960 году. О нем поведал нам в «Палестинском дневнике» очевидец — Иракий Абашидзе.

«Ксантопулос быстро скользнул на алтарь. Там, где хранился легендарный корень дерева креста Христова, он нащупал в тайнике серебряный ларец. Открыли его. В нем оказался золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. Это тот самый крест, который в 1643 году был пожертвован монастырю по поручению Дадиани Никифором Чолокашвили.

Между прочим, этот крест и грузинская надпись на нем не описаны ни Цазарели, ни другими путешественниками, поэтому он совершенно не был известен нашей науке. И вдруг этот уникальный крест с грузинской надписью оказался в руках архимандрита Крисантия.

Мы настойчиво просили, требовали хотя бы на несколько дней оставить в монастыре этот крест для научного изучения. Но святые отцы даже слушать нас не хотели.

Крисантий поспешно завернул в какие-то тряпки драгоценное, уникальное произведение искусства, и служители бога бросились из монастыря.

Мы поехали вслед за ними. Машина патриарха остановилась у греческого консульства. Мы вновь попросили о разрешении хотя бы сфотографировать на пленку этот неизвестный науке уникальный памятник грузинской культуры. Патриарх посмотрел на нас холодными глазами.

Заметив, что мы не на шутку взволнованы, Крисантий передал нам затем высочайшие и милостивые слова патриарха: приходите сюда завтра поутру и сфотографируйте крест.

Забегая вперед, скажу, что, придя на следующее утро в консульство, мы узнали: греческий патриарх в тот же день уехал из Иерусалима (хорошо еще, что наши ученые успели в монастыре переписать от руки надпись на кресте).

Кто знает, где и какому богачу попадет в руки этот крест — уникальный образец прославленного грузинского искусства золотования!..»

Перечитывая этот отрывок, я вспомнил об открытом не так давно в Иерусалиме музее греческой патриархии и решил поискать среди экспонатов тот грузинский крест. Может, греки не продали его, как предполагал И. Абашидзе, а оставили у себя и сейчас выставили на обозрение посетителей. Кстатисказать, очень редких.

Увы, креста в музее не оказалось. Расстроенный неудачей, я прощально оглядел небольшой зал и... не поверил своим глазам: на стене висело панно с грузинскими надписями по бокам.

Интересно, знают ли грузинские ученые о существовании этого панно, ду- мал я, нацеливая на картину аппарат, надо срочно послать фото в Тбилиси. Впрочем, если и знают, то наверняка считают его пропавшим или уплывшим за океан вдогонку за чолокашвилевским крестом...

А сколько фрагментов настенной росписи было растащено, распродано, перекочевало в разные музеи и частные собрания, разве счесть!

Немецкий ученый А. Баумштарк, изучавший в начале XX века фрески Крестового монастыря, рассказал, как «при разрушении дополнительных помещений храма части его росписи были сняты со стен и перенесены в соседнее, темное помещение... на них были изображены великолепные, характерные головы философов».

Из других источников мы узнаем, что в 1910 году Крестовый монастырь посетил принц Иоганн Георг Саксонский и нашел в темном помещении храма десять фрагментов древней росписи с изображением голов. Четыре из них находились в полуразрушенном состоянии. Остальные с разрешения патриарха были вывезены из Иерусалима и помещены в частной коллекции принца в Дрездене. Впоследствии фрагменты эти были проданы наследниками принца в музеи США.

Коль скоро зашел разговор о судьбе грузинских фресок в Крестовом монастыре, расскажу о событиях, свидетелем которых стал аз грешный.

Во время ремонта храма греческие церковники сняли с юго-восточной колонны все плиты с настенными росписями и набросали одну на другую в крохотном помещении верхнего этажа. Впрочем, одну — изображение Арсенавра с сыном — пощадили, повесив на стене.



Рисунок, исполненный Петербургским художником по зарисовкам Н. Чубинашвили в 1845 г. с фресок Крестового монастыря

Так и валялись те тяжелые плиты в душном сарае несколько лет. И только когда стало известно о скором приезде в Израиль главы грузинской церкви, греческий патриарх решил проявить заботу о задыхающихся фресках. Была выделена какая-то сумма денег, и художник Андрей Резницкий приступил к работе. Он залил плиты с обратной стороны бетоном, окаймил их алюминиевыми полосками и уложил на козлы в более просторном помещении опять же верхнего этажа. К тому времени, 18 октября 1987 года, приехал патриарх — католикос всея Грузии Илья Второй. Он осмотрел Крестовый монастырь и остался доволен состоянием грузинских реликвий. Видно, в спешке или по каким-то соображениям Илья Второй не стал выяснять судьбу снятых с упомянутой колонны фресок, как бы не заметил их исчезновения из храма. А вернувшись в Грузию, сказал корреспонденту «Литературной газеты», что «в хорошем состоянии как портрет Руставели, так и другие фрески». Визит главы грузинской церкви завершился, и греки облегченно вздохнули. А может, и пожалели о потраченных на приодевание плит деньгах. Ведь те фрески никто из высоких гостей так и не увидел. О продолжении работ по реставрации изображений уже не могло быть и речи. Художнику предложили быстро собрать инструменты и закрыть двери на ключ.

Вот и по сей день покоятся плиты с бывшими фресками в закрытом помещении, ставшем для них склепом. А время продолжает трудиться над уничтожением и без того жалких остатков росписи.

Некогда на той колонне были изображены сюжеты:

- Искушение Христа дьяволом;
- Святые Прохор и Лука;
- Орнамент;

Вознесение пророка Ильи;
Василий Великий и Иоанн Златоуст;
Святые Савва и Евфимий, у их ног Григорий Арсенавр с сыном;
«Премудрость создала себе дом»;
Святой Севастьян, у ног его Иоанн Гурули.

Не только молитвам и сочинению духовных книг посвящали себя принявшие крест жития вне родины монахи. Закладывая еще первые камни храма, они знали, каким опасностям подвергают и себя, и будущие поколения грузинского поселения в Иерусалиме. Поэтому опоясали святую обитель такой высокой и глухой стеной, поэтому оставили для входа в монастырь одну-единственную дверь — узкую, низкую, стиснутую глыбами. Вдвоем не уместиться, подняв голову, не пройти... Словом, превратили Крестовый монастырь в подобие крепости.

Во все времена, и в короткие периоды мирных передышек страны, и в годы войн или нашествий, каждый грузин — будь то царь, вельможа или простолюдин — считал своим святым долгом проявлять заботу о содержании и защите Крестового монастыря. И все же жизнь грузинской обители на чужбине протекала далеко не безбедно. Кто только не покушался на ее храм, чья только нога не топтала ее землю, чьи руки не предавали ее огню. И каждое пленение, осквернение Крестового монастыря воспринималось грузинами как национальное бедствие и личная трагедия. Всякая опасность, откуда бы она ни исходила, вызывала ответные действия. Так, в эпоху крестовых походов Грузия снарядила добровольческий отряд воинов, который влился в армию крестоносцев, прошел с ней длинный путь, а затем — может, по заранее намеченному плану — поселился в окрестностях Иерусалима, главным образом, у Крестового монастыря. Это способствовало тому, что при всех крестовых походах грузинский храм был избавлен от притеснений, даже пользовался уважением латинян. Когда же Саладдин захватил Иерусалим, встревоженная создавшимся положением царица Тамар направила к сарацинскому владыке специальных послов, которым удалось отвести от Крестового монастыря угрозу разорения.

В начале XIII века в Крестовый монастырь, как мы уже упоминали, вошел Шота Руставели. Какие беды или превратности судьбы привели великого поэта на старости лет в Иерусалим, остается загадкой. Вообще, о жизни Руставели мы располагаем скудными сведениями. Летописцы эпохи царицы Тамар, а их было не сколько, даже не упоминают имени гениального создателя «Витязя в тигровой шкуре». И не без умысла. Реакционное крыло грузинской церкви косо смотрело на автора поэмы, в которой ни разу не упомянута Святая Троица. А это воспринималось как отступничество от христианских догм. Реакционеры, пишет Саргис Цаишвили, не могли примириться со свободолобием автора «Витязя», церковь пыталась воспрепятствовать популярности поэмы, запрещая распространять списки ее текста. Имеются сведения о том, что почти весь тираж первого печатного издания поэмы (1712 г.) был сброшен в реку. Некоторые подробности об этом можно найти в труде русского историка Евгения Болховитинова, изданном в 1802 году в Петербурге. Он сообщает, что «поэма сия при царе Вахтанге Шестом была в Тифлисе напечатана, однако вскоре истреблена, так что ныне весьма редко можно видеть печатные оной экземпляры».

Другой исследователь литературы и переводчик нескольких отрывков из поэмы Руставели, напечатавший их отдельной книжкой в Тбилиси в 1885 году, Е.С. Сталинский, пишет в предисловии: "...Со времени появления в свет книги Руставели начинаются и первые гонения против его произведения со стороны духовенства того времени... которое, в виде охранения своей пасты от соблазна, приказало собрать экземпляры «Барсовой кожи» и сбросить их в реку Куру".

Более обстоятельно этот факт рассматривает автор научного труда об эпохе Руставели, переводчик «Витязя» на русский язык Шалва Нудубидзе.

Вообще, говорит он, официальная историография не сохранила сведений о людях мысли и пера, в какой-либо степени не укладывающихся в обычные нормы и требования этикета. Анализируя творчество современника Руставели, описца царицы Тamar Чахрухадзе, он приходит к выводу, что изгнание творца «Тамариани» было следствием идеологического расхождения с догматиками. Видимо, группа прогрессистов из-за их происков была рассеяна по миру, и Чахрухадзе, как затем и Руставели, пришлось искать приют в очагах грузинской культуры на чужбине. Чахрухадзе, заключает Ш. Нудубидзе, нашел пристанище в иерусалимском монастыре Креста, куда, согласно преданиям, немного времени спустя постучался и великий поэт-изгнанник Шота Руставели.

Грузинский народ сложил свой сказ об уходе Руставели в Иерусалим. По одной из легенд, безответная любовь к царице Тamar заставила великого поэта и министра финансов искать забвения в стенах далекого монастыря. По другой — смерть любимой царицы толкнула его на паломничество в Святую землю и поселение в том самом храме, о котором так неустанно пеклась Тamar. Заботы о грузинском монастыре в земном Иерусалиме поэт как бы приобщал к молитвам за упокой души возлюбленной царицы в Иерусалиме Небесном. Так называли в прежние времена рай...

Трудно поверить, что на протяжении всей жизни Руставели написал одноединственное произведение, пусть даже гениального «Витязя в тигровой шкуре». Этот вопрос возбуждает любопытство и споры ученых уже много лет. Высказывалось предположение, что перу Руставели принадлежит историческое произведение, своеобразная биография царицы Тamar. Католикос Антоний даже указывал на наличие такого сочинения и, приведя цитату из него, называл Руставели «выразителем жизни царицы Тamar». Однако стилистический анализ этой хроники и «Витязя» убедительно показал, что они написаны разными людьми. Последней по времени попыткой найти неизвестный руставелевский текст явилась брошюра Константина Григолия «Еще один летописец — историк Тamar», в которой автор доказывает совпадение приведенной Антонием цитаты с концовкой биографии царицы летописца Василия. Загвоздка лишь в том, считает Григолия, что эта концовка выпадает из всего текста летописи, как бы пристегнута к нему. Скорее всего, последние абзацы хроники времени царицы Тamar написаны не Василием, а взяты из другого произведения, то есть не дошедшей до нас рукописи Шота Руставели...

Очень обидно, что у грузинских ученых руки не доходят до книгохранилища греческой патриархии в Иерусалиме, может, среди грузинских свитков ждет своего часа и неизвестное творение Шота Руставели...

С приходом в Крестовый монастырь Шота Руставели начались работы по обновлению старых фресок и росписи купола храма. Видно, Руставели принадлежат немалые заслуги в оформлении церкви и составлении библиотеки, иначе монахи не посмели бы внести его имя в монастырскую летопись и, конечно, воспрепятствовали бы написанию его портрета на одной из колонн храма.

Фресковый портрет Шота Руставели находится на юго-западном устье между изображениями Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника. Некоторые ученые считают это соседство вовсе не случайным.



Св. Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин с Шота Руставели у ног (справа — деталь)

Иоанн Дамаскин был признанным в средние века основоположником духовной поэзии. Максим Исповедник известен как церковный деятель VII века и выдающийся мыслитель. Он был изгнан из Византии и нашел приют в Грузии. Поселился в Мурской крепости на вершине высокой горы — сообщает царевич Вахушти Багратиони — основал там монастырь, в котором и похоронен.

Учитывая эти сведения, напрашивается вывод, что Шота Руставелиощущал духовное родство с Иоанном Дамаскином и Максимом Исповедником и позаботился о том, чтобы его портрет оказался в окружении этих выдающихся людей.

Земной свой путь Руставели завершил в Крестовом монастыре. И хотя могилу его не могут найти и по сей день, многие ученые мужи сходятся во мнении, что Руставели похоронен или под колонной с его портретом или в радиусе нескольких метров от нее...

Думается, нас не должна расхолаживать неудачная попытка специальной экспедиции обнаружить могилу Руставели. Ведь времени у ученых было в обрез, да и целью являлась не могила, а портрет Руставели.

«Я хожу по монастырю, — рассказывает Ираклий Абашидзе, — и стараюсь определить то место, где, по преданию, находится могила Руставели. Это где-то у колонны с портретом Шота. И вдруг мне кажется, что слышу глухой шум, словно пол здесь сравнительно мягче и под ним пустота. Я вновь стучу ногой, и вновь отвечает мне глухой гул. Неужели? Зову на помощь Георгия Церетели. Ему тоже кажется странным этот шум. Склеп? Конечно, решаем мы, это место во всех случаях надо раскопать... Выйдя из церкви, мы неожиданно (почему-то только сегодня) обратили внимание на подвал. Он пуст. Только кое-где валяются доски от ящиков. Подвал уходит прямо под пол церкви.

— Вот тебе и могила Руставели, — разочарованно сказал Георгий Церетели.

Действительно, потолок подвала проходит именно в том месте церковного пола, где должна была быть могила Руставели...»

И все же делать поспешные выводы не стоит. Вопрос этот требует серьезных исследований на месте, археологических раскопок.

Существует предание и о могиле царицы Тамар в том же Крестовом монастыре.

В последние годы жизни Тамар становилась все более религиозной и, по словам летописца, ввела распорядок дня, согласный с молением и раскаянием в палестинском монастыре. А если сопоставить даты, то выяснится, что Тамар потянуло к Крестовому монастырю, когда Руставели уже не было в Грузии. Не послала ли она специально своего министра финансов и поэта разукрасить и привести в надлежащий вид грузинскую святыню?..

Если верить преданию, то каким чудесным образом могли попасть останки царицы Тамар в Иерусалим? Может, просто народная молва соединила, пусть после смерти любимого поэта с любимой царицей? Не будем гадать, перескажем лучше свидетельства историков — летописцев эпохи Тамар и сложенные народом легенды.

Царица Тамар скончалась 18 января 1213 года. Несколько дней тело усопшей отпевали в Мцхетском соборе, затем перенесли в Гелати и упокоили в родовой усыпальнице «рядом с отцами и праотцами». Однако все попытки археологов найти могилу Тамар согласно описаниям летописцев оказались напрасными.

Причину исчезновения останков Тамар объясняют народные сказания.

Румский султан, затаив злобу на Грузию и помня нанесенные царицей Тамар оскорбления его предшественникам, грозился совершить поход и осквернить ее могилу. Народ решил скрыть место захоронения великой царицы. В Гелати было сколочено двенадцать совершенно одинаковых гробов. В каком из них лежали останки Тамар, не знал никто. Юные рыцари вынесли одновременно эти двенадцать гробов из храма и направились в разные стороны. Засыпав могильные ямы землей, они собрались в лесу и в одном, как вздох, порыве пронзили себя кинжалами. Так юные рыцари унесли навеки тайну подлинной могилы царицы Тамар.

Согласно другой легенде, грузины отвели воды реки Риони, похоронили Тамар в ложе реки и затем вернули Риони в прежнее русло.

К этим сказаниям можно было бы добавить и версию израильского ученого Зезва Вильнаи, который в беседе с И. Руруа небезосновательно предположил, что «в храме Креста предавали земле сердца выдающихся царей, может, и сердце Тамар нашло вечный покой в Крестовом монастыре»...

На первый взгляд, все эти красивые легенды об исчезновении останков Тамар не имеют никакой научной ценности. И вдруг совершенно неожиданно они получили некоторое подтверждение. Грузинский ученый З. Авалишвили обнаружил в архивах Французской Национальной библиотеки письмо крестоносца Г. де Буа с сенсационными, можно сказать, сведениями. Письмо написано на латыни. Приведем его русский перевод с незначительными сокращениями.

«Преподабному отцу во Христе и горячо любимому повелителю, А., божьей милостью архиепископу безансонскому, от Г. де Буа, смиренного рыцаря. Так как мы знаем об интересе, который вы проявляете к нашему благополучию, мы охотно узнаете, что мы, моя жена и я, чувствуем себя хорошо. Что же касается слухов, которые ходят в земле обетованной и в других пограничных (границащих) областях к Западу, я хочу вас о них осведомить, и если я расскажу вам не обо всем, вы узнаете, по крайней мере, самую значительную часть.

Послушайте новую историю, достойную удивления: нас осведомили, и вестники, достойные доверия, нам это подтвердили, что какие-то христиане из Иверии, называемые грузинами, энергично восстали против неверных язычников; они составляют неисчислимое множество всадников и пехотинцев и уже, с божьей помощью, они форсировали триста замков и девять больших городов, озаботившись удержать наиболее сильные и превратить в пепел остальные. Один из этих городов, расположенный на Евфрате, был самым знаменитым из всех языческих городов: его повелителю, сыну вавилонского султана, плененного христианами, о которых я вам рассказываю, отрубили голову, хотя он и пытался спасти свою жизнь, предложив огромный выкуп. Что добавлю я еще? Со всех сторон идут на неверных множества, воодушевленные надеждой освободить святую землю. Благородный царь этих народов, которому шестнадцать лет, равен Александру [Македонскому] по доблести и могуществу, хотя отличается от него верой. Этот молодой человек везет с собой останки своей матери, столь могущественной царицы по имени Тамар: ибо при жизни она его побудила идти в Иерусалим, прося его, в случае когда она умрет, перенести ее останки к гробу господню. Глубоко чтя желания своей матери, царь намеревается похоронить ее в святом городе с согласия неверных, или вопреки ему».

Следует отметить, что известные грузинские ученые С. Какабадзе и Ш. Амиранашвили положительно высказались о возможной правдивости показаний французского рыцаря. «Прах царицы Тамар, — пишет Ш. Амиранашвили, — долгое время не был предан земле и находился в склепе. По установленному порядку ежегодно в день кончины царицы 18 января снимали плиту со склепа и справляли по ней поминальную. Этот факт установлен археологическими раскопками. Поэтому мы имеем право думать, что сведения французского крестоносца о Лаша Георги являются исторически правдивыми. Следует заметить также, что молодой царь Лаша Георги был известен как бесстрашный воин-рыцарь, и если учесть, что Грузия в XIII веке была сильным феодальным христианским государством, то Лаша Георгию, опытному участнику дальних военных походов, нетрудно было исполнить завещание своей матери»...

И уже совсем недавно в грузинской прессе появилось сообщение о находке греческого археолога при раскопках Крестового монастыря. Среди исключительно мужских могил он обнаружил два женских скелета.

Во второй половине XIII века, когда Грузия ослабла под ударами монгольских полчищ и уже не могла оказывать существенную помощь иерусалимской колонии, египетские мамелюки силой завладели Крестовым монастырем и превратили грузинский храм в мусульманскую мечеть. За отчаянное сопротивление насильникам мамелюки подвергли пыткам, а затем предали смерти вместе с горсткой защитников церкви и настоятеля монастыря Луку Мухаидзе-Абашидзе. Впоследствии грузинская церковь причислила Луку к лику святых. Фресковый портрет этого мученика находился рядом с изображением первого настоятеля Крестового монастыря на юго-восточной колонне Соборного храма.

Сведений о судьбе монастыря под мусульманским игом дошло до нас ничтожно мало. Однако о бесчинствах иноверцев в переделанных под мечети грузинских церквях можно судить по примеру других храмов, испытавших аналогичную судьбу.

Нико Марр рассказывает со слов старожилов, что когда неверные стали пользоваться грузинским храмом Тбети в качестве мечети, то предали огню роспись, чтобы не соблазняться, для этого они навалили сено и подожгли...

Е. Такашвили пишет о другом храме: «...мусульмане разожгли огонь вдоль стен для уничтожения росписи. Все, что уцелело от огня, они соскоблили остриями пик...»

Автор фундаментального исследования о фресках Крестового монастыря Тинатин Вирсаладзе, приводя множество подобных примеров, заключает: «...если это происходило в провинциях с коренным грузинским населением, то тем более должно было случиться в Иерусалиме, когда фанатически настроенные мамелюки вырвали из рук грузин Крестовый монастырь».



Арабская запись на изображении Иоанна Дамаскина

Тридцать три года оставалась грузинская святыня в мусульманском плену. И только в 1305 году стараниями грузинского царя Давида Восьмого Крестовый монастырь был возвращен его подлинному хозяину. Много пришлось поработать грузинам для оживления старой росписи храма и создания новых фресок.

Шли годы, тяжело ступали века, и положение грузинских колоний в Иерусалиме катастрофически ухудшалось. Кто только ни зарился на грузинские церкви и монастыри: мусульмане, греки, латиняне... Обильно политые кровью, усыпанные трупами защитников, грузинские поселения одно за другим подпадали под власть недругов. Под конец единственной цитаделью грузин в Иерусалиме, удерживаемой ценой больших жертв и сопротивления, остался Крестовый монастырь.

Важной вехой в его истории стал 1643 год. Год прихода в храм Никифора Чолокашвили. Под его руководством монастырской братии удалось отремонтировать церковь, обновить настенную живопись, написать новые фрески. Этому способствовали обильные пожертвования грузинских вельмож и крестьян. Весь грузинский народ принял участие в сборе средств для реставрационных работ в Крестовом монастыре. А когда они завершились, Чолокашвили не без гордости заявил, что «так украсил храм, что удивились вся Греция и Арабистан».

Никифор Чолокашвили-Ирубакидзе, сын военачальника из знатного рода, в юности учился в школе иезуитов, получил хорошее образование, знал несколько

европейских языков. Приняв духовный сан, он уехал в Иерусалим и жил некоторое время в Крестовом монастыре. Но затем был вызван оттуда грузинским царем Теймуразом для исполнения обязанностей посла. В 1626 году Никифор Чолокашвили, или, как его называли на Западе, Ирбах, посетил папу римского с целью заручиться поддержкой в борьбе Грузии против мусульманской агрессии.

Выполняя поручения царя, он много ездил по свету, побывал в разных странах Европы, в Турции, дважды в Москве.

Ирбах слыл тонким дипломатом, образованным царедворцем, патриотом своей родины и культуры. В Риме он вместе с Паолини составил первый грузино-итальянский словарь, принял участие в создании маленькой типографии, в которой был напечатан этот лексикон. Его же стараниями из Москвы были привезены в Грузию несколько живописцев для восстановления храмов и икон. А нужда в них возникла потому, что, стараясь превратить грузинские земли в свою провинцию и насадить там ислам, объясняет М. Полиектов, иранцы разрушали во время своих нашествий христианские храмы, уничтожали росписи и иконы. А поскольку в обезлюдевшей от постоянных войн стране не хватало своих мастеров-художников, правители вынуждены были приглашать греков и московских иконописцев...

В 1643 году Никифор Чолокашвили вновь отправляется в Иерусалим. И там — уже в качестве настоятеля Крестового монастыря — посвящает всего себя реставрации храма, обновлению росписи, дополнению уцелевших фресок живописью XVIII века.

Сейчас трудно судить, какие именно фрески нарисовал заново, срисовал со старых или добавил Никифор Чолокашвили при выполнении наказа Грузии. Многие изображения со временем исчезли, другие были закраснены, а надписи переделаны на греческие. И все же по сохранившимся образцам можно с грехом пополам восстановить общую картину храмовой живописи времен Чолокашвили. Так, например, известно, что западная стена храма была превращена в своеобразную картинную галерею портретов грузинских царей, отцов церкви, книжников, всех, кто в разное время проявляли заботу о Крестовом монастыре.

Нужно оговориться, Чолокашвили вовсе не ставил себе целью увековечить на стенах и колоннах храма подряд всех радетелей Крестового монастыря. Он изобразил выборочно лишь тех деятелей, чьи заботы были связаны с грузинской колонией в Иерусалиме. Сочетая портреты строителей и обновителей храма, он, по словам Т. Вирсаладзе, хотел наглядно показать, что грузины издревле владели этим местом и являлись первыми строителями этого храма, хотел выразить идею законности исконных прав грузин на Крестовый монастырь. Видно, с той же целью некоторые портреты были снабжены указанием национальной принадлежности изображаемых лиц — ивер, грузин. В других случаях грузинская надпись сопровождалась и греческой, дабы всем было ясно, кто хозяин этого храма. Роль бесспорных документов предназначалась и надписям подобного рода на мраморных плитках в алтаре, но и эти свидетельства были впоследствии почти целиком вырублены топором.

Среди уцелевших фресковых надписей представляет интерес и историческая справка над входом о ремонте церкви. Она написана параллельно на грузинском и греческом языках.

«Расписан и освящен сей пречестный храм Животворящего Креста по соизволению и помощи всепрославленного и всесветлого Даддани Леона, рукой и испытанием сильных невзгод всенедостойного настоятеля монастырей Креста и Голгофы Никифора Чолокашвили, сына Омана, уповаю-

щего и преданного сему монастырю, который возобновил купол и святой алтарь собственными честными средствами в короникон 331, аминь».

Тяжелые были времена и для Грузии, и для Крестового монастыря. Но вопреки всему Никифор Чолокашвили все же справился со своей миссией, а в назидание будущим поколениям оставил надпись на бронзовом круге оmfала:

«Стойте твердо и непоколебимо и поминайте меня, грешного настоятеля Крестового, Никифора-Николая, 1643».

Как же не вспомнить добрым словом Никифора Чолокашвили, если он не только реставрировал настенные фрески и надписи Крестового монастыря, но и восстановил, а может, переписал заново портрет Шота Руставели...

Следующие десятилетия неуклонно приближали день падения Крестового монастыря. Пользуясь привилегированным положением — Греция входила в Османскую империю, — греческое духовенство науськивало турок на расправу с последней обителью грузин в Иерусалиме. И турецкие завоеватели облагали Крестовый монастырь непомерными налогами, перехватывали все пожертвования, грабили и убивали посланцев Грузии. Даже такой заинтересованный в захвате греками грузинского храма церковный деятель, как иерусалимский патриарх Досифей, вынужден был признать в своих посланиях в Грузию, что «из игуменов крестных — Гавриила убили, Иосиф бежал ночью из Иерусалима, а Милетий столько лет содержался в темнице...» В конце концов, спустя век после ремонта Крестового монастыря, гурки продали его грекам.



Напрашивается вопрос: по какому праву, да и можно ли продавать чужое, захваченное силой достояние?

Кому бы ни принадлежал Крестовый монастырь, интерес к нему у грузин все равно не ослабевал. Посещение этого иерусалимского храма считалось "божьим" делом.

В 1757 году в Крестовом монастыре побывал Тимоте Габашвили, который рассказал о своих впечатлениях в записках «Путешествие». Просвещенный реак-

ционер, как его характеризует Ш. Нуцубидзе, Т. Габашвили «кисло отметил», что в храме «нарисован внутри сказитель срамных стихов Шота».

В середине XIX века в Иерусалим отправился Николай Чубинашвили. Он скалькировал некоторые фрески и заказал затем петербургскому художнику разрисовать их красками.

Он же сделал карандашные наброски с портрета Руставели, на основе которых художник Н. Тархнишвили позднее создал скульптурный рельеф великого поэта.

Затем в Крестовый монастырь наведаясь Александр Цагарели. Он первым высказал предположение, что в храме существовал более древний портрет Шота. Цагарели оставил сведения о надписях в Крестовом монастыре и записях в поминальной книге.

Петре Кончашвили уже в 1899 году не нашел надписи над портретом Руставели, а приехавший через три года в Иерусалим Николай Марр не обнаружил и самого портрета. Вся колонна была покрыта густой масляной краской. Марр писал: «...портрет Руставели, существовавший до прошлого года, был недавно уничтожен неучами монахами».

И только в 1960 году экспедиции грузинских ученых в составе И. Абашидзе, Г. Церетели и А. Шанидзе удалось воскресить фресковый портрет Шота Руставели.



Слева направо. Церетели Г., Шанидзе А., Абашидзе И.

И. Абашидзе в дневниковых записях о путешествии в Израиль подробно рассказывает:

«28 октября.

В Крестный монастырь мы попали лишь в полдень. Академик Шанидзе сразу же, не теряя ни минуты, засел за изучение надписи на пороге входной двери. Разобрал первое слово "Мгебс ...", потом вникает в следующие слова, буквы.

Мы же, я и Георгий Церетели, сразу ринулись к правой колонне. Может быть, на ней нарисован портрет великого Шота? К нам подошел Василшус, он от души хочет оказать нам помощь, но чем, как?

Мы обошли колонну вокруг, потом принялись рассматривать ее со стороны алтаря.

— Вот здесь, во всю длину колонны — Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, — показывает нам Василиус.

Георгий Церетели с трудом разбирает полуистершиеся греческие слова: "Максим Исповедник", "Иоанн Дамаскин". Где-то здесь должен быть и Руставели.

Оставшееся между портретами святых свободное место покрашено синей и черной краской. Но вот едва различимый след какого-то рисунка, выступающего сквозь грязное покрытие, нанесенное чьей-то жестокой рукой. Не отрываем глаз от следов рисунка. Акакий Шанидзе бросает изучение надписей и присоединяется к нам. Зажигаем свечу. Пристально всматриваемся в колонну, ученые с душевным трепетом читают по буквам: "Нарисов... это...".

Конечно же, "нарисовавший это", без сомнений, — взволнованно говорит Георгий Церетели, — вот и надпись, известная надпись, наконец-то мы нашли ее!

А я вглядываюсь в темно-синюю краску под надписью и вдруг замечаю, что и там проступает рисунок, по очертанию очень похожий на пальцы. А вот и глаз, ясно видимый глаз. Акакий Шанидзе соглашается со мной, да, и он различает пальцы и глаз.

Мы напали на след, несомненно, здесь должен быть портрет. Подлинный портрет нашего Руставели! Однако сохранился ли он полностью? Ведь если даже удастся соскоблить верхний слой краски, то еще неизвестно, что под ней. Увидим ли мы лицо гениального поэта? Можно ли вообще счистить эту черную и синюю краски так, чтобы не уничтожить сам портрет? Нет, скоблить нельзя, надо найти другой способ, попытаемся сфотографировать его под слоем верхней краски. Такими возможностями сегодняшняя техника фотосъемки располагает. Есть и такие фотоспециалисты. Значит, мы должны найти и непременно использовать все возможности ...

6 ноября.

Воскресенье. Мы проснулись, когда еще светила луна на матовом бархатном небе. Как долго тянется ночь!

С первыми петухами мы идем в монастырь. Двери открывает Василиус — сегодня он отдыхает. Мы начинаем очищать краску уже новыми средствами, которыми снабдили нас вчера.

Получается, выходит... Сползает черный саван, наши средства растворяют краску, постепенно одолевают ее. Все яснее и яснее проступает красная одежда Руставели.

Появляется седая борода... Мы волнуемся, суедемся. Наконец выступает лицо, мы стараемся работать особенно осторожно, предупреждаем друг друга, чистим легко, будто ласкаем портрет. Боимся задеть рисунок, нанести изъян древней фреске. Удивительно, краскам портрета Руставели наши средства не причиняют никакого ущерба. Фреска очищена, она светит так, как светила когда-то. Мы обнимаем друг друга, поздравляем...

Полдень, 6 ноября.

Ура, показалось, показалось величественное лицо мудрого старца! Гордое, но глубоко скорбное. Как будто знакомое, до боли знакомое лицо.

Он стоит, воздев руки, между святыми Иоанном Дамаскином и Максимом Исповедником.

"Шоте, расписавшему это, да простит Бог. Аминь", — гласит надпись — А несколько ниже блеснуло крупное грузинское "асомтаврული" — "Руставели".

Мы сжимаем друг друга в объятиях. Какое великолепное художественное произведение!»

Почти все образцы грузинской фресковой живописи и надписей Крестового монастыря сфотографировали на цветную пленку в 1966 году работники Грузинского телевидения Илья Руруа, Гурам Патаридзе и Гиви Мелкадзе.

Событием должен был стать приезд в Израиль патриарха Грузии Ильи Второго, который состоялся в октябре 1987 года. Он привез для водворения в храме картину — икону незадолго до этого причисленного к лику святых писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе-Праведного. Согласно договоренности с греческими отцами церкви, ее установили под портретом Шота Руставели. Так, по словам Ильи Второго, обрела икона Ильи Праведного пристанище в Соборном храме Крестового монастыря. Но стоять ей там долго не пришлось. Вскоре после отъезда грузинского патриарха ее перенесли в маленькую часовню, доступ в которую разрешен лишь немногим посетителям храма.

В беседе с писателем Гурамом Батиашвили патриарх Грузии поделился впечатлениями от посещения грузинских святынь в Иерусалиме. Он рассказал, что «еще в первый визит в Израиль попытался разобраться в ситуации, узнать, в каком состоянии там грузинские исторические древности. Однако иерусалимский патриарх Бенедикт из-за тяжелой болезни оказался не в состоянии вести беседу... Его наследник патриарх Диодорос Первый посетил Грузию, и мы в официальной речи коснулись вопроса Крестового монастыря и попросили у патриарха помощи. Диодорос сказал переводчику: "Передайте патриарху Илье, что, думаю, этот вопрос решится положительно". Во время недавнего гощения в Израиле мы вновь имели беседу с иерусалимским патриархом. И хотя греки встретили наше желание без энтузиазма, Диодорос все же обещал обсудить наше письменное прошение на заседании святого Синода...»

И, наконец, в интервью газете «Комунисти» Илья Второй выразил надежду, что «с Божьей помощью наступит то благословенное время, когда Крестовый монастырь перейдет в руки его подлинных хозяев».

Что ж, блажен, кто верует. Хотя известно, что одними молитвами делу не поможешь...



Журнал «Семь искусств» № 12 (58)/2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 467 с., 31,4 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2014